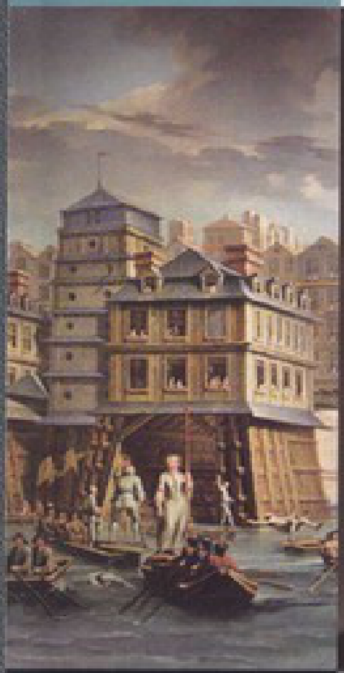
ДЮМА



Максим Чертанов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мы все любим его, но любим, путая с его героями, как что-то невероятное, сказочное — балы, кареты, шпаги, кружева. Но, если приблизим взгляд, увидим иное, странно знакомое — командировки, фотосессии, митинги, суды… Он совершил революцию в журналистике и театре, он писал романы и исторические труды, он вел блоги и баллотировался в депутаты, он дрался на дуэлях и защищал обиженных; он рассказывал о России то, что мы сами знали, но боялись сказать; куда бы он ни приехал, первым делом посещал тюрьму, главной темой его творчества было страдание, страстью всей его жизни — политика… О жизни этого необыкновенного, но так похожего на нас человека — Александра Дюма или просто Сан Саныча — в самой полной русскоязычной биографии рассказывает автор.

знак информационной продукции 16 +

- Максим Чертанов
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА ДЮМА
  - ЛИТЕРАТУРА
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33

Максим Чертанов
Дюма

Глава первая
ТАИНСТВЕННАЯ БАБУШКА

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне.
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

Николай Гумилев

Мы говорим о нем: «взял от жизни все, что мог, выпил до дна чашу наслаждений, популярности… умел радоваться жизни, побывал на баррикадах, бился на дуэлях, судился, фрахтовал суда, назначал пенсии из своего кармана, любил, чревоугодничал, танцевал, заработал десять миллионов и промотал двадцать, а умер тихо, во сне, как ребенок…»[1]; мы цитируем его, когда произносим политические речи и комментируем футбол, мы

любим его — любим как что-то невероятное, сказочно-былинное, видим, путая его самого с его героями, сквозь дымку веков — балы, кареты, шпаги, кружева; но если приблизим взгляд, увидим иное, странно знакомое: работа, поезда, командировки, фотосессии, «офисный планктон», больная мама, алименты, суды, идти/не идти на согласованный/ несогласованный митинг, блоги, краудфандинг, маркетинг… Попробуем приблизиться, представить, что он здесь, сейчас, среди нас ходит, дышит, пишет? Да, большинство историков считают такой метод недопустимым, но сам Дюма и его кумир Жюль Мишле им порой не брезговали; так попытаемся же увидеть не чужого и далекого, а своего, родного — недаром наши самые преданные поклонники писателя зовут его просто: Сан Саныч.

Отца он знал недолго, поднимала их с сестрой одна мать, которой помогали родители: бабушку он не помнил, деда, Клода Лабуре (1743–1809), вспоминал «с трубкой во рту и торжественной походкой, которую тот приобрел, служа метрдотелем»[2]; дед обожал бильярд и домино, играть ходил к соседям, а потом за ним приходила умная собака и уводила домой. Профессию Лабуре унаследовал от деда (может, и от более отдаленных предков); в годы, когда его внук был маленьким, в городке Вилле-Котре с населением 2400 жителей близ Парижа он содержал гостиницу «Щит Франции», полученную в приданое за женой, Мари Жозефой Прево (1739–1806), чьи предки владели «Щитом» с конца XVII века. Других деда с бабкой «Саня» никогда не видел. Он не знал точно, как звали вторую бабушку, а фамилии у нее, возможно, и не было — но по справедливости судьбы ее имя станет фамилией, которую он обессмертит.

Жаль, что он ее не знал: та, от которой он унаследовал не только смоляные кудри, должна была быть женщиной незаурядной. О ней почти ничего не известно — одни предположения. Она была рабыней (чернокожей или мулаткой) в Сан-Доминго, французской колонии на острове Гаити; ее предки были привезены, по разным версиям, из Гвинеи, Камеруна, Габона, с Карибских островов. Сама она родилась в интервале от 1724 до 1738 года (ничего себе разброс); у нее (предположительно) были две сестры; они были привлекательны и, быть может, получили какие-то зачатки образования. Ее звали Мари Сезетта; в 1750-х она сошлась с Антуаном Александром Дави, маркизом де ла Пайетри. Современники и ранние биографы Дюма считали, что про маркиза он выдумал. Но теперь установлено: семья Дави де ла Пайетри жила в нормандской

деревне Бельвиль-ан-Ко с 1410 года, а маркизат был основан в 1707-м; сменились три поколения маркизов Пайетри, прежде чем в 1714 (или 1710) году родился Антуан Александр, старший из трех сыновей Александра Дави де ла Пайетри и Жанны Франсуазы Потре де Доминон.

Отслужив в артиллерии, в 1738 году он приехал делать бизнес в Сан-Доминго, где с 1732-го жил его брат Шарль, тоже бросивший армию и разбогатевший на торговле сахаром и табаком. Александр жил с братом в его усадьбе «Монте-Кристо», но стал пить и играть; в 1748-м Шарль отказался оплачивать его долги, тогда он назвался Антуаном Делилем, чтобы обмануть кредиторов и коллекторов, и купил маленькую плантацию подальше от брата, на мысе Джереми. Шарль преуспевал, но ослаб здоровьем и в 1753 году вернулся во Францию; отец их умер, и, поскольку старший сын отсутствовал, Шарль вступил в наследство. Антуан же купил несколько рабов, включая Мари Сезетту, и, возможно, под ее влиянием несколько образумился. По одной из версий, ее звали «Мари из дома», чтобы отличать от другой Мари, работавшей на плантации, — «Marie du mas», что звучит как «Мари Дюма»; возможно также, что она и ее сестры назывались общим именем, уходившим корнями в какой-либо из африканских языков, и оно звучало как «Дюма»[3]. У нее уже была дочь Жанин (или Жанетта); в 1759-м (или раньше) она родила от Антуана первенца по имени Адольф Адель (или то были двойняшки Адольф и Адель), около 1760 года — дочь Жанетту или Жанин (возможно, умершую в 1765-м), а 17 марта 1762 года — сына Тома Александра, которого записали под фамилией соседа — Реторе, и дочь Мари Роз — но, возможно, девочка родилась на год раньше или позднее. «А может быть, корова, а может быть, собака…» Но что делать, если данные противоречивы и скудны?

В 1771 году в Сан-Доминго вернулся Шарль и спустя два года умер. Третий брат, Луи, тоже умер, Антуан был единственным наследником. Дела шли неважно, денег даже на поездку во Францию не было, и в 1775 году он продал плантатору Карону не только участок, но и семью, оставив за собой право выкупа. Он съездил домой, вступил в наследство и в 1776-м решил забрать четырнадцатилетнего Тома Александра; чтобы вывезти раба с Гаити, его пришлось продать капитану судна, на котором его доставили во Францию, потом снова купить и лишь после этого дать ему свободу. Мари и другие дети остались на Гаити. Наш «Сан Саныч» об этой истории не упоминал; писал, что его бабка, законная жена деда, в 1772 году умерла. В детстве ему, конечно, так всё и преподносили; так со слов его отца было записано в

брачном свидетельстве его родителей. Но к тому времени, когда Александр Дюма сел за мемуары, он, возможно, что-то знал или о чем-то догадывался: этим обстоятельством можно объяснить то, что он, историк с навыками работы в архивах, не пытался (а если и пытался, об этом не известно) узнать что-либо об отцовской родне; что он, любитель путешествий, не побывал на Гаити. Стыдился «черной крови», хотел скрыть? Во-первых, скрыть было невозможно, во-вторых, если в душе и стыдился происхождения, то публично, напротив, бравировал им. Но начни он копать — обнаружилось бы не только то, что его отец — незаконнорожденный (ужасная вещь по тем временам), но и то, что дед был пьяницей и мерзавцем и продал свою семью; что отец, благородный и добрый человек, не защитил свою мать.

До 1778 года Антуан Александр и его сын жили в Бельвиль-ан-Ко, потом продали имение и поселились в парижском пригороде Сен-Жермен-ан-Ле. Тома Александр учился в Академии Николя Тексье де ля Боэсьера, где получил образование молодого дворянина того времени: фехтование, немного латыни и философии, правила стихосложения. В 1784-м переехали в квартиру на улице Этьен недалеко от Лувра, Тома Александр сдружился со знаменитым мулатом, сыном рабыни Жозефом де Сен-Джорджем — композитором, музыкантом, бретером, светским львом: оба были красавцами, очень высокими по тем временам (рост Тома Александра 185 сантиметров — это воспринималось как 195 сейчас), обладали большой физической силой, легко покоряли женщин, но с белыми мужчинами бывали унизительные скандалы. 2 июня 1786 года семидесятилетний Антуан Александр женился на 32-летней служанке Франсуазе Рету, сын в знак протеста записался в драгунский полк рядовым (мог претендовать на офицерское звание, но мулату это было сложно, не захотел морочиться) под фамилией Дюма. 15 июня отец умер и началась тяжба между «мачехой» и сыном, пытавшимся официально закрепить за собой фамилию отца, а также отсудить у вдовы собственность и права на своих гаитянских родных, на которых она претендовала как на вещи. (Почему он просто не поехал и не забрал их? Ни прав на чужих рабов у него не было, ни денег.)

Первые годы службы Дюма прошли в городе Лан: скука, дуэли, ранение в голову. Потом — революция, воевал на стороне власти, то есть «красных»; 15 августа 1789 года его полк был переведен в Вилле-Котре. Всюду создавались подразделения Национальной гвардии (добровольческой милиции), ее начальником в Вилле-Котре стал Клод Лабуре, он же взял Дюма на постой, его старшая дочь Мари Луиза Элизабет (1769–1838) в

мулата влюбилась. Драгуны стояли в городе четыре месяца, за это время Дюма и Луиза обручились, Лабуре соглашался на брак, если зять сделает военную карьеру. Тот согласился. Воевали беспрерывно: гражданская плюс интервенция, как у нас после 1917-го, карьеры делались быстро. В октябре 1792-го Дюма был уже подполковником, замом Сен-Джорджа, командующего «„черным“ легионом» из цветных. Брак заключили 28 ноября 1792 года в мэрии Вилле-Котре, не венчались, жених был представлен как сирота — возможно, на этом настоял тесть, не желавший иметь свояками рабов, а может, сам Дюма ему солгал. Жена осталась у родителей, муж отбыл на фронт, приезжал в отпуск; вскоре была зачата, а 17 сентября 1793 года родилась дочь Эме Александрина.

В апреле 1793-го генерал Дюмурье планировал переворот, Сен-Джордж и Дюма отказались к нему присоединиться, но Сен-Джордж не был вознагражден: его обвинили в растрате, легион расформировали. На карьере Дюма это не сказалось, напротив: в июле 1793-го, когда революция полностью выродилась в диктатуру, он был бригадным генералом, через месяц — дивизионным, еще через неделю — командующим Западной Пиренейской армией. Это единственный случай, когда мулат в Европе достиг такого положения. Он унаследовал энергию отца, но не его жестокость, славился не только смелостью, но и добротой; зафиксирован случай, когда в деревне должны были казнить крестьян, пытавшихся уберечь от переплавки церковный колокол, Дюма их освободил, гильотину велел разобрать на дрова. Были и другие выходки в таком роде, пошли доносы, и в июне 1794-го его вызвали в Комитет общественного спасения (орган вроде ЧК — мы во всех этих комитетах, о которых наш Дюма много писал, будем разбираться позднее). Но тут случилось чудо: свалили диктатора, террор прекратился, генерала Дюма новая власть поставила на Западную армию, которой он командовал осенью 1794-го, подавляя мятежи в Вандее, но даже историки-роялисты писали, что он делал все для предотвращения жестокости. В конце года он взял отпуск по болезни и поселился в Вилле-Котре; тесть купил молодым дом на улице Лорме, 46 (теперь — улица Александра Дюма). Обнаружили опухоль, сделали операцию, головные боли остались, но в сентябре 1795-го он вернулся на службу и был направлен в Рейнскую армию. 5 октября правительство вызвало его в Париж — подавить мятеж; он не успел — с мятежом справился будущий император Наполеон, а Дюма послали воевать с интервентами в Альпийскую армию. В феврале 1796-го он приезжал в Вилле-Котре — родилась дочь Луиза Александрина, но скоро умерла. Ноябрь 1796-го —

Итальянская армия, которой командовал генерал Бонапарт, Дюма воевал хорошо, но отношения с шефом не сложились; в феврале 1797-го Дюма назначили губернатором провинции Тревизо. В декабре он ушел в отставку, уехал к семье. Наполеон потребовал идти с ним воевать в Египет, Дюма сказал, что не видит в этой войне смысла, но приказу подчинился. В марте 1799 года он получил отпуск; по пути домой судно дало течь, пристало в порту Неаполя (Италия состояла из нескольких государств, одно из них, Неаполитанское королевство, вступило с Францией в войну), и там Дюма и его спутников захватили в плен. Долго слали умоляющие письма на родину, но лишь в марте 1801-го, когда Наполеон, уже ставший диктатором, заключил перемирие, Дюма обменяли на другого генерала. 1 мая он приехал в Вилле-Котре едва живой: больной желудок, хромота, правое ухо не слышит, правый глаз не видит, боли усилились. Однако нашел силы возобновить тяжбу с мачехой.

История семьи, проданной ее главой в рабство, возможно, закончилась не так плохо. На Гаити тоже произошла революция, рабство отменили, вместо него ввели что-то типа крепостного права, но многие рабы стали свободными. Предположительно, Мари Роз, сестра Тома Александра, в 1790-х годах вышла замуж за белого, Жана Помпея Валантена де Вастей (предположительно он был сыном ее тетки Элизабет, сестры Мари Сезетты, и Жана Валентина Вастей, выходца из Нормандии); он был писателем, политиком, стал министром и получил титул барона; их потомки были благополучны. Сводная сестра Тома Александра так же успешно вышла замуж, как и его вторая тетка, Розетта, чьи потомки породнились с аристократической семьей Котрель де ла Фоссе. Сама Мари Сезетта, по одним данным, умерла в 1775-м, по другим — была еще жива (и, возможно, свободна) в 1801-м.

Неясно, знал ли генерал Дюма о судьбе своих родных. В 1801 году суд вынес решение в его пользу: «Маркиза де ла Пайетри… передает г-ну Реторе все права собственности и всю власть, которую она имела над негритянкой Мари Сезеттой, матерью указанного г-на Реторе, над креолками Жанеттой и Мари Роз, сестрами указанного г-на Реторе, и над их детьми, которые уже рождены или родятся впредь, и соглашается с тем, что он впредь получает эти права и все выгоды от них и в полном объеме распоряжается теми правами собственности на упомянутую негритянку и ее детей, от которых настоящим документом отказывается маркиза де ла Пайетри». Он заверил у нотариуса доверенность: «Тома Дюма Дави де ла Пайетри… назначает своим генеральным ведущим дела по доверенности Мари Сезетту, свою мать, которой он передает право действовать в его интересах и от

его имени, управлять и распоряжаться имуществом, земельными участками и домами, доставшимися ему, как сыну и наследнику, от Антуана Александра Дави де ла Пайетри, его отца, то есть всем, что находится на побережье и на самом острове Сан-Доминго; владеть всем от имени и по поручению составителя данного документа… и чтобы настоящая ведущая дела по доверенности делала все, что ей подскажет ее благоразумие и потребуют обстоятельства; составитель возлагает на ту, кому он все это доверяет, всю полноту власти в отношении управления этим имуществом, даже если оно буквально не заявлено и не представлено». Он сделал для матери что мог. Почему тогда не поехал на Гаити? Может, не вышло: живых денег-то отсудить не удалось. А может, и не собирался: очень болел, головные боли, по словам сына, «доводили почти до безумия и нарушали ясность мысли».

Тем не менее он просил Наполеона принять его на службу, тот предложил подавить восстание негров в Сан-Доминго, Дюма отказался; иного не предлагали, он безуспешно просил пенсию и выплату жалованья за время, проведенное в плену. 24 июля 1802 года родился сын Александр — крупный, здоровый, почти белый, в отличие от довольно темной сестры, а в сентябре генералу назначили пенсию, но ее не хватало, и осенью 1803-го он писал Наполеону: «Нищета и тоска подтачивают мою жизнь… Умоляю выплатить мне задержанное жалованье за время, которое я провел в плену на Сицилии, в размере 28 500 франков». Много это или мало? 1 франк[4] первой половины XIX века по покупательной способности можно очень приблизительно приравнять к 100–200 современным рублям. Сравнивать, конечно, трудно — то, что сейчас дорого, тогда было дешевым, и наоборот. Например, на 35 франков два человека могли съездить на собственном транспорте (который надо было заправлять сеном и овсом) в Париж, прожить в гостинице три дня, пару раз сходить в театр и есть в общепите. Хорошая лошадь стоила 4500 франков, дом — 50 тысяч; это сопоставимо с современной стоимостью машины и дома. Семья Дюма в год проживала около 4200 франков, из которых тысяча шла на обучение дочери в престижном парижском пансионе Моклерк; подсчитайте, что оставалось на жизнь. Они жаловались на нищету, но понятия о нищете (если речь не о низших классах) отличались от нынешних: у людей могло не хватать денег на одежду и обувь, экономили на отоплении, но при этом держали слуг. Летом 1804-го семья смогла снять коттедж в деревне Арамон близ Вилле-Котре, где начинаются детские воспоминания Александра: отец — необыкновенный силач, при этом «руки и ноги как у женщины» —

тогда это считалось красивым; добрый, но во время приступов головной боли бывает «ужасен», мать — очень нежная. Из романа «Предводитель волков»[5]: «Кроме моего отца, моей матери и меня самого, в замке жили: 1) большой черный пес по кличке Трюфель… 2) садовник Пьер, ловивший для меня в саду лягушек и ужей… 3) камердинер моего отца по имени Ипполит… 4) сторож Моке, которым я восхищался, потому что каждый вечер он рассказывал мне удивительные легенды о привидениях и оборотнях; 5) кухарка».

Пес Трюфель (вскоре появится еще кот Доктор) перечисляется в одном ряду с людьми — для ребенка это естественно, но Дюма и взрослым будет так писать, не делая различий между герцогами, кухарками и котами. «Собаки не умеют говорить? Попробуйте сказать об этом своему трехлетнему сынишке, резвящемуся посреди лужайки с трехмесячным ньюфаундлендом. Дитя и щенок играют словно братья, издавая нечленораздельные звуки во время игр и ласк. Ах, господи! Да собака просто пытается разговаривать на языке ребенка, а малыш на языке животного. На каком бы языке они ни общались, они наверняка друг друга понимают и, может быть, передают один другому на этом непонятном языке больше истин о Боге и природе, нежели изрекли за всю свою жизнь Платон или Боссюэ» («Таинственный доктор»). «Посмотрите, какими умными выглядят одни животные, добрыми и мечтательными — другие… разве бык, жующий сено, смог бы так надолго погружаться в грезы и издавать такие тяжкие вздохи, если бы никакая мысль не возникала в его уме, если бы он не жаловался Богу, быть может, на неблагодарность человека, своего высокого собрата, не признающего их родства?» («Консьянс блаженный»).

Лягушками он набивал карманы, змей боялся; почему-то ходил все время на цыпочках, его ругали, заставляли носить тяжелые сабо, не помогало, потом вдруг стал ходить, как все. Отец водил на прогулки, потом ослаб, слег. Летом 1805 года переселились в деревню Антий, сняв дом поменьше, в августе поехали показаться врачу в Париж, взяли сына с собой, генерал встретился с маршалами Брюно и Мюратом, те обещали позаботиться о семье. Навестили сестру в пансионе, девчонки малыша затискали — такой был прелестный, кудрявый. Родители взяли его на оперетту «Поль и Виржиния» — что-то запомнил, хотя было ему три года. Реальной помощи они ни от кого не получили, деньги кончились, стали жить в гостинице Лабуре. Но о том, чтобы дочь прекратила учиться (а это была самая крупная статья расходов), речи не было. Темнокожая — кто на ней женится? А после пансиона сможет работать гувернанткой или

учительницей.

В октябре генерал ездил с сыном в Могобер к сестре Наполеона (уже императора) Полине Бонапарт (дюмавед Даниель Циммерман считает, что они были любовниками) — прощаться. Был слаб, вспыльчив, жуткие боли — рак желудка; 26 февраля 1806 года он умер, а через неделю умерла мать Луизы. Родственник, Жан Мишель Девиолен, состоятельный человек, хлопотал о пенсии — безрезультатно, сам денег не дал. Вдова пыталась пробиться к Наполеону — ее не приняли. Жила она с сыном на содержании дедушки, занимая одну комнату в гостинице. Назначенный опекуном «Сани» богатый сосед Жак Коллар разрешал пожить в своем замке Вилье-Элон. Были еще соседи, Даркуры — вдова врача с дочерьми, небогатые, те возились с ребенком, показывали книги с картинками. В гостях кормили, но денег не давал никто — о поступлении в приличную школу, не говоря уже о высшем образовании, нечего было и думать. И все же сестру не принесли в жертву брату. Летом 1808 года, приехав на каникулы, Мари Александрина научила брата читать, соседи это занятие поощряли, Коллар читал с ним Библию, Даркуры — Бюффона, одного из первых эволюционистов, мать — «Робинзона Крузо». «Я был маньяком чтения, моя мания распространялась даже на газеты». Наизусть пересказывал передовицы — обнаружилось, что он читает «по диагонали» и память имеет фотографическую.

Следующим летом умер дед Лабуре, мать с сыном переехали в однокомнатную квартирку на улице Лорме. Луиза унаследовала 15 гектаров земли и — по договору пожизненной ренты — дом пожилого родственника Арлэ; жить в доме нельзя, а содержать Арлэ надо. «Если бы мама оставила надежду на получение пенсии и 28 500 франков жалованья отца, и продала землю за 30 000 или 35 000, и дом месье Арлэ за 5000 или 6000, и с этими 40 000 она имела бы доход в размере 2000 франков, на который мы могли бы жить отлично». Луиза же землю заложила, а родственника содержала (он умер лишь в 1820 году). Так что жили они на доход от заклада, остатки сбережений и редкие подачки знакомых — не более тысячи франков в год. Пришлось забрать Эме Александрину из школы. И все же мать пыталась баловать детей. В девять лет «Саня» пожелал играть на скрипке, мать оплатила уроки, через несколько недель он их бросил. Учитель фехтования Мунье, алкоголик, давал уроки бесплатно (не смотрите на фехтование как на средневековую блажь — тогда это было как сейчас теннис, например). Мальчишка был высок, хорошо сложен, метко бросал камни, отлично бегал и дрался, но боялся высоты. В 1811 году мать пыталась выхлопотать для него

стипендию в Императорском лицее, писала Наполеону, ответа не получила. Осенью того же года он начал ходить в местную школу при церкви: плата шесть франков в месяц, латынь, французский, разрозненные факты из истории, вместе сидят от пяти до тридцати разновозрастных мальчишек, уроки с девяти до четырех с перерывом на обед, единственный педагог — аббат Грегуар.

В первые дни на новичка «наезжали». «Анж Питу»: «… отучившись четыре часа и выйдя на улицу в полдень, Питу, за все это время не сказавший ни единого слова ни с кем из соучеников и мирно зевавший за своим сундуком, успел нажить в классе шестерых врагов, причем врагов тем более свирепых, что он ничем не был перед ними виноват. Шестеро обиженных поклялись на печке, заменяющей школярам алтарь отечества, что выдерут новенькому соломенные волосы, выцарапают голубые фаянсовые глаза и выпрямят кривые ноги. Питу даже не подозревал о намерениях противника. Покидая класс, он поинтересовался у соседа, отчего это все уходят, а шесть человек остаются. Сосед посмотрел на Питу косо, назвал его подлым доносчиком и удалился, не пожелав вступать с ним в разговор. Питу не мог уразуметь, каким образом он, не произнеся и слова, ухитрился стать подлым доносчиком. Однако во время уроков он услышал от школяров и аббата Фортье столько непостижимых для него вещей, что отнес ответ соседа к числу истин, чересчур возвышенных для его ума». Питу дрался и был поставлен в угол; если он пострадал несправедливо, его создатель, как он сам считал, получал по заслугам: «В этом возрасте другие дети не очень-то меня любили; я был тщеславным, дерзким, высокомерным, самоуверенным, преисполненным восхищения собственной персоной». Арифметике его учил отдельно городской педагог Обле, продолжались уроки фехтования с Мунье, ездить верхом учился сам, когда кто-то из соседей давал на полчаса «порулить». В 1813-м у двадцатилетней сестры появился жених, Виктор Летелье, 26-летний служащий налогового ведомства: робел, любви девушки добивался, обхаживая брата, учил его стрелять и заискивал перед ним так, что по первой просьбе подарил пистолет; мать пришла в ужас, пистолет вернула, а дочь выдала замуж.

Шла война; в мемуарах Дюма ее почти не видно, так как воевали на чужой территории и на повседневной жизни это сказывалось слабо, кроме того, он родился в войну и такое состояние дел ему казалось естественным: разве бывает жизнь без войны? Но в 1814-м война пришла во Францию. В марте ждали, что придут русские или немцы, народ прятался по погребам, Луиза наварила еды, оставила на плите — задобрить оккупантов,

600 горожан сутки прятались в каменоломне, а в город пришли свои и все съели. Но не сегодня так завтра враг придет, несколько семей, включая Дюма, бежали в Париж, там паника, все мечутся, 31 марта союзники вошли в столицу, 2 апреля сенат объявил, что Наполеон отстранен от власти, 6-го провозгласил восстановление монархии, королем стал вернувшийся из эмиграции 59-летний Людовик XVIII, брат Людовика XVI, которому в революцию отрубили голову. Луиза и Александр вернулись в Вилле-Котре. В том же году умерший родственник Консе оставил Луизе полторы тысячи франков, а ее сыну — стипендию в семинарии в соседнем большом городе Суассоне. Он поехал, но вернулся с полдороги в слезах. Мать больше не пыталась его отослать.

Летом 1814 года Эме Александрина родила первенца, а ее мать купила на унаследованные деньги помещение у медника Лафарга и открыла магазин «мужских товаров»: табак, порох, пули, дробь; бизнес обещал годовой доход в 800 франков. Революционные и имперские времена кончились, каждый хотел быть аристократом, Луиза Дюма прибавила к своей фамилии «Дави де ла Пайетри», спросила сына, хочет ли он носить фамилию деда, тот ответил, что деда не знал и называться его фамилией не будет. Фамилия Луизе не помогла, в городе Дюма считались неблагонадежными: «Постоянство, с которым люди называли нас бонапартистами, приносило нам неудобства: во-первых, мне приходилось все время драться и я никогда так часто не приходил домой с расквашенным носом или подбитым глазом, как в начале Реставрации; во-вторых, мать боялась потерять магазин… Дошло до того, что, сами не зная почему, мы с матерью, несмотря на все причины, которые у нас были ненавидеть Наполеона, стали гораздо сильнее ненавидеть Бурбонов, которые не сделали нам ничего плохого».

Новые порядки в образовании: аббату Грегуару запретили содержать школу, и он стал ходить к ученикам на дом. Приехал из Парижа сын Лафарга Огюст, недоучившийся на адвоката: брюки дудочкой, влюблен в некую даму, сочинял эпиграммы, «Саня» был потрясен: «Эти строки Огюста были первыми лучами света, упавшими на мою жизнь; они разожгли во мне неясные стремления…» Попросил Грегуара научить писать стихи — тот не умел. Зимой 1815 года, выдержав скандал с матерью, начал брать уроки стрельбы у оружейника Монтаньона, браконьерствовал, воображая себя персонажем Фенимора Купера. Наполеон бежал с Эльбы, 1 марта высадился во Франции, шел на Париж; Вилле-Котре был на его пути. В 1865 году Дюма рассказывал: «Признаюсь, я страстно мечтал увидеть этого человека, чей гений отягощал Францию и, в частности, тяжело навалился на меня,

бедного атома, затерянного среди тридцати двух миллионов других. Он раздавил меня, даже не подозревая о моем существовании… Проведя бессонную ночь, с шести утра я ждал при въезде в город…» Из газет узнавали о победах, жители Вилле-Котре не знали, презирать им Луизу или заискивать перед ней, да и газеты день ото дня меняли тональность: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан» — «Людоед идет к Грассу» — «Узурпатор вошел в Гренобль» — «Бонапарт занял Лион» — «Наполеон приближается к Фонтенбло» — «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже»…

14 марта, по рассказу Дюма, полицейские везли через Вилле-Котре двух пленных наполеоновских генералов, братьев Лаллеман, говорили, что в Суассоне их расстреляют; самые храбрые жители плевали пленникам в лицо. Нотариус Меннесон, знакомый семьи Дюма, республиканец и вольнодумец, попросил Луизу помочь освободить Лаллеманов. Она с сыном приехала в Суассон. План такой: Луиза знакома с тюремным охранником, Александр играл с его сыном; их пустят в тюрьму (семьи охраны там и жили), мать отвлечет сторожа беседой, а «Саня» с помощью приятеля проберется к пленным и передаст деньги и пистолеты, полученные от Меннесона. Все получилось, но Лаллеманы отказались от побега, веря в Наполеона; на следующий день он действительно их освободил, и они уже победителями проехали трясущийся от ужаса Вилле-Котре; их жизнь сложилась удачно, а через 25 лет, встретив одного из братьев, Александр напомнил ему эту историю. Биографы считают ее выдумкой, однако сразу заметим (доказывать будем по мере возможности), что Дюма в воспоминаниях был точнее и правдивее, чем думали его современники и ранние биографы, и все кажущиеся неправдоподобными эпизоды либо подтвердились, либо до сих пор не опровергнуты. В данном случае неправдоподобно лишь поведение матери, подвергающей риску сына. Возможно, нотариус обещал ей покровительство, а она была готова на все, чтобы улучшить жизнь семьи? Но такой риск! Что ж, если отношения со сторожем были приятельскими, то, если бы мальчик попался, его бы, возможно, просто выгнали взашей вместе с матерью… Вскоре Наполеон был разбит. Он все же проехал через Вилле-Котре дважды, и оба раза спросил рассеянно: «Это что за остановка?» Потом пришли пруссаки и англичане. Все было кончено.

Май 1815 года — первое причастие, короткая вспышка религиозности, потом в церковь заглядывал не чаще, чем положено. Страсть к охоте, постоянно крутился возле лесничих, мать позволила брать ружье — подарок отца. А в августе 1816-го

он поступил курьером в нотариальную контору Меннесона: ходил пешком, если далеко — давали казенную лошадь, рабочий день с девяти до четырех, вечера дома с мамой, выходные на охоте. Стал брать уроки танцев. Довольно поздно повзрослел: у него были три приятеля, все превращались в мужчин, он же обращать внимание на девочек начал лишь весной 1817 года. «В нашем городке существовал обычай, скорее английский, нежели французский: молодые люди разного пола могли открыто посещать друг друга». Собирались в восемь вечера летом, в шесть зимой, тусовались в парке или у какой-нибудь девушки дома. Первая девочка, за которой он пытался ухаживать, его отвергла. Приезжала племянница Грегуара с подругой, получившая образование в Париже: «За две недели, проведенные в компании умных девочек, я получил первый урок из тех, что может дать только женское общество. Я понял, как важна наружность, о чем прежде и не подозревал». На элегантность нет денег, но ее можно заменить опрятностью. Эксперимент удался: девушка, понравившаяся ему в 1818-м, ответила взаимностью. В мемуарах ее имя Адель Дальвен, настоящее — Аглая Телье, старше на три года, семья средненькая, сама девушка бойкая. Он был хорош: тонкий как тростинка, кудри черные, глаза голубые, полные губы, красивая лепка головы, изящные руки и ноги. Поначалу просто гуляли вместе, ходили на праздники в соседние деревни; 27 июня поссорились, он пошел в деревню Корси один и там встретил человека, которого некоторые литературоведы считают прототипом графа де ла Фера: восемнадцатилетний Адольф Риббинг де Левен был сыном заговорщика, участвовавшего в 1792 году в убийстве шведского короля Густава III и приговоренного к изгнанию из Швеции. В Париже Левены жили свободно даже при Реставрации, на лето снимали загородный дом; общая знакомая, дочь Коллара, представила молодых людей друг другу; у Левена был блокнот, Александр спросил, собирается ли тот рисовать. Из романа «Мадам Лафарг»:

«— Нет, я пишу стихи, — ответил он.

Я взглянул на него с изумлением, мне никогда не приходила в голову мысль попробовать писать стихи». (Забыл — приходила!)

Адольф был аристократичен, посвящал стихи замужней женщине, рассуждал о политике, лягушек, однако, в комнаты гостей и слуг подбрасывать не отказывался. Вскоре он уехал, Александру велел учить итальянский, тот стал брать уроки у тридцатилетнего отставного офицера Амеде де ла Понса, который привязался к мальчишке, ругал за безделье, сказал важное: «Учиться — это счастье». Александр попросил научить его и немецкому, хотя этого никто не велел, — он становился

взрослым. Примерно в это же время он стал любовником Аглаи (тайно, разумеется).

В начале 1820 года клерки Меннесона получили премию, поехали в Суассон, ходили в театр на «Гамлета». Адекватного перевода пьесы во Франции не было: первый сделал в 1746 году Пьер Антуан де Лаплас, первым сценическим стал вариант Жана Франсуа Дюси 1769 года. Там не было сцены с могильщиками, странствующих актеров, Фортинбраса, призрака, дуэли, Офелия была здорова, а Гамлет не умер; немного осталось, но Александр пережил восторг. «Трудно представить себе более невежественного человека, чем был я в то время. Мама пыталась заставить меня прочесть трагедии Корнеля и Расина, но я должен, к стыду своему, признаться, что мне было нестерпимо скучно… Вообразите слепорожденного, которому дарят зрение и он открывает мир, о котором не имел представления…» О Шекспире он тоже не слыхал, захотел прочесть текст Дюси, в Суассоне не нашлось, Левен прислал из Парижа. «С этого момента мое призвание было определено… у меня появилась уверенность в себе, которой до сих пор мне не хватало, и я смело бросился навстречу будущему, которого прежде страшился». Летом снова приехал Левен — он тоже увлекся театром, в Париже жил в доме драматурга Арно и через него попал в театральную «тусовку». Сагитировали молодежь и де ла Понса, открыли любительский театр, один сосед предоставил помещение, другой дал доски для декораций, одежду собрали по сундукам. Ставили популярные водевили, к зиме осмелились написать пьесу в стихах «Майор из Страсбурга». «Почему из Страсбурга, а не из Ла-Рошели или еще откуда-нибудь? Не помню. Я также напрочь забыл завязку и сюжет. Что-то очень патриотичное, о ветеране, сражавшемся при Ватерлоо». Он запомнил две удачные, по его мнению, строки. Старый майор читает книгу о сражении, мимо проходит граф и говорит своему сыну: «Взгляни, дитя, я не ошибся: в полях Германии витает его сердце, надеется он вновь французские победы увидать. — Отец, читает о последнем он сраженье, и потому из глаз его стекают слезы». Сюжет банальный, трудно сказать, откуда он заимствован; две другие пьесы, написанные зимой 1820/21 года, были созданы также по мотивам: «Дружеский ужин» — сборника рассказов «Сказки для моей дочери» Жана Николя Буйи, «Абенсераги» — исторической драмы «Гонсало де Кордова» Жана Пьера Флориана. Странно, что молодые люди не придумывали историй самостоятельно: обычно в таком возрасте фантазия не знает границ. Весной 1821 года Адольф увез пьесы в Париж — пробивать, а Александр принял участие в ежегодном конкурсе, проводимом Академией изящных

искусств: поэтическое произведение, тема — Гийом де Мальзерб, ученый, казненный в 1794-м. Александр сочинил оду «Преданность Мальзербу», в мае объявили результаты — увы… Левен писал, что пьесы тоже никто не берет, и простодушно объяснял почему: «Везде идут пьесы на такие же сюжеты, только лучше».

Осенью Александра пригласили погостить у сестры и зятя в городе Дре. «Мы стали настолько бедными, увы! Экономия, которую давало маме мое отсутствие, компенсировала страдание от того, что я уеду. Это был мой первый отъезд надолго: до сих пор мы с мамой не разлучались». 15 сентября попрощался с Аглаей, в октябре вернулся и узнал, что она вышла замуж. Был раздавлен, неделю не выходил из дома. Пытался сочинять, отослал Левену «нечто в стихах и прозе» под названием «Паломничество в Эрманонвиль» по мотивам поэзии Шарля Демустье — «текст потерялся, и слава богу». Успокоившись, стал мечтать о Париже, но — на какие средства? (Почему его не брали в армию? При Реставрации регулярной армии не было, Бурбонов охраняли иностранные наемники.) Летом 1822 года Девиолен переехал в Париж, Луиза надеялась, что пристроит сына, — отказал. Курьером дальше быть нельзя, нужен какой-то карьерный рост; Александр начал работать писцом у нотариуса Лефевра в городе Крепи-ан-Валуа, снимал комнату с другими клерками, по субботам уезжал домой. Прочел «Айвенго», написал по нему пьесу (это первая сохранившаяся работа Дюма: она была поставлена в городе Дьепп в 1966 году). В ноябре Лефевр отлучился, приятель Дюма, Пьер Пайе, предложил смотаться в Париж. Поехали верхом на одной лошади. Трехдневное путешествие обошлось в 35 франков: ночевки и еда в дешевых «мотелях», «парковка» и «заправка» для коня, экскурсия по столице на общественном транспорте — извозчике, билеты в театр на галерку. Смотрели пьесу о римском диктаторе Сулле с намеками на Наполеона, играла звезда — Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826), Левен провел мальчишек за кулисы, Тальма, услыхав, что юный мулат что-то сочиняет, благословил. Левен обещал работу у банкира Лаффита, Александр возвратился в Крепи счастливым и узнал, что уволен за прогул.

«Я вернулся домой в четверг вместо субботы, провел выходные с мамой. Я не осмелился сказать ей о несчастье, случившемся со мной. Я сказал, что в конторе было мало работы и мне дали несколько дней отпуска. Но ее подозрения перешли в уверенность, когда она увидела, что проходит понедельник и вторник, а я не еду в Крепи. Бедная мама! Она никогда не сказала мне ни слова об этой катастрофе». Наконец он сказал ей, что

Левен нашел ему работу в Париже. Но тот ничего не нашел, у банкира было полно клерков городских, образованных. До Нового года все было безнадежно, но в январе 1823 года парижский журналист Луи Жане, издававший «Альманах для девиц», опубликовал два стихотворения Дюма: «Бланш и Роза» и «Романс». Александр решил: ехать в Париж, падать в ноги знакомым, а если не выйдет — как-нибудь. «Пришло время, когда бедная мама должна была сделать решительный шаг. Она так часто занимала деньги, что все наше имущество ушло в ипотеку». Решили все продать: землю за 33 тысячи франков, дом за 12 тысяч, итого 45 тысяч франков. «Чтобы читатели не подумали, что это был наш годовой доход, уточняю, что это был весь капитал». Заплатили долги — осталось 253 франка. Поделили: матери 200, ему на первую пору 53. За 60 франков он продал — нет, не лошадь, а собаку; 10 выиграл в бильярд. 3 франка стоил билет до Парижа в дилижансе. (Попытайтесь-ка покорить Москву с 12 тысячами рублей…) Меннесон его напутствовал: «Остерегайтесь священников, ненавидьте Бурбонов и помните, что единственная форма правления, достойная великой нации, — республика». В конце марта мать проводила его до станции. Плакали оба.

Он поселился в дешевой гостинице, написал маршалу Виктору — другу отца, теперь военному министру; маршалу Журдану и генералу Себастиани. Не ответили. Генерал Вердье, служивший под началом Дюма, юношу принял, направил к другому сослуживцу, генералу Фуа, депутату парламента. Тот, услыхав, что проситель не знает бухгалтерии и юриспруденции, развел руками, но оказалось, что почерк у того изумителен — может быть писцом. Фуа похлопотал, и 10 апреля 1823 года Александр был принят на должность писца (с испытательным сроком и окладом 100 франков в месяц) в секретариат герцога Орлеанского.

Необязательно при слове «герцог» воображать шпаги, перья и подвески — он был политиком и бизнесменом, и у него, естественно, были контора и масса служащих. Луи Филипп Орлеанский (1773–1850) происходил из младшей линии французского королевского дома, был сыном того герцога Орлеанского, что в революцию отказался от титула, принял фамилию Эгалите (равенство), голосовал за казнь Людовика XVI, а потом сам был казнен. Наш Орлеанский тоже стал «гражданином Эгалите», служил в армии, потом бежал в Швейцарию, после Реставрации примирился с Бурбонами, и Людовик возвратил ему конфискованную собственность отца. Орлеанским принадлежали почти все леса Франции, а лес тогда

— что нефть или газ сейчас, так что наш Орлеанский был олигархом, владельцем гигантской корпорации, ибо был он оппозиционером (весьма, впрочем, умеренным), покровителем наук и искусств. Лес он не расточал, а бережно о нем заботился (благодаря частному лесовладению, сохранившемуся частично доныне, Франция — одна из немногих стран, где площадь лесов увеличивается) и основал первый в мире институт лесоводства. Вел подчеркнуто демократичный образ жизни, либералы его любили и хотели назначить королем — в обход наследников Людовика XVIII. Как это возможно? Ну, есть способы.

Лес был не единственным бизнесом Орлеанского (еще банки, финансы), и потому в корпорации существовал Департамент леса, которому (косвенно) подчинялся секретариат; им заведовал Девиолен, в свое время не желавший помочь Александру, а теперь обещавший за ним «присматривать». Александр поехал к матери, про испытательный срок умолчал, уговаривал ехать с ним, но та побоялась. Вернулся в Париж 5 апреля, с 8-го снял однокомнатную квартиру на площади Итальянцев (ныне Буальдье), 1: четвертый этаж, самый центр, рядом Лувр, работа — Пале-Рояль, резиденция Орлеанского, — тоже рядом. Дом, правда, плохонький, окошко во двор, стоит квартира 10 франков в месяц. (Даром, да, но дороги были хозяйственные расходы: уголь, свечи, стирка.) Из мебели — кровать, стол; посуду прислала мама.

Трудился офисный «планктон» с 10 до 18, в основном молодежь, зарплата считалась низкой, многие подрабатывали официантами. Начальник секретариата Жак Удар — из крестьян, карьерист, служака, его заместитель Ипполит Лассань — по совместительству журналист и драматург; он ужаснулся невежеству парня, но видел, что тот отличается от других клерков интересом к культуре, велел читать Мольера, Гёте, Байрона, Вальтера Скотта. Александр влюбился в Байрона и сохранил идеал на всю жизнь: поэт, участвующий в революциях и войнах. Лассань объяснил «расклад» в литературе. Драматурги времен Империи — Арно, Жуи, Лемерсье — устарели, и только потому, что в их пьесах играет Тальма, на них еще ходят; молодые есть, но слабенькие — Суме, Жиро, Ансело; есть еще Камилл Делавинь, но он «поэт буржуа». Поэзия — только Гюго и Ламартин. В прозе вообще никого нет. Но прежде, чем писать, надо читать — и Александр глотал книги; его принято считать недоучкой, но Лев Гумилев, не кто-нибудь, назвал его «широко образованным человеком своего времени». Читал Тацита и Гомера — много вы в наше время встречали литераторов, которые их читали? Исключительная память — с одного раза запоминал подробности,

термины, даты; журналист Ипполит де Вильмесан позднее говорил о нем: «Какое-нибудь имя, невзначай брошенное в разговоре, служило ему отправной точкой для целой лекции. Все старые хроники, которые он когда-либо пролистал, откладывались в его мозгу».

Увлекался не только изящными искусствами — был горячий интерес к медицине, особенно судебной, психологии, химии и тому, что сейчас называют биологией. В первые дни в Париже посещал несколько громких судов, в частности процесс Кастаня, врача и химика, обвиненного в отравлении и приговоренного к казни. «И тогда на суде, который приговаривал к казни живого человека, я поклялся, что, в каком бы положении я ни оказался, никогда не проголосую за смерть человека…» У столичной молодежи считалось стильным болеть чахоткой и умереть молодым; с Левеном притворялись, будто харкают кровью, самовнушение зашло далеко, пришлось обращаться в больницу, попали к молодому доктору Пьеру Тибо, и на пару лет Александр с ним стал почти неразлучен: ходили в морг и больницы на вскрытия, ради чего Александр вставал в 6 утра, вечером сидел у Тибо, слушал рассказы о химии и физике, ставили опыты; их всюду сопровождала юная портниха, соседка Тибо, — науки были в моде. Раз в неделю он ужинал у Левенов, ходил в театр, один или с Адольфом. Запомнился один из первых походов (в мае) — был плохо одет, высмеяли (как д'Артаньяна); давали пьесу «Вампир», с ее автором случайно оказался рядом, поболтали, потом из газет узнал, с кем говорил: Шарль Нодье (1780–1844), эрудит, библиофил; его считают первым французским писателем-фантастом. Александр купил роман Нодье «Жан Сбогар» — герой байронический, сюжет примерно как в «Дубровском»; очень (как пушкинской Татьяне) понравилось, решил, что будет писать именно так. Что он писал в тот период — неясно; за 1823 и 1824 годы было опубликовано лишь стихотворение «Белая роза и красная роза» в «Альманахе для девиц», рукописи не сохранились.

Он был по-прежнему худ, вымахал до 185 сантиметров; знакомая дама описывала: «Его фигура была великолепна. Тогда еще носили короткие штаны, и все любовались его ногами… Голубые глаза сверкали как сапфиры». Сперва ухаживал за Манеттой Тьери, землячкой и ровесницей, но в августе в соседнюю квартиру въехала тридцатилетняя владелица швейной мастерской Катрин Лора Лабе, хорошенькая блондинка. Сошлись, стали жить вместе, через месяц она забеременела. Неясно, как он к этому отнесся, заходила ли речь о свадьбе, были ли шантаж и ссоры, — все возможно. Катрин была ему не пара, мать пришла бы в ужас, да и неизвестно, питал ли он к ней сильное чувство,

как, впрочем, и она к нему. Возиться с чужими детьми он любил, но сам еще не был взрослым. Катрин была женщиной опытной, имела знакомых врачей, если бы она захотела сделать аборт, это не составило бы труда.

Первые полгода его служебные обязанности заключались в надписывании конвертов, но как-то осенью Орлеанскому понадобилось срочно скопировать письмо, под рукой никого не оказалось, Удар привел к нему Дюма, тот проявил сноровку: благодаря фотографической памяти ему достаточно было один раз пробежать глазами абзац, чтобы переписать его; письмо было юридического характера, длиной в 50 страниц, спустя 25 лет в мемуарах он привел его почти дословно. Герцог был доволен, и с 1 января 1824 года Александра приняли в штат с окладом 1500 франков в год. Он написал матери, что твердо стоит на ногах. «Мама была так же одинока без меня, как я без нее, в ответ на мое письмо она закрыла магазин, продала часть нашей потрепанной мебели и сообщила, что выезжает в Париж, везя с собой кота, кровать, комод, стол, два кресла, четыре стула и сто луи[6] наличными. Сто луи! Теперь мы были обеспечены на два года и могли чувствовать себя в безопасности». Он нашел комнату на улице Фобур-Сен-Дени, 53, второй этаж, дом приличный, населен чиновниками, правда, идти до работы дольше (полчаса); кот Мисуф (кот Доктор давно умер) утром провожал его, вечером встречал. «Завидев меня издали, он начинал бить хвостом по мостовой, затем, по мере того как я приближался, вставал и начинал прогуливаться поперек улицы Вожирар, задрав хвост и выгнув спину. Как только я вступал на Западную улицу, Мисуф, как собака, ставил лапы мне на колени; затем, подскакивая и оглядываясь через каждые десять шагов, он направлялся к дому. В двадцати шагах от дома он оборачивался в последний раз и убегал. Через две секунды в дверях показывалась моя мать… И что любопытно — в те дни, когда я не должен был вернуться к обеду, можно было сколько угодно открывать Мисуфу дверь: свернувшись в позе змеи, кусающей свой хвост, Мисуф не трогался со своей подушки. Напротив, в дни, когда я должен был прийти, если Мисуфу забывали отворить дверь, он царапал ее когтями до тех пор, пока ему не открывали».

Вскоре сосед, умирая, оставил им две комнаты. «Мы были счастливы быть снова вместе; маме, однако, было нелегко разделить мои надежды, она помнила долгую и грустную жизнь, которой мы жили раньше, и она пережила столько разочарований и горя. Я как мог старался ее развлечь и через Удара, Арно и Левена выпрашивал для нее билеты в театр». (А Катрин? Отношения, видимо, как-то поддерживались, но он был

маменькин сынок, а не отец семейства.) Карьера шла в гору, с 10 апреля он получил должность делопроизводителя — еще 100 франков в год, но и обязанностей прибавилось. С 10.30 до 17 переписка бумаг, несколько раз в неделю нужно снова приходить в контору к 8 вечера «составлять портфель», то есть слать Орлеанскому с курьером вечерние газеты и почту и получать указания на завтра: это могло занять несколько часов. 27 июля 1824 года Катрин родила сына, 29-го в мэрии сделана запись, что ребенок «родился по месту проживания его матери мадемуазель Катрин Лабе». Но ни отец, ни мать его не признали. Такие были порядки (по Гражданскому кодексу, основанному Наполеоном и сохранившемуся при Реставрации): указание имен родителей внебрачного ребенка не означало, что они принимают права и обязанности по отношению к нему, если не напишут заявление, — это было гуманно по отношению к матерям-одиночкам и облегчало дальнейшее усыновление. Почему Александр не написал такой бумаги, ясно: не был готов к ответственности, боялся, что узнает мать; о мотивации Катрин судить трудно, не такая она была «темная», чтобы не знать порядков; может, хотела отдать сына на усыновление, потом передумала. Вообще об отношениях между родителями Александра-младшего в тот период ничего не известно; алименты отец платил, но как много — не узнать.

16 сентября 1824 года умер Людовик XVIII. Был он реакционером: до предела (так казалось) ужесточил цензуру; восстановил почти отмененные Наполеоном выборы, но так хитро манипулировал избирательным цензом в сторону понижения, одновременно перекраивая избирательные округа, что волеизъявление среднего класса горожан, склонных к опасному либерализму, было максимально урезано; при нем правительство провело законы об отмене свободы личности (лицо, обвиняемое в злоумышлении против короля или против государственной безопасности, можно было арестовать и держать под стражей длительное время без суда) и о «призывах к возмущению»: люди, повинные в сем, подлежали не судам присяжных, а специальным «тройкам», приговаривавшим направо и налево к казни, — и все же его младший брат, взошедший на престол под именем Карла X, считал Людовика отступником: тот правил, не короновавшись, не посмел отменить конституцию и уделял недостаточно внимания религии. Однако Карл обнаружил, что брат оставил ему неплохое наследство: премьера-консерватора Жозефа Виллеля и послушный парламент — из 431 депутата формально 17 оппозиционеров, а на деле всего 5–7; один из них, банкир Казимир Перье, говорил: «Нас семеро, но за нами вся

Франция», но мало ли кто что говорит, королю лучше знать, за кем его страна; конституция — бумажка, можно ничего не менять. Ничего не менялось и в жизни Александра: жил с мамой, к Катрин заходил изредка (приносил деньги и игрушки для сына), с Левеном ходил в тир и гребной клуб, с Тибо занимался химией. А 5 января 1825 года состоялась его первая дуэль.

Дуэли во Франции давно считались пережитком, попытки их запретить делались с XVI века, было множество подзаконных актов и указов, которые не соблюдались, вообще в этом вопросе была страшная правовая неразбериха. Революция запретила дуэли; Наполеон не запретил, хотя считал глупостью, и его Уголовным кодексом 1810 года они не регулировались. В 1818-м Верховный суд постановил, что в случае смерти или ранения одного противника другой должен привлекаться к уголовной ответственности как за убийство, или покушение, или причинение вреда здоровью, но присяжные дуэлянтов оправдывали, если не было доказано, что дуэль проходила «нечестно». С 1819 по 1836 год (когда граф де Шатовильяр опубликовал дуэльный кодекс) во Франции ежегодно бывало около пятисот дуэлей, погибло за этот период несколько десятков человек; дралась больше молодежь, считавшая, что дуэль — это круто, но порой и солидные люди. Александр дуэли не искал, так вышло: в кафе с сослуживцами в обеденный перерыв играли на бильярде, какой-то тип «наехал», начались переговоры, противник выбрал шпаги.

«В вопросе о храбрости я заметил за собой следующее. Я с готовностью бросался навстречу опасности, если она грозила мне немедленно, моя храбрость не подводила меня, потому что меня поддерживало возбуждение. Если же я должен был ждать несколько часов, мои нервы сдавали и я начинал трусить. Но постепенно моральная смелость преодолевала физическую трусость, и я заставлял себя держаться как должно. Прибывая на место, я трясся как осиновый лист, но не подавал виду, что волнуюсь… Я возвратился домой, не сказав маме ни слова о произошедшем, и провел с ней весь вечер… Наутро я встал в восемь, что-то соврал маме, чтобы объяснить ранний уход из дому, поцеловал ее и ушел, спрятав под плащом отцовскую шпагу» (предмет в XIX веке вполне прозаический). Противник не явился, пошли к нему домой, оказалось — проспал. Перенесли дуэль на завтра. «Рабочий день прошел обыкновенно, я старался отвлечься работой и болтовней, чтобы забыть, что мне предстоит. Только сердце сильно колотилось, и была судорожная зевота». Домой опять пришел рано и не отходил от матери. Дуэль состоялась: противники чуть оцарапали друг друга. «Мама

никогда не узнала об этой дуэли, она умерла бы от горя, если бы у нее возникло хоть малейшее подозрение». О том, что у ее сына есть ребенок и любовница, мать тоже не подозревала: с нею «Сашенька» всегда был такой домашний, такой котеночек, такое послушное дитя…

Новый правитель меж тем показал зубы. В тронной речи он обещал «реформы, требуемые интересами религии»; правительство представило парламенту проект закона «О святотатстве», по которому за «осквернение святынь» грозила тюрьма, за «осквернение» в публичном месте — казнь. Против закона выступали герцоги, бароны, разные заслуженные личности; писатель Шатобриан, религиозный человек и монархист, сказал в палате, что закон «оскорбляет человечество»; тем не менее 20 февраля 1825 года он был принят. 29 мая Карл X короновался в Реймсском соборе; церемония произвела на образованных людей, за годы республики, империи и тихого правления Людовика XVIII отвыкших от показной религиозности, гнетущее впечатление, особенно эпизод, когда король «исцелял» больных золотухой. У семьи Дюма к этому моменту кончились деньги: вроде крупных покупок не делали, как-то так, сквозь пальцы утекли… «Мы были ошеломлены; теперь я был обязан найти дополнительный заработок». Из попыток написать пьесу с Левеном ничего не вышло, позвали третьего, Джеймса Руссо, сочинили водевиль в стихах «Охота и любовь»: эпоха Генриха IV, сюжет, как положено, дурацкий: подслеповатый охотник чуть не застрелил отца невесты. Выбрали самый простой способ соавторства: вместе составили план, получилась 21 сцена, каждый пишет по одной трети, Дюма — первую. В его зрелые годы ходили легенды о том, как легко он пишет, — набело без единой помарки, так и бывало, но поначалу работа давалась трудно и выкроить для нее время тоже было нелегко: после вечерних дежурств он уставал, не мог сесть за стол. «Тогда я укладывался в постель, положив работу около кровати; я спал часа два, а в полночь мама будила меня и сама ложилась. Эта привычка работать в кровати так в меня въелась, что и потом, будучи свободным человеком, я продолжал писать таким же способом».

Руссо свою треть не сделал, но работу соавторов отредактировал; театр «Жимназ» отклонил пьесу, театр «Амбигю комик» (второсортный) — взял. Гонорар — 12 франков с каждого представления и несколько бесплатных билетов; авторы попросили денег за месяц вперед, Александр получил 50 франков и был счастлив. Премьера состоялась 22 сентября, на афише среди имен — Дави де ла Пайетри, так назваться советовал

Лассань: звучит красиво, и на работе никто ничего не узнает (к клерку, сочиняющему пьесы, начальство и теперь отнеслось бы настороженно). Ни провала, ни успеха: пустячок. Драматург Гюстав Вульпиан хотел делать пьесу по мотивам «Тысячи и одной ночи», предложил Лассаню соавторство, тот привлек Александра, написали историю о том, как человек приехал на некий остров, женился по расчету на дочке губернатора и тут узнал, что по островному обычаю, если жена умрет, муж обязан сойти с ней в могилу; получилось смешно, гораздо лучше «Охоты и любви», но пьесу «Новый Синдбад, или Свадьба и похороны» никто не взял — возможно, потому, что она была оригинальнее, чем положено быть дурацкой комедии.

28 ноября умер благодетель Александра генерал де Фуа, либерал, на похоронах произносились вольные речи, подписка в пользу его детей за несколько недель дала миллион, официозные газеты писали о покойном гадости, был задет и друживший с ним Орлеанский. В ответ молодые поэты изливали потоки элегий на смерть Фуа, Александр тоже написал: «И всякий день, рыдая над могилой героя благородного, мы в ужасе твердим: еще камнем меньше в фундаменте Храма Свободы…» Издал на свои деньги, и не зря: молодой, но уже популярный критик Этьен Араго в только что основанной газете «Фигаро» хвалил и рекомендовал для посвященного Фуа сборника. Это был успех, и Александр налег на политическую поэзию: стихотворение «Раненый орел» о Наполеоне, «Канарис» — о герое освободительного движения Греции. Но их никуда не взяли. Политической была и его первая прозаическая вещь — новелла «Бланш де Болье, или Вандейка».

Эпоха террора, генералы Оливье и Эрвильи отправлены подавить крестьянский бунт: «Если бы вечером 15 декабря 1793 года кто-то направился в деревню Сен-Крепи и остановился на гребне холма, у подножия которого течет речка Муэн, он увидел бы в долине, по другую сторону холма, интересное зрелище. Прежде всего, отыскивая взглядом деревню, он бы заметил на горизонте, уже затененном сумерками, три или четыре столба дыма, выходящих из разных оснований, соединяющихся вверху и увлекаемых влажным западным ветром на восток, где они теряются за тучами. Он увидел бы, что дым медленно краснеет, затем растворяется, а с остроконечных крыш с унылым ревом взвиваются языки пламени, крутясь и изгибаясь, как мачты корабля; он увидел бы, как окна лопаются от жара; всякий раз, когда обрушивалась очередная крыша, он видел бы более яркое пламя, сопровождаемое полчищами искр, и кроваво-красный свет пожара и слышал крики пробегающих по деревне солдат. Он услышал бы эти крики и смех и с тревогой сказал бы себе:

„Господи помилуй, вояки подпалили деревню!“ И в самом деле, отряд из 12 или 15 человек нашел покинутую деревушку Сен-Крепи и поджег ее. Это была не жестокость, но способ вести войну, военная кампания, как любая другая; опыт показывал, что это было единственное разумное поведение на войне».

Маленький крестьянин бросается к генералу Оливье, моля о пощаде, и оказывается девушкой Бланш. Оливье влюбился; чтобы узнать о судьбе отца девушки, командующего мятежниками, он обращается к революционному чиновнику комиссару Дельмару, славящемуся жестокостью; тот отвечает, что повстанцы пойманы и расстреляны. «Дитя мое, — проговорил Дельмар, выпуская ее руку, — не думаете же вы, что порядок в стране можно восстановить без небольшого кровопролития, что можно нарубить дров, не трогая деревьев? Разве может революция сделать людей равными без того, чтобы не подрубить высовывающиеся головы? — Он сделал паузу, потом продолжил: — В конце концов, что такое смерть? Лишь сон без сновидений и пробуждения. Что такое кровь? Красное вино — почти как в этой бутылке… Выпейте. Ну что ж вы? Язык проглотили?»

Оливье увез Бланш к своим родным в Нант; выяснилось, что ее отец жив, все хорошо, но однажды явился Дельмар и увидел дочь «врага народа». Ее не тронули, но Оливье внезапно отозвали на фронт. Прощание: он уверен, что его чувство безответно. «„Он уходит, — сказала она себе, — возможно, чтобы воевать против моего отца“. — Пощадите папу, если он попадется; помните, что его смерть меня убьет… Чего еще я прошу? — прибавила она, опустив глаза. — Сказать по правде, я думаю об отце лишь после того, как подумаю о вас…» Слепой от любви, Оливье продолжает считать, что противен ей, уезжает, но узнает, что она арестована, и, примчавшись в Нант, добивается свидания в тюрьме. Эпизод обнаруживает у начинающего автора отличное чувство сцены. «Все еще ослепленный внезапным переходом от света к темноте, Оливье протянул руки, как человек, идущий во сне, пытаясь произнести имя Бланш, которое его губы не могли выговорить, не в силах ничего разглядеть в окружившем его мраке. Он услышал полузадушенный вскрик. Девушка кинулась к нему в руки и прижалась; она узнала его сразу, потому что ее глаза уже привыкли к темноте. Она бросилась в его объятия, потому что страх заставил ее забыть свой возраст и пол; она думала только о жизни и смерти. Она цеплялась за него, как потерпевший кораблекрушение моряк цепляется за скалу, с невнятными рыданиями, и ее тело в его руках конвульсивно дергалось.

— Ой! О-о! Вы не бросили меня! — смогла она выговорить в конце концов. — Вы пришли — вы приехали — вы не бросите

меня, вы заберете меня, вы не бросите меня здесь!

— Я бы ценой своей жизни увез вас немедленно, но…

— Ой, пожалуйста, пожалуйста, гляньте же вокруг, эти стены мокрые, с них течет, солома грязная! Вы же генерал, вы все можете…»

Но единственное, что он может — жениться на ней и просить помилования жене революционного генерала; священник в тюрьме их венчает, Оливье мчится в Париж к Робеспьеру (диктатору), и тот дарует милость. Оливье спешит в Нант. Но поздно. «В эту самую минуту палач, держа в руке голову девочки с длинными светлыми волосами, показывал зрителям омерзительный спектакль; испуганная толпа отворачивалась, потому что казалось, будто голова истекает реками крови! Вдруг в толпе притихших людей раздался бешеный вопль, в котором, казалось, сконцентрировались все человеческие силы. Оливье увидел в сжатых зубах головы розу, которую он подарил молодой вандейке».

Какая необузданная фантазия! Но рассказ основан на фактах. Революционный генерал Марсо пытался спасти вандейскую аристократку Анжелику де Мелье, но она была гильотинирована в 1794 году, а в Нанте в то же время свирепствовал садист — комиссар Каррье. Александр прочел то и другое в книге историка Матье де Вильнава и соединил. Читатель, желающий изучать творчество Дюма, обязан прочесть этот рассказ: он великолепен в своей беспощадной сухости, которая делает финал не мелодраматическим, а трагическим, и показывает, что литературная судьба Александра Дюма могла быть иной, чем стала: менее громкой, быть может, но более чтимой критиками. Но по большому счету он никогда и не сворачивал с обозначенной «Бланш» дороги. Образы истории навек его заворожили, и то были исключительно страшные и мрачные образы: сверкающий нож гильотины, палач, тюремная камера, отрубленная голова, сочащаяся кровью.

Следующий рассказ — «Лоретта, или Свидание»: 1812 год, в деревне немка подобрала раненого француза, выходила, полюбила; он вернулся на фронт, уговорились встретиться после войны на кладбище. Прошел год, разгром под Москвой, армия бежит, в той же деревне, на кладбище, — бой, герой вновь ранен; оседая наземь, скользкой от крови рукой он хватается за камень и слепнущими глазами читает на нем имя возлюбленной. Джек Лондон сказал: «Какое счастье, что для людей, близких к отчаянию, существует утешительный Дюма». Да уж, утешение: хороших людей убивают, плохие здравствуют. Чуть более оптимистичен рассказ «Мари»: брошенная девушка пыталась

утопиться, прохожий ее спас, соблазнителя убил на дуэли. Отметим, что во всех трех новеллах (в их первой редакции) нет «фирменных диалогов Дюма» — в них вообще мало диалогов, и все они написаны на заимствованный сюжет («Лоретту» Дюма прочел в книге, «Мари» услыхал от знакомого). Печатать рассказы никто не взялся. Дюма прочел их в доме земляка, типографа Сетье, хозяйка умолила мужа войти с автором в долю: каждый вносит 300 франков и получает половину прибыли. Книжка «Современные рассказы» вышла в издательстве «Сансон» 27 мая 1826 года тиражом в тысячу экземпляров, а покупателей нашлось лишь четверо. Но один из этих четверых был Этьен Араго, который вновь поместил в «Фигаро» доброжелательную рецензию, указав на недостатки: фразы сложноваты, а мысли простоваты…

Если никто не хочет нас публиковать, попробуем сами: Дюма с Левеном купили за бесценок разорившуюся газету, переименовали ее в «Психею» — «газету мод, литературы, театра и изящных искусств»: в первом, апрельском номере был помещен «Раненый орел», посвященный не военным подвигам Наполеона, а его Гражданскому кодексу, одной из первых систем гражданского права, необыкновенно прогрессивной для своего времени (он с поправками действует во Франции и поныне) — равенство всех перед законом, свобода совести и вероисповедания, гражданский брак, развод и даже авторское право. Кодекс был так удобен, и все к нему так привыкли, что Карл X не посмел отменить его целиком, но пытался делать это постатейно; Дюма защищал его. Подобные стихотворения «на злобу дня» публиковались в каждом номере «Психеи», всего было опубликовано 19 стихотворений Дюма. Газета имела успех: сам Делавинь там печатался, входящий в силу Гюго дал два стихотворения. На работе Александр этой деятельностью не хвалился, но там пронюхали, Удар ругался, Орлеанский отнесся благосклонно и, когда под его патронажем выходил альбом живописи «Литографированная галерея» с поэтическими комментариями, передал Дюма, что он может что-нибудь написать; тот выбрал художника Монвуазена, сам потом говорил, что стихи вышли — дрянь, но как упражнение полезны. Летом 1826 года театр «Порт-Сен-Мартен» взял «Свадьбу и похороны», пьеса была сыграна 21 ноября и выдержала 40 представлений. «С этого момента я принял решение… я должен был преуспеть или повеситься. К сожалению, я рисковал не одним собой; бедная мама была также втянута в эту игру».

«Психея» была неплоха, но не окупалась; в январе 1827 года, чтобы не платить налоги, Дюма и Левен газету ликвидировали и еще с тремя компаньонами основали новую — «Сильф», регистрировали ее под новым названием в конце каждого

налогового года и так протянули до лета 1830 года. На работе ворчали все сильнее, Александр надерзил Удару, тот нажаловался Девиолену, знавшему, по какому месту бить: «Когда я вернулся домой после составления портфеля, я нашел маму в слезах. Девиолен послал за нею, рассказал ей, что произошло между Ударом и мною, и сказал, что весь день в конторе обсуждали мое преступление… Как раз в тот период бедная мама, которая всегда боялась, что меня уволят — а я был близок к тому, чтобы оправдать ее опасения, — испытала очередное крушение надежд». Огюст Лафарг, юноша, что первым заразил Александра стремлением к чему-то большему, чем мещанская жизнь, бросил работу, занялся литературой, наделал долгов и умер. «Напрасно я говорил маме, что Лафарг не имел способностей, что он не боролся, а сдался без борьбы; напрасно убеждал ее, что Лафарг не обладал и долей моей энергии и настойчивости; факт был тот, что он голодал, страдал и умер в лишениях».

Другой ровесник Дюма, Фредерик Сулье, тоже взялся писать пьесы, но он владел лесопилкой, и литература не мешала его бизнесу; он пытался переложить «Ромео и Джульетту», не сумел, искал соавторов. С Александром они — «так как ни один из нас не чувствовал в себе сил создать что-нибудь хоть сколько-нибудь оригинальное» — сочинили пьесу по роману Скотта «Пуритане». Скотт был в моде, ставился в каждом театре; надеялись, что пьесу «Шотландские пуритане» оценит Тальма. «Но в нас обоих было слишком много индивидуальности, и мы беспрестанно ссорились. За два или три месяца бесплодных трудов мы нисколько не продвинулись… Но я извлек пользу из этой борьбы; я чувствовал, как во мне прибавляется сил, и, как у слепого, чье зрение восстанавливается, мой кругозор, казалось, расширялся с каждым днем». Он перевел «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера — «чтобы учиться, а не для заработка», написал трагедию на античный сюжет «Гракхи»; друзья сказали, что пьесы о политике, даже если их действие происходит в 127 году до нашей эры, никто не возьмет: любое упоминание о том, что где-нибудь был плохой царь, герцог или консул, цензура считает злостным намеком на Карла X.

Мать (которую беспрестанно осаждал мерзавец Девиолен) говорила, плача, что другим клеркам повышают зарплату; надо повиниться перед Ударом… Александр повинился, просил о повышении и в феврале 1827-го получил его — 1800 франков в год, с переводом в отдел благотворительности. Работа нравилась — обходить бедных, узнавать, кому чего надо, и оклад скоро повысили до 2000 франков в год, — но мать считала ее позорной, а Девиолен внушал ей, что это наказание. Она повеселела, когда

кроме Девиоленов появились другие знакомые. В Париже жил художник Гийом Летьер, знакомый отца, Александр долго уламывал мать к нему пойти, та наконец решилась, приняли их хорошо; Александр сдружился с Эженом Делакруа, стал читать о живописи. У Летьера жила воспитанница Мари Мелани д'Эрвильи, ухаживать за ней Александр не пытался, зато обсуждал медицину, которой она тоже интересовалась. Пока было неясно, для чего медицина могла ему пригодиться — он никогда не хотел стать доктором, — но он по ней с ума сходил и знакомства заводил преимущественно с врачами: знаменитым гомеопатом Кабаррю, увлекшим его своими идеями, молодым медиком, а впоследствии химиком и биологом Франсуа Распаем, врачом Луи Вероном, военным доктором Эженом Сю (тогда еще не писателем), его кузеном хирургом Фердинандом Лангле.

Жизнь докторов и ученых при Карле была несладкой. Как напишет много лет спустя Дюма в романе «Парижские могикане», «партия священников завладела настоящим и прошлым и уже потянулась расставить свои вехи в будущем». Карл сформировал еще более реакционное, чем у Людовика, министерство, куда вошли два епископа; палата, как взбесившийся принтер, штамповала один закон за другим: запретить, запретить, запретить, причем принимаемые законы наделялись обратной силой. Главное — запретить читать и писать: «закон [о печати] 1822 года, и так несправедливый и суровый, был объявлен недостаточным; Карл X… приказал придумать такой закон, который бы подразумевал негласную цензуру и был бы более обременителен для издателей, чем для писателей. На сей раз вдохновители этого закона хотели сразу покончить и с мыслью, и со средством ее выражения. Так, например, одной из статей этого закона предписывалось все рукописи в 20 страниц и более подавать за 5–10 дней до публикации. Если эта формальность не выполнялась, тираж шел под нож, а издателя приговаривали к штрафу в 3000 франков. Так издатели становились цензорами публикуемых произведений. Ответственность ложилась также на владельцев газет: штрафы были непомерные и доходили до пяти, десяти, даже двадцати тысяч франков!» (Пресса станет дороже — покупать ее будут меньше.) Законопроект представили в палату в начале 1827-го; правительственная газета «Вестник» назвала его «законом справедливости и любви» (знал ли это Оруэлл?). Из мемуаров Дюма: «Король, выступая перед депутатами, сказал: „Я обычно не обращал внимания на прессу, но с появлением привычки печатать политические статьи начались злоупотребления, которые требуют наказания. Пришла пора положить конец скандалам. Я за свободу печати, но ее надо

охранять от излишеств“».

Палата голосовала «за», но столкнулась с недовольством. Поскольку для целой отрасли затронута была не только свобода, но и колбаса, восстали издатели Франции, возмутилась всегда послушная академия. «В конечном счете этот закон, закон ненависти и мести, начал приносить свои плоды. С первых же дней его обсуждения бумажные фабрики, типографии прекратили работу; перестали поступать заказы, и книготорговля оказалась в плачевном состоянии… никто больше не осмеливался заниматься рискованным ремеслом, сулившим не только потери и банкротство, но еще и штрафы, грабежи, насилие и тюремное заключение. Самое нелепое и несправедливое во всем этом было то, что кабинет министров, единственный вдохновитель проявлявшихся волнений и недовольства, под этим предлогом добивался принятия законов, способных скорее раздражить, нежели успокоить умы; именно прессу кабинет министров обвинял в том состоянии дел, в котором только он один был повинен, и у министров не было других аргументов для своих противников, кроме того, что они предъявили трем уволенным академикам: „Вы враги правительства!“».

Верхняя палата (сенат), которая обычно ничем не занималась и о которой короли вспоминали, когда нужно было сманеврировать, предложила внести в закон поправки, и правительство его отозвало (хотя чиновники и писатели, протестовавшие против него, были оштрафованы на крупные суммы). «Восторг вспыхнул в Париже, жители вышли на улицы, поздравляя друг друга, типографские подмастерья бегали с криками „Да здравствует король“, и все махали белыми флажками. Но обезумевшее правительство послало войска, были выстрелы, были раненые, и стало ясно: отзывом „закона любви“ мы обязаны не уму короля, а его испугу». Ждали парада Национальной гвардии 29 апреля: что-то будет? Национальная гвардия Парижа при монархии формировалась из зажиточных горожан-добровольцев от двадцати до шестидесяти лет, приобретавших обмундирование на свои средства; король назначал главнокомандующего и полковников, офицеров ниже чином выбирали гвардейцы. Ее функция — помогать королевской гвардии (полиции), если случатся беспорядки, в остальное время — декоративная, что-то вроде казачества, но городского и сохранившего революционные традиции, а потому способного на фрондерство. На параде Карла встретили криками «Долой Виллеля!» (премьера). В тот же вечер он гвардию запретил. «Но с этого часа дальновидные глаза могли различить приближение туч, из которых прольется гроза 1830-го».

Глава вторая
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Приличному человеку, впрочем, не было нужды беспокоиться. Если по закону о призывах к возмущению кому-то отрубили голову, так то, наверное, были опасные смутьяны; закон о святотатстве, не желая быть посмешищем Европы, не применяли, Париж хорошел, культурная жизнь продолжалась, и, обругав в беседе с другом «взбесившийся принтер», горожанин в хорошем настроении отправлялся в театр. Главным был Французский театр, основанный в 1680 году, закрытый в революцию и возрожденный Наполеоном; вопреки его второму имени «Комеди Франсез» играли там преимущественно трагедии (Корнель, Расин), делая исключение для юмористов-классиков, Мольера например. Главные звезды: Тальма, Фермин (Жан Бекерель, 1787–1859) и мадемуазель Марс (Анн Франсуаз Буте Сальвета, 1779–1847), до шестидесяти лет игравшая девушек. В театре «Порт-Сен-Мартен» шли комедии, мелодрамы, звезды были молодые, например Мари Дорваль (Мари Тома Делоне, 1798–1849), с двадцати лет вдова с двумя детьми; маленькая, с неправильными чертами лица и хриплым голосом, стихов и аффектированных манер не любила, на сцене держалась «как в жизни»; Дюма видел ее в «Вампире». С ней играли красавцы Фредерик Леметр (1800–1876) и Пьер Бокаж (Пьер Тузе, 1799–1863). Были еще театр «Одеон» на грани банкротства и мелкие театры типа «Амбигю комик». Все они не шли ни в какое сравнение с Французским театром. Но, чтобы туда попасть, драматург должен был соблюдать определенные правила.

Господствовал классицизм: пьеса пишется александрийским стихом (вроде нашего шестистопного ямба), состоит из пяти актов, соблюдено единство действия, места и времени, актеры не бегают, не дерутся, а встанут и декламируют, обязательна мораль: как долг берет верх над чувством. В 1822-м приезжала английская труппа играть Шекспира — ее освистали, вообще относились к Шекспиру плохо. Почему? Французский театр: ясность, точность, изящество; Шекспир: грубость, двусмысленность, бестолковость; «Гамлета» Вольтер назвал «плодом воображения пьяного дикаря». Французы также не любят фантастики, ведьмы и мертвецы им не по нраву. Поэтому пьеса Дюси, где призрак был сном Гамлета и с ума никто не сходил, шла во Французском театре 82 года подряд. Плохи были и английские актеры: кричали, носились по сцене, говорили

прозой. Но вкусы менялись: когда в сентябре 1827-го Шекспира привезла английская труппа со звездами Эдмундом Кином и Гарриет Смитсон, ее встречали куда лучше; помог Вальтер Скотт, благодаря которому французы признали, что англичане не совсем чокнутые. Дюма: «Ветер поменялся на западный и принес театральную революцию». Гастроли открылись 7 сентября комедией Шеридана, на нее Александр не попал, но, отстояв полночи в очереди, взял билет на «Гамлета». Играли на английском, он языка не знал, но текст выучил заранее по переводу. «Сцена безумия, сцена на кладбище меня наэлектризовали. Только тогда я понял, какой может быть драма, и из руин моих прежних слабых попыток, разрушенных этим открытием как ударом, в моей голове начало складываться видение нового мира… Впервые я видел на сцене подлинные страсти…»

Он ходил на все лекции и выставки; приятель, Этьен Кордье-Делану (1806–1854), позвал послушать Матье де Вильнава (1762–1846), из чьей книги взят сюжет «Бланш»; он выступал в Пале-Рояле (многие его помещения сдавались в аренду) в рамках лектория «Атеней искусств». В 1839 году Дюма описал себя как слушателя: «Я никогда не мог дослушать до конца ни одного оратора или проповедника. В их речи всегда есть какой-то угол, который я задеваю, и моя мысль вынуждена сделать остановку, в то время как оратор продолжает говорить. После этого я, вполне естественно, рассматриваю предмет уже со своей точки зрения и тихонько начинаю произносить свою речь или свою проповедь, в то время как говорящий делает это громко…» О чем говорил в тот вечер Вильнав, он забыл, думая о его книге и о своей, о том, что Каррье, с которого он писал Дельмара, после очередного переворота сам расстался с головой, и «всё — зал, зрители, трибуна — изменилось: зал Атенея стал залом Конвента; мирные слушатели превратились в яростных мстителей, и вместо медоточивых периодов красноречивого профессора гремело общественное обвинение, требуя смерти и сожалея, что у Каррье только одна жизнь и ее недостаточно, чтобы заплатить за пятнадцать тысяч прерванных им жизней. И я увидел Каррье с его мрачным взглядом, полным угроз обвинителю, я услышал, как он своим пронзительным голосом кричит бывшим коллегам: „Почему упрекают меня сегодня за то, что вы мне приказывали вчера? Ведь, обвиняя меня, Конвент обвиняет себя; приговор мне — это приговор всем вам, подумайте об этом. Все вы подвергнетесь той же каре, к какой приговорят меня. Если я виновен, то виновно всё здесь; да, всё, всё, всё, вплоть до колокольчика председателя!..“».

Делану представил друга Вильнаву и его семье, в тот же вечер Вильнавы пригласили его в гости, и он влюбился в их дочь, тридцатилетнюю Мелани Вальдор, жену военного, мать двухлетней дочки. Изящная шатенка, образованная, возвышенная, пишет стихи, муж служит далеко (и она его не любит); живет с родителями и хозяйничает в литературном салоне отца. Почти все биографы датируют знакомство с Вильнавами июнем 1827 года (так утверждала Мелани), но, вероятно, ошибаются; Дюма писал, что это произошло во время гастролей англичан, да и «Атеней искусств» летом не работал. Первое письмо Александра Мелани датировано 7 сентября (большинство не датированы, и каждый исследователь относит их куда захочет), и это свидетельствует в пользу версии, что встреча состоялась в сентябре: не в его характере было ждать три месяца и не писать, а вот Мелани было невыгодно признаться, что она так скоро пала, — отсюда указание на июнь. «Забудьте мое вчерашнее безумие и мою откровенность, решительность, с которой вы отвергли мысль, что наша дружба может стать чем-то большим, почти излечила меня», — писал он 7 сентября, а уже 12-го: «Теперь я обладаю твоим доверием, я получил твои признания, у меня есть ты!.. Я буду везде, где будешь ты, я могу появляться во всех ваших салонах, эти равнодушные глупцы и не заметят, что я прихожу только ради тебя. Но теперь ты не будешь задыхаться, меня не будет бросать в дрожь, теперь нам обоим надо жить». 22 сентября они стали любовниками, видеться сложно, зато переписка бурная, она терзалась, он утешал: «Давай будем наслаждаться любовью в нашем с тобой маленьком мире для двоих, не будем обращаться мыслями к внешнему миру, где радость смешана с болью». Заметим, что письма Дюма, особенно женщинам — редкий случай для писателя, — не дают представления о его индивидуальности, словно составлены по шаблону: такое впечатление, что к переписке (исключение — письма детям) он относился как к рутине, которую должно совершать по установленным правилам. «Мелани, моя Мелани, я тебя люблю как безумный… тысячи поцелуев горят на твоих губах…»

Она хотела писать, он радовался. Никогда ему не будут нравиться домохозяйки — только женщины, занятые литературой или театром. Он печатал ее стихотворения в «Сильфе», один раз свое подписал ее именем. Она поддерживала в нем стремление к успеху, и салон Вильнавов ему помогал: новых знаний набраться, в «тусовку» попасть. Ее отец знал всех и вся, владел бесценной коллекцией книг, рукописей; человек, правда, был тяжелый, и с ним Александр не сошелся. Но в тот период Вильнав уже редко

заходил в гостиную, салоном заведовала Мелани, знакомившая друга с занятными людьми: старая герцогиня де Сальм, первая француженка, учившаяся в лицее, наполеоновский генерал де Сегюр, бывший послом при дворе Екатерины II (рассказывал о России), художники, политики, ученые. Врач Мелани (все дамы из общества были чем-нибудь больны) Пьер Валеран де ла Фоссе сам держал салон, Александр у него бывал, там встретил знакомую по дому Летьера Мари д'Эрвильи, вышедшую за доктора Хайнемана и тоже ставшую врачом: над ней посмеивались, но Александру нравилось, что женщина при деле. 9 ноября на выставке он увидел скульптуру Фелисье де Фаво, изображавшую шведскую королеву Христину с любовником. У него бывало, что картина, скульптура или музыка вызывали желание облечь их в слова, он полез в справочник «Всеобщая биография» и узнал, что Христина Августа (1626–1689), вынужденно отрекшаяся от трона и претендовавшая на ряд европейских престолов, в 1654 году в Фонтенбло приказала убить своего конюшего (а фактически — посланника во Франции) Мональдески. Французы решили не связываться и отпустили ее в Рим. Современники считали, что она убила Мональдески из страсти, нынешние историки полагают, что это была месть за политическое предательство. Дюма решил, что было и то и другое.

Он боялся не справиться, предложил соавторство Сулье, тот сказал, что сам уже пишет «Христину». Дюма отступать не захотел, свою пьесу назвал «Христина в Фонтенбло»: будет единство действия, пять актов, александрийский стих. Он применил метод, который станет использовать всегда: продумывал диалог в уме, рассказывал кому-нибудь, потом записывал. Редко кто может так работать, но его исключительная память позволяла. Но прежде чем писать, нужно много читать; он набросал лишь один акт к январю, когда его перевели из собеса в архив. Это считалось ссылкой, но ему нравилось: Бише, заведующий архивом, засадил новичка за каталог, а обнаружив, что тот выполнил месячный объем работы за три дня, сказал, что больше работы нет и можно заняться чем угодно. «Теперь мои вечера были свободны, и я как следует взялся за Христину… Я верил в свои способности, чего не было раньше, и смело кинулся в неизвестное. Но в то же время я не скрывал от себя трудностей профессии, которой посвятил жизнь; я знал, что она более всякой другой требует углубленных и специальных занятий, что, прежде чем начать экспериментировать с живым, нужно долго изучать мертвое». Стал читать Шекспира, Мольера, Шиллера и «препарировать» их: «Через некоторое время я понял, как они заставляли работать нервы и мускулы, какие разновидности

плоти они создавали, чтобы облечь ею скелет, как должна циркулировать кровь, проникая до самого сердца, каким восхитительным механизмом они приводят в движение нервы и мускулы… Я рассчитывал, что одновременно с работой смогу завершить и мое драматическое образование. Но это — ошибка, работа однажды может быть закончена, но образование никогда!»

Через два месяца «Христина» близилась к финалу, но Удар зашел в архив, увидел, что сотрудник пишет стихи, и перевел его в Департамент леса, в хозотдел: в комнате шесть клерков, шум, болтовня, анекдоты. В отдельной каморке хранились канцтовары и был лишний стол, Александр его занял, клерки заявили, что так не положено, ссора, драка, начальник отдела сказал, что новенький отстраняется от работы, а когда Девиолен вернется из командировки, ему доложат. «Мне сказали, что мое намерение сесть за тот стол — чудовищно». Он пошел к Удару — тот его прогнал, дома рассказал матери — она помчалась к жене Девиолена, та «не могла понять, как клерк может иметь какие-либо амбиции, кроме как стать клерком первого класса, как клерк первого класса может желать чего-либо, кроме как сделаться помощником старшего клерка, как помощник старшего клерка может стремиться к чему-либо, кроме как быть старшим клерком, и т. д.», но обещала вступиться. Александр написал объяснительную, приехал Девиолен и после скандала разрешил сидеть в каморке. В марте 1828 года «Христина» была окончена. «Я был так же смущен этим событием, как девушка, которая родила незаконного ребенка. Что делать с моим созданием, рожденным вне институтов и академий: задушить, как его старших братьев и сестер? Если бы хоть Тальма был жив! Но он умер, и я не знал никого…»

Знакомый суфлер посоветовал пойти к барону Исидору Тейлору — археологу, меценату, королевскому куратору Французского театра (там не было директора, актеры были пайщиками труппы). Как к нему попасть? Тейлор работал с Нодье, Александр вспомнил, как пять лет назад познакомился с последним, написал умоляющее письмо, тот припомнил (в Париже было не много мулатов, расхаживающих по театрам) и с Тейлором свел. «Христина» барону понравилась, он рекомендовал ее театральному комитету, 30 апреля — читка, понравилось всем «основоположникам»: свежо, но прилично и строго по форме. Но нужны поправки («герой не застрелился, а закололся», «вместо жены должна быть мать» и т. п.), их сделает заслуженный драматург Пикар. Тот сказал, что пьеса безнадежна, Тейлор настаивал, и «Христина» была принята с условием, что актер Самсон доработает ее вместе с автором. «К счастью, после этого

разговора я Самсона больше и в глаза не видел, говорю к счастью, потому что все эти скандалы привели к тому, что я пьесу всю переписал и это пошло ей на пользу». Еще две читки, приняли, но 30 мая отказала цензура, усмотрев намек на современность. К тому времени до Орлеанского дошли слухи, что его сотрудник написал пьесу, вероятно хорошую, раз ее взяли во Французский театр; он по своим каналам нажал на цензурное ведомство, и 13 июня «Христину» разрешили к постановке; королева — мадемуазель Марс, Мональдески — Фирмен.

Нужно понять, как был устроен театр того времени. До середины XIX века режиссеров в современном понимании не было. «Концепции» спектакля не существовало, классика ставилась по канонам, остальное — «как написано», мизансцены, трактовка роли — как актер захочет. Теоретически ставил пьесу сам автор. Но если он был молод или нетверд характером, верх над ним брали «звезды» и «основоположники»; если же сопротивлялся, получалась беспрерывная ругань. Дюма был кроток, таким садились на шею, Марс требовала переписать ее реплики, он возмутился, она перестала ходить на репетиции, другие актеры капризничали. Но в этом бедламе обнаружился неожиданный плюс — служебные романы. Первой возлюбленной, как считают большинство биографов, стала актриса-травести Луиза Депрео, за ней — Виржини Бурбье, будут и еще — не без счету, как впоследствии гласила молва и как утверждал он сам, но десятка два наберется; большей части этих романов подходит слово «интрижка», хотя письма были так же пылки, как к Мелани, которой он писал в тот период: «Ах! Как бы я хотел, чтоб у тебя не было ни семьи, ни состояния, заменить тебе семью и состояние и весь мир, быть всем для тебя, как ты все для меня, жить или умереть свободно, не вызывая ни слез, ни улыбок общества, быть чужими этому обществу, странниками; но все это мечта, мираж…»

Пока репетировали «Христину», он нашел в «Истории Франции» Луи Анкетиля новый сюжет. Король Генрих III (середина XVI века), как считалось, был гомосексуален и имел множество «миньонов», один из которых, Поль Сен-Мегре, был любовником жены герцога де Гиза, оппозиционера. Узнав об этом, Гиз, сам неверный муж, жену не любивший, предложил ей выбрать способ смерти — яд или кинжал. Она выпила яд, а потом муж признался, что это бульон. Но любовника убил; по тогдашним понятиям он был вправе, и даже король не мог ему предъявлять претензии. Александр поселился в библиотеке, стал копать, обнаружил у этого дела политическую подоплеку, а в «Журналах правления Генриха III и Генриха IV» Пьера де л’Этуаля

нашел эпизод из той же эпохи; граф де Монсоро заставил неверную жену вызвать любовника на свидание, где его убили. Прекрасное дополнение к основной истории. Отличные характеры, особенно де Гиз — «настоящий мужик», любимец народа, готовый на все, чтобы стать королем. Писать решил по-новому, как уже пытались писать Мериме и Гюго, только что опубликовавший пьесу «Кромвель»: действие в разных местах, вместо стихов — проза.

Действие пьесы длится два дня — 20 и 21 июля 1578 года. Первый акт: мастерская Руджери, астролога Екатерины Медичи, антураж колдовской, а разговор политический: королева хочет, чтобы ее сын Генрих избавился и от Гиза (конкурента), и от Сен-Мегре (шалопая); почти весь акт главные герои не появляются, зато зритель сразу узнает все их взаимоотношения. Екатерина подстроила свидание Сен-Мегре с женой Гиза, а тот нашел (привет Шекспиру) ее платок в комнате Сен-Мегре. Второй акт: Лувр, Генрих с фаворитами острит и щебечет, вдруг является — прямо с войны, в помятых латах — де Гиз, составляя контраст с этим цветником. Гиз убеждает короля создать партию «Католическая лига» и сделать его главой партии. Король раздумывает, а тем временем Сен-Мегре «достает» Гиза, итог — дуэль, назначенная на завтра. Третий акт открывается комической сценой в комнатах Гизов: паж герцогини расхваливает ей Сен-Мегре, в которого сам влюблен. Как в предыдущем акте, влетает мрачный Гиз; жену — тут Дюма историю переделал по-своему — принуждает выбрать не из двух способов смерти, а между смертью (яд) и жизнью (замани любовника в ловушку, я все прощу); она предпочитает смерть, пытается выхватить у мужа стакан с ядом, но тот так грубо, что она кричит от боли, выкручивает ей руки (вещь абсолютно немыслимая в классическом театре) и заставляет писать записку о свидании. Акт четвертый: Лувр, король умоляет Сен-Мегре быть осторожнее на дуэли и дает ему талисман, хранящий «от огня и железа», а тому не до короля с его докучной любовью, он рвется на свидание с женщиной. Финальный акт: на свидании герцогиня признается любовнику, что погубила его, и устраивает ему бегство через окно. Она ждет; входит довольный муж. Ему кричат снизу (там — двадцать убийц), что Сен-Мегре еще жив (действует талисман), и он бросает убийцам платок жены, чтобы жертву задушили (от этого талисман не хранит). От оружия, принадлежащего вам, смерть будет приятнее, с жестокой улыбкой говорит герцог жене…

Александр назвал пьесу «Генрих III и его двор», читал отрывки друзьям, всем нравилось. Внезапный удар: Французский

театр принял «Христину» драматурга Бро, обещали, что дойдет черед и до его «Христины», он не поверил, но духом не пал, так как уже был поглощен новой работой. «Я написал с тех пор пятьдесят драм, и ни одна не была лучше „Генриха III“, которого я написал в 26 лет». Шлифовал персонажей: Гиз не такой уж «правильный», он не только жесток и хитер, но и подловат: дуэль с Сен-Мегре, искусным бойцом, его пугала, и он нанял киллеров; женщина — как в жизни: она готова выпить яд, но сдается под угрозой побоев. Пьеса окончена в августе 1828 года, первое чтение у Вильнавов, актер Фирмен предложил устроить читку для основоположников и основоположниц — мадемуазель Марс будет отстаивать пьесу, где есть для нее роль (Екатерины? Как бы не так — молодой герцогини); так и вышло. 17 сентября театр принял пьесу без поправок, но произошла утечка информации, 20-го в «Театральном курьере» Шарль Морис написал, что Французский театр сошел с ума, намереваясь ставить «вредную и безнравственную» пьесу с намеками. Где намек, ведь Карл X не был ни гомосексуален, ни слабоволен, как Генрих? А вот где: в XVI веке короля хотел сместить сильный оппозиционер и сейчас хочет (Орлеанский); тогда на Генрихе закончилась династия (Валуа) и теперь может закончиться (Бурбоны); тогда король в конце концов убил Гиза и сам был убит, сейчас, понятно, такого быть не может, но…

Дюма ответил в той же газете, что ни на что не намекал, просто рассказал об историческом факте (врал: он и вся труппа хотели, чтобы актеры были загримированы немножко под Карла и Орлеанского). Цензура пьесу пропустила. Но на репетициях опять пошли скандалы, точь-в-точь по Булгакову: пьеса так хороша, что все основоположники хотят играть, а ролей нет. Марс пажом видела актрису Менжо, а Дюма — свою любовницу Депрео; она требовала, чтобы Генриха играл актер Арман, а Дюма хотел актера Мишло, потому что Арман был геем и в его исполнении Генрих выглядел бы карикатурно. В итоге Армана отстранили, Марс обиделась. «Временами мне казалось, что я схожу с ума, и у меня появлялось искушение все бросить». Отлучки на репетиции повлекли неприятности на работе: Дюма вызвали на ковер и, как герцогине Гиз, предложили выбор: прекратить прогулы или взять отпуск за свой счет. Он выбрал отпуск, но на что жить? Фирмен привел его к банкиру Жану Лаффиту, другу Орлеанского, тот выдал ссуду в три тысячи франков. Мать так и не смогла понять, кто же это дает ее сыну такие деньги и почему.

Премьера назначена на 11 февраля 1829 года, все пророчат успех, будут и деньги, можно снять хорошую квартиру для Катрин, самому разъехаться с матерью. 8 февраля он признался

Луизе, что она бабушка (сестра Эме приехала из Шартра, возможно, она посоветовала сказать). Он писал в мемуарах, что мать поплакала, но приняла известие нормально. Но через день, возвращаясь от Девиоленов, она упала на лестнице, прохожие внесли ее в пустующую квартиру. Ему сообщили: инсульт. «Через несколько минут я был с мамой: она полулежала в кресле; глаза были открыты, она была в сознании, но едва могла говорить. Она беседовала с мадам Девиолен, как обычно, обсуждали меня, как обычно, я был идиотом и негодяем, недостойным милостей, которыми Орлеанский меня осыпал, моя пьеса провалится, и я не смогу вернуть Лаффиту долг, меня уволят, и я погибну. Бедная мама сильно плакала, уходя, и оступилась…» Большинство биографов считают, что довел мать он сам рассказом о внуке, однако есть факт, что кровоизлияние случилось непосредственно после разговора со стервой Девиолен. Вот и пригодилась медицина: «Я пощупал ее пульс, подержал ее руку, которая безвольно упала; ущипнул ее, чтобы проверить чувствительность, и понял, что у нее удар, приведший к левостороннему параличу. Я поставил ее ноги в горячую воду с горчицей. Пока ждали доктора, я послал купить ланцет и был готов сам пустить кровь, если потребуется. Но доктор пришел быстро и все сделал, и она смогла немного говорить». Прибежала сестра, договорились с домовладельцем, что больная может оставаться в квартире (Девиолены и не подумали помочь), сосед принес матрацы, и дети остались с матерью на ночь, пришел еще один врач, шапочно знакомый богатый юноша, Альфен, прислал денег. «Я часто сталкивался с таким великодушием у женщин, но никогда больше — у мужчин».

9 февраля Александр, по его словам, пробился к Орлеанскому и пригласил на премьеру, тот, услыхав о несчастье, не мог отказать; в этом биографы сомневаются, но самый дотошный из них, Клод Шопп, доказал, что встреча была, хотя, по его мнению, Дюма просил о повышении оклада. Не видим причин не верить Дюма, так или иначе на спектакль герцог пришел. Автор бегал к матери в антракте, рассказывал, что все отлично. Не врал. Публика обомлела: так естественно все выглядело, и сюжет — не оторвешься, и намек все углядели… Он проснулся (на полу рядом с постелью матери) знаменитым — цветы некуда ставить. Но в тот же день цензура пьесу запретила. Тейлор устроил Александру аудиенцию у Жана Мартиньяка, министра внутренних дел, тот велел сделать изменения: гримировать Мишло так, чтобы он не был похож на Карла, и убрать оскорбление чувств верующих (пусть Генрих не благословляет шпагу своего любовника, а пошепчет над ней языческое заклинание). На второе

представление снова пришел Орлеанский — он не видел дурного в том, что его сравнивают с коварным Гизом (то был звоночек, которого либералы не услышали). Дальше — успех: более пятидесяти представлений подряд, восемь тысяч франков за пару месяцев, издатель Визар купил текст за шесть тысяч франков — о таких деньгах автор и не мечтал.

Ставили «Генриха» и в других странах, в том числе в России: премьера состоялась в Петербурге 14 октября 1829 года, В. А. Каратыгин играл Гиза, его жена — герцогиню. Немцы тоже перевели и играли пьесу, но отзывались о ней осторожно. Эккерман, «Разговоры с Гёте», 15 февраля 1831 года: «Он считает, что пьеса, которую давали вчера, „Генрих Третий“ Дюма, превосходна, но публике она не по зубам. Будь я сейчас директором театра, сказал он, я бы не решился ее ставить». А престарелый Гёте написал Дюма: «Будьте осторожны, не перетруждайтесь, работа без отдыха приведет Вас к краху… Нет ничего более ужасного, чем воображение, лишенное вкуса». Стендаль, бывший тогда в Англии, писал: «Лучшее из нового, что здесь опубликовано, это „Генрих III“. Эта пьеса, как „Ричард III“ Шекспира, судит слабого монарха. У нее есть большие недостатки, тем не менее ее представление можно считать самым выдающимся литературным событием этой зимы… Публика найдет в „Генрихе“ бесконечно меньше таланта [чем у Корнеля и Расина] и бесконечно больше интереса и драматического наслаждения». А в начале XXI века украинский режиссер Игорь Тихомиров в театре имени И. Франко поставил осовремененного «Генриха», где Гиз с балкона произносит пламенную речь, как на майдане…

Во Франции о «Генрихе» писали все газеты. Анри Труайя, один из двух биографов (второй — Андре Моруа), по чьим книгам русскоязычный читатель в основном представляет себе Дюма: «Либеральные издания… радовались шуму, поднявшемуся вокруг пьесы. Реакционные… говорили об упадке „Комеди Франсез“». На самом деле художественный водораздел не всегда совпадает с политическим. Была, конечно, критика иного рода: «Французская газета» писала о «скандальном заговоре против трона и алтаря», «Корсар» разъяснял читателям, что автор — иезуит, нанятый мировой закулисой, чтобы оплевать религию и патриотизм. Но и прогрессисты могли придерживаться реакционных взглядов в искусстве: Дезире Низар, оппозиционер, поносил драмы Гюго и Дюма, называя их «бредом развращенной, воспаленной фантазии», и велел театрам ставить исключительно классику. (Правда, впоследствии Низар из героя, сражавшегося на баррикадах, сделается консерватором — метаморфоза, нередко с

революционерами случающаяся; может, по тому, что революционер в молодости думает об искусстве, можно предсказать, станет он под старость реакционером или нет?) Литературная академия, где заседали драматурги-классицисты, в ужасе писала, что из-за таких, как Дюма, французский театр гибнет. Но погиб классицизм. Мемуары А. М. Каратыгиной: «Через два года Е. М. Хитрово привезла нам полученную ею из Парижа пиесу Дюма „Антоний“, которую мой муж перевел для своего бенефиса. Вслед за тем перевел он „Ричарда д'Арлингтона“, „Терезу“ и „Кина“, все три пиесы того же автора. Эти пиесы произвели совершенный переворот на нашей сцене, на которой до тех пор господствовал классицизм, а с тех пор вытеснен был романтизмом». Максим дю Кан: «Когда напишут историю романтизма, „Генрих III“ займет в ней самое высокое место. Пыль осядет под действием времени, и, когда мы посмотрим, каким был театр до этого, мы поразимся революции, которую произвел „Генрих“. Это важная веха, и автор — исключительный художник».

Позднее романтизм противопоставят реализму, но тогда он сам был отчасти реализмом: бурные, без правил, чувства и естественное поведение людей (правда, выражаемое довольно высокопарным слогом). Идеологом романтизма был Гюго, тоже сын наполеоновского генерала, но более удачливого, чем генерал Дюма, при Реставрации превратившегося в монархиста. Таким был и молодой (ровесник Дюма) Гюго: консерватор в политике, но революционер в литературе. (Позднее он станет прогрессистом во всем, что подтверждает нашу гипотезу: слушай не то, что юноша говорит о политике, а то, что он говорит об искусстве.) Но пока он был лоялен и его судьба складывалась гладко: опубликовав один роман («Ган Исландец») и написав по мотивам Скотта пьесу (провалившуюся) «Эми Робсар», он тем не менее к 25 годам был знаменит — как поэт. Познакомились так: Дюма послал билеты на «Генриха» Гюго и поэту Альфреду де Виньи, и они пришли. «До этого я знал Гюго только по имени — раз в библиотеке мне показали молодого человека, почти мальчика, одетого в голубой с золотом сюртук, желтый жилет, серые брюки и серо-белые ботинки, и сказали: „Вот Виктор Гюго“. Я поздоровался, но так как он не знал, кто я, он не ответил». А теперь — «на вершине успеха наши руки сошлись в рукопожатии и больше не разнимались».

«Генрих» был так популярен, что на него в четырех театрах шли пародии. Дюма с Левеном тоже сочинил пародию, «Король Дагобер и его двор», где король (правивший в VII веке), собирая на поединок своего любовника-лакея, пел ему песенку,

находившуюся тогда «в чартах». Цензура велела убрать Дагобера — вдруг спустя 13 веков найдутся его потомки и обидятся. Переименовали пародию в «Короля Пето» (аналог «царя Гороха»), премьеру сыграли 28 февраля в театре «Водевиль», куда ходила публика попроще; многие сначала смотрели «Пето», потом шли на «Генриха». Журналист, чьего имени Дюма не назвал, а исследователи не раскопали, написал, что это Орлеанский заказал «Генриха» «своему служащему» и что он всегда так «вершит свои темные политические и литературные дела». Дюма оскорбился не за герцога, а за «служащего», вызвал журналиста на дуэль, секундант — де Ла Понсе, недавно переехавший в Париж. Но оказалось, что у противника на тот же день назначена дуэль с известным журналистом и дуэлянтом Арманом Каррелем. Дюма был с Каррелем знаком (через Левена), договорились стреляться по очереди. Каррель был первым и ранил противника в правую руку, так что драться с Дюма тот едва мог, однако держался храбро, шутил; помирились и стали чуть ли не приятелями. Сразу две темы для «Трех мушкетеров»: дуэль в очередь и поединок, оборачивающийся дружбой.

Надо было что-то решать со службой. Девиолен требовал либо трудиться, как все, либо уволиться, но Удар, смягчившийся при виде успеха Дюма, советовал посвятить печатное издание «Генриха» Орлеанскому — вдруг тот предложит какую-нибудь синекуру. Дюма счел подхалимаж неприличным, пьесу посвятил Тейлору, а сам остался в подвешенном положении. Деньги были, он снял квартиру для Катрин на улице Шайо, 63 (пригород, зелено, ездил повидать сына дважды в месяц), для матери — на улице Мадам, 7 (первый этаж, садик, в соседях — Мелани Вальдор с матерью, разъехавшиеся с Вильнавом), для себя — на улице Университетской, 25 (четвертый этаж — любил жить высоко, хотя высоты боялся), недалеко от матери, и еще квартирку для встреч с Мелани. Нанял матери сиделку, всем — горничных и кухарок, сам решил столоваться в ресторане рядом с домом, заплатил за год вперед 1800 франков, а ресторан обанкротился через полмесяца. Больше он никогда никому не платил вперед.

Едва человек становился известен, парижанам требовался его портрет — не как произведение искусства, а как информация: фотографий-то не было. Александр позировал художникам Давиду д'Анжеру и Ашилю Девериа. Эмиль Жирарден, входящий в силу журналист, попросил написать для своего журнала «Вор» что-нибудь о театре. Интерес публики подогревался происхождением Александра: «Обо мне много болтали, мне приписывали разные высказывания и приключения, говоря, что у

меня должны быть африканские страсти». В этом оскорбительном любопытстве был и плюс: на общем фоне «черный человек» не затеряется. Но интеллигентные люди хотели его видеть не затем, чтобы поглазеть на «негра»; Нодье пригласил его, и он у Нодье почти что поселился.

Любящий молодежь и доброжелательный (в отличие от Вильнава) Нодье был еще большим эрудитом: круг интересов — от поэзии до зоологии. Из повести «Женщина с бархаткой на шее»: «Нодье знал почти все, что дано знать ученому; впрочем, он пользовался привилегией человека гениального: когда он чего-нибудь не знал, он выдумывал, и то, что он выдумывал, было куда увлекательнее, куда красочнее, куда правдоподобнее, нежели то, что существовало в действительности… Нодье знал всех — Дантона, Шарлотту Корде, Густава III, Калиостро, Пия VI, Екатерину II, Фридриха Великого — кого он только не знал! Подобно графу де Сен-Жермену, он присутствовал при сотворении мира и, видоизменяясь, прошел сквозь века». При этом в нем «жила какая-то врожденная покорность, какая-то склонность воспитывать в себе смирение, а это, в свою очередь, тянуло его к людям маленьким и смиренным. Нодье-библиофил разыскивал среди книг неведомые шедевры и вытаскивал их из библиотечных склепов; Нодье-филантроп разыскивал среди людей неизвестных поэтов, вытаскивал их на свет Божий и делал знаменитостями; всякая несправедливость, всякое угнетение возмущали его; он считал, что, когда люди мучили жабу, они были к ней несправедливы: они не знали или же не хотели знать, сколько в ней хорошего. Жаба — прекрасный товарищ…».

С 1824 года Нодье был хранителем Библиотеки Арсенала (основанной в 1757 году и ставшей публичной при республике), его служебная квартира стала местом первого объединения французских романтиков «Сенакль» (революционный в поэзии, «Сенакль» выпускал журнал «Французская муза», в котором высказывались самые консервативные политические взгляды); по воскресеньям у него собирались литераторы, как солидные — Альфонс де Ламартин (1790–1869), Казимир Делавинь (1793–1843), так и начинающие, некоторые — совсем дети: Гюго (1802–1885), Альфред де Виньи (1767–1863), Альфред де Мюссе (1810–1857), Альфонс Карр (1808–1890), Теофиль Готье (1811–1872); молодые критики и журналисты Шарль де Сент-Бёв (1804–1869), Нестор Рокплан (1804–1870); начинающие художники во главе с Делакруа (вождем романтиков в живописи); музыканты, включая Гектора Берлиоза; историки Адольф Тьер и Огюст Минье и вообще все актуальные или потенциальные знаменитости. Значение Нодье в жизни Дюма бесценно: Александр не только

получил от него мегатонны информации, познакомился с умными людьми и набрался манер, но нашел условного отца — человека, который о нем заботился и за которым нужно было тянуться. У Нодье была дочь Мари, красавица и умница; стань Дюма его зятем — жизнь могла сложиться иначе. Но она любила юриста Жюля Менесье, Александр даже не пытался за ней ухаживать. Он встречал у Нодье юную Дельфину Гай, будущего блестящего журналиста, Эмму Гюйе-Дефонтен, которая станет художником и музыкантом, и все они выходили за других. Интеллект в женщине его не отталкивал, а притягивал, но как-то не сложилось, а жаль: жена, за которой надо тянуться, ему бы не помешала.

Он посещал модные места и увлекался всем, что в моде; увлекся «магнетизмом» и, по его словам, обнаружил у себя способности к гипнозу. Правда, гипнотизировал он только дам, истеричных девочек-подростков и слуг: возможно, все они из разных соображений ему подыгрывали[7]. В те времена научная и литературная «тусовки» еще не были разделены, «вращались» все вместе, и в светском обществе зоолог мог быть не меньшей знаменитостью, чем актер; Александр познакомился с эволюционистом Жофруа Сент-Илером (существует история о том, как они спорили об анатомии кита и Дюма оказался прав; впрочем, рассказал ее Анри Блаз де Бюри, любящий фантазировать), с юным химиком и композитором Анри де Руозом, для опер которого потом будет писать либретто («Ждать и бежать», 1830; «Лара», 1835; «Римские разбойники», 1836; «Вендетта», 1839) и который, по мнению литературоведов, станет прототипом Калиостро из цикла «Записки врача». В начале мая Александр гостил у сестры в Шартре, потом поехал к морю, которого еще не видел, — в Нант, чей порт Сен-Назер расположен в месте впадения Луары в Бискайский залив Атлантического океана, а затем на судне «Полина» в город Пембеф. Биографы считают, что он в мемуарах ошибся, а плавал на самом деле в 1830-м, так как именно тогда опубликовал стихотворение «На борту „Полины“»; однако сохранилась рукопись этого стихотворения под названием «Отплытие», где рукой автора помечено: «10 мая 1829». В сущности, не важно, когда состоялась эта поездка, их могло быть и две, но нам еще встретятся эпизоды, когда хронология Дюма и его биографов не совпадут, и это будет принципиально; не факт, что правы всегда окажутся биографы.

В Париж он вернулся взвинченным, в плохом настроении; к этому периоду относят письмо к Мелани, непохожее на предыдущие, потому что писано не по шаблону, а от души: «Я один на свете!.. Не на кого опереться, не у кого просить помощи! Как все ужасно, ужасно, не только со мной самим, но и с моей

матерью и моим сыном… Я покинут и одинок, и не только я сам, но одиноки и брошены мною и мама и сын… Все, что счастье для других, — мучение для меня… Моя мать меня терзает, сын ничем не может помочь. Есть сестра, но ее все равно что нет. И если еще ты меня попрекаешь, вместо того чтобы утешить, — господи, что же мне делать? Жить одному, бросить мать, сына, родину и жить в изгнании, как какой-нибудь бастард безродный?» Тут, вероятно, сошлось много факторов: в житейском плане он был по-прежнему не устроен; с сестрой, очевидно, поругался; все от него чего-то требовали; когда первый интерес к нему схлынул, оказалось, что никому он не нужен. «Генрих» шел хорошо, но после 35-го представления Марс попросилась на все лето в отпуск, ее не пустили, она стала нарочно плохо играть; актеры, не имеющие ролей в пьесе, как казалось Дюма, его ненавидели и злорадствовали, когда на спектакль приходило меньше людей, чем в прошлый раз. И деньги разлетелись. Он отправил Орлеанскому несколько униженных писем и с 20 июня был назначен помощником библиотекаря: ранее эту синекуру получили Делавинь и историк Жан Вату. Оклад всего 100 франков в месяц, зато место в самый раз: ничего не делай (библиотека герцога и так была в образцовом порядке) и работай с книгами для своих нужд.

У Орлеанского был старший сын Фердинанд, девятнадцати лет, первокурсник гуманитарного коллежа Генриха IV (потом он еще окончит Политехнический), — мальчик дружелюбный, открытый, обаятельный, рисовал, писал стихи. В библиотеке он часто бывал, со стариками не сошелся, а тут новичок, молодой и уже знаменитый. Рассказы о несуществующих «страстях» и «приключениях» Дюма «добавили любопытства у ребенка, еще только становящегося мужчиной и любящего искусство»: «Он воспринимал меня если не как ровесника, то, по крайней мере, не дряхлого старца, и, когда только мог, приходил болтать со мной». Забалтывались так, что Орлеанский отправлял слугу на поиски сына, и юноша «робко просил: „Не говорите, что я был тут…“». Это один из немногих мужчин, которого можно назвать другом Дюма (приятелей-то полно), возможно, самый близкий друг. «Голос герцога Орлеанского, его улыбка, взгляд обладали магнетической притягательностью. Я не встречал в своей жизни даже женщин обаятельнее его, ничто не могло сравниться с этим взглядом, улыбкой и голосом… Если у меня было горе, я шел к нему, если у меня была радость, я шел к нему, и он всегда делил со мной и горе, и радость». (Даниель Циммерман считает, что они были любовниками, но, по Циммерману, Дюма состоял в связи со всеми мужчинами, которых называл красивыми, а также с родной

матерью; будь у Дюма хоть намек на такие наклонности, это не осталось бы не замеченным современниками.) У него не было младшего брата, теперь он приобрел его — чувствительного, мягкого, смотревшего на него разинув рот.

На службу он ходил не каждый день, а когда приходил, то сидел в углу и писал. Виржини Бурбье просила роль, он обещал переделать «Христину». Понимал, что столкнется с трудностями, — Французский театр вроде не отказывал поставить пьесу, но и не ставил. Жаловался Тейлору 6 июля: «Конечно, я хочу работать с Франсез. И я хочу читку, но этот театр такой косный, глупо выглядит, когда 60-летние изображают любовные страсти… Театр рассыпается от старости, и только молодые актеры или авторы могут его спасти». Гюго написал пьесу «Марион Делорм» — как сам признавал, под впечатлением от успеха «Генриха». Единство времени и места не соблюдается, говорят стихами, но не такими, как положено, король и «большие люди» плохие, «маленькие» — куртизанка и ее любовник, подкидыш, презираемый обществом, — хорошие, это тоже против правил. Гюго читал пьесу 10 июля у художника Эжена Деверия, были Делакруа, Виньи, Мюссе, Сент-Бёв, Мериме, Бальзак, Дюма и Тейлор; все восторгались, Дюма и нравилось, и не нравилось: «Первый акт — шедевр; почти без исключений, разве что Марион почему-то входит в окно, а не в дверь… Я слушал этот акт с глубоким восхищением, смешанным с печалью. Я чувствовал, как далеко мне до его стиля и как нескоро я его достигну, если достигну вообще. Я был убит блеском этого стиля — я, у которого никогда не было никакого стиля. Если бы мне предложили отдать десять лет жизни за стиль, я бы не колебался ни на миг». Другие акты его в восторг не привели, и стиля в пьесе Гюго было многовато. Тем не менее он был взбешен, когда цензура пьесу запретила (Людовик XIII плох, это намек на то, что плох Карл X), и написал для «Сильфа» стихотворение: злодеи «сгущают мрак», чтобы «загасить трепещущий огонек». Гюго стал писать пьесу «Эрнани», а Дюма взялся за «Христину». У него возник «неодолимый каприз» — поехать куда-нибудь, и в дороге все напишется. Он поехал в Гавр, город на атлантическом побережье, и, пока трясся 20 часов в дилижансе, придумал новую концепцию пьесы: «от первоначального варианта ничего не осталось». На океан посмотрел, устриц поел, купил всем подарки, через два дня заторопился домой: записать придуманное. Новое название: «Христина, или Стокгольм, Фонтенбло и Рим». Он добавил пролог, нарушил единство места и времени, описав юность королевы и ее смерть. Появилась и роль для Виржини: девушка Паула, любящая Мональдески.

Французский театр не заинтересовался, а Виржини объявила, что уезжает работать в Петербург. Но тут вмешался только что ставший директором театра «Одеон» Феликс Арель: он был прежде аудитором, чиновником, коммерсантом, в театре смыслил мало, но много — в рекламе; звездой «Одеона» была его любовница мадемуазель Жорж (Маргарита Жозефина Веймер, 1787–1867), в 1821-м оставившая Французский театр из-за соперничества с Марс. Арель поставил в «Одеоне» «Христину» Сулье, та провалилась, но Жорж хотела играть Христину и отправила Ареля к Дюма. Тот сразу поладил с примой: «Позволяет любые шутки и смеется от сердца, тогда как м-ль Марс лишь принужденно улыбается». В ноябре начали репетировать, но через месяц цензура заявила: намеки! Хоть и женщина, и в Швеции, но плохой монарх — намек! Мартиньяк, помогший с «Генрихом», с августа был в отставке, Дюма ходил к цензорам — безрезультатно. Оставалось только ждать неизвестно чего. «В дни этого ожидания я как-то шел по бульвару и вдруг остановился и сам себе сказал: „Мужчина, которого застал муж любовницы, клянется, что она ему отказала, убивает ее, чтобы спасти ее честь, и тем искупает свое преступление“».

Мужчина этот, как сказал Дюма, был отчасти навеян героем «Марион Делорм» — отверженный бунтарь, а сюжет — редчайший для него случай — собственной жизнью: связью с Мелани. Он к ней вроде охладел, но вернулся муж, разыгралась ревность, переписка, относимая к тому периоду, вновь искусственно пылкая: «О моя Мелани! Моя голова пылает, я близок к безумию… Эти глупые попы, которые изобрели ад с физическими страданиями! Что они понимали в пытках! Ад — представлять тебя в объятиях другого»; «Ты не можешь ничего сделать… Но есть власть Господня — да-да, Господня, так как я не атеист, что бы ты ни говорила, и никогда им не стану, ибо атеист не верит ни во что, а я, даже если перестану верить в Бога, буду верить в тебя»; «Полдень! Какое письмо я написал тебе? Если я мог бы вспомнить! Но, надеюсь, оно было так влажно от моих слез, что ты не сможешь его не прочесть… На час я забылся дурманящим сном с бредом и видениями…»; «Как ты могла подумать, что я умру, когда ты еще любишь меня? Я должен стать неверующим и богохульником, потому что уже не могу верить в Бога. Я должен проклясть его, чтобы отказаться от тебя»; «Она принадлежит мне, думал я. О нет, это ошибка… Не говорила ли ты, что веришь в рок? Это слово напоминает мне о нашей встрече: то был рок…» Поскольку эти фразы в чуть измененном, а то и неизмененном виде вошли в текст пьесы, закрадывается подозрение, что письма служили черновиком: нет, страдать-то автор, наверное, страдал,

но вряд ли «забывался дурманящим сном с бредом и видениями». Также маловероятно, что ему приходила в голову мысль убить Мелани, спасая ее честь. Но драма должна кончиться гибелью — иных финалов он не признавал.

В последние дни 1829 года он начал писать. Герой, Антони, любил девушку Адель, но общество не позволило ей выйти за него, так как он незаконнорожденный. Он уехал, она вышла за военного, родила дочь. Антони вернулся, писал ей, она его отвергала — «я другому отдана», но как-то на улице ее лошади понесли, он ее спас, сам ранен, лежит в ее доме (муж в отъезде), она пытается его избегать, потом признаётся в любви, но продолжает сопротивляться, Антони хитростью завлекает ее в гостиницу и добивается своего. Люди узнали, муж вот-вот примчится, Антони предлагает побег, она из-за дочери отказывается, он просит умереть вместе, но самоубийцей она не хочет быть тоже из-за дочери. В дверь ломится муж, Адель просит Антони ее убить, и он закалывает ее ножом. В январе 1830-го Александр закончил черновик. Первым слушателям казалось странно, что романтическую пьесу можно ставить на современном материале, когда герой ходит в обычных ботинках, а финал разворачивается в гостиничном номере с умывальником, но — нравилось. Максим дю Кан: «Сцена в гостинице с ее будничными декорациями и героями, одетыми в пиджаки, поражала душу ужасом и жалостью. Дюма — мастер своего дела, привнесший в театр новые элементы, позволившие целому поколению драматургов отказаться от старых мелодраматических ухищрений».

В это же время Александр по совету Нодье обратился за помощью по поводу «Христины» к графине Зоэ дю Кайла, фаворитке Людовика XVIII, сохранившей влияние при дворе. То ли она помогла, то ли пробивной Арель, но цензура отменила запрет. Тут проснулся Французский театр и стал претендовать на пьесу, Дюма решил вернуться к нему — нельзя же сравнивать главный театр с каким-то «Одеоном». Арель возмутился, был суд, 9 февраля вынесли решение в пользу Ареля, тот простил автора, и пьесу начали репетировать. А 25 февраля во Французском театре — премьера «Эрнани» Гюго: XVI век, дворянин, волею судеб ставший разбойником, любит дочь герцога, ее хотят выдать за будущего короля Испании Карлоса, жестокий отец девушки губит влюбленных и себя. Романтики были в восторге, но многие зрители возмущались, и было из-за чего, правда, претензия не к автору: «Фермин, 46 лет, играет Эрнани, которому 20 лет. Мишло, 44 года, — Карлос, 19 лет. М-ль Марс, 51 год, играет донью Соль, 17 лет…»

Гюго с 23 лет был кавалером Почетного легиона. Александру тоже хотелось, и он написал заявление в соответствующую инстанцию, то есть королю. В любой биографии Дюма мы читаем, что он сделал это, потому что любил отличия и побрякушки. Мотив, однако, не кажется убедительным. Серьезный молодой человек, который думает только о том, как лучше писать и как содержать две семьи, превратился в дурачка, лезущего из кожи вон ради ордена? Надо понять, чем был Почетный легион. Учрежденный Наполеоном в 1802 году, он представлял собой организацию типа военной, со званиями и окладами, хотя и небольшими; Бурбоны, все наполеоновское пытавшиеся извести, на Легион посягнуть не посмели, уж очень он был популярен, только на орден вместо Наполеона поместили Генриха IV, единственного французского короля, который всем нравился. Принадлежать к Легиону значило быть человеком чуть более высокого сорта, чем другие, иметь (если повезет) кое-какие льготы и возможность (больше теоретическую) общаться с сильными мира сего. Думается, Дюма был нужен Легион именно для статуса. Он был мулат, что не так предосудительно, как родиться евреем, но тоже нехорошо; болтали, что он незаконнорожденный — еще хуже, но Легион мог все это перечеркнуть; ему нужны были связи — Легион мог этому способствовать; наконец, он был безработным, и оклад ему бы не помешал. Его прошение не удовлетворили. Он поговорил с Фердинандом, тот — с отцом, и в марте 1830 года Орлеанский-старший написал королевскому уполномоченному по изящным искусствам, что просит поддержать ходатайство: «Драматические успехи Александра Дюма, мне кажется, этого заслуживают, и я был бы рад, если б он этой чести удостоился, учитывая, что он 6 лет работал в моем Секретариате и Департаменте леса и был все это время кормильцем семьи». Письмо действия не возымело, может, потому, что король относился к Орлеанскому все хуже. Сказанное выше о мотивации Александра не отменяет, разумеется, того обстоятельства, что награды он любил и тщеславным — был. 31 мая в Пале-Рояле был вечер, куда приглашали всех сколько-нибудь известных людей, его не позвали, он вновь излил душу «младшему брату», Фердинанд вновь обратился к отцу и выбил (с трудом) для друга приглашение. Александр проглотил обиду и на вечер пошел, правда, обнаружил, что это скучно и никому он там не нужен.

30 марта в «Одеоне» состоялась премьера «Христины», провал — затянуто. На квартиру автора поехали несколько знакомых, включая Гюго и де Виньи, Александр психовал, Гюго и де Виньи велели ему расслабляться с другими гостями, а они вдвоем за

ночь перепишут пьесу. (Сделали они это не только как приятели Дюма, а как соратники в борьбе романтизма с классицизмом.) Сидели четыре часа, пролог, эпилог, лишние реплики выбросили, плохие рифмы заменили. Второе представление прошло гладко, успеха, как у «Генриха», не было, но пьеса потом шла долго и вкупе с «Генрихом» принесла автору больше 50 тысяч франков, а издатель Барба купил права на текст за 12 тысяч (на сей раз автор написал посвящение Орлеанскому). Получив гонорар, купил лошадь, но почти ею не пользовался — ездить по Парижу верхом было не принято, только за город. Рецензии были доброжелательные, правда, Стендаль написал, что талант Дюма «второго класса» и «Христина» так же ниже «Эрнани», как зверобой ниже кедра. Ругали мадемуазель Жорж: стара, толста; Дюма и Гюго стали подумывать о своем театре с молодыми актерами. В апреле Мелани забеременела и отказалась делать аборт. Это было некстати — он к ней остыл, писал рассудительные письма: «В цивилизованном обществе свободен может быть народ, но индивид никогда не свободен. Нас окружают тысячи правил и условностей, которым время и привычка присвоили звание долга, и те, кто выходит за их рамки, преступны… Нас сковывают предубеждения сограждан и уважение к нашим родителям; мы не можем осуждать тех и других».

У него была другая любовь: весной он познакомился с актрисой (в том, что он выбирал актрис, нет ничего романтического — это его коллеги, с другими женщинами он почти не общался, ни в какие приличные дома, кроме дома Нодье, не был вхож) Мелани Серре (Белль Крельсамер, 1800–1875) — хорошенькая, бойкая, родила от барона Тейлора дочь и бросила ее; актриса третьесортная, ездила с временными труппами на гастроли в провинцию. Александр обещал ее устроить в театр, не смог, зато снял ей квартиру — теперь у него было уже четыре семьи. Мелани в июне уехала с матерью в Жарри (имение Вильнавов в Вандее), ее письма состояли из упреков, его — из просьб не «доставать»: «Как можно после трехлетней связи… все еще держаться за мелкие выяснения и мелкие придирки, свойственные начинающейся любви, — вот этого я понять не могу». Он почти открыто жил с Белль (быстро забеременевшей), отделывал «Антони», 9 июня написал финальную реплику, с которой Антони, стоящий над телом любовницы с ножом в руке, обращается к ворвавшемуся в номер мужу: «Она сопротивлялась — и я ее убил». Из рассказа «Кучер кабриолета»: «Я не знаю большей радости для поэта, чем та, которую он испытывает, видя, что его труд подходит к благополучному концу. Но этому

предшествует столько дней напряженной работы, столько часов уныния, столько тягостных сомнений, что когда в этой борьбе за воплощение своего замысла, к которому поэт подходил и так и эдак и наконец заставил его склониться перед собой, он переживает мгновение счастья, схожего при всей своей несоизмеримости с тем счастьем, которое должен был испытать Бог, когда, создавая землю, он сказал: „Да будет…“ — и возникла земля; как Бог, писатель может сказать в своей гордыне: „Я создал нечто из ничего. Я вырвал целый мир из небытия“. Правда, его мир населен лишь какой-нибудь дюжиной персонажей, он занимает в солнечной системе лишь 34 квадратных фута театральных подмостков и нередко рождается и гибнет за один вечер… Я говорил себе это или нечто похожее и видел, словно сквозь прозрачную завесу, что постепенно созданный мною мир обретает место среди литературных планет; его обитатели разговаривали сообразно моему желанию, двигались по моей воле…»

11 июня он прочел «Антони» Марс и Фирмену, 16-го — комитету Французского театра, все одобрили, цензуры бояться нечего (королей нет), премьеру планировали на сентябрь. Но цензоры пьесу зарубили. Потому что герой незаконнорожденный? Потому что он героиню изнасиловал? Нет: потому что рассуждениями о Боге он оскорбил верующих. Автору все осточертело. Франция воевала в Алжире, вот-вот получит новую колонию, журналисты собираются туда. Александр решил, что попробует писать путевые очерки, жанр популярный в отсутствие телерепортажей. 9 июля в Париж пришло известие о победе. Он заказал билеты на вечер 26 июля для себя и Белль. Но…

Глава третья
КОРОЛИ ЗАЖИГАЮТ КОСТРЫ РЕВОЛЮЦИЙ: УРОК ПЕРВЫЙ

Аффинити-группа действует как боевое звено — в нем может быть около пяти человек… Постоянно необходимо иметь в поле зрения своих товарищей, в случае, если одному угрожает опасность попасть в плен, остальные члены звена немедленно бросают свои дела и прилагают все усилия для того, чтобы вытащить его. Самая известная в нашей стране аффинити-группа — это три мушкетера: в идеале из таких групп должна состоять вся многотысячная толпа демонстрантов.

Петр Силаев

«В восемь утра Ашиль Конт[8] вошел ко мне в комнату и спросил:

— Слышали новости?

— Нет.

— В „Вестнике“ напечатали указы. Вы едете в Алжир?

— Я не такой дурак. Здесь мы увидим вещи поинтересней!

<…>

Я позвал слугу. „Жозеф, — сказал я, — подите в оружейную и принесите мое ружье и двести патронов двадцатого калибра!“»

Политикой Александр интересовался с тех пор, как шестилетним начал читать газетные передовицы. Его мемуары и романы «Парижские могикане», «Сальватор» и «Бог располагает», цитируемые в этой главе, — один из самых подробных и достоверных источников информации не только о событиях 1830 года, но и о том, что им предшествовало. «Очень поучительно оглянуться на прошлое и видеть, как в нем проявлялось будущее; можно заметить, как постепенно происходили изменения, и тогда понятно, что нет ничего внезапного или необъяснимого в

развитии вещей… С 1827-го и 1828-го все было готово к катастрофе 1830-го».

Великая французская революция отменила феодальные привилегии, учредила избираемую законодательную власть и конституцию, Наполеон создал Гражданский кодекс; отнять это у людей было нельзя — привыкли, и Людовик XVIII в 1814 году подписал Хартию, в которой признавались равенство граждан перед законом, свобода слова и вероисповедания; произошедшее при республике и империи перераспределение собственности тоже сохранилось. Но конституция — бумажка; мы видели, как Людовик и Карл с нею обращались. Несогласные, конечно, были, но мало. Адвокат Дидье, один из организаторов Общества национальной независимости, 5 мая 1816 года попытался поднять восстание в Гренобле — 24 мятежника были расстреляны. Умный Людовик пошел на кое-какие реформы: выборы сделали прямыми, а не косвенными, как по предыдущему законодательству, и отменили — на словах — право префектов вносить в избирательные списки «правильных» кандидатов. На выборах в палату в 1818 году прошло несколько оппозиционеров, большой роли они не играли, и все было тихо, а король продолжал лавировать и в 1819-м провел новые законы о печати: один заменял цензуру и предварительное разрешение на выпуск журналов денежным залогом, другой вводил ответственность «за преступления печати»: оскорбление короля — от шести месяцев до пяти лет и штраф. 13 февраля 1820 года фанатик Лувель убил племянника короля, это дало повод закрутить гайки, приняли новый избирательный закон с двойным имущественным цензом, парижане возмутились, 13 июня была демонстрация (несанкционированная — тогда иных не бывало), полицейские (королевские гвардейцы) убили студента. «Вы помните, что было в июне; смерть молодого Лаллемана, который был убит, пытаясь убежать, а после смерти обвинялся в том, что напал на солдата! Его отец написал королю. Но цензура запретила напечатать письмо отца в газетах. Месье Лаффит прочел это письмо в палате: „Сир, вчера мой сын был избит до смерти солдатом королевской гвардии, сегодня он опорочен газетами. Они лгут! Мой сын не пытался разоружить солдата, он проходил мимо безоружный и был убит ударом в спину“. Результатом того июня был заговор 19 августа».

Политические общества были запрещены еще при Наполеоне Уголовным кодексом, статья 291: «…подлежит роспуску любая организация более чем из 20 человек, не утвержденная правительством», но несогласные основывали подпольные группы; самым мощным считалось Общество карбонариев, куда,

по слухам, входили известные депутаты-либералы Манюэль и Дюпон де л'Эр, а возглавлял его 64-летний (1757–1834) генерал Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет, герой американской Войны за независимость, участник Великой революции, один из авторов «Декларации прав человека и гражданина», в годы террора вынужденный бежать, отсидевший пять лет в австрийской тюрьме, отвергший звание пэра, предложенное Наполеоном, при Реставрации — депутат от левой оппозиции и командующий Национальной гвардией Парижа. Но у французских карбонариев, в отличие от итальянских, порядка не было, и под эгидой общества собирались республиканцы, либеральные монархисты, бонапартисты (Наполеон-то еще не умер), крайне левые, тогда еще не называвшиеся коммунистами, и просто люди, любящие заварушки; объединились вынужденно и грызлись не переставая. «Молодые карбонарии смотрели на старых либералов с презрением, последние отвечали тем же. Карбонарии обвиняли либералов в слабости и нерешительности; либералы обвиняли карбонариев в дерзости и легкомыслии». 19 августа заговорщики, среди которых были военные, намеревались захватить дворец Тюильри; нашелся предатель, пошли аресты, руководители бежали и были заочно приговорены к казни, тотчас приняли упоминавшиеся законы об отмене свободы личности и о «призывах к возмущению». Дальше — больше: «Людовик XVIII, словно нарочно желая облегчить преемнику полный отказ от свобод, возродил закон от 31 марта 1820 и 26 июля 1821, то есть восстановил цензуру. Странное совпадение: всякий раз, когда цензуру восстанавливают, король вскоре умирает или теряет престол».

Весна 1822 года — заговор сержанта Бори в 45-м линейном полку в Париже, раскрыли его быстро, все лето шел процесс, нашлись смельчаки-адвокаты, превратившие суд в трибуну, но на приговор они не повлияли: смертная казнь. «Бори и его товарищи состояли членами тайного общества, враждебного правительству, однако эта враждебность не выражалась ни в каких действиях, к ним даже не приступали: не было ни одного случая бунта, сопротивления или хотя бы непослушания, в котором можно было их обвинить. Таким образом, их казнь была кровавым насилием, не имеющим ни причины, ни оправдания… За ларошельским процессом тотчас последовал процесс в Сомюре, и до конца 1822 года казни следовали одна за другой, не прекращаясь». «Все эти расправы умножали озлобление и сеяли в умах глубоко запрятанное негодование… Но до поры до времени робкие были напуганы: движение карбонариев утратило часть своей славы, немало зависевшей от таинственной мощи и непобедимости,

которые ему приписывали. Ведь до того многие члены заговора воображали, будто служат силе, с которой правительство не посмеет бороться, а правосудие обратится в бегство перед ее напором. Когда же они увидели, что суды приговаривают к смерти всех, кто попадется под руку, в рядах заговорщиков возникла паника, — это был разгром. Началась анархия… Разлад становился все острее, скоро дошло до взаимных обвинений, и движение карбонариев, вначале спаянное преданностью общему делу, кончило тем, что погрязло в интригах. С закатом карбонариев кончилась эра тайных обществ. Как ни оплакивай, ни прославляй мучеников, боровшихся за свободу и лучшее будущее, надо признать, что заговоры становятся анахронизмом во время народного представительства и независимой прессы. Зачем прятаться в подвале или в запертой комнате, чтобы шепотом говорить о своей ненависти к правительству, когда можно заявить об этом громко с трибуны или на газетных страницах? Лучший, самый подлинный заговор — это открытое, на глазах у целого света объединение всех идей, всех устремлений и потребностей; это крестовый поход цивилизации против невежества, из прошлого в будущее… Такой заговор не боится быть раскрытым, ибо он заявляет о себе сам, и не опасается разгрома, поскольку борьба ведется от имени всего народа».

В феврале 1823 года депутат Манюэль выступил в палате против намерения правительства послать войска на подавление революции в Испании, партия власти исключила его из депутатов (процедура, нигде не прописанная), полиция вывела его из зала силой, с ним ушли 62 более-менее оппозиционных депутата (потом вернулись), Лафайет ушел насовсем и уехал в США, в конце года король распустил палату, выборы 1824-го прошли с невиданным прежде административным давлением и подтасовкой голосов, новая палата, где оппозиционеров можно было перечесть по пальцам, первым делом приняла закон, заменявший пятилетний срок депутатских полномочий семилетним, причем распространила действие закона и на себя, хотя была избрана на пять лет. Воцарился Карл X и со своим кабинетом министров, «который на каждой новой сессии словно ставил целью уничтожить какую-нибудь из обещанных свобод», наводнил страну новыми законами и старыми порядками. «Театральные представления и балы в Тюильри были отменены, а вместо них произносились проповеди — все упражнялись в благочестии… Откройте наугад любую газету того времени, и вы непременно найдете неизменную, привычную, избитую фразу, которую издатели перепечатывали друг у друга, дабы избежать

лишних расходов на составление ее: „Сегодня поутру в семь часов король слушал в часовне мессу. В восемь часов Его Величество отправился на охоту“… Можно было подумать, что население ликовало, восхищалось, читая каждое утро эту захватывающую новость; совершенно непонятно, как оно могло восстать против столь благочестивого перед иезуитами короля и такого великого перед Богом охотника!» На школу церковь начала наступать еще при Людовике — с 1822 года от учителей начальных школ требовалось свидетельство о религиозной подготовке; при Карле создали министерство «духовных дел и народного просвещения», глава которого, епископ Фрейсину, увольнял учителей по доносам о недостаточном благочестии, из школьных программ изымались разделы и эпохи, итог: «Многие родители, встревоженные тем, что образование полностью подпадает под влияние монахов… забирали детей из пансионов и коллежей и, насколько это было возможно, пытались воспитывать их дома».

Оппозиция не унялась — вернулся Лафайет и, несмотря на препоны, вновь был избран, появлялись новые тайные организации: «Общество друзей печати», «Рыцари свободы», «На Бога надейся, а сам не плошай», — но была бессильна. 1827 год так мрачен, что хоть в гроб ложись: шла «война не на жизнь, а на смерть, объявленная под тем или иным видом разуму, человеческой духовности, законам, наукам, литературе, промышленности… Все то, что стремилось сделать людей лучше, способствовать развитию вкуса, служить прогрессу, поощрять искусства, развивать науку; все то, что имело целью заставить человечество сделать еще один шаг к цивилизации, было запрещено, осквернено и опозорено!». Но порою в политике чем хуже, тем лучше. Представив в палату «закон любви», затрагивающий материальные интересы, правительство нарвалось на сопротивление «всех этих подписчиков на Вольтера — Туке[9], которые читали „Философский словарь“, зачерпывая табак из табакерки с Хартией… этих несчастных слепцов со стотысячным доходом заставляли постепенно открывать глаза посягательства на свободу печати». Ничего не было, но что-то витало в воздухе: «Париж охватило волнение, предшествующее политической буре и предвещавшее ее. Никто не мог сказать, что означала сотрясавшая город лихорадка, да и означала ли она что-нибудь». Предполагали, что «что-то» будет на смотре Национальной гвардии: «Не понимая хорошенько, что происходит, люди встречались на улицах, пожимали друг другу руки и говорили:

— Вы там будете?

— В воскресенье?

— Да.

— Ну еще бы!

— Не пропустите!

— Как можно!..

Потом собеседники снова обменивались рукопожатием — масоны и карбонарии прибавляли к этому условный знак, другие обходились без него — и расходились, бормоча себе под нос:

— Чтобы я пропустил такое событие?! Да ни за что!»

Покричали «долой Виллеля» и получили плюху — роспуск Национальной гвардии. И все же с этого времени «из темноты стали выступать неясные силуэты преемников великих людей 1789 года» — «военных, адвокатов, банкиров, ученых, промышленников, артистов, студентов», что, «несмотря на несходство мнений, объединялись против общего врага — правительства!». Ноябрь 1827-го, выборы, к госслужащим обращен правительственный циркуляр: «Если они являются избирателями, они должны голосовать в соответствии с пожеланием Его Величества… а также привлечь к этому всех избирателей, на которых они способны оказать влияние. Если они не являются избирателями, они обязаны, действуя скрыто и настойчиво, попытаться уговорить знакомых избирателей отдать голоса за председателя». Беспорядков никто не планировал, но одна из воюющих сторон к ним готовилась, причем не та, которая могла их вызвать. Сальватор, герой «Парижских могикан», разговаривает с полицейским Жакалем:

«— Стало быть, вы пришли меня предупредить, что бунт назначен на сегодняшний вечер?

— Несомненно. Вы понимаете, что я неплохо разбираюсь в настроениях и намерениях толпы и могу утверждать, что, когда новость о победе, одержанной оппозицией, облетит Париж, столица встрепенется, начнутся песнопения… А от песни до лампиона один шаг. Когда город запоет, все начнут зажигать иллюминацию. Как только это будет сделано, от лампиона до петарды рукой подать… Случайно какой-нибудь военный или священник пойдет по улице, где будут предаваться этому невинному занятию. Уличный мальчишка, опять же случайно, бросит одну из петард или ракет в почтенного прохожего… Это вызовет, с одной стороны, большую радость и взрывы хохота, с другой — крики ярости и призывы: „На помощь!“ Обе стороны обменяются ругательствами, оскорблениями, ударами, может быть; ведь движения толпы всегда непредсказуемы!

— И вы полагаете, что дело дойдет до драки?

— Да! Видите ли, какой-нибудь господин замахнется тростью на мальчишку, тот пригнется, чтобы избежать удара; наклонившись, мальчишка, как всегда случайно, нащупает под

ногами булыжник. А в этом деле стоит только начать! Как только будет поднят первый камень, за ним будут подняты другие, и скоро образуется настоящая гора. А что делать с горой камней, если не баррикады? …В эту минуту полиция проявит отеческую заботу. Вместо того чтобы арестовать вожаков, а такие, как вы понимаете, всегда найдутся, полиция отведет глаза и скажет: „Ба! Несчастные дети! Пусть поразвлекутся!“ — и не станет беспокоить тех, кто строит баррикады… Среди всеобщей сумятицы кому-нибудь может явиться мысль выстрелить не петардой или ракетой, а из пистолета или ружья. О, тогда, как вы понимаете, полиция, не желая обвинений в слабости или соучастии, будет вынуждена вмешаться».

Воскресенье, хорошая погода, люди гуляли, никто бунтовать не собирался, лениво злословили, ждали газет с результатами выборов, дождались и с изумлением прочли, что оппозиция получила почти половину голосов. «Некоторые новости распространяются с поразительной быстротой. Итак, толпа всколыхнулась. Казалось, вместе с толпой качнулись и дома». Но толпа продолжала просто гулять, файеры немного позажигали и всё, ни одного булыжника. «Господин Жакаль был разочарован: порядок везде царил такой, что казалось невозможным его поколебать». Придется объявить на следующий вечер народные гулянья. Но горожане опять беспорядков организовывать не пожелали. Тогда появились «странные люди в лохмотьях», начали кричать «Убивают!» и швырять камни в окна. Большинство гулявших примеру не последовали, но в конце концов удалось распалить несколько групп парижан, что попроще, и они начали складывать баррикады — со смешками, не всерьез; Сальватор попытался увести своих знакомых, предупредив, что вот-вот явится полиция.

«— Возможно ли, господин Сальватор?! — вскричал возмущенный плотник. — Стрелять в безоружных!

— Это лишний раз доказывает, что вы здесь не для того, чтобы совершать революцию, раз у вас нет оружия».

Расстрел беспомощной, игрушечной баррикады на улице Сен-Дени был так ужасен, что королю пришлось отправить правительство в отставку. Премьером стал умеренный Мартиньяк: «Поверхностным наблюдателям могло показаться, что достигнут мир между традициями прошлого и устремлениями к будущему. Однако глубокие умы не доверяли поверхностным приметам. Они знали, что… подобные временные перемирия только передышка, предшествующая великим потрясениям. Ведь именно голубое небо и может предвещать раскаты грома, а революция, когда она дремлет, лишь набирает силы для будущей борьбы».

15 октября 1828 года заслуженный поэт Пьер Жан Беранже, член умеренного общества «На Бога надейся, а сам не плошай», издал сборник стихов. Против него возбудили дело по трем статьям: оскорбление религии, оскорбление королевского достоинства и разжигание ненависти к власти. Обещали минимальный срок, если признает вину, он отказался, получил 10 месяцев (Дюма бывал у него в тюрьме) и громадный штраф; деньги для уплаты парижане собрали за три дня. В том же году — менее известные случаи, забытые всеми, кроме Дюма: Этьен де Сенанкур издал книгу «История моральных и религиозных традиций», получил девять месяцев тюрьмы и оправдание апелляционным судом; журналист Кашу-Лемер получил, несмотря на блистательную защиту адвокатом Ше-Дестанжем, 15 месяцев за слова о необходимости смены правительства. В июле 1829 года редактор «Корсара» Вьенно получил за статью 15 суток и штраф, это его не «исправило», и журналисту Фонтану за сатиру на короля дали… 10 лет! «Этими скандальными судами власть окончательно отдалилась от людей. Правительство, которое восстановило против себя народ, армию, средний класс и литераторов, вступает на скверную дорожку».

Август 1829-го: король сменил Мартиньяка на князя Полиньяка, «одного из тех кошмарных сторонников монархии, которые оказывают на общество чрезмерное давление, что не может не привести к взрыву». Декабрь: историки Тьер и Минье и Арман Каррель основали газету «Национальная», финансируемую банкиром Лаффитом, провозгласили верность Бурбонам, но при условии соблюдения конституции, а через месяц сказали, что раз король условий выполнять не намерен, то лучше бы на трон сел Орлеанский. Тьера приговорили к большому штрафу; его мог легко оплатить Лаффит или Орлеанский, но было правильнее объявить краудфандинг — и собрали деньги в один момент. Адольфу Тьеру — запомним это имя — было 33 года (1797–1877); по образованию он юрист, стал историком, издал труд «История французской революции с 1789 года до 18 брюмера», ставший бестселлером; замечали, правда, что он всегда сочувствует тому герою, что на коне, а потом — тому, который казнил первого; коллеги уличали его также в поверхностности. Маленький человечек в очках, интеллигентный, с ядовитым языком; к его мнению очень прислушивались.

Март 1830 года: палата обратилась к королю с требованием отставки Мартиньяка, король ее распустил, выборы 23 июня, но ясно: если они пройдут не так, как надо, разгонят и новую палату. Что делать, никто не знал; люди, что хотели перемен, были непоследовательны и слабы. В романе «Бог располагает»

описано собрание у Лаффита («…делец от революции, ловко и мило исполнявший роль сводни… он был мастером спекуляций и в области политики… В нем не было той страстной силы, что может увлекать массы на площади, но в салоне противостоять ему было невозможно»), там же — Тьер («Ему любой повод был хорош, только бы говорить о себе — о своей статье, об историческом сочинении, где он подравнял под свой рост грандиозные фигуры деятелей 1789 года»), «прочая публика состояла из газетчиков, владельцев мануфактур, депутатов, сплошь приверженцев либеральных идей: одни принадлежали к революционной фракции и в дерзости своей доходили чуть ли не до того, что мечтали свергнуть короля и на его место посадить другого; вторые, из фракции умеренных, хотели бы изменить образ правления, не посягая на правящих лиц, и ничего бы лучшего не желали, как сохранить Карла X на троне при условии, что он изменит своим принципам». Но вот кто-то заговорил о республике:

«— Республика! — повторил журналист с ужасом. — Но чтобы сделать ее возможной, требуется, чтобы у нас были республиканцы. А кого здесь, во Франции, можно назвать республиканцем? Ну, допустим, Лафайета, а кого еще? Несколько пустых мечтателей и несколько фанатиков. И потом, еще слишком свежа память о революции с ее эшафотами, всеобщим разорением, войной против целой Европы, Дантоном, Робеспьером и Маратом, чьи кровавые призраки лучше не тревожить. Нет, ни один честный человек не пойдет за тем, кто осмелится поднять запятнанное кровью знамя…» Герой, Самуил Гельб, рассуждает: «Что самое забавное… так это жалобная, растерянная мина нашей добрейшей оппозиции, которую двор считает такой свирепой, страх наших либералов перед собственной дерзостью… Вчера в моем присутствии Одийон Барро, которому кто-то сказал, что на государственный переворот надо ответить революцией, даже завопил от ужаса при одной мысли о том, чтобы призвать народ выйти на улицы… Однако им придется к этому прийти. То-то будет занятно, когда настанет день и их поманят министерским портфелем — в погоне за ним они растопчут корону».

Дюма немного знал этого Барро (1791–1873), адвоката, возглавлявшего самую умеренную ветвь оппозиции, знал шапочно почти всю оппозиционную «тусовку»: она не бывает велика. Было четверо, которых он знал ближе, чем других; они не стали прототипами четырех мушкетеров, во всяком случае напрямую, но мы будем следить за их судьбами, переплетающимися с судьбой нашего героя. Арман Каррель, 30 лет, бретер, в 1823-м

воевал в Испании на стороне революционеров, приговорен к казни, оправдан апелляционным судом; бледный, изящный, чопорный. «Хотя он придерживался самых передовых взглядов, у него были самые аристократические привычки, какие можно вообразить, и это создавало престранный контраст между его речами и видом… я бы не сказал, что мы были друзьями; он считал, что во мне слишком много от поэта, я считал, что в нем слишком много от военного». Жюль Бастид, 30 лет, капитан артиллерии, карбонарий; тощий, длинный, черные усы, глаза «с обычным выражением возвышенной тоски», «истинный парижанин, для которого тюрьма в Париже была лучше бегства в самую прекрасную страну»: «За его чрезвычайно простодушным обликом скрывался мощный ум, но это обнаруживалось лишь при близком знакомстве… я никогда не видел менее честолюбивого человека. На совещаниях он обычно молчал, но когда говорил, это было резко, смело, открыто и даже жестоко». Годфруа Кавеньяк, 29 лет, военный юрист; рыжеусый блондин, крепыш, остроумный, бесстрашный, «он всегда говорил что думает и высказывался ясно». Этьен Араго, 28 лет, младший брат трех знаменитостей (ученые Франсуа и Жак Араго, генерал Жан Араго), студент-химик, исключенный из Политехнического за «политактивизм», организатор побега из тюрьмы приговоренных по делу о мятеже в 1822 году; он же — модный журналист, основатель газеты «Фигаро» (которую не сумел содержать и продал), автор мелодрам, комедий, дамских романов, директор театра «Водевиль»; бонвиван, красив, всегда в отличном расположении духа. Решайте сами, кто на какого мушкетера похож…

Лето 1830 года: «…люди все еще молчали; но можно было почувствовать колебания воздуха, которые заставляли людей бледнеть и ускорять шаг, не понимая почему; это был глубокий, инстинктивный страх, который чувствуют животные при приближении землетрясения. Каждый вращался в собственном кружке, и каждый член этого скромного кружка сам становился агентом влияния в других кружках; и как только импульс был сообщен, он передавался от большого центра малым, колеса начинали вращаться, и все общество дрожало от пульсации незримой машины». «Каррель приглашал на три разные встречи, все с целью объединения оппозиции. Каждая носила либеральный характер, граничивший с республиканизмом. Выдвигались самые противоречивые идеи: одни требовали завтра же брать Тюильри, другие были испуганы тем, как быстро все рушится, и говорили, что всякая революция приведет к ужасным последствиям. Мсье де Ремюза (литературный критик, либерал. — *М. Ч.)* восклицал в

отчаянии: „Куда вы идете? Куда вы нас ведете? Мы ни в коем случае не желаем никаких революций, ничего, кроме сопротивления в рамках законности!“ Каррель не пошел ни на одну из этих встреч. Он выступал за „законное сопротивление“ в самых широких пределах, и только. Он не верил, что столкновение горожан с армией хорошо кончится, и спрашивал у тех, кто призывал к оружию: „У вас есть какой-нибудь полк, на который вы можете рассчитывать?“ Полка ни у кого не было, и потому никакого заговора не получалось. И все же заговор был, великий и огромный общий заговор — общественное мнение. Этот заговор был в глазах, жестах, словах и даже в самом молчании людей, которые вдруг останавливались, колеблясь, не зная, повернуть им вправо или влево, словно спрашивая самих себя: „Что будет? Что они сейчас делают? И я должен идти и делать то, что все“».

Выборы не изгнали оппозицию из парламента, а дали ей большинство голосов. Особенно много избралось адвокатов-правозащитников. 29 июня собралось правительство, министр юстиции Шантело предлагал ввести чрезвычайное положение в Париже и крупных городах. 4 июля Полиньяк заикнулся об отставке, Карл отказал: нельзя уступать оппозиции. 10 июля архиепископ Парижский де Келен написал папе Пию VIII: во время правления Карла X все было так хорошо, духовенство приобрело собственности на 30 миллионов франков (это главный показатель того, что в стране все хорошо), но «благочестивое рвение и щедроты верующих встречают постоянное препятствие в виде сопротивления, которое оказывают правительству своеволие и уклоны периодической печати», и церковь просит папу побудить короля «обуздать своеволие прессы»; папа призвал короля «остановить, наконец, решительными мерами разрушительный поток». 21 июля Тьер в «Национальной» писал, что власть готовит переворот, 23-го предупредил, что народ — «не чернь в деревянных башмаках и с палками в руках, а образованные, рассудительные и заинтересованные в спокойствии классы» — будет сопротивляться, разумеется, исключительно законными средствами. 24-го Карл собрал за городом тайное совещание, подготовившее ряд указов, отменяющих конституцию. Первый отменял свободу печати: ни одно издание не могло выходить без правительственного разрешения, второй распускал палату, третий представлял новый избирательный закон, которым число избирателей сокращалось вчетверо. Время подходящее — на носу август, месяц отпусков, все на дачах — Орлеанский в Нейи, Лаффит в Брейтеле, Лафайет в Лагранже. Король тоже уехал в свою резиденцию Сен-Клу в 10 километрах от Парижа. Если вдруг

что, Полиньяк сказал, что есть армия и он ничего не боится. 26-го, в понедельник, указы были опубликованы в правительственных газетах. «Жозеф, — сказал я, — подите в оружейную и принесите мое ружье и двести патронов двадцатого калибра!»

Он пошел к Белль, сказал, что поездка отменяется, поругались, побежал в Пале-Рояль, услыхал, что Орлеанский на даче. Разъяренные журналисты бегали по коридорам за чиновниками, пытаясь добиться комментариев, — глухо. «Бог располагает»: «В своих блужданиях он столкнулся с редактором „Национальной“, который бродил по городу с тем же настроением.

— Ну как? — спросил Самуил.

— Что „ну как“? — отвечал журналист. — Сами видите: народ бездействует. Ах! Я начинаю думать, что король с Полиньяком правы. Если Франция это стерпит — значит, она лучшего и не заслуживает».

Переворот задевал только средний класс: «он один был заинтересован в избирательном законе, уничтоженном указами, ему давали право голоса газеты, которым Карл X затыкал рты. Что касается сопротивления, то горожане о нем и не помышляли. Третье сословие заранее признало себя побежденным». Материально пострадала лишь пресса: «В офисе „Национальной“ Самуил обнаружил всех видных журналистов Парижа, занятых составлением заявления прессы, протестующей против насилия, которое собирались над ней учинить. Поставив подпись под протестом, г-н Кост из „Времени“ спросил, неужели они этим ограничатся, не пора ли от слов перейти к делу. Другие редакторы „Времени“, а также сотрудники „Трибуны“ поддержали г-на Коста, предложив попытаться поднять на борьбу мастеровых и студентов… Однако г-н Тьер возражал против каких бы то ни было насильственных действий. Не следует, утверждал он, выходить за пределы законности. В данную минуту положение оппозиции великолепно, с какой же стати от него отказываться? Надо дать стране время подумать и сделать выбор между монархией, разорвавшей Хартию, и оппозицией, поддерживающей закон. Совесть нации скажет свое слово, страна не пойдет за королем, и вот тогда вся сила окажется на стороне оппозиции, она предпримет против монархии все, что посчитает нужным, и преуспеет. А в данный момент оппозиция одинока — что она может сделать? Только без пользы скомпрометировать себя… Разве у нее есть пушки? Где ее армия? Народ не станет вмешиваться в эту распрю». (Тем не менее Тьер был одним из трех редакторов газет, которые решили выйти назавтра, нарушив

указ.)

«Революционной ситуации» не было: безработица на обычном уровне, правда, стагнация, жизнь похуже, чем при Людовике или Наполеоне, но в общем ничего. Правительственные газеты писали, что народ за проклятыми либералами не пойдет — он за короля и церковь. «Самуил пристал к празднично приодетому рабочему, курившему трубку на пороге кабачка.

— А вы, стало быть, веселитесь? — спросил он его.

— Почему бы и нет? — отвечал рабочий.

— Значит, вы не знаете, что творится в Париже?

— А там что-нибудь творится?

— Министерство выпустило ордонансы, которые сводят на нет права избирателей.

— Избирателей? А нам какое дело? Разве мы выбираем, мы, которые из простых?

— Они и газеты упразднили.

— Подумаешь, газеты! Вот уж что нас не касается! Мы их не читаем, это чересчур дорогое удовольствие. Восемьдесят франков стоит.

— Вот оно что! Значит, вам нужно, чтобы газеты и избирательное право касались вас, и если бы вы захотели…

— Ба! — отвечал рабочий, выпуская клуб дыма. — Нам бы только чтобы цены на хлеб и вино не росли, и тогда пускай себе король делает все, что ему вздумается».

Александр зашел в кафе Руайяль, где толклось много его друзей-роялистов, в разговор не вступил, чтобы не поругаться, встретил Этьена Араго, который собирался на доклад своего брата Франсуа во Французском институте (аналог Академии наук): тот должен был говорить об инженере Огюстене Френеле. Ждали неизвестно чего, Араго-старший доклад прочел по теме, но с намеками. Александр сходил к знакомым землякам, говорили, что биржа падает и это хорошо — что-то будет. Потом пошел обедать. Он обо всем отчитывался точно: где поел и во сколько. Биографы об этом пишут с усмешкой: в революцию все обедал да ужинал. Однако и в революцию люди едят, спят и даже посещают уборную… «Проходя через сад Пале-Рояля, я заметил волнение возле группы молодых людей, которые влезли на стулья и громко читали „Вестник“, но их подражание Камиллу Демулену не имело успеха. После обеда я побежал к Адольфу де Левену, отец которого был редактором „Парижского курьера“. Мадам де Левен очень беспокоилась о муже, который уехал в два и не вернулся к семи. Она послала на поиски Адольфа, но он тоже не вернулся. Я, в свою очередь, был отправлен искать Адольфа». В редакции «Курьера» сказали, что Левены у Лаффита, там заседают и вроде

бы хотят публиковать какое-то заявление. Александр помчался к Лаффиту, во дворе среди маленькой группы зевак был Адольф Левен, «главные» заперлись и никого не пускают. Вернулся к мадам Левен, отчитался, опять к Лаффиту, за это время просочилась информация: 43 или 45 журналистов подписали какое-то обращение к кому-то. Второй «комитет», которого Дюма не видел, заседал в доме другого банкира, депутата Казимира Перье, пришло всего шесть депутатов из 450 разогнанных, один, Берар, предложил написать какое-нибудь заявление, остальные побоялись, поздно вечером пришли еще девять депутатов и опять ничего не предприняли. Третий «комитет», из владельцев типографий, собрался у журналиста Барта, решили закрыть типографии, рабочим объяснить: их увольняют, потому что газет больше не будет по указу короля. Так для одной категории рабочих произошедшее внезапно обрело смысл. Несколько юнцов у Пале-Рояля и у министерства иностранных дел, возглавляемого Полиньяком, покричали «долой» и кинули камень в окно какого-то экипажа. Дюма этого не видел, он «просто вернулся домой в 11 часов вечера».

Андре Моруа: «Когда „три славных дня“ Июльской революции обернулись драмой… Дюма захотел сыграть в ней роль первого любовника, героического и дерзкого». Подобный тон почти у всех биографов: играл роль, рисовался, сочинял небылицы. Это неправда. Артур Дэвидсон, английский историк: «Записки Дюма — возможно, лучшее, детальнейшее описание Парижа в революционные дни. Картина, конечно, окрашена индивидуальностью рассказчика. Ну и что? Герой не хвастает и не пытается, как некоторые ложно утверждают, изобразить из себя храбреца. Напротив, он подчеркивает, что был не столько участником, сколько свидетелем, которым двигало в основном любопытство… когда он боялся, он писал об этом, когда он прятался от пуль, он писал, что поступал так из осторожности». Роберт Гарнетт, переводчик Дюма на английский: «Дюма был в своих воспоминаниях беспощадно точен и ничего не путал». Леопольд Инфельд, автор биографии математика Эвариста Галуа, отмечал, что мемуары Дюма были для него основным источником информации о 1830 годе и в них была масса деталей, не упоминаемых другими историками. Это бесценный, протокольный текст — ничего подобного другие писатели тогда не сделали. Гюго, еще монархист, дома писал «Собор Парижской Богоматери». Еще больший монархист, Бальзак, был не в Париже. Стендаль болел и не выходил из квартиры. Жорж Санд ничего не видела. Кое-что видел Шатобриан из окна квартиры, описал с ужасом. Вот и все…

27 июля с утра Александр пошел к матери, она ничего не знала, и он не стал ей говорить. Вышел, наткнулся на Поля Фуше, шурина Гюго, тот желал прочесть ему свою пьесу. «Но чтение самой прекрасной пьесы на свете не заставило бы меня отказаться от наблюдения малейшей детали драмы, что разыгрывалась в Париже. Я поймал кабриолет и сбежал». Приехал к Каррелю: «Молодые оппозиционеры рассматривали его как их лидера, избранного если не публично, то, по крайней мере, молчаливым согласием». Каррель работал, никуда не собирался, Александр его уломал — поглазеть. Пошли на бульвары, кольцом окружавшие центр города: все всегда происходило там, где учреждения, театры, кафе, редакции газет, о том, что есть жизнь за пределами бульварного кольца, иные парижане знали лишь понаслышке. (Кольцо пересекали несколько широких прямых улиц: с востока на запад, параллельно делившей город надвое Сене, — Фобур-Сент-Антуан, Риволи, Елисейские Поля, с севера на юг — Страсбургский, Севастопольский бульвары; на западе жили люди побогаче, на востоке победнее.) Добрались до биржи. «Люди бежали к улице Ришелье. Они говорили, будто редакция „Времени“ захвачена полицией. Мы, конечно, последовали за толпой…»

«Время» — одна из четырех газет (еще «Национальная», «Глобус» и «Коммерсант»), что вышла, несмотря на запрет, и опубликовала протест, который подписали 44 журналиста; комиссар полиции Манжен приказал захватить редакции, прокуратура выписала 44 ордера на арест. Дюма и Каррель увидели толпу, протиснулись вперед: главный редактор Жан Жак Бодэ и «30 решительно настроенных сотрудников редакции и наборщиков» встали перед дверями и полицейских пускать отказывались. Бодэ — косая сажень в плечах; «когда они увидели его лицо и лица наборщиков, они поняли, что кроме мирного законного сопротивления, которое Бодэ пытался оказывать, возможно вполне реальное сопротивление». Прибежал полицейский чин. «Я сжал руку Карреля, он был очень бледен, но молчал и лишь неодобрительно качал головой. На улице, где толпилась чуть не тысяча человек, стало так тихо, что можно было услышать дыхание ребенка». Бодэ говорил что-то красивое о законах, полицейский на это сказал, что сейчас приведут слесаря ломать двери. «По толпе пробежал ропот; все начали понимать, что здесь, на улице, у всех на глазах происходит самое прекрасное, что можно увидеть: сопротивление закона — произволу, человека — толпе, совести — тирании». Пришел слесарь, Бодэ опять закричал про законы, слесарь испугался, привели второго — то же, послали за кузнецом, дверь сломали,

сопротивления не случилось, полиция спохватилась, что надо разогнать толпу, люди кинулись врассыпную, многие издали кричали, что Бодэ может на них рассчитывать — они придут на суд свидетелями. Было два часа; Дюма и Каррель пошли в редакцию «Национальной» — «рассадник новостей» — и просидели там до вечера: то и дело прибегал кто-нибудь и рассказывал что и как. Студенты из организации «Союз января» (лидер — писатель Огюстен Фабр, основана полгода назад, к июлю в ней состояло 15 тысяч человек) ночью поломали телеграфную линию и несколько фонарей; у Перье собрались 30 депутатов разогнанной палаты и твердо решили, что завтра, может быть, напишут какое-нибудь обращение; в окрестностях Пале-Рояля собираются люди. В шесть часов пришел сотрудник «Национальной», сильно выпивший, сказал, что люди с улиц уходить не думают.

Кто были эти рассерженные горожане? «Пролетариата» в Париже не так много: в городе располагались в основном учреждения да магазины. В первый день вышли наборщики, получившие вынужденный выходной, из любопытства пришли сезонные рабочие-провинциалы, было немного мещан из пригородов, но основную массу составляли клерки, мелкие бизнесмены, студенты, профессора, юристы, писатели, художники, актеры; много было офицеров, особенно тех, кто служил в «горячих точках». Почему они вышли? Кто-то терял при новом порядке избирательные права, кому-то просто было противно… В следующие дни социальный состав мятежников изменился: прибавились жители пригородов — мелкие предприниматели и их работники. Сколько народу в общей сложности вышло на улицы — вопрос дискуссионный: историки называют цифры от 10 до 50 тысяч. (Население Парижа в 1830-м составляло около девятисот тысяч, так что получается от одного до пяти процентов.)

В семь часов очередной пришедший сказал, что на севере, в предместье Монмартр, уже баррикады, Дюма с Каррелем пошли посмотреть, не дойдя, услышали, что позади них, в центре, стреляют. Каррель, помрачнев, ушел домой, Дюма побежал к Пале-Роялю: вроде стреляли там, а Пале-Рояль близко от дворца Тюильри (Лувр, соединенный с Тюильри общим садом, давно не был королевским дворцом — там находились учреждения и архивы). У Фондовой биржи он встретил доктора Тибо, странный разговор на бегу, намеками, позднее Александр узнал, что друг был членом всевозможных комитетов и шел на переговоры к влиятельному генералу, барону Витролю (ультрароялисту, но не дураку), чтобы тот попытался поговорить с Полиньяком. «В этот

момент мимо нас быстро прошли два молодых человека. „Триколор? — сказал один. — Не может быть!“[10] „А я тебе говорю, что сам его видел“, — отвечал другой. „Где?“ — „На Школьной набережной“. — „Когда?“ — „Полчаса назад“. — „А что они сделали тому, который его принес?“ — „Да ничего… прогнали только“. — „Тогда пошли туда“. И они убежали. Восемь пробило на часах Фондовой биржи; я хотел вернуться домой, но когда вышел на улицу Вивьен, увидел в другом ее конце штыки. Мне стало любопытно, и я отошел к кафе в здании театра „Нуво“… Отряд солдат шел по всей ширине улицы, гоня перед собой толпу мужчин, женщин, детей… Женщины махали платками из открытых окон, кричали „Не стреляйте!“. …Отряд дошел до площади Биржи, но не заполнил ее целиком, и люди, которых вытеснили с улицы, зашли с тыла и начали просачиваться на площадь. Рядом с Биржей был домик, использовавшийся как гауптвахта. Полк оставил там дюжину солдат — блокпост — и ушел… Несколько парней из толпы подошли к оставшимся солдатам и стали кричать „Конституция!“. Пока они только кричали, солдаты сдерживались, но за криками последовали камни. Солдат, в которого попал булыжник, выстрелил — и попал в женщину лет тридцати. Раздался вопль „Убивают!“ — и через мгновение площадь опустела, всюду гасли огни, закрывались двери магазинов. Только театр „Нуво“ оставался освещенным — играли „Белую кошку“, — и те, кто был в театре, понятия не имели, что делается снаружи».

Подошла группа — человек двенадцать, впереди Этьен Араго, закричали, что людей убивают и надо закрыть театры (свой театр Араго закрыл еще днем, заявив, что нельзя смеяться в такое время; начальник полиции сказал, что завтра он не будет директором театра, Араго ответил, что тот завтра не будет начальником полиции, — диалог, достойный «Трех мушкетеров»), наткнулись на труп женщины, который никто не подумал убрать. «Несите тело к театру, чтобы все его видели, — сказал Этьен, — я хочу, чтобы все оттуда убрались». От стука и криков зрители разбежались, Дюма спросил у Араго, что «они», то есть какой-нибудь комитет или штаб, если такой существует, думают делать дальше, Араго сказал, что понятия не имеет, и ушел со своей группой разгонять театры. Труп остался на ступеньках. Александр пошел поесть — кафе работало, народу полно. (Гюго, «Отверженные»: «Ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как Париж во время мятежа… Захватывают, отдают и снова берут баррикады… трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях… Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в

рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются».) «Одни говорили, что беспорядки не значительней тех, что были в 1827-м, и никакой революции не выйдет, а все кончится как в прошлый раз. Другие, и я среди них, полагали, что мы видим лишь пролог спектакля и следующий день покажет…» Он пошел домой, какие-то фигуры сновали туда и сюда, проходя мимо Тюильри, увидел во дворе военных. «Я попытался заглянуть через ограду, но часовой закричал „Назад“, и я ушел». В тот день бывалые активисты, вроде Кавеньяка, собирали в пригородах отряды из студентов, офицеров и всех, кто похрабрее; набрали пять-шесть тысяч, построили несколько баррикад, но к вечеру были разогнаны полицией.

Утром 28 июля Ашиль Конт прибежал сообщить: восстал Политехнический — институт, основанный в революцию для подготовки артиллерийских офицеров и инженеров.

«— Студенты очень сердиты.

— На кого? — спросил я, протирая глаза.

— Да на главных — Лаффита, Перье и Лафайета… они вчера пытались к ним обратиться, а те сказали „сохранять спокойствие“».

Александр пошел искать Кавеньяка, не нашел, заскочил к Белль, обещал, что не будет ни во что ввязываться. А тем временем, кажется, началось… «Бог располагает»: «То здесь, то там завязывались отдельные схватки, но они ограничивались несколькими ружейными выстрелами, потом все замирало в ожидании… вооруженные пехотные патрули то и дело проходили по улицам, бульварам, набережным. Их пропускали. Слышались крики: „Да здравствует пехота!“ и „Да здравствует Хартия!“; кричавшие стремились как-то призвать армию к восстанию». В 11 утра Полиньяк тайно приехал в Тюильри совещаться с только что назначенным командующим парижским гарнизоном маршалом Огюстом Мармоном. Тот сказал, что дела плохи: армия вся в «горячих точках» (Алжир, неспокойная граница с Нидерландами), в Париже всего восемь тысяч солдат и 25 тысяч стоят в Сен-Клу; он просил у короля приказа к решительным действиям, но не получил его. Александр в это время обегал знакомых, у химика Боне обнаружил Араго, застрял там. «Все хотели драться, но ни у кого не было оружия».

Оружие — больной вопрос восстаний; кажется, что тогда у всякого был арсенал, но это не так. Париж населяли предприниматели, чиновники и интеллигенты, которые оружия сроду не видали, а если у кого оно и было, то не было пуль и пороха, а где их взять, никто не знал. Охотничьи ружья? Тоже редкость, да и бегать с ними по улицам некомфортно. Дюма

написал, что еще 26 июля потребовал у слуги «…ружье и двести патронов двадцатого калибра» — реплика звучала так красиво! — но патронов у него не было. Наконец додумались, что оружие можно купить в оружейных магазинах, пошли туда, а Александр пошел домой за ружьем и дуэльными пистолетами. Заодно переоделся в охотничий костюм. Биографы опять над ним смеются, но охотничий костюм — это удобные штаны и куртка с карманами. Пока одевался, услышал шум под окнами, на углу улиц Бак и Университетской: полицейские гнали зевак. Полицейских было двое, к оружию они не прибегали, но без усилий очистили улицу. Он пошел к Боне, там уже все разошлись, вернулся к своему дому — полицейские ушли, люди опять слонялись и спрашивали друг друга, что делать. Он сказал, что, наверное, надо строить баррикаду. Его послушались. Биографы опять не верят, хотя что тут такого? «В неразберихе гражданских войн люди, не зная толком, куда податься, благодарны любому, кто возьмется управлять ими». Соседи услужливо принесли ему лом и стали помогать — советами. Показались три солдата, Александр сказал, что можно взять у них винтовки, все закричали солдатам, что надо быть с народом и бросить оружие, те так и сделали. «Мы не знали, что с ними делать, и они просто ушли». Пришла группа студентов; Александр все долбил мостовую в одиночестве, устал, здоровенный студент забрал у него лом и тотчас уронил ему на ногу булыжник.

«— Ой, я сделал вам больно.

— Да ничего. Что там может болеть, это же кость». Так появился новый друг — студент-медик Алессандро Биксио (1808–1865). Студенты стали колупать мостовую, Александр постоял — скучно, пошел в Пале-Рояль, спросил Удара, где Орлеанский, тот сказал, что ничего не знает, шеф верен королю, а беспорядки скоро кончатся. Вышел на бульвары. «Никто не ходил, все бегали. Никто не говорил как обычно, все выпаливали какие-то обрывки. Всеобщая лихорадка охватила людей…» Пришел в «Национальную», там Каррель говорит, что нужен не бунт, а переговоры. Скучно. Зашел к земляку, там обсуждали назначение Мармона. В гостях не сиделось. «Дойдя до моста Революции[11], я резко остановился в изумлении, протирая глаза, думая, что мне чудится: триколор реял над Нотр-Дам!»

Труайя: «Александр, охваченный восторгом, собрал кучку добровольцев и решил вместе с ними выступить к ратуше. Высокий рост, пылающий отвагой взгляд, двустволка и соответствующий обстоятельствам костюм естественным образом делали его руководителем штурма». На самом деле, как пишет Дюма, блуждая, он наткнулся на двоих-троих молодых людей, не

знающих, как и он, куда идти, решили идти по оружейным магазинам, встречные спрашивали, куда они идут, узнав, что за оружием, некоторые присоединялись, образовалась группа около пятидесяти человек, тут спохватились, что ни у кого нет денег. Александр сказал, что деньги есть у него дома, больше никто не выказал желания добыть денег, и все пошли к Александру домой. Но его не впустил швейцар. Спутники сказали, что надо ломать дверь. «Но я любил мою квартиру, такую удобную, и совсем не хотел, чтобы меня выселили…»

20 человек улетучились, остальные где-то наскребли денег, пошли в оружейный магазин за пулями и порохом. Хозяин магазина сказал, что всё раскупили, но, говорят, у какого-то типа на улице Мазарини есть порох. «Хотя было маловероятно, что такой тип существовал, мы все же пошли туда». Но тип был, и порох у него был, и уже стояла очередь, но порох давали только тому, кто предъявлял ствол, в группе Дюма стволов было всего три, он вспомнил, что один знакомый — охотник, наверное, у него есть патроны, побежали к нему, охотника дома не было, но его жена согласилась дать патроны — по штуке на человека. Вышли, услыхали у Гревской площади выстрелы, пошли туда, на набережной о'Флер наткнулись на полк солдат, командир сказал, что видел Дюма в театре, но пройти не дал; пошли в обход и увидели, как на подвесной мост у здания Отель-де-Виль (мэрии) собирается взойти отряд в сотню человек. Наверно, мэрию штурмовать пошли; Александр со своими (осталось десятка два) побежал вдогонку, вдруг прогремел орудийный залп, сразу скосивший около пятнадцати человек из большого отряда. «Нас защищал парапет; мы стали стрелять в орудийный расчет, и два стрелка упали. Их тотчас заменили, орудие было с неописуемой скоростью перезаряжено и выстрелило во второй раз. На мосту был ужасный хаос, убитые и раненые, кто-то закричал „На мост!“ — и мы побежали, но не пробежали и трети расстояния, как прогремел третий залп и на мост вошел отряд солдат. У нас не было средств не только для нападения на них, но и для защиты. Мы стали отступать. Четвертый залп убил троих или четверых из нас и ускорил наше отступление, которое правильней называть бегством. Я впервые в жизни слышал свист снаряда и не поверю никому, кто скажет, что, услыхав его впервые, не бросился бежать. Мы даже не пытались держаться вместе, и мой отряд рассеялся как дым, но через пять минут некоторые из нас, попетляв по разным улицам, вновь встретились». Мост был окутан дымом; отряд горожан уничтожен. «Я подумал, что на сегодня с меня хватит, учитывая, что я был в военных делах новичком; к тому же все кричали, что идут войска. Я ушел…»

В три он был у Летьера, поел, отдышался, в пять пришел сын хозяина, студент, с новостями. «Бульвары были в огне от Мадлен до Бастилии; половина деревьев была срублена и использована для строительства сорока баррикад». Говорили, что где-то ходит какая-то группа, которую возглавляет человек, играющий на скрипке, что на улице Фобур-Сент-Антуан, ведущей из центра в пригород, жильцы из окон забросали солдат старой мебелью, что парламент наконец проснулся и думает, что делать, что вернулись Лафайет и Лаффит и было заседание «комитета»: эти двое плюс Перье плюс популярный в народе генерал Жерар. (Комитет послал переговорщиков к Мармону, тот велел прекратить беспорядки, тогда отзовет войска, переговорщики требовали сперва отменить переворот и уволить Полиньяка.) «Молодые горожане бросились в восстание, а журналисты, генералы и депутаты ничего не делали, только ходили и болтали и уговаривали, чтобы все было мирно. Жирарден говорил, что Бурбоны вполне себе хороши, если в правительстве не будет ультрароялистов; Каррель осуждал безумие горожан, которые нападали на солдат; Лаффит и Перье толковали о мире с человеком, который бил по городу из пушек!» Все это было страшно важно, но Александра не меньше нервировало то, что из-за строгого консьержа не попасть домой: одежда грязная, денег нет и спать негде. Летьер сходил на переговоры, консьерж поставил условие, что жилец не будет стрелять из окон. Александр оставил дома оружие, почистился, взял деньги и снова ушел. Было девять часов вечера. «Я чувствовал, что надо срочно вовлечь в восстание, не мытьем так катаньем, вождей нашей оппозиции, которые ждали 15 лет, и хотел узнать, делает ли кто-нибудь что-нибудь для этого». Магазины закрыты, но окна освещены, улицы пусты, там и сям недоделанные баррикады. Он решился идти к Лафайету: говорили, что никто не смог убедить его возглавить восстание, вдруг да получится?

Генерала не было дома, Александр собрался уйти, тот вдруг подъехал, Александр кинулся к нему с речью, Лафайет сказал, что «готов действовать», но не объяснил как. (Король тем временем распорядился объявить чрезвычайное положение, министр внутренних дел выписал ордера на арест Лафайета, Жерара, Тьера и еще нескольких оппозиционеров, а Лаффит отправил Орлеанскому депешу: будет сделано все, чтобы возвести его на трон.) Александр пошел к Этьену Араго, там сидели все молодые активисты. Александр передал слова Лафайета о «готовности действовать», но они почему-то никого не впечатлили. Пошли в «Национальную», там уже слыхали, что генерал будто бы согласен, и даже составили текст указа о формировании

временного правительства, дело за малым: чтобы Лафайет и генерал Жерар его подписали. Да больно надо время тратить, ходить к ним; стали тренироваться подделывать подписи, но не решились печатать фальшивку. Говорили, что завтра вроде будет митинг на площади Одеон, кто его организовывает, никто не знает, но идти надо. Александр ушел домой под утро, лег спать. Баррикада на его улице так и осталась в зачаточном состоянии. Но были и настоящие; самой «баррикадной» (как и в прошлую, «большую» революцию) стала улица Фобур-Сент-Антуан. Войска всю ночь атаковали баррикады на окраинах, но без успеха: на узких кривых улочках легче партизанам, чем регулярной армии, а Мармон был нерешителен, и король не прислал на помощь гарнизон Сен-Клу. Мармон отвел войска на бульвары, потом еще дальше в центр. На рассвете 29 июля повстанцы взяли мэрию. «Бог располагает»: «„А сейчас, — сказал Самуил, — подождите немного. Вам нужна ратуша. Мы ее возьмем. Это дело минутное“. Во время этого разговора перестрелка не прекращалась. Солдаты, видя, как их пули без толку расплющиваются, натыкаясь на камни набережной, начали приходить в уныние. К тому же во всех гражданских войнах быстро наступает час, когда армия припоминает, что она тоже народ, и до солдата доходит, что он стреляет в своих братьев…»

По окраинам прошел слух, что без охраны остались многие учреждения и музеи, где есть что пограбить; темная масса, совсем не похожая на ту, что с призывами соблюдать конституцию вышла на улицы в первый день, стала сползаться в центр. Александра разбудил слуга Жозеф: всюду стреляют, захватили Артиллерийский музей. «Я писал о Генрихе III, Генрихе IV, Людовике XIII, мне невыносима была мысль, что собранные ими сокровища искусства попадут в руки первого встречного, который обменяет их на фунт табака». Понесся туда: разгром, всё тащат. «Ради Бога, друзья, — кричал я, — пощадите оружие!» На него рычали, но один мужик снизошел до объяснения: за оружием-то они и пришли. Единственное, что можно было сделать, — спасти несколько экспонатов. Он набрал сколько мог, один бесценный шлем надев на голову, и унес домой (потом ему за это дадут бесплатный абонемент в музей), еще сбегал, еще принес. Консьерж глядел косо, Жозеф стенал и молил остаться. Александр устал, да и все уже разграбили. Он пошел на площадь Одеон, где должен быть митинг: все оцеплено войсками, но около пятисот человек толкутся поблизости. Встретил Жана Шарраса, знакомого студента, болтались по городу, искали оружие, к ним присоединялись какие-то люди, потом исчезали. «У революций есть свои таинственные ветры, что носят людей в одно или другое

место без всякой видимой причины; эти подводные течения вдруг движутся на юг или север, восток или запад, никто не знает зачем и почему». К площади Одеон прибывали люди, нашлись бывшие военные, распределяли патроны, все кричали. «Один человек из группы Шарраса орал: „Да здравствует Наполеон Второй![12]“ Шаррас подошел к нему и спросил: „Слушайте, вы вправду думаете, что мы деремся за Наполеона Второго?“ „Вы деритесь за кого хотите, — отвечал тот, — а я хочу за Наполеона!“ — „Ладно, но если вы за него, идите в какой-нибудь другой отряд“. „Ладно“, — сказал тот и пошел искать группу, более подходящую его вкусам».

Шаррас куда-то исчез, Александр остался на площади, с которой потихоньку улетучилось оцепление. Кто-то крикнул, что надо брать Лувр, другие сказали, что это безумие — там до зубов вооруженная швейцарская охрана. Нашлась сотня добровольцев, Александр (безоружный) пошел за ними, швейцарцы дали залп — один человек убит, двое ранены, Александр отлежался за фонтаном, Лувр в дыму, ничего не видно. Зашел к землякам, проговорили два часа, пошел домой переодеться (когда поваляешься на тротуаре, одежда мигом превращается в тряпки) и взять пистолеты. Опять шум, высунулся из окна и увидел дым над Тюильри. Взяли! «Там жгли корреспонденцию Наполеона, Людовика XVIII и Карла X… Мне захотелось повеситься…»

Он побежал к Тюильри и оказался в толпе, ломившейся во дворец. Бесценные документы валяются в лужах, все ворота открыты, полная неразбериха. «Сотни женщин: откуда они взялись?!» Толпа громила все подряд, двоих убитых внесли во дворец, одного положили на трон, потом убрали: каждому хотелось посидеть на троне. Грязь, кровь, разоренная библиотека. Он подобрал несколько книг и унес домой, прижимая к сердцу. Валят статуи. Из романа «Соратники Иегу»: «Чего я не могу уразуметь — это… истребления неодушевленных предметов, которые не принадлежат ни уничтожающим их людям, ни уничтожающей их эпохе…» Вышел на улицу, все рассказывали разные версии взятия Лувра и Тюильри. Потом он узнал, как было на самом деле. Два пехотных полка на Вандомской площади благодаря увещеваниям Жерара перешли на сторону восставших, Мармон, чтобы заткнуть брешь, бросил туда части от дворцов, и в это время (не согласованно с Жераром, а так вышло) колонны с четырех сторон пошли на Лувр; в штурме участвовало, по разным версиям, от пятисот до пяти тысяч человек, во главе были Кавеньяк, Бастид и Шаррас, захвативший казарму с оружием. Бой длился минут сорок, швейцарцы под натиском бросили оружие и бежали. Всего погибло около двухсот солдат и восьмисот

повстанцев. Потом взяли Бурбонский дворец, где заседали парламент и правительство. Войска отступали для перегруппировки в Сен-Клу. Что будет дальше, никто не знал.

Александр, чуть не плача из-за гибели книг, побрел к Удару: «Мне очень хотелось знать, будет ли он сегодня того же мнения, что и вчера, относительно преданности Орлеанского королю». Но тот молчал. Александр ходил по знакомым, пытался разобраться, кто всем руководит. «Все говорили, что есть какой-то комитет или временное правительство, но никто его не видел». Говорили, что Лаффит составил ультиматум к Орлеанскому, требуя принять корону. Александр пошел к Лаффиту (тот якобы вывихнул ногу, из дома не выходил, все стекались к нему), там люди гроздьями висят на воротах — не пробиться. Рассказывали, что в мэрии Бодэ, редактор «Времени», объявил себя секретарем муниципалитета и выпустил кучу указов и что там уже функционирует временное правительство Парижа, что по городу ходит какой-то генерал, объявивший себя главнокомандующим, и все его слушаются (был такой генерал, Фредерик де Дюбур-Бутлер). Но это все ненастоящее. Солидные люди решают, кто будет властью; и хотя у них нет оружия, все примут то, что они решат, потому что сила не в оружии, а в авторитете, и самая агрессивная толпа только и делает, что ищет себе начальника. «Бог располагает»:

«— Смерть и ад! — заревел Самуил, в бешенстве сжимая кулаки. — Так они приберут к рукам нашу революцию!

— О, это уже случилось. Для начала они учредили комиссию, составленную черт знает из кого, и уже обратились к народу с воззванием, чтобы снова его убаюкать. Депутаты тоже вмешались в это дело. Все проиграно. Пойду запрусь у себя дома. Если опять пойдет стрельба, тогда выйду».

Заседание у Лаффита (он действительно отправил Орлеанскому ультиматум) шло с утра. Некоторые депутаты выступали за республику, но большинство решило оставить монархию. Составили комиссию во главе с Перье, назначили Лафайета командующим Национальной гвардией, послали переговорщиков к Карлу. «Революция свершилась… не силами Перье, Лаффитов, Шуазелей, Одийонов Барро; они спрятались даже не за кулисами, потому что это было слишком близко к сцене, а в своих домах… даже когда Лувр и Тюильри пали, они в своих салонах все еще обсуждали протест, который находили чересчур смелым… Они начали свою реакционную работу в тот самый день, когда все были полны энтузиазма… Радуйтесь, обнимайтесь, вы, молодежь, горожане, студенты, поэты, художники! Ваши мертвые еще не похоронены, а те, кто

отсиживался дома, уже вырывают победу из ваших рук».

Ждали Лафайета, наконец он приехал, и вслед за ним Дюма удалось просочиться во двор. Кто-то закричал, что идут солдаты, некоторые со страху выпрыгивали в окна, но оказалось, что солдаты свои, революционные, пришли приветствовать Лафайета. Пришла депутация, предложившая Лафайету и Жерару объявить себя правительством, те отвечали уклончиво; «мы с народом» и т. п. Но все продолжали требовать от Лафайета заявления. Одно самопровозглашенное правительство уже было — муниципалитет; объявили, что генерал пойдет в мэрию и там все скажет. Толпа потащилась за ним, в половине четвертого он прибыл в мэрию, где заседали люди тоже не последние: адвокат Франсуа Моген, сделавший имя на политических процессах, депутат Огюст Шонен, бывший прокурором при Наполеоне, генерал Жорж Мутон; все они по разным причинам были против Орлеанского. Толпа у мэрии приветствовала Лафайета. «В эту минуту он был самым популярным человеком в Париже и властелином минуты… все верили в мифический незримый триумвират из Лафайета, Жерара и Шуазеля». (Пожилой герцог Клод Шуазель — отставной военный, депутат-либерал.) Лафайет уговаривал всех разойтись, Александр пошел в кафе напротив. В десять часов приехали два депутата верхней палаты и рассказали, что были у короля: просили отменить антиконституционные указы и вместо Полиньяка назначить генерала Мортемара, умеренного, король не соглашался, но, узнав, что войска отступают из Парижа, сместил Полиньяка и Мармона, назначил Мортемара и подписал указ об отмене указов; это произошло в три часа дня, но из-за толчеи и неразберихи пэры только сейчас добрались до столицы. Мэрия ответила, что уже поздно. (Карл назначил на место Мармона своего сына, герцога Ангулемского, наследника трона, тот сделал смотр войск в Булонском лесу и сказал, что Париж потерян.) Пэры поехали к Лаффиту — там люди поумереннее, — но получили ультиматум: привезете сюда до часу ночи этого Мортемара — будет разговор, нет — нет. (Мортемар не приехал.) У мэрии самые терпеливые оставались ночевать, Александр нашел пустую каморку, заперся и не открывал, как ни ломились. На рассвете 30 июля, помятый, невыспавшийся, умылся в фонтане, вернулся в мэрию — секретарь Лафайета бегал по коридорам в поисках писца. Александр вызвался переписать бумагу — то было письмо к Орлеанскому с предложением короны и упреком: «Ваше нахождение в Париже важно для спокойствия столицы».

Утром на столбах появился манифест: «Карл X не может вернуться в Париж — по его приказу пролилась кровь народа.

Республика приведет нас к ужасным раздорам и поссорит со всей Европой. Герцог Орлеанский предан революции. Он никогда не сражался против нас. Он должен стать королем-гражданином». Написали манифест ночью у Лаффита приехавший сдачи Тьер и другой редактор «Национальной», Мишле. (Каррель, третий соредактор, хотел республики, и с этого момента их пути разошлись.) Дело за малым: 1) уговорить Орлеанского, который до сих пор не отвечал на депеши, стать королем; 2) объяснить Лафайету, который хотел республики, что Орлеанский должен стать королем; 3) объяснить назначенному королем Мортемару, что он никто; 4) объяснить то же самому королю. К Лафайету послали мужа его внучки, Шарля де Ремюза, тот спросил, желает ли генерал в случае провозглашения республики ее возглавить: больше некому, народ никого так не любит. Как и ожидалось, старый генерал ответил, что пусть уж лучше правит Орлеанский. Мортемар приехал в Париж и собрался на поклон к мятежникам, но ему передали, чтобы не трудился: в полдень в Бурбонском дворце будет объявлено, кто здесь власть. Осталось только надавить на королей.

В мэрию тем временем принесли слух: Фердинанд Орлеанский, который был со своим полком в городе Жольни, раздал солдатам трехцветные кокарды и вел их в Париж, но во время остановки в Монруже мэр его арестовал и хочет расстрелять. Александр хотел мчаться туда, но ему сказали, что Этьен Араго уже уехал разбираться; он остался слушать новости. Открылись сессии обеих палат (нижней — в Бурбонском дворце, палаты пэров — в Люксембургском). Нижняя палата выбрала Лаффита спикером, заявила, что Карл уже не король, послала делегацию к пэрам, те, не привыкшие ничего решать, на все согласились. Но Орлеанский молчал; он уехал из Сен-Клу еще дальше, в Рейнси, и не отвечал на записки. «Пока корона маячила у него перед глазами, как фантом на горизонте, герцог приближался к ней, робко, извилистыми путями; тем не менее он стремился к ней. Но когда фантом принял определенную форму и приблизился к нему, он испугался. Этот фантом означал не настоящую королевскую власть, но узурпацию; он походил не на корону, а на красный колпак Дантона…» Тьер приехал в Сен-Клу, жена герцога не сказала, где муж, но согласилась переслать ему записку. В два часа в мэрию приехал Араго: с Фердинандом все в порядке. Александр, возможно, чувствовал обиду, видя, что такие же штатские, как он — Тибо, Араго, оказались посвященными в большую политику, их посылают с поручениями; возможно, эта обида наряду с желанием быть полезным побудила его, когда он услышал разговор Араго с Лафайетом, предложить последнему

свои услуги. Этьен спрашивал, что будет, если Карл пойдет на Париж: легко хорохориться перед безобидным Мортимером, но пока что все они — государственные преступники. Лафайет сказал, что пороха в городе нет. Александр сказал генералу, что в Суассоне есть склады боеприпасов и он может их привезти, если ему дадут официальную бумагу.

Эту историю называют фантастической, однако она не только запротоколирована и подтверждена, но и странной не является: порох был нужен, и Лафайет готов был слушать любого, кто мог его достать. Сперва, однако, он назвал идею дурацкой: в провинции не знают о революции, никто не даст и порошинки. Наконец он согласился подписать бумагу, если подпишет генерал Жерар. Тот сидел у Лаффита, к нему нужен пропуск, Лафайету пропуск выписывать было некогда, он велел Дюма написать своей рукой: «Пропустить г-на Дюма к г-ну Лаффиту» и подписался: «Лафайет». Это была неожиданная удача, и Александр добавил выше подписи: «…и рекомендую принять его предложение». У Жерара тот же разговор, теперь Александр сразу вызвался писать своей рукой текст распоряжения — «просим передать имеющийся в городе порох г-ну Александру Дюма» — и выше подписи Жерара вставил: «военный министр». Лафайет весьма удивился, что Жерар называет себя министром, обращение к военному коменданту Суассона написал уже сам и подпись поставил так, что ничего добавить было невозможно.

Три часа, ворота Суассона закрываются в одиннадцать, ехать 100 километров, почтовых лошадей небось не найдешь, одному опасно, Александр уговорил восемнадцатилетнего художника Бара, околачивавшегося в мэрии, отправил к себе домой с запиской, чтобы дали лошадь (в кои-то веки пригодилась) и пистолеты, сам поймал кабриолет и помчался на почтовую станцию, лошади там нашлись. Пока ждал Бара, купил в магазине три куска ткани и соорудил флаг. Бар привез пистолеты, как оказалось, незаряженные. Свою лошадь Александр оставил, погнали на почтовых, дважды пересаживались — бешеная скачка д’Артаньяна… На закате въехали в Вилле-Котре, пошли по знакомым, те говорили, что в Суассоне все роялисты и пороха не дадут, пробило одиннадцать, но один парень, Ютен, житель Суассона, обещал провести их по своему пропуску. В полночь 31 июля приехали в Суассон, ночью в доме Ютена сшили триколор из занавесок и продумали операцию. Утром Бар и Ютен, притворившись путешественниками, лезут на колокольню собора и водружают флаг. «Если бы ризничий сопротивлялся, мы намеревались сбросить его с колокольни». Дюма ждет подъема флага у складов, сообщает офицерам, что произошла революция,

Бар присоединяется к нему, если их не послушают, они идут к военному губернатору де Линьеру. Ютен в это время поднимает городскую оппозицию (небольшая, но есть) и ведет ее на подмогу.

Флаг водрузили, Александр показал бумагу Лафайета офицерам на складе, те сказали, что в общем-то они за революцию, раз она произошла, но все равно надо идти к начальству. Бар где-то застрял. Александр пошел домой к Линьеру, тот посмеялся и прогнал его. Александр вернулся на склад, офицеры подготовили 200 фунтов пороха, но без приказа Линьера отдать отказались. Он опять к Линьеру — опять насмешки. Он достал пистолет и сказал, что дает пять секунд на выполнение приказа Лафайета. Прибежала жена Линьера, просила дать «этому негру» что ему надо. Сам Линьер не испугался. Александр сказал, что приведет товарищей, вышел на улицу и увидел Ютена с оппозицией: два человека, зато с оружием. Вернулись к Линьеру и наставили на него пистолеты, после чего он сказал, что даст порох, если согласится мэр Суассона. Мэр не возражал. Получили порох и грузовой транспорт. Биографы сомневаются не в самом факте экспедиции — отчет о ней был опубликован в официознейшем «Вестнике» 9 августа 1830 года и подписан, кроме Дюма, Баром, Ютеном и тремя жителями Суассона — но в деталях. Когда были опубликованы мемуары Дюма (в 1850-х), сын Линьера заявил, что все ложь: его отец был революционер и порох дал по своей инициативе, причем не Дюма, а офицерам Национальной гвардии, которые с ним пришли. Но гвардии в тот период не существовало. Кроме того, еще в 1837-м вышла книга «История Суассона», где эпизод был описан в подробностях, совпадавших с изложенными Дюма, и никто их не опровергал. В доказательство его лжи и хвастовства приводят письмо к Мелани, где говорится: «Я в одиночку захватил запасы пороха», — но красоваться в частном письме женщине не то же самое, что искажать истину публично.

Он вернулся в Париж в девять часов утра 1 августа, сказал Лафайету, что порох прибудет завтра. Правда, порох вряд ли понадобится: Орлеанский в Париже и, похоже, будет королем, хотя не все этим довольны. Узнал новости: 30-го к Лафайету приходил Кавеньяк с группой студентов, предлагал провозгласить республику и назначить себя президентом; другая делегация во главе с адвокатом Юбером просила генерала объявить себя диктатором и провести референдум о форме правления. Но Лафайет все мялся. Вечером Орлеанский вернулся в Нейи, принял делегацию от Лаффита и тайно, в старом пальто и кепи, прибыл в Париж, где совещался с Талейраном, самым хитрым человеком во

Франции; в четыре часа утра в Пале-Рояле уверял Мортемара, что верен королю, позже узнал, что Карл бежал в Трианон, в девять часов совещался с депутатами и наконец решился продиктовать обращение к горожанам, обещая спасти их «от гражданской войны и анархии», обращение туманное, из которого невозможно было понять, принял ли он должность «наместника» или же только благодарен депутатам за предложение. «Герцог, во-первых, объявил, что не колебался ни мгновения, перед тем как разделить опасность, угрожающую парижанам. Ложь: он прятался в Нейи и приехал в Париж, лишь когда опасность миновала. Во-вторых, он сказал, что парламент будет совещаться относительно того, какую форму правления выбрать; это ложь. Наконец, он обещал конституцию — и солгал».

Воззвание расклеили по столбам и напечатали в газетах, парламент написал свое воззвание, в котором говорилось, что наместник обеспечит свободные выборы; о короне пока речь не шла. Но что скажет Лафайет? Если воспротивится — ничего не выйдет, а с его поддержкой народ проглотит все. В два часа 31 июля Орлеанский пешком отправился в мэрию. Через некоторое время генерал вывел его на балкон и демонстративно обнял. «Лафайет освятил его персону, поделившись с ним своей популярностью». Так что если кто и «слил протест», то генерал Лафайет, причем не в первый раз (мы еще до этого доберемся), но как-то вышло, что его все и всегда считали самым смелым и безупречным человеком… Орлеанский вернулся в Пале-Рояль, сопровождаемый восторгами толпы. «Бог располагает»: «В глазах всех, кроме, быть может, трех или четырех неистовых фанатиков, мы победили, и если верить песенкам, что сейчас распевают на улицах, народ готов вступить в неограниченное владение своей свободой». «Неистовые фанатики» — Бастид, Кавеньяк, Араго — собрались днем 31 июля в редакции «Национальной», Тьер просил их примириться с будущим королем. Они пришли в Пале-Рояль, Орлеанский принял их как равных и обещал быть «королем-гражданином». Они не верили. Но делать было нечего. Карл 1 августа подписал указ о назначении Орлеанского наместником.

Александр сходил домой, помылся, сбегал к Белль и к матери, пошел за новостями к Лаффиту — пробиться невозможно, вдруг выходят люди и говорят, что у Франции теперь будет король Филипп VII (Филипп VI был в XIV веке). Накануне этот Филипп, помнится, обещал, что «народ» сам выберет форму государственного устройства. «Хотя я ожидал чего-то подобного, шок был сильный. Король есть король, по мне что Карл X, что Филипп VII…» Вышел Беранже, Александр кинулся к нему,

спрашивал: как же так, для чего же все было? Старый поэт отвечал, что надо «спасать страну». «Нет, поначалу эта новость никому не понравилась. От дома Лаффита до Пале-Рояля, куда я дальше пошел за новостями, я слышал больше проклятий, чем аплодисментов». Возможно, Дюма лукавил, говоря, что совсем не радовался возвышению своего бывшего шефа, или спустя 20 лет ему вправду так казалось. Мелани он, однако, писал: «… революция продлилась всего три дня. Мне посчастливилось принять в ней такое активное участие, что меня заметили Лафайет и герцог Орлеанский… в моем положении многое должно измениться… твоего Александра ждет большое будущее…» 2 августа Бар привез порох — сдали в Политехнический под расписку. Александр опять пошел в Пале-Рояль — за новостями? Но «рассадники новостей» находились в других местах. Придется заподозрить, что он хотел поймать в коридоре Орлеанского, и ему это удалось. Может, назначат посланником… министром… при переворотах карьеры так стремительны! Но «Филипп VII» сказал лишь: «Господин Дюма, вы создали лучшую свою драму». (Это об экспедиции в Суассон.) Ему было не до Дюма: Карл отрекся от престола в пользу своего девятилетнего внука, объявив его «законным королем Генрихом V», и назначил Орлеанского регентом. Это не устраивало никого. И у Карла все еще были войска.

Александр отсыпался с обеда 2 августа до утра 3-го, когда его разбудил Кордье-Делану: Карл идет на Париж, и надо вооружаться. Пока Александр собирался, пришел Арель, сказал, что никакой Карл никуда не идет и надо писать пьесу о Наполеоне. Александр его переубедил, пошли в театр, чтобы взять там большой триколор, несколько рабочих сцены и актеров захотели сражаться, вышли на улицу — там дежавю: все бегают и ищут оружие. Пошли в Пале-Рояль, там достали несколько ружей. Дюма с Кордье-Делану поехали в Рамбуйе. В окрестностях собралось почти 20 тысяч человек, ночевали в поле, вроде слышали где-то перестрелку, наутро узнали, что Карл уехал в Англию (он жил там, потом в Австрии, умер в 1836 году) и парламент объявил трон свободным. Искали Полиньяка и его министров — кого-то же надо наказать за все, что случилось. Но те как в воду канули.

5 августа Арель вновь попросил пьесу о Наполеоне. Великий человек столько лет был под запретом — «хорошо пойдет». «Неприятности, что были у моей семьи из-за Наполеона, сделали меня несправедливым к нему, и я отказался». Композитор Циммерман сказал, что пишет песню о революции, нужны стихи. Сил не было и на стихи: «Я чувствовал абсолютное безразличие к

прозе и поэзии; я понял, что нужно время, чтобы политическая суматоха во мне перегорела. Мне хотелось то-то делать, у меня не было ощущения, что все закончилось, я чувствовал, что было еще что-то… Наконец, я чувствовал отвращение, почти стыд из-за всей этой неразберихи. Мне хотелось на два-три дня как-то выпасть из своей обычной жизни… Наверно, я мог в Пале-Рояле просить какую-нибудь должность, чтобы меня послали в Россию, Пруссию или Испанию. Но я не хотел больше идти туда. Я подумал о Вандее. Там, возможно, были для меня дела… Может, я пришел к такому выводу, потому что искал повод поехать в те места». Там, в Жарри, Мелани вот-вот должна была родить. Дюма в Вандее — очередной объект иронии; обычно пишут, что «на самом деле» он поехал к любовнице, а делал вид, будто с правительственной миссией. Тем не менее к миссии он отнесся серьезно, и странно было бы, если б это было не так — он же хотел сделать карьеру. Вандея — проблемный регион, вечный оплот реакции, попортивший стране много крови при республике и империи, да и при королях там неспокойно: поджоги, грабежи. 6 августа Дюма пришел к Лафайету с предложением организовать в Вандее подразделения Национальной гвардии. Генерал отозвался с сожалением о «поэтах, балующихся политикой», но дал бумагу к местным властям, прося оказать «спецпосланнику Временного правительства» «содействие в консультациях».

В Вандее «спецпосланника» примут плохо, это ясно, да еще и штатского — он даже не член Национальной гвардии. С другой стороны, там и убить могут: ехать инкогнито? И все же он решил заказать форму, похожую на военную: провинциалы перед мундирами робеют. Заказал френч в тонах триколора, пока костюм шили, сидел с матерью, та расстроена: карьера сына рухнула. 7 августа палата предложила Орлеанскому трон, 9-го он его принял, но короновался не как Филипп VII, а, чтобы подчеркнуть отсутствие преемственности, как Луи Филипп I. Вечером 10 августа Дюма на почтовых выехал из города. «В окрестностях Парижа моя форма вызвала энтузиазм; в Блуа я еще находил почитателей; в Анжере это было любопытство; в Мерсе, Болье, Бомоне холод окружал меня, и я чувствовал, как и предупреждал меня Лафайет, что, сколь недолго я ни пробуду здесь, всегда будет опасно проходить мимо кустов и заборов». В Анжере он попал на суд: крестьянина, пытавшегося расплатиться фальшивой монетой, приговорили к каторге. Написал Удару, чтобы тот поговорил с королем: и человека жалко, и выгодно будет, если новая власть запомнится здесь своим милосердием. (Крестьянина помиловали.) В Жарри посещал окрестные поместья, разговаривал с людьми: никто не хочет Национальной

гвардии и вообще ничего. Лишь в городке Клиссон нашел энтузиаста, который собрал десять добровольцев. Труайя: «Чтобы оправдать свою поездку в Вандею, Александр, красуясь в парадном мундире, кое-как сколотил маленький отряд Национальной гвардии: десяток одуревших мужиков…» Труайя вообще пишет о Дюма с таким презрением, словно сам он — Лев Толстой; но доброжелательный Моруа — еще хуже: «В Вандее… Дюма только и делал, что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Мелани…» Такой тон еще можно было бы понять, если бы сам Дюма утверждал, что добился невероятных успехов, тогда как этого не было. Но он, детально описав в мемуарах и ряде официальных отчетов каждый город и деревню, которые посетил в Вандее, назвав фамилии должностных лиц и изложив содержание переговоров, затем констатировал, что из миссии ничего не вышло, и объяснил почему.

В отчете Лафайету он писал, что географическая изоляция Вандеи порождает экономический и социальный застой и именно поэтому люди противятся всему, что не «исконное» и «посконное»: Луи Филипп для них такой же разрушитель устоев, как Робеспьер. И надеяться не на кого. «Здешние дворяне против любой конституционной формы правления, на горожан они не влияют, но имеют неограниченное влияние на арендаторов — фермеров… Показательный пример: у маркиза ла Бретеш 104 фермы, на каждой как минимум трое мужчин, способных держать оружие, — потенциально 312 вооруженных бойцов». Духовенство реакционнее, чем где-либо, а слабые и малочисленные буржуа ничего не могут сделать, «да и среди них пропорция либералов — 1:5». Что делать? 1) строить дороги: «…за коммерцией последует цивилизация, а за ней свобода… новости смогут быстрее распространяться, откроются почтовые отделения, будет свободный доступ к информации… рост торговли создаст рабочие места и возможность социального лифта»; 2) заменить кровожадных и дремучих священников на образованных; 3) перестать платить пенсии и дотации дворянам, и без того богатым, а отдать их фермерам; 4) строить школы. Если же этого не сделать, будет худо, ибо дворяне настроены настолько радикально, что «им достаточно появления какого-нибудь претендента на престол или вторжения англичан» для начала партизанской войны.

Написав отчет, он торопился уехать, Мелани (отношения испортились, ревность, слезы) не отпускала, пришлось писать знакомому, чтобы тот фальшивым письмом вызвал его в Париж. Это письмо приводят в доказательство того, что Дюма со своей миссией валял дурака, а как наскучило, решил сбежать. Однако

зачем ему было там сидеть, если доклад готов? Письмо пришло 19 сентября, на следующий день после того, как у Мелани был выкидыш. 22-го Дюма отправился на атлантическое побережье — Нант, Гавр, где новая власть устанавливалась со своей спецификой, тоже им описанной, — и вернулся в Париж через шесть недель после отъезда. За это время поймали Полиньяка, переодетого лакеем, и еще трех министров. Дюма отдал Лафайету доклад, сказал, что в Вандее скоро будет восстание, Лафайет отмахнулся, правда, по просьбе автора передал доклад королю, но тот даже не подтвердил получения.

14 августа опубликовали конституцию: в ней содержалась Декларация гражданских прав, провозглашалась «народная монархия», король лишался права издавать указы в обход законов. Опора демократии — выборное местное самоуправление. Церковь отделена от государства. (Закон о святотатстве, разумеется, отменен.) Цензуры нет. Возрастной ценз для избирателей снижен. Звание пэра больше не передается по наследству, палата пэров сокращена. Нижняя палата, как при республике, наделяется законодательной инициативой. Но Дюма возмущался тем, что новый король написал «подобострастные» письма другим монархам, что мерзавца Талейрана назначили послом в Лондоне, что палата отвергла предложение Лафайета об отмене смертной казни за политические преступления, что со стен велели смыть все «граффити» июльских дней, — мелочь, но… «Они надеялись, что, убрав напоминания об этих днях с камней, они уничтожат их и в сердцах».

Арель требовал «Наполеона»: в Париже ставятся уже шесть пьес об императоре, надо не отстать. В начале октября Дюма согласился. А через несколько дней Удар ему написал, что Орлеанский его примет. Ранние биографы считали это выдумкой, даже Шопп не уверен, что аудиенция была, однако никто не доказал обратного, а Дюма не утверждает, будто из аудиенции вышло что-то хорошее. По его словам, рекомендацию заменить вандейских священников король признал разумной, но в восстание не поверил; Дюма сказал, что восстание будет для короля выгодно, поскольку «даст предлог не брать на себя обязательств по отношению к бельгийцам, итальянцам и полякам, требующим независимости». В эту фразу не верит ни один биограф — ну, давайте и мы не поверим: такая дерзость исключила бы шансы на карьеру. Под конец Орлеанский сказал: «Вы поэт — вот и занимайтесь поэзией». Даже доброжелательный английский биограф Артур Дэвидсон пишет тем пренебрежительным тоном, каким почему-то считается возможным говорить о Дюма: «На сем король решил, что с него

довольно. Жестом руки он показал, что аудиенция окончена. Принимая во внимание обстоятельства, мы должны извинить его величество, даже если знак был дан не рукой, а ногой». А восстание-то случилось — через два года, именно там, где предсказывал Дюма, и король оказался к нему не готов…

Доктор Биксио, который уронил на ногу Александра булыжник, сказал, что идет набор в артиллерийскую батарею Национальной гвардии. Александр написал заявление о приеме в гвардию и об увольнении с должности помощника библиотекаря. «Сир, так как мои политические взгляды больше не соответствуют тем, которые Ваше Величество вправе требовать от лиц, принадлежащих к Вашему дому, я прошу Ваше Величество принять мою отставку…» (Опять недоверие: слишком дерзко, а документ не сохранился. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, решайте сами, верить или нет.) Всех занимал процесс над Полиньяком и министрами, обвинявшимися в том, что во время беспорядков отдавали приказы, в результате которых были убиты люди. Палата предлагала тюрьму, народ требовал казни: нас убивать можно, а их нельзя? Молодые республиканцы-радикалы подумали, что можно организовать новую революцию, 18 октября попытались вывести горожан на улицы, ходили с лозунгами, клеили листовки, но без толку: людей никуда не «выведешь», если они не хотят. 25-го Дюма начал «эту злосчастную пьесу о Наполеоне, мой кошмар», заранее решил, что выйдет дрянь (большую историческую вещь нельзя написать без подготовки), и свое имя ставить отказался. Кордье-Делану взялся собрать материалы, использовали мемуары Бурьена, секретаря Наполеона, «Историю Наполеона» дипломата Монбретона, бестселлер «Мемориал Святой Елены» графа Лас Каза; третьим соавтором была мадемуазель Жорж, которой Дюма, работавший в доме Ареля, давал текст на правку. За десять дней был готов эпос «Наполеон Бонапарт, или Тридцать лет истории Франции»: 24 сцены, 66 персонажей. Английский шпион, спасенный Наполеоном от расстрела, и французский крестьянин следуют за императором на протяжении его карьеры; все события показаны глазами этих двоих. Автор: «Литературные достоинства пьесы ничтожны, я придумал только шпиона, остальное бессовестно списал у других». Однако современные театроведы считают, что это хорошая пьеса и она бы очень подошла для эпического фильма, вроде «Войны и мира» Бондарчука. Закончив работу, Александр узнал, что принят в Национальную гвардию. «Я достиг венца своих мечтаний: я был артиллеристом!»

Глава четвертая
ТОРЖЕСТВА И АРЕСТЫ

Основная масса национальных гвардейцев была за «сильную руку» и «устои», но артиллерия — особая часть: поступали туда люди с высшим образованием, а теперь собрались отпетые революционеры, включая Кавеньяка, Бастида и Араго. Командовал ею назначенный Лафайетом генерал Жубер, потом Луи Филипп назначил графа Пернети. Было четыре батареи (в первой служил Фердинанд Орлеанский, теперь наследник престола), Дюма записался в четвертую, где было много знакомых врачей и художников. Задача — охранять Пале-Рояль (Луи Филипп, подчеркивая, что он не такой, как прежние короли, сидел там, а не в Тюильри) и парламент. Казармы — в Лувре, трижды в неделю учения с 6 до 10 утра, дважды в месяц стрельбы; на сборах говорили о политике. «Артиллерия была республиканской, особенно вторая и третья батареи. Первая и четвертая были более реакционны, но и там набралось человек 50, на которых можно было рассчитывать». Правда, как писал Дюма много лет спустя, рассчитывать им всем было не на что: «После политических перемен наступает реакционный период, когда материальные интересы преобладают над всем и каждый думает о себе, а правительство этому потакает… Спекулянты и жулики расталкивают друг друга… невозможна никакая деятельность честных людей, все заранее одобряют все, что сделает правительство. Словно дух, который время от времени вдохновляет народы на свершения, рассеялся в небе… Слабых это приводит в отчаяние, но сильные верят и ждут…» Ждать приходится долго: 10, 15, 20 лет, а молодежи хотелось сразу.

11 августа Луи Филипп сформировал правительство в основном из тех, кто подарил ему корону: Лаффит, Жерар, Перье. Но взгляды у этих людей были разные: одни за конституционное правление «как в Англии», другие за то, чтобы все было «как при настоящих королях». Министром внутренних дел и главой кабинета стал 43-летний Франсуа Гизо (1787–1874), депутат (они могли одновременно быть министрами), юрист по образованию и историк по профессии, как Тьер, но более серьезный; сторонник реформ, ненавистник революций, он критиковал политику Карла, Луи Филипп его устраивал, республиканскую партию он называл «отвратительным чудовищем, которое дерзает выставлять напоказ свое безобразие». В конце сентября молодежь, не смирившаяся со «сливом протеста» — Кавеньяк, адвокат Юбер, Франсуа Распай и

такой левый, что был левее Ленина, Огюст Бланки, — объявила о создании «Общества друзей народа». Уголовный кодекс, как мы помним, собираться больше двадцати человек запрещал; «Общество» не насчитывало двадцати, но 2 октября Гизо издал приказ о его роспуске.

Кавеньяк готовил заговор — Александр был в этом уверен. Он пытался с ним поговорить, но тот не раскололся. «Я всегда подозревал, что они проверяют меня… Во всяком случае, Кавеньяку было достаточно прийти и убедиться в моей лояльности», — писал он с грустью. Никто не хотел посвящать его в заговор, даже друг Биксио: «Я так и не сумел понять, участвовал ли он в какой-то организации…» Почему его отвергали? Он был штатский, «интеллигентишка», но Этьен Араго, Распай, доктора Тибо и Биксио — тоже… Возможно, считали мягким, нерешительным и к тому же болтуном… А он все запоминал, изучал: в мемуарах содержится полный обзор прессы того времени, в том числе религиозной. Ведь во многом все случилось из-за того, что Карл переусердствовал с религией; как теперь? Он с восторгом писал об аббате Шателе, выступившем с проектом отделения французской католической церкви от Рима, предлагавшим церкви изучать «законы природы», об аббате Ламенне, провозгласившем свободу совести, печати и обучения. В ответ на это «вопль вырвался из сердца церкви, но возглас не радости и восхищения, но ужаса. Они боялись умных людей…».

Лучшее, что сделал новый король, — отменил цензуру; 6 октября во Французском театре начали репетировать «Антони» с Марс и Фирменом. «Одеон» репетировал «Наполеона», императора играла восходящая звезда (и участник июльских событий) Фредерик Леметр. Автор разрывался: «В Одеоне каждому нравилось его дело, и все от директора до суфлера старались помочь мне, тогда как в Комеди Франсез всем не нравились их роли и все мешали автору и его работе… однажды утром мне предложили выбросить второй и четвертый акты… Меня охватило такое отвращение к моему детищу, что я уже был готов его уничтожить; я дошел до того, что считал „Наполеона“ художественным произведением, а „Антони“ — вульгарной поделкой».

Личная жизнь тоже была сложная, путаная. Мелани, узнавшая о Белль, слала угрожающие письма, он клялся, что с той все кончено. Мелани не верила и, вернувшись в середине октября в Париж, устроила разлучнице сцену. Называла Александра негодяем и совратителем и 22 ноября 1830 года составила предсмертное письмо: «Если Вы будете присутствовать при моей кончине, Ваши уста, вместо того чтобы покрыть меня поцелуями,

произнесут горькие слова упрека, и слова эти лишат меня покоя и там. Сжальтесь, на коленях прошу Вас о милосердии, — иначе Вы не человек…» Доктора Валерана, знавшего о романе, просила: «Я хочу получить от него, до того как он покинет меня, стихи, пряди волос нашего ребенка… шею мне пусть обовьют нашей черной цепочкой… Я хочу, чтобы его часы и наш перстень положили мне на сердце…» Жалко женщину, и чувства ее понятны, но такую сентиментальность вынесет редкий мужчина. Дюма пришел к ней, она обещала не кончать с собой, он обещал прийти еще и не пришел. Снова душераздирающие письма. 10 декабря: «Я буду для тебя всем, чем ты пожелаешь. Я ни в чем не буду стеснять твоей свободы: ты будешь дарить мне лишь то, что повелит тебе твое сердце, ты никогда не услышишь от меня ни слова упрека, ты не будешь знать ни ссор, ни капризов и будешь счастлив» — и тут же условие: порвать с Белль. Но Белль его устраивала — веселая, хороший товарищ, не «грузит» — и к тому же была беременна…

Главные разногласия в верхах той осенью касались не внутренних, а внешних дел. Франция подала Европе пример: в августе Южные Нидерланды провозгласили себя государством Бельгия, просили помощи, либералы в парламенте (перевыборы назначили на 1831 год, а пока заседали те, кого разогнал Карл X) — Лафайет, Одийон Барро — считали, что надо помочь (тем более что была возможность сделать королем Бельгии одного из сыновей Луи Филиппа), правые — Перье, Гизо — были против. В ноябре Польша восстала против России, Лафайет, глава «Польского комитета», взывал к совести депутатов — нельзя не подать руку тому, кто так страшно угнетен, — его никто не слушал. (Бельгия управилась сама, и 20 декабря ее независимость была признана.) Эти дела больше волновали политиков, обычные горожане жили ожиданием суда над экс-министрами. Продолжались требования смертной казни (800 убитых, не забудем, не простим), тюрьма под усиленной охраной, Гизо боялся новой революции. Процесс начался 15 декабря в Люксембургском дворце, толпа в зале, толпа на улице (вообще на громкие процессы, поскольку о них нельзя было прочесть в Интернете, ходил весь Париж). Национальная гвардия получила приказ охранять дворец, гвардейцы, освободившиеся с дежурства, шли в зал заседаний, Дюма был на всех. «Все чего-то ждали. Мы не знали, чего конкретно, но были наготове. Несколько раз мы собирались, чтобы прийти к какому-то решению, но решили только, что в случае чего соберемся у Лувра, где хранилось наше оружие, и будем действовать по обстоятельствам». Лафайет, благородный и расплывчатый как всегда, призвал к спокойствию.

«За этим последовало странное возрождение популярности старого генерала; страх заставил его врагов петь ему похвалы со всех сторон…»

Заседание 20 декабря, на котором Дюма был, прервалось страшным шумом на улице, зрители выскочили из зала, кругом паника, все орут: «Смерть министрам!» — началось?! Он с несколькими артиллеристами помчался в Лувр. «То и дело попадались люди, которых мы встречали на баррикадах, и спрашивали, будем ли мы за них, если они пойдут брать Пале-Рояль, как брали Лувр. И мы пожимали им руки и глядели им в глаза, и они кричали „Артиллерия с народом!“». Кроме артиллерии, однако, никто бунтовать не собирался. Полковник Монталиве запер арсенал, день прошел в попытках туда вломиться (Кавеньяк в конце концов достал немного оружия), ночь — в разговорах. Говорили, что людей на улицу вывели какие-то заговорщики, но они хотят Наполеона Второго, а кому он нужен? Народ походил, пошумел и разошелся. (Никакие заговорщики его не выводили, просто процесс всех очень волновал, а единственным способом что-то узнать, если невтерпеж ждать газет, было выйти на улицу.) 21 декабря — вынесение приговора, люди волнуются, каждые пять минут слухи: министров казнят, министров отпускают… В полдень вышел Лафайет, объявил: пожизненное. (Через несколько лет министров помилуют.) Опять крик, вой, генерала чуть не разорвали, артиллеристы заслонили его. «В этот момент орудийный залп прогремел в воздухе, словно молнией поразив всех. Это был знак, которым Монталиве сообщал королю, что министры не будут казнены, но мы подумали, что это сигнал наших товарищей в Лувре; мы бросили генерала и, размахивая саблями (которые не были настоящим оружием: король не доверял своей охране, „огнестрел“ хранился под замком. — *М. Ч.),* помчались через Понтонный мост, крича: „К оружию!“ Слыша эти крики и видя наши сабли, люди расступались перед нами и тоже пускались куда-нибудь бежать, вопя: „К оружию!“».

В Лувре собралось 600 артиллеристов, но штурмовать Па-ле-Рояль не пошли, так как прошел слух, что остальным частям Национальной гвардии приказано их арестовать. Ночью ждали штурма, Дюма попал на дежурство с Мериме, болтали о драматургии, наутро 22 декабря вышло обращение Лафайета: он благодарит Национальную гвардию, за что — непонятно. Артиллеристы разошлись и узнали, что ночью в городе были беспорядки, в основном студенческие. 23-го палата благодарила студентов Политехнического «за лояльность и благородство, проявленное ими в поддержании общественного порядка».

Возмущенные студенты заявили, что никакого порядка они не поддерживали, а совсем наоборот. Арестовали 89 студентов, но через день выпустили. Король, рассыпавшись в благодарностях Лафайету, в тот же день снял его с поста командующего гвардией и назначил себя. Несколько офицеров подали в отставку — освободилось место одного из двух капитанов четвертой батареи. Выбрали Дюма: он горевал о Лафайете, но был рад за себя, на новогодний прием для гвардейцев в Пале-Рояле надел новый мундир, сшитый на свои деньги, и обнаружил, что в мундире он один: артиллерия расформирована, о чем газеты сообщили еще накануне. «О моем поступке болтал весь Париж; одни думали, что это дурная шутка, другие — что геройство, и ни один не верил правде: я сделал это по незнанию». Опять ему не верит ни один биограф, включая Циммермана и Шоппа. Трудно быть Дюма: пишешь о своем дерзком поступке — не верят, пишешь, что сделал нечто случайно, — тоже не верят. Ей-богу, непонятно, для чего в данном случае лгать. Мог один день и не читать газет — у него на носу была премьера.

«Наполеон» поставлен 10 января 1831 года, очень пышно, Арель израсходовал четыре тысячи франков. На сцену выходили лошади из цирка, в антрактах играл военный оркестр, сцена пожара Кремля ошеломляла натурализмом, Леметр был великолепен. «„Наполеон“ имел успех только благодаря обстоятельствам… Среди аплодисментов было и шиканье, и (редкая вещь для автора) я был скорее согласен с теми, кто шикал». Критики хвалили Леметра и ругали пьесу, но она успешно шла всю зиму и принесла кучу денег. Некоторые ругали с идейной точки зрения, де Виньи, например: зачем Дюма подлизывается к Наполеону и (устами персонажа) ругает Бурбонов — те и так повержены. Опубликованный текст вышел с предисловием, где Дюма напоминал, что это пьеса, а не трактат, и если персонаж кого-то ругает, это не обязательно авторская позиция. С «Антони» худо: во Французском театре финансовые трудности, актерам не нравятся роли, автору — актеры. «Ни одна женщина не была менее, чем м-ль Марс, способна понять характер Адели, сотканный из достоинств и недостатков, крайностей страсти и раскаяния; ни один мужчина не был менее способен, чем Фирмен, воспроизвести горькую иронию и философские сомнения Антони». Дюма начал переговоры с театром «Порт-Сен-Мартен» — там вроде бы выражали интерес к пьесе.

14 февраля в церкви Сен-Жермен-л’Оссеруа отслужили панихиду в память герцога Беррийского, за которой последовал сбор средств в пользу солдат и полицейских Карла X, раненных

прошлым летом. Горожане были взбешены, вокруг церкви собирались группы, Этьен Араго произнес речь: это издевательство над убитыми повстанцами. Толпа ворвалась в церковь и начала все крушить; никто, впрочем, не пострадал. Дюма глядел на это издали с ужасом: «Если это и было спланировано, я ничего не знал, а если бы знал, держался бы от этого подальше — ведь это была прямая атака на короля. Я заперся на ключ и весь следующий день сидел и работал». Что-то изменилось в нем за два месяца — ведь еще в декабре он рвался участвовать в заговоре во имя республики. Ночью продолжались волнения, 15 февраля толпа захватила дворец архиепископа де Келена («то был один из тех мирских прелатов, которые больше годятся в пастушки, чем в пастыри. Это подтвердилось, когда 28 июля в его доме обнаружили женщину…»), кричала «Долой иезуитов», все рушила и громила. «Черт меня дернул: я побежал в город…» Увидел, как по Сене плывут мебель архиепископа, одежды священников: «последние были так ужасно похожи на тонущих людей…» Он видел за происходящим «руку» Араго, который «чувствовал, что момент подходящий и раздражение можно использовать. Никакого заговора в это время не было, но республиканцы были готовы использовать любые непредвиденные обстоятельства в свою пользу». Уже не «мы», а «они», «эти республиканцы»… У дворца он видел депутатов, в частности Тьера, который уговаривал полицейских не препятствовать действиям толпы. (Возможно, орлеанисты с молчаливого одобрения Луи Филиппа хотели нанести удар по Келену, который поддерживал Бурбонов.) «Пассивное присутствие этих лиц придавало бунту у архиепископства оттенок, которого я не встречал ни в одном бунте ни раньше, ни потом… Это не был бунт людей, полных энтузиазма, рискующих жизнью среди выстрелов; это был бунт в лайковых перчатках, пальто и мундирах; насмешливая, нечестивая, наглая толпа, не имевшая никакого оправдания погрому, который она учинила; буржуазный бунт, самый безжалостный и презренный… Я вернулся домой с горечью в сердце, мне было тошно… Вечером я узнал, что они хотели разрушить собор Парижской Богоматери…»

Ему больше не нравилась оппозиция — никакого конструктива, одна буза; он решил стать мудрым, как Лафайет, и устремиться не против власти, а в нее. Он вновь послал королю письмо с прошением об отставке (в которой фактически давно находился) и опубликовал его в предисловии к «Наполеону». Опять недоверие: слишком наглый текст, не мог он его отправить королю. Судите сами. «Сир, в течение долгого времени я говорил и писал, что я прежде всего гражданин, а уж потом поэт. Близится

период, когда я смогу участвовать в правительстве (был возрастной ценз. — *М. Ч.)*. Я почти убежден, что в 30 лет стану баллотироваться в депутаты… К несчастью, люди, далекие от политических вершин, не отличают действий короля от действий министров. Сейчас министры действуют в интересах произвола, а не свободы. Среди людей, находящихся под Вашим покровительством и говорящих Вам каждый день, что они восхищаются Вами и уважают Вас, возможно, нет того, кто уважает Вас больше, чем я, только они говорят это и не думают этого, а я думаю, но не говорю (однако сказал. — *М. Ч.)*. Но, сир, преданность принципам выше, чем преданность человеку». Ответа он не получил. Короли не нуждаются в советах поэтов, а тем более — граждан.

Зимой 1831 года Дюма и Гюго придумали проект театра, где были бы режиссерами своих пьес. Ситуация благоприятна: в верхах шли разговоры о том, чтобы распустить товарищество актеров Французского театра и назначить директора. 23 и 25 февраля в «Театральном вестнике» проект был опубликован: два драматурга вызвались принять театр без субсидий, но с гарантированной государством выплатой двух тысяч франков за каждое (еженедельное) представление классиков — Расина, Вольтера. Расходы театра составляют 1500 франков в неделю, получается прибыль в 500 франков. Газета комментировала: этого мало, придется ставить и современные комедии, но что тогда останется от Французского театра? Согласия не было и между авторами проекта. Гюго писал историку театра Виктору Пави: «Я думал не о руководстве театром, но о владении им. Я хочу быть не директором, а владельцем цеха, где все мое». О Дюма — ни слова.

Французскому театру был нужен не владелец, а менеджер, но труппа отказалась и от этого. Дюма и Гюго обратились со своим проектом в «Порт-Сен-Мартен», там его отвергли, но с Гюго заключили договор: он дает две пьесы в год, они — ставят. С Дюма такого договора не заключили, но согласились взять «Антони»; помогло то, что пьеса заинтересовала приму, Мари Дорваль. Он познакомился с ней в 1829-м, после премьеры «Христины», ухаживал. Женщина незаурядная, умница, но с такими ему никогда не везло. Она любила де Виньи. С грустью: «Виньи — поэт огромного таланта… истинный джентльмен. Он лучше меня, потому что я мулат». Остались друзьями. Роль Адели ей подходила, роль Антони взял Пьер Бокаж. Де Виньи ходил на репетиции и посоветовал убрать богохульные рассуждения героя: хотя цензуры и нет, но публике не понравится. Автор послушался. Нужен успех, нужны деньги, семья-то растет. 5 марта 1831 года

Белль родила дочь Мари Александрину. Запись в метрике: «Родилась на улице Университетской, дом 7, отец и мать неизвестны». Но 7 марта оба родителя написали заявление, что признают ребенка. Дюма решил признать и сына и забрать его у Катрин. До сих пор его устраивало быть воскресным папой — сын потом вспоминал, как отец заваливал его подарками, обиды заглаживал конфетами, терпеливо уговаривал не бояться пиявок. Почему теперь все изменилось? Он решил остепениться; Белль поощряла его, вероятно, рассчитывая на брак и статус матери семейства (вряд ли ею двигало чадолюбие — она не только бросила своего старшего ребенка, но и новорожденную на год отдала платной кормилице и навещала ее не чаще, чем отец), и, видимо, настраивала его против Катрин — нотариусу он писал, что признание им сына нужно осуществить быстро и втайне: «…я боюсь, что у меня отнимут ребенка». 17 марта он признал отцовство, Катрин, к которой явились приставы, сделала то же 21 апреля, начался процесс.

Между тем 9 марта Дюма получил от Луи Филиппа ответ на свое письмо, но не тот, на который рассчитывал. Король отправил в отставку либеральных министров, включая возведшего его на трон Лаффита, которому не простил ультиматумов (несчастный банкир, вложивший все в революцию, почти разорился, с трудом выкарабкался, перешел в оппозицию). Гизо, преданный королю, но нелюбимый в народе, был понижен до министра просвещения и на этом поприще сделал все, чтобы вернуть «перегибы» Карла X, против которых ранее протестовал. Премьером стал Казимир Перье, на пару с Лаффитом возглавлявший заговор в пользу Орлеанского и теперь поставивший целью не допускать заговоров. Один из первых инициированных им законов — о запрещении уличных сборищ, ярым сторонником которого оказался сочинявший в июле пламенные воззвания Тьер… Бывшие заговорщики яростно наводили «порядок». «Времена были неблагоприятны для литературы: все умы были обращены к политике, и беспорядки витали в воздухе, как жаркими летними вечерами стрижи носятся с пронзительными криками и летучие мыши кружат… Англичане играли „Гамлета“ в начале апреля, но в это же время во Дворце правосудия разыгрывалась драма, которая даже мне казалась намного интересней, чем моя собственная…» Арестовали 19 республиканцев, в основном бывших артиллеристов Национальной гвардии, по обвинению в организации массовых беспорядков декабря 1830-го, предъявили 46 статей, включая нанесение материального ущерба. В тех беспорядках много кто участвовал — бонапартисты и даже сам Тьер. Но их не трогали: «Каждое реакционное правительство

хорошо понимает, что республиканцы его единственные серьезные, реальные и постоянные враги». Дюма удивлялся, что его не арестовали, но, видать, не считали «серьезным и реальным врагом». Он ходил в суд с 5 до 15 апреля, слышал знаменитую речь Кавеньяка: «Вы обвиняете меня в том, что я — республиканец; я принимаю это обвинение одновременно как почетный титул». Вообразите, присяжные оправдали обвиняемых. То была ошибка короля: он восстановил суды присяжных, почти отмененные Бурбонами.

В апреле Луи Филипп восстановил артиллерийский корпус Национальной гвардии, и желающие туда вернулись, Дюма в том числе, правда, капитаном его уже не избрали. А 3 мая премьера «Антони» в «Порт-Сен-Мартене». Актеры играли прекрасно, особенно Дорваль, поражали ее необычный голос, естественные движения — садилась на стул, снимала шляпку, плакала не как актриса, а как живая несчастная женщина, не заботясь, чтобы было красиво. В спектакле была смелая сцена: Антони уговаривал Адель ему отдаться, потом набрасывался на нее — тут занавес падал и некоторое время стояла тишина, — потом Адель сидела на кровати растрепанная, бледная, с блуждающим взглядом, и зрители вглядывались в лицо Дорваль так жадно, словно ее и вправду изнасиловали. Ошеломительный успех, женщины плакали. «Целая толпа молодых людей моего возраста… набросилась на меня. Меня тащили вправо, тащили влево, меня обнимали. Мой сюртук держался на одной пуговице… В театре были изумлены. Никто не видел такого успеха, никогда актеры не получали столько аплодисментов от публики — и какой публики! Щеголей, завсегдатаев первых рядов, которые обычно не аплодируют и которые на сей раз кричали до хрипоты и аплодировали так, что рвались перчатки». Он не преувеличивал. В восторге была не только публика, но и критики. Юный тогда Флобер потом писал, что «Антони» создал новый французский театр. Казимир Делавинь ревниво признавал, что Дюма «просто дьявол»: содержание бедно и пошло, но так сделано, что вышло лучше, чем у хороших драматургов. Как и «Генриха III», «Антони» сразу начали ставить в других странах; в России он шел с января 1832-го по май 1834 года. В одном из набросков Пушкина к «Египетским ночам» «княгиня Д» говорит: «Вчера мы смотрели „Antony“», а контекст такой: хотели обсудить жизнь Клеопатры, один гость сказал, что это непристойно, а княгиня ответила, что после того, как все посмотрели «Антони», — «нашли чем нас пугать!».

Та, что была прототипом Адели, присутствовала на премьере, автор прислал ей билет, обещал подойти и не подошел. О ней

болтали, это было унизительно. Книжное издание пьесы было посвящено ей (без указания имени), он хотел как лучше, но Мелани оскорбилась. Она не смирилась с окончанием романа, продолжала слать письма, говорила о дружбе, братстве, звала «просто заходить», просила хлопотать о переводе в Париж ее мужа, пытаясь вызвать ревность. Белль, женщина, как обнаружилось, очень жестокая, украла несколько писем Мелани и отправила Вальдору, был скандал, Дюма вернул Мелани остальные ее письма и вынудил ее первой заявить, что «все кончено». Потом встречались изредка в «свете». (Мелани прожила долго, имела связи с мужчинами, издала несколько сборников стихов.) Знакомая Дюма, графиня Даш: «Он никогда не мог бросить женщину. Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день состояли бы все его любовницы, начиная с самой первой. Никто так не держится за свои привычки, как он… Он очень мягок, и им очень легко руководить, он нисколько не возражает против этого».

О Дюма принято говорить как о донжуане (Моруа: «Донжуан — добродушный сладострастник берет женщин лишь потому, что хочет их…»), но он скорее Бузыкин из «Осеннего марафона», человек, который лжет, раздает обещания, причиняет боль не по злобе, а из-за мягкотелости. Он никогда не был в любви счастлив, потому что не мог найти женщину, которая бы ему подходила. Жениться на «приличной» девушке или вдове он ни разу не собирался, за сестрами и дочерьми знакомых не ухаживал. Конечно, он был мулат и плебей (никто не верил, что у него в роду есть маркизы), но все-таки, наверное, нашлись бы семьи, согласившиеся породниться с успешным драматургом. Но он даже не пытался. Домохозяйки его не интересовали, а женщины, реализовавшиеся в искусстве, не любили его; всякий раз, когда он влюблялся в женщину незаурядную, она отказывала или бросала его, как Виржини Бурбье. Ему оставались несчастные замужние дамы, как Мелани, или хваткие посредственные актрисы, которых не нужно добиваться и за которыми не нужно тянуться. Это несчастье: всегда второй сорт и ни разу — первый…

Луи Филипп, потерпев поражение на процессе 19-ти, решил подольститься к парижанам, наградив участников Июльской революции. Дюма выбрали в комиссию по распределению наград, он любил такие поручения, но был разочарован: правительство предложило, чтобы на орденской ленте была надпись «Даровано королем». «Невозможно представить награду, дарованную королем, коего в то время не существовало и за особу которого… мы вовсе тогда не бились». В знак протеста артиллеристы 9 мая в предместье Тампль устроили банкет в честь 19-ти. В ресторане

собралось 200 человек, в том числе Кавеньяк, Араго, Распай, говорили речи о революции. «Я предложил тост, который казался очень умеренным в сравнении с другими, „за искусство“, поскольку перо и кисть так же эффективны, как ружья, в борьбе за возрождение общества, которой мы посвятили наши жизни… Бывают времена, когда люди приветствуют все: они приветствовали и мой тост, им было все равно». Потом пошли тосты покруче. Встал двадцатилетний гений Эварист Галуа, заложивший основы современной алгебры: он год проучился в институте («Высшей нормальной школе») и был исключен за участие в политических выступлениях. «Юноша держал поднятый стакан и в той же руке раскрытый нож… Был такой шум, что ничего не разобрать, но я заключил, что была угроза; имя Луи Филиппа было произнесено, и раскрытый нож показывал, в каком контексте. Это выходило далеко за пределы моих республиканских взглядов. Я последовал совету моего соседа, который, будучи актером королевской труппы, не мог компрометировать себя, и мы выбрались через окно в сад. Я вернулся домой очень встревоженным: было очевидно, что у этого дела будут последствия, и, действительно, Галуа арестовали два или три дня спустя…»

Кто донес — не узнали. Галуа предстал перед присяжными 15 июня, Дюма был на суде, стенографировал. «Подсудимый. У меня был нож, которым я пользовался для еды на банкете; за десертом я поднял нож и сказал: „Для Луи Филиппа, если он станет предателем“. Но последние слова из-за шума не услышали». Присяжные его оправдали. «Сочли они его сумасшедшим или сами были тех же убеждений? Галуа был немедленно освобожден. Он пошел к столу, на котором лежал нож, как вещественное доказательство, взял его, положил в карман, поклонился присяжным и ушел. То были грубые времена и, возможно, слегка безумные». 14 июля, в день взятия Бастилии, Галуа снова арестовали за незаконное ношение формы артиллериста Национальной гвардии; он провел в тюрьме восемь месяцев. А 30 мая 1832 года он был смертельно ранен в живот на дуэли, обстоятельства которой неясны. Инфельд, его биограф, писал, что единственный источник, в котором есть имя убийцы, — мемуары Дюма; то был Пеше д’Эрбенвиль, идейный соратник Галуа, один из оправданных 19-ти. Сейчас многие исследователи считают иначе, так как нашелся номер лионской газеты «Прекюрсер» от 4 июня 1832 года, где написано, что Галуа убил некий Л. Д., что расшифровывают как Дюшатле (тоже товарищ Галуа). Однако в этой заметке масса неточностей, перевраны место жительства и возраст убитого. Ходили разговоры, будто работавшие на власть

провокаторы нарочно подставили Галуа под дуэль, что частично подтверждается его записями: «Меня спровоцировали два патриота… невозможно было отказаться». Патриотами республиканцы называли себя; возможно, д'Эрбенвиль и Дюшатле и были эти двое, но доказательств их сотрудничества с властями не найдено.

Летом 1831 года Александр поселил Белль у себя и не возражал, когда она называла себя его женой. Процесс против Катрин он выиграл (обеспеченный отец всегда выиграет у матери, стоящей ниже на социальной лестнице), но мальчика не забрал, 6 июля с Белль поехал на море, остановились в Трувиле, рыбацком поселке, облюбованном художниками. Купались, ловили рыбу и устриц (отправили целую корзину Гюго). Ни с кем не общались, Дюма писал новую пьесу: он был трудоголиком по характеру, а не по необходимости, работал каждый день, всюду, но тихий курорт, где никого не знаешь, был особенно удобен. Он описал свой распорядок в Трувиле — примерно то же было потом и в других спокойных местах: подъем в пять утра, работа до десяти, завтрак, с одиннадцати утра до двух часов дня — прогулки, рыбалка или охота, с двух до четырех — работа, прогулка, обед, с восьми вечера до десяти — работа, в полночь — спать. Пьеса историческая, XV век, источник — «Хроники короля Карла VII» Алена Шартье. Крестоносец разводится с женой (она бездетна), она подстрекает раба, араба Якуба, спасенного мужем, убить его. Якуб любит ее, убивает хозяина, идет за наградой, но женщина покончила с собой, и он убегает в пустыню. Побочная сюжетная линия была связана с королем Карлом VII (тем, что предал Жанну д'Арк), поэтому пьеса называлась «Карл VII у своих вассалов». Дюма писал ее в стихах (дневная норма — 100 строк, немного, а рабочий день восьмичасовой — видно, какую массу времени занимали у него в ту пору подготовительные работы: чтение, систематизация, наброски), был недоволен: «Это скорее пародия, чем настоящая драма».

Почему после успеха «Антони» он взялся за старое — стихи, короли, экзотика? Трудно в это поверить, но мы убедимся, что Дюма совсем не умел придумывать. Эрнест Лависс, Альфред Рамбо, «История XIX века»: «Фантазией Александр Дюма обладал в такой степени, что в этом отношении с ним не может сравниться ни один писатель XIX века, да, пожалуй, и никакой другой эпохи. События, инциденты, осложнения и перипетии естественно зарождались у него в мозгу и как бы самопроизвольно складывались в обширные захватывающие эпопеи». На самом деле ничего подобного: случаи, когда он писал что-либо на собственный сюжет, можно перечесть по пальцам

одной руки. Ему нужно было дать сюжет — только так он мог работать. В конце июля в Трувиль приехал драматург Жак Беден и предложил сюжет и соавторство на троих (еще Проспер Губо): незаконнорожденный подкидыш убивает жену (дочь своего приемного отца), чтобы жениться на маркизе, но является его родной отец (палач) и карает злодея.

10 августа Дюма закончил «Карла». Вернулись в Париж: 20-го премьера «Марион Делорм» (критик Антуан Фонтане отметил «Дюма, как всегда, добрейшего, кричавшего и шумевшего на весь зал»), зрители пьесу не приняли, хотя играли те же актеры, что в «Антони». «Ах, если бы мне к моему умению делать пьесы еще умение писать такие стихи, как он [Гюго]!» Арель решил, что в провале «Карла» виноваты именно стихи, и просил переписать пьесу прозой. Но это было уже невозможно. Пока репетировали, Дюма с Беденом и Губо занимался новой пьесой — «Ричард Дарлингтон». Долго не могли придумать, как герой убьет жену: яд и кинжал слишком часто используют, надоело. Дюма не мог сочинить фабулу, но в придумывании сцен ему не было равных. Женщину выбросят из окна. Соавторы оторопели: как это показать? Швырять актрису — смешно и неправдоподобно. Оказывается, все можно умеючи. Декорация: комната с балконом, обращенным в глубину сцены. Дарлингтон грозит убить жену, та выбегает на балкон, чтобы позвать на помощь, он идет следом и закрывает за собой балконную дверь. Ничего не видно, через мгновение — крик, а убийца возвращается в комнату один. Ничего подобного до сих пор во Французском театре не делали. Представьте, как Дюма развернулся бы в кино.

В начале сентября он с Биксио уехал на охоту, вернулся через две недели. «16 сентября… звук, несвязный, как предсмертный хрип или истекающий кровью вздох в этих ужасных словах: „Польша только что пала! Варшава взята!“ Свобода, казалось, отвернулась от мира, недостойного ее…» Переехали с Белль на квартиру в элитной новостройке — улица Сен-Лазар, 40, четвертый этаж, в соседях Этьен Араго и Мари Дорваль. Александра-младшего забрали от матери, суд определил порядок общения с нею — два дня в неделю. Мачеху тот возненавидел, и в доме начался ад. Отношения с отцом тоже не складывались. Может, сложились бы, если бы отец проводил время с сыном, но этого не было; Белль жаловалась, что ребенок никого не слушает, убегает к матери, а та настраивает его против новой семьи. Отдали его в пансион Вотье — начальную школу-интернат, порядки нестрогие, ночевать можно дома. Но ситуация от этого не улучшилась: ребенком нужно заниматься, отцу недосуг, 20 октября премьера «Карла VII» в «Одеоне», неудачно и, как сам

считал, поделом. (Тем не менее Доницетти в 1834-м поставил по пьесе оперу в Ла Скала, а позднее Цезарь Кюи по ней же написал оперу «Сарацин» для Мариинки.) Дела «Одеона» вообще шли скверно, Арель пытался выбить субсидии, ему отказали, и он ушел в «Порт-Сен-Мартен», забрав часть труппы и авторов, так что «Дарлингтона» репетировали в другом театре тем же коллективом.

Журналист Франсуа Бюло, актер Бокаж и Биксио основали журнал «Обозрение двух миров», просили у Дюма стихов и прозы. Он дал несколько стихотворений (он в среднем публиковал пять-шесть стихотворений в год, шедеврами их не считают, но многие из них клали на музыку, чаще всего — Берлиоз), с прозой тяжелее: не знал, о чем писать. Переделал «Бланш де Болье»: генерал Оливье стал называться своим настоящим именем Марсо, а его друг Эрвильи стал генералом Дюма, добавился крестьянин Тинги, вандейский Иван Сусанин, расширилась политическая часть. Комиссар Каррье-Дельмар: «Было так же странно осознавать это, как и наблюдать: целый город кровоточил от укусов одного человека. Какова же сила власти, если один человек способен задавить 80 тысяч людей, над которыми он поставлен править, если один человек может сказать „Хочу, чтобы было так!“ — а все остальные не восстанут и не скажут: „Отлично! Но мы — мы этого не хотим!“ Дело в том, что рабство становится привычкой масс, и только индивиды иногда испытывают тягу к свободе… И потому кровь текла по улицам Нанта, и Каррье, который был рядом с Робеспьером как гиена рядом с тигром или шакал со львом, упивался потоками этой крови, ожидая часа, когда он извергнет ее, смешанную с его собственной».

Робеспьер из эпизодического персонажа, чье дозволение спасти жену генерала Марсо не мотивировалось, стал противоречивым героем: «исключительное существо должно быть или идолом или жертвой толпы; он был тем и другим». Его встреча с Марсо происходит в театре, где дают «Смерть Цезаря» (спектакль с намеком), присутствуют Дантон и Камилл Демулен, Марсо слушает разговор между ними, перебивающийся репликами из пьесы, — прием контрапункта, как в «Госпоже Бовари». «Я бы хотел, чтобы меня верно понимали, — сказал Робеспьер хрипло — он так был взволнован, что голос его изменился. — Необходимо пролить еще некоторое количество крови, эта работа еще не закончилась… Если Высшее Существо даст мне время завершить работу, мое имя будет выше всех; я сделаю больше, чем Ликург для греков, чем Вашингтон для Америки; они умиротворяли только что родившиеся нации, а я

должен спасать старое, изношенное общество. Если же я паду, не успев завершить свой труд, революция погибнет…» Правильное понимание до народа должны донести «чистые душой», Марсо он считает одним из таких, потому и дарит ему жизнь Бланш. Герцен назвал повесть «потрясающей». (Ее инсценировка, подписанная Дюма, но сделанная в основном Анисе Буржуа и Мишелем Масоном, была поставлена в театре «Готэ» в 1848 году под названием «Марсо, или Дети республики»; там все наоборот: девушка спасена, герой умирает у нее на руках.)

Рассказ «Мари» был переделан в «Кучера кабриолета», Бюло его не взял, но взяли в альманах «Париж, или Книга ста и одного». Дюма впервые показал свой юмор — скорее английский, чем французский, интонационно напоминающий Диккенса и Твена. Чем отличается простой извозчик от кучера кабриолета? «Извозчик одиноко восседает на козлах, серьезный, неподвижный, хладнокровный, и переносит превратности погоды с невозмутимостью подлинного стоика; находясь среди людей, он не поддерживает никакого контакта с ними и лишь изредка разрешает себе в виде развлечения стегнуть кнутом проезжающего мимо приятеля; он не питает никакой привязанности к двум тощим клячам, впряженным в его карету, и не чувствует ни малейшего расположения к своим злосчастным седокам, обмениваясь с ними кривой усмешкой лишь при следующем классическом требовании: „Шагом, никуда не сворачивая“. Он гладко зачесывает волосы, отличается себялюбием и угрюмостью и не прочь побогохульствовать. Зато кучер кабриолета — полная ему противоположность. Надо быть в отвратительном настроении, чтобы не улыбнуться в ответ на его любезности, при виде того, как он подкладывает вам под ноги солому, как в дождь и в град отдает вам всю полость, дабы оградить вас от сырости и холода; надо замкнуться в поистине злостном молчании, чтобы не ответить на множество его вопросов, на вырывающиеся у него возгласы, на исторические цитаты, которыми он вас донимает. Дело в том, что кучер кабриолета повидал свет и знает людей; он возил за почасовую оплату кандидата в академики…» Но даже в этом милом рассказике есть убийство, покушение на убийство и попытка самоубийства.

Для Бюло Дюма решил сделать цикл очерков — «Исторические сцены». Он начал изучать историю с Карла VII, словно его мучил стыд за неудавшуюся пьесу. Он работал по десять часов в сутки, штудировал научные труды, особенно любил мемуары, но не брезговал никакими источниками: Кордье-Делану как-то застал его за детским учебником. «Я чувствовал,

что за прошедшие девять лет я так ничего и не изучил; я устыдился своего невежества…» Моруа: «Он не был ни эрудитом, ни исследователем. Он любил историю, но не уважал ее… Он не обладал терпением, необходимым для того, чтобы стать эрудитом; ему всегда хотелось свести исследования к минимуму…» Трудно придумать более неверную оценку. Дюма, особенно под конец жизни, занимался исследованиями не по минимуму, а по максимуму, написал два десятка исторических трудов, из которых компилятивны лишь несколько; в другую эпоху и в другой стране его считали бы историком, но ему не повезло — XIX век во Франции родил плеяду великих исследователей и методологов: Огюстен Тьери, Франсуа Гизо, Гийом де Барант, Франсуа Вильмен, Огюст Франсуа Минье, Жюль Мишле — и это только самые видные. Может, посвяти он себя науке, и смог бы с ними соперничать — но ему, в отличие от них, жить было не на что, надо сочинять беллетристику… Еще интереснее, чем Карл VII, оказались его родители, Карл VI Безумный и Изабелла Баварская, — кладезь сюжетов! В декабре 1831 года и январе 1832-го «Обозрение двух миров» опубликовало пять очерков. Критика их проигнорировала.

«Дарлингтона» сыграли в «Порт-Сен-Мартене» 10 декабря 1831 года, в главной роли Леметр. Успех почти как у «Антони», а труда вложено вдесятеро меньше. «Беда первой совместной работы в том, что за ней следует вторая. Тот, кто пошел на такое, подобен человеку, у которого кончик пальца попал в вальцы: следом за пальцем затянет кисть, потом всю руку, а за ней и все тело! Остановиться невозможно; вошел человеком, а вышел мотком проволоки…» Драматург Анисе Буржуа предложил сюжет и соавторство, написали пьесу «Тереза»: мужчина стал любовником своей мачехи, все водевильно, а в конце мачеха отравилась. «Одна из худших моих пьес». Пристроили в театр «Вентадур», одну из ролей играла двадцатилетняя блондинка Маргарита Ферран (1811–1859), псевдоним — Ида Ферье, по мнению большинства современников, глупая и заурядной внешности, правда, с такими красивыми руками, что Делакруа делал их слепки. Теофиль Готье, однако, называл ее красавицей; она получила хорошее образование в пансионе, знала иностранные языки и вряд ли была так уж глупа. Она похожа на Белль (не внешне): предприимчивая, практичная. Играла в провинциальном театре, в Париже нашла богатого покровителя Жака Доманжа, и тот устроил ее в театр «Нувоте». Женщины ее не любили. Графиня Даш: «Глубоко испорченная, лишенная каких бы то ни было принципов… На всем свете она любила только себя и никогда не знала подлинной привязанности к кому бы то ни

было… Гневливая до бешенства, Ида только и жила что сценами; она испытывала постоянную потребность в волнениях… Поскольку ничто не могло ее остановить, кроме ее же новой прихоти, нрав у нее был бесподобно непостоянный». Как говорили женщины, Ида изображала пушистого котеночка и Дюма на это попался. Связь началась в феврале 1832 года; Доманж не возражал, был в хороших отношениях с Дюма и помогал ему деньгами, что вызывало насмешки.

1832 год начался политическими процессами. Судили 15 участников «Общества друзей народа» и массу других оппозиционеров за оскорбление того или сего, сроки пока не людоедские, зато сажали всех подряд. Дюма носил в тюрьму Сен-Пелажи передачи Распаю, его острота гуляла по городу: «Кажется, Сен-Пелажи превращается в справочник „Кто есть кто“». Еще один процесс — над лионскими ткачами. «Их зарплата за 15 лет упала с 80 су до 18 су в день, правительство предложило гарантированный минимум 23 су, но фабриканты отказались». Демонстрацию 21 ноября 1831 года обстрелял батальон Национальной гвардии, трое были убиты, начался бунт, жертвы с обеих сторон, всего около шестисот человек, 23-го повстанцы захватили мэрию, но их лидеры не знали, что делать дальше. В Париже эта новость вызвала шок, король сказал, что все организовано «провокаторами», деньги на поднятие ткацкой промышленности выделил, но послал в Лион войска под командованием маршала Сульта и Фердинанда Орлеанского. Взяли город без боя, арестовали 90 человек, 11 осудили. Дюма поссорился с Фердинандом. «Ткачи восстали лишь потому, что они не могли жить на 18 су в день, тогда как король проживал 50 000 франков в день… Они просили несколько связок соломы, а король тратил 1 200 000 франков на отопление дворца…» Критик Фонтане писал в дневнике о премьере «Терезы» 6 февраля («позорище») и там же — о том, что Дюма «вел серьезные разговоры о республике и революции. Его хотят заставить платить за порох, который он привез из Суассона: отменная шутка…».

Человек, попавший в вальцы, начал перематываться в проволоку: с тем же Буржуа сочинили водевиль «Муж вдовы», оказавшийся, однако, таким хорошим, что его взял Французский театр. Но премьера 4 апреля прошла при полупустом зале — эпидемия холеры. «Кому довелось видеть Париж в эти дни, тот никогда не забудет это беспощадно синее небо, это насмешливое солнце, безлюдные проспекты, пустынные бульвары, улицы, по которым тянулись катафалки и бродили призраки».

Началось в марте, к середине апреля было семь тысяч

умерших, 13 тысяч больных (всего с марта по октябрь в Париже умерло 18 тысяч человек). Фердинанд посещал больных в госпитале, рискуя (сопровождавший его Перье заразился и умер 16 мая), — Дюма ему все простил. Самому ему 15 апреля тоже показалось, что у него холера. Видимо, простудился, так как выздоровел от полбутылки эфира и горячих припарок. Умирали больше бедняки, так как они брали воду из колодцев; прошел слух, будто правительство (но не король: самые бедные, рука об руку с самыми богатыми, всегда за короля) велело отравить колодцы. В ответ префект полиции заявил, что воду отравила оппозиция. Начались погромы, хватали любого, кто не так одет, как в Средние века. «Париж, превратившийся в груду мяса, грозил стать гигантской бойней…» Луи Филиппа можно пожалеть: в то же самое время в Вандее, как предсказал Дюма, начался мятеж, организованный герцогиней Марией Беррийской (1798–1870), женой племянника Людовика XVIII, надеявшейся посадить на трон своего сына. В апреле она с группой сторонников пыталась взять Марсель, а в конце мая прибыла в Вандею и призвала к восстанию; началась партизанская война. Дюма все это укрепило в мысли, что он должен стать историком — изучая прошлое, можно предвидеть будущее — и написать полную историю страны с древних времен — «Галлия и Франция».

А что, до него никто такой книги не писал?! Писали, конечно: до сих пор переиздавались созданные в XIV веке «Хроники» Жана Фруассара, в XVII веке появились «Истории Франции» Франсуа Мезре и Габриеля Даниеля, в XVIII — «История Франции» Поля Велли, продолженная Клодом Вилларе и Жаном Жаком Гарнье, при Наполеоне «Историю Франции» начал писать Луи Пьер Анкетиль, вышла «История Франции» Жака Ройу, Антуан Фантен-Дезодоар продолжал работу Гарнье, были «Исторические этюды» Шатобриана, а теперь — «Записки об истории Франции» Тьери, «Опыты по истории Франции» и «История цивилизации во Франции» Гизо, труды по истории французской революции Тьера и Минье; Мишле уже начал свою «Историю Франции». Но Дюма считал, что может внести новое: во-первых, никто не захватил абсолютно всю историю — от расселения галльских племен до сегодняшнего дня, во-вторых, «история Франции, благодаря господам Мезре, Велли и Анкетилю, приобрела репутацию до такой степени скучной…» — он сделает ее живее (тут, впрочем, Тьер, Мишле и Минье с ним легко могли тягаться), в-третьих, широкой публике не осилить многотомные труды — он напишет кратко, как для детей.

Он начал с конца — даже не с сегодняшнего дня, а с завтрашнего — и уже в мае сделал предсказания. «Луи Филипп

оказался рядом с гибнущей королевской властью как наследник у постели умирающего… Но монархия должна на что-то опираться. 50 000 аристократов Людовика XV, 200 грандов Франциска I, 12 великих вассалов Хуго Капета давно спали в своих феодальных могилах. На место вымерших классов, которые состояли из привилегированных индивидов, поднимались свободные собственники и предприниматели. У Луи Филиппа даже не было выбора между привилегией крови и практической необходимостью. Вместо 50 000 аристократов он оперся на 160 000 предпринимателей, и монархия приблизилась к народу; это ее самая низшая и последняя стадия… Власть падет без единого удара, падет не усилиями пролетариев, но по желанию самих власть имущих; она падет, низвергнутая разумностью революционной политики, она представляет только и исключительно аристократию собственников, которая рухнет из-за того, что ее ежедневно подтачивают внутренние раздоры. И тогда власть будет в гармонии с интересами, потребностями и желаниями всех. Назовут это монархией, президентством, республикой — не важно…» То была работа для души и для признания, а для заработка нужны пьесы. Фредерик Гайярде написал на хороший сюжет плохую пьесу «Нельская башня», Арель ее купил и отдал переделать Жюлю Жанену, тот не справился, Арель обратился к Дюма: он получит проценты от прибыли, а Гайярде — фиксированную сумму. (Как это они сочиняли и ставили пьесы на фоне холеры? Да как мы, когда нас пугают эпидемией птичьего гриппа, не бросаем повседневных дел.)

В начале XIV века напротив Лувра стояла башня, служившая тайной тюрьмой. Каждое утро стража находила в Сене, омывавшей подножие башни, мужские трупы: то королева Маргарита Бургундская и ее сестры устраивали в башне оргии с незнакомцами и убивали их. Однажды к королеве явился мужчина, который выжил («капитан Буридан»), стал шантажировать ее этими и другими преступлениями, ей пришлось сохранить ему жизнь и сделать министром, после чего они продолжали убивать направо и налево, пока король Людовик X их не разоблачил. (На самом деле, как считали историки, Людовик приказал убить Маргариту, обвинив ее в супружеской измене, потому что ему надо было жениться на другой.) Характеры потрясающие: демоническая Маргарита и подонок Буридан, не лишенный обаяния, но текст Гайярде слаб: ужасные диалоги, много лишних персонажей, и все затянуто, а Дюма уже понял, что так нельзя. («Как-то сын спросил меня: „Какие основные принципы построения драмы?“ — „Первый акт

надо делать предельно ясным, последний — коротким“…») Дюма взял из переданного ему Арелем текста только один монолог и в некоторой степени использовал две сцены, остальное придумал сам, получилась пятиактная драма (в прозе) с эффектным финалом:

«*Маргарита*. Кто посмеет арестовать королеву и первого министра?!

Представитель короля. Здесь нет ни королевы, ни первого министра. Здесь только труп и двое убийц».

Дюма написал Гайярде (тот был в отъезде), что лишь «сгладил шероховатости» в пьесе и не только не собирается ее подписывать, но требует, чтобы о его участии не знали. «Если вы смотрите на то, что я сделал, как на услугу, позвольте мне одарить вас, а не продать вам свой труд». Гайярде, человек тщеславный и несговорчивый, приехал, потребовал играть пьесу такой, какой он ее написал, угрожая добиться запрещения спектакля. Арель уговорил его подписать соглашение: играют вариант Дюма под именем Гайярде, а печатать текст каждый может под своим именем. 29 мая 1832 года — премьера, бешеный успех, сравнивают с Шекспиром, но Гайярде недоволен: Арель напечатал на афишах «Нельская башня, пьеса г-на *** и г-на Гайярде». Склока в газетах, чуть не дошло до дуэли, Дюма предложил арбитражный суд из специалистов, Гайярде предпочел обычный суд и выиграл, но в итоге все узнали, кто автор. Шум спустя годы докатился и до России благодаря «Парижским письмам» Н. И. Греча, утверждавшего, что тяжба велась «не из славы, но из авторского дохода». Но Гайярде волновала именно слава.

Дюма уже писал другую пьесу, над которой пытался работать пару лет назад, — «Длинноволосую Эдит», вдохновленную картиной Ораса Верне «Эдит ищет тело Гарольда после битвы при Гастингсе» (битва 14 октября 1066 года между армией англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона и нормандского герцога Вильгельма; Эдит — жена Гарольда). Писал он не о битве, а о женщине, и действие перенес в XVI век, сделав Эдит женой Синей Бороды (Генриха VIII). Опять не дописал — Буржуа предложил очередное соавторство. «Сын эмигранта»: во время Великой революции маркиз-эмигрант в Швейцарии вступил в связь с замужней женщиной, родился сын, прошло 22 года, маркиз — шпион, его сын — негодяй, вор и убийца, оба попали в тюрьму, отца — на каторгу, сына вешают. Сцена повешения была придумана очень оригинально по тем временам: сводный брат казнимого смотрит через окошко, а зрители видят лишь ужас на его лице. Дюма написал три акта один и акт с соавтором, но

подписана пьеса одним Буржуа. Обратите внимание: Дюма не подписывал того, чего не писал, наоборот — писал и отказывался от подписи. Он занимался этой работой ради денег и стыдился ее.

Лето, холера, в стране неспокойно, Перье сменил на посту министра внутренних дел граф Монталиве, главы кабинета нет, Лаффит и Барро снова в оппозиции. Но «системные либералы» теперь так же раздражали Дюма, как и радикалы. «Прийти снова к власти через парламентское большинство, чтобы в политике восторжествовало милосердие, и монархия стала наконец (словечко Луи Блана) „стражем свободы“ — узкая, хотя и честная мечта, которая, вынужденная колебаться между реакцией и революцией, никогда не осуществилась». Были также группы более радикальных, но мирных оппозиционеров: одну возглавляли Арман Каррель и финансовый консультант Этьен Гарнье-Паже, другую — адвокат Франсуа Моген. Создавались новые тайные общества, возрождались старые — «внесистемная оппозиция»: Араго, Кавеньяк, Бастид (арестованный по обвинению в «организации беспорядков» в Лионе, но отделавшийся испугом) всегда начеку. «В общем, за исключением тех, кого называют центристами, то есть сытых и довольных жвачных животных всех мастей, все были недовольны». У Лаффита вновь собрались депутаты — продвинутые монархисты и умеренные республиканцы, решили составить обращение к королю — «старый прием, всегда бесполезный, но всегда используемый… Чистые республиканцы, которые признавали только насильственные методы, не пришли на эту встречу». Обращение вышло 28 мая, под ним стояли 133 подписи: правительство нарушает права граждан, преследует людей ни за что, не поддерживает освободительную борьбу других народов; был и завуалированный намек на то, что возможен переворот. Все подобрались — «что-то будет». А в городе — смерть, жара, пожары, слухи о яде в колодцах…

1 июля, накануне похорон Эвариста Галуа, король ввел в столицу дополнительные части Национальной гвардии (почти полностью лояльной после чистки рядов). На кладбище говорились речи, до дела не дошло, но 6 июля будут новые опасные похороны. Умер Жан Максимильен Ламарк (1770–1832), наполеоновский генерал, оппозиционер, друг Лафайета, правительство не взяло на себя организацию церемонии, как полагалось по статусу генерала. «Пышные похороны Перье продемонстрировали силу государства; похороны Ламарка показали бы силу оппозиции… Левые и крайне левые решили использовать похороны, чтобы показать свое недовольство и свои силы и, если получится, свергнуть монархию». (Дюма не ошибся,

«левый» Луи Блан подтверждал, что такой план был.) Дюма был знаком с семьей Ламарка, пришел с соболезнованиями, его попросили быть одним из распорядителей. В отличие от большинства художественных натур он добросовестно ходил на похороны и организовывать их любил. 5 июня «Национальная» опубликовала порядок шествия и призвала участвовать депутатов, национальных гвардейцев, иностранных беженцев и «героев июля». Артиллеристы шли своей колонной, Александр пошел к Бастиду и Кавеньяку, спросил, что будет и должен ли он что-то делать, ему велели «быть начеку», а сами провели тайную встречу (видно, не такую уж тайную, раз Дюма о ней узнал), на которой решили «действовать по обстоятельствам». Как потом стало известно, в заговоре участвовали все подпольные общества. Самое активное, «Общество галуаз» под руководством чемпиона мира по шахматам Александра Дешапеля (по одним версиям — правительственного шпиона, по другим — легитимиста, то есть сторонника свергнутых Бурбонов), выступало за то, чтобы первыми взяться за оружие, но остальные решили ждать, пока начнет полиция, а в том, что она начнет, никто не сомневался. «Правительство ждало случая применить силу. Единственный выстрел привел бы ко всеобщей резне». Гюго: «С точки зрения власти, мятеж в небольшой дозе не вреден… мятеж укрепляет правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию… он развивает мускулы полиции… Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания».

На сей раз было три писательских отчета о событиях: Дюма, Жорж Санд и Гюго, и последний, конечно, Дюма переплюнул, написав «Отверженных». Александр был слаб после болезни и ключевых сцен не видел. Утром он, безоружный, пришел к дому Ламарка: все оцеплено, 24 тысячи полицейских в городе, в пригородах еще 30 тысяч плюс 26 тысяч армейских подразделений. Но и горожане не подкачали. С восьми утра шли колонны из всех районов: офицеры, предприниматели, рабочие, студенты, депутации поляков и бельгийцев; вышли, по словам журналиста Антуана Вида, «все взрослые мужчины Парижа, от 150–200 тысяч». Дюма, однако, пишет о пятидесяти тысячах, и это больше похоже на правду: что бы в большом городе ни происходило, на улицы редко выходит больше пяти процентов населения. Гроза собирается, духота, все наэлектризовано; когда двинулась процессия, хлынул ливень. Гроб сопровождали национальные гвардейцы, дальше шли отставные военные, за ними тянулась гигантская пестрая змея: все с флагами и плакатами, мальчишки с зелеными ветками, а впереди всех Лафайет в мокром мундире, и все мокрые, нервные, злые. Первый

инцидент на Вандомской площади — какой-то человек пытался не дать обойти Вандомскую колонну. Обошлось. Пост национальных гвардейцев — отдадут честь Ламарку? Отдали. Процессия шла по бульварам. Улица Шуазель, 12, клуб «Кружок искусств», члены которого настроены реакционно, однако стоявшие на балконе обнажили головы — все, кроме герцога Фиц-Джеймса, приятеля Дюма (он никогда не выбирал друзей по политическим мотивам). «Я предполагал, что случится и, признаюсь, весь дрожал. Я знал, что он скорей даст разорвать себя на куски, чем снимет шляпу». В герцога полетели камни. (Как потом узнал Дюма, шляпа Фиц-Джеймса была не просто шляпа, а знак о ходе вандейского мятежа — доказательство того, что легитимисты в толпе действительно были, если не Дешапель, так другие.) «Катафалк возобновил свое движение сквозь толпу, как поврежденное судно, движущееся против ветра и мучительно переваливающееся через волны… С того момента все мои сомнения прекратились, я был убежден, что без стрельбы не обойдется. Шестьсот артиллеристов, бледных и хмурых, тоже были уверены в этом… Когда мы прошли „Жимназ“, дождь прекратился, но гром продолжал греметь, смешиваясь с грохотом барабанов. Полицейские были расставлены на пути прохождения колонны, и это окончательно раздражило людей. Злоба витала в воздухе…»

«Напротив театра одна женщина сказала какому-то человеку, который нес флаг с галльским петухом наверху, что петух — плохой символ для демократии. Флагоносец, видимо, разделяя это мнение, растоптал петуха ногами и воткнул на его место ветку ивы, дерева траура. Полицейский видел эту замену и то, как она была сделана; он прыгнул вперед и выхватил штандарт из рук человека, который его нес; тот сопротивлялся, и полицейский шпагой ударил его в шею. При виде крови все стали кричать и выхватывать шпаги… Полицейский, увидев мою повязку распорядителя, кинулся ко мне с криком „Помогите!“. Я толкнул его в толпу артиллеристов; одни хотели защитить его, другие — порвать его на части; в течение пяти минут он стоял бледный как труп… Великодушие победило, он был спасен. В тот же момент на другого полицейского набросился пожилой военный, полицейский отчаянно защищался, потом скрылся в толпе, провожаемый бранью. Мужчина, раненный первым полицейским, продолжал идти, двое друзей вели его под руки; он снял воротничок, и кровь текла по его рубашке… С этого момента все поняли, что будет кровавое столкновение… мелкие стычки происходили все чаще, каждый раз принимая все более отчетливо угрожающий характер, и в воздухе словно носился дух

подстрекательства… „Куда они нас ведут?“ — раздался испуганный голос из группы студентов. „В Республику! — ответил ему звучный голос. — И мы приглашаем вас поужинать с нами сегодня в Тюильри!“ Всеобщий стон радости был ответом на это приглашение… Я увидел, как мужчины, у которых не было никакого оружия, вырывали столбики, к которым подвязывали молодые деревца, только что посаженные на бульваре вместо тех, что пострадали 28 июля 1830-го…»

На площади Бастилии военный чин подъехал к Араго, думали — арестовывать, но он сказал: «Армия с народом» и заявил, что он республиканец. Опять крики, вой, полсотни студентов Политеха бегут куда-то со шпагами, оркестр заиграл Марсельезу… В половине четвертого голова процессии добралась до Аустерлицкого моста, перевалила на правый берег Сены, там трибуна, речи, потом тело генерала повезут в его имение в Ланды, а парижане… «Я падал от усталости, а речи обещали быть долгими и скучными; я предложил троим артиллеристам пойти пообедать… „Сейчас будет что-то?“ — спросил я у Бастида. „Думаю, нет, — сказал он, оглядываясь, — и все же не стройте иллюзий: 29 июля витает в воздухе“». Араго просил далеко не уходить и дал Александру пистолет. Тот со спутниками пошел в кафе на набережной. Сели есть — выстрелы. Выскочили, побежали к мосту, кто-то сказал, что полиция стреляла в толпу, артиллеристы открыли ответный огонь и уже провозглашена республика. «Араго кричал о Республике, толпа подхватывала, но не двигалась». Со всех сторон рассказывали, что произошло. Лафайет говорил, что все должно быть благородно, потом очень скучно выступали какие-то генералы, в толпе шныряли непонятные юноши и нашептывали, что мэрию взяли, Лувр взяли и т. п. «Никто не верил этому, и все же такие слухи грели сердце». Кто-то закричал, что тело Ламарка надо везти в Пантеон, а Лафайета — в мэрию, «как тогда»; распрягли лошадей, студенты повезли катафалк через мост обратно к центру города, фиакр, в который сел Лафайет, с воплями потащили по набережной к мэрии. На левом берегу конная полиция перегородила мост, другой отряд двинулся наперерез фиакру. «Вдруг откуда-то возник всадник с красным флагом с надписью „Свобода или смерть“. Этот флаг поднял бурю и исчез… Дело в том, что после того, как Луи Филипп восстановил триколор, повстанцы больше не хотели его использовать, потому что было не понятно, за кого люди под триколором…» Какой-то генерал крикнул, что красный — флаг террора, генерала хотели швырнуть в Сену, он вырвался. Араго сказал, что пора начинать, и повел группу артиллеристов — человек тридцать, не больше, — по улицам, скандируя: «Да

здравствует республика!» Толпа за ним не пошла. Дюма этого не видел, он уже сидел в «рассаднике новостей». Туда пришел и Араго со своей группой — по пути они успели зайти в кафе пообедать. Приехал Каррель, сказал, что победа 1830-го была случайностью, и лучше угомониться, и сам он на баррикады не собирается, и порой мужество не в том, чтобы пойти на баррикады, а в том, чтобы не пойти. Пока совещались и слушали сплетни, прибежал артиллерист Тома и сказал, что началось: полицейские у Аустерлицкого моста пропустили Лафайета, а толпу, тащившуюся за ним, — нет (Лафайет потихоньку, как потом узнали, ушел домой), и вдруг послышалась стрельба.

«Отверженные»: «Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну… Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет… Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость». Дюма: «Кто стрелял? Невозможно ответить, мы сами этого не знали. Это вечный вопрос, который история задавала множество раз без шанса получить точный ответ…» Вообще настроен он был не романтически — и чувствовал себя паршиво, и все было непохоже на происходившее два года назад. Толпа была злее, шутки (если то были шутки) — циничнее: он слышал, как студенты предлагали убить Лафайета и сказать, что это сделано по приказу короля.

Конная полиция стояла терпеливо под градом камней, несколько полицейских были ранены, послали за подмогой, второй отряд попал под огонь и, не разобравшись, врезался в группу безобидных людей. Женщины визжат, толпа — врассыпную, всюду вой, стрельба; кричат «К оружию!», разбивают фонари, толпа под натиском полиции хлынула из центра к пригородам, гроб Ламарка, всеми забытый, стоял перед Пантеоном. Спутники Дюма испарились. Площадь Бастилии занята войсками, бульвары пусты. Он пошел на улицу Менильмонтан, где жили Тома и Бастид. Возле дома баррикада, один человек ее охраняет, остальные ушли поесть. Где вообще все?! Александр повернул к театру «Порт-Сен-Мартен», наткнулся на отряд Национальной гвардии, там знакомый парень в него целится. «Я подумал, что это шутка, и шел дальше… вдруг пуля просвистела у моего уха». Вбежал в здание театра: вечером должна идти «Нельская башня», Арель в отчаянии. Александр бесился из-за знакомого, что в него стрелял, хотел застрелить его, потребовал у Ареля оружие (из реквизита), тот не дал. Поднялся на второй этаж, сел у окна. Мальчик кинул камень в солдата,

мать отвесила ему оплеуху. «Я опустил голову. „Женщины не с нами в сей раз, — сказал я; — мы пропали!“»

В театр ворвалась группа людей, выпросили у Ареля 20 ружей, обещали вернуть по окончании революции, то есть завтра. У Александра опять проблема с одеждой, в форме Национальной гвардии ходить опасно, никто не знает, на чьей она стороне, выстрелят не те, так эти. Послали на квартиру гонца, тот принес обычный костюм. Александр пошел к Лаффиту: там совещаются оппозиционные депутаты, возле дома толпятся зеваки, рассказывают, что повстанцы заняли на правом берегу Арсенал, мэрию, оружейный завод, на левом — казармы, тюрьму Сен-Пелажи, пороховой погреб. Баррикады всюду, сочувствующие приносят на них еду и деньги. И не понять, кто руководит. Шарль Жанно, национальный гвардеец, перешедший на сторону повстанцев и оборонявший главные баррикады — на углу улиц Сен-Мерри и Мобюэ, — в мемуарах перечислял своих случайных соратников: молодые рабочие, студенты из Политеха и юридического, несколько офицеров, просто какие-то люди, которым «все осточертело», польские и итальянские беженцы. Историки оценивают состав повстанцев: 34 процента — лавочники и чиновники, 66 процентов — рабочие, преимущественно строители, у которых в те дни проходила забастовка. Кого на сей раз почти не было, так это «креативного класса»: он был представлен лишь несколькими сотнями студентов. Будут ли войска и полиция переходить на сторону восставших? Правительство объявило сбор Национальной гвардии с опаской, но гвардия была на его стороне. Гюго: «Какой-нибудь кабатчик… чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир».

У Лаффита ждали Лафайета, наконец он появился, больной и усталый, отделался заявлениями, что он «с народом». «Лаффит сказал, что мы должны объявить о смешении короля и назначить временное правительство, и спросил Лафайета, подпишет ли он обращение? Да или нет?». Тот сказал «да», но остальные промолчали. Лаффит сказал, что было бы хорошо, если бы был Этьен Араго, он бы что-нибудь придумал, а так… «Я понял, что никто не собирается ничего делать и ночь пройдет в дискуссиях. Я ушел: это было легко, потому что я был маловажной персоной и никто, наверное, даже не заметил моего отсутствия… У меня не было оружия. От лихорадки я едва держался на ногах. Я поймал кабриолет и поехал домой…» Поднимаясь по лестнице, он упал, его подобрали Белль и горничная. Биографы не верят. Струсил и

притворился больным. Всегда-то он врет.

Утром 6 июня он узнал от соседей: всех арестовывают, кругом обыски, баррикады уничтожили еще до полуночи (артобстрел, потом зачистка), держится одна большая баррикада на Сен-Мерри, человек пятьсот. Король вернулся из Сен-Клу. Александр поехал к Этьену Араго, того нет, родители волнуются — не ночевал. Вскоре он явился, мрачный, спросил, на какой баррикаде провел ночь Дюма, тот стыдливо ответил, что болел. Сам Араго, по его словам, был на той баррикаде, что у дома Бастида и Тома. (Подтверждения этим словам историки не нашли.) Поехали в «Национальную». Сен-Мерри еще держится. Араго послал Дюма за новостями к Лаффиту. Во дворе толпища, внутрь не попасть. Встретил знакомого, астронома Савари, стояли, ждали. Через час вышел Франсуа Араго, сказал, что депутаты решили послать к королю делегацию, чтобы «выступить с осуждением вчерашних беспорядков. Это было встречено ужасом и презрением… Лафайет также отказался идти к королю. Ему ехидно сказали, что он недавно называл Орлеанского лучшим из республиканцев…» Луи Блан, «История десяти лет»: «Выйдя во двор, Араго встретил там Савари и Александра Дюма… те продолжали свои страстные речи, полные горечи, утверждая, что Париж только и ждал сигнала к восстанию…» Наконец депутаты объявили, что делегацию пошлют, но не с осуждением восстания, а с просьбой о милости к его участникам. Дюма пошел в кафе, ждал. Услышал: «Да здравствует король!» Проехал королевский кортеж, сопровождаемый гвардейцами и толпой, которая выла: «Долой республиканцев!» Что толку винить депутатов? Он поплелся домой и лег спать.

После проезда кортежа маршал Себастиани получил приказ уничтожить баррикаду на Сен-Мерри. (Именно там был убит Гаврош.) Артиллерия била по жилым домам. Раненых сбрасывали с крыш. Добивали в квартирах. Общее количество потерь за два дня: Национальная гвардия — 18 убитых, 104 раненых; регулярная армия — 32 убитых, 170 раненых; полиция — 20 убитых, 52 раненых. Со стороны горожан, по оценкам историков, убито было от 80 до 100 человек и ранено от 200 до 300 человек. Погуляли… Франсуа Араго, Лаффит и Барро пришли к королю, сказали: все случилось из-за реакционных законов и несправедливых судов. Король ответил, что реакционных законов и несправедливых судов в стране нет, а есть только безответственные оппозиционеры, мечтающие о терроре. Переговоры? Их вести не с кем и не о чем. Мятеж подавлен. Экстремисты получат по заслугам.

В городе объявили осадное положение, арестовали 1500

человек. Гюго написал: «Не срывают в мае фрукты, что спеют в июле. Будем ждать. Провозглашение республики во Франции и Европе увенчает наши седины. Но нельзя, чтобы безумцы запятнали наше знамя кровью». Дюма сел дописывать «Сына эмигранта» и тут получил записку от Этьена Араго: могут посадить. Вообще набор арестованных был странный: в тюрьму угодили легитимисты Шатобриан и не снявший шляпу Фиц-Джеймс, а Кавеньяк с Араго остались на свободе; основную массу составили люди случайные. Александр отнесся к предостережению серьезно: «Я был в форме артиллериста на похоронах, я участвовал в раздаче оружия в Порт-Сен-Мартене…» Шопп и Циммерман считают, что опасность ему не грозила — просто трус. Однако в мемуарах он приводит документ, найденный в архивах Пале-Рояля в 1848 году — донесение полицейского агента Бине от 2 декабря 1831-го. Шпик следил за бывшим полицейским Вере, которого подозревали в нелояльности, и записал, кто к нему ходит, в частности «г-н Александр Дюма… республиканец в полном смысле слова…». Вроде ничего особенного, но арестовали же почтенного Шатобриана… Еще до мятежа арестовывали за статью в газете или появление не в той одежде, а теперь хватали всех, кто был 6 июня на площади Бастилии. Легко презирать, когда живешь во времени и в месте, где подобное непредставимо. Бастид, к примеру, бежал в Лондон, и никто его трусом не называет.

Александр еще колебался, но 9 июня прочел в «желтой» газете, что его взяли на баррикаде и уже расстреляли; жаль талантливого драматурга. «В первый раз газеты написали обо мне что-то хорошее». Он получил у Ареля аванс за «Сына эмигранта», еще три тысячи франков занял, подал документы на загранпаспорт для себя и Белль, заключил с «Обозрением двух миров» договор на путевые заметки. 10 июня Каррель в «Национальной» обвинил полицию в том, что она спровоцировала беспорядки, напав на безоружную толпу, но правительство было иного мнения. Уже 18-го состоялись первые суды (военные, ускоренные) по «делу 6 июня». Приговоры были так же странны, как и аресты. Шатобриан и Фиц-Джеймс отделались пятнадцатью сутками, это ладно, но Дюшапель, зачинщик мятежа, был выпущен через месяц. Художник Мишель Жоффруа был приговорен к казни за то, что нес красный флаг (как после выяснилось, его вообще спутали с другим человеком). Его защитник Одийон Барро подал апелляцию в Верховный суд и выиграл, дело передали в суд присяжных, Жоффруа получил два года ни за что, но все лучше, чем расстрел. 21 июля Александр и Белль уехали в Швейцарию. «Путешествовать — значит жить во

всей полноте этого слова, забыть прошлое и будущее ради настоящего… искать в земле никем не тронутые залежи золота, а в воздухе — никем не виданные чудеса…» Он ведь еще не бывал за границей. Как там? Не везде же так гадко правители правят, а люди живут, как у нас?

Глава пятая
СМЕРТЬ МУШКЕТЕРА

Девиз «Один за всех и все за одного» родился в XIII веке, когда швейцарские общины заключили союз против австрийской династии Габсбургов, завоевали независимость и стали конфедерацией. Конституция, парламент, свобода печати — рай эмигрантов… Вояж Дюма продолжался три месяца по маршруту (путешественники забирались также на территорию Франции, Австрии, Германии и Италии) Монтре — Шалон — Лион — Женева — Лозанна — Бекс — Мартиньи — перевал Сен-Бернар — Аоста — Шамбери — Экс-ле-Бен — Женева — Лозанна — Фрайбург — Берн — ледник Розенлау — Интерлакен — перевал Жемми — Луэш — Чертов мост — Люцерн — Цюрих — Оберсдорф — Констанц и был описан в серии очерков «Путевые впечатления: Швейцария». Рассказчик оказался на редкость добросовестным: не пропустил ни одной библиотеки, осмотрел могилы и дома-музеи знаменитостей; если писал о какой-нибудь войне — ехал на место битвы, чтобы проверить топографию (там ли стоит мост, как пишут в книгах, может, не справа, а слева, это важно); видел соляные копи — писал очерк о соледобыче; попал в горы — изложил геологические теории их происхождения, услыхал о школе для слепоглухонемых детей — побывал на уроках, описал технику преподавания…

«Швейцария» — первоклассный путеводитель. «Дневная плата за человека, лошадь и коляску — 10 франков; но, так как в эту же сумму обходится обратный путь порожняком, нужно рассчитывать на 20 франков, добавив к ним „*trinkgeld*“ (чаевые) для извозчика…» Женева: «3000 ее рабочих насыщают украшениями всю Европу; в их руках меняют свою форму 74 000 унций золота и 50 000 унций серебра в год, и их зарплата достигает 25 000 000 франков». Кухня, политика, география, лингвистика, промышленность, архитектура, легенды, вставные новеллы — все сливается в плавно текущее повествование. «Хорошенький городок Аоста не принадлежит, по мнению его жителей, ни к Савойе, ни к Пьемонту; они утверждают, что их территория входила некогда в состав той части империи Карла Великого, которую унаследовали Стралингенские сеньоры. В самом деле, хотя горожане и несут воинскую повинность, они освобождены от всяких налогов и сохранили за собой право охоты на близлежащих землях; во всем же остальном они подчиняются королю Сардинии… Помимо отвратительного местного диалекта

— по-моему, он не что иное, как испорченный савойский язык, — характер городка чисто итальянский; внутри зданий обои и деревянная обшивка стен заменены фресковой живописью, а трактирщики неизменно подают вам на ужин какое-то месиво и нечто вроде сбитых сливок, высокопарно величая это макаронами… На архитектуре городской церкви отразился характер веков, когда ее строили и реставрировали. Портал ее выдержан в римском стиле, несколько видоизмененном под итальянским влиянием; окна стрельчатые и, вероятно, относятся к началу XIV века… Первое, что мы услышали, остановившись на городской площади, был возглас: „Да здравствует Генрих V!“ Я высунул голову из окошка кареты, решив, что в стране, управляемой столь нетерпимым правительством, не премину увидеть арест легитимиста, рискнувшего публично выразить свое мнение. Я ошибся: ни один из десяти-двенадцати карабинеров, которые расхаживали по площади, не сделал ни малейшего движения, чтобы схватить виновного».

Интересные встречи случились под конец путешествия. В конце сентября в Люцерне Дюма посетил эмигрировавшего после ареста Шатобриана (тот о нем слышал, но знакомы они не были). Поговорили о политике, классик назвал революцию 1830 года «грязной» и заявил, что хочет видеть на престоле сына герцогини Беррийской; Александр убежал, чтобы «не портить мое почти религиозное чувство к великому человеку». А в октябре в замке Арененберг близ Констанца его приняла Ортензия де Богарне, падчерица и невестка Наполеона, экс-королева Голландии, и у них состоялся разговор, который Дюма привел в мемуарах и в реальность которого слабо верят, ибо Ортензия его не подтвердила (но и не опровергла).

Она спросила, республиканец ли он. Ответ: есть четыре типа республиканцев. «Одни говорят о рубке голов и разделе собственности; они невежественны и безумны… они бессмысленны; никто их не боится, потому что они устарели. Луи Филипп делает вид, что дрожит от страха перед ними, и был бы очень раздражен, если бы они не существовали… Они — колчан, из которого он берет свои стрелы». Вторые «хотели бы для Франции швейцарской конституции, не учитывая ее особенностей… утописты, кабинетные теоретики». Для третьих «их убеждения — это модный галстук, это крикуны и клоуны, они провоцируют восстания, но боятся принять в них участие, возводят баррикады, а умирать на них предоставляют другим, компрометируют других и прячутся, словно скомпрометировали их». И четвертые — «благородное братство, которое распространяется на каждую страну, которая страдает; они

пролили кровь в Бельгии, Италии и Польше и возвратились, чтобы быть убитыми… пуритане и мученики, их единственный недостаток — молодость… Мое сочувствие всецело с ними. Но… в течение целого года я был погружен в прошлое и теперь вижу, что революция 1830-го заставила нас продвинуться — хоть на шаг — от аристократической монархии к буржуазной, и эта монархия — этап, который надо прожить, прежде чем дойти до народовластия. Отныне, сударыня, не делая ничего, дабы приблизиться к власти, от которой я отдалился, я перестал быть ее врагом и спокойно наблюдаю за развитием периода, конец которого надеюсь увидеть; аплодирую хорошему, протестую против дурного, то и другое — без энтузиазма и без ненависти». (Где он там нашел, чему аплодировать? Ну вот, например, Гизо в роли министра просвещения ввел бесплатное начальное образование.)

Экс-королева якобы спросила Дюма, что он посоветует ее 24-летнему сыну, племяннику Наполеона, если тот хочет прийти к власти. Шарль Луи Бонапарт, проведший юность в эмиграции, слыл демократом и одновременно «крутым парнем» и успел в 1831 году отметиться участием в заговоре итальянца Менотти, желавшего освободить Рим от светской власти пап; восстание провалилось, юноша бежал во Францию, был оттуда выслан; его старший брат умер, юный сын Наполеона — тоже, и Луи остался единственной надеждой бонапартистов. Он опубликовал брошюру, в которой говорилось, что Франции нужна «империя с республиканскими принципами»; удивительно, но на подобную ахинею всегда клюют умные люди, как, например, Каррель. Дюма ответил: «Я советовал бы ему… просить отмены изгнания, купить землю во Франции, избраться депутатом, попытаться получить большинство в палате и воспользоваться этим для того, чтобы низложить Луи Филиппа и быть избранным королем». Сам он хотел видеть королем Фердинанда и из Райхенау, где тот учился в школе, послал ему письмо: «Вы — тот, кто с трона, на который однажды взойдет, будет одной рукой касаться дряхлой монархии, а другой — юной республики».

За три дня в замке он начитался французских газет: сформировано новое правительство, председатель — Никола де Сульт; Тьер — чудны дела твои, Господи! — министр внутренних дел. Завершались процессы по «делу 6 июня»: ко всеобщему изумлению, было вынесено 82 обвинительных приговора, семь — смертных (во Франции за политику не казнили с времен Людовика XVIII). «Я шел, видя перед собой кровавые сцены июля, слыша крики и выстрелы, шел, как тяжелобольной, поднявшийся с постели и бредущий в бреду в сопровождении призраков

смерти». Он описал два самых громких приговора: Лепаж, 24-летний грузчик, приговорен к казни за «подстрекательство», хотя он едва мог связать два слова; Кюни, тридцатилетнего повара, казнят, так как полицейский сказал, будто он в него выстрелил. (Луи Филипп не был маньяком: он заменил казни тюремными сроками, некоторые, правда, в тюрьме умерли, но кто-то дожил и до помилования.) В то же время Жан Батист Пейрон, человек с флагом, вместо которого чуть не казнили Жоффруа, был признан невменяемым и получил месяц тюрьмы. Если невменяемый, за что же месяц? Наверное, полицейский провокатор. А главная часть процесса еще идет — судят бойцов баррикады Сен-Мерри, министр юстиции Феликс Барт, в 1830-м бегавший по баррикадам адвокат-правозащитник, требует смерти повстанцам. «Революцию 1830 года сделали те самые люди, которые двумя годами позже будут убиты. Их стали называть иначе, потому что они не изменили принципам; были героями, стали мятежниками. Только предатели всех мастей ни при какой власти мятежниками не бывают».

Новых арестов не было, «креативный класс» никто не трогал, Дюма решил возвращаться. Нужен заработок. «Муж вдовы» во Французском театре идет отлично, но «Сын эмигранта», поставленный 28 августа в «Порт-Сен-Мартене», снят после первого представления, газеты ругают Ареля и автора за «несвоевременную постановку»; кровавые сцены, «Марсельезу» поют, разве можно в такие-то дни! Он приехал в Париж 20 октября и сразу попал на процесс Сен-Мерри. 22 обвиняемых утверждали, что полиция загнала их в ловушку и они были вынуждены отстреливаться, но один, Шарль Жанно, заявил, что шел на баррикаду сознательно, как и два года назад, когда правительство спровоцировало войну против народа. Адвокаты хорошо поработали, подняли шум, 15 человек оправдали, Жанно и еще семеро получили сроки; Жанно умер от туберкулеза в 1837 году. 6 ноября в Нанте взяли герцогиню Беррийскую, восхваляли за это Тьера, а 22-го он (автор революционных прокламаций, участник переворота, интеллигент-либерал) запретил пьесу Гюго «Король забавляется» (намеки!) и объявил о возвращении цензуры. Гюго подал в суд, Дюма на процессе не был (отношения между ними испортились из-за ссоры Иды Ферье с подругой Гюго Жюльеттой Друэ), но речь коллеги воспроизвел в мемуарах. «Мы находимся в одном из тех периодов общей усталости, когда в обществе становятся возможными все виды деспотизма… одни измотаны, другие бежали, многим требуется передышка… в обществе разливается странный страх перед всем, что движется, говорит и думает… правительство извлекает незаслуженную

выгоду из этой передышки, этого страха перед новыми революциями… Если этот дикий закон будет принят, у нас отнимут все права. Сегодня суд отнимет мою свободу поэта; завтра жандармы отнимут мою свободу гражданина; сегодня они затыкают мне рот, а завтра они поставят меня по стойке смирно; сегодня осадное положение введут в литературе, завтра — в обществе… Но было бы ошибкой думать, что люди стали безразличны к свободе, — они просто устали. И однажды всем беззакониям будет предъявлен счет…»

Гюго проиграл процесс. Но суды присяжных порой решали дело в пользу свободы слова. Дюма вспоминает процесс газеты «Корсар», «которая написала о 6 июня с нашей точки зрения и была обвинена в призывах к восстанию»; главного редактора оправдали, а несколько дней спустя по аналогичному обвинению оправдали газету «Трибуна». Зато в очередной раз отправили под суд «Общество друзей народа», все по той же 291-й статье — больше двадцати не собираться, за нарушение — от трех месяцев до двух лет. Обвиняемые заявили, что их 19, присяжные сочли, что их было больше двадцати и собирались они незаконно, и… оправдали. («Общество» распалось на ряд организаций, самой влиятельной стала «Лига прав человека»: Араго, Луи Блан, Бланки, Кавеньяк и восходящая звезда политической адвокатуры Александр Ледрю-Роллен.)

Дюма читал отчеты о процессах, сам на них ходил редко. «Люди стали больны от политики и я тоже…» Карьера шла под откос, друзья ругали за «Сына эмигранта». «Как будто я написал что-то непристойное… газеты меня уничтожили… директора театров меня не узнавали при встрече… Я решил на время бросить театр. Кроме того, я хотел закончить „Галлию и Францию“. Я был профаном в истории, я хотел изучать историю, чтобы учить других, но больше учился сам… но таким образом я получил преимущество: я двигался по истории случайно, как человек, заблудившийся в лесу: он потерялся, да, но он натыкается на неизвестные вещи, пропасти, куда никто не спускался, и горы, которые никто не измерил…» От нашествия Аттилы до Наполеона все безумно интересно, и так мало из этого интересного знает публика, не читавшая труды историков: «Я понял, что должен сделать для Франции то, что Вальтер Скотт сделал для Шотландии: красочное, живописное и драматическое описание…» Он опубликовал отрывки в «Обозрении двух миров» в конце 1832 года — они прошли незамеченными, друзья смеялись над его замыслом, и он отвлекся на «Швейцарию». В начале 1833-го ездил на охоту в имение поэта-сатирика Огюста Бартелеми, вернулся — начала публиковаться «Швейцария»,

приняли ее мило, и газеты перестали его ругать. Вообще всем было не до него: из-за герцогини Беррийской «Париж превратился в водоворот страстей».

Говорили, что арестованная больна, врачи обнаружили беременность (мужа не имелось). Тьер позволил утечку информации, монархические и республиканские газеты перессорились — можно ли компрометировать даму? — и началась эпидемия журналистских дуэлей. Арман Каррель раскритиковал герцогиню — его вызвали 12 человек. Дюма предложил взять нескольких на себя, хотя повод считал смехотворным. Каррель ему отказал, а 2 февраля был на одной из дуэлей тяжело ранен. Газеты подняли шум уже из-за Карреля, журналист Ботерн потребовал, чтобы вместо раненого дрались другие республиканцы, в частности Дюма, тот выбрал журналиста Бошена, легитимиста, но приятеля, писал ему: «Наши партии настолько глупы, что принуждают нас драться, ну что ж…» Вызов не состоялся — Тьер арестовал нескольких журналистов с обеих сторон, и дуэли прекратились. Дюма отнесся к суду над герцогиней практически: он пробился к арестовавшему ее генералу Демонкуру и, предложив соавторство, написал с его слов брошюру «Вандея и Мадам»: представил героиню по-своему благородным человеком, ее победителя — тоже. Брошюру опубликовало издательство «Каньон и Канель», обеим сторонам понравилось, а Демонкур «подарил» соавтору своего приживала — итальянца Рускони, тот прожил у Дюма 25 лет и стал первым в череде «помощников», большинство из которых ничего не делали.

Больные от политики люди желали развлечений. Луи Филипп 18 февраля дал бал в Тюильри, оппозиционеров не пригласил, те стали сами устраивать балы — моду ввел художник Ашиль Девериа; Дюма тоже решил дать бал. Он мог себе это позволить: его знал «весь Париж», он был завсегдатаем салона Нодье и журналистской тусовки в «Кафе де Пари» (Эжен Сю, Жюль Жанен, Нестор Рокплан); его называли в числе светских львов. Он снял пустую квартиру напротив своей, Делакруа расписал стены, бал состоялся 30 марта, пришли 300 человек, в их числе де Мюссе, Россини, мадемуазель Марс, мадемуазель Жорж, Фредерик Леметр, Эжен Сю, Одийон Барро, даже Лафайет заглянул. Тьер не пришел, хотя был приглашен. Не было ни Кавеньяка, ни Араго, ни Карреля — Дюма к ним охладел, они — к нему. Герцогиня Беррийская 10 мая родила дочь, а Дюма завел необычное знакомство.

Использовать гильотину предложил в 1792 году врач Гильотен (подобное орудие казни употреблялось и в других странах). До этого сжигали заживо, четвертовали, лишь

состоятельным людям и аристократам рубили головы мечом или топором. Революция положила под нож все сословия. Не только гуманный по тем временам, но дешевый и надежный способ. Косой нож весом в 40–100 килограммов поднимают на три метра, удерживая веревкой, голову жертвы помещают в углубление, веревка отпускается, и нож падает, перерезая шею, палач показывает голову зрителям (бытовало мнение, в том числе среди ученых, что отрубленная голова некоторое время видела и мыслила), казненный глядит толпе в глаза. 25 апреля 1792 года на Гревской площади гильотина впервые была испробована на воре Пелетье и разочаровала зевак: не мучился. Потом она переехала на площадь Республики, где и произошло большинство казней в эпоху террора. (Публичные казни на гильотине происходили во Франции до 1939 года, когда отрубили голову серийному убийце Вейдману, потом из-за скандалов в прессе стали казнить в тюрьмах. Последнее гильотинирование состоялось в Марселе в 1977-м, за четыре года до отмены смертной казни.) Уже при жизни Дюма казнили очень редко, и гильотину в действии он никогда не видел, но (или поэтому) был одержим ею; палач представлялся ему сверхъестественным существом, и он был убежден, что отрубленная голова какое-то время живет.

Источники расходятся во мнении относительно того, с каким палачом из династии Сансонов познакомился Дюма. Шарль Анри Сансон (1739–1806), в молодости колесовавший осужденных, потом гильотинировал их, включая Людовика XVI, Шарлотту Корде и Дантона; его сын Анри Сансон (1767–1840) казнил королеву Марию Антуанетту и главного прокурора террора Фукье-Тенвиля, в 1830-х жил в Париже на пенсии. Внук Шарля Анри, Анри Клеман (1799–1889), последний в династии, был палачом Парижа до 1847 года и, чтобы удовлетворять страсть к игре и пьянству, завел дома платный музей гильотины и аптеку. Дюма в мемуарах называет палача, с которым общался, сыном Шарля Анри, но приводит имя внука и упоминает аптеку, так что, похоже, имеется в виду последний Сансон; с другой стороны, палач рассказал ему подробности казни Людовика, что внук вряд ли мог сделать. Было неясно, куда пойдут эти сведения, но для историка лишних знаний не бывает.

Пока же нужны деньги. Мать больна, Иду не удается устроить в театр, и она требует подарков, Белль — тоже. Катрин ежемесячно получает алименты — тысячу франков — и просит купить ей патент на книготорговлю. Платить нужно сиделкам матери, кормилице дочери. Александр написал с Буржуа мелодраму «Анжела» о карьеристе, добивающемся успеха при

помощи «лестницы из женщин», как у Мопассана в «Милом друге», но Дюма, верный себе, убил героя и его убийцу. Роль героини он писал для Иды и уговорил Ареля взять и пьесу, и актрису. Одновременно он продолжал «Швейцарию» и «Галлию и Францию»; в тот период у него выработалась привычка работать над разными текстами параллельно, что под силу только очень организованному писателю: отводил каждому произведению бумагу своего цвета и определенные часы дня. В тот же период он написал несколько хороших рассказов. «Бал-маскарад» напечатал журнал «Рассказчик»: мужчина знакомится с замужней женщиной под маской, потом ее ищет, но она — догадайтесь-ка! — мертва и на балу была мертвой: месть из могилы за измену мужа. Новелла «Дети Мадонны» опубликована в сборнике «Сто один рассказ»: неаполитанский разбойник в 1799 году прятался в лесах с женой и младенцем, ребенок заплакал, отец разбил ему голову о дерево, жена смолчала, а на следующий день принесла властям голову мужа в фартуке и получила награду; это шедевр малой формы в духе Мериме или Стендаля, сухой и страшный, как «Бланш». Еще очерк «Как я стал драматургом» в «Обозрении двух миров», в общем, работы полно, притом что год выдался скандальный — сплошные ссоры и дуэли.

Критик Гюстав Планше, воевавший с романтиками, писал: «Г-ну Дюма, который дебютировал не далее как в 1829 году, угрожает быстрое забвение… Дюма не привык думать, у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями; вот почему Дюма кинулся ниспровергать традиции, не соразмерив ценности памятника, на который посягает». Планше был любовником Жорж Санд; 19 июня на обеде в «Обозрении двух миров» Дюма ядовито высказался об отношениях Санд с Мари Дорваль, в которую та была влюблена, и оскорбленная писательница вызвала его на дуэль. Сие не анекдот, сохранились документы, относящиеся к этой истории: переписка Сент-Бёва, Бюло, Мериме, доктора Биксио, которого Дюма обычно брал в секунданты, и самих участников: 20 июня Дюма писал Санд, предлагая выставить вместо себя Планше, тот вызов принял, но просил отсрочки по болезни, Дюма ответил, что готов отказаться от вызова, если Планше напишет, что не является любовником Санд и «не должен отвечать ни за ее прежние высказывания, ни за то, что она скажет впредь». Такое письмо от Планше он получил, и дело замяли; любопытно, что на его отношениях с Санд история сказалась наилучшим образом и они стали приятелями.

В июле он отдал в издательство «Кане и Гюйо» «Галлию и Францию», доведенную до смерти короля Карла IV Красивого (1328 год) и последовавшей за этим Столетней войны, а

фрагменты, относящиеся к поздним временам, напечатало «Обозрение двух миров» под заглавием «Революции во Франции». О революции 1793 года: «Была революция, но не было республики; слово было принято из-за ненависти к монархии, не из-за сходства вещей… Робеспьер нанес монархии глубокую рану, но не смертельную. Когда Бурбоны возвратились в 1814-м, монархия тотчас обрела прежнюю поддержку». И 1830-го: «Чудесная революция, которая достигла только то, чего должна была достигнуть, и убила только то, что должна была убить, — дух монархии»; ее считают чем-то новым и с ужасом открещиваются от признания ее родства с той, великой революцией, но она — ее родная дочь. А поскольку дух монархии убит, то после Луи Филиппа королей не будет. О Наполеоне: «По моему мнению, на протяжении всей истории Провидением были избраны три человека, чтобы осуществить возрождение человечества, — Цезарь, Карл Великий и Наполеон. Цезарь, язычник, подготовил Христианство; Карл Великий, варвар, — Культуру; Наполеон, деспот, — Свободу… Когда 18 брюмера Наполеон захватил Францию, она еще не оправилась от потрясений гражданской войны. Бросаясь из крайности в крайность, в одном из своих порывов она настолько вырвалась вперед, что другие народы остались далеко позади… Франция обезумела от свободы, и, по мнению остальных монархов, ее следовало обуздать, чтобы вылечить. В это время на сцене появился Наполеон, движимый деспотизмом и военным гением… отставaвший от стремлений Франции, но опережавший стремления Европы; человек, тормозивший внутреннее развитие, но стимулировавший развитие внешнее. Безумные монархи объявили ему войну! Тогда Наполеон обратился к самому чистому, умному, прогрессивному, что было во Франции, он создал армии и наводнил ими Европу. Эти армии несли смерть королям и дыхание жизни народам. Повсюду, где идеи Франции пускали корни, Свобода шла вперед семимильными шагами, ветер подхватывал революции, как семена, брошенные сеятелем». Но после похода в Россию «миссия Наполеона завершилась, наступил миг его падения, ибо теперь его поражение было столь же необходимо для свободы, как прежде было необходимо его возвышение».

Здесь Дюма сформулировал свою концепцию истории — провиденциализм: ничто не случайно, высшая сила (Провидение) неуклонно движет историю по пути прогресса. Разумеется, это не его изобретение. Э. М. Драйтова в книге «Повседневная жизнь Дюма и его героев» предполагает, что на него повлиял его знакомый философ Жюль Симон (1814–1896), но в 1830-е годы

Симон был мальчиком, а провиденциализм давно был во французской историографии общим местом. Гизо: «Я вижу присутствие Бога в законах, управляющих прогрессом человеческого рода», «европейская цивилизация приближается, если можно так выразиться, к вечной истине, к предначертаниям Провидения». Мишле писал об «универсальной централизации, составляющей прочность и солидарность всего… великой живой причине, каковая есть Провидение». Провиденциалистами были и де Местр, и Шатобриан, и Минье, и Тьери, вот только каждый был уверен, что характер и политические взгляды Провидения совпадают с его собственными: у Гизо оно, доведя дело до Луи Филиппа, должно было остановиться, а когда оно отправилось дальше, то привело его в отчаяние, у Мишле оно могло двигаться по пути обретения человечеством высшей ценности, свободы, почти бесконечно, Провидение Тьера «колебалось вместе с линией партии». Провидение Дюма будет заботиться и о частностях: хорошие люди должны вознаграждаться, плохие — наказываться; и как Наполеон был орудием Провидения в больших делах, так граф Монте-Кристо или палач из Лилля — в малых.

Он дал прогноз на будущее: парламентская революция — постепенное снижение избирательного ценза до введения всеобщего избирательного права; правительство «будет состоять просто из должностных лиц, выбираемых на пятилетний срок», и это будет спокойная форма правления, «ибо те, кто доволен своими представителями, надеется их выбрать снова, а кто нет — надеется сместить». Президент (как назовут избираемого правителя, не важно) «не должен быть богаче своих подданных, чтобы его интересы совпадали с их интересами» — занятная мысль, не реализованная и поныне… Вообще прогнозы Дюма делал регулярно и верно (потому что не гадал, а анализировал): так, за несколько лет до Крымской войны (1853–1856), разобрав геополитические интересы разных стран, предсказал союз Англии, Франции и России, который казался тогда немыслимым.

В сентябре он перевел сына, которого на несколько месяцев забрал из пансиона Вотье и с которым Белль отказывалась справляться (ее письмо Дюма: «В твое отсутствие никто не может с ним сладить… Не помогают ни просьбы, ни угрозы… Ты ставишь между собой и сыном женщину, которая все свои силы направляет на то, чтобы вытеснить тебя из его сердца. И придет время, когда ребенок, исполненный любви к матери, скажет тебе: „Ты разлучил меня с матерью, ты был жесток к ней“. Вот чему его будут учить…»), в коллеж Сен-Виктор, которым руководил его соавтор Проспер Губо. На деньги Лаффита (банкир-идеалист не

унимался, пытаясь сделать что-нибудь хорошее, но Дюма его почему-то невзлюбил) Губо создал престижное заведение, выпускники поступали в Сорбонну или лицей Бурбонов (ныне Кондорсе). Но там был жесткий порядок: жить в общежитии, домой (даром что до дома полчаса) — лишь на каникулы. Решили, что дисциплина пойдет мальчишке на пользу, — а он хотел к матери…

А отец поехал развеяться к знакомой семье Перье на охоту, потом — в Авиньон и Гренобль, оттуда писал художнику Полю Юэ, что собирается в Алжир. Работал без выходных, в карете, в поезде, в гостинице, работал вечером, если из-за охоты или экскурсии не выполнил норму днем: заканчивал «Швейцарию». В Алжир не собрался, в октябре вернулся в Париж и прочел манифест, который «Лига прав человека» опубликовала в «Трибуне»: нужна социалистическая республика с абсолютной властью государства, национализированной и плановой промышленностью. «Добиться этого они хотели восстанием. Глупо». Он разошелся с Белль, оставив за ней квартиру на улице Сен-Лазар (их дочь так и жила у кормилицы), сам поселился в гостинице, Ида жила отдельно. Почему не вместе? Предположительно, в тот период он наконец вступил в связь с незаурядной женщиной.

Влюбленность в Мари Дорваль была безответна — «останемся друзьями», «Вы мой милый песик», но теперь в жизни актрисы была сложная ситуация: брак с драматургом Мерлем развалился, с де Виньи отношения тяжелые, Арель не подписал с ней контракт. Она уехала на гастроли в провинцию: Руан (20 августа — 8 сентября), Камбре и Аррас (14 сентября — 7 октября), Гавр (21 октября — 6 ноября), снова Руан (23 декабря — 16 января 1834 года). В каком-то из этих городов она поссорилась с де Виньи, и Дюма приехал к ней — утешить: он вел переговоры с Тьером, который попросил поставить что-нибудь современное в дышавшем на ладан Французском театре, предложил «Антони» и настоял, чтобы Дорваль там играла. В письме актеру Бокажу он похвастал, что Дорваль стала его любовницей. Об этом болтали, но подтвердился факт только в XX веке, когда были опубликованы письма Дорваль. Возможно, у него были на нее далеко идущие планы: женщина, за которой ему пришлось бы тянуться, талантом не уступавшая ему. Все могло быть серьезно…

Вышла из печати «Галлия и Франция», критик Сен-Мишель в «Парижском обозрении» хвалил, остальные назвали компиляцией из Шатобриана и Тьери. Шатобриан ничего не сказал, а Тьери поздравил автора и написал Бюло, что в работе видны «смелость, горячность, поэзия и большой интеллект», но критиков это не

смутило. Самую разносную статью напечатал 26 октября в «Литературной Европе» Гранье де Кассаньяк: читается неплохо, но это чистый плагиат, так работать нельзя. 1 ноября — другая статья Кассаньяка в газете «Дебаты»: автор противопоставлял Дюма Гюго (он был протеже Гюго) и писал, что пьесы Дюма были плагиатом с Шиллера, Лопе де Веги и Скотта. Знакомые сказали, что статья написана с ведома Гюго. Дюма — Гюго: «Сегодня мне принесли статью, я смог ее прочесть и должен признать, что не представляю, чтобы при той дружбе, которая связывает Вас с г-ном Бертеном (владельцем газеты. — *М. Ч.),* Вам не показали статью, где речь идет обо мне… Что я могу сказать Вам, друг мой, кроме того, что никогда не допустил бы… чтобы в газете, где бы я пользовался таким же влиянием, как Вы, — в „Дебатах“, вышла статья, направленная против человека, которого я назвал бы не соперником, но другом». Гюго ответил: статью читал, но дурного в ней не видит, за критику надо благодарить, а не обижаться, и он готов объясниться при встрече. Встреча не состоялась, а Гюго без спросу опубликовал письмо Дюма. Сент-Бёв записывал 17 ноября: «Дюма и Гюго навек поссорились, и хуже всего в этом скандале то, что теряется уважение к поэтам». Большинство коллег были на стороне Дюма: де Виньи писал, что Гюго просто «мочит» конкурента. Ссора имела отклик в самых верхах, Тьер пытался помирить драматургов, чтобы они занялись реанимацией Французского театра, но не вышло.

Ничего не вышло и из связи с Дорваль. Она с раскаянием написала Виньи о своем «падении», Дюма писала, что сожалеет. «Иметь такую тайну, какая появилась между нами, чудовищно! Я отдалась Вам, теперь я не могу Вам писать… Меня утешает лишь то, что Ваша дружба куда больше Вашей любви. Поверьте, Вы относитесь ко мне именно как к другу…» Он сдался Иде и 5 декабря въехал в квартиру, которую та меблировала по своем вкусу (рюшечки, всё под «леопарда») на улице Бле, 30. Взял в помощь Рускони еще «секретаря», Фонтена, этот бездельник пять лет будет его обирать. От Дорваль переезд скрыл — не мог сделать решительный шаг, писал ей, что хочет приехать к ней в Руан. Она согласилась на «последнюю встречу». До сына опять руки не доходили. Ребенок устроен, школа хорошая, чего еще? А ребенку было плохо. Много лет спустя в романе «Дело Клемансо» Дюма-младший описал свои страдания. Матери нескольких учеников были клиентками Катрин, от них узнали, что она не замужем, а он незаконнорожденный. Из письма другу: «Мальчишки оскорбляли меня, радуясь случаю унизить имя, которое прославил мой отец, унизить, пользуясь тем, что моя мать не имела счастья его носить… Один считал себя вправе

попрекать меня бедностью, потому что был богат, другой — тем, что моей матери приходится работать, потому что его мать бездельничала, третий — тем, что я сын швеи, потому что сам был благородного происхождения; четвертый — тем, что у меня нет отца, возможно, потому что у него их было два… Этот кошмар, который я описал в „Деле Клемансо“ и о котором не говорил матери, чтобы не причинять ей страдания, длился пять или шесть лет. Я чуть от этого не умер. Я не рос. Я слабел; у меня не было желания ни учиться, ни играть. Я замкнулся в себе…»

28 декабря «Анжела» поставлена в «Порт-Сен-Мартене», писали, что пьеса не хуже «Антони» — романтическая трагедия в современных декорациях, «Литературная газета» назвала Дюма «главой романтической школы» — Гюго не зря опасался соперника. Ипполит Роман в «Обозрении двух миров» поместил очерк о нем: «Слишком либеральный в дружбе, слишком деспотичный в любви, по-женски тщеславный, по-мужски твердый, божественно эгоистичный, до неприличия откровенный, неразборчиво любезный, забывчивый до беспечности, бродяга телом и душой… ускользающий от всех и от себя самого, столько же привлекающий своими недостатками, сколько достоинствами». Читать о себе такое лестно, но бродягой Дюма не был и, как большинство писателей, нуждался в порядке: рабочий кабинет, размеренный труд по расписанию и чтобы кто-то взял на себя бытовые заботы. Он съездил к Дорваль в Руан, опять ни до чего не договорились. Она вернулась в Париж 16 января 1834 года и узнала, что Дюма живет с Идой Ферье, а также, по слухам, завел интрижку с юной актрисой Эжени Соваж. Разрыв произошел в конце января 1834 года в Бордо — «останемся друзьями» — и, что удивительно, вправду остались. В ожидании возобновления «Антони» Дюма написал пьесу для Иды — «Кэтрин Говард», новую редакцию «Длинноволосой Эдит», там были все его постоянные темы: таинственный палач, женщина, принимающая снадобье, чтобы притвориться мертвой, и тому подобное, к истории пятой жены Генриха VIII отношения не имевшее. Именно об этой пьесе Дюма сказал, что «использовал Генриха как гвоздь, чтобы повесить картину»; это высказывание часто относят ко всему его творчеству, а зря. Он отлично видел, где сработал по-настоящему, а где «так себе». Подобную «Кэтрин» псевдоисторическую пьесу «Венецианка» (с участием Буржуа) он отказался подписать.

Палата, куда в 1831 году вроде бы избрали не самых плохих людей, под руководством правительства мигом превратилась во «взбесившийся принтер», который, вернувшись с каникул, энергично взялся печатать законы. Пересмотрели закон «больше

двадцати не собираться»: теперь нарушителями считались люди, которые собрались и по двое, если они являются членами кружка, не санкционированного властями; санкцию же могли в любой момент отнять. Оппозиция пыталась добиться, чтобы закон не распространялся на научные и литературные кружки. Чего захотели! Гизо: «Нет ничего легче, как восстановить под видом литературных обществ политические союзы, которые закон хочет уничтожить». Конституция 1830 года восстановила свободу печати, причем в текст ее была внесена статья о том, что «цензура не может быть никогда восстановлена», но к 1834 году цензуру вернули в полном объеме. По конституции полагались выборы в муниципальные советы (мэры и префекты назначались) — жирно вам: в Париже ввели особое административное устройство, поделив его на округа, во главе которых стояли «мэры», назначаемые лично королем, советы превратились в фикцию, а реальная власть принадлежала префекту Сены и префекту полиции. Не только «Национальная», но и умеренное «Обозрение двух миров» негодовало, Бюло писал 29 февраля 1834 года: «Наши министры… придумали закон, который отдает предварительную цензуру в руки полиции, и закон о собраниях, который поставит всю страну под полицейский надзор. Остается только ликвидировать суды присяжных, из-под них уже выводят политические процессы, и принять „закон любви“ и „закон о святотатстве“. После этого депутаты могут уйти на покой, они сделали свое дело».

Поэты любят говорить: «Мы не политики, мы просто за все хорошее», но зачастую они разбираются в политике лучше профессиональных революционеров: и Гюго, к тому времени склонившийся на сторону республиканцев, и «легкомысленный» Дюма не хуже Маркса понимали, что опрокинуть можно шатающийся от старости, но не только что отремонтированный трон, что революции не делаются по мановению руки и что людей нельзя «вывести» на улицы — они выходят сами (по воле Провидения или законов общественного развития, не важно: это по сути одно и то же). Революционеры так не считали. 13 апреля в Париже случились новые беспорядки.

Началось опять с Лиона: там 14 февраля прошла забастовка ткачей, просили повысить зарплату, едва фабриканты пообещали требования «обсудить», сдались, но «Лига прав человека» решила «разжечь», послав в Лион активистов. 9 апреля они вывели некоторое количество людей на площадь, в ответ — войска, опять неизвестно кто начал стрельбу. 10 апреля появились листовки, в которых утверждалось, что король свергнут. Баррикады, стычки, аресты, пассивность горожан, другие города пытались подхватить

забастовку, но безуспешно. «Лига» 13 апреля пыталась вытащить на улицу парижан — пришли всего несколько сотен человек. И устали от политики, и жилось неплохо, ткачи, как считалось, с жиру бесятся, зарплату им повысили, и кто виноват, что в их отрасли иностранная конкуренция? Цензура — ну цензура… Все-таки построили десяток небольших баррикад, а в ночь на 15 апреля, одновременно с вводом войск в Лион, парижские баррикады были расстреляны. Как и в прошлый раз, была жуткая бойня на одной из них — на улице Транснонен (ныне Бобура): капитан пехоты был ранен выстрелом из соседнего дома и приказал «ликвидировать» всех мужчин, находящихся в здании. Убили 12 человек и многих ранили, в том числе женщин и детей. 16 апреля были арестованы 164 «заговорщика», а 25 мая король разогнал парламент (и так лояльный) и назначил новые выборы: они состоялись 21 июня, и консерваторы одержали победу. Дюма писал об этом сухо: «…мы пережили беспорядки». Но он совершил два практических поступка. Гусар Брюйан, уроженец Вилле-Котре, был осужден на казнь за попытку поднять восстание в своем полку и убийство офицера в драке, мэр Вилле-Котре обратился к Дюма: бедняга невменяем. Дюма воззвал к Фердинанду: «Я потерял право рекомендовать Вашему Высочеству что бы то ни было, но не потерял права дать Вам возможность сотворить добро». Фердинанд говорить с отцом отказался — не послушает, просил ходатайства от Тьера. Дюма, не вынося Тьера, пошел к Гизо, тот согласился помочь, и дело кончилось помилованием (Фердинанд оплатил содержание Брюйана в больнице). Другой участник беспорядков, во всяком случае назвавшийся таковым, Жюль Леконт, бывший военный и журналист, пришел к Дюма, просил его спрятать и помочь с паспортом и остался у него жить.

28 апреля, когда во Французском театре должен был идти «Антони», Дюма узнал, что депутат Антуан Же в «Конституционной газете» требовал от Тьера запретить «безнравственную и бездарную» пьесу, и Тьер запретил. Дюма пошел к нему на прием, ругался, умолял — безрезультатно, подал в суд на театр, требуя выплатить неустойку. Слушание состоялось 2 июня, в день премьеры «Кэтрин Говард» в «Порт-Сен-Мартене» (умеренно успешной), затем апелляция, и 14 июля Дюма получил шесть тысяч франков. Одновременно был на другом процессе ответчиком: издатель Барба, купивший права на «Христину», подал на Дюма в суд за то, что он продал собрание сочинений издателю Шарпантье. Первую инстанцию Дюма и Шарпантье проиграли, апеллировали и добились смягчения решения: возместить Барба три тысячи франков и заплатить тысячу

франков штрафа. (Дюма, как всякий литератор XIX века, судился беспрестанно и, хотя его считают безалаберным человеком, чаще выигрывал или по крайней мере не проигрывал вчистую.) Барба не простил, и с его подачи Морис Альо, редактор газеты «Медведь», 30 июля опубликовал о Дюма статью, злобную и несправедливую: «Ал. Дюма — худший субъект, какого только можно вообразить, беспечный и беззаботный, живущий удовольствиями и праздниками, не знающий счета деньгам, вину и женщинам». Александр вызвал Альо на дуэль, оружием были шпаги, противник оцарапал ему плечо, на сем конфликт закончился. Но он устал от Парижа и хотел уехать.

План: собрать ученых, геологов, скульптора, архитектора и написать «военную, религиозную, философскую, моральную и поэтическую историю народов, сменявших друг друга на берегах Средиземного моря». Вдохновили его барон Тейлор и художник Адриен Доза, побывавшие в Египте, Палестине и Сирии. Но они не написали о египетской кампании Наполеона — надо восполнить пробел. Долго шла переписка с Тейлором, ни до чего не договорились; 10 октября Дюма обратился с проектом к Гизо (подольстился как мог: «Мы собираемся предпринять экспедицию в целях развития искусства и науки в эпоху, когда, как говорят, политика задушила искусство и науку. Тем, кто обвиняет нашу эпоху в том, что она материалистична и враждебна поэзии, мы сказали бы, что по крайней мере у нас есть правительство, которое помогает нам») и опубликовал маршрут: Корсика — Сардиния — материковая Италия — Сицилия — Греция — Турция — Малая Азия — Палестина — Египет — побережье Африки — Испания.

Пока ждал ответа Гизо, в газете «Семейный музей» Гайярде написал, что Дюма украл у него «Нельскую башню». Дюма ответил, Гайярде обвинил его еще и в краже денег, 14 октября Дюма вызвал его на дуэль. 17-го стрелялись, Гайярде промахнулся, Дюма выстрелил в воздух и в тот же день уехал в Руан, где выступал от Союза драматургов на открытии памятника Корнелю. Вернулся и тотчас поссорился с Бальзаком (раньше отношения были просто кислые). Бальзак нарушил условия договора с Бюло, тот подал в суд и инициировал серию статей в газетах о частной жизни Бальзака: незаконно присвоил дворянство, вообще гадкий тип. Литературный Париж, включая Дюма, встал на сторону издателя, а не коллеги — Бальзака не любили, и по сути спора он был не прав. С этого периода Дюма и Бальзак отзывались друг о друге все ядовитее. Ходил анекдот: Бальзак сказал, что возьмется писать пьесы, только если ни на что другое не будет способен, Дюма парировал: «Так начинайте

сразу». В мемуарах, однако, он о коллеге высказался мягко и сдержанно: «Его талант, его способ сочинять… настолько отличны от моих собственных, что я здесь плохой судья».

Гизо согласился финансировать путешествие: пять тысяч франков с выплатой в три этапа. Это почти ничего: хватит лишь на поездку по югу Франции, без ученых, только с художником Годфруа Жаденом и «секретарем» Леконтом. По протекции Фердинанда получили рекомендательные письма от военного министра и министра иностранных дел. Выехали 7 ноября: Фонтенбло — Кон — Бурбон-л'Аршамбо — Лион — Вьенн — Баланс — Оранж — Авиньон — Эг-Морт — Арль — Марсель. В Лионе Дюма задержался, все записал о ткачах: иены на ткани, себестоимость, прибыль, зарплата. Местный театр играл «Антони», Адель — актриса Гиацинта Менье, талантливая, замужняя, он влюбился, она дала от ворот поворот, писал ей грустно: «Вы осуществили мою давнюю мечту об особенной любви, любви уединенной, одной из тех привязанностей, к которым обращаются в минуту большого горя или большого счастья», а на следующий год устроил ей работу в Париже. Удивительный мужчина: не обижался, когда ему отказывали, и умел «оставаться друзьями».

Влюбленность вдохновила: в поездке он начал писать пьесу «Дон Жуан де Маранья, или Падение ангела» по мотивам «Душ чистилища» Мериме, вещь необычную, в старинном жанре мистерии — смесь музыки и драмы. В Марселе деньги кончились, Леконт проворовался, и с ним расстались, Гизо не слал вторую часть субсидии, на Новый год вернулись в Париж. Гизо отказал в выплатах, Дюма уговорил издателей Шарлье и Пишо основать акционерное общество, распространили 100 акций по тысяче франков (Ламартин купил одну акцию, Гюго дал 200 франков после отдельной просьбы). Заметки о поездке писать было недосуг, наброски, вероятно, были, но «Новые путевые впечатления: Юг Франции» были опубликованы только в 1840 году в газете «Век», а отдельной книгой вышли у издателя Дюмона в 1841-м. История, архитектура, экономика, сценки, все как в «Швейцарии», но автор придумал прелестную «фишку»: сравнивал каждый город с какой-нибудь музыкальной темой. «Дон Жуана» оставил — не шло, почему-то над некоторыми вещами мог работать только в дороге. Зато свел исторические очерки, печатавшиеся в «Обозрении», в книгу «Изабелла Баварская».

В предисловии к другой книге, написанной в тот же период, «Графиня Солсбери», он объяснял, как будет писать исторические тексты и почему за это взялся: современный читатель «зажат в

пространстве между историей… которая представляет собой не что иное, как скучное собрание дат и событий, связанных между собой хронологическим порядком; историческим романом, который, если только он не написан с гениальностью и познаниями Вальтера Скотта, подобен волшебному фонарю, лишенному источника света… и хрониками, источником надежным, глубоким и неиссякаемым, откуда вода, однако, вытекает настолько взбаламученной, что сквозь рябь почти невозможно разглядеть его дно неопытным глазом». Профессиональные историки «превращают историю в скелет, лишенный сердца» (упрек несправедливый по отношению к Тьери или Тьеру), недобросовестные (а других во Франции пока нет, кроме Гюго) исторические беллетристы «делают из нее чучело, лишенное скелета». Как же писать о ней? «Как только вы остановили свой выбор на той или другой эпохе, вам следует тщательно изучить различные интересы, которые движут народом, дворянством и королевской властью; выбрать среди главных персонажей этих трех слоев общества тех, кто принял активное участие в событиях, совершавшихся в то время… разобраться, каковы были характер и темперамент этих персонажей, чтобы… можно было бы наблюдать за развитием у них страстей, ставших причинами великих бедствий и связанных с ними событий, которыми нельзя заинтересовать иначе, как показывая, сколь закономерно они заняли место в хронологических справочниках… Искусство, таким образом, будет использовано лишь для того, чтобы придерживаться нити, которая, извиваясь по всем трем этажам общества, связывает воедино события…»

Вальтер Скотт так и делал — и Дюма откровенно подражал ему, стиль не отличить: «В это воскресенье здесь, на дороге из Сен-Дени в Париж, народу собралось такое множество, будто люди явились сюда по приказу. Дорога была буквально усеяна людьми, они стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно колосья в поле, так что эта масса человеческих тел, настолько плотная, что малейший толчок, испытываемый какой-либо ее частью, мгновенно передавался всем остальным, начинала колыхаться, подобно тому как колышется зреющая нива при легком дуновении ветерка… Вскоре показался отряд сержантов, палками разгонявших толпу, а за ним следовали королева Иоанна и дочь ее, герцогиня Орлеанская, для которых сержанты расчищали путь среди этого людского моря. <…> Наряд этот представлял собой черный на алой подкладке бархатный плащ, по рукавам которого вилась вышитая розовой нитью большая ветка: на ее украшенных золотом стеблях горели изумрудные

листья, а среди них сверкали рубиновые и сапфирные розы, по одиннадцать штук на каждом рукаве…»

Изабелла Баварская — жена Карла VI Безумного, который в XV веке развалил страну: после очередной битвы Столетней войны, в которой победили англичане, он объявил наследником короля Англии Генриха V, что означало присоединение Франции к Англии; подбила его на это Изабелла, сам король, как считают историки, был невменяем. Дюма изложил историю толково и ясно, хотя несколько мелодраматично, Изабеллу, «любящую любовью волчицы и в ненависти подобную львице», представил в соответствии с традицией XIX века шлюхой, хотя поздние историки считают, что это клевета, короля жалел: «Как человек, внезапно застигнутый землетрясением… он покорно опустил свою седую голову и, смирившись, ожидал гибели». Сильный трагический финал — ничто так не удавалось Дюма, как финалы, — похороны бедолаги Карла:

«Когда яма была засыпана, главный герольд дю Берри поднялся на холм и провозгласил:

— Да ниспошлет господь бог свое милосердие душе светлейшего принца Карла Шестого, короля Франции, нашего законного и суверенного государя!

Со всех сторон раздались рыдания. Тогда, сделав короткую паузу, дю Берри снова воскликнул:

— Да продлит господь бог дни Генриха Шестого, божьей милостью короля Франции и Англии, нашего суверенного государя!

Едва прозвучали эти слова, королевские стражники подняли вверх булавы с изображением лилий и дважды воскликнули: „Да здравствует король!“

Толпа безмолвствовала: никто не подхватил этого кощунственного возгласа — не встретив отклика, он растаял под мрачными сводами усыпальницы французских королей и в глубине своих могил заставил содрогнуться от ужаса покоившихся друг подле друга усопших государей трех монархий».

Последняя сцена «Бориса Годунова» в издании 1831 года кончалась словами Мосальского: «Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует Царь Димитрий Иванович! Народ безмолвствует». Пушкинистам, конечно, покажется кощунственным даже упоминать имя Дюма на одной странице с великим поэтом. И все же мыслили они в одном направлении и чувствовали сходно…

Книга вышла в издательстве «Дюмон», критика отнеслась

снисходительно. Еще вышел сборник «Воспоминания Антони» (переиздавался много раз в разном составе), куда Дюма, кроме старых текстов, включил историю об обезьянах, живших у художника Декана, и проявил себя мастером рассказов о животных. Он принес Декану черепаху по имени Газель. Обезьяна ее увидела: «По выражению доверчивости, с каким Жак приблизился к Газели, легко было увидеть: он с первого взгляда решил, что приключившееся с ней несчастье привело ее в состояние полной беззащитности. И все же, оказавшись всего в полуфуте от *monstrum horrendum*[13], он приостановился, заглянул в повернутое к нему отверстие и стал с притворной беспечностью ходить вокруг черепахи, изучая ее примерно так же, как генерал осматривает город, когда собирается его осаждать. Закончив осмотр, он тихонько протянул руку и кончиком пальца дотронулся до края панциря, но тотчас проворно отскочил и, не сводя глаз с занимавшего его предмета, принялся плясать на ногах и руках, сопровождая эти телодвижения победной песней… Однако танец и песня внезапно оборвались: в голове Жака пронеслась новая идея. Он внимательно посмотрел на черепаху, которой его рука своим прикосновением сообщила колебательное движение, длившееся благодаря сферической форме ее панциря, затем бочком, словно краб, приблизился к ней, а оказавшись рядом, встал, перекинул через нее одну ногу, будто садился верхом на коня, и мгновение смотрел, как черепаха шевелится между его ногами. Наконец он, казалось, совершенно успокоенный глубоким изучением предмета, уселся на это подвижное сиденье и, толкнув его и не отрывая ног от пола, стал весело раскачиваться, почесывая бок и щурясь, что означало для тех, кто его знал, проявление непостижимой радости».

Кордье-Делану попросил доделать свою пьесу «Кромвель и Карл I» для «Порт-Сен-Мартена», Дюма подписываться не стал (работа заняла два дня), пьесу играли 21 мая. Куда тяжелее было с настоящей вещью — «Дон Жуаном». «Я был поглощен идеей, что смогу реализовать мою фантазию лишь с помощью музыки» — каждый день ходил в консерваторию или в церковь слушать орган. 5 мая открылся новый громкий процесс: 164 республиканца обвинялись в мятеже апреля 1834 года (главный обвиняемый, Кавеньяк, скрывался несколько месяцев, был арестован в феврале 1835-го; Этьен Араго отсиделся в Вандее), палата пэров издала оригинальный указ: обвиняемые не имеют права *говорить*. Ни Гюго, ни Дюма на процесс не ходили. Сколько можно слушать про одно и то же… Наконец удалось собрать деньги на продолжение поездки; 12 мая Дюма, Жаден и — вместо Леконта — Ида Ферье выехали в Лион.

Дальше опять Марсель, замок Иф, Дюма осмотрел камеру, где сидели знаменитости, собрал версии о Железной Маске — для чего-нибудь пригодится, на июнь осели в Тулоне, там он посещал каторгу и дописал «Дон Жуана» на музыку композитора Луи Александра Пиччини: ангелы говорят стихами, остальные — прозой. Труайя пишет, что он эту вещь «кое-как навалял» — но современные критики иного мнения: тонкая вещь, слишком оригинальная, чтобы ее поняли. В конце июня — Ницца, дальше — Италия, то есть ряд отдельных государств со своими порядками. Начали с Генуи, но полиция попросила уехать: у нее есть сведения, что Дюма республиканец, то бишь потенциальный преступник. Оттуда в Ливорно, затем во Флоренцию, столицу Великого герцогства Тосканского, сменившего в 1532 году Флорентийскую республику, правил там герцог Леопольд II, либерал. Родина искусств, чудный климат, красота, свобода, давно отменены пытки и смертная казнь, попы отстранены от образования и почти нет цензуры. Флоренция не щетинилась при виде иностранцев, им легко давали гражданство, они строили фабрики, как Демидов: интернациональный коммерческий и культурный рай, наводненный политэмигрантами. Пробыли там три недели, Дюма собирал материалы о войне гвельфов и гибеллинов (эти магические слова — названия политических партий в XII–XVI веках, первые — за папу римского, вторые — против); написал статью о них и перевел (итальянский он знал хорошо) фрагменты «Божественной комедии», опубликовав их в марте 1836 года в «Обозрении двух миров».

А дома происходили события, достойные романа. 12 июля Кавеньяк и еще 26 обвиняемых по «делу 15 апреля» бежали из неприступной Сан-Пелажи. Организовали это один из их адвокатов Этьен Араго и Арман Барбес, будущий соратник Бланки; Араго и Барбес остались в Париже, Кавеньяк бежал в Англию. (Суд над остальными длился еще девять месяцев, большинство были осуждены на ссылку или тюрьму.) Побег был фантастический, но о нем Дюма не написал — эти люди от него были все дальше. 28 июля на параде Национальной гвардии террорист взорвал бомбу, пытаясь убить Луи Филиппа и его семью, погибли, как обычно бывает, 18 ни в чем не повинных людей, 42 человека были ранены, король отделался царапиной. Террорист, корсиканец Джузеппе Фиески, авантюрист и игрок, заявил, что у него были сообщники Пепин и Мори, республиканцы. Считают, что он их оговорил, есть также версия, что он был полицейским провокатором, но это вряд ли, так как гильотинировали и «сообщников», и его. Подарок королю: во всем винили «Лигу прав человека», все ее осуждали, даже Каррель

написал, что в деле «видна рука Кавеньяка». (В 1836-м Каррель брал у Кавеньяка в эмиграции интервью, тот клялся, что ни при чем, скорее всего, так и было, французские революционеры индивидуальным террором не увлекались, у них был один метод — вывести людей на улицу, а там видно будет.)

Дюма это тоже вышло боком: когда в конце июля он приехал в Рим и, желая посетить королевство Неаполь, где правила ветвь Бурбонов, попросил визу, ему отказали по причине неблагонадежности (а также приняв его за родственника генерала-бонапартиста Матье Дюма). Он достал фальшивый паспорт (фотографий-то не было) через знакомого художника Гишара и 2 августа был в Неаполе. Там ему попалась очередная незаурядная женщина, певица Каролина Унгер-Сабатье (1803–1877): он видел ее в Париже год назад, теперь посещал ее салон и начал ухаживания. Ей надо было в Палермо, ему тоже, 23 августа поплыли вместе (Ида осталась в Неаполе, где, предположительно, уже нашла другого мужчину) на «сперонаре» (маленьком одномачтовом паруснике), и там, как он писал в книге «Любовное приключение», изменив имена и даты, певица стала его любовницей. Она любила другого, связь вышла короткой и бестолковой. Что он все время делал не так, мы не знаем. Возможно, проблема была в том, что выдающиеся женщины, которых он пытался добиться, были несвободны, и он знал это, и им двигало желание «отбить», потягаться с соперником — но он был слишком (или недостаточно) настойчив и всегда проигрывал…

С 16 сентября по 4 октября он был в Мессине и там написал пьесу «Капитан Поль» об адмирале Поле Джонсе, герое Войны за независимость США, отчасти по мотивам романа Купера «Лоцман». Распрощался с Унгер и поехал на Сицилию. Катанья, Сиракузы, нищий остров Пантеллерия («Настоящий голод — с криками страдания, хрипами непрерывной агонии; голод втрое ускоряет старение девушек, в возрасте, когда женщина еще нравится, сицилианка уже развалина»), потом приплыл на Джиргенти и оттуда направился пешком в Палермо с проводником-бандитом: на Сицилии все были нищие или бандиты. «В странах, подобных Испании и Италии, где плохо организованное общество не дает подняться тому, кто рожден внизу… ум оборачивается бедой для человека низкого происхождения; он пытается вырваться из рамок, которыми судьба ограничила его жизнь, видит источник света, которого ему не суждено достигнуть, и, начав свой путь с надеждой, кончает его с проклятием на устах. Он восстает против общества… и сам возводит себя в ранг защитника слабых и врага сильных. Вот

почему испанский и итальянский бандит окружен ореолом поэзии и народной любовью: почти всегда в основе того, что он сбился с пути, лежит какая-нибудь несправедливость». Еще в Париже композитор Беллини сказал ему, что хочет писать оперу «Паскаль Бруно» о знаменитом сицилийском бандите, нужно либретто; Дюма посетил дом Бруно, вернулся в Палермо, засел за либретто и повесть о разбойнике; услышал, что филантроп Пизани организовал психиатрическую лечебницу, где больных не держат в цепях, а занимаются с ними музыкой и чтением, побывал там, написал очерк. Где бы он ни был, он не пропускал ни одного сумасшедшего дома, ни одной тюрьмы: страдание было его главной, если не единственной, темой.

«Сперонара» доставила его в Неаполь к Иде 6 ноября, а 20-го он был арестован как проживающий по подложным документам и депортирован в Рим; между этими делами он написал маленький шедевр «Корриколо» (название дорожной повозки): «В середину садится толстый монах, образуя центр человеческой общности, влекомой корриколо, подобно круговоротам из душ людских, которые видел Данте в круге первом. На одном колене он держит какую-нибудь свеженькую кормилицу, а на другом хорошенькую крестьяночку; по обе стороны от монаха, между колесами и кузовом, располагаются мужья этих дам… наконец, под осью экипажа, между колесами, в сетке с большими ячейками, раскачивающейся из стороны в сторону и снизу вверх, копошится нечто бесформенное, которое смеется, плачет, стонет, вопит, поет, зубоскалит и которое невозможно даже различить в пыли от лошадиных копыт: это трое-четверо детей, неизвестно кому принадлежащих, неизвестно куда направляющихся, неизвестно чем живущих, оказавшихся там неизвестно как и неизвестно почему там остающихся». В Риме заинтересовался раскопками Помпей и Геркуланума, собирал материалы о Нероне и Калигуле — пригодится; съездил в тюрьму в Чивитавеккья и, наконец, попросил аудиенции у папы Григория XVI («о котором говорили: вино и женщины его Евангелие, его скипетр — топор палача»).

Удивительно, но папа его принял (помог его секретарь Огюст де Таллене). Как писал Дюма в «Корриколо», он неуклюже поцеловал папе руку, не знал, как себя вести, покушался и на ногу, папа ногу отдернул, но, кажется, был польщен. Говорили о Шатобриане, папа сказал, что драматург должен писать о нравственном, спросил, о чем хочет писать гость, тот ответил, что о Калигуле и гонениях на христиан, папа одобрил. Но на следующий день, когда Дюма собирался в Венецию, пришла полиция и заявила, что он член «Польского комитета» и пишет революционные пьесы («Сын эмигранта»). Пьесу он признал,

комитет отрицал, но его все равно выслали. В конце 1835 года он вернулся во Францию с либретто для Беллини и узнал, что тот умер, а также обнаружил массу сюрпризов от «взбесившегося принтера». Новый пакет законов был принят в сентябре, после покушения Фиески, под ударом — печать. Отныне воспрещалось: 1) оскорблять короля; 2) возбуждать ненависть или презрение к королю; 3) возбуждать ненависть или презрение к правительству; 4) побуждать к восстанию; 5) совершать нападки на основы государственного строя; 6) называть себя республиканцем; 7) выражать пожелание или надежду на низвержение существующего строя; 8) публиковать списки присяжных; 9) печатать отчеты о политических процессах; 10) объявлять краудфандинг для уплаты штрафов по политическим обвинениям. Все эти преступления переводились в ранг покушений на госбезопасность и подлежали рассмотрению не в суде присяжных, а в палате пэров либо спецсудах, учреждаемых министром юстиции; говорить на суде подсудимые не имели права. Кара — от 5 до 20 лет или штраф от 10 до 50 тысяч франков. Для рисунков, карикатур и пьес восстанавливалась предварительная цензура. Чтобы не открывались новые газеты, был повышен залог (уставной капитал); если редактор сидит в тюрьме — а по новым законам все редакторы должны были все время сидеть в тюрьме, — газета не может выходить. Министр юстиции был откровенен: «Мы хотим свободы печати, но не допускаем критики ни особы короля, ни династии, ни монархии… Нам скажут, что суровостью наказаний мы хотим убить печать. Нужно отличать монархически-конституционную прессу, оппозиционную или нет, от республиканской, карлистской или отстаивающей всякий государственный режим, кроме нашего. Эту последнюю мы ни в каком случае не намерены терпеть». Гизо еще откровеннее: «Всеобщее и предупредительное устрашение — такова главная цель законов…» Заодно изменили закон о присяжных: они потеряли право (дарованное им в 1832 году) самостоятельно признавать смягчающие обстоятельства, а для обвинения теперь требовалось не две трети, а большинство голосов. Хлеще Реставрации — недоставало лишь закона о святотатстве. И это, подумать только, происходит в XIX веке!

Первыми жертвами нового закона стали газеты «Еженедельник» и «Реформатор»: редактор первой поплатился трехмесячным заключением и шеститысячным штрафом за цитату из Лафайета: «Когда правительство нарушает народные права, восстание становится для народа долгом», редактора второй приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в две тысячи франков за слово «узурпатор». Легитимистские газеты,

располагавшие деньгами, могли это пережить, но нищие республиканские гибли. Каррель: «Пресса не оправилась от этого удара и занялась самоцензурой». В палате шла перегруппировка партий: правый центр (Гизо), левый центр (Тьер), центральный центр (Дюпен), то бишь сплошные центристы, «жвачные животные», по выражению Дюма; оппозиция — малочисленные легитимисты и слабенькая «династическая левая» (Одийон Барро). В феврале 1836 года правительство пало вследствие соперничества между Тьером и Гизо, Тьер его возглавил, ждали, надеялись — это же Тьер! Но поблажек прессе не было, стало еще хуже, и, в свою очередь, хуже становились революционеры: место либералов занимали люди с полутеррористическими взглядами, как Барбес и Бланки.

О современном и французском теперь писать нельзя — намек, штраф, тюрьма, — но для историка найдутся лазейки. После неудачной попытки работать с Мейербером (директор парижской Оперы просил либретто для «Роберта-Дьявола», но композитор и поэт не сошлись характерами) Дюма отдал «Дон Жуана» в «Порт-Сен-Мартен», выбив роль для Иды, и начал новую серию исторических хроник, таких древних, чтобы уж никакого намека в них не нашли. Написал продолжение «Изабеллы Баварской» — «Правая рука кавалера де Жиака», потом взялся как следует за Столетнюю войну: «Графиня Солсбери», «Эдуард III», «Хроники Франции». Писал он по источникам — Фруассару, де Баранту, Скотту — и был опять обвинен в компиляции и плагиате. Редкий историк, впрочем, избежал этого обвинения, если только он не отыскивал, потратив годы, неизвестный науке документ; источниками, причем одними и теми же, пользовались все, только каждый отбирал, описывал и анализировал факты по-своему. «Обычный читатель» и литературный критик почему-то думают, что «правильная» книга пишется «из головы»; беллетристы и историки знают, что это не так, и ни один историк никогда претензий к Дюма не предъявлял, наоборот, хвалили.

Попутно он написал пьесу «Шотландец» по «Квентину Дорварду», но никуда не пристроил; помог старому соавтору Руссо и Тюлону де Ламберу сочинить водевиль «Маркиз де Брюнуа», поставленный в театре «Варьете» 14 марта (не подписал и денег не взял); готовился к Калигуле — читал в переводе Светония и Тацита. 30 апреля премьера «Дон Жуана» — оглушительный провал. Бальзак сказал: «Он кончился, это человек без таланта». Арель, уже принявший к постановке «Поля Джонса», передумал. Денег опять нет. И тут Фредерик Леметр дал ему рукопись пьесы «Кин», брошенной де Ламбером и Фредериком де Курси. Леметр хотел играть героя, Эдмунда Кина

(1787–1833), великого английского актера шекспировского репертуара, умершего в нищете после бурной жизни. Пьеса получила имя «Кин, или Гений и беспутство». Актер пьет, скандалит, презирает людей, а зря: добрый принц Уэльский, брат короля, спасает его от тюрьмы. Это первая крупная работа Дюма, где никто никого не убил и все кончилось морализаторски-слащаво; она популярна, и ее ставят до сих пор. (Сартр написал свой вариант пьесы — у него Кин имеет право вести себя как ему угодно, а общество ему действительно враг.)

Кому война, кому мать родна: идейная пресса погибла под грузом штрафов — тем лучше для безыдейной; появлялись новые газеты, и неплохие. Летом 1836 года будущий магнат журналистики Эмиль Жирарден (1806–1884) создал великую «Прессу». Он ранее опубликовал два романа, понял, что это не для него, и ушел в издательское дело, начав с журналов мод и превратив их в таблоиды с налетом интеллекта. Главное в газете — чтобы ее покупали, мысль совсем не очевидная для того времени: газеты были дорогие и очень партийные — либо за короля, либо против — и потому скучные. Для театра, хроники, мод — отдельные издания, тоже дорогие, роскошные и убыточные. Жирарден решил, что в газете все должно быть как в универмагах (которых еще не было): новости, биржевые прогнозы, статьи о социальных проблемах, рецензии, эссе, интервью, сплетни, что-то для умников, что-то для простаков, что-то для мужчин, что-то для дам; газета должна быть дешева и распространяться по подписке — масса подписчиков приведет рекламодателей. В 1831 году он женился на умнице Дельфине Гай, и они основали такое издание — «Газету полезных знаний», которая при годовой цене в четыре франка мигом набрала 130 тысяч подписчиков; за ней последовали «Газета учителей начальной школы», потом «Семейный музей» и «Французский альманах», расходившийся впоследствии миллионным тиражом.

Жирарден решил основать более солидную газету и «подсадить» на нее читателя. Он ввел постоянные рубрики (до него так не делали) и нашел гениальное решение использовать «подвал» — место, куда сваливали не вошедшую в рубрики информацию (родители «подвала» во Франции — Жюльен Жоффруа и Луи Франсуа Бертен, газета «Дебаты»): печатать там романы с продолжением (не серию очерков, как в «Обозрении двух миров» печатали того же Дюма, там можно пропускать, а связное повествование). Не подписавшиеся на газету могли купить «подвал» за отдельную плату. Что же касается политики — умеренность и аккуратность.

Неясно, Дюма предложил Жирардену сотрудничество или

наоборот, но первым жильцом «подвала» стала «Графиня Солсбери». Жирарден видел, что автор работает быстро, чисто, не капризничает, отдал ему также театральную рубрику: один франк за строку. Первый номер «Прессы» — подписная цена 40 франков, вдвое ниже подобных изданий, — вышел 1 июля, во втором номере была статья Дюма «Об аристократической трагедии, буржуазной комедии и народной драме», а с 15-го пошла «Солсбери» под названием «Царствования Филиппа VI и Эдуарда III Английского» и печаталась до сентября (первое книжное издание: «Дюмон», 1839). По сравнению с «Изабеллой Баварской» Дюма осмелел, ввел массу выдуманных героев и сюжетных линий, получилось тяжеловато, 600 персонажей, за которыми не уследишь, стиль по-прежнему неотличим от Скотта, реплики длинные, на страницу — не похоже на то, что потом назовут стилем Дюма. Но публике понравилось. Тираж «Прессы» за полгода вырос до 12 тысяч экземпляров, а вскоре достиг 40 тысяч; появившийся одновременно с нею конкурент, «Век», издаваемый Арманом Дютаком на деньги Барро, до романов с продолжением додумался не сразу, больше писал о политике и приотстал.

Партийная пресса была в гневе, «Национальная» назвала Жирардена проходимцем, Каррель не гнушался оскорблениями личного характера, Жирарден грозился, в свою очередь, рассказать о сексуальной жизни «идейных» редакторов. Карреля любили, Жирардена — нет (слишком успешный, «делец»), но говорили, что Каррель нарывается, пытались отговорить от дуэли. Но оба были бретеры и забияки. После обмена оскорблениями стрелялись 22 июля: Жирарден ранен легко, Каррель — смертельно. В полиции секунданты показали, что все было по правилам, стреляли одновременно. Каррель умирал долго и страшно, описание его мук на страницах «Национальной» почти тождественно описанию страданий Пушкина — недаром в «Записках д'Аршиака» Л. Гроссмана русский говорит о французе: «Мужественный характер, славная смерть». Вот и не стало одного из славной четверки… В день похорон на кладбище Сен-Манде собралась десятитысячная толпа, другой мушкетер, Бастид, стал редактором «Национальной», Жирарден, у которого был еще один вызов, от него отказался и больше не участвовал в дуэлях, а Верховный суд наконец издал указ, который рассматривал любую дуэль как попытку убийства, кассационный суд с ним согласился. Присяжные, правда, упрямо продолжали оправдывать дуэлянтов, но дуэли со смертельным исходом стали редки: если с 1827-го по 1837-й убивали по 13 человек в год, то теперь по четыре-пять, а после 1848 года не больше двух.

Дюма на похоронах был в сложном положении: его знакомые называли Жирардена убийцей, с другой стороны — Каррель первый начал и с ним отношения давно испортились. «Век» сообщил, что Дюма расторг договор с «Прессой». Но он этого не сделал. Среди бесчисленных его статей в «Прессе» была анонимная серия с 12 по 25 августа 1836 года (авторство установили только в XX веке) — «Письма с Капри» о злоключениях в Италии: некто Эдмон проехал по маршруту Дюма, претерпел аресты и депортации и осел на Капри, откуда якобы слал ядовитые заметки о династии неаполитанских Бурбонов: «Фердинанд II… вступил на престол без природного гения, без опыта, без образования, взял скипетр, как дитя погремушку…» 22 августа пало правительство Тьера: в 1833-м умер испанский король Фердинанд VII, по завещанию трон достался его дочери, его брат Дон Карлос поднял восстание, Тьер требовал помочь королеве и усилить влияние Франции, Луи Филипп, не желавший ввязываться в международные конфликты, отправил его в отставку, и премьером стал Луи Моле, человек бесцветный и молча делавший то, что велел король; наступила совсем беспросветная скука… 31 августа в «Варьете» премьера «Кина», успех оглушительный, автор воспрянул духом. Вообще, кажется, все у него наладилось, есть постоянная работа в «Прессе», он созрел для нормальной семьи и с согласия Иды забрал у кормилицы свою дочь (ее матери было наплевать); девочка к мачехе привязалась.

В сентябре новое знакомство с умной женщиной и опять — мимо. «Графиня Даш» — Габриель Анна де Куртира, разорившаяся вдова маркиза Пуалуде Сен-Мар (1804–1872), образованная женщина, хороший психолог, автор мемуаров «Портреты современников» (1864); об Иде она говорила, что, если бы у той были мозги, она бы создала Дюма нормальную семейную жизнь, но «она любила только себя». (Это неверно, падчерицу-то Ида полюбила.) О Дюма: «На него можно досадовать только издали… стараешься не поддаваться его обаянию, почти боишься его — до такой степени оно смахивает на тиранию… Он в одно и то же время искренен и скрытен. Он не фальшив, он лжет, подчас и не замечая этого…. Дюма искренне восхищается другими: когда заходит речь о Гюго, он оживляется, он счастлив, превознося Гюго… И это не наиграно — это правда. Он себя ставит в первый ряд, но хочет, чтобы и Гюго стоял бок о бок с ним… Он отзывчив к чужому страданию и в отличие от большинства из нас не убегает от этого зрелища. Он поддерживал многолетние отношения со скучнейшими людьми, потому что они в этом нуждались. Когда его друзьям было плохо, он бегал по Парижу с

утра до ночи (даже если этого не требовалось), он проводил ночи у постели, заботился о них, переносил их, менял им простыни, и было не редкостью видеть его двое суток не спавшим, потому что он провел их рядом с больным…»

Тут наверняка сказывались его интерес к болезням и желание быть в центре событий, но вообще он был жалостлив и писал об этом не без иронии. «Болтовня», 1860 год: «Я люблю людей, у которых были несчастья, и еще больше тех, у кого они есть. Те, что пережили несчастья и снова счастливы, имеют много друзей помимо меня и могут без меня обойтись. Но те, что еще несчастны, нуждаются в любви и, быть может, еще более нуждаются в том, чтобы любить. Мне кажется, для меня это вопрос не расчета, а темперамента. Я испытываю необычную жалость к слабому, несказанную любовь к тому, кому плохо. Я пытаюсь успокаивать любую душу, которая плачет… Я принадлежу к тому классу дураков, которые никому не могут отказать». Похвастался? Но его отзывчивость подтверждали все знакомые. Удивительно, что такой человек не мог стать хорошим отцом: повзрослев, он разучился находить общий язык с детьми и ни разу не пытался поговорить со страдавшим и ненавидевшим его сыном.

18 сентября его посадили на 15 суток. Причина: давно не ходил на учения Национальной гвардии (там больше ничего интересного не было, к тому же гвардейцев отправляли на подавление «беспорядков»). Сидели прогульщики в нестрогой тюрьме де ла Форс, куда пускали посетителей; там Дюма написал серию памфлетов о литературных критиках и очерк «Мои невзгоды в Национальной гвардии» (опубликован в «Веке» в 1844 году): восстания 1830 и 1832 годов, Кавеньяк, Бастид, Араго, Каррель — о всей четверке с прежней, пробужденной смертью Карреля любовью. «Лучше я буду 20 раз в год сидеть в тюрьме, чем быть частью войска, которому могут приказать завтра стрелять в людей, чьи взгляды я разделяю или, по крайней мере, симпатизирую им…» Ходили к нему Ида, графиня Даш, Фердинанд не пришел, зато навещал новый друг, с которым его познакомил Теофиль Готье, — Жерар де Нерваль (Жерар Лабрюни, 1808–1855), «проклятый» поэт, романтик и мистик, одержимый смертью. Был он, как потом оказалось, психически болен, и общаться с ним бывало сложно, но Дюма к нему сильно привязался: «Жерар не принадлежал ни одной стране, ни одной эпохе… Он всегда жил между мечтой и реальностью, гораздо ближе к мечте, чем к реальности». Нерваль предложил писать либретто оперы «Пикилло» на музыку Ипполита Монпу. Герой — юный воришка, влезающий в чужие любовные интриги; Дюма

«попытался материализовать эту историю, неуловимую, воздушную, затем… перенес действие из Индии в Испанию… Забрав из рук Жерара все, что касалось прозы… оставил ему область поэзии».

Написать-то можно, но где ставить? Кронье, директор «Комической оперы», отказал: чересчур сложно. Французский театр интересовался драмой о Калигуле, она соответствовала его стилю, но оперетт не брал. Опять возникла мысль о своем театре. 27 октября Гюго, Дюма и Делавинь написали министру внутренних дел: у мелодрамы и водевиля есть десять театров, а у серьезной драмы нет театра и надо создать «Второй Французский театр». Пока ждали ответа, разыгралась очередная политическая драма: Луи Наполеон, чьей матери Дюма давал советы, вновь сделал попытку захватить власть. Его сторонник, отставной офицер Персиньи, приехал в Страсбург и подбил нескольких офицеров на участие в заговоре, 30 октября молодой Наполеон явился в казармы в дядиной треуголке, но его арестовали; Луи Филипп выслал его в США, соучастников отдал под суд, но они были помилованы — «каждое реакционное правительство хорошо понимает, что республиканцы его единственные реальные враги», а это так, забава. Дюма вроде бы не проявил к этой истории интереса, но, возможно, она подтолкнула его к тому, чтобы заняться настоящим Наполеоном. Историк Эдмон Меннеше задумал печатать подарочное издание «Жизнь замечательных людей Франции». Почему такую личность, как Наполеон, он дал Дюма, еще не зарекомендовавшему себя как прозаик или историк? Ему понравилась «Галлия и Франция»: человек пишет ясно, логично, репутация у издателей хорошая, рукописи сдает в срок. Дюма написал для «ЖЗЛ Франции» шесть очерков о Наполеоне, работу назвали школьнической, хотя жанр отчасти это предполагал. Но это была только первая проба.

Об учреждении нового театра хлопотали многие, правительство дало разрешение и подарило пустующее здание (зал «Вентадур») Атенору Жоли, бывшему типографу. Дюма возлагал на это дело большие надежды, но двигалось оно медленно. Жюль Леконт, которого Дюма когда-то выручал, в Бельгии опубликовал под псевдонимом «Ван Анжельом» «Записки о французских писателях» с оскорблениями, в том числе и в адрес благодетеля: «Имя г-на Дюма звучит сегодня лишь в театриках, где играют водевили». За Дюма вступился критик Роже де Бовуар, сам он, вопреки обыкновению, даже не ответил. Он переделывал либретто для покойного Беллини в прозаический текст — «Паскаль Бруно». Герой на свадьбе убивает жениха любимой (служанки в доме графа, на которой ему не дали жениться), та

сходит с ума и умирает, он винит во всем дочь графа Джемму; пробравшись к ней ночью, обривает ей голову, а сам с другим бедняком, арабом Али, уходит в разбойники; власти его ловят и отрубают голову, а Али убивает Джемму. «Князь склонился над кроватью — ему хотелось получше рассмотреть Джемму. Она лежала на спине, грудь почти обнажена, вокруг шеи обернуто кунье боа, темный цвет которого превосходно оттенял белизну кожи. Князь глядел с минуту на эту прекрасную статую, но вскоре ее неподвижность поразила его; он наклонился еще ниже и заметил странную бледность лица, прислушался и не уловил дыхания; он схватил руку Джеммы и ощутил ее холод; тогда он обнял возлюбленную, чтобы прижать ее к себе, но тут же с криком ужаса разжал руки: голова Джеммы, отделившись от туловища, скатилась на пол». Головы, головы, мешки сочащихся кровью голов…

«Паскаль Бруно» печатался в «Прессе» с 23 января по 3 февраля 1837 года, после того как автор вновь отсидел 15 суток за прогул учений (и дописал за эти дни «Пикилло»). Теперь он сосредоточился на «Калигуле» — Французский театр так ждал этой пьесы, что даже согласился принять в труппу Иду. Тема — раздолье, вот уж где кровь и смерть, но работа шла как никогда тяжко: писать нужно в стихах, он от этого отвык, надо перелопачивать массу литературы; он взял в помощники безотказного Буржуа, который и придумал любовную историю: племянница Калигулы Стелла стала христианкой и невестой галла Акилы, Калигула ее похитил, Акила организовал заговор, но был убит, как и Стелла, потом Калигула пал от рук заговорщиков (это уже не выдумано), с которыми, в свою очередь, расправилась Мессалина, жена ставшего императором Клавдия. Буржуа предлагал обычную трактовку Мессалины: абстрактное языческое зло, коему противостоит христианка Стелла. Дюма это было скучно: политические деятели в его работах руководствовались политикой, а не абстрактной тягой к «злу», и Мессалину он написал рассудительной женщиной: она понимает, что не может управлять Калигулой, но может управлять Клавдием, и интригует исключительно ради власти. Он создал много подобных женщин (самая известная — Екатерина Медичи), и они выходили у него одна краше другой, хотя в жизни он, насколько известно, с подобными характерами не сталкивался. «Чистые девушки» удавались куда хуже. Да и кому, кроме Льва Толстого, они удавались, эти скучные девушки?

8 мая — очередные 15 суток, после этого от него отстали. Мучился с «Калигулой» — какая там легкость пера, он над этой пьесой сидел больше полугода, отвлекаясь лишь на «Пикилло».

Предлагали соавторство — отказывался. Начинающему драматургу Дюрангену, который просил поправить его пьесу: «…в любом случае, сударь, я не стал бы Вашим соавтором. Я отказался от таких работ, которые низводят искусство до ремесла; и, кроме того, сударь, Ваша пьеса либо хороша, либо дурна. Я еще не прочел ее, но разрешите мне, быть может с излишней прямотой, сказать Вам, как я понимаю этот вопрос: если она хороша, к чему Вам моя помощь и тем более соавторство? Если же она дурна, я не настолько уверен в себе, чтобы полагать, что мое участие ее улучшит…»

В июле свадьба Фердинанда Орлеанского с Еленой Мекленбург-Шверинской, по этому случаю бал, награждения, принятие в Почетный легион, в списках куча посредственных писателей, а Дюма нет. Гюго, забыв ссору, отказался идти на торжество и потребовал, чтобы коллегу тоже наградили. Фердинанд хлопотал перед отцом, и 2 июля Дюма получил крест кавалера (знак низшей степени ордена). Удовольствия ему награда не принесла, хотя вообще ордена он обожал и не стыдился ради них хлопотать (а может, стыдился, да не мог себя пересилить): в 1837 году он получил бельгийский Почетный крест, в 1839-м — испанские ордена Изабеллы Католической и Карла III, в 1840-м — шведский орден Густава Вазы и итальянский орден Луго, в 1849-м — голландский орден Святого Льва, а в 1846-м — самый экзотический и любимый Нишан Ифтикар, или орден Славы — первую государственную награду Туниса.

Фердинанд пригласил его в свой замок в Компьене, Дюма в замке жить отказался, но снял коттедж поблизости, в местечке Сен-Корнель, откуда продолжал хлопотать о театре. Новую петицию министру внутренних дел подписали 12 членов Союза композиторов и 77 писателей, музыкантов и драматургов: просили разрешить Жоли ставить, кроме драм и комедий, оперетты и дать новому театру статус Королевского. Разрешение на оперетты было получено 30 сентября, статуса не дали, а театр из-за бюрократических проволочек так и не был открыт. Дюма и Нерваль вновь понесли «Пикилло» в «Комическую оперу», и теперь им повезло. Сыграли 31 октября, успех слабенький, публика ничего не поняла: оперетка должна быть грубоватой, а эта — заумь. Готье: «Вот, наконец, пьеса, не похожая на остальные… Мы были рады увидеть, как среди непроходимых зарослей колючего чертополоха, жгучей крапивы, овсюга и бесплодных растений… вдруг распустился прекрасный цветок фантазии… Стиль пьесы напоминает легкую и стремительную иноходь маленьких комедий Мольера… он резко отличается от

тяжелого и вялого стиля наших обычных комических опер». Подписан «Пикилло» был одним Дюма — так договорились с театром — и это потом вызвало трения с Нервалем.

К концу сентября был завершен «Калигула». Со своим великолепным театральным (или кинематографическим) чутьем Дюма начал не с императоров, а сначала показал зрителям жизнь маленьких людей — «да они такие же, как мы!» — улочки, магазины, парикмахерские, светская болтовня — и тут же юноша в ванне вскрывает вены, чтобы избежать ареста за политику. Комитет Французского театра принял пьесу единогласно, цензура, как ни странно, не увидела намеков, 15 ноября начались репетиции. Декорации требовались роскошные, театр выделил 30 тысяч франков — огромные деньги. Ида получила роль Стеллы и контракт на полгода. Были проблемы из-за трактовки Мессалины, из-за спецэффектов: Дюма хотел, чтобы колесницу Калигулы везли четыре настоящие лошади, театр отказал — самим нечего есть. Дюма пригрозил иском, и шантаж частично удался: в колесницу впрягут девушек, это еще эффектнее. Сам он уже писал примерно на том же материале (Тацит, Светоний, Плиний Старший) роман о другом тиране и безумце, Нероне, — «Актея». Когда он занимался Столетней войной, то неизменно, быть может бессознательно, подражал Скотту, но в античности это было неуместно, и роман получился куда живее, с великолепным динамичным сюжетом. Актея — гречанка, Нерон приехал в Грецию под видом певца, милый молодой человек, влюбил ее в себя и увез в Рим (история частично основана на реальных событиях: была гречанка Актея, вероятно первая любовница Нерона, он хотел на ней жениться, она пережила его ненадолго, о ее характере ничего не известно), где она обнаруживает, что он жесток и развратен. Агриппина, мать Нерона, окончательно раскрыла ей глаза на сына, но любовь это не убило — Дюма хорошо понимал женскую психологию.

«— Значит, ты хочешь навсегда расстаться с императором?

<…>

— Ах, матушка! Если бы я меньше его любила, то смогла бы остаться с ним. Но посуди сама, могу ли я спокойно видеть, как он дарит другим женщинам ту любовь, что дарил мне, — то есть я думала, что он мне ее дарит… Нет, это невозможно вынести: нельзя отдать все и получить взамен так мало. Живя среди всех этих пропащих, я пропала бы сама. Рядом с этими женщинами превратилась бы в то, чем давно стали эти женщины. И прятала бы за поясом кинжал, и носила бы в перстне яд, чтобы однажды…»

Актея убежала, встретила апостола Павла (у Дюма это просто

добрый старичок) и обратилась в христианство. Нерон тем временем убил мать: «Выражение радости на его лице сменилось другим, странным выражением: глаза, устремленные на руки, прижимавшие его к сердцу, на грудь, вскормившую его, загорелись тайным желанием. Он протянул руку к наброшенному на тело матери покрывалу и медленно поднял его, полностью открыв обнаженный труп. И тогда, обшарив его бесстыдным взглядом, с гадким, нечестивым сожалением в голосе он сказал:

— А знаешь, Спор, я не думал, что она была так красива».

Это не выдумка Дюма — он ведь не умел выдумывать, — так изложено в «Анналах» Тацита. Не выдуман и собеседник Нерона, юноша Спор, из-за которого, собственно, и ушла Актея, не в силах выносить измену с мужчиной. Нерон на этом Споре женился, сжег Рим, бежал от взбунтовавшейся толпы. Спор хотел выдать Нерона, но тот умолил одного из сопровождающих его, Нерона, убить. Спор мстительно возрадовался, но тоже убил себя: без Нерона его жизнь пуста. Актея потихоньку пришла похоронить Нерона и помолиться за него: никто не смог его морально победить, даже добродетельная девушка. Необычный, странный роман, для того времени очень смелый, полный мрачного эротизма: инцест, садомазохизм, двуполость, реки крови. Впервые он был опубликован под названием «История великого певца» в «Парижском музыкальном обозрении» осенью 1837 года, потом как «Ночь Нерона» в «Прессе» с 14 апреля 1838-го, первая книжная публикация — «Актея из Коринфа» в 1839 году в издательстве «Дюмон», переиздавался много раз и вдохновил Сенкевича на «Камо грядеши».

В октябре 1837 года Луи Филипп разогнал парламент, ибо тот, по его мнению, недостаточно горячо поддерживал правительство, но просчитался, на выборах ни одна партия не одержала победы, можно было предсказать, что и эту палату распустят. А Дюма решил заняться авторским правом. Он ведь был теперь солидный человек, в мыслях видел себя депутатом и министром и был обязан думать, как обустроить Францию — если не всю, то хотя бы ее культурную жизнь.

Франция — первая страна, провозгласившая авторское право (в революцию) и принявшая соответствующие законы в 1791 и 1793 годах (она же стояла у истоков международного механизма охраны авторских прав в XX веке). Наполеон эти законы усовершенствовал, установив срок действия копирайта в течение жизни автора и его наследование (на 10–20 лет). Но на практике авторские права нарушались постоянно. В 1829 году был создан Союз драматургов и композиторов, писатели отстали, первым забил тревогу Бальзак, к нему присоединился Луи Денуайе,

редактор «Века», Гюго и Дюма откликнулись, и 10 декабря 1837 года 54 писателя собрались у Денуайе и учредили первый в мире Союз писателей с двумя функциями: защита интересов членов общества (от подделок и краж) и помощь нуждающимся литераторам. Предполагалось, что авторы пожизненно передают союзу права на свои произведения, а союз сам заключает договоры с издателями — грандиознейшая затея. Что из нее выйдет?

26 декабря прошла премьера «Калигулы». Билеты бронировали за два месяца, нагнали полиции в ожидании давки, и давка была. Король не пришел, но был Фердинанд с женой. Ужас! Не совсем провал, но критики осмеяли жестоко, даже приятель Жюль Жанен и Дельфина Жирарден, всегда за Дюма заступавшаяся. Виноват-то больше был не автор, а постановщики: неудачный выбор актеров, толстая распутная Ида в роли Стеллы (провал, поставивший крест на ее карьере). Но должны же все когда-то понять, что пьеса хороша, признать, что Александр Дюма — это солидно и всерьез?!

Глава шестая
КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Он был уверен, что «Калигулу» оценят, ждал больших денег, не дотерпел — снял две квартиры на улице Риволи, 22, роскошный дом с балконами напротив Тюильри, Иду поселил на первом этаже, сам, как обычно, на четвертом; никакого общего хозяйства, привычки холостяцкие. Его окна находились напротив окон Фердинанда Орлеанского. В книге «Мертвые уходят быстро» (1861) он рассказывал, как они свистом вызывали друг друга, словно мальчишки, но друг был уже наследным принцем: «Если он был занят, он меня отсылал, если мне хотелось говорить о политике, он отмалчивался…» Мать тоже перевез поближе — на улицу Фобур-дю-Руль, 48. Сыну 14 лет — наконец озаботился его делами. Пансион Сен-Виктор стал пользоваться плохой славой — уж очень высокие оценки там всем ставили, а потом поступить куда-либо с этими оценками не получалось, — отдали мальчишку в пансион Эно, откуда все поступали в престижнейший коллеж Бурбонов. Там проблем у него не было, он «устал грустить и болеть», занялся спортом и пустился в развлечения; с Идой он теперь почти не контактировал и с отцом примирился.

Последняя постановка «Калигулы» прошла при полупустом зале 16 февраля 1838 года. В «Одеоне» 28 января возобновили «Анжелу» — провал. В Союз писателей вступили 85 человек, но замысел провалился: писатели не хотели отдавать права союзу, надеясь в одиночку выбить лучшие условия, и союз превратился в арбитраж, рассматривавший конфликты авторов между собой. Все плохо, все не так. Драматург Ипполит Роман попросил помочь с пьесой «Мещанин из Гента» о восстании пивоваров в 1568 году. Премьера в «Одеоне» 21 мая 1838 года — неудачно, Дюма такие работы никогда не подписывал (только брал деньги), но все равно все знали, что он опять потерпел неудачу. Пьесу «Поль Джонс» никто не хотел ставить, Денуайе предложил сделать из нее роман и печатать в «Веке», чтобы утереть нос Жирардену. Дюма написал (при участии художника Доза) «бразильское мыло»: сын не знает, чей он сын, мать скрывает, что она мать, два бесцветно-благородных героя, бесцветная девица, влюбленным мешает соединиться злодей, помогает благородный друг, «хеппи-энд». Удачные находки были — много страдавший незнакомец, вершащий чужие судьбы (эскиз графа Монте-Кристо), зловещая старая маркиза — но в общем, конечно, чушь. А публика взвыла от восторга: роман, печатавшийся с 30 мая по 23 июня, принес

«Веку» пять тысяч новых подписчиков. Почему? Только потому, что публика любит чушь?

В «Капитане Поле» Дюма опробовал новую технику. Он отказался от подражания Скотту: «В нем нет драматических качеств… он замечательно изображает манеры, костюмы, характеры, но не способен убедительно изображать страсти, а жанр нуждается в страстях… французам больше импонировал бы роман, где в равной степени внимание уделено манерам и характерам и живому диалогу». Скотт начинал с описаний: кто как одет, где родился… Но роман, печатающийся отрывками, должен захватить читателя сразу, и Дюма почти отбросил предисловия. Специфика жанра требовала обрывать каждую главу на самом интересном — этому Дюма давно научил театр. Наконец, он начал заменять длинные вальтер-скоттовские реплики короткими. По форме то был шаг к «Трем мушкетерам», но по духу этой бесталанной вещи — просто бесстыдное падение. Автор «Актеи» и «Паскаля Бруно» мог стать серьезным прозаиком, а выбрал дешевку: семью кормить надо? Но нет, он не пытался сочинить еще одного «Капитана Поля», а правил «Актею» для книжного издания, написал в дополнение к «Паскалю Бруно», чтобы издать сборником, повесть «Мюрат» о гибели наполеоновского полководца и грустный готический детектив «Полина». (Сборник назывался «Фехтовальный зал» — этот зал Дюма посещал довольно регулярно.) Несмотря на успех «Поля Джонса», надежды автор по-прежнему связывал со сценой. Театр «Ренессанс» Жоли откроется осенью, Гюго и Дюма должны дать по пьесе, первый пишет «Рюи Блаза», второй решил снова работать с Нервалем: с ним интересно. Тот нашел отличную тему: заговор тайного общества иллюминатов в Германии, в августе едем собирать материал…

31 июля 1838 года, когда Дюма обедал у Фердинанда, ему сообщили, что у матери второй инсульт. Врачи сказали, что нет надежды, привел священника. Сил описать это у него достанет лишь в 1855 году, а опубликовать — в 1866-м. «Очевидно, большое горе побуждает нас думать о тех, кого мы любим, как об утешителях…» Он написал Фердинанду записку, тот оставил гостей, пришел. «Я, бесконечно тронутый деликатностью принца, выскочил из дому, открыл дверь его кареты и, обняв его, заплакал, уткнувшись головой ему в колени. Он держал меня за руку и позволил мне выплакаться». Ночь в комнате с матерью: страх, угрызения совести, чувство сиротства. Наутро: «Взгляд, все еще сосредоточенный на мне, помутился…» К полудню глаза закрылись, «на обоих веках застыли слезы». Он стал звать, она с трудом открыла глаза. «Как и в первый раз, веки медленно упали,

возможно, еще медленней; дрожь пробежала по телу, потом она сделалась недвижна вся, только губы вздрогнули и приоткрылись: дыхание, отлетевшее от них, коснулось моего лица. Это был последний вздох».

Он просидел у тела сутки, никого не пускал, молился, надеялся: она ему приснится. Нет. «С того дня вера моя угасла, и даже самые ничтожные сомнения рухнули в бездну отрицания; если бы существовало хоть что-то, хоть что-то, что остается от нас и после нас, — то мама не могла бы не прийти ко мне, когда я так ее звал. Стало быть, смерть — это прощание навеки». (На веру в Провидение отказ от религии не повлиял: его Провидение — закон, установленный Творцом для общества, как тяготение — для материи.)

4 августа похороны в Вилле-Котре, для себя заказал место рядом. Гюго выразил соболезнования — кажется, помирились. Художника Дюваля попросил сделать портрет матери, посвятил ей книжное издание «Актеи». Задумался об отце, написал «соотечественникам» на Гаити, предложив учредить фонд для памятника генералу Дюма; в письме говорилось, что героизм генерала — «доказательство того, что у нас, гаитян, есть чему научить старую Европу, столь гордящуюся ее цивилизацией». В фонд должны были жертвовать негры, где бы они ни жили, по одному франку. Но проект не осуществился. Надо ехать в Германию, одной пьесой сыт не будешь, договорился с «Парижским обозрением» о публикации путевых заметок под названием «Прогулки по берегам Рейна», они публиковались осенью 1838 года, а в 1854-м в газете «Родина» вышло дополнение к ним — «Беседы путешественника».

Поездка грозила сорваться: Нерваль переживал драму, актриса Женни Колон, его любовь, вышла замуж. Денег у него тоже не было, депрессия, Дюма выбил для него у Жоли аванс. Немецкого оба не знали, решили взять Иду переводчиком. Фердинанд дал рекомендательное письмо к бельгийскому королю, женатому на его сестре, Нерваль в Бельгию не хотел, уговорились встретиться во Франкфурте. 9 августа Александр с Идой приехали в Брюссель, король Леопольд I (милый человек, не путать с его сыном Леопольдом II, истребившим население Конго) принял любезно, вообще Бельгия, только что образовавшаяся в результате революции, — идеал, не хуже Швейцарии, всеобщее избирательное право, нет цензуры; везде люди живут как люди, а у нас?! Проехали Антверпен, Брюгге — все замечательно, в Льеже начались прусские порядки, то нельзя, это нельзя, слава богу, есть места похуже Франции. Дальше Экс-ля-Шапель, Кёльн, Кобленц, 26 августа Франкфурт, а Нерваля нет: в Баден-Бадене

проигрался, уехал в Страсбург и там застрял, Дюма выслал ему денег на дорогу (все это напоминает совместные поездки практичного Хемингуэя с Фицджеральдом), пока ждал, посетил дом Гёте, еврейское гетто, ходил по салонам, куда его ввел редактор издававшейся на французском «Франкфуртской газеты» Шарль Дюран. Как рассказывал журналист Александр Вайль, «Дюма всюду влетал как бомба и демонстрировал свое остроумие каждому встречному», но был так обаятелен, что «все сердца ему раскрывались» и никто не мог ему противиться, в том числе жена Дюрана…

Неизвестно, знал ли Дюма, что Дюран — русский агент, работавший на Бенкендорфа с 1833 года; его газета должна была противодействовать французскому «гнилому либерализму» (все познается в сравнении). Дюран, вероятно, искренне хотел, чтобы Россия с Францией сблизились, но был в душе бонапартистом (чего не одобряли его русские хозяева) и предрекал переворот в пользу Луи Наполеона; он рассказал Дюма, как хорош Николай I, предлагал съездить в Россию. Наконец прибыл Нерваль. «Он привез с собой название и идею пьесы. Я говорю идею, потому что Жерар понятия не имел, что такое план. Он ненавидел твердые очертания, дух его распылял мысли в газообразном состоянии… Я, любивший, чтобы все было логично и правильно устроено, ввязывался с ним в бесконечные споры, которые всегда заканчивались с моей стороны словами: „Мой дорогой Жерар, вы сошли с ума!“ А он улыбался своей мягкой улыбкой и говорил: „Вы не видите того, что я вижу, дорогой друг“. А я упрямился, мне так хотелось увидеть это нечто, что он видел, а я нет… И тогда он пускался в разъяснения деталей столь тонких, столь незначительных, что эти рассуждения казались мне подобными облачкам, которые ветер разгоняет в разные стороны и которые после того, как приобретут вид горы, равнины или озера, в конце концов исчезают и тают как дым». Тем не менее план составили.

Самым известным иллюминатом был немецкий студент Карл Занд, казненный в 1820 году за убийство писателя Августа Коцебу, который из ненависти к немецким либералам, симпатизировавшим Наполеону, стал работать на русскую разведку; но убили его не за это, а за то, что требовал ограничить свободу университетов. Поехали на место действия в Мангейм, осмотрели дом Коцебу, место казни Занда, его тюремную камеру, отыскали массу документов. Обоих авторов занимала фигура палача; пошли к палачу Видеманну, но оказалось, что Занда казнил его отец. 24 сентября вернулись во Франкфурт, распределили работу: четыре акта пишет Дюма, два — Нерваль. Заехали в Баден-Баден, 2 октября были в Париже и сели за дело.

Ни Занда, ни Коцебу в пьесе «Лео Бурхарт» не будет (да, так работают писатели: два месяца копались в книгах и изучали жизнь людей, чтобы потом написать не о них), герой — профессор-либерал: став министром в германском княжестве, он идет на компромиссы с совестью, чуть не гибнет от руки студента и отказывается от политики, а студент убивает себя.

Жоли отверг пьесу: политика, надоело, не пропустят. А жить на что? Сели писать другую пьесу — «Алхимик», в стихах, по мотивам драмы «Фацио» англичанина Мильмана: человека несправедливо обвиняют в преступлении, ужасный финал заменили хеппи-эндом. Жоли понравилось, Нерваль был недоволен, решили, что «Алхимика» подпишет один Дюма, а с «Бурхартом» Нерваль делает что хочет. Театр «Пантеон» купил «Поля Джонса» и 12 октября поставил его с большим успехом. 8 ноября открытие «Ренессанса», «Алхимика» репетируют, «Бурхарта», переделанного Нервалем (по мнению критиков Пьера Тушара и Франсуа Рахье, к худшему: из политической драмы он сделал слащаво-любовную), принял «Порт-Сен-Мартен» (играли 16 апреля 1839 года, Готье хвалил, публике не понравилось). Кажется, выбирались из ямы… И той же осенью Нерваль познакомил Дюма со своим одноклассником Огюстом Маке.

Маке, старший из восьми детей бизнесмена, родился 13 декабря 1813 года в Париже, в 1830-м окончил лицей Карла Великого вместе с Нервалем, летом бегал по баррикадам, в 18 лет был зачислен в тот же лицей внештатным преподавателем истории, а в 1832-м в Сорбонне защитил докторскую диссертацию по истории театра. Мечтал писать, искусство любил больше науки, входил в группу молодых романтиков «Малый Сенакль» (группа Гюго — «Большой Сенакль»), публиковал стихи под псевдонимом «Огастус Мак-Кит». В 1833 году написал с Нервалем драму «Искупление» и романы «Рауль Спитен» и «Форт Диш»: пьесу не поставили, романы напечатали, но никто их не читал. В 1835-м, несмотря на увещевания отца, бросил преподавание и стал редактировать газету «Антракт», вскоре заглохшую, публиковал статьи о театре в «Парижской газете», с 1838 года работал в газете «Молодо-зелено». Исследователь Гюстав Симон, лично знавший Маке, в 1919 году издал о нем книгу «Дюма и Маке: история одного сотрудничества», юным он его не видел, но описал по чужим рассказам: благородный, пылкий мальчик, талантливый, но неуверенный в себе, внешне похож на д’Артаньяна: худощавый, усики, ясные светлые глаза. Маке предложил Жоли пьесу «Карнавальный вечер»: вдова Батильда влюблена в кузена покойного мужа, тот — в другую, а в Батильду — мужчина, с которым у нее была связь и который теперь ее

шантажирует. Это не водевиль, а мрачная психологическая драма. Жоли отверг — нетеатрально. Нерваль предложил показать «калеку» Дюма — тот поправит. Маке согласился. Все соглашались: Дюма правил быстро, бережно, критиковал необидно, все сдавал в срок и своего имени не ставил; это считалось нормальным, ведь он брал за труд деньги. (Если работа занимала дня два-три, то денег не брал, и это тоже считали нормальным. Если не мог поправить — отказывался, после чего пьеса возвращалась автору, но в редких случаях он покупал ее «впрок».)

Нерваль — Маке, 3 ноября: «Он [Дюма] сказал, что полтора акта очень хороши, другие полтора надо переделать. Но ему сейчас некогда, надо сдавать „Алхимика“. Я придумал, как сделать развязку без смертей, потому что это было камнем преткновения, твоя развязка чересчур мрачна и тяжеловесна для трехактной пьесы. Но я недостаточно разбираюсь в театре, чтобы сделать это. Тогда мы подумали предложить тебе в соавторы Лакруа (Поль Лакруа, 1807–1884, издатель, автор учебников, эрудит. — *М. Ч.)*. Он сейчас болеет, но скоро сможет… если „Ренессанс“ не возьмет, то Лакруа ее пристроит в „Водевиль“ или „Жимназ“. Я тебе советую принять этот вариант. Лакруа может подписать пьесу псевдонимом, если ты не хочешь подписывать своим именем, как ты мне говорил. Ты ведь знаешь, как трудно начинающим, я бывал и в худших условиях. У тебя будет половина прибыли, и тебе будет проще разговаривать с директорами театров…»

Через несколько дней Нерваль сообщил Маке, что Дюма сам прочел пьесу перед Лакруа и тот взялся «немножко поправить». Но по какой-то причине Лакруа опять не смог, и Дюма все сделал сам. Нерваль — Маке, 7 декабря: «Дорогой друг, Дюма переписал всю пьесу — в соответствии с твоим замыслом, конечно; пойдет под твоим именем. Пьеса принята, нравится всем… Завтра я представлю тебя Дюма…» Встретились, Маке со всем согласился, переименовали пьесу в «Батильду»; ее поставили 14 января 1839 года в «Ренессансе» с Идой в главной роли (это и была выгода Дюма — денег он не взял), успеха не случилось, провала тоже. Дюма тотчас об этом забыл. «Ренессанс» его не устраивал — видно, что второго Французского театра не получается, надо писать для настоящего. Несколько лет назад драматург Леон Лери (псевдоним «Брунсвик») принес ему на правку комедию, он тогда не смог ничего сделать, теперь надумал; получился водевиль «Мадемуазель де Бель-Иль»: 1726 год, герцог и его любовница решили завести себе других возлюбленных, вещь безобидная, забавная. 2 апреля 1839 года Французский театр ее

поставил с громадным успехом, даром что семнадцатилетнюю героиню играла пенсионерка мадемуазель Марс. Жюль Сандо, «Парижское обозрение»: «Живая, энергичная, нежная, добрая вещь…» Это самая коммерчески удачная пьеса Дюма: она не сходила со сцены до 1916 года.

10 апреля — «Алхимик» в «Ренессансе», успех слабенький, Франсуа Боннер в «Парижском обозрении» назвал плагиатом; 16 апреля «Лео Бурхарт» в «Порт-Сен-Мартене», тоже ничего хорошего. От досады между друзьями начались денежные разборки, Нерваль обвинял Дюма почти что в краже. При этом денег у Дюма по-прежнему не было. Их у него не было никогда, причем понять, куда он их девал, учитывая постоянное наличие заработка, трудно. Он ни во что особенное не инвестировал, не пил, не играл, не покупал любовницам карет, просто «жил на широкую ногу»: содержал «секретарей», давал в долг, сам опаздывал с платежами и платил проценты, покупал массу одежды, мебели, безделушек. Странно: ведь он был такой «правильный» во всем, что касалось работы, и юность провел бедно, и цену деньгам знал. Но не всякая черта характера поддается объяснению. Сейчас с деньгами было так плохо — еще и расточительность Иды, — что он взял крупную сумму у Доманжа под залог авторских прав. Договорился с «Веком» (там платили не лучше, чем в «Прессе», но с ними он лучше ладил) и издательством «Дюмон», что будет все написанное в прозе отдавать им, книжная публикация после газетной. Это была кабала. Год он никуда не ездил, сидел взаперти и писал. Он привык к дисциплине, но работать совсем уж из-под палки получалось неважно, тексты выходили несамостоятельные (он так и не научился придумывать сюжеты): «Отон-лучник» по мотивам сказания о Лоэнгрине, «Монсеньор Гастон де Феб, или История о демоне на службе у сира де Караса» — на основе «Хроник» Фруассара, «Педро Жестокий» — по испанским хроникам, «Дон Мартинш де Фрейтас» — по португальским. Он хотел защищать авторские права французов, но чужих соблюдать не собирался; он открыл новую жилу — авторизованные переводы. Живший в Париже неаполитанец Пьер Анжело Фиорентино посоветовал ему перевести книгу Уго Фосколо «Последние письма Джакомо Ортиса» (трагическая любовная история конца XVIII века) — вышла повесть «Жак Ортис», подписанная «А. Дюма»… А что? Тогда все так делали.

Считается, что вольным переводом какого-то английского текста являются и «Приключения Джона Дэвиса», роман о британском моряке, который везде побывал, видел Байрона, турецкого султана, албанского пашу. Англичанин Джон Дэвис,

сын моряка, жил в Париже, и позднее Дюма был с ним знаком и публиковал в своих газетах его переводы, но тот это Дэвис или не тот, так и не установили. Текст выглядит неоконченным, будто автор прервался или переводчику надоело; поскольку в его самостоятельности есть сомнения, судить о качестве трудно, но отдельные сцены не мог не написать именно Дюма: «У ворот красовалась новая выставка голов. Одна из них была, как видно, недавно отрублена, и кровь медленно капала на плечо женщины, которая сидела у подножия столба. Эта несчастная была почти нагая и прикрывалась только своими длинными волосами. Она сидела, положив лицо на колени, а руки на голову. У ног ее валялись два ребенка, по-видимому, близнецы. Несмотря на шум нашего поезда, она даже не взглянула на нас, так глубоко было ее горе, так чужд был ей весь мир. Али посмотрел на нее с абсолютным равнодушием, как на суку с щенятами…» «Век» ужаснулся такой «чернухе» и не взял; напечатало «Парижское обозрение».

Фиорентино предложил проект: серию «Знаменитые преступления» для издательства «Керар», придумывать не надо, только обработать материалы, в деле еще три писателя: Огюст Арно, Пьер Фурнье и Фелисьен Мальфий. Получилось восемь томов за три года (1839–1841), из двадцати новелл Дюма написал двенадцать: «Семейство Ченчи», «Маркиза де Бренвилье», «Карл Занд», «Мария Стюарт», «Маркиза де Ганж», «Борджиа», «Урбен Грандье», «Кровопролития на Юге», «Графиня де Сен-Жеран», «Жанна Неаполитанская» и «Железная маска» плюс старый очерк «Мюрат». Сборник хорошо расходился и был оценен критиками: сделано добросовестно, с анализом. В «Железной маске» Дюма разобрал все версии: «В театре автор… следует своему замыслу и отвергает все, что его стесняет или ему мешает. Книга же, напротив, издается, чтобы возбудить спор. И мы представляем читателю фрагменты процесса, в котором еще не вынесен окончательный приговор и, вероятно, никогда вынесен не будет…» Признался, что предпочитает ту, согласно которой под маской скрывали брата-близнеца Людовика XIV, но навязывать ее не стал.

Но о чем еще писать? Как люди умудряются выдумывать истории? Тейлор и Доза до сих пор не удосужились сделать книгу о путешествии в Египет десятилетней давности, Доза его описал, но для себя; получив согласие Доза, Дюма сделал по его запискам книгу «15 дней на горе Синай», дополнив ее очерками о походах Людовика Святого и Наполеона. «Дюмон» выпустил иллюстрированное издание, книга переиздавалась 30 раз, и французы использовали ее как путеводитель. В 1932 году

журналист Ж. Карре заявил, что Дюма «все переврал» и «украл» авторство у Доза; но имя Доза в книге стоит, а автор послесловия к русскому изданию М. Б. Пиотровский отметил, что работа точная и ошибок в ней не больше, чем у любого исследователя.

Где еще взять материал? История Марии Стюарт увлекла, начал писать хронику «Стюарты». Еще вариант: тему дает картина или скульптура. Вспомнил, как в 1835 году в Италии понравилась живопись художника-самоучки, разыскал его биографию, написал повесть «Мэтр Адам из Калабрии»: в одном селе художник нарисовал Мадонну, которая вдруг заговорила и посоветовала жителям прогнать полицейских, ищущих бандита Марко (любящего дочь художника); полиция почуяла подвох, художника чуть не казнили, Марко спас его. «Дюмон» должен был издать книгу в 1840 году, но подсуетилось бельгийское издательство «Мелин и Кан» и напечатало ее, не заплатив; с 1839 года множество его книг выходило в Бельгии прежде, чем дома, и далеко не всегда ему удавалось заключить с ушлыми бельгийцами договор.

Под конец года он написал книгу «Капитан Памфил»: отчасти компиляция из старых рассказов о животных, но прелестная: на такой теме всегда раскрывался его дар юмориста. О покупке черепахи: «Меня тронуло выражение глубокого смирения несчастного животного: подвергаясь осмотру, оно даже не пыталось укрыться под своим щитом от бесчеловечного гастрономического взгляда неприятеля… Это была простая черепаха самого заурядного вида: *testudo lutaria, sive aquarum dulcium,* что означает черепаху болотную или пресноводную. Так вот, черепаха болотная или пресноводная занимает в своем семействе ту ступень, которая у людей гражданских принадлежит лавочникам, а у военных — национальным гвардейцам. Впрочем, это была самая странная черепаха из всех, когда-либо просовывавших четыре лапы, голову и хвост в отверстия панциря. Едва почувствовав под ногами пол, она доказала свою самобытность: направилась прямо к камину с такой скоростью, что мгновенно получила имя Газель…» По этой книжке можно видеть, как много Дюма читал и какая громадная у него была эрудиция: животных он классифицировал по Плинию, Линнею, Кювье, Бюффону и по англичанину Рею и объяснил, чем классификации различаются; изложил историю открытия Северного полюса и освоения Америки — какой бы пустяк он ни писал, в нем сидела тяга к просветительству. А «Памфил» — не пустяк: основную часть книги занимает история, при чтении которой, если не знать автора, назовешь Марка Твена с его гремучей смесью черного юмора и политической сатиры.

Капитан Памфил — британский авантюрист, среди белых его репутация подмочена, и он решил облапошивать народы попроще, морочил голову индейцам, неграм, «спекулировал на всем — чае, индиго, кофе, треске, обезьянах, медведях, водке и гонакасах, — ему осталось купить себе королевство». Он купил его за ящик водки у народа москито (выдуманного Дюма), приехал в Англию, открыл консульство, торговал чинами и орденами. «Как-то после обеда при дворе кацик[14] решился заговорить о займе в четыре миллиона. Королевский банкир — ростовщик, ссужавший деньгами всех монархов, — услышав эту просьбу, с жалостью улыбнулся и ответил, что он не сможет занять меньше двенадцати миллионов, поскольку все коммерческие сделки на сумму меньше названной предоставлены темным дельцам и частным посредникам. Кацик сказал, что это его не остановит и он вполне может взять двенадцать миллионов вместо четырех… И все же существовало одно условие *sine qua non.* Кацик вздрогнул и спросил, что это за условие. Служащий ответил, что это условие — дать конституцию своему народу. Кацик был ошеломлен этим требованием; не то чтобы он испытывал хотя бы малейшее отвращение к конституции (он знал, чего стоят эти сочинения, и дал бы дюжину таких за тысячу экю, а тем более одну за двенадцать миллионов)…»

Дюма не поленился сочинить конституцию москито — это «чистый Марк Твен»; твеновской же «черной» интонацией полны страницы, где он описал общение Памфила с африканцами. Он хотел менять водку на слоновую кость, у племени кости нет, но есть пленные. Памфил принял их в залог, запер в сарай и забыл: «Прошло три дня, и одни умерли от ран, другие — от голода, несколько человек — от жары, так что, как видите, капитан Памфил вовремя вспомнил о своем товаре, который уже начинал портиться… Итак, речь шла о том, чтобы умудриться разместить на и без того изрядно нагруженном судне двести тридцать негров. Хорошо еще, что это были люди: будь вместо них другой товар, такое было бы невозможно проделать физически; но человек чудесно устроен: у него гибкие сочленения, его легко поставить на ноги или на голову, устроить на правом или на левом боку, уложить на живот или на спину — и надо быть очень бездарным, чтобы не извлечь выгоду из этого обстоятельства… капитан не скрывал от себя самого, что, после того как он два раза пройдет под тропиком, эбеновое дерево неминуемо должно немного усохнуть, и, к сожалению, даже самым требовательным станет просторнее; но всякая спекуляция сопровождается риском, и негоциант, обладающий некоторой предусмотрительностью, должен всегда предполагать убыль».

Расовая тема была для Дюма довольно болезненной; когда его сыграл актер Жерар Депардье, многие французы возмущались, и, наверное, правильно: важную часть жизни писателя проигнорировали. В 1838 году газета рабовладельческой ориентации «Колониальное обозрение» объявила, что Дюма будет в ней публиковаться, и он написал Сирилу Бисетту, аболиционисту с Мартиники, прося опровергнуть ложь на страницах либерального «Обозрения колоний»: он ничего рабовладельческой газете не обещал и не даст: «Все мои симпатии естественным образом и по национальному признаку принадлежат противникам тех принципов, которые защищают господа из „Колониального обозрения“, и я хотел бы, чтобы это знали не только во Франции, но везде, где есть у меня братья по расе». Шарль Гривель, автор книги «Александр Дюма, человек со ста головами» (2008), пишет, что Дюма из-за цвета кожи ощущал себя аутсайдером и что в нем было очень много «негритянского», в частности любовь к охоте — это притянуто за уши, точно белые не охотятся, но насчет аутсайдерства верно: вспомним печальное: «Он [де Виньи] джентльмен, а я мулат…»

Белые французы его, на три четверти (или семь восьмых) белого, звали «негром», порока в этом нет, но смеяться можно. Леконт описание Дюма в своем пасквиле начал словами: «… темно-коричневое лицо и вьющиеся волосы сразу выдают негра» (как будто он скрыть пытался); «физиономия его напоминает африканскую маску…» Другой пасквилянт, Эжен Мирекур: «Происхождение его читается во всем его облике, но еще более проявляется в характере. Соскребите с г-на Дюма поверхностный слой, и вы обнаружите негра… Маркиз играет роль на публике, негр выдает себя вблизи». (Бальзак комментировал: «Глупо, но верно».) Мадемуазель Марс, как рассказывал театровед Шарль Морис, требовала, чтобы после ухода Дюма в комнате открывали окна — «от него мерзко пахнет негром». Сент-Бёв, Дюма в общем-то любивший, писал: «Его талант — почти физической природы; его разум находится в теле не человека, а почти животного». Вильмесан: «Очень высокий, очень худой в то время, Дюма в целом представлял собой идеальный тип красивого мужчины. Грубоватость черт лица смягчалась сиянием голубых глаз; казалось, две породы борются в этом существе, и негр побежден цивилизованным человеком, нетерпеливая пылкость африканской крови умеряется элегантностью европейской цивилизации; одухотворенность облагораживает толстые губы, интеллект смягчает уродство». В наше время молодого Дюма назвали бы «красавчиком мулатом» (с возрастом он, увы, располнел и

красота пропала), но тогда сам по себе негроидный тип лица был — «уродство», копна черных кудрей считалась хуже лысины. Бедный, он сам о себе писал: «Мне никогда не удавалось хорошо выглядеть из-за моего темного цвета лица и потому что вьющиеся волосы сформировали смешной ореол вокруг моей головы». Свой импульсивный характер он объяснял «тропической родословной» — точно никогда не видел импульсивных белых. Он не обижался, когда «негром» шпыняли друзья, любил приводить фразу Нодье: «Вы все, негры, одинаковы, любите бусы и побрякушки», карикатуристы Шам и Надар рисовали его черным как уголь — он дружил с ними. Но бывали и очень жестокие выпады. Вообще для столь незлобивого, как он, человека у него было многовато врагов. Почему? Он раздражал. Шумный, огромный, любит поговорить о себе — это всегда раздражает, да еще и негр…

12 февраля король распустил очередной парламент. Зря искал добра от добра — на выборах 2 марта и 6 июля оппозиция получила перевес: у нее 240 депутатов, у орлеанистов — 200. Тогда король разогнал правительство и вместо Моле назначил Сульта; Бланки и Барбес 12 мая попытались «вывести людей», вывели 300 человек, атаковали Дворец правосудия, 200 погибших, Бланки бежал (его считали провокатором, и с тех пор они с Барбесом стали врагами), Барбеса приговорили к казни, Гюго и Жорж Санд умолили Фердинанда Орлеанского вступиться, Гюго даже в стихах короля просил, и казнь заменили на пожизненное заключение. Дюма в мемуарах упоминал о заступничестве Гюго как о «достойном поступке», но сам не вмешался. Люди, подобные Барбесу, его бесили: за неудавшимся «восстанием» — новые репрессии против печати. Он давно решил: мы пойдем другим путем. Депутатство. Скоро уже пора. У него был хороший период: деньги пошли, критики хвалили. Для закрепления статуса недоставало академического кресла.

Французская академия, основанная в 1635 году герцогом Ришелье «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки», состоит из сорока «бессмертных» членов, избранных коллегами; на званых обедах они занимают более почетные места, чем министры. Чтобы стать «бессмертным», надо ждать, пока какой-нибудь «бессмертный» умрет. Избирали обычно уже старых, и помирали они достаточно часто — есть на что надеяться. Правда, у молодежи, романтиков и вообще всех, кто выделялся, шансов было немного. В 1824 году Гюго пытался избраться — провалили, потом еще дважды. В сентябре 1839-го умер «бессмертный» историк Мишо, Беранже вновь выдвинул Гюго; Бальзак, только что избранный президентом Союза писателей, после переговоров

с Гюго снял свою кандидатуру. Соперники — драматург Бонжур, юрист-легитимист Беррье и историк-орлеанист Вату. Дюма в этой комбинации места не нашлось, но он пытался интриговать, прося Бюло: «Напишите обо мне в „Обозрении“ в связи с выборами в Академию и выразите, пожалуйста, удивление, как это могло получиться, что я не выставил свою кандидатуру…» Бюло удивление выразил, кандидатуру Дюма все равно никто не предложил, но разговоры о нем пошли; весь ноябрь и декабрь в газетах печатались карикатуры на претендентов в бессмертные, самая известная — «Большие академические скачки с препятствиями» Гранвиля: закрытая дверь академии, перед ней толпятся Бальзак, которого с боков подпирают «дамы бальзаковского возраста», Гюго с Нотр-Дам на голове, де Виньи от нетерпения прыгает, Дюма стоит спиной к академии и к Бальзаку.

Нам хочется видеть знаменитостей смелыми, отчаянными, молодыми, но они такие же люди, как мы, и хотят быть взрослыми, скучными, материально обеспеченными. О Дюма пишут как о «большом ребенке», вечно юном душою (Вильмесан: «Он был ребенком со всеми капризами и глупостями, свойственными ребяческому возрасту, несносным ребенком»), но Гонкуры видели его другим: «Дюма — самый благоразумный на свете человек, никаких страстей, регулярно спит с женщинами, но никого не любит, так как любовь вредит здоровью и отнимает время; не женится, потому что это хлопотно; сердце бьется, как заведенные часы, и вся жизнь разграфлена, как нотная бумага. Законченный эгоист, с самыми буржуазными представлениями о счастье, без волнения, без увлечений…» Эти строки относятся к 56-летнему Дюма, но нынешний 37-летний, еще худой, еще порывистый Александр был готов на все, чтобы стать «солидным», — даже жениться. Графиня Даш сказала, какая жена была ему нужна: «Достаточно тактичная, чтобы прощать его шутки, делать домашний очаг приятным для него и, главное, не мешать ему работать; такая женщина была бы счастлива с ним… Она должна с юмором относиться ко всем его секретам и никогда не устраивать сцен…» Но такой женщины у него не было, а Ида Ферье была. Почему нет? Она нервировала и дергала его, но меньше, чем предыдущие любовницы; она не могла иметь детей, а его это устраивало. В январе 1840 года они поехали к Доманжу в его имение, посовещались, и он благословил Иду и дал приданое: драгоценности и столовое серебро на 20 тысяч франков и 100 тысяч наличными.

Кроме Доманжа, никто не был рад этому браку. Яростно протестовал сын, чей характер к пятнадцати годам уже оформился. Все отмечали его поразительное внешнее сходство с

отцом и диаметральное несходство душ. Графиня Даш: «Крайняя сдержанность Александра [младшего] — следствие полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него — фонарь, горящий на краю пропасти. Дюма-сын прежде всего человек долга. Он выполняет его во всем… Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного Дюма-отцу. Он холоден внешне и, возможно, охладел душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей». Д. В. Григорович (1859): «Прежде еще говорили мне, что Дюма-отец и Дюма-сын — совершеннейшие антиподы по характеру. Я убедился в этом, как только вошел в комнаты сына. Все сразу говорило, что здесь живет человек, щедро наделенный изящным вкусом, но прежде всего — человек положительный, бережливый, влюбленный в порядок. Наружность сына напоминает отца; но вместе с тем с первого взгляда не остается сомнения в разнице характера того и другого. Насколько фигура отца постоянно вся в движении и лицо его носит отпечаток страстей и неугомонных огненных порывов, — настолько сын кажется спокойным и даже холодным…» В. А. Соллогуб (1856): «Сын Дюма… наружностью много напоминал отца, но нравственно ни в чем не походил на него. Сдержанный до скрытности, осторожный и серьезный… К отцу своему в то время, что я его знал, он относился почти что враждебно: он не мог ему простить, во-первых, нажитые и прожитые им миллионы, во-вторых, незаконность своего рождения… Он холодно обращался с лизоблюдами отца, насмешливо отзывался обо всем его обиходе, что не мешало ему, однако, просиживая у отца, постоянно иметь маленькую книжечку в кармане, в которую он тщательно вписывал каждое меткое слово…»

Если Мари Александрине, дочери Дюма, одни его любовницы нравились, другие нет, то сын был изначально настроен против любой. Он хотел респектабельного, «правильного» отца. Почему тогда противился браку, который давал респектабельность? Он все-таки был еще ребенком: не мог побороть неприязнь к Иде и, возможно, надеялся, что отец когда-нибудь женится на Катрин Лабе, которая к тому времени содержала читальню и была ничем не хуже актрис. Но дело не только в этом. Казавшийся холодным, Александр Дюма-сын в глубине души, вероятно, был сентиментален (иначе не было бы так сентиментально его творчество), отца, по Достоевскому, «ненавидя любил», страстно жаждал, по крайней мере в юности, его внимания и не желал ни с кем его делить, а отец это отлично видел, раз писал ему в ноябре 1839 года: «Ты отлично знаешь, что если бы ты был гермафродитом и умел готовить, мне не нужна была бы другая

хозяйка, кроме тебя. Но, увы, Господь создал тебя иначе. Так что имей раз и навсегда достаточно мудрости, чтобы наши сердца соприкоснулись и всегда преодолевали материальные преграды, встающие меж нами. Ты и только ты всегда будешь первым в моем сердце и моем кошельке, только я тебе даю куда меньше из кошелька, чем из сердца…»

Другим противником брака была Мелани Вальдор, еще на что-то надеявшаяся. Писала Катрин, требовала вмешаться, но та, благоразумная, ответила, что ее это не касается. Тогда Мелани забросала письмами мальчика: «Думаю, твоей матери следует сходить с тобой к свидетелям и рассеять их заблуждения: ведь им говорили, что ты с радостью дал согласие на этот брак! Может быть, так удастся спасти твоего отца». Тот написал отцу (гостившему с Идой у Доманжа) сердитое письмо. Отец в раздражении отвечал: «Если между нами резко прекратились отношения отца и сына, в этом нет моей вины, а есть только твоя: ты приходил в наш дом, тебя все здесь ласково принимали, но тебе внезапно вздумалось, следуя чьему-то совету, перестать здороваться с особой, которую я считаю своей женой, поскольку живу с ней… Напиши мадам Иде, попроси ее стать для тебя тем, кем она стала для твоей сестры, и отныне и навеки ты будешь у нас желанным гостем. Да и лучшее для тебя из всего, что может случиться, — чтобы эта связь продолжалась, поскольку, так как у меня за эти шесть лет не родилось детей, я уверен в том, что у меня их и не будет, и ты останешься моим единственным сыном…»

Расписались в мэрии 5 февраля 1840 года, заключили брачный договор, вклад мужа — авторские права, оцененные в 200 тысяч франков, венчались в церкви Сен-Рош. А 20 февраля — выборы в академию, «бессмертие» обрели бывший премьер-министр Моле и физиолог Пьер Флуранс, а Гюго опять пролетел. Ясно, что если не избрали Гюго, то Дюма и подавно надеяться не на что. Но уже женился — ничего не поделаешь. Новобрачные сохранили за собой две квартиры и общего хозяйства не вели. Он ухаживал за молодыми актрисами. Она жаловалась Доманжу, что в доме нет денег: «Прибавьте к этому сестру, которой открывают счета в магазинах, в которых мы делаем покупки, кузенов, племянников, любовниц и скажите мне, можно ли, если у вас и без того немало долгов, если положение обязывает вас вести достаточно роскошную жизнь, а главное — если вы понятия не имеете о том, что такое порядок, — можно ли, скажите мне, не упасть в бездонную пропасть?» А ведь доходы были. Французский театр отказался возобновить «Генриха IV», но Дюма выиграл суд и получил компенсацию. Написал с Шарлем Лафоном (не ставя

свое имя) пьесу «Жарвис, честный человек, или Лондонский торговец» на сюжет, сходный с «Королем Лиром»; постановка в «Жимназ» 3 июня, успех средний, но деньги есть. Написал для «Века» «Юг Франции» и бурлескную новеллу «Охота на шастра». Вышел том «Жизни замечательных людей» о Наполеоне, правда, приняли его прохладно. Марк де Сент-Илер: «Я ожидал, что в этом эпизоде (сражение при Ватерлоо. — *М. Ч.)* автор употребит всю мощь своего таланта, всю энергию мысли. Но нет…»

В марте 1840 года пало министерство Сульта — палата отказалась утвердить денежные выплаты королевской семье. Снова Тьер, снова надежды — ну, это же Тьер, интеллигентный человек, в прошлые разы он как-то странно себя вел, но теперь… И впрямь, глядите: Кавеньяк вернулся из изгнания, и никто его не сажает, а Луи Блан написал книгу о революции, и ее собирается публиковать успешный издатель Фурне… «Ренессанс» из-за финансовых трудностей закрылся 2 мая (потом открылся, но в 1844 году разорился окончательно). Дюма выбил через Мериме и Ремюза, нового министра внутренних дел, заказ на пьесу для Французского театра и аванс в шесть тысяч франков и решил ехать во Флоренцию — там лучше работать и дешевле жить. Заключил с несколькими газетами договоры на публикацию путевых заметок, 28 мая отбыл с женой в Марсель, 5 июня был во Флоренции. Он заканчивал писать роман, начатый ранней весной, — «Записки учителя фехтования, или 18 месяцев в Санкт-Петербурге».

Это не первое его «русское» произведение. «Ванинка» — рассказ из серии «Знаменитые преступления»: 1800 год, конец царствования Павла I, все начинается с экзекуции в доме «генерала Чермайлова»: «Исполнение же наказания было возложено на кучера Ивана, коего умение орудовать кнутом то возносило, то, если угодно, низводило до уровня палача всякий раз, когда предстояла подобная экзекуция. Все это, впрочем, не лишало его уважения и даже дружбы остальной челяди, совершенно уверенной, что действует он только рукой, а сердце не имеет к сему никакого касательства. Поскольку же и рука и тело принадлежали генералу, тот мог ими пользоваться по своему усмотрению, что никого не удивляло. К тому же Иван делал это не так больно, как делал бы другой на его месте. Будучи человеком незлым, он умудрялся пропускать один-два удара из положенной дюжины. Если же от него требовали неукоснительного счета всех положенных ударов, он старался, чтобы кончик кнута приходился на еловую доску, на которой лежал наказуемый, что избавляло того от лишней боли». Били крепостного парикмахера Григория по жалобе дочери генерала

Ванинки, для которой крепостные были «лишь бородатыми скотами, стоявшими, в соответствии с теми чувствами, которые она к ним питала, существенно ниже ее лошадей или собак…». В нее влюбился граф Федор «Ромайлов», но отец хочет выдать ее за тайного советника.

Крепостные у Дюма так же морально изуродованы, как хозяева. Григорий, ненавидящий Ванинку, говорит генералу, что дочь живет с Федором (за донос получает деньги и вольную), генерал идет проверять, никого в спальне не находит, а бедный Федор задохнулся в сундуке, куда его спрятали Ванинка и ее распутная горничная. Лакей Иван помогает избавиться от трупа, шантажирует Ванинку и получает деньги. Тут умирает жених Ванинки, ей разрешено выйти за Ромайлова, и его начинают разыскивать; крепостные тем временем обделывают свои дела.

«— А знаете, — возразил Иван, которому хмель уже ударил в голову, — что бывают холопы, которым живется повольготней, чем их господам. <…>

— Ну, это как посмотреть, — протянул Григорий с сомнением в голосе.

— Отчего же? Наши господа родиться не успеют, глядишь, уже в руках двух-трех буквоедов — француза, немца и англичанина. Любишь не любишь, а живи с ними до семнадцати лет, хочешь не хочешь — выучись с их помощью трем варварским языкам за счет нашего прекрасного русского, который человек и вовсе забывает из-за иностранщины. Если решил чего-то добиться в жизни, иди служить в армию. Станешь подпоручиком, будешь рабом у поручика, станешь поручиком — у капитана, а уж коли дослужишься до капитана, так над тобою майор хозяин… Если ты беден, вечно веди борьбу, чтобы прокормить семью; если богат — следи, чтобы тебя не обкрадывали управляющие и не обманывали мужики. Разве это жизнь? Вот мы, бедняки, помучим мать, когда она нас рожает, и все; остальное — хозяйская забота, хозяин нас кормит, определяет к делу, а уж выучиться ему не составляет труда, если ты не круглый дурак…» Иван расхвастался в кабаке, что Ванинка у него в руках, та отравила всех посетителей кабака и сожгла его, потом исповедалась, поп отказался отпустить грех и разболтал жене, все выплыло наружу; Павел распорядился попа расстричь и сослать в Сибирь, а убийце — ничего. «Ванинка постриглась в монахини и умерла от стыда и отчаяния».

Что за дикая фантазия, скажет читатель и ошибется: Дюма добросовестно следовал источнику — книге дипломата Дюпре де Сен-Мора «Отшельник в России» (1829). Было ли это на самом деле? Видимо да, только относили историю к царствованиям разных монархов. В «Русском архиве» за 1891 год опубликован

рассказ А. Корсунова «Трагический случай прошлого века»: автор со слов своего отца поведал, как данное преступление совершила дочь генерала Черткова в эпоху Екатерины II; на этот сюжет написана повесть графа Салияса «Бригадирская внучка». В том же «Русском архиве» в 1892-м — статья Д. Ильченко: «Лет 20 тому назад мы слышали этот рассказ от одной дряхлой старухи К. М. Тимофеевой, которая передавала подробно обстоятельства этого события тоже со слов отца своего, бывшаго помещика Полтавской губернии, служившаго под начальством генерала, в семействе котораго случилось это несчастие… событие, по словам ея, имело место в царствование императора Павла». Ильченко упоминает Дюма и замечает, что тот точно воспроизвел рассказ Тимофеевой, от которой, вероятно, и слышал его Сен-Мор. Дюма придумал лишь диалоги, но и то строго следуя Сен-Мору, который писал про «офранцуживание» русских.

Интерес его к России подогрели несколько человек. Первый — учитель фехтования Огюстен Франсуа Гризье (1791–1865). В 1814–1815 годах он служил в Национальной гвардии, в период Ста дней сражался за Наполеона, потом преподавал фехтование во Франции и Бельгии, в 1819-м уехал в Россию, где жил до 1829-го: по распоряжению великого князя Константина получил должность преподавателя фехтования с чином капитана в Главном военно-инженерном училище, обучал, в частности, декабристов И. А. Анненкова, А. Н. Муравьева, С. П. Трубецкого, был, как считается, знаком с Пушкиным. Возвратился домой, открыл фехтовальную школу, написал книгу «Фехтование и дуэль» (посвятив ее Николаю I) и был популярен в Париже: спортсмен, интеллектуал, либерал — редкое сочетание.

Второй — Шарль Дюран, с которым Дюма теперь виделся регулярно: тот в июне 1839 года перебрался в Париж и основал (с помощью Дюма, водившего его по инстанциям) бонапартистскую газету «Капитолий». Дюран продолжал деятельность, начатую в Бельгии: пытался склонить общественное мнение в пользу России. Отношения между двумя странами были плохи с наполеоновских времен и еще ухудшились после подавления Польского восстания; французы также считали, что Россия хочет отнять у них Константинополь. Дюран уверял Россию, что неприязнь идет на убыль, французы потеряли интерес к Польше и верят в миролюбие Николая. (Его газета была единственной, которая так считала, — он обманывал своих хозяев.) 12 мая 1839 года, в день, когда было подавлено восстание «Времен года», он писал министру просвещения Уварову: «Теории легитимистов забыты; республиканские павианы укрощены… интересы перестают мало-помалу называться мнениями, и все разумные

люди превратились в людей деловых… Одним из сюрпризов, наиболее приятных для меня, было видеть, что смешное предубеждение, существовавшее во Франции против того, кто является самым священным в Вашей стране и в Ваших сердцах, если и не вполне уничтожено, то, во всяком случае, в большей мере изжито. Газеты не смеют еще отречься от предубеждения, но у людей уже почти у всех открылись глаза не столько на политику, сколько на личность Вашего великого императора…» Король, писал Дюран, «всегда сожалеет о том, что не может открыто действовать для России» и либеральные журналисты признаются, «что до сих пор очень плохо знали личность Императора». Это надо использовать.

Он напоминал, как в 1836 году в Петербурге принимали французского художника Верне и наградили орденом Станислава 3-й степени, уверял, что богема Парижа мечтает о подобном счастье, и надо бы повторить это с писателем. Каким? «Со старой литературой покончено. В новой подымаются два замечательных человека: Гюго, великий поэт и, по моему мнению, посредственный драматург, и Дюма (Александр) — самая плодовитая драматургическая голова нашего времени, хотя как поэт он уступает Ламартину и Гюго». Дюран сообщал, что Дюма «жаждет низложить к стопам Императора» пьесу «Алхимик» и что это, разумеется, не его, Дюрана, инициатива, а Дюма сам додумался. «Я, радуясь, что французское образованное общество идет по пути, который я имел честь первый указать всем благомыслящим, посмел обещать Александру Дюма адресовать его манускрипт лично Вам, так как близко знаю Ваш благородный характер и высокую просвещенность… Вполне возможно, что Его Величество сочтет своим долгом ответить на почтительное подношение Александра Дюма почетным знаком своего императорского благоволения. В таком случае, Ваше Превосходительство, для того, чтобы нанести парижским полякам удар сокрушительный и необходимый, не было ли бы уместно посоветовать Его Величеству пожаловать орден св. Станислава 2-й степени?» Надо полагать, Дюма, в свою очередь, было сказано, что в России только о нем и думают, а царь обожает французское искусство, целыми днями обласкивает художников и без его пьесы жить не может.

Дюма приготовил экземпляр «Алхимика» и письмо: «Не только к самодержавному властителю великой империи осмеливаюсь я обратить дань своего благоговения, но и к наиболее просвещенному монарху-цивилизатору… Государь, в наш век, столь материалистический, поэт и артист спрашивают себя: остался ли еще на свете хотя бы один покровитель

искусства, который воздал бы должное их славному и бескорыстному служению? — и с удивлением и восхищением узнают, что божественному провидению угодно было именно на престол великой империи Севера поместить гения, способного их понять и достойного быть ими понятым. Государь, я позволяю себе с благоговением, в надежде, что мое имя ему небезызвестно, поднести в виде дара мою собственноручную рукопись Его Величеству Императору Всея России. И когда я писал ее, то был воодушевлен надеждой, что император Николай, покровитель науки и литературы, не посмотрит с безразличием на писателя Запада, записавшегося в число первых, наиболее искренних его почитателей». По указанию Дюрана он написал и Уварову: «На мои вопросы г. Дюрану о способе, которым лучше всего можно было бы довести до Его Величества мое подношение, он указал мне на Ваше Превосходительство… Я опускаю из скромности, которая мне, однако, дорого стоит, те подробности, которые дал мне г. Дюран относительно Вашего Превосходительства, как о Вашем покровительстве искусству, так и о Ваших великих трудах и, наконец, об ответственном политическом посте, который занимает министр народного просвещения в великой империи, где литература и наука так прекрасно направлены на путь прогресса…» И подписался с намеком: «Кавалер орденов Бельгийского льва, Почетного легиона, Изабеллы католической».

Дюран и сам писал Уварову, прося лично быть цензором «Алхимика», организовал пересылку рукописи; в начале июня 1839 года пьеса добралась до Петербурга. 8 июня Уваров представил рукопись Николаю с сопроводительным письмом: «Если бы Вашему Величеству угодно было, милостиво приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу Вашего Величества, поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее Государя, то я со своей стороны полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена св. Станислава 3-й степени. (Дюран-то просил 2-ю. — *М. Ч.)* Почетное место, занимаемое им в ряду новейших писателей Франции, может дать Дюма некоторое право на столь отличный знак внимания Вашего Величества…» Но царь написал на докладе Уварова: «Довольно будет перстня с вензелем». Почему? Во-первых, сама рекомендация Дюрана была не на пользу Дюма: Бенкендорф знал, что шпион — бонапартист и не вполне надежен. Во-вторых, Уваров почему-то забыл, что Николай не любил французских пьес. (Из записок А. М. Каратыгиной: «Государь вообще не любил переводных драм и бывал доволен, когда мы брали в бенефисы свои оригинальные произведения».) Третий промах, который допустил Дюран (и

Уваров почему-то тоже): Дюма в России считался неблагонадежным, и его хвалили «не те» люди. Одним из первых его переводчиков (в 1830-х годах его тексты печатались в «Телескопе», «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках») был Белинский; в рецензии на книгу «Современные повести модных писателей» он отмечал: «Выбор пиес не слишком строг, ибо только первая повесть „Маскарад“, которая в кратком, молниеносном очерке заключает глубокую поэтическую мысль и живую картину человеческого сердца и носит в себе яркую печать мощного и энергического таланта знаменитого Александра Дюма, достойна особенно внимания». Герцен в 1836-м писал невесте из ссылки: «Попроси, чтоб тебе достали 16 № „Телескопа“, прочти там повесть „Красная роза“ („Бланш“. — *М. Ч.);* ты найдешь в Бианке знакомое, родное твоей душе».

Консерваторам, соответственно, Дюма не нравился. Гоголь, «Петербургские записки 1836 года»: «Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканы и другие стали всемирными законодателями!..» В 1837-м Дюма обругал Фаддей Булгарин: «Мы видим бешеного Кина, знаменитого развратника, которого Дюма на этот раз выбрал своим героем. Внимательный наблюдатель может заметить одну странную и совершенно ложную идею, постоянно господствующую во всех драмах Дюма. Избрав своим героем какое-нибудь лицо, которое родится с печатью отвержения на лице, человека, которого порядочное общество весьма справедливо не может допустить в свой круг, он силится представить по этому случаю несправедливость людей, всячески унизить их своим героем, надругаться над обществом его устами. Если метрическое свидетельство ваше в порядке — вы никогда не будете героем Дюма». Когда В. А. Каратыгин перевел «Ричарда Дарлингтона», цензор докладывал: «Пиеса сия принадлежит к новейшим сочинениям французского искусства, следственно, основана на ужасе, и сочинитель достиг своей цели, прибавляя к сему споры при выборах депутатов для английского парламента… Без сомнения, что сия уродливая пиеса не могла быть представлена на театрах в России, но г. Каратыгин старший, который занимался переводом сей драмы, умел устранить все неприличное, как, например, весь пролог и выборы депутатов…»

В довершение конфуза «Алхимик» был посвящен не Николаю, а жене автора. Так что Уварову пришлось объяснить Дюрану и Дюма, что перстень — это даже лучше, чем орден. Подарок

послали в Париж с курьером министерства иностранных дел, он затерялся, Дюма не поленился напомнить Уварову и получил перстень 13 ноября 1839 года из рук русского посла графа Палена. «Алхимик» же был поставлен в Александрийском театре 10 января 1840 года в бенефис Каратыгина, но успеха не имел. Часто говорят, что Дюма написал «Учителя фехтования» потому, что обиделся из-за ордена. Но речь все-таки не о десятилетнем ребенке. История с орденом скорее подогрела его любопытство к далекой стране.

Кроме Дюрана и Гризье о русских ему рассказывали драматург Ипполит Оже (жил в России, дружил с декабристом Луниным) и двое собственно русских: Анатолий Николаевич Демидов (1812–1870), который жил в Париже и Флоренции (Дюма был в его имении Сан-Донато), поклонник Наполеона, впоследствии породнившийся с его семьей, и также живший во Флоренции Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1768–1851), отец декабристов, в молодости участвовавший в заговоре против Павла I; вероятно, от него Дюма узнал о декабристах больше, чем от кого-либо. «Ни на одного из своих сыновей я не могу пожаловаться, — говорил он мне, вытирая слезы. Лично он являлся скорее аристократом, нежели либералом». Тема благодатная, и никто еще о ней не писал. Не только во Франции. В России она тем более была под запретом.

Кроме рассказов знакомых, Дюма использовал массу источников — записки адъютанта Наполеона графа де Сегюра, считавшегося специалистом по России, книгу Альфонса Рабба «История Александра I» (1826), «Записки о смерти Павла I» Рене Лепретра (1820); возможно, даже доклад Следственной комиссии по делу декабристов (или, по крайней мере, ему этот доклад пересказал Муравьев). Сюжетной же основой романа, по признанию автора, стали воспоминания Гризье. Не обошлось без упреков: друг Гризье граф д'Орбур писал: «Дюма опубликовал „Полину“ и эти знаменитые „Записки учителя фехтования“, которые Жанен всегда ставил Вам в упрек за то, что Вы их подарили… Я поглотил три тома „Записок“, я следовал за Вами по пути из Парижа в Петербург… Двадцать раз я перечитывал это произведение, написанное Дюма под Вашу диктовку…» Большинство людей не понимают, как делаются книги: «продиктовать» и написать — совсем не одно и то же.

Напомним: жил-был Иван Александрович Анненков (1802–1878), учился в Московском университете, в 1819-м был принят в Кавалергардский полк, в 1824-м вступил в Петербургский филиал Южного общества декабристов, и жила-была Полина Гебль (1800–1876), дочь наполеоновского офицера, модистка в московском

торговом доме Дюманси; в 1825-м они полюбили друг друга. После восстания Анненков был осужден к каторге на 20 лет; в 1840-м, когда «Учитель фехтования» печатался в «Парижском обозрении», он уже был женат на Полине и получил разрешение служить в Сибири (канцелярским служителем 4-го разряда в Туринском земском суде); в 1859-м, когда он состоял чиновником особых поручений при нижегородском губернаторе А. Н. Муравьеве (также прошедшем ссылку), они с Дюма встретились. И ему, и его жене роман активно не понравился.

Французам он тоже не понравился, заинтересовав лишь знакомых Гризье; литературоведы не относят его к числу художественных удач. Автор решил в небольшой текст впихнуть все, что знал о России, и получился лишь на треть роман, а на две трети — смесь учебника с путеводителем. Архитектура, обычаи, цены — все дотошно, как в «Швейцарии». «Извозчики в Петербурге — это обыкновенные крепостные, которые за известную сумму денег, называемую оброком, покупают у своих помещиков разрешение попытать счастья в Петербурге. Экипаж их — обыкновенные дроги на четырех колесах, в которых сиденье устроено не поперек, а вдоль, так что сидят на нем верхом, как дети на своих велосипедиках у нас на Елисейских Полях… Что касается самого извозчика, он очень напоминает неаполитанского лаццарони: нет нужды знать русский язык, чтобы объясняться с ним, — с такой проницательностью он угадывает желания седока. Он помещается на облучке между седоком и лошадью, а порядковый номер прикреплен к его спине, дабы недовольный седок мог в любое время его снять. В таких случаях достаточно отнести или отослать номер в полицию, и вы можете быть уверены, что за свою вину извозчик понесет должное наказание». Мило изложено, но французам было не очень интересно: в Россию мало кто ездил туристом.

У нас интереса было куда больше — роман был под запретом, так что читали его все, включая императрицу, — но любви к автору он не прибавил, на него обиделись. О самом Николае Дюма не сказал ничего плохого («человек холодный, суровый, с сильным, властным характером» — так говорили о нем, а оказался куда добрее), но он изложил всю нашу запретную историю: Анна Иоанновна, морившая людей в ледяном доме, убийство Петра III, фаворитство Потемкина, полубезумный Константин Павлович, садистка Настасья Минкина, смерть узников Петропавловской крепости при наводнении, наконец, безумие и убийство Павла I (о чем не разрешалось писать аж до 1905 года): Александр I, брат царя, был соучастником убийства отца. Но и «декабристская» сторона тоже обиделась: Дюма

«исказил», «переврал». Из письма И. И. Пущина Н. Д. Фонвизиной (1841): «Матвей Муравьев читал эту книгу и говорит, что негодяй Гризье, которого я немного знал, представил эту уважительную женщину (мать Анненкова. — *М. Ч.)* не совсем в настоящем виде… Увидев, что книга с бреднями имеет ход по Европе, я должен был сказать Анненковой, что ожидаю это знаменитое сочинение. Тогда и Вы прочтете, а Анненкова напишет к Александру Дюма и потребует, чтоб он ее письмо сделал так же гласным, как и тот вздор, к которому он решился приложить свое перо». Полина Анненкова, «Воспоминания» (1888): «Если я вхожу в подробности моего детства и первой молодости, это для того, чтобы… прекратить толки людей, не знавших правды, которую по отношению ко мне и моей жизни часто искажали, как, например, это сделал Александр Дюма в своей книге „Memoires d'un maotre d'armes", в которой он говорит обо мне и в которой больше вымысла, чем истины». Достоевский, «Дневник писателя» (1876): «Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец».

В советский период на Дюма (роман был впервые издан на русском языке в 1925 году) продолжали сердиться. С. Н. Дурылин, «Александр Дюма-отец и Россия» (1937): «В романе Дюма рассыпано множество исторических несообразностей, фактических ошибок, романических измышлений, психологических несуразностей и политических нелепостей». В качестве «ужасных нелепостей» приводятся, например, такие: «Анненков превратился под пером Дюма в графа Ванинкова»; Дюма пишет, что в Сибири за санями бежало много волков, а Полина Анненкова видела только одного; Чита перепутана с селом Козловом. Ужасные, конечно, нелепости, просто убийственные… Переиздали роман лишь однажды, в Горьковском книжном издательстве в 1957 году, с добавлением эссе «Мученики», написанного Дюма в 1859-м, и его переводов стихов Рылеева. Оба издания были с купюрами. Лишь в 2004 году издательство «Арт-Бизнес-Центр» опубликовало полный текст, но большинство из нас, конечно, его не читали, а помнят старый. Вот и сравним: всегда любопытно, разбирая книгу иностранца о нас, отмечать, что и почему выкинули.

Прежде всего, в советском издании меньше глав. Выброшено почти все о Наполеоне, скорее не из идейных соображений, а просто сочли не идущим к делу. (Даже во французских изданиях глава о наполеоновской кампании в Москве то вставлялась, то убиралась.) Но основная претензия заключалась, конечно, в том, что автор, по выражению Дурылина (чья книга, если отвлечься от

идеологии, является эталоном дюмаведения), «опошляет образ декабриста». Что же он опошлил? Что соврал?

Луиза (так Дюма назвал героиню), рассказывая Гризье о знакомстве с «Ванниковым», приводит его слова: «В Москве я встретил старых друзей. Они нашли меня мрачным, скучным и попытались развлечь. Но это им не удалось. Тогда они принялись искать причину моего грустного настроения, решили, что меня снедает любовь к свободе, и предложили мне вступить в тайное общество, направленное против царя…» То есть в заговор Анненков вступил не по идейным соображениям, а от скуки. (В подлиннике эта мысль выражена резче, но не суть важно.) Гризье по просьбе Луизы пытается отговорить Анненкова от участия в заговоре, а тот отвечает:

«— Вы думаете, что я не знаю так же хорошо, как вы, что это безумие? Что я хоть немного надеюсь на успех? Нет! Я сознательно бросаюсь в пропасть, и даже чудо не может меня спасти. Единственное, что я могу сделать, — это закрыть глаза, чтобы не видеть глубины этой пропасти.

— Но зачем же вы по доброй воле бросаетесь в нее?

— Слишком поздно идти на попятный. Скажут, что я струсил. Я дал слово товарищам и последую за ними… хотя бы на эшафот».

Далее цензура вырезала несколько страниц. В подлиннике Гризье говорит Анненкову:

«— Но вы, вы, человек знатного рода…

— Чего вы хотите?.. Люди сошли с ума. Во Франции парикмахеры сражались, чтобы стать большими господами, а мы будем сражаться, чтобы стать парикмахерами».

Дурылин: «Эта реплика есть повторение известной пошлой остроты, сказанной придворным „остроумцем“ кн. А. С. Меншиковым после подавления восстания декабристов. Нужно ли говорить, что ее мог произнести мифический *„comte Waninkoff“* на грудь которого Дюма повесил Станислава, не полученного им самим, а никак не настоящий декабрист Анненков?!» (Вообще-то фраза об аристократах, желающих быть парикмахерами, принадлежит Ростопчину.)

Гризье:

«— Но какова же цель?

— Республика, ни больше ни меньше; и отрезать бороды наших крепостных, пока они не отрубили нам головы… И кого выбрали для этой цели! Князь! Князей у нас много; чего у нас нет — это людей…

— Но ведь вы подготовили проект Конституции?

— Конституция! — воскликнул граф Алексис с горькой

усмешкой. — О! Да, у нас есть „Русский Кодекс“ („Русская правда“. — *М. Ч.*), составленный Пестелем, этим уроженцем Курляндии… и затем у нас есть катехизис, написанный чудесным языком образов, полный таких заявлений, как „Доверяйтесь только своим друзьям и своей руке! Лишь ваши друзья помогут вам, и лишь ваш кинжал защитит вас… Вы — славянин, и на вашей родной земле, на берегах морей, ее омывающих, построите четыре порта… и в середине возведете на трон Богиню света“…» (Дюма имеет в виду Общество соединенных славян, основанное в 1823 году в Новоград-Волынске А. И. и П. И. Борисовыми и Ю. К. Люблинским, целью которого провозглашалось объединение всех славян в федеративную республику.)

«— Но, граф, что означает весь этот вздор?

— А! Вы не понимаете, не так ли?.. Это потому, что вы не посвящены; будь вы посвященным, вы бы поняли чуть больше, правда, ненамного, но это не важно; вы могли бы цитировать Гракхов, Брута, Катона, вы могли бы сказать, что тирания должна пасть, Цезарь должен быть убит…

— Я не скажу ничего подобного… наоборот, я должен был бы молча уйти и никогда больше не вступить ни в один из этих кружков, являющихся просто плохой пародией на наших фейянов и якобинцев… Но, Господи, — воскликнул я, — как вы, так хорошо видящий комическую сторону этого дела, как вы могли впутаться в него?!

— А что я мог сделать? Жизнь мне надоела, и я в любой момент был готов ее продать за копейку; я как дурак попался в ловушку, а когда сделал это, получил письмо от Луизы; я хотел выйти из Общества, мне сказали, что все закончилось и никакого Общества больше нет, и я о них не слышал… Год назад мне сказали, что родина на меня рассчитывает… ложная идея чести удержала меня, и, таким образом, я готов, как сказал Бестужев нынче вечером, нанести удар тиранам и развеять по ветру их прах. Это очень романтично, не так ли? Но самое меньшее, что может случиться, — это то, что тираны нас повесят, и поделом».

Современные французские исследователи и то удивляются: Дюма как республиканец должен восхищаться декабристами, а этого нет. На самом деле удивляться нечему: он понимал, что без революционной ситуации, то бишь одобрения Провидения, делать революцию могут только безумцы (вроде Бланки), и они вредят всем. Поэтому Анненкова он не «опошлил», а в соответствии со своими взглядами вознес — тот умнее своих друзей и не верит в успех восстания. Откуда Дюма взял, что Анненков именно так смотрел на вещи? Мы уже знаем, что он ничего не мог выдумать, — значит, кто-то ему так сказал, может, Гризье, Оже

или Муравьев. Соответствовало ли это действительности? Е. И. Якушкин, сын декабриста И. Д. Якушкина: «Упасть духом он [Анненков] мог бы скорее всякого другого…» Сама Полина Анненкова приводит в мемуарах слова мужа: «Еще 12-го числа в собрании у князя Оболенского я высказал, что не отвечаю за Кавалергардский полк, где служил тогда, потому что знал очень хорошо, что солдаты не были расположены к вспышке, которая готовилась, да и сам я видел в поднятии войск большую ошибку и не рассчитывал на удачу предприятия». Если покопаться в исторической, даже советской, литературе, мы обнаружим, что Дюма (или те, кто давал ему информацию) никого не «оклеветал» и не «опошлил», а сказал правду: декабристы не верили в успех. Г. Г. Фруменков, В. А. Волынская, «Декабристы на Севере» (1986): «…офицеры не дали согласия „умереть совместно“ и не обещали поднять свой полк. Чувство неуверенности в успехе восстания сковывало их действия. Они не хотели рисковать и расставаться с личным благополучием, семейными радостями. Академик Н. М. Дружинин говорит о наступившем в конце 1825 года невидимом „внутреннем кризисе“ республиканской ячейки».

События 14 декабря Дюма изложил ясно и толково, не упоминая, что делал Анненков. И вот он появляется: «Кавалергарды пришпорили коней и понеслись вдогонку, за исключением одного человека. Соскочив с коня, он подошел к графу Орлову и отдал ему свою шпагу.

— Что это значит, граф, — спросил удивленно генерал, — и почему вы отдаете мне шпагу, вместо того, чтобы обратить ее против изменников?

— Потому что я принимал участие в заговоре и рано или поздно буду разоблачен и арестован. Предпочитаю сам прийти с повинной.

Это был граф Алексис Ванников».

Вот тут Дюма и вправду сознательно «исказил». Он не сказал, что Анненков не только не участвовал в восстании, а был на противоположной стороне. Слова Анненкова по мемуарам Полины: «14-го числа я вышел на площадь с Кавалергардским полком, занимая свое место, как офицер 5-го эскадрона». Кавалергардский полк без колебания присягнул Николаю I; когда на Сенатской было все кончено, Анненков вернулся в казармы, и пять дней его не трогали. (Взяли его 19 декабря — кто-то донес; он был допрошен лично Николаем, признался, что состоял в тайном обществе, давал показания и на других. Верховный уголовный суд, обвинив его в участии в тайном обществе и «согласии в умысле на цареубийство», отнес его к государственным преступникам II разряда — лишение

дворянства, вечная каторга.) Так что Дюма не убавил, а прибавил герою благородства.

«Согласно порядку, заведенному в Санкт-Петербурге, следствие велось втихомолку, и в городе о нем ничего не было известно. И странное дело: после правительственного сообщения об аресте заговорщиков о них в обществе перестали говорить, словно их никогда не было, словно у них не осталось ни родных, ни друзей. Жизнь шла своим чередом, будто ничего особенного не произошло. И однако, уверен в этом, все с трепетом ждали, что не сегодня завтра грянет как гром среди ясного неба некая страшная весть…» День казни, Гризье наблюдает (подлинник Дюма):

«Оказалось, что веревки, на которых висели двое повешенных, оборвались, и они свалились в открывшиеся при этом люки, один сломал себе бедро, а другой — руку. Это и было причиной того шума, который донесся до нас.

Упавших подняли и положили на помост, так как они не могли держаться на ногах.

Тогда один из них сказал другому:

— Посмотри, до чего добр этот народ рабов: не могут повесить человека!..»

Советский перевод: «Один из них сказал другому:

— Несчастная Россия: повесить и то не умеют!»

Дурылин: «Известные предсмертные, слова, приписываемые то Рылееву, то Муравьеву: „Несчастная Россия! Даже повесить не умеют“ (по другому сообщению: „Боже мой! И повесить порядочно не умеют“), Дюма передал неверно». Однако свидетели описывали сцену на все лады и до сих пор нет единого мнения, кто и что сказал, или вообще все молчали, то ли двое повешенных сорвались, то ли трое. Например, декабрист Е. П. Оболенский вспоминал так: «„Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать“, — сказал Сергей Муравьев-Апостол». Так что претензии к Дюма опять неосновательны. Как ему передали, так он, видимо, и написал.

Анненкова Дюма сделал благороднее и храбрее — но и его противника приукрасил. В советском переводе выпущен фрагмент (после казни): «Когда императору сообщили об инциденте, он нетерпеливо топнул ногой. — Почему мне не сказали об этом? — вскричал он. — Теперь меня будут считать суровей самого Господа Бога». (По старым обычаям считалось, что если осужденный во время казни избегал смерти, значит, его смерть неугодна Богу, и, как вспоминали очевидцы, толпа шепталась, что, может, остановят казнь.) Дурылин выражает сомнение, что царь так сказал. Да уж вряд ли, конечно. Из писем Николая

императрице Марии Федоровне 10, 12, 13 июля 1826 года: «Все совершилось тихо и в порядке; гнусные и вели себя гнусно, без всякого достоинства… Войска были великолепны, и дух их прекрасный». Придумал ли это Дюма? Вряд ли: скорее всего, с чьих-то слов написал. Спустя 20 лет, уже побывав в России, собрав массу новых материалов, он изложил эту историю в очерке «Мученики» в точном соответствии с источниками: царь утвердил приговоры к *четвертованию*, сославшись на то, что не может вмешиваться в решения суда, но суд все же заменил на повешение. Хотя у нас в справочных статьях везде пишут, что четвертование было заменено повешением «по царскому указу». Не знаешь, как было, — спроси Дюма… «Все милосердие ограничилось заменой жестокой казни казнью позорной. Несчастные смертники надеялись, что их расстреляют либо обезглавят». Опять Дюма нафантазировал, с чего он взял, что те хотели быть расстрелянными? Но Герцен в «Полярной звезде» приводил массу свидетельств и, в частности, что Пестель при виде виселицы сказал: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять».

Самой значительной правке в советском издании подверглась часть романа, где Полина-Луиза встречалась с царем. В итоге получилась нелепица. Сперва Николай едет по улице, Луиза перед ним падает на колени и просит пощадить жениха, потом вдруг она без всякой аудиенции у царя собралась в Сибирь, только денег нет (30 тысяч рублей конфискованы); Гризье идет к Горголи, петербургскому полицмейстеру, и тот «сдержал слово: Луиза не только получила разрешение на поездку, но к нему были приложены 30 тысяч рублей». Вот бестолковый француз, разве петербургский полицмейстер решает такие вопросы? Все было не так, Гебль была принята Николаем, и он, а не И. С. Горголи (уже не занимавший должность петербургского обер-полицмейстера в 1827 году), распорядился вернуть ей деньги. Но именно так написано у Дюма — не он наврал, а цензоры. У него Горголи лишь помог выхлопотать аудиенцию у Николая; этого на самом деле не было. Ну, приврал разок. «Ужасное искажение»…

Что касается выброшенной главы о свидании Луизы с царем, то написана она ужасно, и цензоров, если бы из-за них не получилась вышеизложенная путаница, можно было бы поблагодарить. Дюма хотел дать французам урок русской географии, и у него это делает царь, объясняя Луизе, какой город после какого идет. Вдобавок он вписал слащавую сцену, где Луиза и «сержант Иван», которому велят ее сопровождать,

пытаются целовать государю руки, а тот руки не дает, благословляет Луизу и просит ее молиться за своего сына. Впрочем, сама Анненкова пишет, что Николай «был чрезвычайно любезен». Возможно, Дюма слышал, что царь был щедр, например, к вдове и дочери Рылеева, назначив им пенсию. Не свои деньги, казенные, а все-таки во Франции родственникам арестованных по «делу 6 июня» и последующим пенсий не платили, так что Николай вполне мог показаться Дюма добряком, особенно если его в этой мысли утверждал Дюран. Вообще почти у каждого поэта бывает период, когда, разочаровавшись в народе и оппозиционерах, он начинает увлекаться мыслью о добром царе, который бы к поэту прислушивался, как, разумеется, будет прислушиваться, взойдя на трон, Фердинанд Орлеанский… Представьте: вы с человеком столько раз сидели, выпивали, и вот он король — да неужто он не станет слушать ваших мудрых советов?

Глава седьмая
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ!

Литераторы XIX века, даже те, кого мы считаем несерьезными, были до странного серьезным народом; в путешествиях их интересовали не магазины и выпивка, а библиотеки да музеи. Во Флоренции с 1819 года существует культурный центр Джанпьетро Вьессо; Дюма туда ходил как на службу. Жили они с женой на вилле Пальмиери, где, по легенде, во время чумы пировали рассказчики «Декамерона» (дорого — через месяц сняли обычный коттедж). Комфорт и не слишком много знакомых — все, что нужно трудоголику. Он говорил, что ищет одиночества, но затворничество все же было не в его вкусе: любил, чтобы был дом, где можно бывать постоянно, был историком и немножко снобом и потому радовался, когда такой дом был аристократическим, и отыскал его на вилле ди Кварто, где жила семья Жерома Бонапарта, брата Наполеона.

Производительность его в тот период уже приближалась к той, которую он приобретет в период расцвета. Он закончил «Стюартов» для издательства «Дюмон», для него же за два года написал путевые заметки «Юг Франции» (1841), «Экскурсии к берегам Рейна» (1841), «Год во Флоренции» (1841) и «Сперонара» (1842), а для издательства Долена — «Капитан Арена» (1842), «Корриколо» (1842) и «Вилла Пальмиери» (1843); «Корриколо» также печатал «Век». (Не будем говорить об этих книгах, потому что нас интересует Дюма, а не Рим или Флоренция; они сделаны по тому же шаблону — очень симпатичному, — что и «Швейцария».) Он часто «подзаряжался» от какой-нибудь картины; бывал ежедневно в галерее Уффици и не зря: получил заказ. Дирекция галереи совместно с издательством Бетюн планировала книгу о своих шедеврах и о меценатах, семье Медичи, издание на разных языках, небывалый гонорар — 70 тысяч франков, помочь согласился коллекционер Гектор де Гарриод. Книга выходила в 1841–1842 годах — четыре тома гравюр с примечаниями и статьями, первые два тома написаны Дюма: «История живописи от египтян до наших дней». На родине Дюма эта работа малоизвестна, зато итальянцы ее ценят, искусствовед Летиция Левантис называет тексты шедеврами своего рода: «Концепция истории искусств Дюма та же, что его концепция истории в целом: он видит задачу в том, чтобы быть полезным читателям»; составляя учебник, он тем не менее проявил оригинальный вкус, оказав предпочтение живописи

примитивистов (которую тогда презирали) перед картинами на мифологические сюжеты, которыми было принято восхищаться. Его также интересовало искусство XV–XVI веков, когда происходило взаимное влияние «светлой» живописи Возрождения и «темной» фламандской, и он написал 34 статьи «Итальянцы и фламандцы» (выходили в разной периодике в начале 1840-х, сборниками — в 1845 и 1861 годах).

Тем летом он вновь работал с Огюстом Маке. Тот прочел в мемуарах Жана Бюва, в XVIII веке работавшего переписчиком в королевской библиотеке, как он нечаянно предотвратил переворот: 1718 год, герцог Орлеанский, племянник Людовика XIV — регент при малолетнем Людовике XV; ему противостоит партия побочных детей Людовика XIV, жена одного из которых, герцогиня дю Мен, с испанским послом Селламаре организовала заговор против Орлеанского, а Бюва случайно нашел относящийся к заговору документ и донес. Он — маленький, робкий человечек: вообразите Акакия Акакиевича, угодившего в центр политической интриги. Маке написал роман «Добряк Бюва», его оценили драматург Латур и секретарь комитета Французского театра Тома, но издатели им не заинтересовались. Из записок Маке: «Дюма меня умолил отдать ему это, чтобы сделать пьесу с ролью для Юга Буффе (комик, Дюма его высоко ценил. — *М. Ч.),* игравшего в „Жимназ“; затем он забрал текст во Флоренцию, где увеличил его более чем в 4 раза». Кроме текста Маке Дюма использовал «Заговор Селламаре» Жана Вату, мемуары мадам де Сталь, Сен-Симона, герцога Ришелье и написал роман «Шевалье д’Арманталь».

У нас будет возможность детально сравнить тексты Маке и Дюма, поэтому анализ, кто какой вклад вносил, оставим на потом. Зато по «Шевалье д’Арманталю», похожему на «Трех мушкетеров», видно, как вырабатывался метод. Без предисловий, с акмеистской точностью: «22 марта 1718 года, в четверг, на третьей неделе великого поста, около восьми часов утра, на том конце Нового моста, который выходит на Школьную набережную, можно было видеть осанистого молодого дворянина…» Но это не д’Арманталь, этот человек должен участвовать в групповой дуэли; как в «Мушкетерах»: с одной стороны дуэлянта недостает, и на помощь призывают того, кто под руку попался, а попался — нет, не д’Арманталь! — а пожилой капитан Рокфинет; д’Арманталь просто один из участников дуэли. Все чуть не поубивали друг друга и расстались друзьями: «Счастливого пути, дорогой Валеф, — сказал Фаржи, — я не думаю, чтобы такая царапина помешала вам уехать. По возвращении не забудьте, что у вас есть друг на площади Людовика Великого, номер четырнадцать». Эти

Валеф и Фаржи — главные герои? Нет, они скоро пропадают из текста. Дюма тогда еще проявлял расточительность; позднее он сообразит, что нужно отсекать шелуху и эффектную сцену групповой дуэли отдавать главным персонажам, а не кому попало.

Наконец главные герои познакомились: Рокфинет и д'Арманталь. Первый беден, продал лошадь (как д'Артаньян) и готов встрять в любую авантюру. Второй юн, тоже беден, воевал при Людовике XIV, остался не у дел; когда на балу незнакомка предлагает ему стать «одним из актеров спектакля, который разыгрывается на подмостках мира», он соглашается.

«— Что же я потеряю, если проиграю?

— Вероятно, жизнь.

Шевалье сделал презрительный жест».

Маска — заговорщица герцогиня дю Мен. И тут Дюма не утерпел, сделал отступление, ведь смысл истории, как он ее понимал, — намекнуть на настоящее: «Мы живем в эпоху, когда каждый может рассказать о себе, что он в большей или меньшей степени участвовал в заговорах… После того как в порыве воодушевления человек взял на себя обязательство, первое чувство, которое он испытывает, бросая взгляд на свое новое положение, — это чувство сожаления, что он зашел так далеко, потом мало-помалу он свыкается с мыслью о грозящих ему опасностях; услужливое воображение устраняет их из поля зрения и ставит на их место честолюбивые и достижимые цели. Вскоре к этому примешивается гордость: человек понимает, что стал вдруг тайной силой в государстве, где еще вчера был ничем; он с презрением проходит мимо тех, кто живет обыденной жизнью, выше держит голову, горделивее смотрит вокруг, убаюкивает себя мечтами, засыпает, витая в облаках, и в одно прекрасное утро просыпается победителем или побежденным, поднятый на щит народом или размолотый шестернями той машины, которая зовется правительством…» Благодаря таким отступлениям стягивается нить времени, читатель, которому показывают древнее, чужое, видит — сейчас, у нас, здесь; они тогда вот так, а нам-то теперь как же? — а иначе зачем вообще читать и писать биографии и исторические романы?

Арманталь ввел в заговор Рокфинета, но тот предал и был убит (в поединке, разумеется). Зачем вообще был нужен этот Рокфинет, непонятно — еще один пример расточительности. Арманталь влюбился в девушку Батильду («никакую», как Констанция Бонасье), воспитанницу Бюва. Он, а не Арманталь, настоящий герой романа — и тут «Арманталь» не уступает «Мушкетерам», а превосходит их, потому что такого героя, живого

и трогательного, у Дюма больше не будет. Бюва служил писцом, пока «финансовые дела короля оказались настолько запутанными, что он не нашел иного выхода из положения, как перестать платить своим служащим. Об этой административной мере Бюва узнал в тот день, когда, по обыкновению, пришел получать свое месячное жалованье. Кассир сказал, что денег в кассе нет. Бюва удивленно взглянул на кассира, так как ему никогда не приходила в голову мысль, что у короля может не быть денег. Но слова кассира его нимало не встревожили. Бюва был убежден, что лишь случайное происшествие могло прервать платежи, и он вернулся к своему рабочему столу, напевая любимую песенку: „Пусти меня гулять, резвиться и играть“…». Он продолжал работать, денег не платили, стал подрабатывать частной перепиской, и ему попался тот самый злополучный документ.

«„Нет дела более важного, чем завладеть пограничными постами близ Пиренеев и заручиться поддержкой дворян, проживающих в этих кантонах“.

„В этих кантонах“, — повторил про себя Бюва, уже написав эту фразу. Сняв волосок, прилипший к перу, он продолжал.

„Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне или завладеть ею“.

„Что это значит: ‘Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне’? Разве Байонна не французский город? Что-то ничего нельзя понять“. — И он стал писать дальше.

„Маркиз де П.*** — губернатор в Д.*** Намерения этого дворянина известны. Когда он начнет действовать, ему придется утроить свои расходы, чтобы привлечь к себе остальное дворянство. Он должен щедрой рукой раздавать награды… Действовать таким же образом во всех провинциях“.

— Батюшки! — воскликнул Бюва, перечитывая то, что написал. — Что все это значит?»

Постепенно смысл секретного послания до него дошел — и он очень испугался. «Он ворочался с боку на бок; но едва лишь он закрывал глаза, как ему начинало чудиться, что на стене огненными буквами написан злосчастный план заговора. Раз или два, побежденный усталостью, он засыпал, но его тут же начинали мучить кошмары. В первый раз ему приснилось, что он арестован за участие в заговоре, во второй — что заговорщики закалывают его кинжалами. После первого сна Бюва проснулся в ознобе, после второго — обливаясь потом. Испытанные им при этом чувства были столь мучительны, что он зажег свечу и решил больше не пытаться заснуть… Около десяти часов утра Бюва отправился в библиотеку. Если даже дома его мучили страхи, то

легко понять, что на улице его охватил ужас. На каждом перекрестке, в глубине каждого тупичка, за каждым углом ему чудились тайные агенты, выжидающие лишь подходящего момента, чтобы схватить его. Когда на углу улицы Побед появился мушкетер, выходивший с улицы Пажевен, Бюва, завидя его, сделал такой скачок в сторону, что едва не попал под колеса кареты, выезжавшей с улицы Мель. В начале улицы Нев-де-Пти-Шан Бюва услышал за собой быстрые шаги и, не оборачиваясь, пустился бегом до самой улицы Ришелье. Здесь он вынужден был остановиться, чувствуя, что ноги его, мало привычные к столь чрезмерному напряжению, отказываются ему служить. Наконец он добрался до библиотеки, поклонился чуть ли не до земли привратнику, стоявшему у входа, поспешно проскользнул в галерею правого крыла здания; поднялся по маленькой лестнице, ведущей в отдел рукописей, влетел в свою рабочую комнату и, совсем обессилев, упал в кожаное кресло».

Дальше идет необыкновенный фрагмент, на который обратили внимание лишь современные литературоведы, — сочетающий в себе флоберовский «контрапункт» и считающийся изобретением XX века «поток сознания». Бюва на работе вписывает книги в каталог — а мысли его спешат, путаются: «— „Требник влюбленных“, издано в Льеже, в 1712 году, у… имени издателя нет. Ах, Боже мой! Опять нагие фигуры! Ну какое удовольствие могут находить христиане в чтении подобных книг? Куда лучше было бы приказать сжечь их на Гревской площади рукою палача! Рукою палача! Брр! Какое ужасное слово я сказал?! Я! Но кем же тогда может быть этот принц де Листне, заставляющий меня переписывать подобные вещи? Ну, хватит, хватит, сейчас речь не об этом, это не мое дело… Как приятно писать на пергаменте! Перо скользит как по шелку, хвостики у букв тонкие, толстые черточки жирные… „Анжелика, или Тайные удовольствия“, с гравюрами, да еще с какими… А ведь через несколько дней мы увидим на границе эти переписанные мною и призывающие к возмущению письма… Ну вот, я пишу „Байонна“ вместо „Лондон“, „Франция“ вместо „Англия“. Ах, проклятый принц! Пусть тебя арестуют, повесят, четвертуют! Но если его схватят и он меня выдаст?! … „Биби, или Неизданные мемуары спаниеля мадемуазель Шанмеле“. Вот это, наверное, очень интересная книга… „Заговор господина де Сен-Мара…“ Черт возьми! Я слышал об этой истории. Это был блестящий придворный, находящийся в переписке с Испанией… Проклятая Испания, вечно ей надо вмешиваться в наши дела! „Заговор господина де Сен-Мара с приложением достоверного описания казни господина де Ту, осужденного за сокрытие преступления“.

„За сокрытие“!.. А-а-ах!.. Закон ясно говорит: тот, кто покрывает преступника, является сообщником. Таким образом, я, например, сообщник принца де Листне, и если его обезглавят, то и меня вместе с ним. Нет, точнее, меня повесят, поскольку я не дворянин… Повесят! Нет, это невозможно… К тому же я решился — я во всем признаюсь… Но если я признаюсь, я доносчик… Доносчик! Какая гадость! Но быть повешенным… О-о-ох!..»

Истерзанный страхом, не помышляющий о награде, Бюва доложил начальству — аббату Дюбуа, лицемерному мерзавцу, неофициальному министру иностранных дел; тот его арестовал, грозит засадить в Бастилию, докладывает о заговоре герцогу. Бюва сообщают, что герцог хочет его наградить — погасить долг по зарплате. «Но, значит, регент — прекрасный человек. Подумать только, что нашлись гнусные негодяи, которые вступили в заговор против него, против человека, который дал мне слово, что распорядится выплатить мне задолженность! Да, эти люди, сударь, заслуживают, чтобы их повесили, колесовали, четвертовали, сожгли заживо!» Бюва приходит домой и узнает, что погубил возлюбленного Батильды; в отчаянии тащится на работу, надеясь, что хоть зарплату дадут, но Дюбуа вышвыривает его, приказав избить до смерти, если еще покажется. Взяли Арманталя, Батильда добивается встречи с герцогом, тот, разжалобившись, как Николай I перед Луизой, дает указание обвенчать влюбленных и помиловать Арманталя, а Бюва возвращают в библиотеку и выплачивают ему долг. Почему Дюма написал финал так, а не по своему обычаю — венчая окровавленной головой? С нестандартным героем, с новаторскими приемами, с трагическим финалом — ах, какая бы вещь получилась… Может, потому, что мысль о добром короле его в ту пору захватила, может, научил успех «Поля Джонса». Не любит публика плохих концов.

Роман двигался тяжело, Дюма быстро писать прозу еще не умел, и болваны-издатели от него отказались. Пьесу сделать? Дюма звал Маке: «Если б у вас была 1000 франков, мы бы прожили тут 5 месяцев и написали пьесу…» Но у Маке, видимо, не было лишней тысячи франков. 6 августа, когда у Дюма была в разгаре работа над заговором, случился реальный заговор: неугомонный Луи Наполеон с несколькими офицерами высадился в Булони (как обычно, загримированный под своего великого дядю); его сообщники разбросали листовки с обещаниями, что новый Наполеон будет «опираться единственно на волю и интересы народа». Офицеры его арестовали, судила палата пэров и приговорила к заключению в крепость Ам, где у него были лакеи, гости и обильный стол, тогда как арестованные по «делу 6

июня» и последующим умирали на нарах от туберкулеза — но нельзя же наказывать элиту, как обычных людей. Герцогиня Беррийская тоже сидела с камеристками и парикмахерами… А у Дюма возник грандиозный замысел: он обещал Бюло за полтора года написать пьесы «Гамлет», «Макбет» и «Юлий Цезарь»… Мы не ослышались, нет?

Шекспира французы воспринимали плохо, воспитывать их — дело безнадежное, проще Шекспира «офранцузить». Кощунства Дюма в этом не видел, напротив — доброе дело. Но текст Дюси его не удовлетворял: он сделает ближе к оригиналу. Английский он знал плохо, попросил сделать подстрочник писателя Поля Мериса. Он восстановил многое, что выкинул Дюси: Розенкранца и Гильденстерна, дуэли, могильщиков (но, как и Дюси, опустил Фортинбраса и путешествия героев); призрак короля превратил в галлюцинацию (на сцене его олицетворяет урна с прахом), выбросил песни Офелии, переделал характер Гамлета: убив Полония, тот терзается муками совести и вообще куда добрее и «прямее», чем оригинал. Урне-галлюцинации он дал даже больше воли, чем Шекспир: в финале та загробным голосом выносит моральные приговоры Гертруде, Клавдию и Гамлету, который остается жить, ибо человек он неплохой и Провидение не может быть к нему чересчур жестоко… Впрочем, то, что Дюма оставил, он перевел почти дословно. Его «Гамлет» был поставлен в 1847 году и имел громадный успех; в 1868-м композитор Амбруаз Тома написал по нему оперу; Французский театр поставил его в 1886-м, и он шел во Франции до середины XX века. («Макбета» Дюма написал, но не поставил, «Цезаря» лишь начал.)

В октябре 1840 года вновь пало министерство Тьера из-за его внешнеполитических амбиций: хотел поддержать Египет против Турции и «четверного союза» (Англия, Россия, Пруссия, Австрия), но Луи Филипп воевать не желал. Тьера сменил Гизо — круговорот, дурная бесконечность, нет, в этой стране никогда ничего не переменится… Публику больше занимал процесс в уголовном суде города Тюля: Мария Каппель (по мужу — Лафарг), землячка и знакомая Дюма, малышка, для которой он когда-то поймал белку, обвинялась в отравлении супруга. Доказать было трудно, шла война химиков-экспертов, приобретшая политическую окраску: революционер Распай защищал подсудимую, консерватор Орфий настаивал на виновности, в перепалку втянулась вся парижская интеллигенция. Марию приговорили к каторге. Мы к этому еще вернемся, но сразу скажем, что Дюма, в отличие от своих единомышленников, считал ее виновной, но относился к ней сочувственно и, как сам утверждал (подтверждающего документа нет), просил короля о

помиловании. (За Лафарг просили многие, король заменил каторгу пожизненной тюрьмой.)

Дюма забыл, что приехал во Флоренцию писать пьесу, под которую выбил аванс; ему напомнили. Пришлось оставить «Арманталя» и гнать пьесу; он вновь предложил соавторство Маке (ответ не сохранился), написал мелодраму «Брак при Людовике XV», роль героини — для актрисы Леокадии Доз, с которой у него была интрижка, роль ее тридцатилетней наперсницы — для мадемуазель Марс, под Новый год отослал в Париж, но театр отказался. Им же хуже. Он вернулся к «Арманталю», путевым заметкам и книге о живописи (все одновременно). Так прошла зима, примечательная тем, что, с одной стороны, стало ясно, что его и жену ничто не связывает и у нее есть другие мужчины, а с другой — тем, что в разлуке улучшились отношения с сыном. Отец горевал, что парень слишком много времени уделяет спорту и развлечениям, советовал учить языки, читать Библию («ради высокой поэзии, которая в ней содержится»), Гомера и Софокла в подлиннике, Шекспира, Гюго; из своего скромно рекомендовал только «рассказ Стеллы из „Калигулы“ и 1-ю сцену из „Карла VII“».

7 января 1841 года Гюго с четвертой попытки был избран в академию. Время было удачное для молодежи, академики мерли как мухи, в ноябре умер политик де Бональд, в феврале новые выборы. Дюма — Нодье: «Как Вы думаете, есть у меня сейчас шансы попасть в Академию? Гюго вот прошел. Все его друзья были в большей или меньшей степени моими друзьями… Если, по-вашему, надежды мои не беспочвенны, взойдите на академическую трибуну и расскажите, от моего имени, Вашим почтенным собратьям, как сильно мне хочется оказаться среди них… скажите обо мне все то хорошее, что Вы обо мне думаете, и даже то, что не думаете». Тейлору: «Подумайте, что можно сделать для меня касательно Академии; подзудите Нодье, Баранта и Моле… Одно Ваше слово, и я приеду…» Гюго: «Что Вы думаете о возможности представить мою кандидатуру? Разве не прекрасно было бы войти туда вместе? Повидайтесь с Понжервилем и Нодье, поговорите с ними об этом…» Но никто его не выдвинул. В биографиях Гюго говорится, что он пытался помочь друзьям, в частности Дюма, попасть в академию; письмо Сент-Бёва к знакомой в январе 1841-го подтверждает, что он бы этого хотел — «Гюго называет четверых кандидатов, которым отдает предпочтение: Дюма, Бальзак, Виньи и я», — но выбрал Виньи. А избрали посредственного драматурга Жака Франсуа Ансело.

18 марта Дюма с женой приехали в Париж улаживать дела,

экономили, отказались от квартир, жили в отеле. Удалось пристроить «Арманталя» в «Век». Вышли «Рейн» и «Юг Франции», но гонорар небольшой. Заработок дал Фердинанд — написать «Историю французской армии» с Адрианом Паскалем, военным историком (кропотливая работа длилась более трех лет, не была окончена, издательство «Дюмон» выпустило три тома с 1841 по 1845 год). Французский театр взял «Брак при Людовике XV», автор за несколько дней до премьеры (1 июня) уехал во Флоренцию, боясь провала. Он страшно нервничал из-за академии. Карты благоприятны как никогда: Нодье занял должность директора академии (председательствующего на собраниях), Гюго — вице-директора, правда, больше власти у постоянного секретаря, но все же… Теперь нужна серьезная удача, чтобы напомнить о себе. Но она не шла. «Брак» был принят вяло. Первая часть «Арманталя» начала печататься с 1 июля, никто роман особо не оценил. Подписан он был одним Дюма (и посвящен «моему другу Огюсту Маке») — с этой точки начинается история взаимных обид. Обычно пишут, что Дюма хотел поставить два имени, но Жирарден сказал, что «роман, подписанный Дюма, будет стоить три франка за строку, а подписанный Дюма — Маке — вдвое меньше». Правда, печатался роман не в «Прессе», так что Жирарден был ни при чем, но, возможно, редакторы «Века» рассуждали так же. Маке настаивать не смел, может, и не хотел: бывают писатели, которые боятся шума и любят прятаться за широкую спину соавтора, и хорошему писателю важнее, когда его читают, чем когда говорят о нем. Маке получил треть гонорара, 12 тысяч франков, сумму, которую без Дюма он бы не заработал. В узких кругах все знали, что он был соавтором. Широкая публика? Ну, потом, постепенно, когда союз окрепнет…

Во Флоренции Дюма продолжал начатое: «Французская армия», «Арманталь» (вторая часть публиковалась с 29 сентября, третья — с 1 декабря); ради денег с Буржуа написал пьесу «Жаник-бретонец», умолял никому не говорить, что приложил к ней руку (Фредерику Лемэтру: «Сейчас неудачная или малоудачная работа отбрасывает меня от Академии на 100 лье…»). 4 июня умер академик Жан Жерар Лаке, опять униженные письма Нодье, Скрибу, Делавиню, Гюго… Прочел «Флорентийские хроники» Бенедетто Варки, написал по ним пьесу «Лоренцино»: в 1537 году герцога Алессандро де Медичи убил его юный родственник из личной мести, Дюма добавил тираноборческий мотив. 21 сентября приехал во Францию, устраивал «Лоренцино» во Французский театр. 23 декабря будут выборы в академию, обходил всех, заискивал — без толку. Не

было уже сил сидеть и ждать.

Когда он писал «Капитана Поля», его заинтересовала фигура Али-паши Янинского, албанского правителя, который в конце XVIII века пытался выйти из-под власти Османской империи, обещал построить демократическое государство, а стал тираном; в 1820 году султан Махмуд II его разбил и ему отрубили голову, а всякий человек с отрубленной головой мог рассчитывать на внимание Дюма, даже если не был столь занятной личностью. Дюма пошел обивать пороги министерств, выбил на поездку в Албанию грант — тысячу франков. Мало. Не поехал. К тому же «Лоренцино» взяли — надо присутствовать на репетициях. В перерывах он написал повесть «Праксида» — о сложной судьбе Евпраксии, дочери киевского князя Всеволода Ярославича и жены германского императора Генриха IV. 23 декабря состоялись выборы — даже не пощечина, а удар наотмашь: бессмертие получил Алексис де Токвиль, философ-консерватор, богатый аристократ, но не старик, а мужчина на несколько лет моложе Дюма… Правда, за несколько дней до этого умер старый академик Дени Антуан Люк, а за ним актер Александр Дюваль. Ах, да перемрут же они все когда-нибудь, наконец! Он так боялся неуспеха «Лоренцино», что 15 января вновь, не дожидаясь премьеры, бежал во Флоренцию — и узнал, что его жена открыто живет с сицилийским князем Виллафранка. В феврале он вел переписку с Французским театром, пытаясь заинтересовать своим Шекспиром, жаловался сыну, что никому ничего не надо. Что писать? О чем писать? «Век» и «Пресса» готовы брать романы, но где найти сюжет?

Сюжет нашел Маке, открывший забытого писателя Гасьена Сандра де Куртиля (1644–1712): был мушкетером, стал журналистом, сидел в тюрьме за «желтые» памфлеты, оскорблявшие видных лиц, специализировался на поддельных мемуарах. Маке заинтересовали эпизоды из «Мемуаров L. C. D. R.» (расшифровывают как «Мемуары графа де Рошфора») и «Мемуаров маркизы де Френ», относящихся к концу царствования Людовика XIV. Одного мужчину обманом женили на развратнице, другой продал жену в рабство: можно соединить. Он прислал план Дюма, обсудили, дальше было как с «Арманталем»: Маке написал текст, отдал его Дюма, тот увеличил в 4,5 раза, получился великолепный роман «Сильвандир», незаслуженно забытый: так глубоко в мужской психологии ни Дюма, ни Маке никогда больше не копались. Не исключено, что материалом отчасти послужил брак Дюма: если так, это единственный источник, из которого можно понять, что за отношения были у него с Идой.

Юноше Роже д'Ангилему семья не дает жениться на любимой Констанции, так как надо жениться на богатой; в Париже ему предлагают в жены дочь богатого судьи, которую тот почему-то жаждет сбыть с рук. Он соглашается. «На душе у д'Ангилема скребли кошки; он заранее ненавидел женщину, которую ему предстояло вскоре увидеть, и все же в угоду мужскому самолюбию хотел, чтобы после первой встречи у нее не осталось дурного впечатления от его наряда и наружности… Кроме того, к благоденствию быстро привыкают: Роже вышел из судебной палаты столь горделивой походкой и до того напыжившись, как будто он был миллионером с самого своего рождения». Невеста, Сильвандир, оказывается восемнадцатилетней красавицей, умницей. В чем подвох? Роже убежден, что подвох есть. Тем не менее он «немного поплакал, повздыхал, но в конце концов покорился своей участи, и даже довольно спокойно…». Поженились: «Я думаю, не существует такого брачного союза — если даже речь идет о союзе тигра и пантеры, — в котором, по крайней мере первые две недели после свадьбы, супруги не наслаждались бы безмятежным покоем». Но Роже, как герой Пруста, изводит себя ревностью и вместо того, чтобы радоваться, все время тратит на слежку и допросы: алкоголичка? картежница? воровка? Нет. «Тем хуже, тем хуже! — подумал шевалье. — Должно быть, у нее есть более серьезные недостатки».

Чем сильнее физическая страсть Роже к жене, тем больше он ее изводит. Поскандалив с ней, уехал, а по возвращении его арестовали — за что? В тюрьме он от опытного узника (набросок аббата Фариа) узнаёт, что люди по политическим доносам сидят десятилетиями. «Кровь приливала к его голове и так неистово стучала в висках, как будто у него начиналась горячка. Он закрывал глаза, забывался, впадал в дремоту: это было нечто среднее между бодрствованием и сном. И тогда самые странные видения проносились у него перед глазами. Большую часть ночи он ворочался с боку на бок и только часам к двум засыпал тяжелым сном; а через некоторое время его начинали терзать обрывочные сновидения. То ему чудилось, будто у него, как у птицы, выросли крылья и он вылетает через окно, то он неожиданно превращался в мышь и проскальзывал в щель под дверью; но потом, когда он убегал по водосточным трубам либо парил в небесном просторе, лапы или крылья внезапно отказывались ему служить…»

От знакомого Роже узнаёт, что его засадила жена. До сих пор ему, при всей ненависти к ней, такое и в голову не приходило. Он и теперь ждет, что она придет и утешит («стокгольмский синдром»!), но ее нет; спустя месяцы он решает отомстить и

обретает спокойствие: вынашивать месть — значит быть при деле. Просидел два года, вдруг пришел любовник жены и сказал, что его освобождают благодаря ее хлопотам (на самом деле хлопотали друзья). Вернулся домой, началась жизнь в притворстве, но физическая страсть воскресла и сопротивляется ненависти. «Роже, ощущая, что достаточно ему протянуть руку, достаточно ему бросить взгляд, и его тут же окутывают волны нежной привязанности, порою забывал о своих ужасных подозрениях». Он уже не верит, что жена на него донесла, и с тем же тупым упорством, с каким прежде искал доказательства ее пороков, ищет свидетельства невинности. «Случалось, что среди ночи он вдруг просыпался от страшного кошмара — ему мерещилось, будто он все еще узник и томится в зловонной камере на жестком ложе… затем он вдруг обнаруживал, что он у себя в спальне, где мягко светит лампа под алебастровым абажуром, что он покоится в мягкой постели под шелковым балдахином, а рядом спит сном праведницы Сильвандир, эта пылкая сирена, любострастная чаровница, красавица с черной душою… И тогда Роже охватывало яростное желание сжать эту женщину в любовном объятии, прижаться губами к ее губам, задушить и упиться ее последним вздохом; при этом он говорил себе, что если в жизни она принадлежала не только ему, то уж в смерти по крайней мере будет принадлежать ему одному. Однако шевалье выполнял только первую часть своего порыва…»

Наконец он точно узнал, что жена виновна, сговорился с тунисским работорговцем, что тот ее купит, нанял головорезов разыграть похищение, наврал в полиции, что жена утонула, стал «вдовцом», не погнушался получить наследство, обручился с Констанцией. Но ему тошно, страшно, он откладывает свадьбу, тут приезжает персидский посол с женщиной — Сильвандир. Взаимный шантаж: «посол» оказался мошенником, Роже будет молчать, Сильвандир тоже, все довольны.

17 февраля 1842 года в академию избрали престарелого политика Паскье (обыграл де Виньи) и философа Баланша. Ну, эти долго не проживут. 24 февраля — оглушительный провал «Лоренцино», трудно сказать почему, пьеса хорошая, скорее всего, она не соответствовала духу Французского театра, а Дюма упорно стремился именно туда. Зато путевые заметки «Сперонара» имели успех, писал продолжение — «Капитан Арену». Заработал, анонимно поучаствовав в написании комедии Шарля Лафона «Соблазнитель и муж», написал по заказу издательства «Маэн и Кормон» биографию Жанны д’Арк «Жанна Дева». По Италии гастролировала французская труппа актера Долиньи с «Антони» и «Дарлингтоном», цензура запрещала: автор, говорят, аморальный.

Дюма отвел Долиньи к издателю Баттелли, который занимался «Галереей Уффици», сговорились изменить названия и назвать автором Эжена Скриба, деньги пополам. Скриб — оплот морали — не возражал. Новости из Франции: умер академик Жан Роже, де Виньи и Сент-Бёв выдвигались, 4 мая проиграли филологу-латинисту Анри Патену. В июне во Флоренцию приехал на каникулы двадцатилетний студент военной академии Жозеф Бонапарт (сын Жерома) и, как когда-то Фердинанд Орлеанский, раскрыв рот бегал за Дюма. Тот очень нуждался в «младших братишках», привязывался быстро и горячо, день-деньской говорили о Наполеоне, 26 июня поехали на Эльбу, потом на соседний остров Монте-Кристо; Дюма обещал когда-нибудь написать книгу с таким названием. Вернулись 13 июля, 18-го он пришел обедать к Бонапартам, и там ему сказали, что случилось несчастье. «Две мысли одновременно промелькнули в моем мозгу: мои дети и — наследный принц. Но это не могло касаться детей: если бы с ними что-то случилось, известили бы меня и больше никого».

13 июля Фердинанд Орлеанский погиб в дорожной аварии. «Я больше ничего не видел, не слышал, только биение собственного сердца, повторявшего: „Умер! Умер! Мертв!“», — писал Дюма в «Вилле Пальмиери» (и много лет спустя почти теми же словами в «Новых мемуарах»). «Когда? — спросил я. — 13 июля, в четыре. — Я сел. 13 июля! Что я делал в тот день? Посетило ли меня предчувствие? Нет, ничего; я провел тот день как другие дни, даже веселее; Господи! в тот час, когда он умирал, я, наверное, смеялся…» «Его смерть и смерть мамы были для меня самым страшным несчастьем, которое потрясло меня до полного отчаяния… В его голосе, его улыбке, его глазах было магнетическое очарование, какого я не встречал ни у кого, ни у одной, даже самой соблазнительной, женщины, ничто и близко не могло сравниться с этой улыбкой, этим голосом. Часть моего сердца лежала в гробу…» Счастливый XIX век, когда мужчинам не нужно было притворяться бесчувственными мужланами, чтоб их не обвинили в неподобающей нежности к другу.

Но катастрофа была не только личная: «За четырнадцать лет, в течение которых я имел честь знать его, я не раз просил у него милостыни для бедных, свободы для узников, жизни для осужденных на смерть, и он не отказал…» Фердинанда парижане любили — как когда-то его отца. «Бедный принц! Какую иллюзию он создал! Он примирил нас с королевской властью». Некому больше стать добрым королем. Только что, 9 июля, консерваторы победили на выборах. Все кончено, никто никогда не спасет Францию… Много лет Дюма не мог понять, как Провидение

допустило гибель Фердинанда, но наконец нашел ответ («Джентльмены Сьерры», 1849): «Провидение повелело, чтобы монархии клонились к распаду; в бронзовой книге судеб оно заранее начертало дату установления будущей республики… И вот Провидение встречает препятствие для своих целей: популярность принца-солдата, принца-поэта, принца-артиста; Провидение устранило препятствие, и, таким образом, в определенный день между рухнувшим троном и рождающейся республикой не обнаружилось ничего, кроме пустоты».

Долго, мучительно надеялись — вдруг ошибка? Наконец французский посол подтвердил. Отпевание 3 августа в Нотр-Дам, 4-го похороны в семейной усыпальнице в Дре. Александр с трудом достал билет на пароход. Успел. Город в трауре. «Я никогда не видел улицы Парижа такими печальными. Для меня каждый знак боли был нов и громко кричал мне о моей боли. Эти увядшие флаги, Нотр-Дам, похожий на большой гроб, схоронивший в себе нашу общую надежду… парижане уже неделю видели весь этот спектакль, но я-то видел его впервые…» Гроб закрытый, ему даже подойти не позволили, новый приступ боли, зависть к тем, кто был рядом — «они могли взять прядь его волос, лоскут рубашки!..» — уж лучше видеть процесс умирания, чем так: оставить друга живым и здоровым — и вдруг… (Потом знакомый врач отдал ему платок, который подкладывали умирающему под голову; говорил, что стало легче, хранил всю жизнь.) В Дре поехал с товарищами Фердинанда по лицею. Пришел в семейную часовню — как его там приняли, неясно. В «Новых мемуарах» писал, что король к нему подошел и утешал. А в «Истории моих животных» — что его чуть не прогнали. Обратно пароходом через Геную, попутчик — драматург Адольф Эннери, за два дня сочинили комедию «Галифакс» из английской истории. А как же горе? Но для писателя единственный способ утешиться — писать… Во Флоренции он за несколько недель написал заключительные главы «Виллы Пальмиери» — излил всю свою тоску. «Почему я пишу это, о чем я говорю это? я не знаю. Поэт — колокол; когда ему наносят удар, он издает звук; каждый раз, когда боль его ударяет, он изливает жалобу…»

Нужны пьесы, писать в одиночку, видимо, не было сил и желания. (Возможно, к этому периоду относится незавершенная пьеса «Конец Мюрата».) С Нервалем нехорошо расстались, к тому же у него несчастье: умерла Женни Колон, и «бедный Жерар обезумел…». Обратился к старым друзьям, Адольфу Левену[15] и Брунсвику, написали комедии «Свадьба с барабанщиком» и «Барышни из Сен-Сира», все на исторические сюжеты, надо пристраивать. В сентябре, окончательно расставшись с женой, он

вернулся в Париж и поселился в отеле на улице Ришелье. «Галифакс» и «Свадьбу» взял театр «Варьете», «Соблазнителя и мужа» — театр «Забавные развлечения», имя Дюма на афишах не значилось. 1 октября ездил в Вилле-Котре на открытие охотничьего сезона. За «Французскую армию», заказанную Фердинандом, продолжали платить, но он не мог ею заниматься — больно и бессмысленно. Но, несмотря на горе, производительность была как у машины: «Корриколо», «Сильвандир», новелла о Вилле-Котре «Бернар» (опубликована в «Прессе» в 1842-м), исторические очерки — «Приключения Лидерика», «Хроника короля Пипина», «Хроника Карла Великого»; опубликованы в 1842 году издательством «Дюмон», в 1867-м вошли в сборник «Железные люди». Просто перелагать источники ему надоело, и он, как замечает Э. М. Драйтова, местами переходил на пародию, в частности на Огюстена Тьери, делавшего упор на «местный колорит», а в «Карле Великом» откровенно веселился, сделав персонажем самого Сатану: «Он хотел бы разнести по камням весь этот ненавистный собор! Он долго кружил над землей, раздумывая, как это сделать, как вдруг приметил на берегах Голландии одну из огромных дюн, нанесенных океанским приливом песчинка за песчинкой с первого дня сотворения мира… кинувшись на самую высокую дюну со стремительностью морской птицы, он закинул ее себе на плечо; теперь дюна мешала ему лететь, и тогда он пошел пешком по дороге в Ахен. Однако это путешествие оказалось долгим и утомительным. Дюна, уложенная на плечо, съехала и стала напоминать огромную переметную суму, одна половина которой висела спереди, другая за спиной. Та половина, что болталась впереди, загораживала дорогу, и Сатана каждую минуту был вынужден справляться, правильно ли он идет…» История вообще ему наскучила? Нет: он искал способ писать о ней и нашел новый идеал; в том же году он сказал одному историку: «Ваше имя могло бы стоять на всех моих книгах…»

Жюль Мишле (1798–1874) происходил из бедной семьи, окончил университет, преподавал историю и философию в коллеже Сен-Барбе, издал труд «Введение во всеобщую историю», после революции 1830 года заведовал историческим отделом в национальном архиве и с 1831-го по 1843-й опубликовал шесть томов «Истории Франции» (завершит работу в 1867-м). Его коллега Тэн назвал его «не историком, но одним из величайших поэтов Франции», многие считали его легковесным и необъективным: Мишле не стеснялся жалеть, чувствовать, плакать, сопереживал жертве, ненавидел гонителя. В недобросовестности, однако, обвинить его нельзя: архивист, он

считал невозможным писать только по опубликованным источникам, раскапывал малоизвестные мемуары, судебные протоколы, переписку частных лиц; о Тьере и Гизо говорил, что они «рассказывали факты, но не искали законов, которые ими управляют», от Тьери его отличала склонность к «осовремениванию» истории, сутью исторического процесса он считал стремление к свободе, его движущей силой — «народ», в который включал и «креативный класс», и крестьян с рабочими (советские историки его ругали за «бесклассовый подход»). Дюма за год до смерти писал: «Существует два способа писать историю. Первый — *ad narratum,* чтобы рассказать, — как это делает г-н Тьер. Другой — *ad probandum,* чтобы доказать, — как это делает Мишле». Тьер берет официальные источники, «иными словами, описания событий, сделанные их участниками и, следовательно, ими искаженные, чтобы самим предстать в наиболее выгодном свете. Так, например, история, написанная *ad narratum,* скажет: объединение Италии стало возможно благодаря содействию, оказанному Наполеоном III». У Мишле же «факты выстраиваются в хронологическом порядке, а затем он ищет в мемуарах современников побудительные причины и следствия этих событий». Ищет и находит, что объединение Италии, напротив, «произошло вопреки воле Наполеона III, который принял как случившийся факт захват Сицилии, но пытался помешать Гарибальди пересечь Мессинский пролив». Так попытается писать и Дюма: его исторические труды после 1842 года основаны не только на книгах, но и на самостоятельных разысканиях в архивах Парижа и всех городов и стран, где происходили описываемые события.

Популярная газета «Большой город» не печатала ничего серьезно-исторического, но охотно брала статьи «с историей» на занимательные темы. Дюма дал туда очерк об истории и современной практике проституции — «Девки, лоретки и куртизанки», написанный на основе работы врача Парена-Дюшатле: из Дюшатле взял цифры, из истории — истории. Описал женщин с жалостью (работа монотонна и скучна), куртизанок древности с восхищением, мужчин с насмешкой. Там же опубликовал очерк «Змеи»: змеиная мифология, естествознание, смешные и страшные рассказы людей, сталкивавшихся со змеиным характером. «Соблазнителя и мужа» поставили 5 ноября без успеха, «Галифакс» 2 декабря — так, средненько. Почему Дюма перестал быть успешным драматургом?

Причины разные. Над этими двумя и им подобными пьесами он работал наспех, «левой ногой». Иногда, как в случае с «Лоренцино», его пьесы были слишком напичканы политикой и

мрачны, таких публика тогда не любила, а приделывать к серьезным вещам «хеппи-энды» он отказывался. Иногда все портила игра старых толстых «основоположниц». Некоторые пьесы, как те, что он писал с Нервалем, были сложны и опередили свое время. Но главная причина все же в том, что романтический метод вышел из моды. Эра романтизма оказалась коротка: 15 лет назад они с Гюго совершили в драматургии революцию, а теперь их, еще молодых, считали наивными, выспренними. Кто пришел на смену — натурализм? Нет пока: реалистические пьесы Бальзака тоже не шли. То были безнадежные, бесконечные, тупые годы, когда все только жрут и жрут, хапают и хапают, и никто ни на что не надеется, и никто ничего не хочет, и драматургия была востребована соответствующая: Скриб и тому подобное, умеренно-сентиментальное, с моралью типа той, что нехорошо изменять мужу. Тоска… И Фердинанд умер! А король помирать не собирается! Господи! Не доживем…

В прозе, слава богу, было посвободнее: печатали разное. В конце 1842 года Дюма осуществил замысел, который вынашивал давно: роман о негре. Писатель Фелисьен Мальфий раньше жил на Маврикии. Это островное государство переходило от Франции к Англии и обратно, с 1814-го стало британской колонией, жило там 70 тысяч человек, из них более 50 тысяч — чернокожие рабы. (В 1835 году рабство отменили.) О соперничестве англичан с французами на Маврикии в начале XIX века Мальфий написал 100 страниц и увяз. Дюма заплатил тысячу франков за рукопись и сделал из нее роман «Жорж». Оставил только начало — описание острова, а основное действие перенес в 1820-е годы, чтобы описать восстание рабов. Почему он не взял родной Сан-Доминго, где было крупное и успешное восстание (часть острова Гаити завоевала независимость, став первой в мире республикой во главе с чернокожими)? Более того, он использовал в качестве источника книги о гаитянском восстании («Бюг-Жаргаль» Гюго, «Туссен Лувертюр» Ламартина) — так почему же? Может, просто потому, что на Гаити он не был, а писать о местах, где не бывал, мог только при наличии хорошего этнографического материала, которого не нашел. А может, хотел описать именно неудавшееся восстание… Итак, англичане пытаются отвоевать остров у французов, те сопротивляются. «Командир батальона, который только что перед тем с большим трудом выровнял строй добровольцев, заметил возникший беспорядок и, обращаясь к виновникам сутолоки, приказал:

— В ряды становись!

Но на этот приказ, произнесенный не допускавшим возражений тоном, ответил общий крик добровольцев:

— Не желаем терпеть мулатов! Нам не нужны мулаты!

Весь батальон, словно эхо, повторил эти слова. Офицер понял причину сумятицы, увидев в центре широкого круга вооруженного мулата и его старшего сына, пылавшего гневом против тех, кто вытолкнул его из боевой шеренги. Командир батальона, быстро пройдя сквозь ряды добровольцев, направился к мулату. Приблизившись к нему, он смерил его с ног до головы возмущенным взглядом и заявил:

— Мюнье, разве вы не слышали, что ваше место не здесь, тут вас не хотят терпеть!

Стоило Пьеру Мюнье поднять свою мощную руку на толстяка, так грубо разговаривавшего с ним, и он сокрушил бы того одним ударом. Вместо этого Мюнье ничего не ответил; растерянно подняв голову и встретив взгляд своего собеседника, он смущенно отвел от него глаза…»

Мюнье не бедняк и не раб, он сам плантатор, у него 200 рабов, он образован, но он все равно не человек. Его прогоняют, продолжают оскорблять, и он ничем не может ответить: «Чувствуя, что у него нет ни сил, ни воли сражаться с бесчеловечным предрассудком, он решил обезоружить противников тем, что старался возвеличить свой род неизменным смирением и безграничной покорностью». Англичане победили, Мюнье отправил сыновей учиться во Францию, старший, Жак, сбежал, стал пиратом и работорговцем, а младший, Жорж, получил образование. Спустя 14 лет Жорж вернулся: лощеный джентльмен, кожа белая, никто в нем мулата не признает, но как узнают о его происхождении — он перестает быть человеком. «Глубокая обида, жившая в груди с ранних лет, заставила его ненавидеть белых, презиравших его, и относиться с пренебрежением к мулатам, которые терпели подобного рода унижения. Потому он твердо решил в отличие от отца избрать иной образ жизни и смело противостоять абсурду расовых предубеждений. Он готов был сразиться с расистами, как Геркулес с Антеем». Полюбил девушку, и она его, отец отказывает в ее руке, приезжает Жак, у него все просто: украсть девушку. Но тут к Жоржу приходит раб Лайза и предлагает поднять восстание рабов. Жорж обсуждает идею с братом:

«— Вот что: через неделю эти белые господа, которые презирают меня, угрожают мне, хотят отхлестать меня, как беглого негра, будут кланяться мне в ноги.

— Небольшое восстание, я понимаю, — сказал Жак, — но это было бы возможно, если бы на острове насчитывалось хотя бы две тысячи воинов… кто поддержит твое восстание?

— Десять тысяч рабов, которым надоело повиноваться,

которые теперь сами хотят командовать.

— Да что ты, негры, я их хорошо знаю, я ими торгую; они легко переносят жару, могут насытиться бананом, выносливы в труде, им присущи многие хорошие черты, я не хочу обесценивать свой товар, но, как тебе сказать, — они плохие солдаты, ведь как раз сегодня на скачках губернатор интересовался моим мнением о неграх. Он мне сказал: „Послушайте, капитан Ван ден Брок, вы много путешествовали, мне представляется, что вы проницательный наблюдатель, как бы вы поступили, если бы были губернатором острова, а на нем произошло бы восстание негров?“

— И что ты ответил?

— Я сказал: „Милорд, я расставил бы сотню открытых бочек с вином на улицах, по которым должны пройти негры, а сам пошел бы спать, оставив ключ в дверях“.

Жорж до крови закусил губу».

Губернатор, очередная версия «доброго царя», отговаривает Жоржа от решительных действий, обещает руку девушки, но тот уже не может отступить, и они с Лайзой поднимают восстание. Оно провалилось, его вот-вот казнят, но его спасает Жак. Так почему провалилось восстание? «Негры двинулись на Порт-Луи словно лавина, издавая воинственные и яростные крики. Но, войдя в город, они увидели, что улицы освещены и повсюду стоят бочки с вином. Это был неодолимый соблазн. Некоторое время их удерживали боязнь, что вино отравлено, а также приказ Лайзы. Вскоре, однако, природная страсть одержала верх над дисциплиной и даже над страхом; несколько человек бросились к бочкам и начали пить. Буйная радость смельчаков увлекла всю толпу негров, началось повальное пьянство; огромное множество невольников, которые могли бы захватить Порт-Луи, мгновенно рассеялось и, окружив бочки, принялось с радостным бешенством поглощать водку, ром, арак — эту вечную отраву рабов, при виде которой негры, не в силах устоять перед соблазном, готовы продать детей, отца, мать, наконец самих себя… Глядя на ужасное зрелище, Мюнье не сомневался более в трагическом исходе восстания; он вспомнил наставления Жака, и ему стало стыдно. И с этими людьми он надеялся изменить жизнь негров на острове, добиться их освобождения от гнета рабства, в котором они пребывали в течение двух веков! Чего же он добился? Вот они, пьяные, распевают песни, танцуют, веселятся, ни о чем другом не думают; триста солдат смогли бы теперь отвести на плантации и заставить работать этих опустившихся, распоясавшихся десять тысяч негров! Итак, длительный этап самовоспитания оказался напрасным; изучение собственных сил,

сердца, личных возможностей было бесполезным; превосходство характера, ниспосланное богом, житейский опыт — все потерпело крах перед торжеством инстинкта расы, увлеченной алкоголем и пренебрегшей свободой».

Будь Дюма американцем, его роман вызвал бы куда больше претензий, чем «Гекльберри Финн». Откуда такое пренебрежительное отношение к «своим»? Хотя какие они ему «свои»? Он француз, в колониях не жил, рабом не был. У его родителей и у него самого было несколько слуг-негров: милые бездельники. Кроме того, он читал ужасные подробности о восстании на Гаити… Ну, стали там независимыми от белых. А толку? Перевороты и диктатуры. Хуже того, в 1822 году Гаити захватил соседнюю, тоже только что освободившуюся страну, республику Сан-Доминго, и каждый второй объявлял себя императором, и были жестокость и бестолковость…

Зимой пристроить «Жоржа» не удалось, «Сильвандир» — тоже; не завершив их, он начал другие работы. Комедия «Школа принцев» с Луи Лефевром. Мистический роман «Альбина» (позднее переименован в «Замок Эпштейнов»), основанный на немецких легендах, никакой политики, никаких негров, «Парижское обозрение» печатало его с 4 июня по 16 июля 1843 года, туда же взяли «Фернанду», роман о куртизанке, перевоспитавшейся под влиянием любви (как считают литературоведы, переделка романа Ипполита Оже «Олимпия», но это вряд ли: так нагло у знакомых никто сюжетов не крал, скорее просто похоже). «Алхимика XIX века», беллетризованную биографию химика и композитора де Руоза, к чьим операм Дюма писал либретто, взяло издательство «Дюмон». «Сесиль, или Свадебное платье», сентиментальный роман с самоубийством, опубликовал журнал «Мода». «Жорж» вышел 1 апреля в «Дюмон», никого не заинтересовал, принес убытки. Зато Французский театр принял «Барышень из Сен-Сира». Молодой Ханс Кристиан Андерсен, в марте приехавший в Париж, наблюдал Дюма в тот период: «Жизнерадостного Александра Дюма я заставал обычно в постели, хотя бы было и далеко за полдень. У постели всегда стоял столик с письменными принадлежностями — он как раз писал новую драму. Однажды, когда я пришел к нему и застал его опять в таком же положении, он приветливо кивнул мне головой и сказал: „Посидите минутку — у меня как раз с визитом моя муза, но она сейчас уйдет!“ И он продолжал писать, громко разговаривая с самим собою. Наконец он воскликнул: „Vivat!“, выпрыгнул из постели и сказал: „Третий акт готов!“ …Однажды он целый вечер водил меня по театрам… Мы побывали в „Пале-Рояле“… а потом пошли по бульвару к театру „Порт-Сен-Мартен“.

„Теперь можно заглянуть в царство коротких юбок! — сказал Дюма. — Зайти, что ли, туда?“ Мы зашли и очутились среди кулис и декораций, как будто попали в сказочное царство, где царили шум, гам, толкотня машинистов, хористов и танцовщиц. Дюма был моим путеводителем в этом закулисном лабиринте. На обратном пути домой нас остановил на бульваре какой-то юноша. „Это мой сын! — сказал Дюма. — Я обзавелся им, когда мне было 18 лет, теперь он в таких же летах, а у него еще нет сына!“».

Жизнерадостный, щебечет, скачет, шумит — мы так и привыкли представлять его… А ведь была обида из-за «Жоржа», в которого вложил душу, муки уязвленного честолюбия из-за академии, да и измена жены, если судить по «Сильвандир», оставила занозу. Нет, не всегда он был так жизнерадостен — помните, только входя в славу, жаловался, что жизнь мучительна, он одинок, все его терзают… Повзрослев, стал спокойнее? Или притворялся, нарочно разыгрывал шута, скрывая раненое сердце? Но вряд ли можно притворяться постоянно — у «весельчака» Пушкина знавшие его отмечали частые мрачные состояния, у Дюма до последних лет жизни таких состояний никто не замечал. Ну, бывают такие счастливые характеры: в мыслях сплошные отрубленные головы, жалость, грусть, унижение, тоска, а расскажи ему анекдот или позови в театр — тотчас переключится, отвлечется. Но отчасти и притворялся, не желая посвящать посторонних в свои проблемы. У него ведь не было близких друзей, кроме Фердинанда и Нерваля, с которыми он мог делиться, а те не оставили воспоминаний о нем…

О страхе провала он Андерсену не сказал, а страх был — недаром накануне премьеры опять уехал во Флоренцию, взяв с собой новую работу — на основе рукописи Поля Мериса о скульпторе XVI века Бенвенуто Челлини и недавно вышедших мемуаров Челлини делал роман «Асканио»: крепко сбитое «мыло», как «Капитан Поль», и опять с мотивами «Монте-Кристо»: узнику сосед по камере оставляет наследство. Во Флоренции неприятная встреча: Леконт, не простивший Дюма его благодеяний (Флобер сравнивал этого типа с нищим из сказки, что садится людям на шею), по словам Дюма, требовал денег и получил отказ. Очевидцы рассказывали иначе: Леконт прогуливался с князем Дондуковым-Корсаковым (на которого Пушкин писал известную эпиграмму), при встрече с Дюма произошли обмен оскорблениями и пошлая драка, Дюма сказал Дондукову, что будет драться с ним, но не с Леконтом, князь отказался. 11 мая Дюма вызывали во французское посольство давать объяснения, после чего Леконта из Флоренции выслали; в письме знакомому, Фюльженсу Жирару, Леконт назвал Дюма

«хвастливым и мерзким типом»: «Это мой враг, который всюду преследует меня с безумной ненавистью… я дал мерзкому негру пощечину».

В конце мая Дюма поехал в Париж через Марсель — поискать интересного в архиве, которым заведовал его знакомый писатель Жозеф Мери; там произошла очень типичная история. С великой актрисой Рашель (Элиза Рашель Фелис, 1821–1858) он был знаком с 1839 года, Андерсен рассказывал, как он водил его к ней за кулисы — не как к другим, а благоговейно. Она была в Марселе на гастролях с Французским театром, с ней ее любовник, дипломат граф Александр Валевский, у которого Дюма консультировался при работе над «Мадемуазель де Бель-Иль». Проводили время вчетвером (еще Мери), был некий вечер, когда ему показалось, что она с ним ласкова, и он вдруг решил, что любит, после ее отъезда слал письма: «Издалека я говорю Вам, что люблю; вблизи, быть может, я не осмелюсь это повторить»; «Люблю Вас как женщину, достойнейшую любви, а не как великую актрису…» Рашель ответила лишь через десять дней из Лиона: она не понимает, что в ее поведении дало повод к таким письмам: «Я знала, что с дураками надо взвешивать каждое слово. Я не понимала, что бывают умные люди, с которыми надо соблюдать те же предосторожности». Дюма написал Валевскому, что «принимает его победу», и все остались в прекрасных отношениях. Было ему по-настоящему больно от таких историй? Или как с гуся вода? Даже если вспышка чувства не была глубокой, мужское самолюбие не могло не страдать. И так каждый раз: «Он джентльмен, а я мулат…»

25 июля премьера «Барышень из Сен-Сира» во Французском театре, наконец-то шумный успех (ставили до 1892 года), но критики ругали. Сент-Бёв: «Пьеса живая, увлекательная, но ее портят незавершенность, небрежность и вульгарность… Читая Дюма, все время восклицаешь: „Какая жалость!“ Я начинаю думать, что мы ошибались на его счет: он из тех натур, которые никогда не достигли бы подлинных высот и вообще не способны к серьезному искусству. Нам кажется, что он разбрасывается и не реализует своих возможностей, тогда как на самом деле он их все пускает в ход и выигрывает еще и на том, что заставляет публику думать, будто он мог бы создать нечто лучшее, тогда как он на это совершенно не способен…» В марте 1843 года была основана газета о театре «Иллюстрация», ее сотрудник Филипп Бузони, специализировавшийся на Дюма, судил его строго, противопоставляя Скрибу: у того все просто и изящно, а у Дюма вульгарно, люди скачут из окон, лошади, собаки… Жанен написал злую рецензию, чуть не дошло до дуэли, Бюло примирил,

мягко посоветовав Дюма «работать без спешки».

Зато «Барышни» принесли много денег; Дюма снял квартиру на улице Монблан (ныне шоссе д'Антен), 45, с ним поселились два приживала: старик Рускони и 25-летний племянник Альфред Летелье, сын приходил в гости, холостяцкие ужины, веселье, вдруг приехала жена — начались скандалы, он закрывался в кабинете и писал, не вняв совету работать без спешки — извините, а жить на что? С Левеном и Брунсвиком написал комедии «Лэрд Думбицки» об Англии во время чумы и «Луиза Бернар» о столяре, втянутом в интриги двора Людовика XV; с Полем Мерисом — роман в эпистолярной форме «Амори», мрачную историю, герои которой умирают от любви; исследователи отмечают редкое по точности описание туберкулеза. Роман купил Жирарден для «Прессы» и в нагрузку взял «Сильвандир»; «Хроника» взяла очерк об итальянских художниках «Три мэтра» и повесть «Габриель Ламбер», в которой Дюма — редкий для него случай — дал волю мстительности и «вывел» Леконта в образе жулика, который был сослан на каторгу и в конце концов повесился.

Все это он писал не последовательно, а одновременно; уже привык. Как Алексей Толстой, он работал в любых условиях, в поезде, на краю обеденного стола, хотя, конечно, предпочтения и привычки были, как у любого. Сын впоследствии (они некоторое время будут жить вместе) рассказал о его режиме: «Начинал работать как просыпался и до ужина, с коротким перерывом на обед» (ел без капризов все, что дают, пил лимонад, редко — кофе; пил, конечно, и вино, но пьяным его никогда не видели, покуривал изредка кальян или папиросы), «вечером, принимая друзей или выходя в город, не обнаруживал никаких признаков усталости», иногда работал и поздним вечером. «Должно было пройти много дней или даже месяцев, прежде чем он чувствовал усталость. Тогда он ехал на охоту или в путешествие, в дороге умел спать и ни о чем не думать. Как только приезжал куда-то, бежал осматривать достопримечательности и все записывал. Это и был его отдых». Изредка болел «лихорадкой» — тогда спал по два-три дня подряд, лечась одним лимонадом, затем вставал, принимал ванну и возвращался к жизни. «Он очень любил поспать. Спал по четверти часа несколько раз в день, с громким храпом. Просыпался и опять брался за перо и продолжал писать своим изумительно красивым почерком без помарок». Бывали по ночам желудочные боли — тогда, не в силах заснуть, читал, а если очень худо, садился работать — «это было его лекарство от всех болей и печалей».

Писал он на разноцветной бумаге, которую ему присылал

поклонник-типограф, и разными перьями — одни для пьес, другие для стихов, третьи для прозы; это не каприз, а способ психологически облегчить переход от одного текста к другому — словно срабатывает переключатель. Прозу писал за столом, пьесы — лежа или расхаживая (Бюло: «…этот вид работы всегда делал его немного лихорадочным»). Бюло также рассказывал: если кто-то приходил, когда Дюма работал, — мог разговаривать и писать одновременно; «если гость был настойчив, он откладывал перо, беседовал, но как только досадная помеха исчезала, принимался писать снова». Бюло с восхищением отмечал, что писал Дюма, как будто не обдумывая; когда похвалили его память, ответил: «У меня только она и есть». Гонкуры говорили: пишет как машина. Не ждал вдохновения (да и никто не ждет, все писатели немножко машины, в том числе Гонкуры), работал в среднем 10–12 часов в сутки. Страницу — две тысячи знаков — писал 15 минут. Знаки препинания не ставил, чтобы время не тратить (их расставляли секретари). Раньше правил свои тексты, теперь перестал. От сидячей работы начал полнеть…

«Школа принцев» в «Одеоне» 29 сентября, «Луиза Бернар» в «Порт-Сен-Мартене» 18 ноября — плохо! Новая попытка — «Элен де Саверни», сюжет из того же источника, что «Арманталь»: дворянин, примкнувший к заговору, влюблен во внебрачную дочь герцога Орлеанского, его казнят, девушка умирает; Французский театр не взял. Машина работала на полных оборотах, но вхолостую — сколько может человек это выдерживать и не сломаться?

С сыном вроде бы так хорошо стало, необременительные отношения, приятельски-насмешливые, когда не надо лезть друг другу в душу, и вдруг опять ультиматум — твоя жена или я; учебу бросил, никуда поступать не хочет. Как свидетельствует переписка младшего Дюма с кузеном Альфредом, Александр денег хотел, а работать не хотел, Альфред ему советовал «упорно трудиться» и сделать себе имя, приводил в пример себя (сам, впрочем, никакого имени не сделал). Александр сказал отцу, что в Париже ему «невыносимо», и требовал денег, дабы эмигрировать. «Единственное мое счастье и утешение… Ты хочешь ехать в Италию или в Испанию. Я уже не говорю о том, что с твоей стороны будет неблагодарностью бросить меня одного среди людей, которых я не люблю и с которыми меня связывают лишь светские отношения. Да и что ждет тебя в Италии или в Африке? Если тебе просто хочется путешествовать… ты мог подождать, пока нам не удастся поехать вместе. Твое положение в Париже глупо и унизительно, говоришь ты. В чем же, скажи?.. Работай серьезно, пиши, и через несколько лет ты будешь

получать ежегодно тысяч десять… Впрочем, ты сам знаешь, что ради счастья тех, кто меня окружает, и ради благополучия тех, за кого я несу ответственность перед Богом, я привык обрекать себя на любые лишения и что я готов поступить так, как ты пожелаешь. Ведь если ты будешь несчастен, ты в один прекрасный день обвинишь меня в том, что я помешал тебе последовать твоему призванию, и решишь, что я принес тебя в жертву эгоизму отцовской любви, единственной и последней любви, которая мне осталась и которую ты обманешь так же, как это делали до тебя другие. Может быть, тебе понравится другая перспектива? Хочешь получить место в одной из парижских библиотек, которое сделало бы тебя почти независимым? Но поразмысли, хватит ли у тебя, привыкшего к вольной жизни, выдержки посвящать каждый день четыре часа службе?.. Пойми, разрыв мой с мадам Дюма может быть лишь духовным, ибо супружеские раздоры заинтересовали бы публику, что было бы для меня очень неприятно…» Заключили компромисс: сын получит деньги, но немного, и поедет, но недалеко — в Марсель.

«Думбицки» сыграли 30 декабря в «Одеоне». Провал полный. Готье: «„Лэрда Думбицки“ сильно освистывали начиная с 3 акта. Это не должно причинить большое страдание г-ну Дюма, у которого завтра будут пять других совершенно готовых актов, если не десять…» Но все переоценили его толстокожесть. Он устал. Он сдался. Он не хотел больше писать пьес. Прозу — «Амори» печатался в «Прессе» с 29 декабря 1843-го по 4 февраля 1844 года, «Сильвандир» с 3 января по 25 февраля (Маке вновь упоминался только в посвящении), «Габриель Ламбер» в «Хронике» с 15 марта по 1 мая того же года — хотя бы не ругали…

Академию косила смерть: 24 ноября 1843 года умер поэт Франсуа Кампенон, 11 декабря — Казимир Делавинь, а 27 января 1844-го — Нодье; осиротела литература, осиротел Александр. «Со смертью Нодье в Арсенале умерло все — радость, жизнь, свет… А я… не знаю, как объяснить, но, с тех пор как умер Нодье, я словно ношу в себе частичку смерти…» Он мечтал унаследовать кресло Нодье, друга, почти отца, — так символично! Выборы в начале 1844-го, целых три вакансии. Ну же! Когда еще будет такой шанс?! Опять посыпались карикатуры (не на него одного — над Бальзаком смеялись больше; к числу напрасно страждущих добавился Эжен Сю). Смерть Делавиня также открыла вакансию заведующего королевской библиотекой в Фонтенбло, Дюма вел разговоры, что неплохо бы занять эту должность его сыну, люди говорили, что он сам ищет этого места, он раздраженно ответил в «Веке», что если и желает чего-то оставшегося после Делавиня, то

лишь кресла бессмертного. Глупо — так откровенно писать нельзя. Впрочем, дела были так плохи, что испортить их уже ничего не могло. Бузони писал, что шансы Дюма ничтожны, ибо «огрехи и странности частной жизни пугают академию гораздо больше, чем литературные грехи». Какие огрехи и странности? Жениться на чужой любовнице, получив за ней приданое, можно, но надо делать это поизящнее. Крутить с актрисами можно, но не тогда, когда рвешься в академию. Можно драться на дуэлях, но не на кулаках с Леконтом. Иметь незаконнорожденного сына можно, но не стоит это афишировать. Быть негром можно, но… лучше не быть.

Как следует из статьи Бузони в «Парижском курьере» от 10 февраля 1844 года, Гюго на сей раз действительно пытался помочь Дюма: пошел с ним к Скрибу и уговаривал того выдвинуть на место Нодье — де Виньи, а на место Делавиня — Дюма (на третью вакансию Гюго обещал не покушаться). Скриб отказался поддержать Дюма и сообщил, что будет двигать председателя комитета по охране исторических памятников Жана Вату, по слухам, побочного брата короля. Такого противника одолеет лишь тяжелая артиллерия, и Гюго (умелый стратег и тактик) выставил не Дюма, а Сент-Бёва: пропагандист романтизма, хороший критик, к тому же из прекрасной семьи и без «странностей». Выборы 8 февраля, Сент-Бёв и Вату набрали одинаковое количество голосов, 15 марта на повторных выборах победил Сент-Бёв. Два других кресла получили Мериме, одолевший де Виньи, и критик Сен-Мар Жирарден. Все — ровесники Дюма или моложе. Кажется, он понял, что никогда не попадет в академию. (Часто пишут, что он «не прошел» туда, это неверно — его ни разу и не выдвигали.)

Но есть иной способ обрести бессмертие. Роман, в черновике называвшийся «Д'Артаньян», анонсированный в «Веке» как «Атос, Портос и Арамис», опубликованный с 14 марта по 14 июля 1844 года как «Три мушкетера» и выдержавший два книжных переиздания в том же году, по словам Готье, вызвал в Париже «ажитацию». Его обсуждали в клубах, магазинах, на рынке. Бальзак признавался Ганской, что читал его целый день, хотя и злился на себя за попусту потраченное время. Вильмесана жена будила среди ночи, чтобы пересказать очередную главу. Историк литературы Жанна Бем, 1976 год: «„Три мушкетера“ — один из самых читаемых французских романов в мире: это работа вне пространства и вне времени, как все истинные шедевры».

Глава восьмая
БЕССМЕРТНЫЕ

В Марселе летом 1843 года Дюма не только ухаживал за Рашелью; он взял в библиотеке опубликованную в 1700 году книгу де Куртиля «Мемуары господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров». Куртиль утверждал, что использовал подлинные записки д'Артаньяна (такой политик и военный существовал, он умер за 27 лет до выхода книги Куртиля), граф д'Алиньи, бывший офицер мушкетерской роты, уверял, что автор никогда не был знаком с д'Артаньяном, современные исследователи не исключают факта знакомства. Для нас это не важно. Читатель, желающий узнать о людях, бывших прототипами персонажей Куртиля, может обратиться к соответствующей литературе. Реальный д'Артаньян к Дюма и Маке не имеет отношения. Есть только забытый текст Куртиля и вечно живой — их двоих.

Маке говорил, что прочел книгу Куртиля раньше и рекомендовал ее Дюма, тот утверждал, что наткнулся на нее первым. Не важно: «Сильвандир» они оба уже писали по Куртилю и наверняка не «наткнулись» на «Мемуары д'Артаньяна», а взяли их осознанно. Вопрос в ином: справедливо ли, что в современных изданиях «Мушкетеров» оба названы авторами? А если так, не следует ли добавить третьего — Куртиля?

В «Театральных воспоминаниях» (1868) Дюма писал, что в соавторстве, кроме выгоды, есть риск: «Соавтор похож на пассажира, который плывет в одной лодке с вами и постепенно демонстрирует вам, что не умеет грести и плавать; когда наступит крушение, вам придется поддерживать его на плаву, рискуя самому утонуть». В той или иной степени его соавторами было более пятидесяти человек; распространенная точка зрения, что Дюма всегда подписывал совместные работы один, как мы видели, неверна — он часто отказывался подписывать их вообще. Альфред Асселен вспоминал, как, испытывая трудности с романом «Похищение Елены», пошел к Дюма и тот написал «несколько глав таких хороших, что их превосходство было видно сразу», но нигде не упомянул, что причастен к роману. Но с 1840-х годов преобладают случаи, когда он ставил свое имя, не упоминая соавтора. Насколько это справедливо?

Вот мнения в пользу Дюма. Фернан Шаффиоль-Дебиймон: «Дюма задумывал план, разрабатывал персонажей; он был архитектором, Маке каменщиком. Каждой странице Дюма

придавал последний штрих, оживляя вялую прозу Маке, внося свет и одушевление». Ален Деко: «И у художников Возрождения были помощники… таким был Маке, но кисть держал Дюма». Труайя: «Огюст Маке… собирал материалы и придумывал эпизоды, тогда как Александр помешивал соус, добавлял пряности и специи и придавал блюду незабываемый вкус». Дж. Лукас-Дубретон: «Историк поставлял материал, сырой, кратко изложенный; фокусник вылеплял из него красивое изделие». Моруа: «Маке выступал в роли мраморщика, Дюма — скульптора. Соавтор писал сценарий, который Дюма использовал как черновик…» Эндрю Лэнг: «Дюма говорил помощникам, где найти материалы, давал нить сюжета, указывал, как разбивать на главы, затем брал эти главы и вселял в них дух… он получал от сотрудников механическую помощь, брал из их рук мертвые скелеты и оживлял их… Что делал Маке? Он делал „исследования“. Не очень глубокие. Возможно, он обнаружил, что Ньюкасл находится на Твиде и что шотландская армия в значительной степени состояла из горцев. Возможно, именно он изобразил Карла I в „Виконте де Бражелоне“. Я предполагаю, что он слушал, когда Дюма говорил, иногда возражал…» Герберт Горман, биограф, очень неприязненно относящийся к Дюма, тем не менее считал: «Маке… знал свои границы и понимал, что он исследователь, а не творец». Циммерман: «Справедливо назвать Маке и других помощниками Александра, но не равными ему… Маке был хорошим и неутомимым сценаристом…» Подобных высказываний — тьма: Наполеону помогали генералы, кинорежиссерам — ассистенты, Микеланджело — подручные, и все это каким-то образом относится к соавторству Маке и Дюма. Не относится. Это лишь метафоры, которые не объясняют механизма работы.

Бывают разные виды соавторства. Один описан Борисом Стругацким: «Сюжеты мы всегда придумывали вместе… Тексты писали тоже вместе, хотя в самом начале пробовали писать и порознь, но это оказалось нерационально, слишком медленно и как-то неинтересно. Обычно же один сидел за машинкой, другой бродил тут же по комнате, и текст придумывался и обсуждался постепенно — фраза за фразой…» Другой способ: соавторы разрабатывают план и пишут каждый свои куски, минимально правя или вообще не правя друг друга. Третий: один пишет «рыбу» и отдает другому, а тот превращает «рыбу» в полноценный литературный текст (при этом сюжет может принадлежать как первому, так и второму). Дюма испробовал все варианты, включая способ Стругацких (в том числе с Маке, но лишь однажды: отнимает много времени и надо жить вместе), особенно в пьесах:

диалог удобно сочинять вдвоем. В пьесах часто использовал второй способ, в прозе — третий, причем тот его подвид, когда идея и сюжет принадлежали автору «рыбы», — сам генерировать сюжеты катастрофически не умел. Тут опять подварианты: иногда кто-то сдавал ему рукопись и больше не участвовал в работе («Нельская башня», «Жорж», «Шевалье д'Арманталь», «Сильвандир»), в других случаях (сюда относится большинство книг, написанных с Маке) были предварительное обсуждение сюжета и консультации в процессе работы.

Судебные процессы (о них в свой черед) отказали Маке в праве считаться автором совместных книг, признав его работу «технической». Не все с этим были согласны. Библиограф Жозе Мари Керар считал, что половина книг, подписанных Дюма, на самом деле сделана одним Маке. Самый горячий заступник Маке, Гюстав Симон, на основе переписки Маке и Дюма доказывал, что без Маке Дюма писать вообще не мог. Из письма Маке Полю Лакруа: «Мы фактически вместе сделали „Трех мушкетеров“, первые тома которого были написаны мной одним, без обсуждения плана, по первому тому „Мемуаров д'Артаньяна“». Мало ли что он утверждал? Но вот записки Дюма Маке: «Как можно скорей пришлите рукопись, особенно по первому тому мемуаров…»; «Мне нужно продолжение к 10-му. Шлите чем раньше, тем лучше»; «Не забудьте запастись томом по Людовику XIII, где говорится о процессе Шалэ и есть соответствующие документы. Вместе с ним пришлите все, что вы подготовили по Атосу…»; «Уже два дня как вы меня оставляете без текста, и я самый несчастный человек на свете».

Из некоторых записок, правда, следует, что Дюма самостоятельно все же что-то писал или хотя бы придумывал: «Любопытно! Сегодня утром я написал Вам, чтобы Вы ввели в эту сцену палача, а потом бросил письмо в камин, решив, что сделаю это сам. Первое же слово, которое я прочел, доказало мне, что наши мысли совпали… Работайте скорей, так как я простаиваю уже два часа»; «В следующей главе мы должны услышать рассказ Арамиса, который обещал д'Артаньяну разузнать, где держат мадам Бонасье»; «Приходите завтра вечером, чтобы мы составили большой кусок плана… Я, вероятно, уеду в воскресенье вечером, хорошо бы Вы к моему возвращению подготовили два тома». Симон делает логичный вывод: «Почти всегда Дюма спрашивает Маке, куда он ведет, с покорностью следуя его сюжету, за исключением случаев, когда он находит какой-нибудь исторический анекдот… он может работать только по рукописи Маке, в одиночку он дезориентирован, он никогда не знает, куда Маке поведет его». Подобными записками изобилует работа и над

другими романами (обычно над несколькими сразу): «Где мы сейчас? Нужно дальше двигать „Бальзамо“, двигать „Мушкетеров“; можем увидеться нынче вечером?»; «Да, да, да, дитя мое, сто раз да: надо заканчивать том отъездом д'Артаньяна и Портоса, которые находят Мордаунта в Булони…»; «Не сделать ли так, что у Винтера и лорда Монтроза одна мать?»; «Я замечаю, что нам вредит отсутствие любовной интриги…»

Когда писали «Монте-Кристо», часто совещались и Дюма был несколько активнее. «Чтобы не делать 36 разных рассказов, я вложу рассказ Кадрусса в уста Бертуччо. Не стоит спешить. Давайте отложим про майора и того юношу… Надо встретиться за ужином, обговорить»; «Пожалуйста, приходите к обеду. Нам нужно сделать Мореля и тот эпизод, где Вильфор встречается с Монте-Кристо…» Роман «Женская война»: «Вначале у Вас очень хорошо. Теперь вот что. Кавеньяк требует у Лене и Ларошфуко 30 тысяч… Ларошфуко отвечает, что сперва надо заплатить недовольным, и т. п. Кавеньяк ему дает неделю…» «Королева Марго»: «Это все ничего, несмотря на 6 или 8 страниц политики, но теперь у людей снова возникнет интерес, они будут просто глотать страницы… Дорогой друг, на Вашей совести будет, если мы не продолжим. С девяти вечера я сижу и жду сложа руки»; «Давайте больше Марго! У меня не осталось ничего. Выручайте!»; «Это все хорошо, но я не нашел ничего о записке, которую Маргарита послала мадам де Сов. Я не осмеливаюсь продолжать дальше. Вы забыли про записку или перенесли ее в другое место?» Иногда, впрочем, записки доказывают, что Дюма и Маке писали разные сюжетные линии параллельно. «Что дальше будет с Морелем и де Муи? Мне надо знать, чтобы не писать вслепую. Что Вы собираетесь сделать с кредитором Коконнаса? Давайте сделаем его жестоким, но не подлым». «Шевалье Мезон-Руж»: «Раз нам почти ничего не дало то, что Диксмер и Мезон-Руж не знают друг о друге, давайте объединим их. А то малоправдоподобно, чтобы они не нашли друг друга в одной тюрьме».

Записки показывают, что вопреки расхожему мнению Дюма часто не увеличивал объем текста, а сокращал. «Из 28 Ваших страниц вышло 17 моих…»; «Я нуждаюсь в рукописи. На этот раз из ваших 190 страниц я сделал меньше 70». (У Маке почерк размашистый, у Дюма убористый, но 70 из 190 за счет одного почерка не сделать.) Кстати, в связи с почерком возникает естественный вопрос: Дюма лично переписывал рукописи Маке (как считает Симон — чтобы выдать за свои), и адвокат Дюма на процессах этот довод использовал как доказательство того, что его доверитель и есть автор, — но ведь Маке мог предъявить свои рукописи? Да вот не мог — они не сохранялись. Маке очень

торопился, писал в одном экземпляре, как закончит — сразу слал Дюма, а тот, переписав текст, бумажку Маке выбрасывал (по мнению Симона, специально).

Моруа: «Дюма… переписывал текст, добавляя тысячи деталей, придававших ему живость, переделывал диалог… тщательно отшлифовывал концы глав…» Что такое «придать живость»? Что значит «отшлифовывал»? Сергей Нечаев: «Похоже на то, что Дюма правил „рыбу“ Маке лишь стилистически, иногда вводя кое-какие второстепенные персонажи и разворачивая диалоги». Что такое стилистическая правка? Где грань между правкой и соавторством? К счастью, мы можем попытаться ответить на этот вопрос — сохранился и был опубликован вариант главы «Трех мушкетеров» в том виде, как его написал Маке. По мнению Моруа, Маке этой публикацией «хотел доказать, что подлинным автором „Трех мушкетеров“ был он, но доказал обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма». Колорит, жизненность — опять красивые слова; мы же будем работать с текстом и разберем его по косточкам. Но сначала несколько слов о переводах.

Первое издание «Мушкетеров» на русском языке вышло в 1846 году в Санкт-Петербурге без указания переводчика, следующее — в 1866-м в переводе М. Руммеля, потом еще три без указания переводчиков. В 1928 году в издательстве «Земля и фабрика» — краткий пересказ в «обработке М. И. Зотиной»; одновременно вышел перевод под редакцией М. Лозинского в издательстве «Академия». В 1949-м появился перевод В. Вальдман, Д. Лившиц и К. Ксаниной, затем их же, откорректированный. В 1960-м Дебора Лившиц сделала новый вариант, ставший каноническим. В нем зачем-то изменена авторская разбивка на главы, всюду «вымолвил» и «возразил» вместо сухого, как у Хемингуэя, «сказал», и восклицательные знаки вместо запятых; тем не менее, на наш взгляд, он вполне хорош. Но в 2004 году вышел перевод И. Лаукарта, который, как считают некоторые литературоведы и читатели, ближе к оригиналу и лучше. Не можем с этим согласиться. М. Н. Алексеева хвалит перевод Лаукарта: «В старом привычном переводе д’Артаньян после ссоры с Арамисом говорит себе „Ничего не поделаешь“, а у Лаукарта — „Ничего себе положеньице! Ну и попал!“» По мнению Алексеевой, это «напряженней и современней». Нам приходилось встречать такую точку зрения, говоря о переводах Марка Твена, и даже защищать ее: чтобы заинтересовать книгой современных детей, «осовременивание», каким бы кощунством оно ни выглядело, может, и полезно. Но тогда уж надо осовременивать каждые 10–

20 лет. Автору статьи понравилось, что Лаукарт заменил «задать трепку» на «вздуть» — но, извините, кто в XXI веке говорит «вздуть»? Алексеева: «На предложение де Жюссака спасать свою шкуру д'Артаньян в новом варианте отвечает более взволнованно и художественно: „…по одежде я не ваш, я в душе — ваш. У меня сердце мушкетерское. Я это чувствую, оно руководит мною“». Может, и художественно (дело вкуса), а только в подлиннике вообще нет такой фразы. Так что цитировать будем перевод Лившиц, только пунктуацию восстановим авторскую (иначе создалось бы впечатление, что Дюма исправил пунктуацию Маке, тогда как это переводчик исправил Дюма). Итак, перед нами сцена казни миледи (в сокращении). Что написал Маке? Что из этого сделал Дюма? Есть ли разница?

Маке

Иногда широкая молния являлась из-за туч и, словно чудовищный ятаган, рассекала надвое небо и воду.

Дюма

Время от времени широкая молния озаряла весь край неба, змеилась над черными купами деревьев и, словно чудовищный ятаган, рассекала надвое небо и воду.

Маке

Миледи, которую вели двое слуг, доставили на берег реки. Уста ее были безмолвны, но глаза говорили со свойственным им неизъяснимым красноречием. Она поочередно молила каждого, на кого устремляла взгляд.

Дюма

Гримо и Мушкетон увлекали вперед миледи, держа ее за руки; палач шел за ними, а лорд Винтер, д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис шли позади палача. Планше и Базен замыкали шествие.

Слуги вели миледи к реке. Уста ее были безмолвны, но глаза говорили со свойственным им неизъяснимым красноречием, умоляя поочередно каждого, на кого она устремляла взгляд.

Маке

По дороге она сказала:

— У меня есть пятьсот пистолей, чтобы дать вам, если вы поможете мне бежать, но если вы предадите меня в руки ваших господ, знайте: вы будете убиты.

Дюма

Воспользовавшись тем, что она оказалась на несколько шагов впереди остальных, она сказала слугам:

— Обещаю тысячу пистолей каждому из вас, если вы

поможете мне бежать! Но если вы предадите меня в руки ваших господ, то знайте: у меня есть здесь поблизости мстители, которые заставят вас дорого заплатить за мою жизнь!

Маке

Гримо колебался. Мушкетон дрожал всем телом.

Атос, услыхавший разговор, подошел; лорд Винтер последовал его примеру.

— Уберите этих слуг, — сказал он. — Она говорила с ними, на них уже нельзя полагаться.

Дюма

Гримо колебался. Мушкетон дрожал всем телом.

Атос, услыхавший голос миледи, быстро подошел; лорд Винтер последовал его примеру.

— Уберите этих слуг, — сказал он. — Она говорила с ними, на них уже нельзя полагаться.

Атос подозвал Планше и Базена, и они сменили Гримо и Мушкетона.

Маке

Доставив лодку к берегу, четверо судей дали знак палачу, который связал миледи руки и ноги. Тогда она воскликнула:

— Вы трусы, вы жалкие убийцы, я женщина и жертва ваших страхов и вашей клеветы. Берегитесь! Меня спасут и отомстят за меня!

Дюма

Когда все пришли на берег реки, палач подошел к миледи и связал ей руки и ноги.

Тогда она нарушила молчание и воскликнула:

— Вы трусы, вы жалкие убийцы, вас собралось десять мужчин, чтобы убить одну женщину! Берегитесь! Если мне не придут на помощь, то за меня отомстят!

Маке

— Вы не женщина, — ответил Атос холодно, — вы чудовище, вы не человек. Вся ваша жизнь — череда преступлений и ужасов. Мы доказали, что каждый из нас подвергался опасности от стали или яда, направленных вашими друзьями, другие убийцы преследовали наших друзей, и это заканчивалось гибелью. Посмотрите на себя в этот высший час, и вы увидите дурные страсти, любовь, превращенную в разврат, кровь, алчность, злобу под внешним покровом красоты. Мне жаль вас, мадам, но это не я сегодня выношу вам приговор и убиваю вас, это ваш брат, ваш любовник, ваш муж, чьи тени витают над вашей головой и

вызывают ужас на вашем лице. Они восклицают: «Смерть!» Чтобы очистить вашу душу, мадам, попытайтесь молиться Богу, люди ничего не могут сделать для вас.

Дюма

— Вы не женщина, — холодно ответил Атос, — вы не человек — вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться!

Маке

— Но кто посмеет тронуть волосок на моей голове? Вы, добродетельные господа? Это тоже убийство!

— Палач не убийца, мадам, — ответил человек в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу.

Дюма

— О добродетельные господа, — сказала миледи, — имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, в свою очередь будет убийцей!

— Палач может убивать и не быть при этом убийцей, сударыня, — ответил человек в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу. — Он последний судья, и только. Nachrichter, как говорят наши соседи-немцы.

И так как, произнося эти слова, он связывал ее, миледи испустила дикий крик, который мрачно и странно прозвучал в ночной тишине и замер в глубине леса.

Маке

— Но вы не судьи! — кричала миледи, и ее крик раздавался в густом ночном лесу.

Дюма

— Но если я виновна, если я совершила преступления, в которых вы меня обвиняете, — кричала миледи, — то ведите меня в суд! Вы ведь не судьи, чтобы судить меня и выносить мне приговор!

Маке

— Мы люди, которые осуществляют возмездие, — ответил д'Артаньян.

— Я согласна, чтобы вы отдали меня под суд, заключили меня в тюрьму!

— Кардинал спасет вас, не правда ли, — сказал лорд Винтер. — Я предлагал вам Тайберн в Портсмуте, отчего же вы не согласились?

Дюма

— Я предлагал вам Тайберн, — сказал лорд Винтер, — отчего

же вы не захотели?

Маке

— Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!

Дюма

— Потому что я не хочу умирать! — воскликнула миледи, пытаясь вырваться из рук палача. — Потому что я слишком молода, чтобы умереть!

Маке

— Однако вы умрете, — сказал Атос.

Дюма

— Женщина, которую вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, сударыня, и, однако, она умерла, — сказал д'Артаньян.

Маке

— Я клянусь поступить в монастырь, я клянусь…

Дюма

— Я поступлю в монастырь, я сделаюсь монахиней… — продолжала миледи.

Маке

— Вы не помилуете ее, — воскликнул палач, — я убью ее здесь, перед вами… она заставила моего брата совершить преступление и погибнуть.

Дюма

— Вы уже были в монастыре, — сказал палач, — и ушли оттуда, чтобы погубить моего брата.

Маке

Миледи в ужасе вскрикнула и упала на колени.

Дюма

Миледи в ужасе вскрикнула и упала на колени. Палач приподнял ее и хотел отнести к лодке.

— Ах, боже мой! — закричала она. — Боже мой! Неужели вы меня утопите?

Эти крики до такой степени надрывали душу, что д'Артаньян, бывший до сих пор самым ожесточенным преследователем миледи, опустился на ближайший пень, наклонил голову и заткнул ладонями уши; но, несмотря на это, он все-таки слышал ее вопли и угрозы.

Маке

Д’Артаньян, опустившись на пень, заплакал.

— Я не могу видеть это ужасное зрелище, — сказал он, — я не могу допустить, чтобы столь молодая женщина умерла так.

— Д’Артаньян! — воскликнул Портос. — Она умрет, даже если мне придется скрестить с вами шпаги. Не хнычьте! Мне кажется, вы трусите, друг мой! Отомстите за бедную женщину, которая всем пожертвовала ради вас.

Д’Артаньян ничего не ответил.

Дюма

Д’Артаньян был моложе всех, и он не выдержал:

— Я не могу видеть это ужасное зрелище! Я не могу допустить, чтобы эта женщина умерла таким образом!

Маке

Миледи, у которой, видимо, блеснула надежда, закричала прерывающимся голосом: — Д’Артаньян! Д’Артаньян! Я люблю тебя!

Дюма

Миледи услышала его слова, и у нее блеснул луч надежды.

— Д’Артаньян! Д’Артаньян! — крикнула она. — Вспомни, что я любила тебя!

Молодой человек встал и шагнул к ней. Но Атос выхватил шпагу и загородил ему дорогу.

— Если вы сделаете еще один шаг, д’Артаньян, — сказал он, — мы скрестим шпаги!

Маке

Д’Артаньян упал на колени и стал читать молитву.

— Ну! — сказал Атос. — Палач, делай свое дело! Ты часто исполнял приговоры, вынесенные людьми, а сегодня исполнишь приговор Божий.

— Я добрый католик, господа, — сказал тот, — и убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность по отношению к этой женщине.

Дюма

Д’Артаньян упал на колени и стал читать молитву.

— Ну, палач, делай свое дело, — проговорил Атос.

— Охотно, ваша милость, — сказал палач, — ибо я добрый католик и твердо убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность по отношению к этой женщине.

— Хорошо.

Атос подошел к миледи.

Маке

— Я прощаю вам зло, которое вы мне причинили, — сказал Атос миледи, — мою разбитую жизнь, мою единственную поруганную любовь, мою утраченную честь и мою душу, погубленную тем отчаянием, в которое вы меня повергли.

Дюма

— Я прощаю вам, — сказал он, — все зло, которое вы мне причинили; я прощаю вам мою разбитую жизнь, мою утраченную честь, мою поруганную любовь и мою душу, навеки погубленную тем отчаянием, в которое вы меня повергли. Умрите с миром!

Маке

— Я прощаю вам, — сказал лорд Винтер, — убийство моего брата, убийство его светлости лорда Бекингэма, несчастного Фелтона, ваши покушения на мою жизнь, я вас прощаю, сестра моя перед Богом.

— А я, — сказал д'Артаньян, — прошу простить меня, мадам, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев; но я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть! Я прощаю вас и оплакиваю вас! Умрите с миром!

— Я пропала! прошептала по-английски миледи. — Я погибла!

В этот момент она окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались, как пламя; она прислушивалась, но ничего не слышала.

Дюма

Лорд Винтер тоже подошел к ней.

— Я вам прощаю, — сказал он, — отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бекингэма, я вам прощаю смерть бедного Фельтона, прощаю ваши покушения на мою жизнь! Умрите с миром!

— А я, — сказал д'Артаньян, — прошу простить меня, мадам, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев; сам же я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть, я вас прощаю и оплакиваю вас. Умрите с миром.

— I am lost! — прошептала по-английски миледи. — I must die! — И она без чьей-либо помощи встала и окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались, как пламя.

Она ничего не увидела.

Она прислушалась, но ничего не уловила.

Подле нее не было никого, кроме ее врагов.

Маке

— Моя смерть будет отмщена, — сказала она. — Где я умру?

— На том берегу, мадам, и мы будем молиться за вас.

Все опустились на колени. Палач посадил ее в лодку, и Атос дал ему мешок с золотом, сказав:

— Это плата, которую мы назначили вам как судьи.

— Эта женщина отлично знает, что я исполняю не ремесло, а долг, — сказал палач и швырнул деньги в реку.

Дюма

— Где я умру? — спросила она.

— На том берегу, — ответил палач.

Он посадил ее в лодку, и, когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом.

— Возьмите, — сказал он, — вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи.

— Хорошо, — ответил палач. — А теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг.

И он швырнул золото в реку.

Лодка отчалила и поплыла к левому берегу, увозя преступницу и палача.

Все прочие остались на правом берегу и опустились на колени.

Маке

Лодка медленно отплыла, озаряемая отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу. Фигуры черными силуэтами вырисовывались на фоне багрового неба.

Во время переправы миледи распутала веревку на своих ногах. Она прыгнула на землю и пустилась бежать.

Дюма

Лодка медленно скользила вдоль каната для парома, озаряемая отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу; фигуры черными силуэтами вырисовывались на фоне багрового неба.

Во время переправы миледи удалось распутать веревку, которой были связаны ее ноги; когда лодка достигла берега, миледи легким движением прыгнула на землю и пустилась бежать.

Маке

Но земля была влажная, она поскользнулась и упала.

Суеверная мысль поразила ее; она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в молитвенной позе, склонив голову и сложив руки.

Дюма

Но земля была влажная; поднявшись на откос, миледи поскользнулась и упала на колени.

Суеверная мысль поразила ее: она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки.

Маке

Тогда стала видна ужасная сцена: палач медленно поднял обе руки, опустил меч, и обезглавленное тело повалилось под ударом. Был слышен свист меча и крик жертвы.

Человек, закутанный в плащ, столкнул тело в реку и скрылся в темноте.

Дюма

Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки; в лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились; послышался свист меча и крик жертвы, затем обезглавленное тело повалилось под ударом.

Палач отстегнул свой красный плащ, разостлал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку.

Выехав на середину реки, он остановил лодку и, подняв над водой свою ношу, крикнул громким голосом:

— Да свершится правосудие божие!

И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним…

Маке

Мушкетеры искали глазами лорда Винтера и д’Артаньяна. Первый убежал, второго тоже не было нигде видно.

Дюма

Три дня спустя четыре мушкетера вернулись в Париж; они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит г-ну де Тревилю.

— Ну что, господа, — спросил их храбрый капитан, — хорошо вы веселились, пока были в отлучке?

— Бесподобно! — ответил Атос за себя и за товарищей.

Увы, нам уже не узнать, кто придумал идею, что мушкетеры казнят миледи, что в этом должен участвовать палач; но, так или иначе, очевидно, что Маке написал не «набросок» этой ударной сцены, а полноценный текст; да, он был полноценным автором. (Сцена — одна из заключительных в романе, а роман — один из первых, написанных в соавторстве; можно предположить, что в

начале «Трех мушкетеров», когда соавторы хуже понимали друг друга, Дюма правил больше, а в следующих работах — меньше.) Но можно ли свести работу Дюма к стилистической правке? Текст — это не только стиль, не только «сказал» вместо «молвил». Это архитектурное строение, в котором ничего не делается «просто так». Когда пишешь сцену, надо понимать, как реплики персонажей раскроют их характеры, кто что мог произнести, а кто чего не мог, надо «видеть» мизансцены, чтобы их увидел читатель. Текст Маке полноценный, логично выстроенный, только не очень хороший. Его недостатки видны как на ладони. Во-первых, отсутствие сценичности (и сразу ясно, почему вначале никто не ставил его пьесы). Его персонажи — «говорящие головы», а сцена-то по задумке динамичная, тут все должно быть видно: кто где стоял, кто куда пошел. Маке: «Миледи, которую вели двое слуг…» Как они ее вели? Палкой гнали? Тащили на руках? А что делали остальные? Дюма: «Гримо и Мушкетон увлекали вперед миледи, держа ее за руки; палач шел за ними, а лорд Винтер, д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис шли позади палача. Планше и Базен замыкали шествие». Маке: «Человек, закутанный в плащ, столкнул тело в реку». Как столкнул — катил по земле, что ли? И столкнуть мало: тело тяжелое, у берега мелко, а им ведь надо, чтобы труп исчез. Дюма: «…отстегнул свой красный плащ, разостлал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку». Реплики у Маке тоже несценичные, неестественные. Атос нудно читает мораль: «Посмотрите на себя в этот высший час, и вы увидите… Мне жаль вас, мадам…» «Вы не женщина, — энергично припечатывает он у Дюма, — вы не человек — вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться!»

Во-вторых, у Маке проблемы с психологией героев. Обратите внимание: когда д'Артаньяну становится жаль миледи, на него «наезжает» Портос. Почему вдруг Портос, у которого нет никаких особенных причин ненавидеть эту женщину? Разумеется, у Дюма это делает Атос, у которого такие причины есть. Кроме того, Портоса д'Артаньян просто не послушал бы — с какой стати тот ему указывает? Но к Атосу он относится как к отцу и молча подчиняется. «Я люблю тебя» в устах миледи звучит фальшиво, какая уж теперь любовь, д'Артаньян не поверит; другое дело «Вспомни, что я любила тебя!» — пробуждающее в душе мужчины сентиментальные или сладострастные воспоминания. Маке: «Миледи в ужасе вскрикнула и упала на колени. Д'Артаньян, опустившись на пень, заплакал». Почему вдруг железная, жестокая женщина вскрикивает и падает, а не держится, как

раньше, угрожающе? И плаксивость д'Артаньяна немотивирована; что нового он услышал, с чего вдруг разжалобился? Дюма вводит гениальную деталь: «Ах, боже мой! — закричала она. — Боже мой! Неужели вы меня утопите?» Женщина представляет не абстрактную, а конкретную смерть, ту, которой почему-то особенно боится, и испытывает такой физический ужас, что ее воля на мгновение ломается, и она кричит, у нее истерика, и тогда «д'Артаньян… наклонил голову и заткнул ладонями уши; но, несмотря на это, он все-таки слышал ее вопли…». Мужчина жесток, но ему трудно вынести женскую истерику; он реагирует именно на истерику, на звук плача, а не на тот давно известный ему факт, что ее казнят.

Вообще Дюма — психолог тонкий, его герои всегда действуют в соответствии со своими характерами, и он замечает несоответствия у других. В 1862 году он писал об «Отверженных»: «Возможно ли, что мать, Фантина, которая любит свою дочь так, что готова остричь себе волосы и вырвать зубы ради нее, спокойно оставляет ее у Тенардье, то есть у первых встречных? Возможно ли, что Вальжан, обладающий не только высочайшим интеллектом, но и развитым инстинктом, так глуп, что заявляется к Тенардье в громадной шляпе и желтом рединготе, дает Козетте 20 су за то, что стоит 15, и дарит ей куклу за 40 франков, тогда как он совсем не заинтересован, чтобы на его отношение к малышке обращали внимание? Возможно ли, что Мариус, видящий, что делают Жандре или Тенардье, сознавая, с какими грязными негодяями он имеет дело, не делает спасительного выстрела из пистолета, потому что вдруг задумался об умершем отце? Возможно ли, что Вальжан, с помощью невероятных ухищрений сумев достать раскаленное железо, не воспользуется им только потому, что немножко обжег руку?!»

Мрачную, жестокую сцену, которая у Маке завершается вяло, «никак» — «Первый убежал, второго тоже не было нигде видно» — Дюма венчает блистательно: «Хорошо вы веселились, пока были в отлучке? — Бесподобно! — ответил Атос». Это не стилистический штришок, это несущая балка, что держит общую ироническую тональность текста, который не должен стать нагромождением ужасов. Маке нарушал убедительность действий и слов, тем разрушая убедительность всего здания романа. Дюма возвращал все на положенные места. Но это не упрек Маке. Он отлично делал то, в чем Дюма был слабее: организовывал и проектировал роман, так что в дуэте «архитектор — каменщик» именно он играл роль первого, а Дюма второго. Но литература все же не архитектура: здесь обе роли важны одинаково.

Часто говорят, что Маке без Дюма ничего не написал, или,

наоборот, что Дюма без Маке ничего стоящего не написал. То и другое неверно. Дюма половину своих работ писал без соавторов, Маке — тоже: он издал романы «Бо из Анженна» (1843), «Две измены» (1844), «Граф Лаверни» (1852), «Падение сатаны» (1854), «Прекрасная Габриэль» (1855), «Долги сердца» (1857), «Дом купальщика» (1857), «Белая роза» (1858), «Сцены из царствования Людовика XIV» (1858), «Зеленые листья» (1862), «Париж при Людовике XIV» (1883); в соавторстве с Ж. Арно и Ж. Пуйолем он написал документальную «Историю Бастилии» (1844), а также семь пьес самостоятельно (первую после «Батильды» — в 1852 году, уже после разрыва с Дюма) и несколько с другими драматургами. Хорошо ли он писал? У нас, увы, нет возможности разбирать его творчество, но вот небольшой пример: «Две измены» — роман, изданный в разгар его сотрудничества с Дюма:

«— Если вы путешествуете в качестве туриста, — продолжил Марселин, — вам должно быть интересно увидеть батарею де Сен-Мар; у меня есть удобный кабриолет…

— Ах! У вас есть кабриолет! Но зачем?

— Черт возьми! Чтобы ехать в нем домой.

— Так у вас там еще и дом? Может, у вас там еще и земля?

— Да, как раз за Сен-Мар. Садитесь в мой кабриолет, и я вас привезу в мой дом.

Тогда у Филиппа раскрылись глаза, и он узнал о своем друге двадцать разных подробностей, каких не прочтешь в документах: что он получил наследство от отца, который значил для него больше всего на свете, что, оставив своей младшей сестре 6000 экю ренты, он уехал в Константинополь, так как всегда испытывал страсть к востоку, и так далее…» Стиль неотличим от стиля Дюма, тот же диалог с повторяющимися словами; Маке следует правилу, сформулированному Дюма в «Истории моих животных»: «Говорить о персонажах после того, как они появятся, вместо того чтобы выводить их после того, как о них рассказано». Сам додумался или усвоил урок Дюма — кто знает? Почитайте романы Маке («Прекрасная Габриэль» в 1870-е была переведена на русский язык) и убедитесь, что различие между соавторами не в стиле. Александр Иванов, «В тени великого Дюма»: «Маке написал замечательный приключенческий роман плаща и шпаги, который наглядно показывал его талант строить увлекательную интригу и сыпать блестящими диалогами, мало в чем уступающими Александру Дюма», но он «не всегда придает значение своим персонажам». Герой «Габриэли» (не говоря уж о второстепенных персонажах) плоский, вялый, ему недостает убедительности. Кроме того, Маке по-прежнему грешит «говорящими головами». Наконец, он, как и Дюма, по-видимому,

испытывал трудности с придумыванием (не с построением — это разные вещи) сюжетов: если его романы не основаны на исторических эпизодах, то сводятся к описанию любовных треугольников. Но это не значит, что без Дюма он потерялся и писал ерунду. Нормальные крепко сколоченные романы, они имели успех. Что касается Дюма, он в поздние годы напишет ряд текстов, по уровню не уступающих тем, что он делал с Маке, в некоторых отношениях — превосходящих, но тоже не без недостатков: сюжетные линии чрезвычайно однообразны. Вместе у них получалось лучше всего. Они были созданы друг для друга.

А что Куртиль — считать ли и его автором «Мушкетеров»? Его книгу принято называть ничтожной, но это неверно: у него хороший легкий стиль и ему полностью принадлежит характер д'Артаньяна. «Моя лошадка настолько утомилась от дороги, что едва ли была в силах поднять хвост, и вот местный дворянин посмотрел на меня и моего коня презрительным взглядом. Я прекрасно видел и его самого, и ту улыбку, какой он невольно обменялся с двумя или тремя особами, что были вместе с ним… Его улыбка была мне так неприятна, что я не мог помешать себе засвидетельствовать ему мое неудовольствие в очень обидных словах. Он был намного более мудр, чем я, он сделал вид, что не слышит — либо он принял меня за ребенка, не могущего его оскорбить, либо он не хотел пользоваться превосходством, каким, по его уверенности, он обладал надо мной. Ибо он был крупным мужчиной в самом расцвете сил, и можно было сказать, осмотрев нас обоих, что я, должно быть, сошел с ума, осмелившись атаковать особу вроде него. Однако за меня был довольно-таки добрый рост, но всегда кажешься ребенком, когда тебе не более лет, чем мне было тогда; все, кто были с ним, превозносили про себя его сдержанность, в то же время ругая меня за неуместную выходку. И только я принял все это иначе. Я нашел, что его презрение еще более оскорбительно, чем первое надругательство, что, как мне казалось, я получил. Итак, теряя уже совершенно всякий рассудок, я пошел на него, как фурия, не принимая во внимание, что он-то был на своей земле и что мне придется помериться силами со всеми, кто составлял ему компанию». Весь человек обрисован в одном абзаце — бездарному писателю такое не сделать.

Дальнейшие события Маке полностью заимствовал у Куртиля: ссора с мушкетерами, закончившаяся дружбой, служба у Тревиля, связь с женой хозяина гостиницы, вражда с Рошфором (это из «Мемуаров de Mr. L. C. D. R.»), история с миледи, включая линию горничной Китти; эпизод, где д'Артаньян проводит ночь с миледи, выдав себя за другого, а его ревнует служанка, без

изменений взят у Куртиля; клеймо миледи найдено в «Мемуарах L. C. D. R.». Сцена групповой дуэли, одна из ударных, целиком взята у Куртиля, даже знаменитая фраза «Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребенок, а скажут, что нас было четверо» — и то из него. Д'Артаньян у Куртиля пересказывает разговор мушкетеров: «Кто я такой? Всего лишь ребенок, и Жюссак не замедлит воспользоваться таким преимуществом и сумеет их опорочить; он выставит против меня такого человека, кто быстренько отправит меня на тот свет, и этот человек обернется против них, в результате они останутся только втроем против четверых, а из этого не выйдет уже ничего, кроме несчастья». Д'Артаньян спас жизнь Атосу, и с этого началась дружба — это все тоже Куртиль… Помните, что Маке сказал Лакруа? «Первые тома были написаны мной одним, без обсуждения плана, по первому тому „Мемуаров д'Артаньяна“». Удивительно, конечно: сошлись два писателя, не умевшие придумывать сюжеты, и написали несколько самых увлекательных романов на свете… Слава богу, что им попался Куртиль; не только придумавший, но и написавший почти все сюжетные линии, почти всех персонажей, по совести — он должен бы считаться соавтором.

Но Куртиль писал не роман; со второго тома его книга становится скучновата. Все о деньгах: сколько и кому д'Артаньян задолжал, и кто ему задолжал, и как он пытался найти богатую жену и жил на содержании; из пылкого честолюбивого мальчика повзрослевший герой превращается в альфонса. (Потом, правда, вновь интересно: когда он начинает заниматься политикой и работать на кардинала Ришелье; этот материал будет использован в «Двадцати годах спустя» и «Виконте де Бражелоне»). Видимо, когда первый том Куртиля закончился, Дюма и Маке, начитавшиеся к тому моменту и других книг, посидели и составили дальнейший план, в центре которого история с подвесками, описанная в мемуарах Франсуа де Ларошфуко и книге Антуана Редерера «Политические и любовные интриги при французском дворе»; сюжет с похищением Констанции они могли найти в мемуарах Пьера де ла Порте, лакея Людовика XIV, другие детали — в мемуарах мадам де Лафайет и «Маленьких историях» Тальмана де Рео; чтобы написать об осаде Ла-Рошели, они перенесли действие в 1620-е годы из 1840-х Куртиля.

Составить план не значит только утвердить последовательность сцен: сюда входит обсуждение биографий и характеров героев и отношений между ними. И тут они резко отклонились от Куртиля. Да, мальчишка, которого в начале

описал Куртиль, мог стать беспринципным шпионом и бессовестным альфонсом. Но у Дюма и Маке не стал: его спасла дружба. Всех четверых спасла от превращения в мерзких типов (а у них были для этого задатки, даже у Атоса) именно она; именно тема идеальной дружбы, а не интрига, держит всю конструкцию романа.

Идею неразлучной четверки дал опять-таки Куртиль. Но о трех остальных мушкетерах у него сказано очень мало. Значительнее всего его вклад в Портоса, который при знакомстве с д'Артаньяном повел себя следующим образом: «…расхохотался, выслушав мое обращение к нему, и сказал мне, что при быстрой ходьбе обычно преодолевают большую дорогу, но, может быть, я еще не знаю, больнее всего расшибают себе ноги, как раз слишком торопясь вперед; если надо быть бравым, то для этого совсем не нужно быть задирой; обижаться же некстати — столь же позорная крайность, как и слабость, какой хотят избежать таким путем. Но раз уж я не только из его страны, но еще и его сосед, он хотел бы послужить мне наставником, а не драться со мной; однако, если мне так приспичило напороться, он предоставит мне такую возможность в самом скором времени». Набросок характера есть; у Куртиля же Маке и Дюма прочли историю с перевязью (относящуюся к другому персонажу) и решили соединить. Дальнейшее развитие характера — вопрос техники. Одни литературоведы считают, что Дюма дал ему некоторые черты своего отца, другие — что прототипом был дед Маке. Второе больше похоже на правду. Маке, как доказывает их с Дюма переписка, питал к Портосу особенное пристрастие, тщательно писал сцены с его участием, а Дюма их не правил — только восхищался.

На Арамиса «Трех мушкетеров» Арамис Куртиля не похож: простоватый драчун, еще одно издание Портоса. Но священник-дуэлянт у него мельком упоминается: «У них был еще и третий брат по имени Ротондис, и тот, лишь накануне добившийся бенефиций Церкви, видя Жюссака и своих братьев в растерянности, не знающих, кого бы им взять для драки против меня, сказал им, что его сутана держится всего лишь на одной пуговице и он готов ее оставить для такого случая». Все-таки Куртиль удивительно умел обрисовать характер одной фразой! (Существовал дворянин д'Арамиц, ставший (по некоторым источникам) священником; может, Дюма и Маке о нем слышали, а может, совпадение.) За что уцепились в Атосе? У Куртиля это человек легкомысленный, то и дело влюбляющийся, залезающий в долги; ничего общего, скорее похоже, что некоторые черты этого Атоса подарили Арамису. Не узнать, кто больше разрабатывал

романного Атоса, но все же кажется, что это был Дюма, очень уж «его» персонаж и тема — мрачность, месть, палач, отрубленная голова…

И вот они сошлись, четверо таких разных: гениальная схема. Трудно сказать, так ли важно, что героев четверо — Конан Дойл для описания мужской дружбы обошелся двумя, — но литературоведы вспоминают и четырех апостолов, и четыре типа темперамента, и, возможно, те же ассоциации приходили в голову авторам. Дмитрий Быков: «Пылкое щенячество обожает холерика д'Артаньяна, чувствительная юность ценит мечтательного и хитрого меланхолика Арамиса, ранняя зрелость соотносит себя с толстым сангвиником Портосом, которого Дюма, само собой, писал с сорокадвухлетнего себя, зрелость поздняя утешится всезнанием и стоицизмом флегматика Атоса».

Теофиль Готье: «В союзе четырех храбрецов, объединивших помыслы, сердца, силу и доблесть, есть нечто трогательное. Эти четыре брата — братья не по крови, а по духу — образовали такую семью, о которой можно только мечтать. Кто в пору доверчивой юности не пытался установить такие же отношения; но — увы! — они распадались при первой же трудности или соперничестве — по вине Ореста ли, Пилада ли, не все ль равно? В этом успех романа…» Дружба, ровное, надежное пламя, что вечно греет не обжигая; приключения, беззаботность, возвращение к детству — всей этой обольстительной прелести в романе резко противопоставлен мир женщин, мир бушующего, опасного огня, что оставляет после себя пепел и руины — Атос навек холоден и несчастен, д'Артаньян из пылкого мальчика стал циником — и авторы карают женщин за это: Констанция мертва, миледи мертва, сердечко Китти разбито. Как все великие приключенческие романы, «Три мушкетера» — женоненавистнический текст, и это естественно, и так должно быть. Женщина — это взрослая жизнь, это мама, что нудит, отрывая от игры; зарплата, теща, мусорное ведро, кастрюли, пеленки, прокладки, лекарства, скука и грязь. Как сладко спрятаться от нее в прекрасный стерильный мир детства. Почему девочки тоже любят приключенческие романы? Так ведь им еще не успели объяснить, что они — это кастрюли, пеленки, прокладки… Бывают женщины, что так никогда этого и не усвоят. Миледи, надо думать, была такой. Но мы не любим впускать женщин в свой мир. Сразу рубим головы.

Глава девятая
СТРАШНАЯ МЕСТЬ

«Три мушкетера» — редкий (хотя не единственный) случай в истории литературы, когда шедевр пишется второпях, между другими работами: параллельно с 25 апреля по 13 июля 1844 года в «Коммерсанте» Дюма и Маке печатали роман «Дочь регента» по пьесе «Элен Саверни»; обе работы еще не завершились, а у соавторов уже был замысел «Графа Монте-Кристо». В 1843-м Дюма заключил с издателями Бетюном и Плоном договор на книгу «Парижские путевые записки»: он хотел писать историю Парижа, издатели просили остросюжетный роман типа только что вышедших «Парижских тайн» Эжена Сю. Сам Дюма сюжет придумать не смог, но один эпизод взял на заметку. В опубликованных в 1838 году «Мемуарах, извлеченных из архива парижской полиции» Жака Пеше была история «Алмаз мщения» (она также публиковалась в «Парижском обозрении» за 1845 год; некоторые исследователи считают, что ее автор не Пеше, а барон Ламотт-Лонго или журналист Эмиль Бушри) — «раковина, внутри которой скрывалась жемчужина, бесформенная, необработанная, не имеющая еще никакой ценности, — жемчужина, нуждавшаяся в ювелире…».

В 1807 году в Париже сапожник Пико из города Нима пил в кабаке своего земляка Лупиана с другими земляками и хвастал богатой невестой. Лупиан, имевший виды на нее же, предложил приятелям донести, будто Пико английский шпион. Пико арестовали; лишь в 1814-м он, превратившийся в старика, вышел из тюрьмы. Там он ухаживал за итальянским священником, который перед смертью завещал ему клад: Пико клад нашел, вернулся в Париж и узнал, что его посадили земляки и что невеста вышла за Лупиана. Он обдумал месть, одного убил и занялся Лупианом. От первого брака у Лупиана осталась дочь; тип, подосланный Пико и выдающий себя за миллионера, женился на ней, а оказался каторжником; дом и кабак Лупиана сгорели; его сын сел в тюрьму; его жена умерла от горя; Пико за деньги купил у него дочь; от несчастий Лупиан почти обезумел — и тогда Пико ему открылся и убил. Но тут другой земляк, Аллю, узнавший, кто он такой, похитил его и морил голодом и жаждой, требуя платить миллионы за кусок хлеба, но в приступе раздражения убил, а под конец жизни продиктовал этот рассказ священнику. Все даже круче, чем в романе…

На сей раз Дюма и Маке начали с очного совещания.

Перенесли действие в современность — как считают некоторые исследователи, чтобы подчеркнуть, что за политику любого могут посадить бессудно, как и при Наполеоне, а может, просто следуя примеру Сю. Придумали несколько любовных линий и массу персонажей. Пощадили бывшую невесту героя, детей Морсера, а главное, до неузнаваемости переделали героя — в данном случае о «соавторстве» Пеше не может быть речи именно потому, что его персонаж не имеет с графом Монте-Кристо ничего общего. Э. М. Драйтова: «Итак, Эдмон Дантес стал орудием Провидения. Чем же он отличается от своего прототипа Пико, остающегося обычным мстителем? Почему Дантес оказывается неподсуден и неприкосновенен при свершении своего возмездия, тогда как Пико убивает, но гибнет сам? Подсознательно человек, сравнивающий два сюжета, ощущает, что Пико получил по заслугам, а Монте-Кристо не должен нести наказание за свои действия, хотя они тоже привели к гибели почти всех его обидчиков. А дело вот в чем. Будь Дантес похож на Пико, он стал бы неумолимым Роком, он не оставил бы своим врагам возможности найти причину своих несчастий, лишил бы их свободы выбора: изменить свою жизнь либо разрушить себя окончательно. Монте-Кристо не решает судьбу своих обидчиков, он предоставляет им возможность либо превысить предел нарушений, либо изменить себя. Не Дантес убивает своих врагов, а их привычная логика действий… Граф Монте-Кристо только предельно ужесточает ситуацию выбора, в которой Кадрусс должен решить, грабить ли, Морсер — обманывать ли… Они не видят выбора, не делают его и потому гибнут». (А раскаявшийся в конце концов Данглар остался жить.)

По замыслу Дюма, роман должен был начаться со знакомства графа с Альбером де Морсером, а предыстория даваться в пересказе: удивительно, как тут не сработало его театральное чутье — загнать в пересказ самые ударные сцены! Дело спасло умение Маке правильно спроектировать роман; он сказал соавтору, что начинать нужно с начала. «Весь вечер, всю ночь и утро я думал о его замечаниях, и они показались мне настолько справедливыми, что под конец совсем вытеснили мой первоначальный замысел. И вот когда Маке на следующий день зашел ко мне, он увидел, что роман разбит на три четко разграниченные части: Марсель — Париж — Рим. В тот же вечер мы совместно с Маке набросали план первых пяти частей… Все остальные, хотя и не были разработаны в деталях, были в общем ясны… Я полагаю, что он проделал работу соавтора…»

Итальянский писатель Итало Кальвино утверждает, что роман написал Фиорентино. Эта точка зрения была

распространена и при жизни Дюма и Маке — обоим приходилось отбиваться. Маке — Полю Лакруа: «Возможно, он (Фиорентино. — *М. Ч.)* посылал Дюма какие-либо сведения об Италии, но никогда не участвовал в работе над романом; я написал план и вместе с Дюма работал над каждой главой, за исключением истории бандита Луиджи Вампо». Дюма: «Почему тогда не заявить, что я написал „Божественную комедию“? У меня столько же прав на нее, как у Фиорентино на „Монте-Кристо“: он его читал». Дюма бывал в Италии и писал о бандитах еще до знакомства с Фиорентино, но даже если тот сообщил какие-то сведения, считать его соавтором так же нелепо, как назвать соавторами знакомых Дюма: врачей — на том основании, что в романе прекрасно (как отмечают современные медики) описаны болезни (в частности, инсульт), или психиатра Моро де Тура, в 1844 году основавшего в Париже «Клуб гашишистов», который Дюма посещал, что дало ему возможность описать наркотические галлюцинации. (Клуб представлял собой не наркопритон, а литературно-художественный салон, его самыми активными членами были Готье, Нерваль, Бодлер. Бальзак и Гюго туда ходили, но гашиш не пробовали. Дюма пробовал, но не увлекся: он берег здоровье.) Подчеркиваем еще раз: мы считаем Маке и отчасти Куртиля соавторами Дюма потому, что они не просто «дали сведения», а написали тексты.

Вторую часть «Мушкетеров», «Дочь регента» и «Монте-Кристо» Дюма писал летом 1844 года. В Париже его «доставали» — актрисы, начинающие драматурги, кредиторы, — и он искал где потише. В конце мая он был в городке Сен-Жермен-ан-Ле в 20 километрах от центра Парижа, с 1837 года туда ходили поезда — удобно, близко, похоже на Вилле-Котре: провинциальная жизнь, старый королевский замок, лес. Дюма снял коттедж «Вилла Медичи», столовался в ресторане при отеле «Павильон Генриха IV». Понравилось, решил остаться навек: 16 июня купил три гектара леса в Порт-Марли, деревне на полпути от Сен-Жермена до Парижа. Архитектору Ипполиту Дюрану рассказал план: вокруг дома — парк с буйной неподстриженной зеленью, всюду фонтаны. Дюран сказал, что почва глинистая — Дюма велел копать, пока не дойдут до туфа. Это упрямство ему дорого обойдется. Сам дом он представлял «замком в стиле Возрождения»: три этажа, 15 комнат, башенки, на крыше — лес флюгеров, на фасаде — медальоны с изображением великих писателей. В 200 метрах от замка — павильон, окруженный рвом, с подъемным мостиком и смотровой площадкой; на кладке выбиты названия книг хозяина. Всюду камины, доспехи, старинное оружие, роспись — кошмар пуриста, вкус у Дюма был

не лучше, чем у Иды Ферье или Бальзака. На это великолепие планировалось потратить 48 тысяч франков. Да хоть и больше — не вопрос. Теперь он богат. Жюль Жанен: «Дюма пишет том в неделю и за неделю зарабатывает 8 или 10 тысяч франков. Вот что значит быть гениальным человеком! Добывать деньги».

Новый дом — новая подруга: Селеста Скриванек (1825–1910), племянница известной актрисы Эжени Скриванек, играла в театре Бомарше, амплуа — травести, похожа на девочку, музыкальная, не бог весть какого таланта, но неглупая. Он устроил ее в театр «Пале-Рояль», дома поручал секретарскую работу — справлялась не хуже мужчин. 10 августа он повез ее на две недели в Трувиль, с ними поехал Маке — работать над «Монте-Кристо». Это единственный роман, написанный Дюма и Маке в полноценном соавторстве с ежедневным обменом мнениями, и потому лучший (с профессиональной точки зрения): пропорционально и безошибочно спроектированный, мощно и элегантно исполненный. Соавторы узнали друг друга ближе; увы, Маке не оставил вразумительной характеристики Дюма, но тот Маке охарактеризовал («Из Парижа в Кадис», 1846): «Он, будучи, вероятно, человеком, работающим больше всех на свете, если не считать меня, мало бывает на людях, мало себя показывает, мало говорит; это строгий и в то же время яркий ум… У него невероятно сильная воля, и если, поддаваясь первому порыву, он инстинктивно проявляет чувства, то сразу, будто стыдясь того, что ему кажется слабостью, недостойной мужчины, загоняет их в темницу своего сердца, словно учитель, поймавший бедных маленьких прогульщиков… Этот стоицизм придает ему нечто вроде нравственной и физической несгибаемости, которая наряду с преувеличенными представлениями о верности входит в число двух его недостатков — других я у него не знаю».

«Монте-Кристо» начал публиковаться в «Дебатах» 28 июня 1844 года (завершился 12 августа 1845-го) и вызвал еще больший ажиотаж, чем «Мушкетеры». Все говорили о Дюма, ему приписывали книги, к которым он не имел отношения, как, например, «Подлинные парижские тайны», переводной с английского роман о сыщике Видоке. (У нас в 1990 году вышел роман «Последний платеж», якобы принадлежащий Дюма: Эдмон Дантес приезжает в Россию и узнает, что его однофамилец убил Пушкина; многие купились на мистификацию автора В. А. Лебедева.)

С сентября у Дюма-старшего поселился двадцатилетний Дюма-младший — раздумавший эмигрировать, начавший писать (опубликовал первый роман «Приключения четырех женщин и попугая» в 1845 году) и переживший связь с куртизанкой Мари

Дюплесси. Отец видел ее, не осуждал, как в «Даме с камелиями», сказал, что девушка хорошая, но семьи с ней не получится. 30 августа сын порвал с ней и приехал к отцу. Теперь он отцовский образ жизни не осуждал и с Селестой был в нормальных отношениях (та кокетничала и с ним, в письмах называя себя «мамочкой»). Альфред Летелье и Рускони также жили на «Вилле Медичи», Маке бывал ежедневно. Тишины не получилось, повалили гости. «Начальник железной дороги сказал мне однажды, что я приносил ему 20 000 франков дохода в год… благодаря мне жители Сен-Жермен перестали быть похожими на Спящую красавицу; я внес в город тот дух, что его жители поначалу приняли за разновидность эпидемии лихорадки, наподобие той, которую производит укус неаполитанского паука…» Дюма арендовал театр Сен-Жермен, приглашал туда труппу Французского театра, кормил артистов за свой счет; убытки — чепуха, заработаем! Оформил развод с женой (развод, узаконенный Наполеоном, был запрещен в 1816 году, но дозволялось «раздельное проживание»), подписав 15 октября соглашение: он платит ей тысячу франков в месяц, а также три тысячи в год на содержание лошадей; если она уедет в Италию и оставит ему мебель, он выплатит еще девять тысяч в рассрочку. В обмен на мебель она получала… его дочь Мари. Не знал он, что делать с четырнадцатилетней девочкой. В жизнь на «Вилле Медичи» она не вписывалась. Ида уехала в апреле 1845 года к барону Виллафранка. То, что чужой человек будет воспитывать его дочь, Дюма не смущало: барон был человек неплохой.

24 октября Дюма с сыном, Селестой и редактором «Прессы» Дюжарье поехал на неделю в форт Ам, где сидел Луи Наполеон («заскочили» также в Бельгию и Голландию), — повидать жившего вместе с ним генерала де Монтолона, адъютанта Наполеона: «Пресса» хотела публиковать воспоминания генерала, Дюма должен был их обработать. («Пресса» по какой-то причине текст не взяла, его опубликовало издательство «Полин» в 1847 году.) Познакомившись с Луи Наполеоном, Дюма потом ездил к нему еще дважды, попал под обаяние и задумался: не это ли добрый демократичный король, который нам нужен? По возвращении засел с Маке сразу за три новых романа (продолжая при этом «Монте-Кристо»): «Королева Марго», «Женская война» и «Двадцать лет спустя».

Петр Кропоткин недаром писал: «„Капитанская дочка“ и „Королева Марго“ надолго заинтересовали меня историей»: «Марго» такой же шедевр, как «Монте-Кристо», но в своем, историческом, жанре. Говоря о причинах бессмертия «Мушкетеров», мы задержались лишь на психологических,

которые осознавали такие люди, как Теофиль Готье, и которые будут держать роман на плаву вечно, но тогдашняя публика сходила с ума от романов Маке — Дюма по другой причине: никто не рассказывал ей об истории так интересно, о великих людях так просто. Был Вальтер Скотт, но то чужая история. Де Виньи написал «Сен-Мара», Гюго — «Собор Парижской Богоматери», Бальзак — «Шуанов», Мериме — «Хронику времен Карла IX», но они были суховаты, или тяжеловаты, или сложноваты; в этих книгах фигурировали либо короли, либо «маленькие люди», а Дюма и Маке их удачно соединяли. В «Королеве Марго» они создали идеально уравновешенную пару «большой — маленький»: обаятельный Генрих IV и столь же обаятельный шут Шико (реальный человек, Жан Антуан д'Англере, писатель-сатирик, единственный придворный шут, который участвовал в военной и политической жизни). Для Дюма это была самая важная фигура — он все время требовал от соавтора: «Как можно больше Шико!» (Не себя ли видел идеальным шутом при идеальном короле, не на себя ли примерял слова Шико: «Один лишь я без всякой опасности для себя верчу в руках эту корону, играю с нею, а ведь стольким людям мысль о ней обжигает душу, пока еще не успела обжечь пальцы»? Да, идеальный король умер; но теперь он знал другого.) Вообще «Марго» — роман пар, как «Мушкетеры» — роман четверок: демонические Маргарита и Екатерина, трогательные Ла Моль и Коконнас. И любимый финал: голова на плахе.

«Женская война» и «Двадцать лет спустя» написаны на одну тему, тоже важную для Дюма: фронда *(la fronde* — «праща») — так называли вялотекущую войну между властью и горожанами в Париже в 1648–1653 годах. Премьер-министра Мазарини (фактического правителя при Анне Австрийской) не любили, войны истощили казну; в 1648-м на улицах Парижа начались стычки, Мазарини отправил нескольких оппозиционеров в ссылку, парижский парламент заявил, что свободу зажимают — мы живем в просвещенном XVII веке, а не в Средневековье какомнибудь! — в Англии только что парламент одолел короля, Мазарини испугался, арестовал еще ряд оппозиционеров, на другой день горожане вышли на улицы, королева была вынуждена освободить арестованных и бежать с Мазарини из города. Ядовитый Дюма: «Парижане в одно прекрасное утро проснулись без королевы и короля. Это их так поразило, что они никак не могли успокоиться, даже тогда, когда узнали, что вместе с королевой исчез, к великой их радости, и Мазарини. Первым чувством, охватившим Париж, когда он узнал о бегстве в Сен-Жермен… был некоторый испуг, вроде того, какой охватывает

ребенка, когда он ночью проснется и вдруг увидит, что он один и около него никого нет. Парламент взволновался; постановлено было избрать депутацию, которая должна была отправиться к королеве и умолить ее не лишать долее Париж своего королевского присутствия».

Париж на некоторое время утих, а в Англии Кромвель требует казнить свергнутого короля Карла («великие» революции везде одинаковы: до власти дорывается самый жестокий и учиняет террор). Неизвестно, Маке или Дюма изобрел гениальный ход: поделить мушкетеров на две враждующие партии. Как ссора влюбленных, оживляющая чувства, этот конфликт нужен затем, чтобы дружба четверки не была слишком благостно-слащавой; надо чуть не поубивать друг друга, чтобы услышать от Атоса: «Никогда, клянусь в этом перед богом, который видит и слышит нас в эту торжественную ночь, никогда моя шпага не скрестится с вашими, никогда я не кину на вас гневного взгляда, никогда в сердце моем не шевельнется ненависть к вам». Д'Артаньян с Портосом за власть, Атос с Арамисом в оппозиции: почему именно так? С д'Артаньяном понятно, основное содержание «Двадцати лет» взято у Куртиля, а его д'Артаньян служит Мазарини. Дюма и Маке не могли все перевернуть с ног на голову, да это было бы и неубедительно: практичный, ленивый и не чрезмерно честолюбивый гасконец не мог ни с того ни с сего стать фрондером. Арамис с его бешеным честолюбием, напротив, вечный оппозиционер. Но о том, как поделить Атоса и Портоса, думается, были споры. Маке был республиканцем, как Дюма, даже более последовательным (не увлекался «добрыми королями»), сочувствовал Фронде, а его любимым героем был Портос: не исключено, что хотел его поставить в пару с Арамисом, а Дюма, влюбленный в Атоса, настоял на своем варианте, пообещав Маке, что Портос станет оппозиционером в следующий раз, — так в «Виконте де Бражелоне» и сделали, хотя там оппозиция куда более сомнительного морального свойства.

«Двадцать лет спустя» многие ценят выше «Мушкетеров» — редкий случай для сиквелов, но объяснимый: соавторы изначально спланировали работу вместе. Эффектнейшая сцена казни Карла, «Remember», чудесная вставная новелла о побеге Бофора из тюрьмы и мощная сквозная тема возмездия. «Веселый и легкий» роман «Три мушкетера» вообще-то закончился групповым убийством женщины — да, она виновна, и убили они, как Монте-Кристо, не своими руками, а через палача (он не человек, а орудие Провидения, как мостовая, о которую разбилась голова Фердинанда) — и все же сцена получилась садистской. Атос единственный сознает это: «Мы вместе проливали кровь, и,

может быть, прибавлю я, между нами есть еще другая связь, более сильная, чем дружба: мы связаны общим преступлением». «Из груди Мордаунта вырвалось давно сдерживаемое рыдание. Краска залила его бледное лицо. Он стиснул кулаки, лицо его покрылось потом, и волосы поднялись, как у Гамлета.

— Замолчите, сударь! — вскричал он в ярости. — Это была моя мать. Я не хочу знать ее беспутства, ее пороков, ее преступлений. Я знаю, что у меня была мать и что пятеро мужчин, соединившись против одной женщины, скрытно, ночью, тайком убили ее, как низкие трусы». Дружба, скрепленная кровью, не может остаться безоблачно-чистой, попытка избежать проклятая толкает на новое зло: Атос, вопреки друзьям пытавшийся спасти Мордаунта, случайно, защищаясь, убивает его. Провидение не простит — заберет сына, как он забрал сына своей мертвой жены.

«Двадцать лет спустя» кончились на том, что мушкетеры пленили Мазарини и поставили одним из условий освобождения индульгенцию видным фрондерам; «Женская война» начинается с того, что Мазарини условий не выполнил. Это продолжение — так почему мушкетеров в нем нет? Ответ прост: «Женскую войну» начали раньше, а уже в ходе работы возникла идея вернуться к героям «Мушкетеров». Но не переделывать же — некогда! Вероятно, поэтому «Женская война» — роман слабый, и более взыскательными авторами был бы отвергнут как неудачный черновик: тяжело заставлять себя дописывать текст, когда в голове — другой на ту же тему и гораздо лучше. «Королева Марго» печаталась в «Прессе» с 25 декабря 1844-го по 5 апреля 1845 года, «Женская война» — в «Родине» со 2 января по 1 июня, «Двадцать лет» — в «Веке» с 21 января по 28 июня того же года. Производительность нечеловеческая: Дюма говорил, что по 12–14, а то и 18 часов в сутки работали, и так, видно, и было. В 1848 году он подытожил: «Я работал в течение 20 лет в среднем по 10 часов в день, или 73 000 часов. За это время я написал 400 томов прозы и 35 драм». Только с 1844 по 1848 год они с Маке создали 20 романов и, как подсчитали дюмаведы, произвели на свет 4056 главных персонажей, 8872 второстепенных и 24 339 статистов.

Даром все это не прошло: на одном из судов 1847 года Дюма говорил, что работа довела его до невроза и подорвала здоровье. Еще бы не подорвала: в безумном 1844 году он, кроме романов с Маке, умудрился написать еще массу текстов самостоятельно. Серия статей «Письма о драматическом искусстве» в газете «Мирная демократия»; повесть «Кюре Шамбар» о священнике, нарушившем тайну исповеди (сюжетный ход взят из «Ванинки») в издательстве «Поттер». Мистическая «История одного мертвеца,

рассказанная им самим» для издательства «Бодри»: врач влюбляется в больную, сам умирает, Сатана оживляет его и дает провести с женщиной ночь, он жив, но она-то давно мертва. Близко к эстетике Гофмана, хотя местами больше напоминает Стивена Кинга, особенно когда Сатана говорит герою: «Утрите лицо, у вас в щеке червь…» Притча «История одной души»: душа гордится будущим рождением у богатой матери, Бог ее наказывает: мать умирает при родах. Очерк «Замок и госпиталь Мон-Кармель в Палестине» в издательстве «Фэн» с соавтором, собирателем народных песен Адольфом Дюма. Новелла «Ловля сетями» из итальянской истории в газете «Обзор фельетонов». Детективная пьеса «Лесники» с Левеном и Брунсвиком, поставленная в театре Варьете 15 марта 1845 года. И еще он в 1844 году начал (и будет делать это регулярно) писать сказки — в основном переложения иностранных, но иногда и самостоятельные: «Эгоист» — о жадном фермере, которого наказывают гномы, «Николя-философ» — как крестьянин променял лошадь на корову и так далее, «Медовая каша графини Берты» — из жизни эльфов, и, наконец, «Щелкунчик» — именно по этому тексту, а не по новелле Гофмана, в России директор императорских театров И. А. Всеволожский заказал Мариусу Петипа балет.

Большинство русских и советских литературоведов писали, что вариант Дюма — дрянь, некоторые отмечали, что он «светлее», чем у Гофмана, без фрейдистских мотивов. Но это почти точный перевод, лишь иногда отходящий от оригинала: текст Гофмана начинается фразой «Двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари…», а Дюма, забыв собственный принцип, предваряет энергичное начало разъяснением: «Однажды в городе Нюрнберге жил-был один президент банка… У него были сын и дочь. Сыну было 9 лет и его звали Фриц…»; он также счел нужным немного «разжевать» Гофмана, описывая битву Щелкунчика с мышиным королем и придав ей сценической наглядности.

И это не все: в том же году он закончил серию статей об итальянских художниках и начал историческую хронику «Людовик XIV и его век», вышедшую в 1845 году в издательстве «Дюфур и Фейен». Как это возможно даже при восемнадцатичасовом рабочем дне, представить сложно: современники заподозрили Дюма в эксплуатации чужого труда. Не впервые: еще в 1830-х годах, когда он писал не так уж много,

критик Луи де Ломени в памфлете «Галерея знаменитых современников» бранился: «Пораженный постыдной заразой индустриализма… г-н Дюма телом и душой отдался культу золотого тельца… Физически невозможно, чтобы он написал или продиктовал все, что появляется под его именем». Теперь под его именем появлялось куда больше, вдобавок был успех, громадный заработок, и расцвела зависть. Филибер Одебран в книге «Дюма и Золотой дом» (1888) вспоминал, что на Дюма очень обижался Бальзак: «Обиду легко понять. Он сам хотел печатать романы с продолжениями, но они были намного тяжелей для читателя. Жирарден заменил его „Крестьян“ на „Королеву Марго“». В декабре 1844 года литератор Жан Батист Жако (псевдоним «Эжен де Мирекур»), ранее предлагавший Дюма соавторство, но отвергнутый, обратился в Союз писателей, требуя осудить «цеховой принцип работы отдельных авторов, из-за которого одиночки не имеют возможности заработать на жизнь».

«Цеховой принцип» в XIX веке был распространен, в том числе во Франции: к примеру, Огюст Лепуатвен д'Эгревиль (1791–1854) работал в «бригаде», нанимая, в частности, Бальзака, и выпускал не меньше романов, чем Дюма с Маке. Но Мирекур, обиженный Дюма, сосредоточился на нем: «Это плодовитое перо умудряется недостойными средствами утраивать доход, нанимая скромных помощников, у которых он покупает работу». Председателем союза был тогда критик Вьенне, один из тех, кто когда-то пытался запретить «Антони»; он, вероятно, был не прочь осудить Дюма, но Маке, член союза, дать показания против соавтора отказался, заявив, что доволен сотрудничеством и претензии третьих лиц ему непонятны. Тогда Мирекур написал Жирардену, требуя «закрыть двери перед беззастенчивым торгашом» и открыть их перед «талантливыми молодыми авторами». Жирарден ответил, что его читатели желают Дюма, а не «талантливых молодых авторов», а Дельфина Жирарден высказалась в «Прессе»: «Бальзак и Дюма пишут от пятнадцати до восемнадцати томов в год, им не могут этого простить… пусть они напишут по одному-единственному, совсем маленькому и посредственному, который никто и читать не станет, вот тогда посмотрим. Слишком большой багаж мешает войти в Академию…»

Мирекур 20 февраля 1845 года выпустил брошюру «Торговый дом „Александр Дюма и К°“»: разобрал тексты Дюма и назвал имена «подлинных авторов»: Левена, Буржуа, Гайярде, Нерваля, Мериса, Мальфия, Маке и даже Готье, с которым Дюма совместно не работал. Были и личные оскорбления: «Поскребите г-на Дюма, и вы обнаружите негра… Как вождь индийского племени,

которому путешественники дарят бусы, г-н Дюма любит все, что блестит… Он собирает ордена всех народов… негр во всем! Хвастун, лжец, то гордый, как Сатана, то фамильярный, как бакалейщик; сегодня неистовствует, завтра трусит. Он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые унижают себя, работая, как негры под свист плетки мулата». Мирекур привел анекдот: Маке нарочно вставил 16 «что» в одну фразу и показал друзьям, а на следующий вечер фраза появилась в газете в неизменном виде — стало быть, Дюма даже не читает текстов «соавтора». Маке анекдот публично опроверг — действительно, не в его характере была бы подобная выходка. Почему он не захотел разоблачить соавтора? Тогда его устраивала денежная составляющая: треть гонорара. Он также, видимо, надеялся, что со временем Дюма начнет ставить его имя рядом со своим. Наконец, другие не предлагали ему соавторства, а писать один он побаивался: первые самостоятельные романы, «Бо из Анженна» и «Две измены», успеха не имели.

Анекдотов о «фабрике Дюма» ходило много. Поклонник сказал, что нашел в одной из его книг ошибку. «В какой?» — спросил Дюма. «Шевалье д'Арманталь». — «Черт побери, я не читал его». Другой поклонник, с которым обсуждался замысел нового романа, спросил: «На сей раз вы будете писать один? — Да, я хотел поручить моему лакею, но этот негодяй слишком дорого берет». Дюма анекдоты любил пересказывать, возможно, сам их и придумывал, но обижался, когда в нем сомневались люди, им уважаемые. Из письма Беранже: «Дорогой старый друг. Уверяю Вас, что мой единственный раб — моя левая рука, которая держит книгу открытой, в то время как правая работает двенадцать часов в день».

Сколько в анекдотах правды? Сказать трудно: все соавторы торопились, черновиков не хранили. О романе «Охота на водоплавающую дичь» Дюма сам сказал, что автор — Гастон Шервиль, а он лишь «расставил точки над „i“» (однако подписал своим именем). С другой стороны, он не лгал, когда говорил, что работает по 12 часов в сутки, и мы видели, что он мог писать большие тексты один. Блаз де Бюри описывает случай, когда Дюма на спор за 72 часа должен был написать 75 страниц романа «Шевалье де Мезон-Руж», не располагая ничьим черновиком: «Он сделал это за 66 часов, только рука потом болела. В тексте не было ни единого исправления, он утверждал, что это потому, что весь текст он заранее придумывает в голове». «История моих животных»: «Следует на полчаса задуматься, написать название… а после этого писать по 35 строк на странице, по 50 букв в строке… Тогда через 10, 20 или 40 дней, при условии, что в день

будет написано 20 страниц, что составляет 700 строк или 38 500 букв в день, роман будет написан. Большая часть критиков… считают, что именно так я и поступаю. Только они забывают одну мелочь, а именно то, что, прежде чем приготовить чернила, перо и бумагу, прежде чем приставить стул к столу, прежде чем подпереть голову рукой, прежде чем написать название и слова: „Глава первая“, я порой шесть месяцев, порой год, а то и десять размышляю над тем, что собираюсь написать… Я не начинаю писать книгу, прежде чем не закончу ее». Но это скорее относится к поздним книгам, которые он писал один. В 1844 году размышлять было некогда.

На дуэль Дюма Мирекура не вызвал, повел себя обдуманно, личные оскорбления проигнорировал и 17 февраля 1845 года обратился в правление Союза писателей с письмом: «Есть ли какое-либо злоупотребление в союзе двух человек, объединившихся ради работы на основе условий, которые устраивали и устраивают обоих?» Он спрашивал, повредил ли кому-нибудь или чему-нибудь этот союз: издателям? газетам? читателям? Ничуть. Коллегам? «Нет, так как они были в том же положении и могли, либо по отдельности, либо совместно, противопоставить их продукцию моей». Он указывал, что многие драматурги работают в соавторстве и их почему-то не упрекают. «Теперь перейдем к моему соавтору, весьма удивленному тем, что его участь вдруг внушила неким лицам такую жалость и заботу». Он привел перечень книг, которые они с Маке написали вместе и по отдельности — последнее доказывало, что оба оставляли друг другу свободное время, — и призвал союз защитить его, ибо «действовал в рамках законодательства и имеет право обратиться за защитой своих интересов и чести».

Маке 19 февраля написал Дюма письмо, в котором опровергал анекдот про 16 «что», с позволением зачитать его публично, но сам на заседании союза не выступал. В итоге правление по поводу соавторства ничего официально не заявило, но вынесло Мирекуру порицание за то, что он оклеветал Дюма, «затронув его происхождение, личность, характер и частную жизнь». Как-то слабовато. Тогда Дюма подал на Мирекура в суд и 15 марта выиграл его: ответчика приговорили к пятнадцати суткам и обязали опубликовать приговор в газетах. Но скандалы продолжались. Издатель Рекуле (у которого Дюма изредка публиковался) распространил информацию, что «Мушкетеров» написал Маке; издатель Бодри, купивший права на книжное издание романа, подал на него в суд. Надо было как-то оформлять отношения с Маке. Дюма написал в правление союза официальное подтверждение, что Маке его соавтор, а тот

разрешил передать адвокату Дюма и в союз свое письмо к Дюма от 4 марта 1845 года, в котором отказывался от авторских прав: «…мы всегда обходились без контрактов и формальностей. Доброй дружбы и честного слова нам было достаточно… Но однажды Вы нарушили молчание. Вы поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы. Вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться, Вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с Вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг, Вы могли трижды отречься от меня, но Вы этого не сделали… Разве Вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе? У меня не было с Вами контракта, а Вы не получали от меня расписок, но представьте, что я умру и алчный наследник явится к Вам, размахивая этим заявлением, и потребует от Вас то, что я давно получил… Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе… и утверждаю, что Вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью».

Гюстав Симон считает, что Дюма «выбил» из Маке это письмо. Сам Маке на одном из судов приводил письмо Поля Лакруа: «Дорогой друг, Вы обращаетесь к моим воспоминаниям по поводу Ваших дел с нашим общим другом Александром Дюма в марте 1845, вскоре после публикации брошюры Мирекура. Я помню очень отчетливо, что, утомленный пересудами, Вы попросили Дюма впредь подписывать вашими обоими именами все труды, которые вы напишете совместно. Дюма ответил, что это невозможно, учитывая договоры с газетами, и, чтобы вы оба могли продолжать получать доход, он должен подписывать работы только своим именем. Но чтобы удовлетворить Ваше справедливое желание, он предложил, что в письменном виде признает перед Союзом писателей, что Вы его единственный соавтор. Дюма сделал такое заявление, но несколько дней спустя он мне сказал не без уныния: „Ну вот! Маке признан моим соавтором. Я подписал бумагу. Но что будет, если Маке умрет и его наследники потребуют признания их прав на наши работы?“ Признаюсь, это возражение мне казалось серьезным. Имя Дюма было звездным, магическим; и, по моему мнению, стоило тогда в коммерческом отношении намного больше Вашего… Все это привело к тому, что Вы написали Дюма письмо, в котором отказывались от прав на написанные вами совместно произведения». Возможна и иная последовательность: Бодри просит доказательств, что у Маке нет авторских прав, — Дюма просит Маке написать письмо — тот соглашается при условии,

что о его соавторстве узнает Союз писателей. В любом случае то была лишь часть сделки, вторая часть — заключенное 25 марта по требованию Маке письменное соглашение. Маке: «Договорились, что он платит мне 1200 франков за 6000 строк… половину этой суммы при поставке материала, половину после публикации одного тома; от каждого следующего произведения, сделанного в соавторстве, я получал бы 250 франков за том…»

Как объяснить упорное нежелание Дюма ставить на совместных работах имя соавтора? Человек он был не злобный, к Маке относился хорошо. На первом плане, видимо, был чисто денежный интерес: и наследников боялся, и издатели действительно не хотели платить требуемые суммы, если к имени знаменитого автора прибавится другое. Более щепетильный автор сказал бы, что это можно преодолеть: писали бы на всех книгах «Маке», и со временем его имя также стало бы знаменитым. Но, во-первых, хотелось побольше денег сейчас, а во-вторых, Дюма с его небезупречной по части соавторства репутацией, видимо, побаивался: если читателям скажут, что в его книгах половина труда принадлежит другому, они могут поверить Мирекуру и заподозрить, что не половина, а все… (А может, боялся, что Маке, если его прославить, станет конкурентом? Это вряд ли. Не ревновал же он к Гюго или, скажем, Эжену Сю. На рынке всем найдется место. Другое дело, если сочтут, что он занял чужое.) Возможно также, что он искренне недооценивал вклад Маке: раньше ведь как-то обходился без него…

Вообще с авторским правом были постоянные сложности: недоплаты, незаконные перепечатки. Той же весной Дюма судился с «Веком», требуя расторжения договора, и 4 июля проиграл; в тот же день он заключил эксклюзивный договор на книжные издания с молодым издательством Мишеля Леви (1821–1875), который обещал наводнить рынок дешевыми, по два франка, книгами (слово сдержал: все крупные французские писатели второй половины XIX века будут у него печататься). Он начал выпускать книги Дюма с 1845 года, при этом Дюма не смог разорвать договор с издателем Кадо, что принесет ему новые суды. А 5 июля он и Бодри выиграли процесс против Рекуле: того обязали не говорить публично, что Маке причастен к «Мушкетерам» и будущим книгам Дюма.

Одновременно с судами шло строительство дома (оно обойдется в конечном итоге в 250 тысяч франков), надо было присматривать за подрядчиком, при этом Дюма еще успевал развлекаться: один-два раза в неделю с сыном или Селестой выезжал в театр или в гости, а на «Вилле Медичи» беспрестанно толклись люди… Вильмесан: «Гостей предоставляли самих себе.

Хозяин даже не всегда успевал переодеться к обеду, работая до последней минуты… Он выходил неряшливо одетым, в простых штанах, в тапочках, незастегнутой рубашке… и спешил вернуться к себе в кабинет». Той же весной он съездил в форт Ам, привез оттуда двух лошадей и пойнтера Причарда и начал собирать зверинец: павлины, фазаны, обезьяны; ухаживал за ними садовник Мишель. Кот Мисуф недавно умер, повариха подобрала котенка, назвали Мисуфом Вторым. Основали с Теофилем Готье Лигу защиты кошек, правда, защищать их права всерьез было недосуг, но о них по крайней мере с любовью писали. Редкий случай, когда человека нельзя отнести к «кошатникам» или «собачникам»: тем и другим Дюма симпатизировал одинаково.

13 апреля Гюго стал пэром Франции, а 5 мая умер от плеврита второй мушкетер — Годфруа Кавеньяк. Удар тяжелый, так как забытая дружба недавно возобновилась: «После того как мы не встречались десять лет, а потом вдруг в один прекрасный день, случайно, оказались бок о бок за столом, мы в течение всего ужина предавались воспоминаниям и, прощаясь — рука в руке, сердце к сердцу, — обещали больше не разлучаться надолго…» То ли Кавеньяк не испытывал к Дюма подобных чувств, то ли его окружению не приходило в голову, что у нынешнего, аполитичного и благополучного, Дюма может быть с ним что-то общее, но Дюма, по его словам, не сообщили о болезни и смерти Кавеньяка, и потому на похоронах он не был. Можно допустить, что тут Дюма солгал, знал и не пошел: на похоронах был митинг «несогласных», могла начаться заварушка, а он был как никогда от этого далек и не желал отвлекаться.

Весной и летом 1845 года они с Маке, отложив «Монте-Кристо», написали продолжение «Королевы Марго» — «Графиню Монсоро» (вещь более слабую, хотя с хорошо спроектированным сюжетом, что позволяет предположить, что Дюма меньше участвовал в работе). Поскольку с «Веком» Дюма разругался, а Жирарден мало, по его мнению, платил, роман был отдан в «Конституционную газету», которую только что выкупил Луи Верон, а редактировал Тьер; «Графиня Монсоро» печаталась с 17 апреля 1845-го по 12 февраля 1846 года, был также заключен договор на пять лет: по девять стандартных томов в год, 3,5 тысячи франков за том. Под действие договора не попал другой роман, писавшийся одновременно с «Графиней Монсоро» и публиковавшийся с 21 мая 1845-го по 12 января 1846 года в газете «Мирная демократия»: то ли договор с ней был заключен раньше, то ли Тьеру текст не понравился. Почему? Роман «Шевалье де Мезон-Руж» был заявлен для публикации под названием «Женевьева, или Эпизод 1793 года». Год, о котором

приличные люди не хотели говорить, который вспоминали с ужасом. Живем плохо, но, боже упаси, больше никаких революций!

Без политики у Дюма нигде не обходилось, но лишь теперь он решился открыть самую сложную страницу: Великую революцию. «Мезон-Руж» — первый по времени написания, но по хронологии описанных событий (10 марта — 16 октября 1793 года) — пятый роман цикла (ему предшествуют написанные позднее «Записки врача», «Ожерелье королевы», «Анж Питу» и «Графиня де Шарни»). А теперь, поскольку каждый раз подробно пересказывать содержание романов мы не можем, а хронологию французской революции вряд ли хорошо помним, давайте напишем шпаргалку: как там все у них было. (А нельзя вообще не забивать этим голову? Можно, но тогда мы рискуем многого в Дюма не понять — он посвятил этой теме полжизни и был болен 93-м годом.)

Все всегда упирается в выборы.

Но первые французские парламенты выборными не были. Так в X–XI веках назывались органы, регистрировавшие королевские указы, и они порой отказывались это делать, находя несоответствие прежним. Должности в них покупались, но все же это были органы, имевшие право спорить с королем. Короли, в свою очередь, имели право на мнение парламентов плевать. Но им этого стало мало. Можно было сделать так, чтобы в парламентах сидели на все согласные идиоты, но короли до этого еще не додумались и с парламентами воевали. Людовик XIV в 1673 году предписал парижскому парламенту без обсуждения визировать его указы. После его смерти парламенты вновь распоясались, и Людовик XV сажал их членов в тюрьму, а в 1771 году упразднил. Были еще основанные в 1392-м Генеральные штаты, созывавшиеся королем в критические моменты и решавшие, где достать денег. Дворянство, духовенство и «третье сословие» (горожане) заседали в Генеральных штатах по отдельности и имели по одному голосу независимо от числа представителей. Общего закона, по которому их созывали, не было: то назначение, то выборы, в последнем случае король издавал указ, кого и как избирать. Но с 1614 до 1789 года они не созывались ни разу.

В 1774 году на трон взошел Людовик XVI, не самый плохой король, но безвольный, находившийся под каблуком жены Марии Антуанетты; он восстановил парламенты. В конце 1787-го начался экономический кризис, люди умирали от голода, а король велел повысить налоги и распространить церковную десятину даже на

траву. Парижский парламент отказался регистрировать его указы и предложил созвать Генеральные штаты. Король обещал созвать Генеральные штаты через пять лет, а за это парламент должен был найти деньги сейчас. Парламент отказался и 8 января 1788 года был упразднен, его члены арестованы. Парижане возмущались (от голода люди смелеют); Людовик назначил на пост министра финансов популярного Жака Неккера, но с кризисом справиться не удалось, и под влиянием Неккера король созвал Генеральные штаты: избирать их могли мужчины не моложе 25 лет, имевшие постоянное место жительства и плативщие налоги. Это был невиданно либеральный порядок, и в третье сословие Штатов выбрали (особенно от Парижа) множество оппозиционеров. 17 июня 1789 года третье сословие заявило, что нужен постоянно действующий законодательный орган, и объявило себя таковым — Национальным собранием, а другие сословия призвало присоединиться. Король не решился распустить Штаты, по совету Неккера признал Национальное собрание и сам просил депутатов дворянства и духовенства туда войти («сдержки и противовесы»). Но 9 июля Национальное собрание объявило себя Учредительным собранием — высшим представительным и законодательным органом Франции. Жена и братья надавили на короля, и он отыграл назад: окружил Париж войсками и 11 июля отправил Неккера в отставку. 12-го рассерженные горожане вышли на улицы.

13 июля они сформировали Парижскую коммуну, коммунизм тут ни при чем — просто общественный комитет, обосновавшийся в мэрии. Революция длилась три дня: 14-го взяли Бастилию, войска сдались, король признал Учредительное собрание, коммуна стала фактической властью в столице (в других городах создавали свои коммуны) и объявила набор в Национальную гвардию, командующим которой стал генерал Лафайет (он умер в 1834 году и «Мезон-Ружа» не прочел). Учредительное собрание отменило феодальные повинности, наследственное дворянство, церковную десятину и объявило всеобщее равенство в уплате налогов и праве занимать официальные должности. 26-го оно приняло «Декларацию прав человека и гражданина», частично списанную с американской Декларации независимости 1776 года и провозглашавшую «неотъемлемые права» человека: «свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению». Последнее исходило из античного «права на тираноубийство» и у американцев было сформулировано жестче: «Когда ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение

такого правительства… становится правом и обязанностью народа». Французы придут к этому в 1793-м и впишут в декларацию: «Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность». (По иронии истории эту фразу утвердила диктатура, но диктаторы уходят, а идеи остаются: она подтверждена французской конституцией 1958 года.)

Людовик сидел в Версале и отказывался санкционировать декларацию; 5 октября Учредительное собрание приказало Лафайету вести гвардию на Версаль, короля вынудили переехать в Тюильри. Установилось странное двоевластие; 20 июня 1791 года король пытался бежать, но был узнан на границе, возвращен в Париж и взят под стражу. Пошла тяжба: собрание хотело принять конституцию, король упирался (и, как потом узнали, просил иностранной интервенции), собрание не решалось упразднить короля и 17 июля расстреляло демонстрацию горожан, требовавших ликвидировать монархию. 3 сентября 1791 года собрание провозгласило конституцию. Король, говорилось в ней, царствует не по Божьему промыслу, а «по закону» и обязан присягать нации и закону; однако его особа «неприкосновенна и священна». Он — глава исполнительной власти и не имеет права разгонять Законодательное собрание, избираемое на два года (его члены давали клятву «жить свободными или умереть»).

Король присягнул конституции, а французы впервые выбрали настоящий парламент. Выборы были не прямые — граждане, имевшие право голоса (оседлые налогоплательщики — 4,3 миллиона человек), выбирали выборщиков (50 тысяч), участвовали в основном горожане, и победил «креативный класс»: адвокаты, журналисты, актеры, мелкие бизнесмены, как охарактеризовал их Дюма в романе «Сотворение и искупление», «люди добродетельные, которых не могла запятнать никакая клевета, люди, повинные лишь в распространенных грехах той легкомысленной эпохи, в большинстве своем молодые, красивые и талантливые», «политики честные, но неудачливые»; много таких было из департамента Жиронда, и их всех принято называть жирондистами.

Тем временем короли встрепенулись — наших бьют! — и в августе 1791 года Австрия и Пруссия собрались защищать Людовика, Англия и Россия их подзуживали, французские роялисты-эмигранты при поддержке Австрии создали вооруженный лагерь в Кобленце и призывали к вторжению. 7 февраля 1792 года германские государства заключили военный союз против Франции, Законодательное собрание потребовало от

Австрии отвести войска от границы, получило отказ и вынудило Людовика 20 апреля объявить братьям-монархам войну. 28 апреля Национальная гвардия попыталась перейти в наступление — провал: Мария Антуанетта передала австрийцам военные планы. Летом 1792 года Францию обложили, началось вторжение пруссаков. 11 июля Законодательное собрание провозгласило лозунг «Отечество в опасности!», 10 августа 20 тысяч уже не рассерженных, а разъяренных горожан штурмом взяли Тюильри, была страшная резня, защитников дворца (в основном швейцарцев), которых не перебили, посадили в тюрьмы, а 2–5 сентября толпа, науськиваемая Коммуной (которая была куда радикальнее собрания: там выборный имущественный ценз был другой), врываясь в тюремные камеры, перерезала всех. Лафайет в ужасе эмигрировал, власть фактически захватила Коммуна и посадила короля в тюрьму Тампль. Новое двоевластие — как у нас в 1917-м: собрание и советы.

Витавшее в облаках собрание организовало новые выборы на основе всеобщего (мужского и кроме прислуги) избирательного права, и 21 сентября 1792 года открылся новый орган — Национальный конвент, упразднивший монархию и провозгласивший республику. Село опять игнорировало выборы, и жирондистов было не меньше, чем в прошлый раз, но им противостоял куда более жесткий (хотя поначалу такой же неорганизованный) противник — «Гора» (левая демократическая группировка Конвента), где собрались Дантон, Марат, Сен-Жюст, Камилл Демулен и Робеспьер — радикальные революционеры (так принято считать — Дюма нам расскажет, верно ли это). И было еще «Болото», самое многочисленное и почти всегда принимающее сторону силы…

Конвент решил судить короля за «измену родине и узурпацию власти», и 21 января 1793 года тому отрубили голову, после чего приняли новую конституцию, провозгласившую целью общества «общее счастье», но выбросившую упоминание о свободе слова. В марте начался мятеж роялистов (помещиков и крестьян, слившихся в экстазе) в Вандее, 6 апреля создали Комитет общественного спасения во главе с Дантоном, районные секции Парижской коммуны, не спрашиваясь у Конвента, образовали комитеты для надзора за «подозрительными» и хватали всех направо и налево за неправильную ленточку на одежде, республиканские войска терпели поражение, англичане захватили Тулон, в Конвенте грызлись Дантон и Робеспьер, бестолковые жирондисты «вместо того чтобы предоставить им бороться между собой, подтачивая единство партии, имели неосторожность напасть на одного за другим» и потерпели

поражение. «Перед инертной массой они опускали руки. Но политик, который опускает руки, — человек конченый. Постепенно они, не утратив готовности умереть, утратили готовность победить…» В апреле 1793 года Робеспьер и Демулен выступили с обвинениями против жирондистов (их ставленник генерал Дюмурье изменил и бежал), Коммуна требовала их ареста, угрожая Конвенту оружием, и 2 июня «Гора» и «Болото» проголосовали: исключить избранных (на основе всеобщего, напомним, избирательного права) депутатов-жирондистов и арестовать их (31 октября они были казнены). 13 июля Шарлотта Корде, республиканка, протестовавшая против новой диктатуры, убила Марата. «Террор… устремился с вершины Горы». 17 сентября растоптавший собственные законы Конвент принял «декрет о подозрительных», позволявший любому «комитету» арестовать любого на любом основании. 2 августа Комитет общественного спасения перевел Марию Антуанетту из Тампля в тюрьму Консьержери, рассчитывая, что европейские короли заключат мир. Но тем была важна не живая женщина, а принцип. 15 октября начался суд над королевой, а 16-го ей отрубили голову. Об одной из попыток спасти ее, «заговоре гвоздик», рассказано в «Мезон-Руже».

Дюма к тому времени прочел о революции все, что было. При Наполеоне этой темы избегали, сперва выходили книги о ней монархического толка, как «Опыт о революциях» Шатобриана и работы ненавистников «гнилого либерализма» Луи Бональда и Жозефа де Местра, потом и таких не стало (был, правда, довольно нейтральный труд Ф. Туланжона «История Франции со времени революции 1789 года»). При Реставрации историческая наука не загнулась окончательно, а, напротив, расцвела: история знает парадоксы, когда периоды несвободы рождают созвездия великих художников и ученых. Разом оперились все крупные историки, а власть позволяла им писать какие угодно книжки, хотя вылавливала каждую республиканскую блоху в пьесах и газетах — возможно, потому, что исторические труды «народ» не читает. С одной стороны, роялистская публицистика обрушилась на революцию, назвав «сбродом» и «террористами» всех депутатов с 1789 года, с другой — в 1820-х годах появились «История Французской революции» Тьера, «История Французской революции с 1789 до 1814» Франсуа Минье: оба автора разъясняли, что революция случается не по чьему-то злому умыслу, а по объективным причинам; Минье отчасти оправдывал даже террор. В 1825-м вышло многотомное «Собрание мемуаров о Французской революции». Нодье в «Воспоминаниях, портретах, эпизодах революции и империи» (1831) реабилитировал всех

деятелей республиканского периода, находя «доброту» и «чистоту помыслов» даже у Сен-Жюста. Филипп Бюше и Пьер Ру-Лаверн с 1833 по 1838 год издали 40-томную «Парламентскую историю Французской революции», откомментированную с республиканской точки зрения, была опубликована масса мемуаров бывших членов Конвента — Рене Левассера, Поля Барраса, Бертрана Барера. Нодье в 1841 году выпустил «Воспоминания и портреты Революции после последнего банкета жирондистов». О последних годах Людовика XVI и Марии Антуанетты тоже было где прочесть: мемуары их слуги Франсуа Гю, принцессы Марии Терезы и множество других. Наконец, были доступны газетные архивы времен революции. Беллетрист, пиши — не хочу. Но никто не хотел.

Историки — это одно, а для беллетристики тема непопулярная. Какая революция?! Жизнь в общем неплоха, ну нет каких-то там свобод, но их по большому счету никогда и не было, что делать, такая уж у нас страна, где колбаса всегда важнее свободы, хотелось бы, конечно, жить лучше, но только без революций… Неудивительно, что Жирарден не взял «Мезон-Ружа». «Мирная демократия» — газетка малоизвестная, тираж крохотный, платят копейки. Но Дюма, вечно гнавшемуся за деньгами, важнее денег было издать этот роман. Именно его первую часть он сочинил один за трое суток, описав Париж под интервенцией, с одной стороны, и террором — с другой: «… униженный город, робкий, озабоченный; его обитатели только изредка появлялись на улицах, перебегая с одной стороны на другую, стремясь поскорее укрыться за дверьми домов и в подворотнях, подобно диким зверям, забивающимся в свои норы от преследования охотников».

Человек, что хотел освободить королеву, — Александр Гоне, маркиз де Ружвиль (1761–1814). Дюма хотел вывести его под настоящим именем, но, когда вышел анонс, получил письмо от его отца, попросившего не привлекать внимания к сыну, покончившему с собой, и герой стал Мезон-Ружем (это как поменять Красногородова на Красноселова). Но центральный персонаж не он, а юноша Морис, заседающий в районной секции Коммуны: он революционер, левый-прелевый, но чересчур порядочный, из тех, кто хочет все делать не только по законам, но и по благородству. «Я, человек, что сейчас с вами говорит, нес караул у эшафота, на котором погиб покойный король. У меня в руке была сабля, и я стоял там, чтобы этой рукой убить каждого, кто захотел бы спасти его. И тем не менее, когда он проходил мимо меня, я снял шляпу и, повернувшись к своему отряду, сказал: „Граждане, я вас предупреждаю, что изрублю всякого, кто

посмеет оскорбить бывшего короля!“… И я собственноручно написал первое из десяти тысяч объявлений, которые были расклеены по Парижу, когда король возвращался из Варенна: „Кто поклонится королю — будет бит; кто оскорбит его — будет повешен“». Правило Дюма: нельзя оскорблять бессильного и злорадствовать над казнимым, какими бы они ни были мерзавцами.

О политике пока — коротко, простенько: «Предателями были тайные заговорщики, изнутри угрожавшие Революции, которой и без того угрожали извне. Но, как нетрудно понять, это слово приобретало тот смысл, который хотели придать ему крайние партии, раздиравшие тогда Францию. Предателями объявляли самых слабых. А ими были жирондисты». Пока был Конвент, в котором сидели разные люди, избранные по закону, — была революция; когда их вышвырнули из Конвента — это «снесло последнюю преграду, которую революция противопоставляла террору». О Марате, Робеспьере — почти ничего, Дантон «бредил сентябрьскими днями и осуществлял свой кровавый бред» (Дюма примеривался, присматривался к этим фигурам), даже чудовищный Фукье-Тенвиль — просто функция, хотя от Дюма, казалось бы, должно ждать чего-то эмоционального. О королеве — сочувственно: «несчастная узница», отказалась от побега, потому что ей жалко, что погибнет охранник, потом решилась, ибо это «долг перед детьми». Чего уж так испугался Жирарден? Или просто счел, что роман плох?

Он и вправду плох: интрига интересная, но персонажи бледные и не запоминаются, Мориса не отличить от его друга Ролана; так может получиться, когда автор, обмирая от вожделения, подходит к волнующей его теме, а заниматься ею некогда, надо гнать план, без правки, с соавтором, которого поставил перед фактом: дружище, с этого дня пишем одновременно не три романа, а четыре. Нет, они старались, конечно… Дюма — Маке: «Этим утром мне пришло в голову дать Вам совет насчет королевы. Я вижу, Вы остановились в Тампле. Не сделать ли нам план побега?»; «Нет ли каких-нибудь записок слуг, бывавших в покоях короля в Тампле? Какая-нибудь его интимная черта, привычка?»; «Вы мне послали чудную сцену „Мезон-Ружа“. Скажите в двух словах, куда она должна нас вести» (и тут же): «Но Шико, Шико, друг мой?! Эта главная сцена с его участием, в каком направлении я должен ее писать? Сделайте Шико, 30 или 40 страниц. Потом, если хотите, одну главу „Мезон-Ружа“, а послезавтра приходите на завтрак, мы с вами займемся „Монте-Кристо“».

Морис любит Женевьеву, жену кожевника Диксмера, который

притворяется якобинцем, а сам участник «заговора гвоздик», он втянул в это жену, а когда та влюбилась в Мориса, решил ей отомстить, заодно добившись политической цели. Диксмер заставляет жену принести себя в жертву ради спасения королевы, после ее ареста Морис убивает Диксмера и сдается, чтобы умереть с любимой. Казнили королеву, погиб Мезон-Руж, кровь ручьями, головы россыпью, приговорили Мориса и Женевьеву.

«— Я любил тебя! — прошептал Морис, уже привязанный к роковой доске, улыбаясь отрубленной голове своей подруги. — Я тебя лю…

Удар прервал его на середине слова».

Глава десятая
ПРОТОКОЛЫ ПАРИЖСКИХ МУДРЕЦОВ

«Больше Шико! У меня нет сюжета для Шико!.. Бросьте „Монте-Кристо“, с ним все в порядке. Нет времени слать Шико туда-сюда, пишите и отправляйте прямо в „Конституционную“. Пишите на моей бумаге, если она у Вас есть…» Колесо крутилось без устали: летом и осенью 1845 года продолжала выходить «Женская война», шла работа над второй частью «Монте-Кристо» и «Мезон-Ружем», а Дюма еще заканчивал «Людовика XIV и его эпоху», переводил сказки, писал рассказы для «Века», и Маке писал свое: оба еще молодые, здоровые, невроз не в счет… За несколько дней по дилогии о мушкетерах сделали пьесу, с Жоли не сговорились, пристроили в «Амбигю комик», но это не выход, нужен свой театр. Не в Париже, там земля дорога, а в Сен-Жермене. Деньги есть, надо только выбить разрешение у Дюшателя, министра внутренних дел, и нужна королевская виза. Дюма обратился к сыну короля Антуану (герцогу Монпансье), пригласил на премьеру. За несколько дней до нее встретился на репетиции с Каратыгиными. А. М. Каратыгина: «Мы тотчас же поехали, послали на сцену сказать ему о себе, и он побежал к нам с криком: „Arrivez-donc, cher Caratiguine!“[16] и кинулся к мужу моему на шею. На благодарность мою, что он встречает нас как бы старых знакомых, он отвечал, что он действительно давно нас знает коротко, по рассказам наших соотечественников и французских путешественников, и что он считает себя обязанным моему мужу, который перевел лучшие его пиесы и сам с женою разыграл их так, как многие не были разыграны и в Париже… Со свойственной ему любознательностью расспрашивая нас о России, Дюма высказывал давнишнее желание посетить нашу родину… но в особенности желал взглянуть на нашего императора. Он припомнил при этом о недавней поездке в Россию Бальзака: „et je voudrais bien faire de même, si toutefois votre batouchka m’y autorise“[17]. Под словом „батюшка“ он подразумевал государя Николая Павловича».

На премьере «Мушкетеров» 27 октября Маке ждал сюрприз: его объявили соавтором пьесы (но не романов): наверное, надеялся, что вот-вот признают и больше… Спектакль начинался в полседьмого, заканчивался в час ночи, хватило бы на телесериал. Готье: «У нас хватает времени познакомиться с

героями, привыкнуть к их повадкам и поверить в их реальность… Успех этой пьесы тем более замечателен, что в ней нет и намека на любовь…» Была накладка: когда казнили Карла, у Атоса, прятавшегося под помостом, должно было быть немного крови на руках, а пролили всю банку краски. Дюма, сидевший в ложе Монпансье, заметил, что герцогу не по себе, обещал сцену с эшафотом убрать (не убрал). В остальном все прекрасно, понравилось даже въедливому Бузони: «Эта историческая драма предвещает новый этап в развитии театра, и мы его увидим в Историческом театре, который собирается открыть Дюма…»

Антуан Монпансье выхлопотал у отца разрешение на театр и заодно чин полковника Национальной гвардии в Сен-Жермене — бог знает, для чего Дюма этот чин понадобился. Основали ООО, генеральным директором стал Ведель, бывший управляющий труппой Французского театра, исполнительным — Ипполит Остейн, тоже имевший опыт руководства театрами, капитал дали Антуан и бизнесмен Жофруа, Дюма должен был внести одну шестую расходов. За 600 тысяч франков купили отель на бульваре Тампль, снесли и по проекту архитекторов Дре и Сешана стали строить театр на две тысячи мест: узкий, высокий, с необычно большой сценой — у Дюма не шли из головы лошади. Готье хвалил: «Только подчеркивая целевое назначение здания и максимально используя полезные элементы, современная архитектура найдет новые формы, которые она тщетно ищет». Но нужно еще 800 тысяч — стали брать кредиты. Нестор Рокплан — своему брату: «Герцог Монпансье на днях преподнес Дюма театр. Затея эта так нелепа и комична, что, бьюсь об заклад, не пройдет и года, как он обанкротится… Поведение Дюма неслыханно. Вот как он рассуждает: „За 17 лет театры заработали на моих пьесах десять миллионов, за пять лет каждая из четырех газет ежегодно заработала на моих романах триста тысяч. Я хочу иметь театр, который приносил бы мне эти миллионы, и газету, которая одна могла бы дать миллион двести тысяч…“ Тем временем за ним охотятся судебные исполнители, и в самый разгар пиршества, которое он закатил комедиантам из „Амбигю“, игравшим в „Мушкетерах“, его арестовывают приставы. Содержанка его сына, актриса „Водевиля“ мадемуазель Левен, стоит ему 2 тысячи в месяц…» Но ведь при столь интенсивной работе Дюма наконец был богат? Да не очень. Сохранилась записка к Маке от декабря 1845 года: он говорит, что не может вернуть соавтору взятые в долг 240 франков и просит еще 260 для ровного счета… Как так?

Платили ему в среднем один франк за строку в 60 знаков. В странице 35 строк, в томе (тогда считали не печатными листами, а строками и томами) 100 страниц, 3,5 тысячи франков за том,

книга обычно в 4–8 томов, получается 14–28 тысяч за журнальную публикацию романа плюс примерно половина этой суммы за книжную, в год 4–5 романов — от 100 до 200 тысяч, плюс отчисления от театра — тысяч 100, плюс мелкие гонорары, в среднем выходило в год больше 200 тысяч, примерно пятую часть которых получал Маке, — но тот ни у кого не занимал, купил дорогой дом в Буживале и всю жизнь, даже при том, что Дюма его обокрал, был обеспечен. Откуда же у Дюма долги?

В основном, конечно, дом и театр: первый съел 250 тысяч, второй в конечном итоге полтора миллиона. Сохранились документы того периода, в которых перечислены кредиторы: красильщик, Газовое управление, цветочник, столяр, стекольщик, печник, плотник, скульптор, кровельщик, угольщик, медник, обойщик, продавец семян, оружейный мастер, поставщик дров, портной, каретник, садовник; маляр, антрепренер, слесарь, прачка, торговка шалями, сапожник, шляпница, часовщики, шорник, булочник, разносчик с рынка, белошвейка, ювелир… Удивительно, что организовать свои финансы или нанять того, кто это сделает, не умел не какой-то разгильдяй, а человек педантичный; 15 декабря он писал Беранже: «Вся моя будущая жизнь разделена на заранее заполненные отрезки, план будущих работ уже составлен. Если Бог даст мне прожить еще пять лет, я завершу историю Франции от Людовика Святого до наших дней. Если даст десять, я смогу связать дни Цезаря с днями Людовика Святого… Всю античность надо написать или, вернее, переписать, так как у нас нет почти ничего хорошего об этом… Простите мое тщеславие, которое, быть может, заметите в этих строках…»

Продолжали выходить «Мезон-Руж», «Графиня Монсоро», писался новый роман «Бастард де Молеон» (публикация в «Коммерсанте» с 20 февраля по 16 октября 1846 года): Испания, XIV век, борьба за корону Кастилии, трагическая любовь, отрезанные головы, все умирают. Во время работы над этой книгой автора за правую руку укусила собака Мутон: «Ладонь у меня была рассечена до кости, пясть прокушена в двух местах, последняя фаланга мизинца едва держалась…» Врач зашил рану и вправил кости, велел отдыхать, но некогда: три дня постоянно держал руку в ледяной воде, потом начал работать: «Неудобно писать, когда рука совершенно неподвижна и лежит на дощечке; но я не отчаивался. Я собрал все свои познания в механике, вставил стержень пера в своеобразный зажим, устроенный между указательным, средним и безымянным пальцами, и, двигая предплечьем вместо пальцев и кисти, продолжил свой рассказ…»

Еще две пьесы: с Маке — «Дочь регента» (в романе герой казнен и его девушка умерла, в пьесе он помилован и женился,

постановка во Французском театре 1 апреля); с Полем Бокажем (1824–1887, племянник актера Пьера Бокажа, будущий постоянный соавтор) и Октавом Фейе — комедия «Шах и мат»: Испания, XVII век, любовь и политика; премьера в «Одеоне» 23 мая. То и другое не без успеха. Стихотворение «Жанна д'Арк на костре» положил на музыку сам Лист. Работы по горло, слава богу, ни с кем не судился, зато был свидетелем на чужом громком суде. В 1844 году в Париже дебютировала танцовщица Лола Монтес, флиртовала с Дюма, иногда ее включают в число его любовниц, но это вряд ли: их переписка очень церемонная. Ее любовником был редактор «Прессы» Дюжарье. В марте 1845 года Дюма обедал у подруги сына Анаис Левен, были там Дюжарье и редактор «Глобуса» Бовалон, газеты жестоко конкурировали, за столом поругались, Бовалон вызвал Дюжарье на дуэль, тот принял вызов, хотя не владел оружием. Советовался с Дюма, тот пытался отговорить, на крайний случай советовал шпаги, но Бовалон настоял на пистолетах и 11 марта убил Дюжарье; говорили, что он заранее пристрелял оружие. Присяжные его оправдали, родственники убитого подали кассацию, 26 апреля 1846 года начался процесс в Кассационном суде Руана. Дюма выступал свидетелем и доказал, что было преднамеренное убийство: Дюжарье не дали инструкций (это была обязанность секундантов противника); он ждал Бовалона полчаса, и его пальцы окоченели; секундант Бовалона скрылся с места поединка, забрав оружие, и т. д. Бовалону дали десять лет, его секунданту — восемь, все справедливо, но поведение Дюма многих разозлило: да, он был прав, что посадил Бовалона, но без нужды выпендривался, призывал руководствоваться Дуэльным кодексом де Шатовилара, а не законом, раздавал интервью… Его все чаще обвиняли в рисовке, и, видно, недаром: даже графиня Даш признавала, что его манеры резко ухудшились, но объяснила так: «Дюма был хорошо воспитанным, светским… Но все это ослабело, он усвоил беспечность, современные привычки, от успеха у него появился апломб… Он не забыл хорошие манеры, но показывал их редко, только когда это было для чего-то нужно…»

Той весной соавторы начали новую грандиозную вещь: роман «Записки врача: Жозеф Бальзамо». «Мезон-Ружа» никто не заметил, но от Великой революции Дюма отказываться не хотел, надо лишь добавить приключений. (Приключения бывают не только в книгах: 25 мая 1846 года, за неделю до начала публикации романа в «Прессе», с которой Дюма помирился, Луи Наполеон, переодевшись плотником, бежал из крепости Ам и уехал в Англию. Циммерман, по силе воображения

превосходящий Дюма и Маке вместе взятых, считает, что Дюма придумал план побега и организовал его. Впрочем, Луи Наполеон читал и «Двадцать лет спустя», и «Графа Монте-Кристо»…)

31 мая начала печататься первая глава гигантского романа, она завершится 6 июля, а вся публикация растянется на три года. Неизвестно, кто предложил сюжет и героя (возможно, третье лицо: оба соавтора были мало способны «выдумывать из головы»), но выбор беспроигрышный: пророчества, гипноз, масонский заговор — довольно редкий жанр мистико-политического триллера, в центре которого сверхчеловек Бальзамо-Калиостро, этакий Воланд наоборот, который хочет блага — «Я верю, что первейший мировой закон, самый могущественный из всех, — закон прогресса. Я верю, что Бог творил с единственной целью — благоденствия и нравственности», — а получается не всегда хорошо. Он обращается к масонам: «…я хочу, чтобы вы, вздрагивающие при упоминании Тауэра и застенков инквизиции, и я, вздрагивающий при упоминании Бастилии… чтобы все мы смеялись, попирая ногами жалкие руины этих страшных темниц, и чтобы ваши жены и дети плясали на них. Однако все это может произойти лишь после смерти, но не монарха, а монархии, после отмены власти религии, после полного забвения общественного неравенства…» (Верил ли Дюма, что «революцию сделали масоны»? Нет конечно: в его исторических хрониках ничего подобного нет. Но кому не мечталось: вот бы были какие-то могущественные люди, которые все за нас решат и сделают…)

Готовить революцию Бальзамо начинает в 1770-х, еще при Людовике XV. Запутанный сюжет, любовные интриги, масса действующих лиц, писали торопливо: в тексте больше исторических ошибок, чем обычно, Бальзамо живым человеком не получился, зато началась тема гипноза — ее Дюма отныне будет вставлять почти в каждый роман. Но в целом «Бальзамо» — роман столкновения идей. Пока Бальзамо готовит революцию, вдали от него живет мирный философ Руссо. «Независимость — мой кумир, а свобода — моя богиня. Только мне нужна свобода нежная и сияющая, которая согревает и оживляет. Мне нужно равенство, приближающее людей друг к другу посредством дружбы, а не страха. Мне нужно образование, просвещение каждой частички общественного организма… Чего же лучше! Годы идут. Народы постепенно начинают выходить из отупения, взявшись за руки и шаг за шагом двигаясь во тьме…» Дюма на стороне Руссо, конечно? Посмотрим… Покамест Руссо взял на воспитание крестьянского мальчика, но что из этого вышло, читатели не узнали: завершив первую часть, авторы надолго бросили героев — у Маке иссякла фантазия, у Дюма и подавно —

и летом начали писать роман «Две Дианы» об убийстве короля Генриха II в XVI веке. Авторство приписывали Полю Мерису, но Маке это опровергал; приписывают также одному Маке, но и это не вполне справедливо, даже если Дюма мало участвовал в написании текста: многое взято из его романа «Асканио» и ранних пьес.

Он давно хотел повидать Алжир и Испанию — и вдруг представился случай. Правительство расстраивалось, что никто не хочет жить в новой колонии: нужно, чтобы знаменитость съездила и разрекламировала. Министр просвещения Сальванди предложил Дюма командировку в Алжир и попутно в Мадрид на две королевские свадьбы: Антуана Монпансье с Луизой, сестрой королевы Изабеллы II, и самой королевы с Франциском Ассизским. Дюма поставил условие: в Алжир поедет на военном корабле как представитель государства. По этому поводу были дебаты в парламенте, депутаты возмущались, но Антуан через отца все выбил: и корабль дадут, и 10 тысяч франков от министерства просвещения, и три тысячи от министерства внутренних дел, и сам он даст 12 тысяч. Дюма собрал компанию: сын, Маке, художник Луи Буланже, еще с двумя художниками — Адольфом Дебаролем и Эженом Жиро — встретятся в Испании. Нужен был новый слуга: «Алексис (чернокожий мальчик-кубинец, которого подарила Мари Дорваль. — *М. Ч.)* был слишком молод, кучер ничего не умел, Мишель не мог оставить животных». Нашли араба Пьера Теодора Рихана: говорит на четырех языках (оказался алкоголиком и впоследствии в доме Дюма не задержался). Денег все не хватало: Дюма, по его словам, продал с убытком только что купленные железнодорожные акции и добавил 40 тысяч на поездку. (Он обычно преувеличивал свои расходы и убытки, но все же если в командировку вкладывать свои средства, не разбогатеешь.) Печатавшиеся романы были остановлены, редакторы бранились, Жирарден за неимением лучшего заключил с Дюма договор на путевые заметки, хотя от «Прессы» в Испанию уже ехал Готье.

До отъезда Дюма успел организовать в Сен-Жермене театральный фестиваль — ставил своего «Гамлета» и пародию на него «Шекспир и Дюма». (Офелию играла 26-летняя Луиза Беатрис Пирсон, умная и талантливая, нравившаяся ему: выйдет ли что-нибудь из этого романа?) 3 октября отправились по железной дороге. «До нас донеслось зловонное дыхание локомотива; огромная машина сотрясалась; скрежет металла раздирал нам уши; фонари стремительно проносились мимо, будто блуждающие огоньки на шабаше; оставляя за собой длинный хвост искр, мы мчались к Орлеану…» — так начинались

заметки для «Прессы». Моруа: «Много шума из ничего!» Почему же «из ничего»? Еще далеко не все ездили поездами: надо объяснить, что это за штука, и Дюма объяснял с техническими подробностями. На сей раз он выбрал для путевого дневника форму писем даме (подразумевалась Дельфина Жирарден): 44 письма под названием «Из Парижа в Кадис» были изданы в 1847 году издательством «Гарнье».

Поезд домчал до Тура, там пересели в почтовую карету, в Шательро подобрали гостившего у знакомых Дюма-младшего. «В Бордо я заплатил 1300 франков за карету, стоившую 500, потому что владелец уверил меня, что в Испании можно ее выгодно продать; Алекс, конечно, купил за 5 франков нож, который стоил 24… Он соткан из света и тени… Он гурман и воздержан в еде, он расточителен и экономен, пресыщен и чистосердечен, он изо всех сил издевается надо мной и любит меня всем сердцем…» 9 октября прибыли в Мадрид, прием у мэра, прием у герцога Монпансье. «Меня лучше знают и, пожалуй, больше чтут в Мадриде, чем во Франции. Испанцы находят в моих работах нечто кастильское…» Французы не были так добры. Кювийье-Флери, бывший учитель Антуана Монпансье: «Прибыл Дюма, посланный Сальванди с этой дурацкой миссией. Он потолстел, подурнел и вульгарен до ужаса…» 10 и 11 октября — свадебные торжества, 17-го — прием у королевы, на котором Дюма получил орден, потом галопом: Эскориал, Аранхуэс, Толедо, Хаэн, Малага, Гранада, Кордова (там остался Александр-младший, обещав приехать в Гибралтар), Сьерра-Морена, Севилья (табачная фабрика, где работала Кармен, видели танцовщицу, «вылитую Кармен»), река Гвадалквивир — «масса жидкой грязи, цветом и консистенцией (правда, не вкусом) похожая на какао с молоком». Исследователь Жан Сарро считает, что Дюма все списал у Готье, но непонятно, зачем бы ему это делать: путевые очерки он всегда легко писал сам, а если рассказы похожи, так они ехали одним маршрутом и видели одно.

Испанские города встречали Дюма двухметровыми афишами, но, как явствует из тамошней прессы, были разочарованы. «Вестница»: «Увы, он не говорил ни о политике, ни о цивилизации, ни о литературе». 18 октября прибыли в Кадис и оттуда на присланном по распоряжению контр-адмирала Ригоди корвете «Стремительный» отплыли в Алжир. Началась вторая часть путевого дневника: «„Стремительный“, или Танжер, Алжир и Тунис» (книга вышла в издательстве «Кадо» в 1847 году). Попутно написали с Маке пьесу «Королева Марго» к открытию Исторического театра. 21 октября высадились в Танжере, порту Марокко, — то был султанат, за влияние на который Франция

спорила с Испанией, жили там берберы, арабы, евреи, негры, испанцы. Ходили на охоту с проводниками-арабами, Дюма описал тамошнюю табель о рангах: для арабов негры, евреи и кабаны одно и то же. Сам он считал, что евреи «вправе претендовать на уважение, поскольку свое положение и богатство завоевали в битве, длившейся восемнадцать веков… пройдя через гонения, они, терпеливые и настойчивые, должны были добиться успеха». Евреев попрекали Шейлоком — но «христиане, которые держат своих должников в тюрьме Клиши», не лучше. Смело, так как во Франции начинался подъем антисемитизма; в пику всем Дюма побывал на свадьбе у еврейского бизнесмена Айзенкотта. Потом отправились в Гибралтар (тогда — заморская территория Великобритании), подобрали младшего Дюма, снова в Марокко, затем в Тетуан, где узнали, что в результате обмена освобождены 200 французов, захваченных арабским эмиром Абд-эль-Кадером во время войны в Алжире, помчались на банкет в их честь в Джемар-Азуат. По поводу освобождения соотечественников Дюма, естественно, ликовал, но не побоялся написать, что война была несправедливая: «Мы оттеснили их в горы, отняли у них их владения, а взамен дали союз с нами. Должно быть, это очень почетно, но, с точки зрения людей, считающих себя естественными собственниками земли, возможно, этого недостаточно». Это было не то, чего от него ждали во Франции.

Дальше предполагалось ехать в Алжир, но Дюма хотел видеть Тунис — там же Карфаген! — и Риго в отсутствие своего начальника адмирала Бюжо позволил плыть на «Стремительном». Тунис был независимым государством под властью беев Хусейнидов, и появление там французского военного корабля выглядело странно, но беи не обиделись, один из них, Сиди-Мохаммед (не самый главный), дал Дюма интервью. Осмотрели Карфаген и могилу Святого Людовика, родоначальника крестовых походов, 30 ноября прибыли в алжирский порт Оран, далее — Бон, Стора, Филипвиль, Эль-Аруш, Константен, Сминду, Блида. Социолого-этнографические наблюдения: «Кто-то сказал, что арабская женщина не женщина, а самка. Это и верно, и неверно. Для людей поверхностных, которые путают племена, мавританская женщина, то есть городская женщина, — и в самом деле самка, хотя и с некоторыми оговорками. Зато арабская женщина, то есть женщина, живущая в шатре, кочевая женщина, — самая что ни на есть настоящая женщина…» В Алжире, столице Алжира, разразился скандал: Бюжо не позволил путешественникам вернуться во Францию на «Стремительном», и 3 января 1847 года они (плюс тунисский художник Юнис с сыном и купленный Дюма гриф Югурта) за свой счет на пассажирском

судне отбыли в Тулон.

«В полной противоположности с тем, что мне следовало бы испытывать, у меня всегда сжимается сердце, когда после долгого путешествия я снова ступаю на французскую землю. Дело в том, что во Франции меня ждут мелкие враги и застарелая ненависть…» Не похвалят — это можно было предвидеть. При всей неприязни Дюма к арабам, которую он не мог скрыть, он и французам не польстил. Он ведь не умел выдумывать, а писал, что видел, так и тут: видел неправедные суды, узнал из разговоров с колонистами, что они не хотят оставаться в Алжире, — все записал… А государство ему деньги платило — неблагодарный! Но первыми его атаковали Жирарден и Верон, подав в суд, — они рассчитывали, что он с Маке в поездке напишет продолжение начатых романов. Суд начался 30 января, 19 февраля — вердикт: Дюма обязан через восемь месяцев сдать Жирардену восемь томов и Верону через шесть месяцев пять томов, а также выплатить неустойку в 120 франков за каждый том. И то хорошо: они-то требовали по две тысячи франков.

Более неприятным был скандал в парламенте. Времена плохие: финансовый кризис, забастовки, вскрываются чудовищные финансовые аферы, коррупция, но палате не до того, она выясняет, как Дюма смел плавать на военном корабле. 10 февраля депутат Кастелан сделал запрос: «было нанесено оскорбление чести флага» и угля нажгли на 10 тысяч франков. Обсуждали два дня, выступили морской министр Маскау, военный министр де Сен-Йон, министр просвещения Сальванди, Маскау сказал, что у Дюма было «особое поручение». На втором заседании читали письмо Дюма: «Я оставил ради этого самые важные дела, потерял три с половиной месяца и добавил 20 000 (уже не 40 тысяч! — *М. Ч.)* своих денег…» Депутаты Мальвиль и Лакросс заявили, что он плохой писатель (а если хороший, то жечь уголь можно) и «жалкая посредственность». Он вызвал на дуэль Мальвиля, Маке — Лакросса, Дебароль (по другим сведениям, Александр-младший) — Кастелана; сбылась мечта о групповой дуэли. Но депутаты драться отказались, сославшись на свою неприкосновенность. Никто не вступился за Дюма публично, кроме сына (опубликовавшего восторженные стихи об отце) и Дельфины Жирарден — Дюма относил это на счет благородства женщин в сравнении с мужчинами, может и так, но вообще-то он был кормильцем Жирарденов.

Все это время шла реклама Исторического театра, собрали неплохую труппу, репетировали «Марго», Беатрис Пирсон, новая любовь Дюма, в роли Екатерины Медичи, Маке тоже завел роман с актрисой Гортензией Пауэр. Дюма занялся и чужими делами: в

Алжире он встретил дядю Марии Лафарг и теперь вел переписку с министром юстиции Кремье, прося перевести ее в больницу (удалось). Этого никто не замечал, зато скандалы гремели на весь мир. Из донесения Якова Толстого, бывшего декабриста, правительственного шпиона, в Третье отделение 18 марта 1847 года: «Процесс г. Александра Дюма, сына негра, именующего себя маркизом… вскрывает печальные подробности того, как в наши дни делается литература — это просто-напросто торговля… Издатели газет заказывали ему столько-то томов, столько-то страниц, столько-то строк из расчета за строчку… Этот маркиз Паяц в защитительной речи выказал себя смешным, дерзким, грубым и похожим на шута. Он оскорбил депутатов, Академию, бросил тень на министров и герцога Монпансье, и все это безнаказанно, так как здесь берегут плодовитых писателей, пользующихся известностью и отличающихся наглостью… Этот писатель сделался известным благодаря изумительному количеству опубликованных им томов, а также оригинальности своего поведения. Между тем, вникая в его сущность, изучая его поступки и разбираясь в его творениях, убеждаешься, что он поднялся на такую высоту при помощи ловкости, уменья и краснобайства, а не в силу дарования и таланта. К тому же всем известно, что он завел фабрику романов и драм: двенадцать молодых людей работают днем и ночью в его мастерской, а г. Дюма, выправив стиль и внеся несколько изменений в эти коллективные измышления, печатает это как плод своего творчества… Он только что выстроил театр… решили назвать его Историческим театром, что достаточно нелепо, так как никто так не уродует, не искажает и не насилует исторической правды, как Александр Дюма…»

Очень, конечно, эта информация важна для безопасности России. Но ведь всегда приятно прочесть, как все плохо на Западе. В том же году Некрасов, Панаев и Белинский возродили «Современник» и в рубрике «Современные заметки» уделяли Дюма немало места. П. В. Анненков (не родня Ивану Анненкову), «Парижские письма»: «Взяв с редакторов тысяч 30 фр. задатка… автор вдруг стал писать пять разных фельетонов для пяти других журналов, потом поехал в Испанию показать ей гений французского народа в своей особе, потом поехал в Алжир и застрелил всех львов и тигров, существовавших под вековой тенью Атласа, потом переехал в Тунис и спас жизнь французскому отряду… Все это он сам рассказал в знаменитое заседание коммерческого суда, с прибавкой только непередаваемого хвастовства, нахальства и кичливости маркизским происхождением своим. Жалко, что нет нынче ни

одного истинного комика во Франции, подобные явления умрут, может быть, незамеченные, а их бы стоило увековечить. В речи Дюма каждая фраза была гасконада, каждая мысль — нелепая претензия и каждое слово — уморительное самохвальство. Это Хлестаков в самом крайнем, колоссальном своем развитии…» Гоголь — С. П. Шевыреву, в том же году: «Какое ни выпусти художественное произведение, оно не возымеет теперь влиянья, если нет в нем именно тех вопросов, около которых ворочается нынешнее общество, и если в нем не выставлены те люди, которые нам нужны теперь в нынешнее время. Не будет сделано этого — его убьет первый роман, какой ни появится из фабрики Дюма».

Публика любила Дюма — коллеги ехидничали. В феврале умер Фредерик Сулье, через месяц — мадемуазель Марс, Дюма похорон не пропускал, толпа его восторженно приветствовала, что отмечал Гюго: «Наш народ нуждается в славе. И когда нет ни Маренго, ни Аустерлица, он любит Дюма и Ламартинов и окружает их славой… Александр Дюма пришел со своим сыном. Толпа узнала его по взлохмаченной шевелюре и стала выкрикивать его имя…» Большой, пыхтящий, громкий человек, в каждой бочке затычка — ну раздражает же! И все упоминали, что он растолстел, постарел, потерял юношескую красоту. Он, видно, и сам почувствовал, что молодость прошла (как-то так, незаметно), и начал писать мемуары…

Исторический театр открылся 20 февраля «Королевой Марго». Реклама грандиозная, по Парижу ходили «люди-бутерброды», толпа собралась у здания с вечера, торговцы продавали суп, пироги, булки, на рассвете — кофе и круассаны, были построены умывальные и туалетные кабинки (Анненков писал, что театр «с столовыми, гостиными, конюшнями и проч.»), пока шел спектакль, 10 тысяч зевак толклись на улице. Спектакль, пышный, блестящий — достоверные костюмы, декорации, сложные машины, — шел с шести вечера до трех ночи. Готье: «Дюма совершил чудо, сумев удержать публику натощак девять часов кряду…» Бузони отозвался кисло, большинство критиков писали, что все «очень необычно». Но все хвалили приму, Беатрис Пирсон; она потом играла в Историческом театре все главные роли и, в частности, Миледи, о воплощении которой Бузони писал: «О, это очарование гадюки, этот темный и глубокий цвет…» 20 мая поставили «Семейную школу» Адольфа Дюма, на следующий день — старую пьесу нашего Дюма «Муж вдовы», 11 июня — «Интригу и любовь», переделку Шиллера, 3 августа — «Мезон-Ружа», к которому авторы приделали счастливый конец. Анненков: «Кто же виноват, что знаменитый писатель построил сам для себя театр и

намерен 5 или 6 раз в году удивлять Европу отсутствием исторической добросовестности, систематической порчей народных понятий об отечественных событиях и дерзостью представлять известнейшие лица истории, как на ум придет…» Герцен (когда-то восторгавшийся Дюма), «Письма с авеню Мариньи», 3 июня 1847 года: «До чего может пасть вкус публики и даже всякий смысл, всего лучше доказывает возможность давать гнусность в роде „Chevalier de Maison rouge“ А. Дюма. Я ничего не знаю ни отвратительнее, ни скучнее, ни бесталаннее, а идет!»

Французам, однако, «Мезон-Руж» понравился. Не только «Пресса», но и обычно сердитые «Национальная» и «Дебаты» дали хвалебные рецензии. Бузони: «Кто бы мог оспаривать талант авторов, Дюма и Маке, усердие и ум актеров, роскошь постановки и талант администраторов, которые организовали все эти мелодраматические чудеса для красоты зрелища и удовольствия зрителей?» Увы, писать новые пьесы некогда, надо выполнять обязательства перед газетами: «Конституционная» с 13 мая по 20 октября публиковала продолжение «Графини Монсоро» — роман «Сорок пять». В 1902 году нашли подробный план романа, написанный почерком Дюма, — это позволяет предположить, что в тот период соавторы сперва обсуждали все сюжетные линии, чтобы иметь возможность писать фрагменты независимо друг от друга.

В конце июня владелец «Виллы Медичи» сказал, что хочет ее продать, пришлось срочно въезжать в недостроенный дом, названный «Замок Монте-Кристо». 27 июля — новоселье на 600 гостей. Леон Гозлан, мемуарист: «Эту жемчужину архитектуры я могу сравнить разве что с замком королевы Бланш в лесу Шантильи и домом Жана Гужона… Здание не принадлежит ни к одной определенной эпохе, его нельзя отнести ни к античности, ни к Средневековью. Здесь можно увидеть резные орнаменты, какие встретишь только на мавританских плафонах Альгамбры… Даже в Трианоне не найти ни одного плафона, сравнимого с тем, который тунисец [Юнис] создал для Монте-Кристо». Бальзак: «… один из самых прелестных загородных домов, какие когда-либо строились, это самая великолепная бонбоньерка на свете! Дюма уже потратил на свой замок больше 400 тысяч франков (видимо, Дюма в разговорах называл все более крупные суммы. — *М. Ч.),* и ему понадобится еще 100, чтобы его закончить…» Отделка дома так и не будет завершена — денег не хватит. В 1859 году писатель Д. В. Григорович, знакомый Дюма, давал характеристику другому его жилищу: «Дом Дюма-отца… сразу знакомит вас с характером своего владельца — человека, одаренного артистическим вкусом и еще более — самой

непостоянной, самой капризной фантазией. На всем следы роскоши, страшной неряшливости, и всюду великолепные затеи, остановленные при самом начале… Дюма хотел здесь устроить изящный, комфортабельный приют; но тут же ему это надоело, и он все бросил, чтобы увлечься другой фантазией…» Гостям показывали парк и зверинец: каскад бассейнов с рыбками, три обезьяны, два попугая, петухи, павлины, гриф, фазан, лошади Атос, Портос и Арамис, 14 собак, кот Мисуф, приблудные кошки с котятами: «Мишель, любивший животных, заставил меня поверить, что это я их люблю, и для собственного удовольствия умножал число двуногих, четвероногих и четвероруких».

После новоселья потекла обычная размеренная жизнь: работа, поел, поспал, работа. Он начинал новый этап жизни, был уверен, что этот дом — навсегда, хотел воссоединить семью, решил вернуть дочь, и, поскольку мачеха на нее формальных прав не имела, это удалось. Но, как и поначалу с сыном, не сошлись. Мари — Иде, 28 августа 1847 года: «Жизнь, которую мне приходится здесь вести, невыносима… Прибавь к этому страдания, которые я постоянно испытываю от разлуки с той, которую люблю больше всех на свете. Немало горя причиняют мне и требования отца, который намерен заставить меня жить в его доме… Я не могу на это согласиться, меня оскорбило до глубины души то, что отец не постыдился заставить меня подать руку распутной женщине. (Видимо, Селесте Скриванек, которая продолжала вести хозяйство, несмотря на начавшуюся связь Дюма с Беатрис Пирсон. — *М. Ч.)* Он не стесняется того, что вынуждает меня находиться в обществе этой женщины, хотя отцовские чувства должны были бы подсказать ему, что ее следовало изгнать из „Монте-Кристо“ в тот самый день, когда я здесь появилась…» Отцовского терпения, как и с сыном, хватило ненадолго, осенью Мари поступила в Париже в пансион.

С Идой велась тяжба: муж не выполнял условия соглашения. Она писала адвокату: «Что может сделать женщина, одинокая, бедная… против коварных измышлений и искусной лжи человека, словам которого придает такой вес известность?..» Правда, она жила на содержании человека гораздо более богатого, чем Дюма. Но договор-то выполнять надо. А деньги откуда взять? «Замок Монте-Кристо» буквально пожирал их: четыре лошади, три экипажа, зверинец, оранжерея, два десятка слуг, три-четыре раза в неделю гости — хозяин к ним выходил на несколько минут и убегал в кабинет, а они ели, пили, для них жгли уголь, крахмалили простыни… Со званными гостями приезжали незваные, и в доме неделями толклись паразиты, и всем им приказывалось подавать шампанское. Хозяин не платил

сапожникам, портным, крестьянам, которые поставляли продукты, — правда, и они, как позже выяснится, выставляли ни с чем не сообразные счета. Ему казалось, что доходы театра все покроют. И вроде бы к тому шло: сезон 1847 года, завершившийся 15 декабря «Гамлетом», принес 707 тысяч 905 франков.

У сына тоже успех: издал сборник стихов, два романа и теперь писал о Мари Дюплесси (та вышла замуж в 1846 году, разошлась с мужем, умерла 3 февраля 1847 года; за полгода до этого Александр-младший писал ей из Мадрида, моля о прощении). У отца исправно выходила проза: 20 октября в «Веке» начал печататься бесконечно долгий — завершится 12 января 1850 года — «Виконт де Бражелон». Сюжет авторы частично заимствовали из Куртиля, частично из мемуаров Мари Мадлен де Лафайет. Неровный текст; считают, что вклад Дюма в работу невелик. Ближе к финалу он точно на роман «забил», в начале, вероятно, было не так: из переписки следует, что соавторы работали по методу, опробованному на романе «Сорок пять»: делили фрагменты и каждый писал свое. Дюма — Маке: «Все, что Вы написали, превосходно. Вы каждый день что-то новое изобретаете, и как прекрасна эта юность, противопоставленная нашим старикам…»; «Удовольствия Портоса — это что-то совершенно великолепное!» (А мы-то верили, что этот прелестный фрагмент Дюма написал…) «Я собираюсь писать завещание Мазарини. Также сделаю всю сцену с деньгами… Пришлите мне хорошую биографию Мазарини, хочу знать, не придумана ли история с завещанием…»; «Вы уверены, что сумеете хорошо написать эту сцену? Если не чувствуете ее, оставьте, я один напишу. А Вы пока займитесь „Бальзамо“»; «Нужно 35 страниц „Мушкетеров“ (то есть „Виконта де Бражелона“. — *М. Ч.),* оставьте „Бальзамо“, я сам буду его делать».

3 сентября 1847 года, после годичного перерыва, начала выходить вторая часть «Бальзамо». Это один из самых интересных текстов Дюма и Маке: жаль, не разобрать, кто что писал. Здесь, как в «Королеве Марго» и «Сильвандир», сложные характеры, змеиные клубки страстей — потом, без Маке, Дюма станет писать любовные линии куда примитивнее. Значит, это вклад Маке? Но Дюма уже писал сложных, «темных» людей — королеву Христину, Нерона… И главная любовная тема «Бальзамо» — отношения матери и отца незаконнорожденного ребенка — вроде бы его (хотя о личной жизни Маке известно так мало, что нельзя исключить наличия и у него «грехов юности»). Что касается идейного противостояния Бальзамо — Руссо: можно предположить, что это в большей степени Дюма, его занимала фигура Руссо (часто высказывался о нем в публицистике), в то же

время неизвестно (хотя не исключено), чтобы Маке интересовался этой личностью.

Итак, Жильбер, ученик Руссо, работает садовником при дворце, влюбляется в Андре де Таверне, придворную даму Марии Антуанетты, она его не замечает. «Она слабее меня, — подумал он, — и я ее покорю. Она гордится своей красотой, именем, состоянием, положением, которое делается все завиднее, и гнушается моей любовью, вероятно догадываясь о ней; но все это делает ее еще привлекательнее для бедного подмастерья, которого бросает в дрожь, когда он на нее смотрит. О, придет день, когда она заплатит мне за эту дрожь, за этот трепет, недостойный мужчины! Придет день, когда она заплатит мне за низости, которые я совершаю из-за нее! Но нынче, — продолжал он, — день не пропал зря, я одержал победу. Я в десять раз сильнее ее, а ведь мне полагается быть слабее, потому что я люблю ее…» Андре — медиум, Бальзамо ее гипнотизирует для добывания информации, используя как вещь; однажды забыл разбудить, а Жильбер ее изнасиловал. Он усвоил учение Руссо, что надо следовать природе: хочешь женщину — бери ее. И все же он мучится: «С того дня, как Андре впервые потеряла сознание, Жильбер был вне себя, его постоянно бросало в пот, он все время пытался что-то предпринять… Всю его бестолковую беготню, все его напускное безразличие или, напротив, рвение, взрывы сочувствия или язвительности, которые Жильбер считал чудом скрытности и тактического искусства, любой самый ничтожный писец из Шатле, любой самый глупый тюремщик из Сен-Лазара разгадал бы так же легко, как Лафуэн из ведомства г-на де Сартина расшифровывал тайнопись…»

Жалел, потом начал бояться за себя — «его бросят к ногам Андре, поставят на колени и вынудят униженно признаться в преступлении, после чего убьют, словно собаку, палкой или кинжалом» — и уже сам не понимал, любит или ненавидит свою жертву, а она беременна… Он идет к Руссо с претензиями: «…у моего преступления две причины: первая — это вы… Заклинаю вас, господин Руссо, скажите мне, откуда эта мука, снедающая меня уже неделю, — от голода, разрывающего мне внутренности, или от угрызений совести, обжигающих мозг. Я зачал дитя, господин Руссо, я зачал дитя ценой преступления; и что теперь, скажите мне, я должен рвать на себе волосы в горьком отчаянии, кататься по земле, вымаливая прощение, или, подобно той женщине в Писании, должен сказать: „Я сделал то, что делают все на свете; кто сам без греха, тот пускай бросит в меня камень“? Вы, наверное, испытывали то же, что я, господин Руссо, так ответьте на мой вопрос, скажите мне, скажите — естественно ли для отца

бросать свое дитя? (Руссо сдал в воспитательный дом пятерых детей. — *М. Ч.)*

Не успел Жильбер выговорить последние слова, как Руссо побледнел еще сильнее Жильбера и пролепетал, совершенно изменившись в лице:

— По какому праву вы так со мною разговариваете?

— Да потому, что, когда я жил у вас, господин Руссо, в мансарде, где вы меня приютили, я прочел то, что вы писали об этом предмете; вы же сами провозгласили, что дети, рожденные в нищете, должны отдаваться под опеку государства; ведь вы же всегда считали себя порядочным человеком, хотя сами не побоялись бросить детей, которые у вас родились».

Руссо (Дюма пародирует его «Исповедь») отвечает, что его толкнула на это нищета: «…когда я покинул своих детей, я понял, что общество, которому ненавистно чье-либо превосходство, будет всякий раз бросать мне в лицо напоминание об этом, как позорный упрек; тогда я оправдался с помощью парадоксов и десять лет жизни посвятил тому, что поучал матерей, как воспитывать детей, — это я-то, не справившийся с собственным отцовством! — а родине давал советы, как воспитывать сильных, честных граждан, хотя сам был слаб и развращен. Но настал день, и палач, мстящий от имени общества, родины и сирот, палач, который не мог расправиться со мной, расправился с моей книгой и сжег ее[18] как позор, пятнающий страну, как рассадник заразы. Выбирай, думай, суди: хороши ли были мои поступки в жизни? Дурны ли были мои советы в книгах?.. Что ж, я сам решил этот вопрос в сердце своем, и сердце, бьющееся у меня в груди, сказало мне: „Горе тебе, безжалостный отец…“

На этих словах Руссо, привставший в своем кресле, рухнул на сиденье.

— И все-таки, — продолжал он надтреснутым голосом, в котором слышалась мольба, — и все-таки я не был настолько виновен, как можно подумать: я смотрел на мать, лишенную детей, плоти от плоти ее, видел, что она при моем сообщничестве забывает о них, как забывают звери о своих детенышах, и говорил себе: „Бог даровал матери забвение, значит, так ей на роду написано“».

Руссо убедил Жильбера: если у мужчины есть деньги, он обязан жениться. Но дать денег не может — у самого нет. Жильбер выпрашивает деньги у Бальзамо, признается Андре, предлагает брак, сует деньги, та отказывает: «…у моего ребенка есть только мать, понимаете? Пускай вы насильно овладели мной, но отцом моего ребенка вы не будете!» Он в ответ читает нравоучения: «Не думал я, что женщина, которой предстоит стать

матерью, заботится о чем-нибудь ином, кроме будущности своего ребенка» — и уже только ненавидит жертву: «Нельзя допустить, чтобы этот ребенок достался ей, чтобы она научила его проклинать мое имя. Напротив, пускай она знает, что ребенок живет, проклиная имя Андре». При дальнейшем чтении видно, что автору, Дюма или Маке, поведение и мотивация Жильбера представляются нормальными, а отказ Андре жить с насильником — аморальным: любопытно, конечно, была ли тут какая-то житейская подоплека, уж не предлагал ли Дюма брак Катрин Лабе?

Жильбер решил уехать в Америку, но перед тем украсть ребенка. Андре родила: «…она заранее ненавидела дитя, существовавшее только в ее воображении, она желала ему смерти, но теперь, когда она услышала, как оно плачет, ей стало его жаль. „Бедняжка мучается, — подумала она и тут же сама себе возразила: — Какое мне дело до его страданий. Я и сама несчастней всех на этом свете“. Ребенок снова заплакал, еще пронзительнее, еще горше. И тут Андре почувствовала, как в ответ на этот плач в ней поднимается голос тревоги; невидимые нити словно притягивали ее сердце к крошечному покинутому существу, заходившемуся в крике…» Жильбер украл сына, воспитывать, конечно, не стал, отдал кормилице и, переполненный сознанием своего благородства, уехал. (Это несколько напоминает то, как поступал Дюма с обоими своими детьми.) На этом кончается линия Жильбера, но не страдания Руссо. На собрании масонов он слушает кровожадные речи Марата:

«— Благодарю вас, господин Марат, — сказал Руссо. — Только, просвещая народ относительно его прав, не побуждайте его к мести, ибо, если он однажды начнет мстить, вы сами, быть может, придете в ужас от его жестокости.

На губах Марата мелькнула мрачная улыбка.

— О, если бы этот день наступил при моей жизни, — мечтательно протянул он, — если бы мне посчастливилось увидеть этот день…»

Марат становится одним из центральных персонажей — воплощенное зло, «жаба», «гадюка», он хочет учинить революцию немедленно: «Ждать, всегда ждать! Вы ждете уже семь столетий… Посчитайте-ка, сколько с тех пор умерло поколений, а потом попробуйте еще раз избрать девизом слово „ждать“! Господин Руссо говорит нам об оппозиции, какой она была в великий век, когда в обществе маркиз и у ног короля ее представляли Мольер с его комедиями, Буало с его сатирами и Лафонтен с его баснями. Ничтожная и немощная оппозиция, не продвинувшая ни на пядь

дело освобождения человечества… Довольно с нас поэтов, довольно теоретиков, нам нужны дела, поступки! Мы уже три века пичкаем Францию лекарствами; довольно, пришло время хирурга… Бунт, даже если будет задушен, просветит людские умы больше, чем тысяча лет наставлений, чем три века примеров; он если и не повергнет, то просветит королей — а это много, этого довольно! Лесорубы, лесорубы, беритесь за топоры…»

Тут вмешивается язвительный Бальзамо:

«— Вы поносите поэтов, а сами говорите метафорами, более поэтичными и цветистыми, чем у них! Брат мой, — продолжал он, обращаясь к Марату, — вы же взяли эти фразы из какого-нибудь романа, который пописываете у себя в мансарде… Знаете ли вы, что такое революция? — осведомился Бальзамо. — Я видел их раз двести… Со времен гиксов[19] и до наших дней свершилось, наверное, не менее ста революций. А вы жалуетесь на порабощение! Выходит, революции ни к чему не ведут. А почему? Да потому, что все, кто делал революции, страдали одним недостатком: они спешили. Разве Господь, направляющий людские революции, спешит? Ждите, господа, ждите благоприятного момента…»

Руссо с его расплывчатыми политическими взглядами был бы, возможно, на стороне Бальзамо, но Дюма его терпеть не мог (за нелюбовь к наукам и прогрессу), и его Руссо после общения с Маратом разуверивается в своих идеях. «Боже милостивый! — бормотал он, перечитывая в „Эмиле“ абзац, посвященный свободе совести. — Вот вам подстрекательские фразы… И, воздев руки, он воскликнул: — Как! Неужели это я произносил речи против трона, алтаря и общества? Нет, я не удивляюсь, что люди, одержимые темными страстями, восприняли мои софизмы и пошли кривыми тропками, которые я засеял цветами риторики. Я был возмутителем общества… — Я, — продолжал он, — дурно отзывался о стоящих у власти за то, что они тиранствуют над писателями. Каким безумцем, каким глупцом я был! Они были правы… я больше не напишу ничего такого, что противоречило бы благомыслию… Господи Боже мой, не нужно никаких революций! Да, милая Тереза, никаких революций!..» Вдруг его приглашают ко двору (который он бранил) — ставить его пьесу. Руссо в «Исповеди» описал этот эпизод: «Я хотел сохранить суровый вид и тон, усвоенный мной, и вместе с тем показать, что чувствителен к чести, оказанной мне столь великим монархом. Надо было облечь какую-нибудь высокую и полезную истину в форму прекрасной и заслуженной похвалы». По утверждению Руссо, он в конце концов не поехал ко двору, но злой Дюма отправил его туда: «Я отнюдь не принадлежу к тем, кто

отказывается признать верховенство гражданина в республике, но угождать придворным — нет, никогда!.. Но, пока он предавался этим размышлениям, король обратился к нему с обходительной невозмутимостью, с какой обычно разговаривают венценосцы… Руссо, так и не промолвивший ни слова, будто окаменел. Все фразы, которые он приготовил, чтобы бросить их в лицо тирану, вылетели у него из головы». Интересно, заметил ли Дюма, что пишет отчасти о себе? Самоирония? Или наоборот: сам бегал к королям и потому злился на Руссо, считавшего, что писателю так делать не подобает? Или это Маке написал о нем — а он не понял?

Глава одиннадцатая
КОРОЛИ ЗАЖИГАЮТ КОСТРЫ РЕВОЛЮЦИЙ: УРОК ВТОРОЙ

Для пьесы «Мезон-Руж» Дюма, Маке и композитор Варни написали песню «Умрем за родину» (припев заимствован из песни «Роланд в Ронсево» Руже де Лиля, автора «Марсельезы»), которая сопровождала последний ужин жирондистов (Герцен и Анненков считали, что такого ужина быть не могло, однако Дюма этот факт взял из источников, и что песня пошлая — это дело вкуса. Тургенев писал Полине Виардо в декабре 1847 года: «…кучка странствующих музыкантов принимается петь во дворе „Умереть за родину“ Госсека… Боже, как это прекрасно… У меня навернулись слезы на глаза…» Интересно, изменил бы он свое мнение, узнав, что песня вовсе не Франсуа Госсека и стихи к ней писал Дюма, которого он презирал?). У Марка Алданова в «Девятом термидора» песня упомянута как существовавшая в 1790-е годы и противопоставлена «Марсельезе»; революцию Алданов не любил, но «Умрем за родину» у него — торжествующая контрреволюционная пошлость. Для французов, однако, то была песня «правильных» революционеров, жирондистов, всех этих интеллигентов, чьими недостатками были слабость, отсутствие жестокости и неумение удержать власть. У нас жирондистами мало интересовались, а во Франции как раз был всплеск интереса к ним: в 1847 году вышла «История жирондистов» Ламартина, первые тома «Истории революции» Луи Блана, Мишле начал публиковать многотомную «Историю Французской революции». Когда «Умрем за родину» исполняли впервые, Дюма (по его словам) сказал дирижеру: «Подумать только, милый мой Варне, ведь следующая революция будет происходить под этот мотив».

В документальной книге «Последний король французов: История политической и частной жизни Луи Филиппа с 1771 по 1851 год» Дюма описал 1846-й: коррупция, хищения, миллионные взятки, железнодорожные и морские катастрофы, невероятно жестокие убийства, беспредел полиции, грабежи, 1847 год — еще хуже; король говорил о «провокаторах», которые разжигают страсти, и что все прекрасно и реформ не надо, на выборах в августе 1846-го правительственные агенты не таясь скупали голоса. «Невозможна никакая деятельность честных людей, все заранее одобряют всё, что сделает правительство… Слабых это

приводит в отчаяние, но сильные верят и ждут со спокойной улыбкой, и постепенно они замечают кое-что… Правительство начинает терять популярность, его сторонники, которым оно позволило нажиться, не осуждая его в целом, уже начинают подвергать сомнению его стабильность. С этой минуты правительство осуждено; и, если раньше они одобряли самые злые его дела, теперь они критикуют даже хорошие. Коррупция сжирает его до костей и выпивает все соки… В воздухе вновь появляется дуновение честности и порядочности, чтобы возвратить к жизни массы, которые всего лишь спали летаргическим сном, а их поторопились объявить мертвыми! И это простое возвращение людей к порядочности приводит правительство к кризису, оно становится похоже на судно, потерявшее управление… Такое правительство обнаруживает признаки гибели, когда порядочные люди отказываются сплотиться вокруг него, а тем, кто поддерживал его по ошибке, становится противно. За этими случаями дезертирства еще не следует немедленного краха — возможно, понадобится много лет, — но это признак, что рано или поздно оно падет и нужен лишь небольшой толчок…» Немногочисленные оппозиционеры сами уходили из парламента, называя его клоакой, Тьер вдруг оказался в оппозиции и требовал избирательной реформы (только 200 тысяч человек из 35-миллионного населения имели право избираться) и ограничения монаршей власти. А королю-то уже 74 года…

Наследником был сын короля, 37-летний герцог Немурский. Но какое это имеет значение? «Династическую оппозицию» возглавил Одийон Барро, вечно мечтавший о добром короле: вдова Фердинанда Елена — интеллигентная женщина, она может быть регентом при сыновьях, девятилетием Луи Филиппе, графе Парижском, и семилетием Робере, герцоге Шартрском. Не возражали против Елены и «прогрессивные консерваторы» во главе с Жирарденом: сперва они просили налоговых реформ, а затем, обидевшись, что власть их не слушает, заговорили об избирательных. Просили немного: снизить ценз для избираемых, чтобы баллотироваться мог средний класс — врачи, учителя, журналисты, офицеры — и чтобы избранные депутаты не получали повышения по службе (напомним: они могли занимать государственные должности). Луи Филипп отказал. Он не был чудовищем, подобно тиранам XX века, и с головой у него все было в порядке; он просто считал себя хозяином страны, хотя клялся быть слугой. Реформ хотели и республиканцы, самым популярным из которых был в ту пору Александр Ледрю-Роллен (1807–1874). Оживились левые — Блан, Бланки. И два мушкетера

были еще живы и энергичны: Этьену Араго всего 45, Жюлю Бастиду — 47 лет… И был человек, который всем нравился, как когда-то Лафайет, и который после смерти последнего стал нравственным ориентиром — Альфонс де Ламартин (1790–1869): писатель, красавец, аристократ, пылкий оратор, проповедник религиозной толерантности и всяческого прогресса, он был «вне политики», «за все хорошее»; когда он издал «Историю жирондистов», его слава достигла апогея.

На финансовый кризис пришлось неурожайное лето 1847 года; Гюго, уезжая с приема у герцога Монпансье, был неприятно поражен взглядами прохожих и писал: «Когда толпа смотрит на богачей такими глазами, это уже не мысли, а действие». Демонстраций нельзя, митингов нельзя, политических обществ нельзя, собираться больше двенадцати (уже не двадцати) человек нельзя, ничего нельзя, но французы нашли выход. По инициативе Барро с июля этого года начались так называемые «реформистские банкеты», хотя правильнее назвать их маленькими митингами с чае- (и не только) питием на воздухе; летом их прошло больше семидесяти, говорили речи, собирали подписи, полиция была в растерянности — можно ли запретить людям собраться выпить? — и ограничивалась тем, что переписывала каждого участника. 27 ноября Дюма пригласили на митинг-банкет в Сен-Жермен. Но он Барро не любил и «банкеты» — тоже. «Жаждавшему славы г-ну Барро пришла в голову мысль, но мысль не о том, чтобы сделать речи, с которыми он выступал с трибуны, зажигательными и интересными, а чтобы устроить дурные вечера в различных местах, где его имя еще пользовалось популярностью». Сославшись на болезнь, ограничился приветственным письмом в «Дебатах». Биографы считают: струсил. Хотя трусить было нечего: Ламартин ходил, да все ходили, и никому ничего за это не было. Сам Дюма писал, что ему было на таких мероприятиях скучно, — может, потому и соврал про нездоровье, чтобы не обидеть.

У него шел очередной суд: маркиз Эпине-Сен-Люк требовал 50 тысяч франков за оскорбление его предка, фигурировавшего в «Графине Монсоро». 15 января 1848 года — вердикт в пользу Дюма: писатель имеет право писать об исторических лицах как считает нужным. 17-го Барро говорил в палате о коррупции в правительстве, Гизо в ответ предложил вотум доверия и получил его почти единогласно. Но за пределами палаты многие возмущались, Тьер пытался увещевать министров, и даже роялист Токвиль предупреждал: «мы спим на вулкане». Дюма с Маке тянули «Бражелона» и «Бальзамо», сделали инсценировку «Монте-Кристо», спектакль в десяти действиях шел два вечера подряд, 2 и

3 февраля, Жанен в «Дебатах» писал, что Дюма «уничтожил театр», но публике нравилось, жалели, что он идет не целую неделю. Готье: «Ночь и следующий день казались всего-навсего досадно затянувшимся антрактом. На втором вечере зрители уже здоровались, знакомились, вступали в разговоры… Каждый старался устроиться поудобнее, расположиться с комфортом — словом, чувствовал себя жильцом, а не зрителем…» Билетов не хватало, стояли в очередях с вечера, Дюма арендовал городской театр, нанял дублирующую труппу. Революция — да, нужна, да, будет (а куда она денется, если власть не идет на реформы, рано или поздно пар сорвет крышку), но сейчас она не ко времени, пусть все идет как идет…

4 февраля Тьер объявил, что отныне реформаторы, коих он представляет, и радикалы — союзники в борьбе с правительством: он надеется, что «революционное правительство будет в руках умеренных людей», но даже если и неумеренных, он душой с ними. Потрясающий нюх у человека — и все забыли, что он сам это правительство возглавлял и законы дурацкие придумывал… У Дюма свои проблемы: задолжал Маке, тот сердится; 10 февраля подписали новое соглашение, по которому он передавал Маке право совладения на труды, вышедшие до января, и обязывался за 11 лет передать ему 145 тысяч 200 франков с ежемесячной выплатой, а также 66 тысяч в год от доходов Исторического театра; кроме того, он обязуется в год делать с Маке три пьесы. Жена тоже требовала денег, судились, его обязали выплачивать шесть тысяч в год и 120 тысяч компенсации за имущество, он обжаловал решение суда. Совсем не до революции ему было? Но в «Последнем короле» она описана так же детально, как и предыдущая.

На 22 февраля, как обычно пишут, был назначен реформистский банкет и его запретили. Из «Последнего короля», однако, видно, что речь шла вовсе не о «банкете», а о шествии от церкви Мадлен до Елисейских Полей и последующем митинге (с раздачей чая). Митинги и шествия запрещены? А вот из конституции следует, что горожане имеют на них право и даже не обязаны просить у властей разрешения — только уведомить… Но лучше попросить: 1 февраля 100 видных горожан обратились к королю с петицией. Король ответил — начал стягивать к Парижу армию.

9 февраля указом правительства митинг и шествие были запрещены. «Либералы протестовали и говорили, что закон не запрещает банкеты. Министр юстиции был смешон: „Все, что прямо не разрешено законом, запрещено, нет никаких других прав, кроме тех, которые прямо записаны в законах“. Его

язвительно комментировали: „В том числе и права дышать“…» 11-го Ламартин объявил, что пойдет даже на несогласованный митинг, призвал власть не препятствовать. Но 12-го палата утвердила указ правительства о запрете (Жирарден в знак протеста отказался от депутатства). 13-го собрался оргкомитет митинга (100 человек) и 14-го опубликовал заявление: правительство «нарушает конституционные права» и «превращает страну в полицейское государство». «Говорили, что из Венсенна подвозят боеприпасы днем и ночью, журналисты спрашивали военного министра, с кем будет война». 16-го оргкомитет решил: плевать, будем проводить несогласованный митинг — во вторник 22 февраля, в полдень, места сбора у Мадлен и на площади Согласия, шествие начнется от Вандомской площади и завершится коротким митингом на площади Звезды; следить за порядком, если нужно, правительство может поручить национальным гвардейцам.

«Всюду говорили, что власть может применить силу… публика была беспокойна, за три-четыре дня сборы в театрах упали…» Оргкомитет 20 февраля просил горожан не выкрикивать лозунгов, не приносить плакатов и флагов, а национальных гвардейцев — быть без оружия. Префект полиции призвал не ходить на митинги — это опасно; министр здравоохранения предупредил, что на митингах можно простудиться или заразиться. 21-го правительство вновь приняло решение о запрете, палата — тоже; за порядком в городе будет следить не Национальная гвардия, а полиция и армия. Вечером оргкомитет разослал в газеты очередное заявление: права горожан попраны, им не оставили выхода, наверняка будут провокации, мы бы уже рады все отменить, да поздно, люди решили идти, отсутствие лидеров их не остановит. «Ночью оргкомитет заседал в доме Барро, передавая из рук в руки бумагу префекта полиции: говорили, что по всему предполагаемому маршруту шествия будут войска и никто никуда не попадет. Тьер предложил уступить, Барро колебался». Левые лидеры, Ледрю-Роллен и Блан, поддержали Тьера, тогда сдался и Барро — «слили протест», даже не начавши. Ламартин, возмущенный, со слезами на глазах, сказал, что пойдет на штыки, и несколько его сторонников — малый оргкомитет — ушли совещаться к нему домой. «Магазины закрылись в тот вечер позже обычного. В полночь было официально объявлено, что оргкомитет отменяет митинг. Всю ночь в город входили войска. Париж казался спокойным; на самом деле Париж ждал».

Сам Дюма 22 февраля, как считается, провел в Сен-Жермене, планы его неясны: с одной стороны, он просил директора

Исторического театра отменить спектакль, с другой — писал Маке: «Пришлите мне 200 страниц к пятнице». Однако о событиях в Париже он пишет как очевидец: «22-го в 10 утра начали собираться колонны… жилеты и блузы отделились от сюртуков и слились со студентами, и колонна, став вдвое толще, прошла мост Мадлен и покатилась к площади Согласия. У входа на мост Революции она натолкнулась на отряд полиции. Передняя часть колонны остановилась, но задние напирали; тогда какой-то парень обнажил грудь, предлагая убить его. Штыки опустились, и колонна прошла… тут и там толпа объединялась в группы, кто-то влезал на статуи, на фонарные столбы, на фонтаны, которые еще не работали, и все группировались в районе площади Мадлен…» Лидеры не пришли, чаю, похоже, не дадут, но не расходиться же, мы столько лет валялись в спячке… «Внезапно в толпе что-то заклубилось, кто-то побежал, засверкали сабли полицейских, одна старуха была убита, один мужчина ранен, и вся толпа развернулась и бросилась в бегство…» Начинались баррикады, но без оружия, полиция мгновенно выдавливала оттуда людей, они убегали переулками, возвращались; казаки-разбойники длились до двух дня, а в это время палата дебатировала, Барро пришел туда и «положил на стол спикера документ с обвинением правительства в нарушении конституции, но спикер его даже не раскрыл». В городе все шло вяло, к вечеру войска рассеяли остатки толпы, полиция арестовала 200 человек; шел дождь со снегом. Но ночью на окраинах тихо возводились баррикады и на них появлялись другие люди — с оружием.

В «Истории моих животных» Дюма писал, что утром 23 февраля как командир Национальной гвардии Сен-Жермена объявил сбор и призвал идти в Париж, «чтобы оказать вооруженную поддержку народу», но все отказались; он поехал один и, как в 1830-м, бегал по улицам. Баррикад немного, а войск и полиции полон город; «но когда речь идет о войне с собственным населением, военные нередко оказываются мягче гражданских». Маршал Себастиани, командующий войсками, «испугался ответственности; он колебался и потерял время, не имея опыта баррикадной войны, которая не включена в учебники по тактике. Командующий Национальной гвардией генерал Жакмино колебался тоже, потому что многие его подчиненные говорили, что правительство и в самом деле плохое и реформы бы не помешали». Люди бродили кучками, медленно стекаясь к центру. «Около 11-ти прозвучал первый призыв к оружию, и мы поняли, что дело серьезно». Ближе к окраинам — стычки горожан с Национальной гвардией и полицией, Этьен Араго на баррикаде, но доктор Биксио, революционер 1830-го, вел отряд гвардии

против горожан…

Трое или четверо убитых, повезли тела, национальные гвардейцы расступались, один из отрядов вышел из повиновения и побежал по улице с криками «Долой министров» — «войска не поддерживали этих криков, но и не мешали кричать». Гизо объявил, что уйдет в отставку, предложил вместо себя Моле (сам Моле куда-то исчез), король согласился, но на иные уступки идти не хотел; «он думал, что это просто студенты покричат и разойдутся». В четыре прошел первый слух об отставке Гизо. «Вмиг все переменилось: толпа откатилась назад к бульварам, и уверенность появлялась на каждом лице. Незнакомые спрашивали друг друга, правда ли это, и после ответа „Да“ жали друг другу руки, как старые друзья». Стемнело рано, зажигали файеры, толпы собирались около кафе и ресторанов. «Казалось, что ночь пройдет в гуляниях и разговорах; и все же мы беспокоились. Из кого составят новое правительство? Правда ли все это? Или солгали, чтобы умиротворить людей?»

Большая толпа пошла к министерству иностранных дел, где сидел Гизо, Дюма туда же, опять появился какой-то тип с красным флагом, подход к министерству загораживал полк пехоты, «человек с флагом приблизился к офицеру. Что они сказали друг другу? Никто не знает. Внезапно прозвучал выстрел; лошадь офицера окутало дымом, он поскакал прочь с приказом стрелять; вырвались залпы, раздались крики боли, и через пять минут переполненный бульвар Капуцинок был пуст, толпа бежала вниз по улице Мира… Зеваки из окон увидели ужасную картину: 52 убитых и раненых лежали на тротуаре, из них две женщины. Что было причиной этой резни, этого убийства без предупреждения? Как мог отряд вооруженных мужчин открыть огонь по толпе, где были женщины и дети? Офицер, увидев, что стоит один посреди бульвара, в отупении смотрел на мертвых и раненых. Он приказал одному из лейтенантов пойти и объясниться с людьми. Объясниться! Как будто бойню можно объяснить!». Убитых было 17 человек, их погрузили на телегу и повезли по улицам, магазины закрывались, ставни захлопывались. «Катафалк и его эскорт двинулись к редакции „Национальной“ с криками „К оружию! Убивают! К оружию!“. Они продвигались медленно, окруженные толпой. Время от времени крики усиливались, когда человек вставал на катафалке и показывал труп женщины, у которой вся грудь была разворочена снарядом; после того как свет факелов освещал эту картину, он выпускал тело из рук и оно с глухим стуком падало вновь на постель из трупов. Всюду, где проходил кортеж, он сеял месть; ночью она прорастет и назавтра даст урожай… Наконец

катафалк покинул бульвары, углубившись в еще освещенные улицы, потом направился в темноту, где ненависть еще ожесточенней, ибо нищета страшней… С этого момента люди хотели уже не отставки правительства, а падения монархии». П. В. Анненков; «Революция была уже сделана: стоило только дождаться утра. Куда девались все страшные приготовления 18 лет, сделанные Лудвигом Филиппом. Все рушилось от подлости самих консерваторов, от деморализации войск, от парижского народа, неудержимого, как только раз снял он с себя цепи».

Ночью король приказал маршалу Бюжо подавить восстание и просил Тьера составить кабинет министров. Тьер, как в 1830-м, выдвинул ультиматум: премьером будет Барро, баррикады не расстреляют. Договорились. «Все мы помним ту странную ночь, когда, казалось, тротуары пульсировали от волнения, и армия мирных, тихих людей разворачивала баррикады…» Утром 24 февраля власти расклеили прокламацию: «Свобода, порядок, единение, реформы; Тьер возглавит правительство». Но забыли послать текст в «Правительственный вестник», и те, кто читал прокламацию, заподозрили ловушку. Тьер потребовал убрать Бюжо, король и на это согласился, но тут ему сообщили, что две колонны рабочих и студентов идут на Тюильри, а два пехотных полка, посланных остановить толпу, присоединились к ней. Барро верхом поехал на улицы, пытался говорить с людьми — его освистали. Тьер сказал королю, что все кончено. Пришел Жирарден — они все теперь открывали дверь к королю пинками — и потребовал, чтобы король отрекся, назначил регента, распустил палату и объявил амнистию политзаключенным. В 11 утра король, когда-то блестящий молодой миллионер, а ныне дряхлый, никем не любимый, — отрекся в пользу внука, графа Парижского, и объявил регентом Елену Орлеанскую. Час спустя Елена с сыновьями поехала в палату; король с остальной семьей бежал из дворца (потом — в Англию). На улицах — беспорядочная бойня; как всегда, никто не мог объяснить, в какой момент и как случилось, что Тюильри взят толпой, а трон выволокли на улицу и сожгли…

Шло заседание палаты; Дюма удалось пролезть на места для зрителей. Стоял шум, никто никого не слушал, приехал Тьер, все требовали, чтобы он что-нибудь сделал; Барро куда-то исчез; охрана доложила о приходе герцогини Орлеанской. Тьер хотел утвердить ее регентом, Ламартин говорил, что решать должен народ, Ледрю-Роллен предлагал референдум, одни кричали «Да здравствует король!», другие требовали, чтобы герцогиня ушла, так как регентом должен быть сын короля, она упиралась… Спикер сказал, что надо назначить временное правительство и

пусть оно разбирается. Наконец пришел Барро: «Он казался подавленным, будто понял, что потерял популярность… Люди в феврале были уже не те, что в июле». Барро сказал, что не надо никаких революций, надо всем объединиться. После него выступил депутат Роше-Жаклен и сказал, что это пустые слова: «Теперь вы здесь никто — понятно?» И тут поднялся вой, в палату ворвалась группа вооруженных мужчин — национальных гвардейцев, студентов, художников, рабочих, угрожающе кричавших: «Никаких регентов! Долой короля! Республика!» Прибежали еще какие-то люди, пытались схватить герцогиню, ее с детьми удалось эвакуировать через окно, депутаты разбежались, бросая портфели. Осталось пять человек, не испугавшихся толпы: Ламартин, Дюпон из Эра (81-летний старик, участник Великой революции), Ледрю-Роллен, Гарнье-Паже и Роше-Жаклен. Толпа — существо безголовое и не такое уж страшное — попросила их «что-нибудь сделать». Депутаты минутку подумали и объявили себя Временным правительством; толпа закричала от восторга, и тут же начали делить портфели и составлять списки…

Шум адский, в мэрии, говорят, тоже какое-то правительство, или штаб, или комитет; влекомые толпой депутаты (бедный Дюпон упал в обморок) направились туда, Дюма за ними; проходя мимо разграбленного Тюильри, подобрал несколько документов (потом оказалось — уникальных); пришел в мэрию — знакомая картина: все орут и на коленке пишут какие-то указы и списки, Этьен Араго произносит речь, Гарнье-Паже уже назначили мэром. Пришли депутаты, Ледрю-Роллен влез на стол и стал читать свой список: «…каждое имя сопровождалось криками „Кто? Что? Громче! Кто это такой?!“ и обсуждением»; добавили в правительство Луи Блана и рабочего активиста Александра Альбера. «Беспрерывно подходили новые группы горожан, и каждая требовала, чтобы ей зачитали список правительства. Один хотел вписать Луи Наполеона, другой — Барро…» Правительство заперлось в каком-то кабинете и стало совещаться, толпа осталась, вновь поднялся ор: «…люди выучили имена своих министров, но этого было недостаточно, они хотели видеть их. Их так часто обманывали». Толпа колотила в дверь, требовала показаться, вышел Ламартин, сказал красивую речь. П. В. Анненков: «Весь остальной день они беспрестанно встречали толпы и говорили речи под саблями и пиками и только в ночь могли принять некоторые, самонужнейшие меры». Дюма ушел к себе на парижскую квартиру: «…печальный и озабоченный, республиканец более чем когда-либо, но я находил Республику плохо устроенной, незрелой, неудачно провозглашенной… Я возвращался с тяжелым сердцем, я был подавлен тем, как грубо

оттолкнули женщину, мне было больно видеть двух детей, разлученных с матерью, этих двух принцев, вынужденных бежать…» И в театр никто ходить сейчас не будет, а деньги нужны позарез…

Ночью в городе грабили, сожгли несколько богатых дач; осажденное, невыспавшееся правительство сумело принять умное решение: объявило набор в Национальную гвардию с жалованьем, и грабители вмиг обратились в защитников порядка (Алексис, один из слуг Дюма, записался в гвардию, потом вернулся). Утром 25 февраля газеты напечатали состав правительства (куда за ночь вписали еще кучу разного народа, доктора Биксио в частности); в 10 часов было объявлено, что король бежал, провозглашена республика, правительство обязуется предоставить всем работу, разрешить профсоюзы и созвать Учредительное собрание. «Тем не менее была масса слухов со всех сторон, и никто не знал, чему верить. Говорили, что республика объявлена в Бельгии; что король ночью умер от удара… Подлинные или воображаемые, эти истории передавались со скоростью электрического тока… В три часа прошел слух, что временное правительство предало народ и объявило регента». Очередная толпа во главе с Франсуа Распаем пришла в мэрию с красным флагом, Ламартин (министр иностранных дел) гневно спросил, уж не желают ли они «задушить республику в колыбели», толпа успокоилась и ушла. «В четыре на бульварах уже праздновали, а мужчины помогали дамам перешагивать через баррикады…»

26 февраля Ламартин объявил об отмене смертной казни за политику, газеты выходили с лозунгом «Свобода, равенство, братство», разбирали баррикады, мели улицы, подсчитывали количество жертв: 350 убитых, 500 раненых. 27-го в Париж под восторженные вопли въехал Луи Наполеон (законом от 1816 года Бонапартам запрещалось жить во Франции), на площади Бастилии провозгласили республику, объявили свободу собраний, всеобщее избирательное право (для мужчин, достигших 21 года), отменили рабство во французских колониях, цензуру, на апрель назначили выборы в Учредительное собрание. Дюма решил баллотироваться. «Франция… позвала на помощь самых умных своих сыновей, сказав им: „Вот что сделал мой народ в минуту гнева; возможно, он зашел слишком далеко, но, в конце концов, что сделано, то сделано; на этом пустом месте, пугающем меня своей пустотой, постройте что-нибудь, на что смогут опереться общество, благосостояние, мораль и религия“. Я был одним из тех, кто первым услышал этот зов Франции, и мне показалось, что я имею право причислить себя к умным людям, которых она звала на помощь». Таковыми сочли себя почти все писатели:

разумеется, Гюго, Жорж Санд (ставшая почти коммунисткой в тот период), Бальзак, Виньи, Альфонс Карр, Поль Феваль, Эжен Сю и даже Гайярде.

Дюма опубликовал воззвание к национальным гвардейцам Сен-Жермен: «Через полгода революция свершится во всей Европе… Торжественный возглас „Да здравствует республика!“ не будет задушен, как в 1830-м… казнь за политику отменена, это главное… Революция 1793-го возводила эшафоты — революция 1848-го сносит их». 29 февраля он поместил в «Прессе» письмо к Жирардену: «Вам — мои романы, моя литературная жизнь. Франции — мои убеждения, моя политическая жизнь. Отныне во мне живут два человека: гражданин дополняет поэта… То, что мы видим сейчас, — прекрасно, ибо мы видим Республику, а до того видели лишь революции. Так храни нас Господь, нас, спасителей мира!»

Луи Наполеона и Орлеанских из страны выдворили, для безработных организовали Национальные мастерские с гарантированным пособием, жизнь кипела, на каждом углу — политические клубы, дебаты; 5 марта отменили все прежние законы о печати, за месяц только в Париже появилось 200 новых газет. Дюма стал сотрудником одной из них — «Свобода. Газета идей и фактов» (выходила со 2 марта 1848-го по 16 июня 1850 года) и 1 марта основал собственную — «Месяц» с подзаголовком: «Ежемесячное обозрение исторических и политических событий день за днем, час за часом, полностью составленное А. Дюма». Неплохая предвыборная газета: разъяснения, зачем нужно избирательное право, памятки избирателям, разбор разных кандидатов, Ламартин — за, Бланки и Ледрю-Роллен — против. Однако надо решать, где самому баллотироваться. «Проще всего было обратиться в свой департамент Эна. Но я покинул его в 1823 году и с тех пор редко там показывался… к тому же я опасался, что меня сочтут слишком ярым республиканцем для той республики, какой ее хотели видеть большинство избирателей… Оставался департамент Сена-и-Уаза, где я прожил уже четыре или пять лет… но, поскольку за три дня революции 1848 года я успел приказать бить сбор и предложить моим семистам тридцати подчиненным следовать за мной в Париж, чтобы оказать вооруженную поддержку народу, жены, дети, отцы и матери моих гвардейцев… возмутились тем, с какой легкостью я подвергал опасности жизнь людей, и одна мысль о том, что я мог бы избираться от их города, исторгла у сен-жерменцев крик негодования; более того, они объединились в комитет и решили потребовать моей отставки с поста командующего батальоном национальной гвардии…»

Для других он был чересчур реакционен. 4 марта, когда принцы Орлеанские покинули Францию, он, «вместо того чтобы поносить, оскорблять и высмеивать их, как те, кто за неделю до их отъезда заполняли их прихожие», опубликовал в «Прессе» письмо Антуану Монпансье: «Я никогда не забуду, что в течение трех лет, независимо от разницы политических мнений и против желания короля, которому известны были мои взгляды, Вы охотно принимали меня и обращались почти как с другом. Этим титулом друга, монсеньор, я гордился, пока Вы жили в Тюильри; теперь, когда Вы покинули Францию, я требую его». А 7 марта протестовал против сноса памятника Фердинанду: «При жизни герцога Орлеанского все, кто составлял передовую часть нации, возлагали на него свои надежды… Вы не можете сделать так, чтобы то, что было, перестало существовать. Вы не можете заставить исчезнуть то, что герцог Орлеанский… в течение десяти лет передавал бедным треть своего цивильного листа. Вы не можете зачеркнуть то, что он просил о помиловании для приговоренных к казни и в нескольких случаях ему удавалось мольбами добиться помилования…»

В конце концов он выбрал департамент Сена и выпустил обращение «К трудящимся»: «Я выставляю свою кандидатуру в депутаты; я прошу ваших голосов, вот мои данные. Не считая шести лет обучения, четырех лет работы у нотариуса и шести чиновничества, я двадцать лет работал по 10 часов в день, что составляет 73 000. За эти двадцать лет я сочинил 400 томов прозы — тиражом 4000, проданных по 5 франков том, и 35 пьес, сыгранных по 100 раз…» Он перечислял, скольким людям дал заработок: от книг 692 человека — наборщики, редакторы, продавцы, иллюстраторы, рекламные агенты — получили 11 миллионов 853 тысячи франков, от театра 1458 человек — актеры, охранники, портные, музыканты, костюмеры, гримеры, арендодатели, парикмахеры, уборщицы, билетеры — заработали 6 миллионов 360 тысяч; он не учел бельгийских пиратов и иностранные переводы. Так что трудящиеся, «независимо от того, заняты ли они физическим или умственным трудом», должны голосовать за него. Его обвиняли в безбожии — опубликовал обращение «К пастырям»: «Если и есть среди современных писателей человек, защищающий нравственность, верящий в бессмертие души и славящий христианство, то это я… я полагаю, что народ, который сможет соединить свободу и религию, будет первым из народов…» Соврал про бессмертие души? В мемуарах он в те годы писал: «…не осмеливаюсь сказать, что я в него верю, но надеюсь» — и добавлял, что ему всегда казались странными и неискренними внешние проявления веры. «Церковь — слишком

священное место, я чувствую кощунством ходить туда, как другие… Я не могу найти слов и молитв. Что могут люди сказать Богу, о чем просить, если он видит за маской — подлинное лицо, за лицемерием — неуважение?»

В предвыборной программе он провозгласил отмену привилегий, запрет на замену рекрутов, пособия жителям трущоб. Но социалистов в «Месяце» называл врагами. Ламартина тоже начал бранить — за половинчатость. Трудно сказать, что именно в его кампании было не так — наивность, притворство, неумение притворяться, — но на выборах 23 апреля (явка — 84 процента) он получил 261 голос. Страшное унижение. С ним соперничал, в частности, Эжен Лабиш, посредственнейший драматург, известный тем, что на него работали «негры», — не прошел, но голосов набрал в десять раз больше… Гюго, впрочем, тоже в своем округе не прошел. И Жирарден. И Тьер — обалдеть! — не прошел. Вот вам и всеобщее избирательное право…

В итоге в Учредительном собрании оказалось 500 очень умеренных республиканцев (в том числе Барро, Ламартин — слава богу, хоть он-то прошел! — и доктор Биксио), 300 орлеанистов и легитимистов, два родственника Наполеона и всего 80 левых, включая Барбеса, Блана и Этьена Араго, одновременно назначенного руководителем почтового департамента (за полгода этот весельчак ввел в употребление почтовые марки и вообще оказался толковым чиновником). Бланки и Распай не прошли — чересчур левые. (Бланки пытался вытащить людей на улицы 17 марта против Временного правительства и 16 апреля против выборов — не вышел никто.) В целом парламент оказался куда реакционнее, чем ждали: отклонил законопроект о создании министерства труда и запретил политические клубы. Как обычно, вслед за Францией встрепенулась Европа, восстали итальянцы и поляки; храбрый мушкетер Бастид, когда-то приговоренный к казни бунтовщик, а ныне солидный человек, назначенный министром иностранных дел, отказался направить войска в поддержку восставших. Разогнанные клубы возмущались, поляки-эмигранты возмущались; низовые активисты решили 15 мая, когда палата в очередной раз будет обсуждать польский вопрос, устроить восстание, все лидеры отказались участвовать, заговор возглавил Алоиз Юбер, которого многие (но не Дюма) считали полицейским провокатором.

Демонстрация (согласованная) от площади Бастилии через бульвары к Бурбонскому дворцу, народу — около двадцати тысяч, в основном иностранцы и рабочие, часть из которых пострадала от безработицы, часть была недовольна закрытием клубов;

никакого «креативного класса». Дюма присутствовал в палате как корреспондент «Свободы» и в очередной раз наблюдал, как толпа вломилась в зал и объявила парламент распущенным, после чего по традиции побежала в мэрию и там учредила правительство, включавшее Бланки, Блана и всех известных левых, несмотря на то, что они ее «кинули», не явившись на демонстрацию. Временное правительство приказало Национальной гвардии — таким же рабочим — очистить мэрию и арестовать организаторов и активистов. Блан бежал в Англию, Бланки посадили, Барбеса, только вышедшего из тюрьмы, где он отбывал пожизненный срок, приговорили к тому же (в 1854-м он получил амнистию и эмигрировал). Республика защищалась налево и направо; 22 мая закрыли клубы Бланки и Распая и в те же дни обсуждали закон, воспрещающий жить во Франции Бурбонам и Бонапартам. Дюма написал, что осуждает попытку мятежа, но закрытие клубов и высылку «нежелательных» иностранцев — тоже; «Свобода» отказалась публиковать его статью, и он основал (на это уходил один день) газету «Французские новости»; не выдержав конкуренции с его же «Месяцем», она закрылась 24 июня.

По некоторым округам на 4 и 5 июня назначили довыборы. Дюма ткнулся в воспетый им департамент Жиронда, но та же мысль пришла в голову Тьеру и Жирардену — написал, что снимает свою кандидатуру «в пользу более достойных», но, наверное, чертыхался. Нотариус Шарпийон, ведший его дела, был родом из Йонны и посоветовал баллотироваться там. Соперники — старый враг Гайярде и Луи Наполеон, которого никто не принимал всерьез, так как он, вроде бы (путаница в законах) имея право избираться, был выслан и не мог стать членом парламента. Началась быстротечная кампания. Все плохо: «Едва я ступил на землю департамента Йонна, как все местные газеты набросились на меня. Зачем явился? Разве я бургундец? Разве я виноторговец? Где мои виноградники? Изучал ли я вопросы виноделия? Значит, у меня нет департамента, значит, я политический бастард…» Попрекали дружбой с принцами и герцогами. Жозеф Прудон, один из родоначальников анархизма, в газете «Представитель» писал: «Господа Александр Дюма и Виктор Гюго… напялившие на себя маски республиканцев, не гнушаются любой клеветой… Засадить социалистов в Шарантон[20] — вот идеал этих болтунов». Прудон назвал писателей как таковых «вульгарными паразитами»: «Любой невежа и хам может назваться писателем, литература не имеет ни идей, ни мыслей… ни один честный человек не выберет профессию литератора… они занимались чепухой, когда другие изучали социальные науки. Революция была сделана вопреки им». Главным объектом атаки был Гюго.

Прудон, хотя и клеймил парламентскую демократию, в апрельских выборах участвовал, не прошел и теперь пробовал снова, Гюго был его конкурентом, а Дюма подвернулся под руку.

Дюма ответил статьей во «Французских новостях»: писатели больше, чем кто-либо, сделали для революции. 4 июня Гюго был избран, Прудон тоже, они помирились, и Прудон успокоился. Тьер избрался сразу по четырем округам (так было можно). Дюма не прошел, набрал не так мало — 3458 голосов, но был лишь третьим. А Луи Наполеон набрал в Йонне 14 тысяч 989 голосов; он был избран в четырех департаментах, включая Сену. Но политиков-тяжеловесов это не насторожило. Клоун-популист, высланный — чем он опасен? Левые пугали больше; 7 июня вышел закон о запрещении демонстраций и «уличных сборищ». Его приняла власть, которая три месяца назад образовалась в итоге «уличных сборищ».

Гюго и Блан настаивали, что Луи Наполеон должен сидеть в парламенте. Несмотря на противодействие Ламартина и Ледрю-Роллена, такое решение приняли, но тот сам отказался от полномочий, опасаясь принятия более жесткого закона о высылке. Место от Йонны освободилось, и Дюма выдвинул свою кандидатуру вновь. Он должен избраться, иного пути нет. Газеты расходились плохо — их слишком много, а денег у людей мало. Исторический театр пустел, на «Монте-Кристо» почти не ходили, новых пьес писать некогда (Маке в одиночку, видимо, тоже не мог). 25 мая поставили «Мачеху» Бальзака, выручка никакая. Дочь надо содержать в пансионе, слуг — кормить, сын почти не зарабатывает, жена выиграла апелляцию, а чем платить? Только обжулить (не бедствует же она): продал мебель подставным лицам, включая Маке, и перевез к нему в имение, вдобавок заняв у него денег. Лошадей и экипажи пришлось продать по-настоящему, с убытком, зверей, кроме собак и кошек, подарить зоопарку…

Люди не ходили в театр и не покупали лошадей не только потому, что после революции всегда неразбериха и деловая активность падает, но и потому, что финансовый кризис продолжался, а бороться с ним не умели даже теоретически. Гарнье-Паже, министр финансов, повысил налоги — правительство возненавидели, ситуация не улучшилась. Еще хуже с Национальными мастерскими. Их учредили по проекту молодого химика Эмиля Тома: государство всем найдет работу и будет платить одинаковую зарплату, а кому работы не хватит, дадут пособие. Дюма интересовал этот проект и восхищал Тома: он писал о нем во «Французских новостях». В апрельском докладе Мари, министру общественных работ, Тома жаловался, что нашел

работу лишь каждому четвертому и что квалифицированных рабочих негде использовать по специальности. Администраторы Национальных мастерских сами чувствовали, что глупо заставлять токаря мести улицу; вскоре установился порядок, когда рабочие утром «отмечались», днем курили, а вечером получали зарплату. Она была небольшая, но ничего не делать соблазнительно, и многие работники частных фирм устремились в мастерские. «Правительство было очень недовольно Тома; в мае прошел слух, что его хотят убить. 15 мая он не сумел удержать 14 000 рабочих от того, чтобы присоединиться к толпе, окружившей Бурбонский дворец».

Тома предложил новый проект: создать профсоюзы, передать рабочим половину собственности предприятий; ему отказали. «Почему? Мы не рискуем предположить, что причиной отказа было намерение формировать из рабочих Преторианскую гвардию, которую по одному слову можно бросить на улицы, чтобы установить диктатуру исполнительной власти…» В конце мая правительство потребовало отставки Тома, потом его отправили в Бордо строить мост: увезли силой и долго никто не знал, где он. Дюма дознался и издал за свой счет брошюру «Разоблачение ареста Эмиля Тома». Парламент 21 июня по предложению Гюго решил закрыть мастерские. Закрыли так же поспешно и необдуманно, как открыли: 150 тысяч человек, привыкших, что их содержат, вмиг оказались без средств. Рабочим от 17 до 25 лет предлагалось идти в армию (шла вялотекущая кампания в Алжире), тем, кто старше, — уехать в деревню. Рабочие 22 июня послали делегатов к Мари, тот им ничего не сказал, 23-го они вышли на улицы. Требовали открыть мастерские, освободить арестованных 15 мая и «учредить демократическую и социальную республику». Было их около сорока тысяч: только четверть бывших работников мастерских, никто из имевших работу к ним не присоединился. Но мы уже видели, что 1–5 процентов населения города легко делают революции. Баррикады, город в дыму, только что посаженные деревья выкорчевали… Чернышевский, который внимательно следил за этой историей, писал: «Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего хотели они? Это до сих пор остается смутно для того, кто не считает достаточным объяснением их мятежа перспективу голодной смерти, открывшуюся перед ними. То не были ни коммунисты, ни социалисты, ни красные республиканцы, — эти партии не участвовали в битвах июньских дней; чего хотели они? Улучшения своей участи; но какими средствами могло быть

улучшено положение рабочего класса, если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам; чего же они хотели, если не были даже коммунистами?»

Парламент передал исполнительную власть Луи Эжену Кавеньяку, брату покойного мушкетера, республиканцу, депутату, боевому генералу, воевавшему в Алжире; выбор так же удачен (для правительства), как когда-то выбор Наполеона. Объявили чрезвычайное положение. У Кавеньяка 30 тысяч войска и Национальная гвардия; бои были жестокими (юный студент Жюль Верн писал родителям: «На улицах Сен-Жак, Сен-Мартен, Сент-Антуан, Пти-Пон, Бель-Жардиньер я видел дома, изрешеченные пулями и продырявленные снарядами. Вдоль этих улиц можно проследить за направлением полета снарядов, которые разрушали и сносили балконы, вывески, карнизы…») и длились как всегда три дня, но на сей раз правительство победило. Ничего не получается, если «народ» бузит без поддержки «креативного класса», как и наоборот.

Поначалу все были на стороне Кавеньяка: Ламартин, Гюго, Дюма, Бальзак, даже Ледрю-Роллен и Луи Блан. Но к концу третьих суток ощущения переменились. Убитых от пяти до десяти тысяч, зверская жестокость с обеих сторон, восставшие резали пленных, а национальные гвардейцы, ворвавшись в дом, «зачищали» его, не щадя женщин и детей. Кавеньяка стали называть палачом. 29 июня он сложил диктаторские полномочия, но парламент назначил его премьером и «главой исполнительной власти Французской республики». Из правительства были исключены Ледрю-Роллен и Ламартин, бедный, благородный Ламартин, которому каждая сторона не простила заигрывания с другой…

Окончательно разогнали клубы, рабочий день, сниженный до 10 часов, вновь продлили до 11, восстановили денежный залог для печати… Жорж Санд писала: «Я больше не верю в республику, которая начинает свое существование с уничтожения пролетариата» (в 1871-м она тот же пролетариат назовет «грязными мерзавцами» и «убийцами»). Жирарден гневно высказался о Кавеньяке и был арестован. Дюма в «Месяце»: «Требуем безжалостного преследования убийц, всех, кто расстрелял генерала Бре, кто рубил головы, руки… но для тех, кто скажет вам: „Мы голодны, нашим женам, детям нечего есть!“ — о, для них — одного лишь милосердия; а если случится так, что из обвиняемых они станут обвинителями, тогда — правосудия». (В газете Гюго «Событие» 7 августа он сделал предсказание: «Что касается будущего республики, еще многое

предстоит сделать. Пусть она сперва будет буржуазной республикой, затем, спустя годы, станет демократической, через века — социалистической».) Под военный суд отданы 14 тысяч арестованных, почти все приговорены к ссылке. Такого не было ни при Бурбонах, ни при Луи Филиппе…

29 июня Дюма в обращении «К избирателям Йонны» объявил свое кредо: «Армия с народом». Но кампания шла еще хуже предыдущей. Его обвиняли в монархизме, а он заявлял: да, я друг изгнанных принцев. «История моих животных»: «Я поклоняюсь тем, кого знал и любил в несчастье, и забываю их лишь тогда, когда они становятся могущественными и счастливыми… Почему? Я не знаю. Это голос моего сердца просыпается внезапно, помимо рассудка… Едва человек упадет, я иду к нему и протягиваю ему руку, зовут ли его граф де Шамбор или принц де Жуанвиль, Луи Наполеон или Луи Блан…» По его словам, однажды его едва не застрелили — вступился какой-то незнакомец. Программа-то его была не хуже других. Но вести себя как политик, желающий избраться, он не умел.

С театром было совсем плохо. Остейн хотел уволиться, Дюма платил актерам из своего кармана. Поставив комедию Александра-младшего «Атала», «Подсвечник» де Мюссе, «Марию Тюдор» и «Лукрецию Борджиа» Гюго и свои старые пьесы «Карл VII» и «Анжела», он сел писать новую — «Катилина»: литературоведы считают, что если и было участие Маке, то — минимальное. Сюжет — выборы и восстание в Риме за 60 лет до новой эры, естественно, с намеком на современность.

В Риме тогда была республика, верховная власть — состоящий из аристократов сенат, исполнительная — два консула, избиравшихся в ежегодном соперничестве партий аристократов и демократов. Политик Луций Сергий Катилина (108–62 гг. до н. э.) начиная с 66 года несколько раз хотел баллотироваться в консулы, его не допускали, потому что он находился под судом за взятки, в 63-м он наконец баллотировался от демократов и представил популистскую программу, обещая всеобщую долговую амнистию. Все, у кого проблемы с деньгами, от разорившихся патрициев до крестьян, были за него. Его соперник от аристократов, Цицерон, делал упор на мораль конкурентов: они развратники, взяточники. Цицерон прошел, Катилина — нет, а его однопартиец Гай Антоний, будучи избран, объединился с Цицероном. Катилина готовил заговор, его раскрыл Цицерон, он бежал, пытался поднять восстание и был убит. Во французских исторических книгах говорилось, что Катилина — негодяй вроде Робеспьера, а Цицерон — благородный спаситель демократии; лишь Мериме в 1844 году

поставил порядочность Цицерона под сомнение, и Дюма, возможно, основывался на его книге.

У Блока в эссе 1918 года Катилина — личность особого революционного склада, «маньяк, одержимый», у него «выводы мозга и сердца представляются дикими, случайными и ни на чем не основанными». У Дюма он и прозаичнее, и романтичнее: бывший мошенник, который, узнав, что такое бедность, искренне возжелал помочь не только себе, но и другим: он безжалостен, но те, кто ему противостоит, так подлы (у Блока Цицерон хитер, но не подл), что симпатия на его стороне. Герцен писал в «Былом и думах»: «Помню еще представление „Каталины“, которого ставил на своем историческом театре крепко-нервный Дюма. Форты были набиты колодниками, излишних отправляли страдать в Шато д'Иф, в депортацию, родные бродили из полиции в полицию, как тени, умоляя, чтобы им сказали, кто убит и кто остался, кто расстрелян, а А. Дюма уже выводил июньские дни в римской латиклаве на сцену. Я пошел взглянуть… У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, а кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых тел? Я бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан». На самом деле пьеса тонкая и умная, французские критики ее высоко оценивали, а современники вспоминали, что она отражала душевное состояние и размышления парижан (а если Герцен считал, что надо громить тюрьмы или сидеть дома и плакать, чего же сам по театрам ходил?).

Цицерон требует, чтобы Катилина либо поддержал его, либо снялся с выборов, в противном случае угрожая сделать так, что его не допустят:

«*Катилина.* А! Вот средство, которое намереваются использовать, чтобы избавиться от противника, Катон, Лукулл, Цицерон, то бишь добродетельные люди! Добродетельные люди называют это средством, ну а я не добродетелен и называю это ловушкой… Вы говорите вашим сторонникам: работайте, готовьтесь, терпите… Я говорю моим: берите, тратьте, пользуйтесь! Гуляя по Риму, ты не мог не видеть двух явлений, никогда не пересекающихся и в то же время сталкивающихся на улицах беспрестанно… Одних, в туниках, шитых золотом, в пурпурных хитонах, мы называем патрициями; полуголые живые трупы мы называем народом…

Цицерон. Разве мы не подаем этому голому народу милостыню?

Катилина. Да, ты подаешь милостыню, потому что богат; но я

потерял свои богатства и сказал себе: „Что, если вместо милостыни раздавать справедливость?“ Эти, в пурпурных хитонах, не сделали ничего хорошего, чтобы быть богатыми: те полутрупы не сделали ничего плохого, чтобы быть бедными. Когда они открывали глаза под мраморным потолком или под соломенным, неумолимый рок говорил: „На всю жизнь ты посвящен роскоши — или осужден на нищету“. И это длится не со вчерашнего дня, не месяц, не год — века! И веками мольбы обездоленных судьбой безрезультатно возносятся из пропасти к небесам… И я сказал себе: „Общество плохо устроено; боги создали воздух небес и плоды земли для всех; пора раздать всем плодов и воздуха“…

Цицерон. То есть ты хочешь все разрушить?!

Катилина. Там видно будет.

Цицерон. Ты не сможешь ничего сделать против Рима, Рим незыблем, Рим вечен, Рим под покровительством богов! Я сказал тебе: „Будем сотрудничать“; я сказал: „Станем лучше“; я сказал: „Будем любить друг друга“… Но ты закрыл свои уши и свое сердце от меня… Ты упорствовал в своем помешательстве… Итак, Катилина, теперь ты против меня.

Катилина. Ты меня сошлешь?

Цицерон. Нет: теперь, когда ты открыл бездну, что у тебя в сердце, я тебя уничтожу. С сотворения мира борются два начала: порядок и анархия, добро и зло, жизнь и смерть… Я — порядок, я — добро, я — жизнь… Ты — анархия, ты — зло, ты — смерть. Мы будем биться, и я тебя убью; если я не уничтожу тебя, ты уничтожишь общество.

Катилина. Ну да, тебе, добродетельному человеку, тоже нужна кровь, чтобы добиться своих добродетельных целей… Ты не лучше меня, Цицерон, и знаешь это. Что ж, если ты уйдешь отсюда живым — не будет войны между Катилиной и Цицероном, будет война между народом и сенатом. Завтра, послезавтра тысячи убитых обагрят кровью улицы…»

11 августа парламентарии приняли закон о печати: за «оскорбление и критику» Национального собрания, то бишь себя, — до пяти лет тюрьмы и до шести тысяч франков штрафа. 17–18 сентября довыборы в нескольких округах, прошли почти сплошь самые реакционные монархисты, правда, Распая, сидевшего в тюрьме, тоже выбрали (но не освободили). Луи Наполеон избрался в пяти округах, в Париже с громадным отрывом победив Кавеньяка. Парламент сдался и позволил ему вернуться; 4 октября закон о высылке Бонапартов был отменен. Гюго добивался этого упорнее всех…

14 октября премьера «Катилины», приняли хорошо, но народу

мало. 1 ноября Дюма вновь обращался к избирателям Ионны, опробовав новую тактику: не успокаивать, а пугать и мобилизовывать. Пруссия «как змея готовится глотать все кругом: Данию, Голландию, Бельгию… возможно, увы! Францию тоже… Красная Республика мечтает о новом 15 мая, рассчитывает на новое Июньское восстание… Нам обещали больше свободы, чем при Луи Филиппе, а мы имеем меньше свободы, чем при Карле X. Нам обещали общественное благосостояние, а мы испытываем общественное недомогание. Нам обещали спокойствие и мир — а у нас гражданская война… Поэтому каждый, осуществляя свое право избирателя, должен понимать, под какие знамена встает. Мои политические враги — это господа Ледрю-Роллен, Лагранж, Ламенне, Пьер Леру, Этьен Араго (! — *М. Ч.)*… и все те, кого называют монтаньярами… (Я не говорю о Луи Блане и Кассидьере: они в изгнании; я не говорю о Бланки. Распайле и Барбесе: они в тюрьме.) Мои политические друзья — это Тьер, Одилон Барро, Виктор Гюго, Эмиль де Жирарден, Дюпен, Наполеон Бонапарт. Я с ними или, скорее, немного впереди них… Это те, кого анархисты называют людьми Реакции. Это те, кого я называю людьми Порядка».

Это правда он написал? Автор «Катилины»? Мы ничего не перепутали? Ладно, пусть заводской мастер Шарль Лагранж, которого Гюго называл полубезумным донкихотом, — враг: болтали, будто он открыл стрельбу 23 февраля. Но Этьен Араго, упорядочивший работу почты, — враг? Аббат Ламенне, проповедник «христианского социализма», которым Дюма так восхищался? Пьер Леру, философ, человек путаный, безобидный, как котенок? Луи Кассидьер, который вообще не принимал участия в июньском восстании, зато отсидел 13 лет за старое восстание в Лионе? А друзья? Тьер, которого в 1830-м Дюма звал негодяем? Жирарден? Барро, от чьих речей клонило в сон? Дюпен, выступавший против республики, за регентство? Дюпен! Тьер! Господи! Тьер!

Все станет еще удивительнее, когда мы узнаем, что такое «партия порядка», к которой Дюма решил примкнуть. Она была создана сразу после революции и первоначально называлась «Комитет улицы Пуатье»; ее вождями были не только Гюго, Тьер и Барро, но и бывший враг Тьера Гизо, и монархисты Монталамбер, Фаллу, Токвиль. Их принципы: «Порядок, Собственность, Религия, Безопасность, Нравственность», цель — «покончить с революциями»; они хотели видеть на троне графа Шамбора, внука Карла X, или малолетнего графа Парижского; по итогам апрельских выборов они стали второй силой после умеренных республиканцев. Как Гюго и Дюма оказались в этой компании —

уму непостижимо. Расчетливо примкнули к большинству? Но «партия порядка» поначалу не была большинством, и вряд ли они могли предвидеть, что будет, — у них не было такого нюха, как у Тьера. Так страшны показались в реальности «голые полутрупы», которых они жалели в пьесах, так страшно, что отнимут нажитое непосильным трудом? Но умеренные республиканцы тоже не собирались давать «голым полутрупам» много воли… Какой-то странный психологический выверт: республиканец Кавеньяк — чересчур правый, так давайте присоединимся к тем, кто еще правее? И главное, все зря — на ноябрьских выборах в Йонне Дюма получил 363 голоса…

12 ноября на площади Согласия провозгласили новую конституцию. Монархии больше нет («партия порядка» потерпела поражение); будет Законодательное собрание и президент, избирающийся на четыре года: он может смещать министров, но не может распускать собрание и отменять его решения. Всеобщее избирательное право, но с цензом оседлости в шесть месяцев. Свобода слова, печати, собраний и союзов; правда, пользование ею может быть ограничено «интересами безопасности». Впереди первые президентские выборы: от монархистов — генерал Шарпантье, от правых республиканцев — Кавеньяк, от правоцентристов — Ламартин, от левоцентристов — Ледрю-Роллен, от левых — Распай. Были, как полагается, и «фрики»: пенсионер с утопической программой Антуан Ватбле и «народный кандидат» Луи Наполеон, которого Тьер называл «кретином».

Раз уж республиканцы одержали верх, Тьер предложил им поддержку «партии порядка», но с условиями: провести закон о закрытии клубов (они были закрыты только временно), держать в Париже 50 тысяч войска и не помогать повстанцам в Италии. Правый Кавеньяк отказался, «народный» Луи Наполеон согласился (он на все соглашался) и поддержку «партии порядка» получил. Он обещал всё и всем: интеллигенции — свободу слова и вероисповедания, рабочим — работу, мещанам — порядок, крестьянам — религию, беднякам — колбасу, детям — мороженое; политики считали его клоуном, люмпены, обыватели и интеллектуалы восторгались им, и все были уверены, что победит Кавеньяк, тем более что у того был администресурс. Гюго вел за Луи Наполеона яростную кампанию, Жирарден тоже — в пику Кавеньяку. Дюма в газете «Братство»: «Сейчас у нас существуют две партии: партия газеты „Национальная“, представленная господином Кавеньяком, и партия Франции, представленная Луи Наполеоном. Разумеется, я принадлежу к партии Луи Наполеона». «Национальная» как до революции, так и после была рупором республиканцев, накануне 22 февраля

опубликовала призыв идти на демонстрацию, несмотря на отказ «вождей». Ну да черт с ней, с республикой, не нужна мне республика, в верности которой я клялся всю жизнь, еще несколько месяцев назад… Как же трудно влезть в голову человеку, которого никогда не видел, понять, что им движет! Пытаешься представить: допустим, я республиканец, но у всех республиканских кандидатов есть какие-нибудь пороки — так назло пойду и проголосую за царя… А знаете, так бывает.

Труайя: «В стремлении обеспечить триумф подлинной демократии Дюма решил отойти от Кавеньяка и его клики палачей, поддержав Луи Наполеона, который, с его точки зрения, по крайней мере ничем не провинился перед родиной». Сам Дюма 1 сентября 1849 года, спустя девять месяцев после выборов, объяснял в «Месяце», почему агитировал и голосовал не за него, а за Луи Наполеона: «…он [Кавеньяк], несмотря на свои заслуги, которые, как нам казалось, не нуждаются в поддержке, использовал газету для своих целей; он использовал для своих целей республику… 23 июня, когда нужно было прийти на помощь своему народу, он проявил медлительность, которая залила Париж кровью, и нам трудно видеть в этой медлительности что-либо иное, чем нерешительность генерала или амбиции диктатора… Мы голосовали За Луи Наполеона, потому что его избрали депутатом пять департаментов и это было выражение всеобщей воли… мы чувствовали, что его популярность, проникшая в самые темные слои общества, была плотиной, что сдержит всех этих якобинцев, монтаньяров, санкюлотов… Все, что связано с ним, было надеждой; понятно, что эта надежда была инстинктивной, она опиралась на неизвестное».

На новые пьесы не было времени и сил, осенью Исторический театр ставил «Трактирщика из Женевы» П. Фуше, «Отца Лазаря» Ж. Бушарди, «Лондонские тайны» П. Феваля, 17 декабря — «Антони» с Беатрис Пирсон в роли Адели. «Пресса» требовала романа, начали с Маке писать «Ожерелье королевы» — продолжение «Бальзамо», но довольно косвенное: в 1785 году графиня Жанна Ламотт-Валуа и кардинал Луи Роган от имени Марии Антуанетты купили дорогое ожерелье, расплатившись векселями; на суде Роган все свалил на сообщницу, которая была приговорена к телесному наказанию и заключению в тюрьме для проституток Сальпетриер. Источников масса: «Записки беспристрастного современника об исторических событиях конца восемнадцатого столетия» Жана Жоржеля, «Записки о частной жизни королевы Марии Антуанетты» Жанны Кампан, мемуары Леонара Антье, парикмахера королевы. Роль королевы в этом

деле спорна, авторы выбрали точку зрения, согласно которой она невиновна, но предупредили читателей, что не будут объективны: «Именно потому, что сегодня можно говорить все… не будет сказано ничего дерзкого о королеве-женщине, ничего сомнительного о королеве-мученице».

Одновременно Дюма затеял писать (один, на основе мемуаров маркиза Рене д'Аржансона, министра Людовика XV) исторический труд «Регентство» и его продолжение — «Людовик XV и его двор»; работа шла медленно, а выборы приближались. Уж наверное кровавый Кавеньяк все сделал, чтобы уничтожить конкурентов? Чернышевский: «Правительство Кавеньяка не позволило себе ни одной интриги, ни одного незаконного действия во вред своему противнику… С незапамятных времен в первый раз французы видели правительство, которое закон ставит выше собственных интересов и не хочет злоупотреблять своей силой». 10 декабря выборы, девять миллионов зарегистрированных избирателей, явка 81 процент, наблюдатели отметили нарушения лишь в Гренобле. Ватбле не набрал ничего, Ламартин — 0,23 процента, Распай — 0,51, Шангарнье — 0,96, Ледрю-Роллен — 5,06, Кавеньяк — 19,81 процента. Луи Наполеон — гром среди ясного неба — получил 74,33 процента, а в некоторых сельских округах более 90 процентов. Меньше всего — хотя больше 50 процентов — он набрал в Париже; «креативный класс» и часть рабочих были ошеломлены. Жюль Верн — родителям: «Хотя выборы уже прошли, возможно, что еще будет шум. Вчера вечером огромные толпы народа пробегали по бульварам с ужасными криками и бранью. По улицам фланировали усиленные патрули. Повсюду собираются возбужденные группы людей».

Обошлось без эксцессов — благодаря Кавеньяку. 20 декабря он, по словам Чернышевского, «в немногих, но прекрасных словах выразил свою покорность воле нации и сложил с себя власть»; Луи Наполеон присягнул конституции и сформировал правительство во главе с Барро (карикатурист Шам изобразил его и еще трех министров в виде мушкетерской четверки). Министерство просвещения возглавил католик Фаллу. Доктор Биксио стал министром сельского хозяйства, но через несколько дней подал в отставку; Бастид ушел с поста министра иностранных дел; Этьен Араго оставил пост почтового министра и продолжал мечтать о революции… Дюма в «Месяце» обратился к президенту: «Как мудрый человек, Вы не грезите об Империи; как человек, знающий историю Франции, Вы помните, что после 18 брюмера были Маренго и Аустерлиц (день, когда Наполеон I захватил власть, и его поражение. — *М. Ч.)*… Граф Шамбор,

ничего дурного не сделавший Франции, должен быть возвращен… Четыре молодых принца, ничего дурного не сделавших Вам, должны быть вознаграждены. Герцог Омальский должен стать губернатором Алжира. Принц де Жуанвиль должен быть назначен командующим флотом. Человек, который спас нас от анархии в Отель-де-Виль, человек, отклонивший красный флаг той самой рукой, что написала „Жирондистов“, потерявший популярность из-за чужих ошибок, Ламартин, должен стать вице-президентом. Человек, который искупил ошибки своих друзей, испив до дна чашу разочарований, человек, который достойно, благородно уступил Вам свое место, оставляя Париж спокойным и Францию уверенной, — только он, генерал Кавеньяк, должен стать маршалом Франции».

Глава двенадцатая
ЧУДОВИЩНЫЙ ДОКТОР

Голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками.

Не могло быть сомнения: голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью.

Александр Беляев

Бальзак, Готье или Мери баллотировались на место покойного Шатобриана. Трое ответили, что благодарны, но в этой академии им ничего не светит, Бальзак был выдвинут Гюго, получил всего четыре голоса, избрали герцога де Ноэйля, монархиста, писатели возмущались, но без толку. 29 января, как считают некоторые историки, Луи Наполеон предпринял первую попытку переворота (Париж был полон войск, и никто не объяснил, зачем это), но Тьер его отговорил. 17 февраля в Историческом театре премьера пьесы «Юность мушкетеров», написанной в соавторстве с Маке. Жюль Верн — родителям: «В этом произведении, хоть оно и не отличается большими литературными достоинствами, чувствуется удивительный сценический талант…»

23 февраля началась публикация «Ожерелья» (до 27 января 1850 года), тянулся нескончаемый «Бражелон», писалась пока никем не купленная «История регентства», а денег не хватало катастрофически. Ида выиграла вторую апелляцию, и 22 марта «Замок Монте-Кристо» был продан по приказу суда за ничтожную сумму в 30 тысяч 100 франков Жаку Антуану Жозефу Дуайену. Как позже выяснилось, такого не существовало: Дюма опять нарушил закон и продал дом самому себе. Открыто жить там было опасно, и он больше времени проводил в парижской квартире на улице Рише. Александр-младший поселился отдельно, а к старшему переехала дочь — и, как когда-то ее брат, став взрослой, привязалась к непутевому отцу. Ида Ферье — своему адвокату, 1848 год: «Моя падчерица живет, увы, с отцом, и то роковое влияние на эту столь юную головку и сердце, которого я так опасалась, уже дает себя знать». В «Монте-Кристо» хозяйничала Беатрис Пирсон — время от времени, они с Дюма толком никогда не жили вместе. И страсть угасала. В кои-то веки

незаурядная женщина сдалась, да не просто согласилась провести ночь, а стала подругой, — но не вышло, уж очень расчетлива и честолюбива она была, а он не мог хранить верность, зачем-то связался против обыкновения со «старухой», сорокалетней женой ювелира, поклонницей его романов Маргаритой Вероникой Гиди (об этой связи известно мало: женщина, видимо, спокойная, не доставлявшая проблем).

На Гваделупу ехать не на что и некогда: Верон, издатель «Конституционной», сделал заказ на серию повестей. Дюма писал их (частично, как считают, с Полем Бокажем, но в основном один) «между процессом в Бурже и майскими выборами» (7 марта — 3 апреля в городе Бурже слушалось дело о парижских событиях 15 мая 1848 года, 300 человек приговорили к тюрьме или ссылке) — так что в повестях, предупреждал он, без политики не обойдется. Но в современной политике он разочарован. Сетовал на упадок нравов и культуры — «с каждым днем мы делаем шаг за шагом к свободе, равенству и братству… пустые, увы, слова» — и клялся посвятить себя истории. «Я иду, как другие, я следую за движением. Сохрани меня Бог проповедовать застой! Застой — смерть. Но я иду как один из тех людей, о которых говорит Данте: ноги их идут вперед, но головы повернуты к пяткам… Я стараюсь воскресить угасшие общества, исчезнувших людей, от которых пахло амброй, а не сигарой, которые обменивались ударами шпаг, а не ударами кулаков…» И он вызывающе посвятил серию «Его королевскому высочеству монсеньору герцогу де Монпансье».

Первая повесть печаталась со 2 мая по 3 июня: «День в Фонтене-о-Роз». Убийца дает показания в суде:

«— У меня заготовлен был мешок гипса, чтобы скрыть следы крови. Я схватил голову, или, вернее, голова меня схватила. Смотрите. — И он показал на правой руке громадный укус, обезобразивший большой палец.

— Как! Голова вас схватила? — спросил доктор. — Что вы, черт возьми, городите?

— Я говорю, что голова меня укусила изо всей силы, как видите. Она не хотела меня выпустить. Тогда я поставил ее на мешок с гипсом и прислонил к стене левой рукой, стараясь вырвать правую; но спустя мгновение зубы сами разжались. Рука освободилась и тогда… Видите ли, может быть, это безумие, но голова, казалось мне, была жива, глаза были широко раскрыты. Я хорошо их видел, потому что свеча стояла на бочке. А потом губы, губы зашевелились и, шевелясь, произнесли: „Негодяй, я была невинна!“»

Собеседники спорят, может ли отрезанная голова жить,

Дюма, веривший в это, цитирует швейцарского физиолога Галлера, немецкого — Вейкарда, французского физика Ледрю, итальянцев Вольту и Гальвани, основателей учения об электричестве, австрийского врача Месмера — как не верить, если такие люди говорят? Другие истории о головах и, естественно, террор 1793 года. «Нож скользнул, голова отделилась от туловища, упала на помост и подскочила. И тогда… один из помощников палача, по имени Легро, схватил за волосы голову и дал ей пощечину из низменного побуждения угодить толпе. И вот, говорю вам, от этой пощечины голова покраснела. Я видел ее сам — не щека, а голова покраснела, слышите ли вы? Не одна щека, по которой он ударил, обе щеки покраснели одинаково, голова жила, чувствовала, она негодовала, что подверглась оскорблению, не значившемуся в приговоре…» Рассказчик отправился к палачу — ему хотелось знать, зачем тот ударил голову. «Но неужели вы не поняли, — сказал я, — что, осквернив уважение к смерти, вы совершили почти преступление?

— А, вот еще! — сказал Легро, пристально глядя на меня. — Значит, вы думаете, что они умерли, раз их гильотинировали?

— Конечно.

— Вот и заметно, что вы не смотрите в корзину, когда они там все вместе; что вы не видите, как они ворочают глазами и скрежещут зубами в течение еще пяти минут после казни. Нам приходится каждые три месяца менять корзину, до такой степени они портят дно своими зубами…»

В обществе не первый год шла инициированная Гюго дискуссия о смертной казни, известные врачи спорили, может ли гильотинированный человек страдать. «Мы говорим столь подробно об этом предмете вовсе не для того, чтобы вызвать озноб ужаса: нам показалось, что в момент, когда всех занимает вопрос об отмене смертной казни, подобное рассуждение будет небесполезным». Жизнь отрубленной головы для Дюма — аргумент против смертной казни. Вообще от современной политики никак было не удержаться: в повести «Джентльмены Сьерра-Морены» (публиковалась с 29 июня по 3 июля) он приводил июньский разговор с маршалом Бюжо:

«— Значит, вы не одобряете нашу Римскую экспедицию.

— Конечно. Ведь для того, чтобы ее поняли, ваша Римская экспедиция нуждалась в двух предварительных условиях: надо было заявить австрийцам: „Вы не пересечете границы Пьемонта“, а русским сказать: „Вы не вступите в Венгрию“».

О чем он? Италия в 1848 году состояла из восьми государств, в одном из них, Папской области (со светской властью папы), 8 февраля 1849 года произошла революция и была провозглашена

республика. Луи Наполеон, чтобы угодить католикам, хотел силой восстановить папу на престоле. Республиканцы в собрании тоже хотели послать в Италию войска — защитить другое государство, Пьемонт, от притязаний Австрии. Президент обещал послать войска в Пьемонт и выбил из собрания чрезвычайный кредит, а сам отправил экспедиционный корпус в Рим (его отбросили, но Римская республика все равно недолго продержалась); собрание потребовало отозвать корпус, Луи Наполеон отказался, а 26 мая собрание перестало существовать. В Венгрии, входившей в состав Австрии, революция шла с осени 1848 года, пока ее не подавил военной силой Николай I, — Франция смолчала. Что было бы, если бы не смолчала?

«Тогда у вас было бы право повернуться к римлянам и сказать им: „Рим — вовсе не столица одного народа, Рим — столица христианства; папа — не король, как все короли, он викарий Христа; Рим принадлежит не вам, поскольку весь католический мир сделал его великим, богатым и великолепным; папа вам не принадлежит, поскольку не римские государства, а вселенский церковный собор сделал папу королем Рима“. Наконец, вам нужно было повсюду вступать в союз не с людьми, а с принципом, и принцип этот должен был быть таким, в соответствии с которым вы живете, мыслите, действуете.

— То, что вы здесь предлагаете, стало бы вселенской войной.

— Пусть вселенская война, но, по крайней мере, это была бы последняя вселенская война».

Чистый Троцкий. Дюма и раньше высказывал подобные мысли, но теперь они все больше его занимали: если уж делать революцию, так везде сразу. Эта идея не мешала ему обожать отдельных королей: 9 мая он с сыном и художником Бонаром поехал в Амстердам на коронацию Вильгельма III Голландского, поклонника его книг. Выборы 13 и 14 мая прошли без него (на Гваделупе они проводились позднее). «Партия порядка» получила 450 мест из 705. Прежнее республиканское большинство сократилось до 75 человек, зато было много левых — 180. Бедняга Ламартин не был выбран, хотя баллотировался в десяти департаментах. Он вернулся к литературе и умер в 1869 году полузабытым.

Дюма по возвращении узнал, что больна молодая актриса Исторического театра Майе (романа с ней у него не было). Жюлю Жанену: «Бедная малышка умерла сегодня утром. У нее осталась старуха мать 87 лет и маленький ребенок. Помогите, сделайте все, что в ваших силах, подписку и т. д., чтобы старушку можно было устроить в дом престарелых. Что касается малыша, то если его отец не захочет, я возьму его. Ему только три года, он еще

мало ест. Буду работать одним часом в сутки больше… Я распечатываю это письмо, чтобы сообщить, что Дорваль умирает». Мари Дорваль умерла 18 мая, в 51 год, ее забыли. Незадолго до этого умер ее четырехлетний внук, и она проводила дни на его могиле, совсем разбитая. Дочь и зять, актер Рене Луге, привезли ее умирать в Париж, денег у них не было (у Дорваль было еще две дочери — денег не дали), вызвали Дюма, тот обещал, что похоронят достойно. Наличных у него было 500 франков. Попросил помощи у Гюго, тот (по словам Дюма) отказал, министр просвещения Фаллу — тоже. Заложил один из своих иностранных орденов. Похоронили Мари Дорваль рядом с внуком. (В 1855 году Дюма написал о ней книгу и на гонорар оплатил участок на кладбище и памятник.)

28 мая Законодательное собрание начало работу, а 3 июня был прием у президента, на который Дюма пришел, вероятно, в надежде, что Луи Наполеон пообещает следовать его советам, но тот ограничился кивком. 11 июня Ледрю-Роллен от лица левых предложил отдать под суд президента за римскую экспедицию (нарушавшую конституцию), это, естественно, не прошло, 13-го левые попытались вывести людей на демонстрацию, пришли шесть тысяч человек, в том числе 600 национальных гвардейцев во главе с неугомонным Этьеном Араго, они были быстро разогнаны, Ледрю-Роллен бежал в Англию, Араго — в Бельгию. Лион откликнулся восстанием 15 июня: 150 убитых, две тысячи арестованных. Дюма в те дни писал «Джентльменов Сьерра-Морены».

«— Итак, господин поэт, — обратился он [маршал Бюжо] ко мне, — что вы думаете обо всем происходящем?

— Скажу вам, господин маршал, что я думаю: водоворот мы принимаем за поток и растрачиваем силы, подымаясь вверх по реке, вместо того чтобы плыть вниз по течению.

— Вот как! Уж не становитесь ли вы, случайно, социалистом?

— Я никогда не становился им, господин маршал, я был им всегда, и то, что говорю сегодня, я писал еще полтора года тому назад: поступь народов не торопят и не замедляют — за нею следуют…» Он заявил маршалу, что президент «слишком уж настроен на борьбу» и «погружается в прошлое, в то время когда у него есть будущее»: ему следовало «проповедовать крестовый поход ради завоевания всеобщей свободы и создания великого союза народов».

17 июня объявили результаты по Гваделупе — Дюма набрал пристойное число голосов — 2985 (16 процентов), но вновь стал третьим. Президент никаких походов не проповедовал, а собрание приняло законы о запрете клубов и «преступлениях

печати»: нельзя оскорблять президента, «побуждать к неповиновению» и заниматься краудфандингом на оплату штрафов. 1 августа Дюма писал в «Месяце»: «Необходимо, несмотря на некоторые сомнительные действия принца-президента, искренне и преданно сплотиться вокруг него, избранного в миг энтузиазма; но, продолжая поддерживать принципы и человека, необходимо помешать принципу исказиться, а человеку — ослабеть и впасть в заблуждение. Сейчас принципы разрушены, а человек близок к краху…»

Повесть «Два студента из Болоньи» печаталась с 22 июня по 28 июня, издательство «Кадо» купило «Регентство», 26 июля Исторический театр поставил инсценировку «Шевалье д'Арманталя»; злосчастного «Бражелона» Дюма бросил, Маке дописывал его один. Это доказано: 20 августа Луи Перье, редактор «Века», в отчаянии взывал к Маке, чтобы тот хоть как-нибудь закончил роман, тот ответил, что ему нужно посетить ряд исторических мест, и редакция выбила ему командировку. Другой редактор «Века», Матарель де Фьенн, рассказывал, как Маке восстановил по памяти присланный Дюма и временно утерянный фрагмент текста в 500 строк, потом сравнили: исправления Дюма внес только в 30 строк. Он в это время писал для Верона повесть «Завещание господина де Шевелена» со вставным рассказом о Вильнаве, отце Мелани Вальдор. Многозначительный финал истории — смерть Людовика XV: «Нам приходилось рассказывать о радости парижан по поводу смерти Людовика XIV. Не меньшей была их радость, когда они увидели, что избавились от того, кого тридцатью годами ранее прозвали Возлюбленным».

Он чувствовал стыд и в сентябре объяснял в «Месяце», почему был за Луи Наполеона: поверил… надеялся… Гюго 15 сентября выступал в парламенте за отмену смертной казни — не прошло. На следующий день они с Дюма были приглашены на правительственное совещание по вопросам театра и театральной цензуры; были еще Скриб, драматург Мельсвиль, вице-президент Союза драматургов Байярд и писатель Эмиль Сувестр, предок автора «Фантомаса». В мемуарах Дюма приводит стенограмму:

«Г-н Скриб. Свобода театров — это абсурд, это смерть искусства». (Далее он говорит, что нужна система господдержки правильных театров, которые воспитывают, с тем чтобы неправильные умерли.)

«Г-н Дюма. Я не согласен ни с одним предложением коллеги Скриба… Главное средство развития детей, которое может предложить театр, — это талант… Оставьте театрам свободу, и самые талантливые будут привлекать людей… Любые привилегии — зло, это будет толкать людей к банкротству или недопустимым

поступкам… Что ж мы так боимся свободы!

Г-н Скриб. Коллега со своей свободой угрожает банкротством театров… Разве плохо, если безнравственные театрики исчезнут? Театры, которые зарабатывают больше всего денег, обычно — скверные; они выигрывают за счет нападок на мораль, религию и правительство. Свободный рынок нас далеко заведет по этому пути разрушения!

Г-н Дюма. Нападки на правительство и так запрещены законом. Г-н Скриб, впрочем, прав, говоря, что эти нападки гарантируют успех пьесы: публика, как правило, предпочитает справедливость и торжество добра.

Г-н Сувестр. Я не вполне согласен с обоими коллегами… Нужно поддержать Французский театр, „Комическую оперу“ и какой-нибудь еще… Если мы не будем их поддерживать, искусство станет на путь декаданса, ибо толпу привлекают больше дурные страсти, чем положительные примеры, и искусство, подрывающее устои, вытеснит искусство, которое воспитывает… Посмотрите, что делается в театре „Водевиль“! Каждый вечер там высмеивают государственных деятелей… Должны быть созданы репертуарные комиссии, куда войдут представители общества… Они решат, кого субсидировать и как заставить искусство учить патриотизму и морали…

Г-н Гюго. Наш долг — сеять идеи; время сделает свое дело. Свобода — мой принцип, я защищаю ее или борюсь за нее. Как можно добиться прогресса в искусстве иначе, чем через свободу?

Г-н Скриб. Свобода у нас уже была в 1791-м, и к чему это привело?

Г-н Гюго. Свобода тогда лишь пускала ростки… Хорошими считались во все времена пьесы, поддерживающие ценности, которые тогда господствовали… Мольер же боролся против этого, он показал, что слуга может восстать против хозяина, сын против отца, женщина против мужа, молодость против старости, свобода против условностей… Единственное, что нужно народу, это просвещение. Авторитаризм навязывает узкую мораль правительства и религии. Но есть высокая мораль гуманизма. Всю человеческую мудрость когда-то объявляли аморальной. От имени морали распяли Христа… О цензуре: какую пользу принесла она за последние 30 лет? Она только вызывает желание критиковать власть намеками… Сторонники цензуры говорят: „Да, она до сих пор работала плохо, но у нас заработает хорошо…“ Это абсурд. Как вы представляете цензора? Чиновник, который сидит на репетициях и заглядывает, не коротки ли юбки танцовщиц? Заставляет автора выкинуть реплику или каламбур? …Вы говорите, все будет решаться в суде. Но как вы

представляете этот суд, из кого он? Любому может не понравиться, как парикмахер сделал прическу актера, и в ней усмотрят мятежный намек… Главный судья — публика». Но Сувестр и Скриб заявили, что публика не может быть судьей — она всегда выберет плохое. Надо ли уточнять, чьи доводы произвели на «партком» большее впечатление?

Дюма в те дни заканчивал одну из лучших своих вещей — «Женщину с бархаткой на шее» (публикация с 22 сентября по 27 октября). Поль Лакруа утверждал, что повесть написана «на основе его заметок», в его архиве нашли заметки — несколько строк. По другой версии, это адаптация рассказа Вашингтона Ирвинга «Случай с немецким студентом»: герой приехал в 1793 году в Париж и ночью пришел на Гревскую площадь: «Пересекая площадь, Вольфганг попятился от страха, очутившись рядом с гильотиной. Это была вершина царства ужаса — зловещее орудие смерти стояло наготове с эшафотом, постоянно омываемым кровью сильных и отважных. В тот самый день на гильотине здорово потрудились, устроив кровавую баню, и вот она, стоя в зловещем убранстве посреди молчаливого, спящего города, ожидала новых жертв». У гильотины он увидел женщину, чье лицо ему раньше грезилось, с бархаткой на шее, привел к себе, уложил спать, а наутро обнаружил труп, голова которого отделена от шеи; он — пациент психлечебницы, так что все, возможно, ему почудилось. У Дюма сюжет тот же, однако он говорил, что получил его от Нодье; возможно, именно Нодье читал Ирвинга. Но в любом случае рассказ Ирвинга — две страницы, два персонажа и одна сюжетная линия, повесть Дюма — 150 страниц, 15 персонажей и четыре сюжетные линии, так что можно говорить о заимствовании идеи, но не более.

Стилистику, по признанию Дюма, подсказал любимый Гофман, и он же — герой повести. Юным он приехал в Париж: «Это было время, когда французы писали особенно плохо, но это было и то самое время, когда они писали особенно много. Все новоиспеченные должностные лица полагали, что им надлежит бросить свои домашние дела или ремесла, чтобы подписывать паспорта, составлять описание примет, выдавать визы, давать рекомендации — одним словом, делать все, что приличествует патриоту». Пошел в библиотеку — «услышал, что французская нация, рассматривая науку и литературу как источники коррупции и безразличия к гражданскому долгу, закрыла все учреждения, где составляли заговоры мнимые ученые и мнимые литераторы, закрыла исключительно из чувства гуманности, чтобы избавить себя от труда отправить этих бедняг на гильотину. Впрочем, и при тиране библиотека была открыта

только два раза в неделю». Пошел в музей — «услышал, что владелец его позавчера был гильотинирован. Он дошел до Люксембургского дворца, но тот был превращен в тюрьму…».

Гофман видит только ужасы и казни, но наконец ему удается попасть в театр, и там его внимание привлекает загадочный тип: «Этому человеку можно было дать лет пятьдесят, но с тем же основанием можно было дать и тридцать. Ему могло быть и восемьдесят — ничего неправдоподобного в этом не было бы. Но ему могло быть всего-навсего двенадцать, и это было бы не так уж невероятно. Казалось, он появился на свет таким, каким он был теперь. Вне всякого сомнения, моложе, чем сейчас, он никогда не был, и вполне возможно, что родился он более старым, чем был теперь. Человек, прикоснувшийся к нему, вероятно, испытал бы такое ощущение, словно прикоснулся к змее или же к покойнику. Время от времени он еще шире разевал рот — так проявлялось у него наслаждение меломана, — и три одинаковые маленькие складки описывали полукруг у краев его губ по обе стороны рта и застывали минут на пять, а затем постепенно исчезали: так упавший в воду камень образует круги, что все ширятся и ширятся до тех пор, пока окончательно не сольются с поверхностью воды». Это существо называет себя доктором и у него странная табакерка. На сцену выходит актриса, на ее шее — бархатка с застежкой в форме гильотины: «…куда бы ни двигалась Арсена… глаза ее не отрывались от глаз доктора, и меж их взглядами установилась видимая связь. Более того: Гофман явственно различал, как лучи, бросаемые застежкой бархатки Арсены, и лучи, бросаемые черепом на табакерке доктора, встречаются на полдороге по прямой линии, соприкасаются друг с другом, сверкают, сияют, мечут снопы белых, красных, золотых искр». И тут же в зале Дантон, и Гофману говорят, что он любовник Арсены.

«Всю ночь, весь следующий день, следующую ночь и день, последовавший за ней, Гофман видел только одну или, вернее, две фигуры: то была фантастическая танцовщица, и то был не менее фантастический доктор. Меж этими существами была столь тесная связь, что Гофман не воспринимал одного без другого. И то не оркестр грохотал у него в ушах во время этого наваждения, когда ему представлялась Арсена, без устали носившаяся по сцене, — нет, то тихонько напевал доктор, то тихонько постукивали по эбеновой табакерке его пальцы; время от времени перед глазами Гофмана сверкала молния, ослепляя его каскадами искр: то было скрещение двух лучей, один из них тянулся от табакерки доктора, другой — от бархатки танцовщицы; то была симпатическая связь бриллиантовой гильотины с бриллиантовым

черепом…» Он снова идет в театр, там «доктор» ему говорит, что Арсену, приревновав, забрал ее любовник и что никакой табакерки и бархатки не было, ничего не было: «Ваше сердце мертво, с ваших глаз спала пелена, и вы видите грубое сукно, красные колпаки, грязные руки и сальные волосы. Наконец-то вы видите людей и предметы такими, какие они есть». Но Гофман весь во власти галлюцинаций. Вновь встречает «доктора» — «казалось, что стоит только прикоснуться к нему, как уходишь из реальной жизни и попадаешь в царство мечты, лишаешься свободной воли и разума и превращаешься в игрушку того мира, что существует для него и не существует для других» — и тот приводит его к Арсене. Грубая проза: она требует денег. Он закладывает медальон невесты, выигрывает в карты, бежит к Арсене — та скрылась после ареста Дантона. Он бродит по городу: «…оголенные деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, что в бреду встали с постели, а их исхудавшие руки и ноги трясутся от лихорадки», машинально приходит к гильотине: «ночной ветер высушил ее влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно». У гильотины — Арсена, он ведет ее в отель и показывает деньги. «Она погрузила свои побелевшие руки в груду металла. Руки молодой девушки ушли в нее до самых локтей. Эта женщина, для которой золото было жизнью, прикоснувшись к золоту, казалось, вновь обрела жизнь.

— Мое! — повторяла она. — Мое! — Она произносила эти слова дрожащим, металлическим голосом, странным образом сливавшимся со звяканьем луидоров».

Она пьет, но не ест; выпавший из камина уголек обжег ее босую ногу, а она не поморщилась. Гофман играет на фортепиано, она танцует вальс «Желание» Бетховена: «…он возник и зазвучал под его пальцами как выражение его мыслей. Изменила ритм и Арсена: сначала она делала фуэте на одном месте, потом мало-помалу круг, который она описывала, стал расширяться и она приблизилась к Гофману. Гофман, задыхаясь, чувствовал, что она подходит, что она приближается; он понимал, что, сделав последний круг, она коснется его и тогда ему тоже придется встать и закружиться. Его охватили желание и ужас. Наконец, оказавшись рядом с ним, Арсена протянула руку и коснулась его кончиками пальцев. Гофман вскрикнул, подскочил так, словно по нему пробежала электрическая искра, бросился вслед за танцовщицей, догнал ее, заключил в объятия, продолжая напевать про себя переставшую звучать на фортепьяно мелодию, прижимая к себе это тело, которое вновь обрело свою гибкость,

впивая блеск ее глаз, дыхание ее уст, и, впивая их, он пожирал глазами эту шею, эти плечи, эти руки, танцуя с ней в комнате, где уже нечем было дышать и воздух стал раскаленным; и это пламя, охватившее все существо обоих танцующих, задыхающихся в обморочном бреду, в конце концов швырнуло их на кровать, которая их поджидала». Утром на его руке лежит «какая-то безжизненная масса»; появляется «доктор»: «Ах, так это вы, молодой человек, выкупили ее тело, чтобы оно не сгнило в общей могиле…» (А потом Гофман узнает, что в ночь, когда он совокупился с трупом, его невеста умерла.)

Следующую повесть, «Женитьбы папаши Олифуса», Дюма писал с Полем Бокажем: рыбак женился на русалке. (Вся мистика была потом собрана в сборник «Тысяча и один призрак».) 1 октября Исторический театр поставил инсценировку «Женской войны», хвалили, а сборов не было. «Порт-Сен-Мартен» взял отклоненную Французским театром в 1842 году переделку Шекспира «Завещание Цезаря», премьера 20 октября, там же на следующий день — «Коннетабль Бурбон», соавторы — Эжен Гранже и Ксавье де Монтепан; обе пьесы Дюма не подписал, только взял деньги. Для своего театра он купил уже ставившуюся и провалившуюся пьесу Луи Лефевра, переделал в драму «Граф Германн»: смертельно больной влюблен в женщину, которую любит и его племянник, и принимает яд, чтобы не мешать молодым; ему помогает зловещий доктор, которому интересно наблюдать агонию самоубийцы. Премьера 22 ноября, странную и мрачную вещь никто особо не оценил, правда, на спектакле был президент, но автор к нему в ложу, как полагалось, не пришел. Осенью Луи Наполеон поменял более-менее либеральное правительство Барро на марионеточное Альфонса Отпуля. Префект парижской полиции Карлье основал «Общество 10 декабря», провозгласившее «охрану религии и семьи» и борьбу с «безнравственностью, вредными изданиями и крамольниками», его члены с дубинками нападали на собрания «крамольников»; Гюго вышел из «партии порядка»; 1 декабря Ипполит Остейн оставил пост директора Исторического театра.

Почему театр терпел крах? Во-первых, он был не в Париже. Во-вторых, постановки были дороги, из-за этого не хватало денег платить актерам, те разбегались, на их место приходили другие, похуже, это отвращало зрителей. В-третьих, Дюма сам часто отдавал пьесы другим театрам. В-четвертых, он писал наскоро и небрежно. В-пятых, он все больше выходил из моды. Графиня Даш: «Дюма „Антони“, „Генриха III“, „Христины“ — возвышенный, сентиментальный, страстный, живущий за пределами этого мира, создавший иной в облаках, — писал их в пору, когда его глаза

сияли; он предавался мечтам, он выражал чувства. Вот почему нынешняя молодежь заявляет, что его театр устарел. Она отказалась от изъявлений любви и не ищет подвигов; сцены страсти кажутся ей странными. Они были искренними, когда он писал их, но не сейчас, когда мы предпочитаем более простое выражение чувств, и было бы неправильно гнаться за ушедшим временем… Это, наверное, правильно, это более мудро, более безопасно и меньше вводит в заблуждение, но это менее благородно, менее опьяняюще».

В моде были водевили, и Дюма умел их писать, хотя не очень любил: одноактная комедия «Зеленая шаль» с Эженом Ню в театре «Жимназ» 15 декабря прошла на ура. Сезон в Историческом театре завершился «Бурей в стакане воды» Леона Гозлана. 12 января 1850 года в «Бражелоне» была поставлена последняя точка. «Главный редактор „Века“ обратился к моему собрату Скрибу: он решил, что со мной покончено, больше ничего хорошего я не напишу и пора искать другого. Я дерзко попросил за свои фельетоны и за передачу авторских прав на пять лет по 5 тысяч франков за год: это показалось слишком много». Но у «Века» были основания считать, что он исписался. Перье вымаливал у Маке последнюю главу романа: «Ради всего святого, нельзя же просто так бросить д'Артаньяна, который на протяжении трех книг играл главную роль!» Бедный, бедный д'Артаньян…

Дюма с Маке в это время уже начали роман «Черный тюльпан»; сперва Дюма любовно разрабатывал «цветочную» интригу, но, поссорившись с «Веком», потерял интерес и к этой вещи и в записках требовал у Маке по 200–300 страниц зараз, минимально их правя; текст вышел в издательстве Бодри. Дюма больше занимала новая пьеса — «Урбен Грандье»: он описывал эту историю в «Знаменитых преступлениях». Грандье — священник, в XVII веке обвиненный в дьяволопоклонничестве и сожженный по приговору церковного суда; современные исследователи считают, что он пал жертвой политических интриг. «Двадцать лет спустя»:

«— Так-то оно так, но мне сдается, что еще очень недавно покойный кардинал приказал сжечь Урбена Грандье. Уж я-то знаю об этом: сам стоял на часах у костра и видел, как его жарили.

— Эх, милый мой! Урбен Грандье был не колдун, а ученый, — это совсем другое дело. Урбен Грандье будущего не предсказывал. Он знал прошлое, а это иной раз бывает гораздо хуже».

Корпел Дюма над пьесой основательно, что подтверждает переписка Беатрис Пирсон с Жюлем Жаненом: она, взяв на себя

роль секретаря, то и дело просит достать редкие исторические труды, «без которых г-н Дюма не может работать». Была и другая важная работа. В конце 1849 года в Париж приехал Мельхиор Пачеко-и-Обес (1809–1855), поэт из Уругвая, ставший военным. Крохотный Уругвай, страну беглецов из Европы, в XIX веке присоединяли то к одному, то к другому государству, в 1828-м он был объявлен независимой республикой, но на него начал покушаться аргентинский диктатор Рохас, с 1843-го взявший Монтевидео в блокаду; уругвайцы держались стоически. В 1845-м Англия и Франция (в Уругвае жило много французов и англичан) потребовали от Рохаса оставить соседа в покое, получив отказ, разбили аргентинский флот, но дальше не пошли, и блокада продолжалась. Пачеко-и-Обес был отправлен во Францию с миссией добиться военной помощи. Он выступил в парламенте, горько упрекал, ничего не добился, но произвел впечатление, о нем говорили газеты, литераторы были с ним в переписке; Дюма с помощью Беатрис Пирсон (переводчика) с ним познакомился, 9 января принимал его в «Монте-Кристо» и предложил написать об уругвайцах книгу — «Монтевидео, или Новая Троя».

Он сделал все, чтобы вызвать сострадание. Аргентина — чужое, Америка; Уругвай — наше, Европа. «Житель Монтевидео еще не успел забыть, чей он сын, внук или правнук, у него есть ощущение своей новой национальности, но он помнит традиции старой Европы, к цивилизованности которой он стремится, тогда как житель Буэнос-Айреса отдаляется от нее каждый день, стремясь к варварству». И как не помочь такому маленькому и храброму! Текст начал публиковаться в «Месяце», а после его закрытия вышел в издательстве «Шез и Сье» за счет Дюма; некоторые фрагменты вошли также в книгу «Мемуары Гарибальди» и роман «Парижане и провинциалы». Франция не помогла Уругваю, помогла Бразилия, но потом пошла череда переворотов, длившаяся 100 лет; Пачеко-и-Обес умер в бедности. «Бедный, как Цинцинат, он, как и Ламартин, ворочал миллионами; но он был одним из тех поэтов с открытой душой, у которых деньги уплывают сквозь пальцы. Прибыв в Париж с ответственной миссией, он был поднят на смех мелкими газетенками. Насмешки дошли до оскорблений. Он потребовал удовлетворения, ему в этом отказали. Он обратился в полицию и, хотя плохо говорил по-французски, решил сам защищаться в суде… Основным поводом насмешек, которым он подвергался, были малость его республики и ничтожность его дела. Он отвечал на них так: „Величие самоотверженности не измеряется величием того, что отстаивают“…»

Исторический театр 19 января 1850 года поставил

«Генриха III», пьеса ударная, но даже на нее не шли. Руководитель труппы Французского театра Арсен Уссе предложил написать для представления «Любви-целительницы» Мольера три интермедии, приняли их прохладно, но деньги Дюма заработал. Президент был на премьере и с ним не поздоровался. Несколькими днями ранее Дюма писал в «Месяце», что его зря называют «членом президентского штаба» — он в штабах не работает. Болтали, что новый Наполеон не намерен после четырехлетнего срока уходить и скоро отменит конституцию. «Месяц», 1 февраля: «Разве можете Вы, мудрый человек, грезить об Империи; разве можете Вы, образованный человек, забыть, что за 18 брюмера были Маренго и Аустерлиц… О нет, Вы не можете, Вы, с Вашим безвестным, но честным прошлым, совершить государственный переворот! Нет, Франция верит Вам, и это доверие не будет обмануто». То был последний номер «Месяца» — он разорился.

15 марта приняли реформу, предложенную бывшим министром образования Фаллу: при министре и в каждом департаменте создадут советы епископов, надзирающие за школами, светское образование отменяется. «Партия священников завладела настоящим и прошлым и уже потянулась расставить свои вехи в будущем…» «Многие родители, встревоженные тем, что образование полностью подпадает под влияние монахов… забирали детей из пансионов и коллежей и, насколько это было возможно, пытались воспитывать их дома». Дюма переехал на новую квартиру, скромную, авеню Фрошо, 7, с дочерью, которая совершенно его простила и заботилась о нем. Написал пьесу-гротеск «24 февраля» на основе одноименной пьесы немца Ф. Вернера: сын хозяина гостиницы убил отца, потом его сын задушил сестренку, потом его зарезали родители, и все это происходило 24 февраля; спустя годы приехал Дюма — 24 февраля — и, увидев во дворе мальчика с ножом, отнял его; вышел хозяин, жизнерадостный, не понимая, в чем дело; Дюма произнес страшные слова «24 февраля», на что хозяин ответил; «Этот проклятущий драматург своей мерзопакостной пьеской превратил порядочный дом в притон разбойников!» Представление в театре «Готэ» 30 марта неожиданно имело успех и принесло много денег. В этот же день Исторический театр ставил «Урбена Грандье» — нет успеха, хотя пьеса хорошая… Женскую роль играла Изабель Констан (1834–1900); автор влюбился.

«Ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело — ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет… За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви:

первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью… мой ангел, отдаюсь в твои руки. Охраняй меня. Простри надо мной твои белые крылья. Огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния и которые отравляют жизнь человека на долгие годы… Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. Ни одна женщина — даже мадемуазель Марс — не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года…» (В 1855 году Дюма написал брошюру о Констан для серии «Артистическая галерея».) При этом он не бросил ни Пирсон, ни Гиди…

В апреле довыборы в парламент, прошло неожиданно много левых, правительство тут же внесло новый закон, повышавший ценз оседлости с шести месяцев до трех лет и лишавший избирательного права людей, осужденных за политику: права голоса лишались более трех миллионов человек, особенно молодежи и рабочих из больших городов; некоторые округа Парижа потеряли 80 процентов избирателей. Гюго выступал против. Дюма — Гюго 9 мая: «Вы представляете там всеобщий разум (интеллигенцию), так скажите им от имени разума, что они безрассудны, что предпринятые ими шаги безумны… Неужели прошлое ничему не научило этих людей и они не в состоянии предвидеть будущее?.. Почему они все время пускают в ход законы, армии, генералов, диктаторов, когда им нужен только капитан, который бы мог вести судно по ветру?» Гюго произнес пламенную речь, но закон был принят; президент заявил, что он ни при чем, это депутаты сами.

Новый управляющий Историческим театром Макс де Ревель попал под суд за мошенничество, министр внутренних дел назначил временных управляющих — графа Долона и актера Долиньи. 12 июня — бенефис Пирсон, Дюма слал умоляющие письма директорам всех театров, прося у кого актрису, у кого оркестр — свои разбегались из-за невыплаты жалованья. В тот же день ставился водевиль «Сломанные соломинки» Жюля Верна, которого представили Дюма летом 1848 года. Если Гюго показался юноше «холодным и напыщенным», то Дюма отнесся к нему по-отечески, принимал в «Монте-Кристо», предлагал заменить Маке, получив отказ, не разозлился, а поощрял писать; две первые пьесы Верна он отверг, третью отдал Дюма-младшему на правку, и она выдержала 12 представлений (позднее он

устроил Верна литературным секретарем в Лирический театр). Сам он сделал с Гранже и Монтепаном инсценировку романа последнего «Рыцари ландскнехты», поставили 4 мая в «Амбигю», для Исторического театра инсценировал свою повесть «Полина». Еще раз пытался избраться депутатом от Пуант-а-Питр, набрал (в июне) втрое меньше голосов, чем в прошлый раз. «Черный тюльпан» плохо расходился: никого не интересовали голландские дела. С академией — кончено, с депутатством — кончено, с театром, кажется, тоже, романы не пишутся. Маке злится, президент обманул надежды, в стране тошнотно, почти нечем дышать, и все видят — будет хуже, а сделать ничего нельзя — «все заранее одобряют всё, что сделает правительство, словно дух, который время от времени вдохновляет народы на свершения, рассеялся в небе…». А на Жюля Верна Дюма произвел впечатление «человека-праздника»: пышные обеды, шум, хохот, дым коромыслом, бешеная энергия. Притворялся? Нет, наверное: ведь Изабель Констан его полюбила (или сделала вид), а ему уже под 50, последняя любовь, остальное — пустяки…

Они с Маке тем летом запланировали роман «Анж Питу» — сиквел «Ожерелья королевы» и приквел «Мезон-Ружа», который должен заполнить в революционном цикле лакуну с 1785 по 1793 год. Сделать это тем легче, что выходит труд Мишле — на нем можно базироваться. Но в этот период с соавторством происходило что-то непонятное. Известно из переписки, что Дюма и Маке вместе составили план, что был такой Анж Питу — журналист, контрреволюционер, что Маке хотел ехать изучать его детство и юность, так что, вероятно, он и предложил этого героя и сюжет. Однако роман начал публиковаться только зимой и был о другом человеке, ничего общего не имевшем с реальным Питу, а его детство было «списано» с детства Дюма, о котором Маке ничего не знал. Летом же Дюма писал и публиковал (в «Событии» с 28 июня по 18 октября 1850 года) другой роман, созданный без соавторов (во всяком случае, никто никогда не заявлял, что участвовал в его написании), — «Адская бездна». Можно предположить, что сперва хотели писать «Анжа Питу» по замыслу Маке, но тот отказался от поездки, так как был не урегулирован денежный вопрос, произошла ссора, тогда Дюма за несколько дней по своим воспоминаниям написал первую часть и, не умея придумать фабулу, роман временно бросил; кто-то подсказал ему (или он где-то вычитал) сюжет «Адской бездны», и он все лето и осень занимался ею, а к зиме помирился с Маке, и они продолжили «Анжа Питу» вместе.

Давненько он не писал больших вещей один: что же такое «Адская бездна», хуже ли, чем романы, сделанные с Маке?

Материал у него был собран давно, когда с Нервалем изучали немецкие тайные общества. Действие происходит в Германии с мая 1810-го по май 1812 года: студенты Юлиус и Самуил Гельб — братья, но не знают об этом: мать Самуила, бедную еврейку, соблазнили и бросили; потом отец-ученый раскаялся, взял его к себе воспитывать наравне с законным сыном, но поздно: Самуил ожесточился. Как и Бальзамо, он хочет всемирной революции, но если для Бальзамо социальное переустройство — цель, то для Самуила — средство личной власти; Бальзамо — сверхчеловек, Гельб — ничтожество, возомнившее себя сверхчеловеком. До Ницше, до Достоевского Дюма сформулировал их кредо: «…если человек есть Бог, он наделен всеми правами Бога, ведь это очевидно. Он волен поступать как ему угодно, не зная иных пределов, кроме предела собственных сил. К гению неприменимы иные мерки, кроме меры его же гения. Щепетильность, угрызения совести — все это ни к чему. Наполеон, которого мы сейчас проклинаем и которого будем обожествлять лет через десять, если не раньше, знает или чувствует это, отсюда его величие. По отношению к стаду посредственностей гений имеет все права и пастуха, и мясника…» Для Самуила всё — наука, любовь — средства: «Благодаря нашим изысканиям и открытиям мы могли бы сеять смерть, возбуждать любовь, насылать безумие, воспламенять или гасить сознание… Любовь — это власть. Стать полновластным господином другого человеческого существа…» Самуил изнасиловал девушку, опоив наркотиком, жену брата заставил отдаться ему, угрожая не вылечить ее ребенка, ребенок все равно умер, а женщина беременна от насильника — как же трудно Дюма было придумать какой-нибудь новый сюжетный ход! Самуил покушался на Наполеона, убил по ошибке не того и бежал из страны.

От его дальнейших приключений автор отвлекался на другие дела: инсценировка рассказа «Корсиканские братья» в Историческом театре 1 августа 1850 года, рассказа «Охота на шастра» — 3 августа; обе вещи музыкальны, кинематографичны, зрители видели на сцене море, бурю, корабли, но не оценили: увы, пьесы Дюма либо отставали от времени, либо опережали его. Комедия «Гулливер» по мотивам Свифта — не опубликована и не поставлена. Маке предлагал (не в первый раз) инсценировать «Графиню Монсоро», но Дюма отвечал: «…при всем желании я не знаю, как выпутаться из „Монсоро“. Не знаю, какая должна быть развязка…»

Для издательства «Кадо» он писал историческую хронику «Людовик XVI и Революция» и ее продолжение «Драма 93-го года: Сцены революционной жизни» — когда успевал? Обработал и

издал мемуары актера Тальма, полученные от его наследников. Еще не все: договорился с Жирарденом, что тот будет публиковать его собственные мемуары, и работал над ними; а мемуары — не отвлеченная болтовня, а масса фактов, дат, цифр, политической аналитики, работа серьезная. Любовь Изабель, видимо, придавала нечеловеческие силы. При этом не мог или не хотел порвать с двумя другими любовницами и завел еще четвертую, немку Анну Бауэр (1823–1884), жену австрийского коммерсанта. Пирсон уехала на гастроли в Гавр, Дюма обещал приехать, сдержал ли слово — неизвестно. Бауэр забеременела и решила рожать. Все это надо было как-то разруливать, и он решился: оставил квартиру дочери, а сам с 12 августа поселился на улице Бомарше, 96, сняв для себя и Изабель смежные квартиры на любимом четвертом этаже (с ним также поселился новый секретарь Эдмон Вейо). Изабель — болезненная, слабая (или очень хитрая), он относился к ней как к ребенку, поил с ложечки, нанял врача: «Это хрупкий цветок, который все может убить: и мороз, и жара, и даже любовь…»

Дела кругом безрадостные. 23 июля депутаты приняли закон о печати, увеличив до 50 тысяч франков залог для газет, запретив расклеивать их в общественных местах, расширив список «преступлений печати» и обложив романы с продолжениями гербовым сбором — один сантим с экземпляра газеты (что повлекло уменьшение гонораров авторам), и о театре, восстановив предварительную цензуру (тотчас сняли директора театра «Одеон» Бокажа за «антиправительственную пропаганду»), и ушли на каникулы. Законы были внесены администрацией президента, но тот все свалил на палату. Он с ней не ладил: много оппозиции, решения зачастую принимались с разницей в несколько голосов, положение ненадежное. Летом Луи Наполеон совершал тур по стране, выступал перед крестьянами и рабочими («креативный класс» в расчет не брал), ругал палату, жаловался, что у него мало полномочий, говорил, что его друг — «простой народ», а не зажравшиеся парижане, и предрекал, что после него президентом выберут какого-нибудь олигарха; чтобы этого не случилось, надо президенту баллотироваться на два срока, и не по четыре года, а по пять лет, а если его, Луи Наполеона, перевыберут, он вернет всеобщее избирательное право, которое палата урезала без его ведома. Провинциалы кричали: «Да здравствует император!»…

22 августа 1850 года хоронили Бальзака, а 26-го в замке Клермонт в Англии умер Луи Филипп Орлеанский. «Я не любил его ни как человека, ни как короля, и, если бы я имел нескромность поверить на минуту, что король Луи Филипп мог

питать по отношению ко мне какое-то чувство, доброе или недоброе, я сказал бы, что меня он любил ничуть не больше». Но быть на похоронах надо. 27-го Дюма выехал в «гнусную страну, где вечно холодно, где туман считается хорошей погодой, дождь — туманом, а поток — дождем, где солнце похоже на луну, а луна на сыр», как называл Англию д'Артаньян. Поездку описал в романе «Ашборнский пастор»: семья покойного приняла его скверно, потом он отправился в гости к лорду Генри Холланду, дипломату, в чьем замке гостила масса великих людей, включая кумира Дюма: «лежа в постели, в которой спал Байрон, я читал „Мемуары Байрона"…» Вернулся — в театре все хуже некуда.

На 23 сентября назначена премьера пьесы «Капитан Лажоньер» (отредактированная «Дочь регента»), роль, на которую рассчитывала Пирсон, отдана Изабель, с Пирсон был скандал и разрыв. Из писем Дюма к ней, предположительно датируемых октябрем 1850 года: «Вы вольны поступать как Вам угодно. Только Вы и сами понимаете, что нам неприятно было бы встречаться на репетициях. Откажитесь от роли, а жалованье Вам будет выплачено независимо от того, будете Вы играть или нет»; «Хотите ли Вы, чтобы я попытался устроить Вам гастроли в России?» Но Пирсон в Россию не захотела, а подала в суд на управляющих театром, требуя выплатить неустойку. (С 1851 года она поступила в «Порт-Сен-Мартен», Дюма добивался у дирекции, чтобы она не играла в его пьесах, ему отказали; в 1854-м она стала подругой Флобера.) Пирсон подбила еще четверых актеров подать в суд, 6–7 сентября вся труппа устроила забастовку, граф Долон, вложивший в театр собственные средства, вышел из дела, Долиньи остался и раздавал обещания. «Лажоньера» кое-как сыграли, а 12 октября прошла 39-я и последняя постановка Исторического театра — старая пьеса Дюма «Поль Джонс». 16-го актеры отказались играть. (Театр еще раз открыли 27 октября, чтобы дать благотворительный спектакль в пользу работников сцены.)[21]

Дюма писал Маке, что актерам надо заплатить шесть тысяч франков, он нашел только три тысячи, умолял занять у кого-нибудь. Маке отказал. Впоследствии он писал своему биографу Симону, что связывал с театром все надежды на благосостояние, но Дюма «дурно управлял» и помочь было нельзя. Дюма в отчаянии представил в министерство коммерции проект объединения под его руководством трех «пришедших в упадок» театров: «Порт-Сен-Мартен», «Амбигю» и Исторического, обещая, что театры будут «придерживаться одного направления во всем, что касается истории, морали и религии, целиком соответствующего пожеланиям правительства». Ответа не

последовало. Театр стоял мертвый и пустой, тянулся суд.

Во время военного смотра в Сатори 10 октября кавалерия кричала президенту: «Да здравствует император!», пехота по приказу генерала Неймайера прошла молча, Неймайера уволили, военный министр Шангарнье за него заступился — уволили и его. Палата, чувствуя, что ее разгонят, осмелела, как загнанный в угол зверь, Тьер подбивал депутатов призвать на трон наследников Орлеанского.

Дюма, завершив «Адскую бездну», за неделю написал повесть «Голубка» — XVII век, любовь, политика, заговоры; печаталась в «Веке» с 22 октября по 9 ноября — и взялся за продолжение «Бездны» — дилогию «Бог располагает»; публикация с 20 ноября 1850-го по 7 марта 1851 года, действие происходит в 1829–1831 годах в Париже.

«С закатом карбонариев кончилась эра тайных обществ… лучший, самый подлинный заговор — это открытое, на глазах у целого света объединение идей». И все же тайные общества есть, и Гельб в них вхож. Он предает, шпионит, интригует, подстегивает оппозиционеров — все для личной выгоды. «План таков: пребывать в постоянной готовности, следить за всем, что творится во взбаламученных мозгах министров, за всеми плетущимися в потемках интригами заговорщиков…» Гельб на собрании оппозиционно настроенных буржуа: «Революция, которую готовят эти люди без веры и без силы, покончит с их жалкими расчетами. Пусть они только откроют шлюз, и поток унесет их». Он «видел их насквозь, этих мелкотравчатых честолюбцев, живущих одним днем, не искавших в революции, которую они подготавливали, ничего, кроме собственных интересов или удовлетворения своего тщеславия, готовых низвергнуть трон, простоявший четырнадцать веков, чтобы сделать из него ступеньку и добраться до должности министра в министерстве, что продержится какие-нибудь полгода». Примерно то же Дюма в тот же период писал в мемуарах и делился мыслями с персонажем. Орлеанского возвели на престол, Гельб перешел на сторону власти, предал Тугенбунд, а оказалось, что его брат Юлиус — тайный глава Тугенбунда; все козни пошли прахом, а почему? Потому что Бог располагает… Так хуже этот роман, чем те, что писались с Маке, или нет? Не то чтобы хуже, он другой: любовные линии вторичны и блеклы, зато политика выписана детально, страстно; это шаг к новому жанру — гибриду романа и публицистики.

В декабре Маке жаловался Лакруа, что Дюма не берет его в соавторы, самому ему писал: «Вы даже не замечаете, что полностью дезавуировали наши соглашения и нашу дружбу… Я

никогда не получаю платы за работу. Вы оставляете меня без денег, тогда как должны в первую очередь рассчитываться со мной. Не забывайте, дорогой друг, что у Дюлона и Порше (нотариусы. — *М. Ч.)* зафиксирована вся Ваша громадная задолженность. Вы устраиваете в театры своих протеже и отказываете моим. И в самом деле, зачем им считаться со мной, когда они видят, что Вы сотрудничаете с каждым направо и налево, с любой посредственностью, и прекратили работать с человеком, с которым писали самые значительные Ваши произведения? Вы договорились со мной делать три пьесы в год, а вместо этого продаете Ваши права кому попало… Подумайте, ведь если Вы получаете мало денег, то я из-за Вас потерял все. Взываю к Вашим воспоминаниям, к Вашему сердцу, вспомните, что в счастье и в горе я всегда был с Вами».

Ответ Дюма: «Я обязался делать с Вами три пьесы в год. Мы сделали в первый год „Марго“ и „Жирондинцев“ и сочли, что этого хватит. Это не моя ошибка, это наша ошибка… Мы сделали во второй год „Монте-Кристо“ и „Катилину“. Вы сами сказали, что этого довольно. Мы сделали в третий год „Мушкетеров“, „Арменталя“ и „Женскую войну“. Только на третий год, и то по требованию Остейна, я сделал „Графа Германна“, которого Вам дважды предлагал писать, а Вы не хотели. В этом году мы сделали „Урбена Грандье“, после чего два месяца не работали вместе, так как Вы видели, как сделать пьесу про Шико, а я не видел; Вы могли написать ее сами. Но вместо этого Вы написали „Лесурка“[22], а теперь Вы мне говорите, что хотите сотрудничать! …Почему я позволил другим ставить „Полину“, почему хотел позволить делать без меня пьесу по „Корриколо“? Да чтобы оплатить Вам задолженность, о которой Вы говорите, дорогой друг. Теперь у меня треть в „Ландскнехтах“, треть в „Полине“, где я не делал ничего. И это — аванс в 2000 франков, и это для Вас. Как по-Вашему, легко ли мне живется, если все, что я получаю, это 600 франков за 2 тома у Кадо? Как бы я ни хотел, я не могу платить Вам 1000 франков, если получаю 600. Хотите — воля Ваша — хотя для меня это будет ужасным ударом — прервем нашу работу до тех пор, пока я не заработаю достаточно. Но что до меня, работать с кем-то кроме Вас — это как супружеская измена». Маке растаял, помирились и сели писать роман «Анж Питу».

Хотя «Анж Питу» хронологически продолжает «Бальзамо», Бальзамо в нем нет, зато есть Жильбер, что украл и сплавил с рук своего ребенка: он пожил в Америке, стал врачом, поумнел, вернулся во Францию, нашел сына, познакомился с его молочным братом, сыном крестьянки Анжем Питу. Детство Питу написано

Дюма прелестно — не ниже уровня «Тома Сойера» или «Оливера Твиста». Учил мальчика аббат Фортье:

«— Ах, безбожник! Ах, нехристь! — упрекал голос. — Ах, змееныш! Убирайся, уходи прочь, vade, vade! Вспомни: я терпел тебя целых три года, но ты — из тех негодников, которые вывели бы из терпения самого Господа Бога. Кончено! С меня довольно! Забирай своих белок, лягушек, ящериц, забирай шелковичных червей и майских жуков и ступай к своей тетке, ступай к дядьке, если он у тебя есть, убирайся к дьяволу, иди куда хочешь — лишь бы я тебя больше никогда не видел! Vade, vade!

— Ох, милый господин Фортье, простите меня, — отвечал с нижней ступеньки лестницы другой, умоляющий голос, — стоит ли так гневаться из-за одного несчастного варваризма и нескольких, как вы их называете, солецизмов…»

Когда Маке подхватил работу, в романе наступил 1789 год, Анжу 17 лет, он любит Катрин, дочь фермера Бийо, по недоразумению ему грозит арест, он бежит в Париж, с ним Бийо, попадают аккурат ко взятию Бастилии. «К несчастью, первая потребность народа после победы состоит в том, чтобы все разрушать. Архив Бастилии был разорен… Толпа с яростью рвала в клочки все эти бумаги; без сомнения, парижанам казалось, что, разрывая приказы о заключении под стражу, они законным образом возвращают свободу узникам». Дальше — кровь. «Обычно сражающиеся люди безжалостны лишь до тех пор, пока длится сражение. Как правило, те, кто уцелел в бою, снисходительны к врагам. Но в тех грандиозных народных волнениях… толпа, не решающаяся сама взяться за оружие и возбуждающаяся громом чужих сражений, толпа, разом и жестокая и трусливая, после победы ищет возможности принять хоть какое-нибудь участие в той борьбе, которая только что наводила на нее такой страх. Она берет на себя отмщение». Убивают всех без разбору, Питу и Бийо иногда этому немножко удивляются, но в общем им нравятся новые порядки. Жильбер незадолго до революции был арестован по доносу, теперь он свободен и узнает от Неккера, что донесла на него какая-то графиня де Шарни (это его жертва Андре, вышедшая замуж, фрейлина Марии Антуанетты); в свою очередь, Жильбер делится с Неккером пророчествами, предостерегая от республиканцев.

«— Однако, — возразил Неккер, — республика, подобная той, что создана в Соединенных Штатах, ничуть не пугает меня, и я могу лишь приветствовать ее установление.

— Да, но между Америкой и нами — пропасть. Америка — страна новая, лишенная предрассудков, привилегий и королевской власти… подумайте только, как много установлений

придется разрушить во Франции, прежде чем она станет похожа на Америку!»

Печатался «Анж Питу» в «Прессе» с 17 декабря 1850 года, а 20 декабря Исторический театр, Дюма и Долиньи были объявлены банкротами. Назначили конкурсного управляющего, Дюма подал апелляцию, ему грозило и личное банкротство, он тщетно пытался перевести квартиру на имя дочери (несовершеннолетней). Со стороны не все видели, что с ним происходит, Жюль Верн писал отцу: «Ты говоришь, что Дюма и другие не имеют ни гроша и ведут беспорядочную жизнь. Это не так. Дюма зарабатывает 300 000 франков в год, Дюма-сын — без всякого напряжения — от 12 до 15 000, Эжен Сю — миллионер… все они имеют прекрасный достаток…»

17 марта 1851 года Анна Бауэр родила сына Анри. Ее муж, видимо, все знал, так как уехал в Австралию, оставив жену в Париже; она занялась бизнесом, преуспела и дала ребенку хорошее образование. Она была самостоятельна и скрытна; неясно, поддерживал ли Дюма какие-то контакты с ней и знал ли, что у него есть сын. Анри-то потом узнал, да и все узнали: он был как две капли воды похож на фотографии отца. (Первые снимки Дюма появились как раз в 1851 году: их сделал художник Алексис Гуэн в технике цветного стереоскопического дагеротипа.) У законного сына — сложная любовная история с Лидией Нессельроде, женой графа Дмитрия Нессельроде, сына министра иностранных дел России. Жила без мужа в Париже, развлекалась; Дюма-отец вспоминал, как сын привел его к ней в гости и она ему понравилась: «Я покинул этих прелестных и беспечных детей, моля бога влюбленных позаботиться о них». В марте 1851-го Нессельроде велел жене возвращаться в Москву, Александр-младший хотел ехать за ней, не было денег, с отцом занимали по 20, по 50 франков, чуть не побираясь. Собрали. Отец предупреждал: «Берегись русской полиции, она дьявольски груба и жестока…» Так ли это, сын не узнал — Нессельроде приказал остановить его на польской границе.

Выполняя «супружеский долг», Дюма написал с Маке инсценировки по отдельным частям «Монте-Кристо» — «Граф де Морсер» и «Вильфор», поставлены в «Амбигю» 1 апреля и 8 мая. Но от измены не удержался — сделал с Полем Мерисом пьесу «Застава Клиши» о побеге Наполеона с Эльбы, постановка 21 апреля в новом Национальном театре. Коллеги обвинили авторов в попытке подлизаться к президенту — его великий дядя произносил в пьесе речи о демократии, о которых ни один историк не слыхивал. Если вспомнить увещевания, с которыми Дюма обращался к президенту, то была попытка не подлизаться, а

умолить не делать плохого, в точности как Жильбер, ставший лейб-медиком Людовика и пытающийся на него влиять. «Никогда еще у короля не было столько советчиков; каждый высказывал свое мнение вслух, на людях. Самые умеренные говорили: „Все очень просто“. Нетрудно заметить, что эту формулировку у нас употребляют, как правило, именно тогда, когда все очень сложно.

— Все очень просто, — говорили эти мудрецы, — для начала следует получить от Национального собрания санкцию, в которой оно нам, конечно, не откажет… Собрание объявит четко и ясно, что бунт — преступление, что народу негоже браться за оружие и проливать кровь, если у него есть депутаты, способные поведать королю обо всех его невзгодах, и король, способный вынести справедливый приговор. Вооруженный декларацией Национального собрания, полученной без большого труда, король не преминет по-отечески, то есть сурово, наказать парижан. Тогда тучи рассеются… и все пойдет, как шло от века».

В других кружках говорились иные речи, ораторы — они «принадлежали, бесспорно, к высшему сословию, и их белые руки и изысканные манеры выдавали то, что призвано было скрыть простонародное платье», — призывали:

«— Народ! Узнай правду! Тебе толкуют о политических и социальных правах, но стал ли ты счастливее с тех пор, как получил право выдвигать депутатов и благодаря их посредничеству участвовать в голосовании?.. Тебе нужны не фразы и максимы, изложенные на бумаге, тебе нужен хлеб… Кто даст тебе все это? Король решительный, умный, великодушный!»

Продолжаются беспорядки, Жильбер уговаривает короля что-нибудь делать, но тот уверен, что все нормально: побесятся и перестанут. Куда хуже его жена — не «мученица», как в «Ожерелье», а «властительница, в чьем сердце нежное и животворящее чувство любви потеснилось, дабы уступить место желчи — яду, который проник в ее кровь, потек по ее жилам».

«— Сердце у народа не злое, — продолжала Мария Антуанетта, — он просто сбился с пути. Он ненавидит нас оттого, что нас не знает; позволим же ему познакомиться с нами поближе… король накажет виновных, но по-отечески.

— Однако, — робко возразила принцесса де Ламбаль, — прежде чем решать, должны ли мы покарать народ, следовало бы, мне кажется, выяснить, способны ли мы с ним справиться.

Истина, сорвавшаяся с этих благородных уст, была встречена всеобщим криком осуждения.

— Способны ли мы с ним справиться?! Да ведь у нас есть швейцарцы!»

Король говорит королеве, что «народ прав», а вообще ему не

хочется об этом думать — аппетит портится.

«— Сколько глупостей я натворил, сударыня, позволяя делать глупости другим. Я содействовал гонениям на философов, экономистов, ученых, писателей. Ах, боже мой! Ведь эти люди ничего не просили, кроме позволения любить меня.

— Да, да, я знаю, как вы рассуждаете, — сказала Мария Антуанетта, — вы человек осторожный, вы боитесь народа, как пес боится хозяина.

— Нет, как хозяин боится пса; быть уверенным, что собака вас не тронет, — не пустяк».

Толпа продолжает убивать чиновников, Бийо, не выдержав, пытается заступиться, его не слушают, Жильбер хочет опять удрать в Америку, но Бийо велит остаться в Париже, «чтобы помешать злу». Октябрь 1789 года, толпа грозит штурмом Версаля, королева отвергает помощь Лафайета, король уговаривает себя, что все пустяки. «Почти во всех народных волнениях, предшествующих революциям, случаются часы затишья, когда люди думают, что все закончилось и можно спать спокойно. Они ошибаются. За теми людьми, которые поднимают бунт, всегда стоят другие люди, которые ждут, пока первые волнения улягутся и те, кто в них участвовал, утомятся либо остановятся на достигнутом и удалятся на покой. Тогда приходит черед этих неведомых людей; таинственные орудия роковых страстей, они возникают из мрака, продолжают начатое и доходят до крайности, так что те, кто открыл им путь и заснул на полдороге, думая, что путь пройден и цель достигнута, пробуждаются, объятые ужасом».

Среди этих неведомых людей — Марат, единственный, кажется, персонаж, к которому Дюма не испытал жалости даже после его смерти, — «уродливый карлик, отвратительный горбун на коротеньких ножках. При каждой буре, сотрясающей недра общества, кровожадный гном всплывал с пеной и барахтался на поверхности». Однако авторы старались быть объективными и указали: то, что Марат привел в Версаль толпу «убивать и грабить», — лишь одна из версий (хотя они в нее верят). А Питу вернулся в деревню и его, семнадцатилетнего, избрали командиром местного отряда Национальной гвардии; надо где-то найти оружие. Блистательная сценка:

«— Раз дом аббата Фортье принадлежит коммуне, у коммуны есть право оставить за собой комнату в этом доме и хранить там ружья.

— Верно, — согласились слушатели, — у коммуны есть такое право. Ты нам скажи другое: как мы возьмем оттуда эти ружья?

Вопрос привел Питу в затруднение: он почесал в затылке.

— Говори, не тяни, нам пора идти работать.

Питу облегченно вздохнул: последняя реплика открыла ему лазейку.

— Работать! — воскликнул Питу. — Вы говорите о том, что надо вооружаться для защиты родины, а сами думаете о том, что вам пора идти работать? — И Питу так презрительно фыркнул, что арамонцы униженно переглянулись.

— Мы готовы пожертвовать еще несколькими днями, если это совершенно необходимо для свободы, — сказал кто-то из крестьян.

— Чтобы быть свободными, мало пожертвовать одним днем, надо отдать всю жизнь.

— Значит, — спросил Бонифас, — когда трудятся во имя свободы, то отдыхают?

— Бонифас, — возразил Питу с видом рассерженного Лафайета, — те, кто не умеет встать выше предрассудков, никогда не станут свободными.

— Я с радостью не буду работать, мне только того и надо, — сказал Бонифас. — Но что же я тогда буду есть?

— Разве это обязательно — есть? — возразил Питу.

— В Арамоне пока еще едят. А в Париже уже не едят?

— Едят, но только после победы над тиранами, — сказал Питу. — Кто ел 14 июля? Разве в этот день люди думали о еде? Нет, им было не до того… Еда! — презрительно продолжал Питу. — Питье — другое дело. Была такая жарища, а порох такой едкий!

— И что же вы пили?

— Что пили? Воду, вино, водку. Питье приносили женщины.

— Женщины?

— Да, превосходные женщины, которые делали флаги из подолов своих юбок.

— Неужели! — изумились слушатели.

— Но назавтра-то вы все же должны были поесть, — произнес какой-то скептик.

— Разве я спорю? — ответил Питу.

— Но раз вы все-таки поели, значит, работать все-таки надо, — торжествующе сказал Бонифас.

— Господин Бонифас, — возразил Питу, — вы говорите о том, чего не знаете. Париж вам не деревня. Там живут не крестьяне, послушные голосу своего желудка: obediendia ventri, как мы, люди ученые, говорим по-латыни. Нет, Париж, как говорит господин де Мирабо, всем народам голова; это мозг, который думает за весь мир. А мозг, сударь, никогда не ест».

Аббат Фортье ругает сволочами всех — от Лафайета до

последнего пролетария, Питу пишет на него донос и… 26 июня 1851 года роман прервался на полуслове. Дюма объяснял, что Жирарден из-за расходов на гербовый сбор требовал сократить оставшуюся часть романа в 10 раз, и писал Маке: «Я один закончу „Анжа Питу“, над которым с учетом сокращений нам совершенно невыгодно работать вдвоем». Маке — Полю Лакруа: «Почему он повторяет всюду, что моя работа не приносит ему пользы, что он прекрасно может без меня обойтись, почему вынуждает меня ради защиты моей репутации рисковать повредить его собственной, поскольку существует неоспоримый факт, что, уходя от него, я унесу все, что принес?.. Несмотря ни на что, я питаю к нему дружеские чувства… Пусть он отныне строит наши отношения ясным, положительным, неизменным образом, пусть ограничит мои доходы, но при этом выплачивает, что должен. И пусть не забывает о доле известности. Я дорожу этим более, чем всем прочим». Еще бы ему не возмущаться: не он ли автор чудесной сцены, цитированной выше? Сохранилось письмо к нему Нефцера, редактора «Прессы»: «Я бы хотел у Вас узнать, в каком состоянии „Питу“… Г-н Дюма о нас забывает. Если бы я был уверен, что Вы опережаете его в работе, я бы хоть немного успокоился».

Маке требовал выплатить ему 100 тысяч франков немедленно, Лакруа выступил посредником, и состоялось новое соглашение: впредь Маке получает за совместные работы две трети. Работа-то была: основанная банкиром Исааком Мире газета «Родина» просила у Дюма роман, он дал название — «Бог и дьявол», обещал написать в начале 1852 года, обсуждал с Маке, но по каким-то причинам они вместо этого стали писать другой, не для «Родины», а для «Века» — «Олимпия Клевская». (Роман этот раза в четыре толще, чем «Питу», и гербовым сбором тоже облагался, так что то ли «Пресса» была скупей «Века», то ли ее читателям «Питу» просто наскучил.) Маке утверждал, что писал «Олимпию» один, но записки Дюма доказывают, что это не так (хотя рука Маке чувствуется сильно — сложное построение любовной линии характерно именно для него): «Я хотел бы увидеть Ваше продолжение, чтобы знать, как мне писать дальше… Таким образом, после главы „Krotamie“ я возобновлю мой рассказ, который займет 4 месяца… За это время интриги, которые Вы написали на тех 100 страницах, будут развязаны…»

Источник романа — «Жизнеописания драматических артистов» Лемазюрье, эпоха Людовика XV (1727–1729), молодой послушник Баньер, застуканный за чтением Вольтера, бежал из монастыря, поступил в театр, полюбил актрису Олимпию — сильную, независимую женщину, напоминающую великих актрис, в которых безотвественно влюблялся Дюма. Пристрастился к картам и

наркотикам, Олимпия его содержала, потом ушла к прежнему любовнику. Ее заметил юный Людовик, Баньер пытался пробраться к ней, но его засадили в сумасшедший дом. Мучимый ревностью и отчаянием немолодой покровитель Олимпии (отчасти напоминающий Дюма) проявляет благородство и ведет молодую пару под венец, но Баньера опять хватают (он успел побывать в армии и дезертировать) и рубят ему голову, Олимпия тоже умирает. Сильный психологический роман, незаслуженно — быть может, из-за непомерной толщины — забытый; он выходил с 16 октября 1851-го по 19 февраля 1852 года. Цензура кое-что выбрасывала:

«Госпожа де Майи в такую рань выходит из кабинета короля?! — вскричал Пекиньи.

— Скажи лучше, что она выходит так поздно!

— То есть?

— Вне всякого сомнения, она туда вошла вчера вечером…»

Казалось бы, что нам Людовик XV, когда это было… Но нельзя писать о монархах непочтительно в свете близящейся монархии. Президент внес в палату предложение о пересмотре конституции. Ни в мае, ни в июле 1951 года оно не прошло: республиканцы и левые были против, консерваторы хотели более покладистого правителя из Орлеанских. Гюго в палате 17 июня: «Разве после Наполеона Великого нам нужен Наполеон Малый?!» Но палата, расколотая на части, не была способна сопротивляться по-настоящему, а главное, не было человека, подобного Лафайету или Ламартину, вокруг которого все могли бы сплотиться против Луи Наполеона. Максим Дю Кан: «Расстановка политических сил была такова, что ни одна партия не имела возможности свалить этого молчаливого и внешне апатичного человека, которым овладела навязчивая идея. К осуществлению этой идеи он шел с упорством маньяка. Он проводил время в одиночестве, молчаливый и непроницаемый, позволяя досужим ораторам выступать, журналистам писать, народным представителям дискутировать, уволенным генералам проклинать его, лидерам парламентских группировок высказывать в его адрес угрозы. Противники считали его идиотом и тем успокаивали себя».

Дюма в сентябре ездил на охоту, работал над мемуарами, отредактировал комедию Поля Бокажа и Октава Фейе «Ромул», пристроить не удалось, осенью в Париже писал с Маке «Олимпию», а в одиночку продолжение «Анжа Питу» — «Графиню де Шарни». Газеты отказались от ее публикации — тогда заключил договор на книжное издание с «Кадо» и брюссельским издательством «Мелин». Можно сказать, что его соавтором был Мишле — в основном на его работе Дюма базировался, прибегая

к прямому цитированию: «Рядом с этим гигантом мы чувствуем свое бессилие и, как Дантон, призываем на помощь силу». Мишле писал: «Все правительства Европы в течение 50 лет твердят, что Франция, созданная революцией, составляющей славу и веру французского народа, была не чем иным, как беспорядком, бессмыслицей, чистым отрицанием» и революцию реабилитировал, правда, до определенного момента — его героем был Дантон, и Дюма, до прочтения Мишле числивший Дантона наравне с Робеспьером, тоже им увлекся.

Продолжением «Анжа Питу» «Графиню де Шарни» можно назвать лишь условно. Любовные истории написаны наспех, чтобы отделаться, к персонажам автор потерял интерес (Питу женился, злосчастной Андре отрубили голову, Жильбер сбежал). Дюма все больше клонился, по его выражению, от исторического романиста к романическому историку («Великий и светлый день четырнадцатого июля; мрачные и угрожающие ночи пятого — шестого октября; кровавая гроза на Марсовом поле… ужасная победа десятого августа, омерзительные воспоминания о втором — третьем сентября! Все ли я о вас сказал? Правильно ли изложил? Не допустил ли сознательной лжи? Не пытался ли о чем-нибудь умолчать или что-нибудь оклеветать?») и, как в диссертации, указывал источники, подобранные уравновешенно: «История французской революции» Блана — слева, «История Французской революции» Бертрана Мольвиля — справа, «История Революции» Тьера — от центра; мемуары: историка Жана Лакретеля; молочного брата Марии Антуанетты Йозефа Вебера; генерала Франсуа Буйе (а его записки Дюма сверял с мемуарами его адъютанта Франсуа Гогела); троих телохранителей Людовика XVI (на одного полагаться нельзя) и еще множество опубликованных и архивных документов: газетные статьи, записки графа Оноре де Мирабо… Он и Дантон — главные герои романа; Дюма как бы проверяет — были ли люди, которые могли завершить революцию по-хорошему, без террора, а если были, то что им помешало?

Мирабо — один из самых знаменитых ораторов Франции; бурная молодость, обращение в политику; автор Декларации прав человека, он был либералом-монархистом: королю надо освободиться от влияния попов, помириться с народом и править по-доброму, и все будет хорошо. Увы, он любил деньги и постоянно обвинялся во взятках; он предлагал Лафайету объединиться для спасения короля, но тот, «человек исключительной порядочности, но весьма ограниченный, презирал Мирабо и не понимал, насколько тот гениален». В апреле 1790 года королева согласилась принять услуги Мирабо —

за плату. Он предложил провести 14 июля праздник Федерации: съедутся провинциалы, король к ним выйдет и «из этого непривычного, необычного, неслыханного свидания монарха с народом родится священный союз, которого не поколеблет никакая интрига. Гениальным людям бывает подчас свойственна та возвышенная глупость, которая дает право последним политическим ничтожествам будущего насмехаться над их памятью».

Мирабо никого не успел спасти. Он умер 2 апреля 1791 года. Хоронил его весь Париж. «Все чувствовали, что с собой он унес то, чего отныне будет недоставать Собранию: миротворческий дух, не затухавший даже посреди борьбы…» Его захоронили в Пантеоне, но в 1792 году, когда нашли доказательства полученных от короля взяток, прах перенесли на кладбище казненных в предместье Сен-Марсо, а на его место водрузили тело Марата. Мишле его защищал: «Была ли коррупция? Да. — Было ли предательство? Нет». Дюма потребовал от нации одуматься и оказать Мирабо если не почести, то уважение. (При его жизни этого не сделали; в 1889 году захотели, да не нашли останков. Марат же к тому времени давно был сброшен в сточную канаву.) Без Мирабо все пошло прахом, король попытался сбежать… Это лишь начало — «Графиня де Шарни» невероятно объемная, и работа над ней шла годами.

Той же осенью Дюма написал набросок, найденный в 1990 году Дэниелем Циммерманом, «Жак-простак» — свод попыток «голых полутрупов» бороться за свои права. «Есть во Франции разумное существо, которое до поры до времени никак себя не проявляет, ведь и земле надо вспороть кожу, чтобы получить урожай. Речь о французском народе. В VII, VIII, IX веках искать его бесполезно. Он не показывается. Как будто даже и не шевелится. А между тем в это время он повсюду, и по нему ходят ногами…» А президент 4 ноября снова предложил палате пересмотреть конституцию — незадолго до этого он разогнал правительство и набрал новое из своих родственников и военных — и получил отказ… 19 ноября начался апелляционный суд по банкротству Исторического театра: адвокат Дюма утверждал, что тот не может нести юридической ответственности, 24 актера, сменив гнев на милость, подписали письмо в его защиту. Сделали с Маке третью положенную за год пьесу, «Вампир» по мотивам рассказа Нодье и пьесы Полидори, взял ее «Амбигю», премьера назначена на 20 декабря, а с 16-го в «Прессе» появятся «Мои мемуары», и сразу же Леви начнет издавать их книжками — жить можно…

Вечером 1 декабря в президентском дворце объявлен прием,

мероприятие солидное, город наводнен войсками — 70 тысяч пехоты, 100 артиллерийских расчетов. Закрыли типографии и редакции газет, кафе, общественные конюшни, оружейные магазины — все ради безопасности… Проснувшись 2 декабря, парижане увидели расклеенные объявления: парламент распущен, президент восстанавливает всеобщее избирательное право и назначает референдум, в городе чрезвычайное положение. Журналисты ткнулись в редакции — они закрыты. Побежали искать депутатов — нет депутатов: ночью за ними пришли, 50 самых опасных, включая Кавеньяка и Тьера, в тюрьме. 217 депутатов, оставшихся на воле, собрались в мэрии Первого округа, среди них доктор Биксио, Одийон Барро; проголосовали за арест президента, не успели составить бумажку, как пришли солдаты, и все депутаты отправились в тюрьму.

Луи Наполеон с охраной проехал по центру: все спокойно, на бульварах небольшая толпа кричит «ура», есть и иные, но мало — студентишки… Дома у Гюго собрались еще 60 депутатов, написали прокламацию, призывающую горожан к оружию, отправили гонцов в предместье Сент-Антуан, где в каждую революцию шли баррикадные бои. Дюма — Пьеру Бокажу, 3 декабря: «Сегодня, в 6 часов, 25 000 были обещаны тому, кто арестует или убьет Виктора Гюго. Вы знаете, где он: передайте — пусть ни под каким видом не выходит из дома!» Но тот вышел и с двумя-тремя депутатами побывал на окраинах, пытаясь побудить рабочих строить баррикады, — в основном безуспешно. Вечером 3 декабря военный министр Сент-Арно приказал расстреливать каждого, кто будет замечен на баррикаде; трех студентов, расклеивавших листовки, полиция застрелила, трупы бросили в Сену…

В ночь на 4 декабря 30 тысяч солдат заняли бульвары, но все же днем горожане туда пошли: по разным источникам, от пятисот до пяти тысяч человек, никакого «народа», один «креативный класс», кричали: «Да здравствует Конституция!», как обычно кто-то в кого-то кинул камень, солдаты открыли огонь, убито, по разным источникам, от нескольких десятков до нескольких сотен безоружных студентов и клерков. Малочисленные баррикады расстреляли. К вечеру все было кончено. Убит на баррикаде был, в частности, депутат-республиканец Боден — запомним это имя. Арестованы 27 тысяч человек, из них шесть с половиной тысяч распоряжением президента освобождены (Барро и Биксио в том числе), остальные отданы под суд (и приговорены в основном к ссылке). Гюго бежал в Брюссель. Дюма 10 декабря уехал туда же, поручив Хиршлеру, бывшему секретарю Исторического театра, общаться с кредиторами. Причиной его отъезда считают не

политику, а угрозу долговой тюрьмы: на следующий день после бегства апелляционный суд подтвердил решение о банкротстве. Сын уехал с ним, 12 декабря писал знакомой: «Отец проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана 200 тысяч, так что, пока это дело не уладится, ему лучше находиться подальше от Парижа…» Дюма уже давно не участвовал в политике, ничто не грозило ему. Но тошно, наверное, было…

Уезжали, исчезали все. Жирарден и Сю были изгнаны. Доктор Биксио жил тихо, писал о сельском хозяйстве, умер в 1865 году. Мишле лишился кафедры, за отказ присягнуть новой власти потерял место в архиве, уехал в деревню и продолжал писать историю Франции. Кавеньяк просидел полгода в крепости Ам, был выпущен и избран в парламент, но отказался принести присягу; он умер в 1857 году. Барро несколько раз пытался избраться в парламент; этот еще поживет. Этьен Араго, последний мушкетер, не сложивший шпаги (Бастид ее давно бросил), с 1849 года жил в Бельгии. Даже Тьера выслали!

На референдуме задавался вопрос: «Желает ли французский народ сохранить власть за Луи Наполеоном Бонапартом и предоставить ему необходимые полномочия для установления конституции на основаниях, предложенных в его прокламации от 2 декабря?» Основания такие: президента выбирают на десять лет (раньше говорил о пяти годах, да чего мелочиться); он назначает правительство, Государственный совет и своего преемника. В палату избирают всенародно, правда, она лишается права законодательной инициативы. Сенат президент назначит сам. (На первом заседании сенаторы выделили президенту ежегодное содержание в 12 миллионов франков.) Но все это не было расписано в бумажке для голосования. 7 миллионов 481 тысяча 280 человек голосовали «за», 647 тысяч 292 человека (в основном Париж) — «против». В первый день 1852 года на торжественной мессе в соборе Парижской Богоматери благодарили Господа за «спасение Франции».

Глава тринадцатая
В БЕЛОМ ПЛАЩЕ С КРОВАВЫМ ПОДБОЕМ

В Брюсселе Дюма жил с сыном и лакеем Алексисом в отеле «Европа». Но сын 9 января 1852 года уехал обратно: в театре «Водевиль» начинались репетиции «Дамы с камелиями». Четыре года назад, когда он написал роман, отец сказал, что текст несценичен; книга вышла в Бельгии и осталась незамеченной. На премьере 2 февраля все обливались слезами, сын телеграфировал отцу: «Успех громадный, как у твоих первых произведений!» и получил ответ: «Мое лучшее произведение — ты!» Графиня Даш: «Он [Дюма-сын] стал зрелым за одни сутки, в свете рампы, под гром аплодисментов… Он недоверчив. Он весьма невысокого мнения о роде человеческом… Его профессия — разочарование, горький плод опыта… это человек рассудительный и рассуждающий; подсчитывающий свои ресурсы, ничего не делающий с налету, изучающий людей и вещи, остерегающийся всяких неожиданностей и увлечений… Он человек чести. Он выполняет свои обещания… Он серьезен, положителен; он экономит, помещает деньги в банк, интересуется биржевыми курсами и подготовляет свое будущее. Его мечта — жить в деревне. Он уже теперь помышляет об отдыхе и покое…» Гонкуры: «Остроумие у него грубое, но неиссякаемое. Своими ответами он рубит направо и налево, не заботясь о вежливости; его апломб граничит с наглостью… и ко всему примешивается жестокая горечь…»

Отцу новой знаменитости не было покоя: 5 января обстановка квартиры, которую не удалось записать на Мари, продана в возмещение задержанной квартплаты. Банкротство театра и личное банкротство зарегистрированы порознь, общий пассив — 107 тысяч 215 франков. Актив — получаемые гонорары, они пойдут в уплату долгов. 20 января Дюма представил через своего поверенного Шерами список из 53 кредиторов, включая жену и Белль Крельсамер. Хиршлер продал «Монте-Кристо», который демонтировали по частям; выручка — 32 тысячи, вдесятеро меньше, чем потрачено. (Дом был восстановлен благодаря покровительству короля Марокко Хасана II и с 1992 года стал музеем.)

14 января Луи Наполеон опубликовал конституцию и дальше правил одними декретами. Взялся за печать, восстановив

предварительную цензуру, увеличив залог и гербовые сборы; в результате к 1854 году в Париже осталось лишь 13 газет, которым разрешалось писать о политике. Дюма в мемуарах: «Республика была убита в зародыше той самой рукой, которой была обязана своим существованием. Вряд ли нужно пояснять, что то была рука Наполеона: у них семейная традиция душить свободу, едва они становятся первыми консулами или президентами». Разумеется, в печать эти слова не пошли. «Мои мемуары» печатались в «Прессе» до 10 ноября 1853 года, затем еще фрагменты — до середины 1855-го, всего 264 главы, в издании Кадо — 22 тома. Жизнь автора описана лишь до 30 лет — а сколько еще осталось! Успех большой, но и ругали больше, чем какую-либо из его книг: «напыщенные выдумки», «самовлюбленные героические фантазии». Английский критик Лэнг: «Мемуары Александра так же похожи на добросовестную биографию, как „Двадцать лет спустя“ на историю Англии». И тем не менее, как мы уже отмечали, ни один факт до сих пор не опровергнут. Собственно «героического» там с натяжкой два эпизода 1830 года: поездка за порохом в Суассон и перестрелка у моста. Раздражал, думается, больше его тон: он то и дело приводит диалоги со своим участием страниц на пять и за бесконечными «а я ему сказал» следуют слишком эффектные фразы.

В «Мемуарах» не больше половины о себе, остальное — о людях и событиях, очень добросовестно. Английский исследователь Гарнетт, сын переводчика Дюма: «Он, когда хотел, мог быть почти беспощадно точным… Максим дю Кан прочел бесчисленное количество книг о бегстве Людовика XVI, но единственный, кто описал это полно и ясно, был Дюма… Мой отец, изучая его рукописи, обнаружил, что описание сражения, приводимое им, было абсолютно верным, тогда как в общественном мнении господствовало противоположное… То же относится к его мемуарам. Портреты его отца, Наполеона, Гюго, Делакруа, каждого современника написаны вдохновенно и подробно…» Это можно отнести и к недостаткам: слишком много отступлений, биография Байрона и Екатерины I, стихи Гюго, краткий курс истории России. Он рассуждал, почему Александр I решил умереть в Таганроге, и описывал город, словно был там: «…улицы широкие, но не мощеные, и почва настолько глинистая, что после небольшого дождя все ходят в грязи по колено… Когда жаркое солнце осушает это влажное болото, коровы и лошади подымают такие облака пыли, что при дневном свете издалека не отличишь человека от животного…» Какое это имеет отношение к биографии Дюма? Просто ему хотелось об этом рассказать, и не только потому, что чем больше напишешь, тем больше заплатят, а

потому, что ему казалось важным, чтобы французы знали это…

29 февраля и 14 марта прошли выборы. Бояться президенту было нечего — по его конституции палата декоративна — но все равно подчистили: вместо партийных списков — одномандатники, большинство из которых назывались «официальными», то есть одобренными президентом, кандидатами; префектов обязали указывать на них прямо на участках. Мало этого: применили прямую скупку голосов, физическое запугивание и «карусели». Участвовало 6 миллионов 222 тысячи 983 избирателя из 9 миллионов 836 тысяч 43 зарегистрированных, официальные кандидаты получили 5 миллионов 200 тысяч голосов, остальные — 800 тысяч. Состав палаты: бонапартисты — 258 мест, республиканцы — 3… Если и были надежды, то рухнули. Беглецы начали обживаться в Бельгии. Дюма, чьи денежные дела были далеки от урегулирования, тоже.

Он снял два дома на бульваре Ватерлоо, 73, заказал пробить дверь в разделявшей их стене, получился большой особняк. Обставил роскошно, все в кредит, на имя сына, чтобы не отняли. Мари приехала вести хозяйство. Наняли кухарку, слугу-бельгийца Жозефа — Алексис вечно пропадал где-то («Алексис, мальчик мой, я только что нанял слугу для нас с тобой. Только не бери его с собой, когда уходишь из дома».) Приезжала Изабель. Сыну: «Дал ли ты и можешь ли дать сто франков Изабель?.. Навести ее в утро отъезда, помоги — она неопытна в путешествиях…»; «Изабель благодарит тебя миллион раз… Она мне необходима — иногда…» Мари сопротивлялась, отец боялся сказать о приезде любовницы, подсовывал под дверь записки: «Моя любимая детка, я так боюсь огорчить тебя, что решил письменно сообщить тебе: несмотря на все мои старания помешать приезду Изабель, она все же завтра приезжает!.. Я так люблю тебя, мое дорогое дитя, что в выражении твоего лица черпаю все: и радость и печаль. Так наберись же мужества и не огорчай меня в течение тех трех-четырех дней, что она пробудет здесь. Только как мы устроимся с завтраками и обедами? Если тебя не будет со мной за столом, как обычно, это меня опечалит… Поступай, как хочешь… Я люблю тебя больше и сильнее, чем самого себя, но и это далеко не выражает того, что мне хотелось бы сказать».

Иногда была необходима Вероника Гиди. Сыну: «Прибавь сюда расходы на две поездки г-жи Гиди (гостиница)… и две поездки Изабель и получишь 1700 франков». Откуда деньги? Дюма и Поль Мерис написали по роману «Асканио» пьесу «Бенвенуто Челлини», постановка с Изабель в главной роли в «Порт-Сен-Мартене» 1 апреля, довольно успешно. Имени Дюма на

афишах не было, деньги ему передавались «черным налом» через сына. На это и жил, а больше в кредит. Многие изгнанники были бедны и одиноки — Дюма открыл у себя столовую, полтора франка за обед, убытки, зато весело; впрочем, гостей он едва видел, поздоровавшись, убегал писать. А общество отборное: Гюго, Этьен Араго, Тьер… Ноэль Парфе (1813–1896), участник революции 1830 года, в 1849-м избранный депутатом, автор политических сатир, переводчик Крылова, приехал с женой и детьми, жить негде, Дюма поселил его у себя и нанял секретарем. Это был его первый толковый секретарь: заботился о гонорарах, вместе с Хиршлером улаживал долги и, само собой, переписывал тексты — а их было море помимо мемуаров.

«Графиня де Шарни» прервалась — не было очередного тома Мишле, но Дюма уже сам стал Мишле и писал по его методу исторические хроники: «Последний король французов» (издательство «Суверен», 1852) — об этой книге Гарнетт говорил, что она «беспощадно точна», и еще более монументальный труд «История двух веков, или Двор, Церковь и Народ с 1650 года до наших дней», охватывающий период от «Людовика XIV» до «Последнего короля» (издательство «Дюфур и Мюла», 1852–1854). Помогал в работе (немного) Поль Лакруа. Но историком Дюма все равно не считали. Может, и сочли бы, если бы он не писал романов. А их ждали во Франции (публикация «Мемуаров» вернула популярность) и были готовы издавать в Бельгии. Но о чем писать, если рядом нет Маке? Брюссельский издатель Анри рекомендовал повесть фламандца Г. Консьянса «Новобранец», автор разрешил перевести, Дюма написал роман, перенеся действие в Вилле-Котре. Печатался он в «Родине» под обещанным названием «Бог и дьявол», потом издавался как «Добро и зло» и, наконец, как «Консьянс блаженный»: простодушного паренька в 1813 году забрали в солдаты, он ослеп от взрыва, невеста его нашла, и он стал чуть-чуть видеть, но они разорены; тут через Вилле-Котре проезжает Наполеон и осыпает их деньгами. В пику племяннику хотелось написать что-нибудь хорошее о дяде.

1 апреля Дюма рискнул приехать в Париж на премьеру «Бенвенуто Челлини», а по возвращении неожиданно получил выгодный заказ из Италии. Шарль Перрен, издатель из Турина, просил историю Савойской династии, правившей Сардинским королевством. Сейчас там правил Виктор Эммануил II, популярный, стремившийся объединить Италию. Дюма работал четыре года и написал труд в две тысячи страниц на итальянском языке. Отношения между итальянскими государствами и Францией были напряженными, он старался их примирить: «Италия и Франция — сестры: несмотря на различие их

политических институтов, красота их небес, плодородие земель и прежде всего дух их обитателей создают между ними благородные отношения, которые не под силу разрушить ни правителям, ни предрассудкам…» Текст публиковался в Турине с 1852 по 1856 год как «Савойский дом с 1555 по 1850, исторический роман Александра Дюма», а во Франции был переведен и издан лишь в 1998–2001 годах как «Королевский Савойский дом». Перрен потребовал переписать некоторые главы, показавшиеся ему обидными для короля (Дюма писал, что тот был незаконнорожденным, не видя в этом дурного), но платил щедро. 12 июня началась процедура урегулирования долгов, деньги появились, Хиршлер был усерден и честен; Дюма стал регулярно наезжать в Париж, убедившись, что ему ничего не грозит ни от кредиторов, ни от властей. Писал дочери; «Я уехал от тебя, родная, в немного расстроенных чувствах… Несколько дней кряду у меня не клеилась работа, и я не представлял себе, где раздобыть денег. Но все обернулось к лучшему; и я даже надеюсь, что смогу завтра выслать вам тысячу франков и столько же привезти с собой, не сказав никому ни слова об этом. Из денег, что я пошлю тебе завтра, надо немного дать столяру и слесарю… Наши дела идут чудесно. С г-жой Дюма покончено. Теперь мы можем рассчитывать на соглашение. У нас будут деньги, может быть, много, и мое дорогое дитя в первую очередь получит все, что только пожелает»; «Я возвращаюсь с г-жой Гиди. Если портрет Изабель в моей комнате, прикажи его убрать».

Он ездил еще на выходные с Гиди в Италию, на курорт Экс-ле-Бен, в Баден-Баден и успевал писать одновременно пять-шесть толстенных книг, причем без соавторов. Клод Шопп видел рукопись романа «Паж герцога Савойского»: «полностью его собственным почерком, 150 000 слов, почти без помарок и знаков препинания». Не менее удивительна работоспособность Парфе, который все переписывал в нескольких экземплярах — мемуары выходили во Франции, Бельгии, Германии, Англии и США. Парфе вспоминал, как работали: Дюма писал с нечеловеческой быстротой часами подряд, готовую страницу, не перечитывая, кидал Парфе; через несколько часов ложился на стоящую в кабинете кровать, спал 15 минут, вскакивал и опять работал.

В июле вышли послабления для некоторых изгнанников. Жирарден и Тьер вернулись; президент начал заигрывать с Тьером, приглашая его на балы. Гюго же уехал 1 августа на остров Джерси. Эмигранты устроили прощальный банкет в Антверпене, Дюма провожал до парохода. Отношения стали совсем благостными. В «Созерцаниях», поэтическом сборнике Гюго, Дюма посвящено стихотворение: «Ты вновь займешься

блистательным трудом своим несчетным…» Труд был и впрямь несчетен. Вдобавок к начатым многотомникам Дюма написал для издательства «Кадо» рассказы о кораблекрушениях: «Бонтеку», «Капитан Марион», «Юнона» и «Кент». Вел переговоры с Нервалем, тот предлагал писать либретто для оперы Мейербера «Царица Савская», заключили договор, но Дюма разругался с композитором. И еще новая амбициозная затея, ради которой он бросил даже Великую революцию, хотя книгу Мишле получил.

Из романа «Ашборнский пастор»: «Мне казалось, что писатель, который взялся бы за вымысел о Вечном Жиде… воплотил бы в бессмертном носителе проклятия прогресс человеческого разума… такой писатель сотворил бы прекрасную книгу… где стиль менялся бы в соответствии с эпохами. И, шагая все увереннее, я говорил себе: „А почему я сам не сочиняю эту книгу? Кто мне в этом мешает? Кто этому противится? Разве Господь не даровал мне необходимое воображение и поэтическое чувство?“» Атенору Жоли, редактору «Родины»: «Что Вы скажете насчет огромного романа, который начинался бы во времена Иисуса Христа и заканчивался бы с последним человеком на свете?.. Это покажется Вам безумным, но спросите у Александра, который знает это произведение от начала до конца, что он о нем думает». Моисею Мийо, владельцу «Родины», перекупившему «Конституционную»: «„Исаак Лакедем“ — главное творение моей жизни… Мне хотелось бы, чтобы вы разъяснили читателям, что я предлагаю книгу, подобной которой не существует ни в одной литературе мира… Я могу утверждать, что за двадцать лет, пока я ее обдумывал, она достигла в моей голове такой степени зрелости, что теперь остается лишь сорвать плод с дерева воображения». Поль Лакруа потом утверждал, что все было не так: это он придумал идею, и действительно сохранился план, написанный на пяти страницах рукой Лакруа, вот только Дюма ему не следовал. Более вероятно влияние социалиста и атеиста Эдгара Кине, автора романа «Агасфер», — тут немало сюжетных заимствований, и другого изгнанника, Альфонса Эскиро, опубликовавшего «Евангелие от народа»; с обоими Дюма в Бельгии познакомился близко. Но заимствования не так велики, чтобы говорить о плагиате.

«Сорвать плод с дерева воображения» — это красивые слова, надо было штудировать католические и лютеранские богословские трактаты, еврейскую историю, греческую и римскую мифологию, апокрифические евангелия. О дотошности Дюма: 24 ноября 1852 года он писал Кеньяру де Солеи, хранителю Артиллерийского музея: «Вполне ли Вы уверены, что Христос говорил по-арабски? Остался ли какой-нибудь письменный след

знака, который Господь начертал на лбу Каина, а Ангел — на лбу Вечного жида, — не Тау ли это?» Основное действие будет в Риме, надо изучать, что на какой улице было, ходить по музеям. Он уехал с Изабель Констан 17 августа и пробыл в Риме до 3 октября.

Итак, к папе Павлу II является человек, называющий себя Исааком Лакедемом, и признается, что он — Вечный жид. «Это я оттолкнул мученика, бредущего к Голгофе. Я отмечен карой за преступление *не против божественности, а против человечности* (курсив мой. — *М. Ч.*)…» Эта мысль совпадает с «Агасфером» Кине — трудно сказать, заимствовал ее Дюма или просто думал так же. Сперва скучновато и слащаво — пересказ Библии и апокрифических рассказов о детстве Иисуса, каким он был хорошим, умным и правдивым мальчиком. Интересное начинается, когда Иисус знакомится с Сатаной:

«— У тебя нет ненависти ко мне? — воскликнул изумленный Сатана.

— Отнюдь. Мне тебя жаль!

— Почему же ты меня жалеешь?

С невыразимой нежностью и грустью поглядел Христос на мрачного властителя тьмы.

— Потому что ты не способен любить!»

А когда Иисус отверг соблазны и Сатана пал — «послышался мягкий грустный шепот: — О, прекрасный архангел, блистающая утренняя звезда!.. Зачем она пала с небес, ведь она была так великолепна на утреннем небе!.. — Это Иисус оплакивал падение Сатаны».

Дюма, конечно, не оригинален: если для официальных служителей религии Бог — ненависть, то для поэтов — любовь; Христос жалеет Сатану и у Байрона, и у Мильтона, и у де Виньи. Но Дюма пошел дальше: его Сатана предъявляет собеседнику такие доводы, что тот содрогается. Ереси, религиозные войны, костры. «Взаимная ненависть и соперничество диких орд хоронятся за постулатами веры как за щитами. У людей уже нет угрызений совести, когда они убивают друг друга. Они отдаются взаимному истреблению — одни под тем предлогом, что ты Бог, а другие — что не Бог… А ведь первыми словами при явлении твоем на землю были: „Слава Господу на небесах и мир на земле людям доброй воли!“ Не знаю, в каком состоянии будет в ту эпоху небо, но, сладкоречивый мой Иисус, посмотри же на землю: это поле резни! …Христианский дух, нравы и обычаи в то время сохранятся в чистоте только среди выходцев из Лиона, сирых и убогих, как вальденсы из самоуничижения назовут себя сами. Евангелие станет их законом… Их преступление — ведь нужен же повод к гонениям, — их преступление в том, что они утверждают,

будто, даровав Церкви богатства, Константин ввел в соблазн христианский мир… И что же? Большего и не нужно, чтобы навлечь на это маленькое братство гнев и суровые кары некоего святого учреждения, что только-только появится на свет под именем инквизиции…

Иисусу казалось, что он слышит мольбы умирающих, материнские вопли и предсмертный хрип стариков, и под похоронный звон, доносящийся с колоколен, перед его глазами проплывали руины, пожары, кровь!

— Ты содрогаешься, ты трепещешь, Иисус? И пот твой льется обильней и стал кровавым… Посмотри на свои руки: они красны, как у твоих священников, понтификов, пап!.. Еще! — Ирландия занялась! Поддай жару! — И Богемия, Фландрия, Венгрия, Вестфалия охвачены пламенем! Жги, круши! А, настает черед Франции! Да здравствует ночь святого Варфоломея, кстати, твоего апостола! Видишь этого набожного монарха на балконе с аркебузой в руках: он охотится за кальвинистами, лютеранами, гугенотами…

Иисус уже не мог смотреть: он со стоном спрятал лицо в ладонях. Сатана бросился к нему и силой отвел руки от глаз.

— Смотри же, — приказал он.

Христос посмотрел, но ничего не смог разглядеть, кровавый пот ослепил его!»

Суд Пилата написан по апокрифическому «Евангелию от Никодима», на котором основывался и Булгаков; у Дюма Пилат — обычный честный чиновник, который не понимает, почему священники требуют карать уголовным судом за церковные проступки, тогда как сами превратили храм в супермаркет, и в конце концов говорит: «Этот человек не в руках священнослужителей, но в лапах мясников». Он пытается вызвать милосердие у «народа» — тоже безуспешно. «— Чего еще хотите от меня, снова приведя этого человека? Вы уже представили его лжепророком, богохульником, возмутителем спокойствия. Я допросил его в вашем присутствии и не нашел ничего для порицания ни в учении его, ни в действиях. Я отослал его к Ироду, который тоже ничего противозаконного не отыскал. Если надобно, чтобы вас удовлетворить, обязательно наказать его, я повелю высечь его плетьми и затем отпустить.

Но этот приговор, хотя и обещавший сильнейшие муки осужденному, не удовлетворил черни. Она уже отведала крови и теперь желала ему большего, нежели порки. Она жаждала смерти!»

Осенью Луи Наполеон возобновил поездки в провинцию, выступая перед толпами: я ваш, народный президент, Францию

надо спасать! От кого? Чего еще ему надо? Но он хотел быть императором, и 7 ноября сенат проголосовал за восстановление монархии. Палату не спрашивали, провели референдум: 7 миллионов 824 тысячи 129 человек «за», 253 тысячи 149 — «против». Как видно, «против» еще меньше, чем на прошлом референдуме, вот только больше миллиона голосовать не пошли. 2 декабря Наполеон III был провозглашен «милостью Божией и волей народа императором французов»; престолонаследником объявлен его кузен Жером. Поселился в Тюильри как настоящий Наполеон, выбил себе 25 миллионов содержания, а также пользование государственными лесами, дворцам и мануфактурами — то были первейшие меры по спасению Франции. Выборы в палату теперь будут раз в шесть лет, а не раз в четыре года. Избирательные округа скорректировали в пользу сельских районов. Кажется, спасли…

30 января 1853 года император женился на принцессе Евгении де Монтихо; по этому случаю запретили одну из самых удачных пьес Дюма — все время игравшуюся «Нельскую башню»: намеки! «Лакедем» начал печататься в «Конституционной» 10 декабря 1852 года, но уже в середине января 1853-го редакция заявила, что вынуждена смягчить некоторые фрагменты, дабы не оскорбить чувства верующих. Официозные газеты назвали роман «оскорбительной чушью». Дюма приехал в Париж и пробился к кузену императора Жозефу Бонапарту, с которым был когда-то в приятельских отношениях. Дочери: «Пишу тебе из министерства внутренних дел, где обсуждается вопрос „Вечного жида“, — Наполеон [Жозеф] был очень мил; он везде ходил со мной…» Не помогло: Мопа, министр внутренних дел, требовал ужесточения цензуры. Еще некоторое время роман вяло двигался: Исаак странствовал, лечил сфинксу раненую лапу, помогал Прометею, обсуждал с мудрецом Аполлонием Тианским эволюционные идеи Бюффона, но и цензура придиралась к каждому слову, и читателям стало неинтересно; 11 марта публикация была прекращена. Роман остался недописанным; он таким и вышел в Брюсселе у издателя Лебека и во Франции у Маршанта.

Было в Париже и хорошее. Предъявление долговых обязательств закончилось 18 апреля, заключили хорошее соглашение: 45 процентов гонораров на уплату долгов. Труайя: «Начиная с этого дня он больше не пытался возродиться и измениться, он прозябал, переписывая и выпуская в свет под своим именем произведения, которые сочиняли для него другие авторы». Чушь несусветная: его лучшие исторические работы впереди, и как раз в этот период он вновь взялся за «Графиню де Шарни». Мирабо нет, но, может, кто-то другой не даст прийти к

власти Марату и Робеспьеру? Есть Лафайет…

Летом 1791 года, когда беглого короля вернули из Варенна, никто не знал, что с ним делать; Лафайет заступался за короля, Дантон за Лафайета, Национальное собрание мялось: «Большая беда всех подобных собраний, что, как только их изберут, они останавливаются в развитии, не отдают себе отчета в происходящих событиях, не идут в ногу с настроениями страны, не следуют за народом в его пути и воображают, что продолжают представлять народ». Кто правит страной, непонятно, о диктатуре толкует один Марат, но никто не принимает этого всерьез, горожане на митингах требуют низложения монархии.

«— Долой королевскую власть! Долой короля! — закричали многие присутствующие.

Забавно, но именно якобинцы встали на защиту королевской власти.

— Господа! Господа! — закричали они. — Одумайтесь! Уничтожение королевской власти означает установление республики, а мы еще не созрели для нее!»

Для Дюма было важно установить историческую справедливость — люди, что потом назовут себя республиканцами, тогда ни о какой республике не думали, выжидали, и перед очередным большим митингом все лидеры устранились, как в феврале 1848 года. На этом митинге 17 июля парижане сочиняют петицию к Национальному собранию — а оно отдает приказ Лафайету, командующему Национальной гвардией, разогнать толпу; кто-то в кого-то выстрелил, гвардейцы расстреляли мирных людей, Лафайет вроде и не отдавал такого приказа, но его авторитету пришел конец (временно: его всегда прощали и любили). Кстати, полк генерала Дюма тогда стоял в Париже и принимал участие в разгоне толпы, но, как показывали свидетели, старался не допустить резни. Осенью 1791 года было избрано новое Национальное собрание — жирондистское. «Характерной чертой новых депутатов была молодость: большую часть среди них составляли люди не старше двадцати шести лет; можно было подумать, что Франция послала своими представителями новое незнакомое поколение, чтобы решительно порвать с прошлым; шумное, бурное, революционно настроенное, оно пришло развенчать традицию; почти все они были людьми образованными: одни, как мы уже сказали, поэты, другие — адвокаты, третьи — химики; они были полны энергии и благородства, необычайно остроумны, бесконечно преданны идее, но совершенно не разбирались в государственных делах, были неопытны, многословны, легкомысленны, любили поспорить и потому несли с собою то великое и пугающее, что зовется словом

„неизвестность“. В политике неизвестность всегда вызывает беспокойство. За исключением Кондорсе и Бриссо почти у каждого из этих людей можно было спросить: „Кто вы такой?“»

Другой миф, который он хотел развенчать, — якобы немотивированные зверства «красных» в отношении церкви: на самом деле «белые», называющие себя христианами, были не менее жестоки и начали первыми. «Было решено разжечь религиозные страсти. Жена одного из французских патриотов разрешилась безруким младенцем. Поползли слухи о том, что этот патриот, вынося ночью серебряного ангела из церкви, сломал ему руку. Ребенок-калека был не что иное, как небесная кара. Несчастный отец был вынужден скрываться; его разорвали бы в клочья, даже не полюбопытствовав, из какой церкви он украл ангела». В сельской церкви Дева Мария будто бы пролила слезу — это она хочет монархии. «Нужно было непременно перерезать революционеру глотку на алтаре, чтобы жертва была принята Девой Марией, во имя которой все и было затеяно». «Лекюйе рухнул как подкошенный и покатился к алтарю, как того и хотела толпа! Пока женщины, дабы наказать его рот за богохульный призыв „Да здравствует свобода!“, рвали ему губы, мужчины плясали у него на груди, пытаясь его раздавить, как св. Стефана, побиваемого каменьями. Лекюйе хрипел окровавленным ртом:

— Смилуйтесь, братья! Во имя человеколюбия, сестры! Убейте меня!

Просьба была чересчур дерзкой: его приговорили к медленной смерти. Он мучился до самого вечера».

Гражданская война в Вандее, в Сан-Доминго негры восстали, их предводителя колесовали, «установив жуткий белый террор», угроза интервенции на всех границах. Новый потенциальный спаситель на сцене — генерал Шарль Дюмурье, военный министр, пытается уговорить короля соблюдать конституцию. Лето 1792-го: «Отечество в опасности!», Собрание, такое милое, интеллигентное, что-то мычит, 10 августа «красные» штурмуют королевский дворец, резня. «Мы далеки от того, чтобы воспевать народ; мы знаем, что это самый неблагодарный, самый капризный, самый непостоянный из всех хозяев; вот почему мы говорим об этих преступлениях так, словно это — добродетели народа. В тот день он был жесток; он с наслаждением окунал руки в кровь; в тот день дворян выбрасывали живьем из окон; швейцарцам, мертвым и живым, вспарывали на лестнице животы; вырванные из груди сердца врагов выжимали обеими руками, как губку; головы отрывали и надевали на пики…» Но и тут нужна справедливость. «Три с половиной тысячи восставших, не считая двухсот человек, расстрелянных за грабеж, погибли! Можно

предположить, что столько же было раненых; историк, описывающий 10 августа, говорит лишь о мертвых. Многие из этих трех с половиной тысяч человек — ну, скажем, половина — были люди женатые, бедные отцы семейства, которых толкнула на борьбу невыносимая нищета…» Исправлять надо и собственные ошибки: Марата называли «победителем 10 августа», и сам Дюма в предыдущих работах считал его организатором штурма; документы доказали, что им был глава Парижской коммуны Петийон. «Естественно, что победа должна была достаться коммуне, тем более что ее поддерживали массы. Народ, сам не зная, куда ему идти, стремился пойти хоть куда-нибудь. Его подтолкнули на выступление 20 июня, он пошел еще дальше 10 августа и теперь ощущал смутную жажду крови и разрушения».

Коммуна принуждает собрание начать казни роялистов без суда, начинается кровавый хаос. Спасти ситуацию могли генералы: «Если Лафайет станет победителем и главнокомандующим, а военным министром останется Дюмурье, они смогут забросить красный колпак в дальний угол; одной рукой они придушат Жиронду, а другой — якобинцев. На сей раз, как, впрочем, и всегда, Лафайет изменил Лафайету. Он предлагал королю контрреволюционный заговор… Он пожертвовал ради короля и королевы больше, чем жизнью: он принес им в жертву свою популярность». 17 августа Лафайет призвал армию идти на Париж и реставрировать монархию; слава богу, ему «посчастливилось попасть в плен к австрийцам, после чего он был отправлен в Ольмюц: плен заставил его позабыть о дезертирстве». Собрание пытается закрыть коммуну, та встает на дыбы; и тут на первые роли выходит новый спаситель — Жорж Дантон, похожий на покойного Мирабо: «тот же темперамент, та же страсть к наслаждениям, та же потребность в деньгах и, как следствие, та же продажность». Красноречив, напорист, его покамест любят и правые и левые; он предлагает собранию сделать его диктатором.

«— Что же вы сделаете потом? — полюбопытствовал Жильбер.

— Потом я возьму знамя революции в свои руки; кровавого и пугающего демона смерти я возвращу туда, откуда он пытается выйти на свет; вместо него я призову благородного и светлого гения честной битвы… Если я умру, что станется с революцией, как ее будут делить кровожадный безумец Марат и слепой утопист Робеспьер?»

Но бестолковое собрание не поняло, что его хотят спасти, — «к несчастью, жирондисты, такие как Ролан, были слишком порядочными, чтобы довериться Дантону» (удивительная для Дюма фраза: порядочность — к несчастью), — и пошли

трибуналы, казни, казни. В парижских тюрьмах содержалось 2 тысячи 800 заключенных, большая часть — обычные воришки; зарезали без суда половину, из которых «политических», то есть защищавших королевский дворец швейцарцев и аристократов-роялистов, было не больше четырехсот, остальные — тот же «народ», который их резал. Эти «кровавые сентябрьские потемки» до сих пор описал один Мишле; Дюма стал вторым. «С четырех до шести часов утра убийцы и судьи немного передохнули; в шесть они позавтракали. За то время, пока они отдыхали и завтракали, коммуна прислала могильщиков, и те вывезли мертвых. Поскольку двор на три дюйма был залит кровью и ноги скользили в крови, а чистить его было бы слишком долго, надзиратели принесли сотню охапок соломы и разбросали их по всему двору, который прежде забросали одеждой жертв…»

Но Дюма же, наверное, просто списывал у Мишле? Давайте посмотрим, как он «списывал», на примере казни принцессы Марии де Ламбаль, подруги королевы. В протоколе одной из секций коммуны сообщалось, что 3 сентября 1792 года «отряд граждан» доставил тело казненной в тюрьме Форс принцессы и другой отряд понес ее голову на пике к тюрьме Тампль; затем голову вернули в секцию, дабы захоронить с телом. Но очевидцы, в частности Вебер, молочный брат королевы, рассказывали другие подробности: «…некий Шарла, парикмахерский подмастерье… вздумал сорвать с нее чепчик концом сабли. Опьяневший от вина и крови, он попал ей повыше глаза, кровь брызнула ручьем… Двое людей подхватили ее под руки и потащили по валявшимся тут же трупам. Спотыкаясь на каждом шагу, она силилась сжимать ноги, чтобы не упасть в непристойной позе. Шарла ударил принцессу, лежавшую уже без чувств на руках у тащивших ее людей, поленом по голове, и она свалилась замертво на груду трупов. Другой злодей, мясник Гризон, отсек тотчас же ей голову мясным косарем… У несчастной женщины вырезали груди, потом вскрыли живот и вытащили все внутренности».

Мишле: «Это горемычное тело волокли через весь Париж. Изуродованные половые органы, отсеченные ударом сабли, были, как военный трофей, водружены на пику. Отрубленную голову с развевающимися волосами и вырванное сердце ликующая и опьяневшая от крови толпа несла, нацепив на пики, подобно войсковым штандартам». Дюма прочел Мишле, прочел Вебера, прочел протоколы, написал: «Ее вытолкнули в узкий переулок, соединявший Сент-Антуанскую улицу с тюрьмой и носивший название тупика Священников; вдруг какой-то негодяй, цирюльник по имени Шарло, записавшийся барабанщиком в ряды добровольцев, прорвался сквозь цепь охранявших принцессу

подкупленных гвардейцев и поддел пикой ее чепчик. Хотел ли он только сорвать чепец или намеревался ударить ее в лицо? Хлынула кровь! А кровь требует крови: какой-то человек метнул в принцессу топор; он угодил ей в затылок; она споткнулась и упала на одно колено… Едва она испустила дух — а быть может, она еще дышала, — как на нее накинулись со всех сторон; в одно мгновение вся одежда на ней вплоть до сорочки была растерзана в клочья; еще подрагивая в агонии, она уже оказалась обнажена… Ее выставили на всеобщее обозрение, прислонив к каменной тумбе; четверо мужчин встали напротив этой тумбы, смывая и вытирая кровь, сочившуюся из полученных принцессой семи ран, а пятый, вооружившись указкой, в подробностях стал рассказывать о ее прелестях, которым она, как говорили, была обязана когда-то сыпавшимися на нее милостями королевы… Так она была выставлена с восьми часов утра до полудня. Наконец толпе наскучил этот курс скандальной истории, преподанный для наглядности на трупе: какой-то человек подошел к телу принцессы и отделил голову от туловища». Судите сами: «списал» ли? Смягчил чуть-чуть — это да.

В хаосе, при явке в 10 процентов, избрали Конвент, расколовшийся на Жиронду, «Гору» и «Болото»; добра не жди. Но есть надежда: Дюмурье, после бегства Лафайета возглавивший Восточную армию, разбил австрийцев. «На следующий день Национальный конвент потряс народы Европы, провозгласив Республику! Всем гражданам стало так легко дышаться, что можно было подумать: с груди каждого свалилась тяжесть трона. Ослепление длилось недолго, зато было сильным: все думали, что провозгласили настоящую республику, ради которой и пожертвовали революцией. Ну, ничего!»

Работал над этой махиной Дюма с большими перерывами, беспрестанно ездя то в Париж, где собирался начинать жизнь заново, то в Турин за материалами к «Савойскому дому», то в Экс-ле-Бен проветриться; кроме того, он дал в «Родину» роман «Ашборнский пастор» по мотивам произведения Августа Лафонтена; скучновато, видно, что ему больше нравилось писать отступления, занявшие более половины текста: об Орлеанских, о Байроне, о том о сем. Французский театр попросил какую-нибудь комедию, Дюма написал «Юность Людовика XIV» — о романе короля с одной женщиной накануне свадьбы с другой. Альфонс Эскиро предложил великолепный сюжет: врач находит ребенка-маугли и делает из него человека, Дюма сговорился с «Парижским обозрением», начало писал Эскиро (он был медиком). В октябре 1853 года Дюма уехал в Париж — там новая неприятность: Жирарден получил предупреждение цензуры из-за

«Мемуаров» и прекратил публикацию. В «Юности Людовика» цензоры нашли намеки, Дюма хлопотал, обращался к императрице с уверениями в почтении, ответа не было, пьесу запретили (она была поставлена в Брюсселе 20 января 1854 года). Дюма за неделю написал другую — «Юность Людовика XV». Дочери, 23 октября: «Детка, докладываю тебе, несмотря на мое долгое отсутствие, дела хороши… Мемуары запрещены, но скоро будут выходить в новом виде… „Людовик“ запрещен, но я могу опубликовать его…» Он просил Мари торопить Эскиро с «Сотворением и искуплением», но из этого, обещавшего быть безумно интересным, замысла ничего не вышло: не любой с любым может работать в соавторстве. Эскиро писал жене в ноябре 1856 года: «Александр Дюма мне не должен ничего. Мы действительно вместе начали роман… по причинам, о которых бесполезно говорить, он не был окончен» — и заодно опровергал пущенный Мирекуром слух, будто он, Эскиро, и Ноэль Парфе — авторы «Лакедема».

Дюма осел в Париже. Дом в Брюсселе оставил Парфе и дочери. Их приехать в Париж не просил — хотел то ли сохранить убежище на всякий случай, то ли на время вырваться из-под опеки чересчур добродетельных, хотя и любимых людей. Новый удар — запретили «Людовика XV»: оскорбляет чувства верующих, ибо там есть отрицательный персонаж — священник. Автор не очень горевал — был занят грандиозным проектом. Газета, но не такая, как скромненький «Месяц», а роскошная, и не общественно-политическая, каковые должны платить за публикацию романов налог, а литературная — такие от налога освобождены. Журналист Альфред Асселен писал, как той осенью на скачках встретил Дюма с Изабель Констан — она зевала, он спал… Увидев Асселена, «спокойно открыл глаза и послал мне одну из тех добрых отцовских улыбок, какими он всегда встречал молодых… „Я основываю на этой неделе литературный журнал, вы будете делать его со мной?“» Обедали вместе: «Он безумствовал. Он заказал бутылку кипрского вина… Говорил, что публика купит по крайней мере 10 000 экземпляров и уже в конце месяца мы будем богаты. „Завтра я закажу статью Готье и заплачу ему 500 франков. Каждый день на главной странице будут мои беседы, затем три колонки моих мемуаров. Вы с друзьями сделаете остальное. Пусть вся молодежь приходит, я буду рад“».

Дело разворачивалось с сумасшедшей быстротой, и 8 ноября 1853 года, когда Дюма окончательно переехал в Париж (дав в Брюсселе прощальный ужин изгнанникам), министерство внутренних дел выдало разрешение на ежедневную газету «Мушкетер». В башне, прилегающей к шикарному ресторану

«Золотой дом» на улице Лаффит, Дюма снял помещение под редакцию, на верхнем этаже — квартиру для себя. Начальный капитал — 3000 франков. Плата за офис — 1200 франков в год. Тираж 10 тысяч экземпляров, подписная цена в год 36 франков для Парижа, 40 — для провинции. Чтобы покрыть расходы, достаточно 30–40 подписчиков, остальное пойдет на зарплату и гонорары авторам и себе останется; он уже присмотрел загородный домик в Блуа.

Рекламируя газету, он обещал «защищаться от нападок критиканов», «высказываться обо всем» и «бороться с несправедливостью». Идею не одобряли люди, знающие цену деньгам — Хиршлер, Парфе, но авторы хлынули, и не только молодые, но и маститые: Нерваль, Жюль Сандо, Жозеф Мери, Поль Бокаж, Октав Фейе, Анри Рошфор, даже Дельфина Жирарден обещала иногда писать что-нибудь. Дюма привлек графиню Даш: пишет быстро и бойко. Числился в сотрудниках и сын (но только раз дал статью о скульптурной выставке). Сотрудники редакции: Асселен, Филибер Одебран (оставивший воспоминания о «Мушкетере» — «Золотой дом», 1888), Анри Консьянс, Орельен Шолль, бизнес-менеджер — Пьер Мартине, потом его сменил театровед Урбен Паже. Секретари — Рускони, Вейо и Макс де Гориц, переводчик с немецкого, политэмигрант, которого Дюма привез из Брюсселя. Всем были выплачены громадные авансы. Кассир Мишель, бывший садовник, сокрушался: «Бедный господин Дюма разорится. В этой газете так много редакторов, которые ничего не редактируют…»

Первый номер вышел 20 ноября. Необычное заявление на первой странице: «Газета не принимает рекламных объявлений от театров и книгопродавцев. Она сама платит за билеты и покупает книги». (Это было правдой.) Асселен: «Был успех. Этот небольшой листок продавался вечером во всех газетных киосках на бульварах. „Мушкетер“ был первой успешной ежедневной газетой о литературе и указал путь другим». С деньгами, правда, сразу возникли проблемы — после первого аванса сотрудники перестали получать что-либо. «Но Дюма все делал так прекрасно, он так чудесно улыбался, деля со своими редакторами несколько фунтов, которые заблудились в ящике стола! Мы не могли обвинять его в наших страданиях. Счастливые, мы аплодировали ему… Мы работали с радостью, и труд был не напрасен».

Современный исследователь Сара Момбер занималась «Мушкетером» и пришла к выводу, что газета действительно была оригинальная. Больше половины ее занимала переписка с читателями, это характерно для прессы при Второй империи (раз ни о чем содержательном писать нельзя), но если в других

изданиях она была настоящая, то в «Мушкетере» могла быть таким же литературным вымыслом, как и все, что в нем печаталось. Другие газеты выносили переписку на последние страницы — в «Мушкетере» с нее начинали. Уже во втором номере Дюма обещал «дорогому читателю», что «ничего не будет скрыто и все, что нам напишут, мы опубликуем». Писали одному Дюма, и отвечал он сам — это был в чистом виде публичный блог, и, как случается в блогах, комментарии бывали фальшивые — «для затравки». Приводилось письмо какого-нибудь Дюпона: «Я, как честный буржуа, осуждаю» — чтобы Дюма мог остроумно ответить. Потом Дюпон заявлял: «Разумеется, не будучи писателем, я вовсе не хотел обнаружить мое письмо напечатанным в вашей газете. У меня есть отчим, чулочник на Монмартре, который не простит мне, что я запятнал наше честное имя, выставив его напоказ…» Простодушные читатели удивлялись — ну и дурак же этот чулочник — и садились писать «Мушкетеру» именно в расчете на то, что их имена «выставят напоказ». «Как, месье?! — восторгался один из них. — После моей молитвы мое письмо опубликовали! Мое имя и мои слова прочтут в Европе и Америке! Меня узнают во всем мире! Не пройдет и полугода, как обо мне, быть может, будут говорить в Коннектикуте или Абиссинии! О, теперь я не такой, как обычные люди! Я принадлежу к элите!» («Мушкетер», № 93 от 21 февраля 1854 года.) В «Мушкетере» печатались мемуары Дюма, читатели — настоящие или выдуманные — присылали дополнения — «Помнится, когда я встретил вас, месье Дюма, там-то и там-то, вы изволили сказать, что…» — и Дюма благодарил: «Вы принесли нам драгоценный дар…»

Момбер отмечает, что «информационное содержание писем, опубликованных в „Мушкетере“, практически равно нулю в том, что касается новостей, и если мы захотим прочесть переписку газеты с целью узнать, что читатели думали о мире вокруг них, то будем разочарованы». Зато там приводились самые незначительные письма, касающиеся редакционных дел: ругань с арендодателем, жалобы сотрудников на задержку гонораров. То был блог не политический, а частный, этакий кружок «френдов», интересующихся только друг другом. Эти люди были вовлечены в жизнь газеты, а она — в их жизнь: они просили объявить благотворительную подписку или концерт, Дюма транслировал просьбу другим подписчикам, прибавляя: «Дорогой читатель, хорошо бы собрать денег для хорошего парня Дюпона», приводил благодарность Дюпона, а затем — его письмо о том, как изменилась благодаря «дорогим читателям» его жизнь. Все происходило на глазах читателей как бы в реальном времени. В

номере от 16 августа 1854 года актер Лаферьер просил организовать спектакль в пользу восьмидесятилетнего канатоходца Саки: «Понедельник, 10.00. Дорогой Дюма, сейчас мы начинаем утренний спектакль, который Вы помогли организовать для бедного Саки… P. S. 11.30. Победа! Мы собрали 112 франков!»

Печатались романы — читатели могли вмешаться и в них. Некто Купар: «Я проглотил ваших „Могикан“. Коломбен меня очень заинтересовал, и я надеюсь, что он и кармелиты спасутся. Вы их спасете, не правда ли?» (№ 251 от 27 июля 1854 года). Ответ Дюма от 2 августа: «Дорогой Купар, к сожалению, Коломбен умер, но кармелиты спасены. В другой раз я постараюсь удовлетворить Ваши ожидания более полно. С уважением, А. Д.». «Фолловеры» могли вести в «Мушкетере» переписку не только с Дюма, но и между собой: в начале 1854 года в нескольких номерах публиковалась перебранка «дорогих читателей», каждый из которых утверждал, что он — первый подписчик газеты. Поди узнай, было ли это на самом деле. Читатели верили. Но Момбер отмечает, что переписка велась бурно в те периоды, когда Дюма был в Париже, и угасала, когда он уезжал…

На фоне этих писем, возможно выдуманных, помещались реальные письма от известных людей — с похвалами. 20 декабря 1853 года: «Дорогой Дюма, Вы узнали, что я стал Вашим подписчиком, и спрашиваете мое мнение о Вашей газете. Я могу судить лишь о человеческом, но не о сверхчеловеческом. Вы — сверхчеловек! Многие пытались создать вечный двигатель, но Вы создали вечное движение, больше — вечное удивление. До свидания, живите, то есть пишите: я рядом, чтобы Вас читать. Ламартин». «Дорогой мой мальчик, разумеется, после Сервантеса и Шехерезады Вы — лучший рассказчик в мире. Какая непринужденность! какая свобода мысли! И какой же Вы чудный человек! Гейне». «Жизнь без „Мушкетера“ — разве это жизнь? Я прочел Вашу газету. Это словно возвращение Вольтера, утешение для униженной и оскорбленной Франции. Гюго». (Это письмо полностью опубликовано не было — Дюма побоялся цензоров.) «Дорогой друг, я… поражен Вашим неукротимым упрямым талантом, приспосабливающимся к абсурдным требованиям, и Вашим героическим постоянством. Мишле». (Дюма выбросил «абсурдные требования» — Мишле мягко попенял, но не обиделся.)

Печаталась масса чепухи, вообще никому не интересной — лишь бы занять площадь. «Позавчера, когда я вернулся в редакцию, мне сообщили, что мадемуазель Жорж приходила и оставила мне записку: „Приходите, дорогой Дюма, хочу вас

видеть“. Она хочет меня видеть! Она хочет, чтобы я пришел! Моя дорогая Жорж!» Кроме переписки в газете была литературная и театральная критика, тоже по блогерскому принципу — защита себя и своих френдов. Мирекур в 1854 году стал выпускать серию «Галерея современников»: характеристики знаменитостей, рассчитанные на скандал, начал с Жорж Санд, «Мушкетер» собирал открытые письма в ее защиту. «Мадам, когда мы читаем Ваши книги, все наши добрые чувства радуются и нам кажется, что мы стали лучше» — и далее на страницу шли подписи сотрудников газеты и читателей с подписями: «Обри, гравер, Бене, резчик по кости, Шампло, токарь. Форе, плотник» и т. д. (Мирекур, втянутый в скандалы, в 1870-х стал монахом и отправился миссионером на Гаити, где и умер.)

Третья составляющая газеты — беллетристика: романы Дюма, рассказы и стихи его друзей. Полезным сотрудником оказалась графиня Даш: весь 1854 год «Мушкетер» печатал ее «Жизнь и любовные приключения Екатерины Шарлотты де Грамон де Гримальди, княгини Монако» (текст приписывали Дюма). Жорж Санд давала рассказы. Сесиль Жерар, знаменитый охотник, опубликовал воспоминания, а Дюма — очерк о нем. «Дорогие читатели» присылали свои тексты — их тоже публиковал, если были не совсем плохи, безжалостно переделывал, большинство не обижались, но с одной дамой, Клеманс Бадер, вышел скандал: возмущенная правкой, она пыталась подать в суд, потом выпустила памфлет «Александр Дюма-Солнце»: «До чего же он счастлив, этот господин Дюма, тем, что у него есть его „Мушкетер“! Он себя ласкает и нежит, холит и лелеет на страницах этой газеты, он себя нахваливает, он глаз с себя не сводит и любуется собой в своих владениях!» Не так уж глупа была эта женщина. Парфе писал брату о «листке, который никого не пугает, но который, кажется, никого и не занимает и который останется — если вообще останется — в памяти лишь как самый невероятный памятник самовлюбленности и предвзятости суждений… Это даже не любопытно: разве что плечами пожимают, только и всего. Мемуары Дюма, которые составляют основную часть издания и из которых отныне изгнана политика… представляют собой неудобоваримый сборник давних закулисных анекдотов и цитат, приведенных в беспорядке, без плана, без цели, без разбора, кстати и некстати. Те, кто, подобно мне, искренне любит Дюма, могут лишь глубоко огорчиться при виде того, как он губит себя, расточая подобным образом свой талант, и ставит под удар свою литературную репутацию».

Еще были переводы: Гориц перевел сатирические сказки венского юмориста Морица Готлиба по прозвищу Сапфир, с

которым Дюма познакомился в Брюсселе. Были интервью, которые Дюма брал сам. Делакруа вспоминал, как тот ворвался к нему в полночь: «Это человек, который не так мыслит, как я, он отвлекается, разбрасывается… Бог знает, что он сделает из ответов, которые я дал ему!» Но Дюма оказался прекрасным интервьюером, доброжелательным и точным.

Основной литературный материал для «Мушкетера» он поставлял сам — прежде всего «Мои мемуары». Хотел с Эскиро писать биографию Мишле, тот согласился, но не доверял Эскиро, и проект был брошен. Заканчивал «Графиню де Шарни», начал серию «Сказки для детей» (переводы-пересказы). С весны 1854 года печатал роман «Сальтеадор», вещь наивную, написанную «левой ногой», причем вряд ли его собственной, так как в тот же период он писал весьма качественную эпопею «Парижские могикане». Это приквел к роману «Бог располагает», где описана революция 1830 года: теперь Дюма захватил 1820-е годы, бесчинства «взбесившегося принтера» и попытку восстания 1827-го. «Могикане» и их продолжение «Сальватор» печатались в «Мушкетере» с 5 февраля 1854-го по 28 марта 1856 года, а затем в газете «Монте-Кристо» аж до 1859-го. Текст длинный и неровный: он писался с Полем Бокажем, и легко увидеть, где Бокаж, а где Дюма. Бокаж писал «дамскую» часть: масса любовных историй, рассказы о детстве героев (это в основном первая половина «Могикан» и вторая «Сальватора»), а остальное — политика, Наполеон, религия, философия — то, что было интересно Дюма.

Сальватор — сверхчеловек, но не такой, как Бальзамо, это — Бэтмен, он спасает девиц, устраивает браки. Он — революционер: «Теория Сальватора была проста: глубокая любовь ко всем людям без различия каст и рас, полное уничтожение границ для объединения рода человеческого в единую семью по слову Христа, которое, дав свободу и равенство, должно было одновременно даровать и братство. В его понимании все люди были детьми одного отца и одной матери, все были братьями и, стало быть, все были свободны. Значит, рабство, под какой бы личиной оно ни скрывалось, представлялось ему чудовищем, и он хотел его уничтожения как первопричины зла». Сальватору оппонирует другой добрый персонаж, аббат Доминик, что «шел от Бога и как бы снисходил от Бога к человечеству; Сальватор искал тайну Христа в человечестве и поднимался от человека к Богу. Человечество для аббата Доминика представляло собой творение Божье; для Сальватора Бог был творением человека; по мнению аббата Доминика, человечество имело право на существование, лишь поскольку оно создано, поддерживается, направляется высшей силой; Сальватор полагал, что общество не имеет смысла,

если оно не свободно, если оно само не является направляющей силой». Носитель третьей идеологии — художник Жан Робер, который «был далек от мысли, что Бог наградил душой только людей; вслед за индийскими брахманами он скорее готов был поверить в то, что душа животного дремлет или заколдована… Нередко он пытался представить себе первобытного человека, что произошел от животных, братьев своих меньших, и ему казалось, будто в те времена животные и даже растения, младшие братья животных, были проводниками и наставниками человечества. Он с благодарностью думал о том, что существа, которыми управляем сегодня мы, руководили нами тогда, направляя наш нетвердый разум с помощью своих уже устоявшихся инстинктов, наконец, были нашими советчиками, — эти маленькие, эти простые существа, кем мы помыкаем теперь!».

Именно в «Могиканах» Дюма впервые описал все, что творилось вокруг закона о святотатстве, когда «партия священников завладела настоящим, прошлым и уже потянулась расставить свои вехи в будущем», когда шла «война не на жизнь, а на смерть, объявленная под тем или иным видом разуму, человеческой духовности, законам, наукам, литературе»: «Иезуитство насквозь пропитано печалью и озабоченностью, пронизано захватническим и завистливым духом деспотизма и придирчивости… иезуиты нашептывают королю анафемы против любой знаменитости, исходят завистью к чужому богатству, брызжут ненавистью к чужому уму, противопоставляют себя любой передовой мысли. Их путают свободные, возвышенные, независимые люди, и они по-своему правы: каждый, кто не является их прислужником или рабом, становится им врагом!.. Будучи по видимости лишены прав, в действительности они являлись абсолютными хозяевами Франции… Палата депутатов представлялась им самозваной властью, чем-то вроде собора раскольников, зато себя они считали законными представителями страны… Кабинет министров был для этой конгрегации лишь инструментом разрушения того, что внушало ей опасения… козлом отпущения, отводящим от нее в нужную минуту народный гнев… В эпоху, когда это считалось невероятным, смутно назревала религиозная война».

С религией связана одна из сюжетных линий: Сарранти, отец аббата Доминика, был предан Наполеону и хочет возвести на престол его сына, герцога Рейхштадтского (умершего в 1832 году). Сарранти хватают, судят как уголовника за убийство, которого он не совершал, присяжные выносят смертный приговор. Его сын узнал на исповеди имя настоящего убийцы и молит папу римского позволить нарушить тайну для спасения невиновного,

но… «Сын мой! — медленно, но твердо выговорил папа. — Скорее погибнут один, десять праведников, весь мир, чем догмат!» Тогда аббат убивает человека, который ему исповедался, а Карл X, узнав обо всем, милует его и его отца. Кажется, Дюма, насмотревшись на всяких королей, пришел к выводу, что Карл был очень даже ничего.

Настоящий, «большой» Наполеон физически не присутствует в «Могиканах» — Дюма еще не был готов писать его, — но его обсуждают, всё в том же ключе, что в ранней биографической книжке: как орудие Провидения: «Повсюду, где бы ни прошла французская мысль, свобода следом делает гигантский шаг, разбрасывая революции, как сеятель бросает зерна». И даже падение Наполеона на пользу свободе. «Свершилось все, что предвидел мудрый Господь. Париж не смог навязать свою цивилизацию Москве: Москва сама пришла за ней в Париж… люди с Невы, Волги и Дона проведут три года на берегах Сены; они впитают в себя новые и непривычные идеи, произнося незнакомые слова — „цивилизация“, „свобода“; они вернутся в свою дикую страну, а восемь лет спустя в Санкт-Петербурге вспыхнет республиканский заговор…» Наполеон Малый меж тем по примеру дяди решил воевать с Россией. Дюма, «Из Парижа в Астрахань»: «После ликвидации Польши, после того, как была раздавлена Венгрия, император Николай убедился, что никакая сила в Европе не может ему противостоять». Прелюдией к войне стал конфликт Николая с Луи Наполеоном: царь считал императора нелегитимным и в поздравительной телеграмме обратился к нему «дорогой друг» вместо положенного по протоколу «дорогой брат». 17 января император предъявил России ультиматум: увести войска из Дунайских княжеств и начать переговоры с Турцией, Россия разорвала дипломатические отношения с Англией и Францией, началась Крымская война — дележ ослабевшей Османской империи; англичане из врагов становились друзьями, Ватерлоо забыли — Дюма предсказывал это 20 лет назад, да никто не верил.

Дела «Мушкетера», несмотря на затруднения с наличностью, шли хорошо. За два месяца газета приобрела четыре тысячи подписчиков и продавала еще шесть тысяч экземпляров в Париже. Дюма вновь задумался о театре и в конце 1853 года излагал министру внутренних дел проект: построить театр, который будет ежегодно получать от него четыре пьесы и «представит взору народа все, что было великого в нашей и иностранной истории». В первую неделю января 1854 года, через 25 месяцев после банкротства, он выплатил большую часть долгов. Деньги текли отовсюду. У Кадо издали «Мои мемуары» — восемь томов под

заглавием «Послание от 1830 года 1842-му» и почти все романы Дюма. Французский театр 13 января 1854-го поставил комедию «Ромул». В Брюсселе играли «Юность Людовика XIV», во французских провинциях — «Мушкетеров». «Водевиль» 22 мая поставил пьесу «Мраморщик», написанную в соавторстве с Лери и Бокажем. Из Турина поступают деньги за «Савойский дом». Своих текстов так много, что можно не все давать в «Мушкетер»: роман «Паж герцога Савойского» по материалам «Савойского дома» печатался в «Прессе», слабая попытка романа о Наполеоне «Капитан Ришар» — в «Иллюстрированном мире», детектив «Катрин Блюм» — в «Родине». Одна маленькая неприятность: Макс Гориц оказался не политэмигрантом, а уголовником в розыске и был арестован, Дюма вызывали в полицию, он переполошился, просил дочь переслать переписку с Горицем. Ноэль Парфе — брату, 10 апреля 1854 года: «Что за люди окружают этого несчастного умнейшего дурака!»

И все же «Мушкетер» был так успешен, что газетный магнат Полидор Мийо и журналист Ипполит Вильмесан предложили купить его, сохранив за Дюма место сотрудника с высоким окладом. Вильмесан вспоминал, как Мийо сказал ему: «Этот великий безумец, Дюма, выпускает газету, имеющую огромный успех, найдя способ вовлечь публику, которая каждое утро бежит покупать его листок; но это не может продлиться долго. Если кто-то не наведет порядок в его делах, он далеко не уедет». Они пришли в редакцию, изумились, как все бестолково: «Никогда не существовало редакции столь многочисленной, первому встречному здесь подавали кофе, и весь Париж числился редакторами с фиксированными окладами… Но 100 тысяч франков и немного порядка — и „Мушкетер“ может стать хорошим выгодным делом. Мийо давал деньги, я был готов работать, Дюма сказал, что подумает, а на следующий день я получил от него записку: „Дорогой собрат, то, что предлагаете мне Вы и Мийо, — великолепно. Однако я всю жизнь мечтал иметь собственную газету, наконец-то она у меня есть, и самое меньшее, что она может мне принести, это миллион франков в год. Я еще не взял ни су из гонораров за мои статьи; если считать по 40 су за строку, то со дня основания „Мушкетера“ я заработал 200 тысяч франков; я спокойно оставляю эту сумму в кассе, чтобы через месяц взять оттуда сразу 500 тысяч. При этих обстоятельствах я не нуждаюсь ни в деньгах, ни в директорах; ‘Мушкетер’ — это золотое дно, и я намерен разрабатывать его сам…“ В этом письме — все безумие великого человека».

Глава четырнадцатая
ЗАЯЦ И ВОЛК

Загородный дом Дюма не купил, а снял в сентябре 1854 года за 3600 франков в год дом на улице Амстердам, 77, с каретным двором: вместо двора разбил сад, завел кур с петухом, собак и кошек, вызвал дочь — начинать оседлую степенную жизнь. Завершал «Графиню де Шарни»: 7 ноября 1793 года Конвент объявил суд над королем. Бальзамо, вновь появившийся на страницах, а с ним и автор считали это одной из главных ошибок революции: умнее было его втихую удавить, как бы цинично это ни звучало, а если уж судить, то не лично короля, а принцип монархии. А так получили жертву — это еще аукнется. Дантон опять пытается все взять в свои руки, но брезгливые жирондисты в Конвенте не дают. Все, кто мог предотвратить террор, оказались бессильны; на первый план выходят Марат, «кровавое чудище», и Робеспьер, который до сих пор «прятался» и «выжидал», и уже маячит на горизонте — но видит его лишь всезнающий Бальзамо — «новый Цезарь», что «восстановит трон Карла Великого».

«— Стало быть, наша борьба за свободу бесполезна?! — в отчаянии вскричал Жильбер.

— А кто вам сказал, что один из них, сидя на троне, не сделает для свободы так же много, как другой — при помощи эшафота?..

— Каков же будет результат от всего этого шума, дыма и неразберихи?

— Результат будет такой же, как после всякого генезиса, Жильбер; на нашу долю выпало похоронить старый мир; нашим детям суждено увидеть рождение нового мира; а этот человек — великан, охраняющий в него вход… Братья, придет день, когда слово, представляющееся нам священным, — родина или другое слово, которое мы считаем святым, — нация — исчезнут, как театральный занавес… все выдуманные границы исчезнут, все искусственные перегородки будут сметены…»

Самое интересное — «шум, дым и неразбериху» — Дюма опять не написал, говорил даже, что «Графиня де Шарни» — его последняя книга о революции, но, еще не закончив ее, начал новую — «Инженю», публикация в «Веке» с 30 августа по 8 декабря 1854 года. Сюжет предложил Поль Лакруа. Был такой писатель Ретиф де ла Бретон (1734–1806), считался «порнографом», после смерти был забыт, Лакруа раскопал в библиотеке Арсенала его роман «Инженю Саксанкур, или

Разведенная женщина»: считается, что в нем описана жизнь его дочери Агнес, вышедшей замуж за мошенника, жестоко с ней обращавшегося. Обсудили с Маке, тот взялся за работу, но потом отказался. Тогда Дюма решил присовокупить к Бретону Марата, который тоже написал роман, «Приключения молодого графа Потоцкого» (изданный в 1847-м его дочерью): Потоцкий полюбил бедную девушку, но ее жестокий отец ее убил (потом Потоцкий стал политиком, был знаком с французскими революционерами). Соединить эти два романа, очень плохих, и написать на них таким же ужасным языком пародию — какой-то постмодернизм в кубе.

Итак, Марат в Польше (на самом деле он не жил в Польше) изнасиловал под наркотиком (какой оригинальный ход!) дочь помещика, его избили и прогнали, потом он пережил невероятные приключения в России, наконец в Париже встретил свою жертву и узнал, что у него есть сын. А вот тут — сюрприз: «кровавая жаба» оказалась нежнейшим отцом и помогла сыну устроить счастье с дочерью Бретона. В романе фигурируют все знаменитости: Дантон, Демулен, доктор Гильотен, поэт Андре Шенье, художник Давид, кулинар Гримо де ла Реньер, правда, пришиты они к делу как-то косо — то ли Дюма без Маке трудно было выстроить сюжет, то ли он просто торопился — роман вообще написан небрежно, с фразами как из учебника: «С этого времени и возник… рабочий вопрос, снова вставший в 1848 году…»

Дочь Бретона была еще жива, ее родственники подали в суд, требуя прекращения публикации, не добились, в итоге — скандал, реклама, прибыль. Но в целом дела ухудшались: тираж «Мушкетера» с семи тысяч экземпляров снизился до трех с половиной тысяч, одни сотрудники уходили, другие требовали денег. Дюма передал управление Ксавье де Монтепану. Асселен: «В конце концов он устал быть одновременно и автором, и редактором, управляющим, и единственным инвестором…» Зарабатывал по мелочи где мог: выпускал сборники своей периодики, составлял предисловия к чужим книгам, как, например, к фантастическому роману об африканских людоедах Луи дю Куре «Путешествие в страну Ням-Ням», в «Родину» дал «Беседы путешественника» о поездке с Нервалем в Германию в 1838 году. Кажется, выдохся, не знал, о чем писать; единственная пьеса того периода — «Совесть» по мотивам драмы Августа Ифланда, сыграна без успеха в «Одеоне» 4 ноября. Начало 1855 года омрачило ужасное событие: Нерваль, предыдущий год проведший в «психушках», 26 января был найден повесившимся. Дюма к нему в лечебницы ходил, выбил для него у Французского

театра заказ на перевод пьесы Коцебу «Мизантропия и раскаяние»; незадолго до смерти Нерваль писал ему о переселении душ, Дюма отвечал: «Вы знаете, я материалист. Увы! Мне вовсе не хотелось бы никого вербовать в мою печальную веру. Лучше обратите меня в Вашу, дорогой друг, Бог, как я вижу, говорит Вашими устами». Нерваля отпели в соборе Парижской Богоматери, хоронили на Пер-Лашез (самоубийство удалось замять) за счет Союза писателей. Дюма был, видимо, убит, так как даже не смог написать некролог, что делал исправно по случаю похорон, собрался с силами лишь год спустя: «Ровно год, как тихо, никого не обеспокоив, так незаметно, что скромность эту можно принять за презрение, от нас ушел писатель потрясающей искренности, высочайшего и ясного ума, который никогда его не покидал…» Завершил начатый Нервалем перевод — «Мизантропию и раскаяние» сыграли 28 июля — и стал писать, что делал очень редко, «в стол» душераздирающий текст «Жерар де Нерваль. Новые воспоминания»: тут и смерть матери, и гибель Орлеанского, и «каждый раз часть сердца отрывалась и умирала».

Крымская война шла успешно для Наполеона III и скверно для его врага: 18 февраля 1855 года, после известия о поражении русских на Альме и под Инкерманом, внезапно умер Николай I. Официальная версия — воспаление легких. Но так как о смерти долго не объявляли, то возникли слухи, в частности о самоубийстве. У Дюма отношение к самоубийцам было абсолютно не христианское, римляне и греки, вскрывавшие вены, восхищали его, а Николай I ему все еще нравился (он, вероятно, воображал персонажа из своего «Учителя фехтования»), и он хвалил «крайнее, героическое и страшное решение умереть. Если бы Николай от него отступил, то перечеркнул бы все 30 лет своего правления; если бы продолжал искать победы в этой войне, то погубил бы Россию. На мир пойти он не мог, но этот шаг мог сделать его наследник». Еще о смерти — «Последний год Мари Дорваль» в «Мушкетере», Дюма объявил подписку на памятник, собрал мало, добавил свои, памятник сделали. С другой подпиской — на приют для больных девочек — вообще ничего не вышло: «дорогие читатели» стали скуповаты. Тогда Дюма предложил собрать деньги на памятник Бальзаку, умершему четыре года назад, вдова, заподозрившая какое-то мошенничество, подала в суд, подписку разрешили, но денег опять никто не дал. Очередная подписка: на бедняков (зима очень холодная), тут собрали кое-что. Очень сентиментален был Дюма в 1855 году — может, потому, что переживал новую любовь.

Эмма Манури-Лакур (1823–1860) вышла замуж в 17 лет. Первый муж скоро умер, второй был импотентом. В конце 1854

года она написала Дюма: зачем он издевается над бедняжкой Клеманс Бадер? Дюма растрогался, опубликовал письмо и свой ответ, потом Эмма приехала (она жила в Кане) на похороны Нерваля, познакомились. Похожа на Мелани Вальдор — неудовлетворена браком, пишет стихи, болезненная: «на всем ее облике лежал отпечаток какой-то горестной усталости». В феврале 1855 года Дюма гостил в ее имении Тьюри-Аркур и стал ее любовником, несмотря на присутствие мужа. Как же Изабель? Да как обычно: «Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день состояли бы все его любовницы, начиная с самой первой».

В марте Эмма пригласила к себе Мари Дюма, подружились, в апреле Мари узнала о беременности подруги и о том, что отец уговаривает ее сделать аборт, была возмущена; ее письмо отцу не сохранилось, только его ответ (который не все исследователи относят именно к этой ситуации): «Если женщина провинилась… она должна искупить свою слабость, как искупают преступление раскаянием. Но женщина с ее виной, равно как и мужчина с его бессилием (это, видимо, о муже Эммы. — *М. Ч.*), не имеет права заставлять третье лицо нести груз ее ошибки или его несчастья. Я изложил Эмме эти соображения до того, как был зачат ребенок. Они были ею взвешены, и решение высказано в следующих словах: „Ради моего ребенка я найду в себе силы все сказать и все сделать так, как надо!“ Именно благодаря этой решимости и было зачато существо, которое еще не появилось на свет и которое наперед осуждается обществом. Ничего не могло быть легче, чем не дать родиться ребенку, которого уже теперь лишают места в обществе… Как же сложится его жизнь, когда у матери такое состояние здоровья — она и сама считает, что может вот-вот умереть, — а отец уже настолько стар, что, испрашивая себе еще пятнадцать лет жизни, просит, пожалуй, чересчур много? Каждый из нас шел в этом деле на известный риск. Г-жа Х. готова была разъехаться с мужем и так твердо на это решилась, что собиралась прислать мне копию своего брачного контракта, — правда, этого она не сделала. А мне грозил удар шпагой или выстрел, и я по-прежнему готов принять вызов». Вот почему Дюма осуждал Андре, отказавшуюся выйти за насильника, — женщина не должна рожать заведомо незаконное дитя, обрекая его на несчастья, и нечего сваливать вину на мужчину: поди да сделай аборт, дуреха…

Эмма не сделала аборта, Мари устроила отцу скандал с битьем посуды: ее психическое состояние (об этом намеками писал знакомым Ноэль Парфе) было не вполне адекватным. Жизнь с разгильдяем отцом оказала на нее, как и на ее брата,

парадоксальное воздействие: она стала моралисткой, ригористкой, но в отличие от брата болезненно религиозной, на грани истерии: «видела» ангелов, рисовала их, одевалась чудно. Анатоль Франс: «Она — серьезная и красивая молодая женщина, чей вид, полный аристократизма и достоинства, возможно, немного проигрывает в женской привлекательности. Она воодушевленный мистик, в туалетах она имитирует одежду монахов и монахинь, ее пеньюары похожи на клобук и ее излюбленные украшения — кресты…»

Отец решил отослать ее в Брюссель. Поехал туда и узнал, что его дом пересдали, хотя договор аренды не кончился, подал в суд и обнаружил, что дом сдавался мошенническим путем и все годы он платил не владельцу, — едва отвертелся от встречного иска. В Париже 2 мая начался другой суд: Леви хочет признать Лакруа соавтором пьесы «Совесть», долгие обжалования, Дюма выиграл, но с Леви решил порвать; возможно, поэтому прекратил писать «Мои мемуары», оборвав их на описании бала 1833 года: по договору от 1845-го они должны были выходить у Леви. Передать другому издателю, Кадо, права от Леви он не мог, зато предложил ему серию «Великие люди в домашних халатах» и в 1855–1856 годах написал «Ришелье», «Людовика XIII», «Генриха IV», «Цезаря»; начал «Нерона» и бросил. Ничего у него не получалось. О чем писать, где люди берут сюжеты?! С помощью графини Даш он отредактировал воспоминания врача с китобойного судна Феликса Мейнара, отдал в «Век». Читатели «Века» попросили еще чего-нибудь о путешествиях — Даш написала юмористический «Дневник мадам Джованни» о приключениях эксцентричной дамы в экзотических странах, имя автора не было указано, текст приписали Дюма, но денег он за него не брал, как и за опубликованную в «Мушкетере» и вышедшую под его именем у Леви «Мадам дю Деффан» той же Даш.

Война шла к победному концу, Луи Наполеон побывал в Англии, 18 августа королева Виктория и принц Альберт прибыли в Париж, пышная встреча, во дворце Сен-Клу для гостей играли «Барышень из Сен-Сира», переделанных актером Ренье, Дюма даже не позвали, а он так хотел познакомиться с королевой. Однако с людьми из ее свиты, приложив усилия, все же встретился и был приглашен в Англию. Осенью выкидыш у Эммы, слава богу, но, как назло, забеременела Изабель, отношения с которой почти сошли на нет… Кругом какое-то бестолковье, безвременье, непонятно, что делать, писать не о чем, надо бы о Наполеоне, но как, никто не подсказывает сюжета… Из беллетриста Дюма совсем превратился в «блогера» — писал

«беседы», «колонки», «болтовню». Впрочем, ему давно этого хотелось. «Джентльмены Сьерра-Морены»: «Я знакомлю моего читателя с героем, жившим тысячу лет тому назад, но сам остаюсь для читателя неизвестным; по своему желанию я заставляю его любить или ненавидеть персонажей, и мне нравится внушать читателю любовь или ненависть к ним, но сам я читателю безразличен. Есть в этом что-то грустное, что-то несправедливое, чему я хочу противиться. Я стараюсь быть для читателя чем-то большим, нежели повествователь, о ком каждый составляет представление в зеркале собственной фантазии. Я хотел бы стать существом живым, осязаемым, неотделимым от общей жизни, чем-то вроде друга…»

Получилась «История моих животных», первая часть которой выходила осенью 1855 года в «Мушкетере», вторая в 1864-м в газете «Монте-Кристо», книжное издание — в 1868-м. Это продолжение мемуаров, период 1845–1852 годы, разгар славы автора, «Замок Монте-Кристо», выборы, ссоры с издателями. Все вперемешку — животные, люди, политика; слуги, кошки, куры и «господа» — существа одного порядка. (Если Дюма куда-то поехал и не назвал слугу или собаку, значит, слуги и собаки с ним не было, иначе он описал бы их наружность, характеры и биографии.) Сфотографировался у художника Надара, вышло отлично: взлохмаченная грива, элегантный сюртук и жилет из черного бархата, выражение лица радостно-доверчивое, как у ребенка, которому подарили игрушку; по этому портрету выполнено большинство шаржей и карикатур на него. В декабре завершился суд с Леви по поводу «Совести», а 4 января 1856 года Дюма начал процесс против Леви, требуя расторжения договора и выплаты 800 тысяч франков. По мнению Моруа, он делал это «желая хоть чем-нибудь отвлечься, развеять печаль угасания», но все прозаичнее: ему недоплачивали с тиражей, о которых не ставили в известность. Началась война адвокатов и экспертов, дело переходило из одного суда в другой, 26 января суд запретил Леви издавать работы Дюма, написанные после 31 августа 1855 года, но в расторжении договора отказал, Леви подал апелляцию, денег нет… 5 января «Порт-Сен-Мартен» довольно успешно поставил драму Эсхила «Орест» в обработке Дюма, 17 февраля хоронили Гейне, в марте кончилась война, а император родил наследника и объявил частичную амнистию политзаключенным, но все это пустяки по сравнению с главным событием — Дюма нашел соавтора.

Познакомились они с Гаспаром де Шервилем (1821–1898), охотником и рыболовом, в Брюсселе, но Дюма не пришло в голову предложить ему соавторство, посоветовал это издатель

Пьер Этцель, пригревший Шервиля, когда тот в 1853-м вернулся из эмиграции, стал директором театра «Водевиль», но потерпел неудачу и сидел без копейки. Содружество началось со сказки «Заяц моего деда», относительно авторства которой есть разные версии. Дюма утверждал, что Шервиль рассказал ему историю устно, а он ее написал. Странная, жуткая сказка: один человек возненавидел религию, любил только охоту, его арестовали за браконьерство и чтение «еретических» книг, он убил того, кого считал доносчиком, хотел спрятать труп и…

«На земле лежал труп.

На трупе сидел заяц.

Заяц, как я сказал, в три раза больше обыкновенного.

Заяц, покрытый белой шерстью.

Заяц, глаза которого горели в темноте, как глаза кошки или пантеры».

Герой никак не может убить зверюгу: «С той поры жизнь моего деда превратилась в сплошную пытку. То он видел ужасного зайца возле очага, откуда тот бросал на него свои огненные взгляды. То во время обеда заяц залезал под стол и острыми когтями драл ему ногу. Когда дед подсаживался к конторке, тот вставал сзади, положив лапы на спинку стула. Поздними вечерами чудовищный заяц встречал его в проулках, чихая и тряся ушами. Забравшись в постель, дед напрасно крутился с боку на бок: заяц не исчезал. Измучившись вконец, Жером Палан засыпал. Но тут же просыпался от страшной тяжести, давившей ему на грудь. Он открывал глаза и видел зайца, сидевшего у него на животе и, как ни в чем не бывало, тершего себе нос передними лапами». Он гоняется за призрачным зайцем и умирает в ночи в снегу, держа его за горло…

«Заяц» печатался в «Веке» со 2 по 14 марта 1856 года, а Шервиль сообщил Дюма, что у него готов роман «Охотник на водоплавающую дичь»; эта вещь будет опубликована в 1858-м в газете «Эхо фельетонов» при организационной помощи Дюма и, по его собственным словам, почти без правки, хотя поверить в это трудно: стиль неотличим от стиля Дюма — Маке, разве что сюжет — бытовая интрига на фоне сельской жизни — для их дуэта не характерен. Но, возможно, Шервиль действительно умел писать «под Дюма»: такого соавтора надо брать. Можно предположить, что именно Шервиль, знаток и любитель деревенских легенд, предложил идею первого совместного романа — «Предводитель волков»: честолюбивый башмачник продал душу дьяволу в обличье волка, совершил много злодейств, постепенно превращаясь в зверя, но раскаялся в последнее мгновение жизни. Действие происходит в Вилле-Котре, о котором Шервиль

написать вряд ли мог, так что схема работы, похоже, была такой, как в последние годы с Маке: составили план, каждый пишет свое, потом Дюма все редактирует.

Тексты, сделанные с Шервилем, принято называть слабыми, проходными — очень несправедливая оценка. Фантазия в них куда богаче, чем в других работах Дюма, и они обладают своеобразием, напоминая «страшные» новеллы Стивенсона. Единственное, в чем Шервиль уступал Маке, — в умении проектировать здание романа: за исключением динамичного «Предводителя волков» их с Дюма работы переполнены отступлениями, линии подвисают, завязки великолепны, но развязки слабо мотивированы и конец (непременно морализаторский) всегда намного хуже начала (в отличие от блистательных мрачных концовок Дюма — Маке или одного Дюма) — возможно, так выходило потому, что Шервиль писал медленно, Дюма его торопил и мог, не дождавшись, «приляпать» финал кое-как или, что более вероятно (он умел делать финалы), предоставить соавтору самому выпутываться. Чудесный человек был Гаспар де Шервиль, покладистый, за славой не гнался, свое имя ставить не просил; они подружились. Шервиль: «С 1857 по 1865 год мы совершили несколько поездок, то в Сен-Бри к нашему общему знакомому, то в окрестности Вилле-Котре. Дюма всякий раз собирался в поездку с проектами перебить всю дичь. Но, к счастью для дичи, он всякий раз начинал роман в ущерб охоте; под предлогом, что ему надо закончить главу, он оставлял нас, обещая скоро вернуться, но проходил день, и, возвращаясь вечером, мы находили его покрывающим уже двадцатый лист бумаги… Этот каторжный труд заполнял все его существование».

В 1856 году Дюма свалил с плеч «Савойский дом» (но, увы, иссяк ручей итальянских денег), написал с композитором Дюпре оперу «Самсон», но ставили ее только на частных вечерах, с драматургами Б. Лопесом и В. Сежуром отредактировал начатую Нервалем пьесу «Пират, сын ночи», премьера состоялась 11 июля в «Порт-Сен-Мартене». Нет, всё не так, отдыхать с Шервилем хорошо, но работать трудно, надо подгонять; 2 апреля 1856 года Дюма решился написать Маке: «Дорогой друг, мы могли бы урегулировать будущее таким образом: скажите, какую сумму вы желаете за наше сотрудничество, я предлагаю 36 тысяч франков». Предложил, что будет брать себе деньги за пьесы, а Маке отдавать за прозу: «Пресса» и «Конституционная» жаждут романов. Неизвестно, что ответил Маке, но ничего не получилось. Маке работал один: издал «Графа Лаверни», «Падение сатаны», заполняя исторические лакуны, оставленные ими с Дюма, писал свой главный роман «Прекрасная Габриэль». Как он признавался

потом, ему тоже было грустно, что он остался один. Но он не верил бывшему другу.

У Изабель в апреле случился выкидыш, а Мари Александрина 6 мая вышла замуж за Пьера Оланда Петеля, сына врача, бесприданника, двадцатилетнего поэта, стихи которого публиковались в «Мушкетере». Свадебное путешествие в Италию, слава Провидению, все устроены; к Дюма вернулось душевное спокойствие, и он придумал, о чем писать. Когда он публиковал «Графиню де Шарни» и «Людовика XVI», пришло несколько писем от читателей с указаниями на неточности в описании бегства короля в Варенн и его поимки в 1791 году. А ведь это — «самый важный факт… всей истории Франции»; «если бы Людовик остался верен своей присяге конституции, не попытался бежать и не был задержан, на смену тем событиям, что произошли, пришли бы другие, и не было бы ни гражданской войны, ни иностранного вторжения, ни коалиции, ни 2 сентября, ни взятия Тулона, ни Бонапарта, ни террора, ни 13 вандемьера, ни Директории, ни 18 брюмера, ни Наполеона, ни Аустерлица, ни Москвы, ни Фонтенбло, ни возвращения с острова Эльба, ни Ватерлоо, ни Святой Елены, ни революции 1830 года, ни революции 1848 года, ни Второй империи (ведь и Первая не возникла бы…)».

«Век», «Пресса» и «Родина» от такого романа отказались, но когда Дюма приспичивало писать что-то серьезное, он мог наплевать на деньги. Он заключил договор, хотя и не очень выгодный, с «Газетой для всех». Нужно ехать за материалами в Варенн. Взял с собой Поля Бокажа — не как соавтора, но как помощника в хождении по архивам. Отправились 19 июня; шли по следу: надо было «повторить шаг за шагом путь, проделанный королем за шестьдесят пять лет до этого». Итогом поездки станут две книги: роман «Волонтер 92 года» и историческое исследование «Дорога в Варенн»; обе выйдут еще не скоро, «Дорога в Варенн» — в 1858-м; это единственная книга Дюма, всерьез признанная историками. Он находил еще живых очевидцев, допрашивал их потомков и соседей и опроверг, в частности, бытовавшую легенду, что почтмейстер Друэ, опознавший переодетого короля, был фанатиком, действовавшим по своему почину, — на самом деле то было решение городского совета. Но нам интереснее метод. Дюма было необходимо знать не только что произошло, но на какой улице, на каком этаже произошло, где текла речка, справа или слева. Он не отказал себе в удовольствии лягнуть историков (даже Мишле!), поленившихся съездить на место и восстанавливавших эпизод по официальным документам. Диалог с местным жителем:

«— Неужели к вам ни разу не приезжали ни Тьер, ни де

Лакретель, ни Ламартин?

— Нет. Лишь однажды я встретил Виктора Гюго: он сидел на том же месте, что и вы, зарисовывая пером вид площади… Расспросите самого скромного гражданина в Варенне: он знает историю этих двенадцати часов глубже, чем лучший историк в Париже.

— Я уже обратил на это внимание, ибо, признаться, доверившись господам Тьеру и Ламартину, отправился на площадь Великого Монарха, считая, что именно там был арестован король.

— Вы поступили как все и, следовательно, совсем не разобрались в том, как он был арестован; если бы он добрался туда, то спасся бы, поскольку попал бы к гусарам господина де Буйе.

— Поэтому я и не понял, как его задержали.

— Чтобы вы как-то в этом разобрались, прежде всего надо вам сказать, что площадь Латри в тот день выглядела совсем иначе, чем двадцать второго июня тысяча восемьсот пятьдесят шестого года… позади церкви была арка — если смотреть от нас, то она шла влево, от апсиды до площади; под ней проезжали экипажи, но не могла проследовать слишком высокая карета короля. Форейтор был вынужден остановиться, иначе двое телохранителей, сидевших на козлах, расшибли бы себе лбы.

— Вы объясняете все то, в чем запутал меня господин Тьер.

Я раскрыл свой альбом, куда переписал, не желая таскать с собой полусотню томов, отрывки из исторических трудов, имеющие отношение к Варенну.

— Послушайте, что пишет Тьер в своей „Истории революции“, — продолжал я. — „Варенн построен на берегу узкой, но глубокой реки“.

— Вы видели реку? — с улыбкой спросил г-н Бессон.

— Да, но все совсем наоборот: она широкая, но глубиной не больше фута.

— Господин Тьер спутал канал с рекой. Господин де Буйе не мог перебраться через канал; реку, даже в половодье, перейдет ребенок.

— Подождите, мы еще не дочитали до конца; здесь в каждой строчке ошибка. „На площади должен был стоять в карауле отряд гусар, но офицер, видя, что казна, о которой ему сообщили, не прибывает, оставил своих солдат в казарме. Наконец появляется карета и переезжает мост“.

— Карета не переезжала моста, — объяснил мне полковник, — но обогнула церковь, поскольку форейторы поняли, что экипаж слишком высок и не пройдет под аркой…»

Вернувшись из Варенна, Дюма попал на суд, подтвердивший прежнее решение о запрете Леви публиковать его книги, потом уехал к сыну, жившему за городом, в Сент-Ассиз, писать о беглом короле. Но не пошло. Он тогда хотел писать не исследование, а роман — но роману нужен сюжет, а взять его негде, изнасилованных под гипнозом девиц сюда не вставишь… И тут он случайно напал на другую историю. Пересказывал сыну эпизод, услышанный давным-давно от Нодье: осенью 1799-го — летом 1800-го, уже при Наполеоне, в городе Бурк-ан-Бре действовала банда из четырех роялистов, грабивших транспорт, чтобы финансировать войну в Вандее. Их казнили, ни один не умер сразу, голова самого младшего, как уверяли очевидцы, что-то произнесла. Как Дюма мог не ухватиться за такой сюжет раньше? Четверка романтических героев-злодеев, «Мушкетеры» навыворот, бери да пиши. Но он был так робок на выдумки, так держался проторенных путей — не изнасилованная девушка, так загадочный герой-заговорщик или два героя, стоящих по разные стороны баррикад, но остающихся друзьями… Как их сюда вставить? И Наполеон — как его присобачить? Связку придумал сын: героем станет наполеоновский офицер, ищущий гибели, ибо после ранения он стал импотентом, как у Хемингуэя. Его противник — главарь банды, дальше по накатанной дорожке: оба благородны, один любит сестру другого…

Роман «Соратники Иегу» Дюма предложил «Газете для всех» вместо обещанного о Людовике; он печатался с 27 декабря 1856-го по 4 апреля 1857 года. Дюма полностью «обнажил метод»: писал, как собирал материалы, приехал в Бурк, пришел к магистрату, а тот даже не слыхал о банде Иегу, но в конце концов удалось найти документы. Итак, после террора пришла Директория… Ах, черт побери, он опять самое интересное пропустил — смерть Марата, 9 термидора; что же там было-то от Робеспьера до Наполеона, как вдруг в одночасье кончился террор? Он не писал об этом прежде, а здесь сказал пунктиром, в одном абзаце, как в учебнике для младших классов. Напишет или нет?!

Итак, пришла Директория — слабое, бестолковое правительство, безвременье, гражданская война; Наполеон ее разогнал и начал наводить порядок, в частности в Авиньоне, где орудовали «Иегу». Авиньон — странный город, почти самостоятельная республика, подчинялся то французскому королю, то папе, в 1791-м был присоединен к Франции и делился надвое: «Французская половина была проклятым городом, стремившимся обрести гражданские свободы; городом, содрогавшимся от сознания того, что является подневольной

землей, подвластной духовенству. Это было не то духовенство, благочестивое, терпимое, неукоснительно соблюдающее свой долг, всегда готовое проявить милосердие, не то духовенство, которое, живя в миру, утешает и наставляет его, чуждое мирским радостям и страстям, — это было духовенство, зараженное интригами, честолюбием и алчностью; то были придворные аббаты, соперничавшие с аббатами римской церкви, бездельники, франты, наглецы, законодатели моды и самодержцы салонов… Мы назвали Авиньон городом священников; назовем его также городом ненависти. Нигде не учат ей так хорошо, как в монастырях». Разумеется, авиньонцы сочувствуют банде: «Неужели, гражданин, — удивился молодой завсегдатай, — вы не понимаете, что Иегу — это его величество Людовик Восемнадцатый, коронованный с условием, что он покарает преступления Революции и умертвит жрецов Ваала, то есть всех, кто имел хоть какое-нибудь отношение к чудовищному образу правления, который вот уже семь лет именуется Республикой?»

Роман слабоват, вторичен — все благородны, все гибнут, головы разговаривают на гильотине, вместо четверых реальных заговорщиков — один абстрактный; Дюма загубил великолепный сюжет, неудивительно, что инсценировка, поставленная еще до выхода книги, прошла 2 июля в театре «Готэ» без успеха. Самое интересное в нем — попытки подобраться к Наполеону не как к орудию Провидения, а как к человеку: «…что он любил больше всего, что было всего дороже его сердцу — это всеобщее поклонение, это мировая известность. Отсюда ненасытная потребность в войне, жажда славы… Он проникся презрением к роду человеческому; к тому же он от природы не склонен был уважать людей, и нередко с его уст срывались слова тем более горькие, что он имел случай убедиться в их справедливости: „Два рычага приводят в движение человеческие массы: страх и корысть“. Естественно, при таких убеждениях Бонапарт не мог верить в дружбу. Говоря о якобинцах, он называл их не иначе как убийцами Людовика XVI, зато о роялистах высказывался так осторожно, что казалось, будто он предвидел Реставрацию…».

Вторая империя в поре расцвета, ходят поезда, корабли бороздят просторы океанов, Париж — сплошная стройка, и в области балета все хорошо; экономический кризис — чудное существо, живущее и умирающее по своим законам, не имеющим ничего общего с политикой, — развеялся, войну выиграли, местное самоуправление уничтожили — ну и ладно, колбасы-то полно для всех, чего рыпаться… ну, сидит кто-то в тюрьме — а нам, что ли, теперь помирать из-за этого?

Была ли Фронда? Слабенькая. Гизо, Тьер, Монталамбер назывались либералами, но смотрели не вперед, а назад: вернуть бы Орлеанских. Республиканцы — высланы или сидят. «Революции и национальные войны. 1848–1870» (под редакцией Е. В. Тарле): «Кавеньяк, за которым строго следили, держался в стороне от общественной жизни; Жюль Фавр произносил талантливые речи, которые правительство не разрешало печатать; Жюль Бастид тайком внушал новому поколению сознание своих прав и обязанностей… Единственные газеты, в которых могли высказываться представители демократической оппозиции, — „Век“, „Шаривари“, „Пресса“ — старались вести себя чинно, чтобы избегнуть административных кар… Несколько студенческих сборищ… вот и все публичные манифестации, которые позволяла себе молодежь, некогда строившая баррикады». Были, правда, какие-то заговоры против императора, то ли реальные, то ли выдуманные, все их раскрывали, всех сажали. Парламент? Все одобрял, что император скажет. Граф Монталамбер, старый клерикал, из ненависти к Луи Наполеону ставший прогрессистом, вспоминал о своем депутатстве: «Никто никогда не узнает, что я выстрадал в этом душном и темном погребе, где я провел шесть лет в борьбе с пресмыкающимися».

А у Дюма жизнь наладилась, оказалось, что можно очень неплохо жить и при диктатуре. Ну, запретили пьесу «Анжела» — переживем… Ну, нельзя дома писать о политике — но можно за границей намекнуть: когда журналист Паскаль Дюпре в Брюсселе основал газету «Вольные изыскания», Дюма в первом номере от 25 августа 1856 года поместил открытое письмо: «Мои лучшие цветы — моим друзьям; мое тело в Париже, моя душа в Брюсселе» (потом Дюма печатал в этой газете историческое исследование «Битва при Пуатье»). Можно собираться и болтать. Доктор Биксио придумал «ужины единомышленников» — по пятницам в ресторане «Филипп», 20 участников, среди них — Дюма, Мериме, Делакруа, несколько будущих министров. Этьена Араго там не было…

Даже родня императора немного фрондировала — не раскол элит, а так, шалости. Летом 1856 года Дюма начал посещать салон принцессы Матильды Летиции Бонапарт (1820–1904), кузины императора, разведенной с Анатолием Демидовым; она дозволяла вольные разговоры, иногда заступалась по просьбе какой-нибудь знаменитости за другую знаменитость. Цвет литераторов пасся у нее, сочиняли эпиграммы, Дюма был автором одной из самых известных: «На родственников этих глядя, мы видим разницу одну: захватывал столицы дядя, племянник захватил казну». Граф Орас де Вьель-Кастель (автор

дичайших выдумок о Дюма, сплетник известный) отмечал в дневнике: «Большая ошибка — принимать Дюма и разрешать ему такой тон». (Сам, правда, писал, как на одном балу «многие видели, что император хватал за ляжки г-жу де Бельбеф».) Завсегдатаи салона — Гонкуры; их «Дневники», 31 января 1858 года: «За обедом разговор о Дюма. Все литературные люди утверждают, что у него нет ничего общего с литературой. Потом заговорили о нем как о человеке. Мюрже защищает его, но прямо-таки багровеет, когда Юшар передает, как Дюма всем рассказывал, что Мюрже занял у него деньги и как он, Юшар, однажды явился к Дюма попросить денег взаймы, а тот вынул записную книжку, где у него записано: Шанделье — 14 тысяч франков, Мюрже — 250 франков и т. д., и сказал, что таким образом он раздал уже 30 тысяч франков, а посему… Но Юшар сам видел, как Дюма, проиграв приятелю две тысячи франков, тут же вынул их из своего бумажника… Дюма — самый благоразумный на свете человек, никаких страстей, регулярно спит с женщинами, но никого не любит, так как любовь вредит здоровью и отнимает время; не женится, потому что это хлопотно; сердце бьется, как заведенные часы, и вся жизнь разграфлена, как нотная бумага. Законченный эгоист, с самыми буржуазными представлениями о счастье — без волнения, без увлечений…»

Об этом благополучном периоде оставил воспоминания Владимир Александрович Соллогуб, осенью 1856 года присланный в Париж ознакомиться с работой театров. «В продолжение нескольких десятков лет Дюма возбуждал не только в своей родине, но и во всей Европе всеобщее любопытство и удивление, во-первых, своими сочинениями, бывшими в необыкновенной моде, во-вторых, своим блистательным остроумием, оригинальными выходками, безумными издержками и в особенности своей неистощимой добротой. Годами он жил окруженный неслыханной, чисто восточной роскошью и с этим вместе часто не имел двадцати франков в кармане. В то время он проживал в своем доме, rue Amsterdam, но чуть ли не накануне кредиторы вынесли из него всю мебель. На мой звонок у крыльца мне отворила служанка и ввела меня в совершенно пустую переднюю. Осведомившись, дома ли Дюма, я себя назвал и попросил служанку доложить обо мне.

— Взойдите, любезный граф, — закричал с верха лестницы звучный, густой голос, — мне так много наговорили о вас дурного, что я уже заранее вас полюбил!

Я поднялся по красивой, но довольно дурно выметенной лестнице на второй этаж. Вбитые в стене и вокруг окон гвозди свидетельствовали об украшавших перед тем помещение

картинах и занавесках. Навстречу мне из комнаты, служившей ему кабинетом, вышел Дюма. Весь его костюм состоял из длинной ночной белой холстяной рубахи с широко прорезанным воротом, носков и вышитых гарусом туфель. Он дружелюбно меня приветствовал и усадил в одно из четырех уцелевших кресел, украшавших его кабинет, а сам сел на свое место у письменного стола, заваленного кипою исписанных особенно большого формата белых листов. Мы разговорились. Дюма замечательно говорил и в особенности рассказывал. Наружность его совершенно соответствовала и его таланту, и его нраву. Ростом очень высокий, довольно тучный, с толстой бычачьей шеей, лицо его неправильное и некрасивое, с крупными и несколько плоскими чертами, было тем не менее особенно привлекательно. Небольшие глаза искрились тонким остроумием, но… глубины в них искать не следовало».

Соллогуб писал, что у Дюма не было денег давать обеды, но сам на этих обедах регулярно бывал: «Иногда случалось и так, что одному из гостей недоставало стула, но белье столовое, серебро, посуда, стекло отличались безукоризненностью. Дюма очень гордился своим умением приготовлять разные тонкие кушанья, и почти за каждым из обедов подавались два-три блюда, изготовленные самим хозяином. Гости собирались самые разношерстные; добродушие и гостеприимство Дюма вошли в пословицу, но надо также признаться, что к этим качествам его примешивалась такая беззаботность и нравственная неряшливость, что в доме у него в сообществе с людьми самыми знаменитыми и самыми почтенными случалось почти всегда встретить личностей темных и недоброкачественных. Так, например, рядом с одним из таких талантливых и остроумнейших французских писателей того времени, как Генрихом Монье… можно было улицезреть начинавшего в это время свою карьеру весьма гаденького жиденка Альберта Вольфа (журналист, сотрудник „Фигаро“, в 1856 году был одним из временных „секретарей“ Дюма. — *М. Ч.)*… подле прелестнейшего поэта Генриха Мюржера… случалось видеть какого-нибудь прогоревшего биржевика с грязным прошедшим и темноватым будущим; тут вертелись и разные искательницы приключений, и устарелые провинциальные актрисы, хотя тут появлялись также и талантливые писательницы и даже светские женщины, интересующиеся на „это все“ посмотреть. Тем не менее эти сборища являлись в высшей степени интересными; точно ракеты, вспыхивали колкие словечки, веселые шутки, но и также тонкие наблюдения, глубокое знание жизни и строгая оценка искусства…»

Развлечений было много, а работа шла не так интенсивно, как Дюма привык. «Соратники Иегу», пьеса «Башня Сен-Жак» с Ксавье де Монтепаном по мотивам «Изабеллы Баварской» поставлена в Имперском театре 15 ноября, удалось протолкнуть запрещенную ранее «Юность Людовика XV» под названием «Засов на дверях королевы» в «Жимназ», премьера 15 декабря. Судился с Леви, 19 ноября подал очередной иск, требуя 736 тысяч 345 франков. «Мушкетер» умирал — его было нечем заполнять, и его не покупали, сам Дюма отдавал тексты в чужие газеты, где платили. 7 февраля 1857 года вышел последний номер. И в те же дни начался новый суд, инициированный Маке: тот думал, что Дюма получил от Леви деньги, и рассчитывал взыскать долг. Он потребовал аннулировать соглашение с Дюма от 1848 года, признать себя соавтором восемнадцати романов и выплатить ему половину дохода за них.

Дюма препоручил дело адвокатам, сам, похоже, не очень беспокоился, в феврале уехал с Шервилем на охоту к нотариусу Шарпийону в Сен-Бри, а 27 марта отправился в Англию освещать тамошние парламентские выборы для «Прессы», пробыл в Лондоне месяц, ежедневно слал корреспонденции, «Таймс» их перепечатывала. С восторгом писал, какие свободные выборы, живут же люди… Сочинил комедию «Приглашение на вальс» с посвящением «моей дорогой детке Изабель» — пьесу поставили в «Жимназ» 3 августа, потом она долго шла во Французском театре; его «пустячки» директора театров любили, да сам он их не очень-то жаловал. Дважды ездил к Гюго на Джерси. Отношения между ними в ту пору — рыцарственные: когда актриса Французского театра Огастин Броан напала на Гюго в «Фигаро», Дюма потребовал, чтобы ей не давали ролей в его пьесах. Его не послушали, но Гюго был благодарен за красивый жест. «Люблю Вас все больше с каждым днем, — писал он Дюма, — не потому, что Вы — одна из блестящих звезд нашего века, но потому что Вы — утешаете…»

Дюма затеял новое издание — еженедельник (это полегче, чем ежедневник) «Монте-Кристо», тираж 10 тысяч экземпляров, там будут исторические романы, описания путешествий и стихи. Изюминка: еженедельники выходят по выходным, а этот будет посреди недели. С первого номера, 23 апреля, Дюма начал публиковать «Сальватора», подготовил «Дорогу в Варенн» (печаталась с 22 января по 22 апреля 1858 года), помещал переделки сказок Андерсена, братьев Гримм, нашел нового сотрудника — 23-летнюю Мари де Фернан (1835–1887), о жизни которой почти ничего не известно, переводившую с английского и печатавшуюся под псевдонимом Виктор Персеваль, взял ее

перевод книги Булвер-Литтона «Гарольд». Она же сделала перевод книги Гордона Камминга «Жизнь в пустыне» — Дюма написал предисловие. Была ли она его любовницей, неясно, некоторые исследователи полагают, что был даже ребенок, но это не подтверждено; ее дочь Александрина (1859–1888) перед смертью писала Александру Дюма-младшему, что у них один отец, просила о вспомоществовании, он помог, но родства не признал. Вообще вопрос о побочных детях Дюма не прояснен: есть версия, что в 1857 году, когда он наезжал с Шервилем в Вилле-Котре, там была связь с Луизой Бувен, от которой 29 ноября родился сын Жюль Луи Эрнест Рош. Достоверно известно лишь, что Луиза вышла замуж за Роша, будучи беременной, но ее сын считал себя сыном Дюма, был секретарем Исторического общества Вилле-Котре (до 1929 года) и хранителем Музея Дюма.

«Мушкетер» был газетой писем, «Монте-Кристо» — «болтовни». Охота на слонов, френология, гипноз, варка макарон… Писатель М. И. Михайлов, «Парижские письма», 1858 год: «Г-н Александр Дюма-major считает даже обязанностью доводить до сведения публики о каждом шаге своем посредством еженедельного журнала „Монте-Кристо“, который напоминает галантерейным тоном и остроумием наши уличные листки. Из „Монте-Кристо“ можно узнать не только то, кому г. Дюма дал взаймы денег, но и какой суп он любит». Он с возрастом все больше ел и увлекался кулинарией, подумывал о кулинарной книге, публиковал в «Монте-Кристо» биографии великих поваров, писать предпочитал об экзотических блюдах, готовить — простые: макароны, омлет. Поэт Луи Бульбе писал Флоберу, как встретил Дюма в городке Мант в мае 1858 года: «Дюма обнял меня прямо на улице! А ведь я с ним виделся лишь однажды! Он называет меня „дорогой друг! дорогой коллега!“. Все мчатся к дверям, чтобы видеть Дюма, без шляпы, с гривой волос. Это — событие, революция! У входа в отель, где я заказываю завтрак для моих гостей, выстраивается очередь. Мы берем абсент в кафе и идем на кухню. Дюма, засучив рукава рубашки, проверяет пирог, сочиняет омлет, жарит цыпленка, режет лук, заваривает чай, бросая 20 франков посудомойкам… Какая молодость! Он был счастлив, как мальчик на каникулах. И какой аппетит! Я редко видел, чтобы кто-то ел с таким увлечением. Пьет он мало. Кроме него и меня, все были пьяны. Хозяйка отеля продала остатки омлета и цыпленка по очень высокой цене. Он отличный менеджер!»

Из серьезного в «Монте-Кристо» преобладала литературная критика. Вышла «Госпожа Бовари», ее ругали за непристойность, Флобер попал под суд за «оскорбление нравственности», заступились только Бодлер, Сент-Бёв (лучше бы не заступался:

сравнил Флобера с Дюма-сыном); старший Дюма назвал «Бовари» «книгой высочайших достоинств», стоящей в одном ряду с работами Бальзака, восторгался стилем, правда, несколько для него утомительным, «но стоит прочесть роман до конца, как усталость, сама по себе служащая высокой оценкой произведения, забывается, а очарование остается…». Флобер был к коллеге не так добр. «Бувар и Пекюше», 1881 год: «Романы Александра Дюма, увлекательные, точно картины волшебного фонаря. Его герои, ловкие, как обезьяны, сильные, как быки, веселые, как птицы, появляются внезапно, говорят громко, прыгают с крыши на мостовую, получают смертельные раны и выздоравливают, пропадают без вести и снова оживают… Любовники держатся благопристойно, фанатики веселы, сцены резни вызывают улыбку». Гонкуры ехидничали: «С наибольшим сходством все крупные персонажи французской истории изображены в романах того же Александра Дюма, вылепившего с них медальоны… из хлебного мякиша».

Время романтиков ушло, Флобер, Гонкуры, Золя провозгласили новую литературу: изгнать искусственные приключения, сложность сюжета заменить сложностью переживаний, сложностью текста. Эту новую сложность Дюма мог оценить у другого, но для себя не принимал и, кажется, меняться не собирался. Он устарел; другой романтик, Стивенсон, хвалил его стиль — «легкий, как взбитые сливки, прочный, как шелк, многословный, как деревенские сказки, сухой, как депеша генерала», — но соотечественники этого мнения не разделяли; Дюма и стиль, Дюма и Литература — вещи несовместные. Лишь через полтора века стали появляться иные точки зрения. Фредерик Бегдебер, современный французский критик: «Сегодня Дюма кажется смешным. Писатели предпочитают посвящать работы изучению своего пупка или экспериментам с языком. Другая причина, по которой Дюма оказался вне нашего времени, — образ жизни. „Писатель XXI века“ должен быть встревоженным, больным анорексией, безработным, бледно-зеленым, жить в комнате для прислуги или в провинции без проточной воды, быть плохо одетым, бедным, грязным, одиноким, прыщеватым… Тип, который хотел бы писать и в то же время любить хорошую еду, декадентскую роскошь, декольтированных женщин и дорогое вино, рисковал бы, что его линчуют… Дюма — это анти-Пруст, но не анти-Мальро: популярный романист, способный оказаться среди повстанцев 1830-го и бойцов Гарибальди. Он показывает нам новый путь: можно быть мятежником, даже принадлежа системе, можно приятно жить и тем не менее хотеть изменить мир, можно верить в счастье…»

Другой критик, Бернар Вебер: «Часто парижские критики называют авторов, которые трогают публику, „популярными“ с уничижительным оттенком. Но Гюго гордился тем, что был популярен, как и Дюма, и Жюль Верн, и Флобер… Все „не популярные“ писатели того времени забыты, никто не помнит, что они были салонными поэтами или академиками. История смела их с их изящными фразами. На самом деле гораздо труднее нравиться широкой публике, чем кружку так называемых арбитров элегантности».

Сказано в полемическом запале: если Дарья Донцова популярнее Пруста, это не значит, что она лучше, но спасибо, что хоть кто-то заступается за Дюма. Сам же он не отличал «высокую» литературу от низкой: в том же номере, где писал о Флобере, с той же энергией рекламировал роман «Похитители золота» 23-летней Селесты де Морепон де Шабрильян (она же Селеста Венар и Могадор), бывшей проститутки (считают, что Бизе с нее писал Кармен): вышла за графа, жила в Австралии, занималась самообразованием, в 1856 году вернулась одна налаживать расстроенные финансы мужа; написала мемуары, имевшие скандальный успех и запрещавшиеся цензурой. Дюма о ней: «… одна из тех, кто создан Богом для самопожертвования и борьбы… вдали от Франции она переделала себя полностью, она не только изучила английский язык, но повторно выучила французский… две ночи до рассвета я читал ее роман и всем, кто любит энергичные описания, страшные и глубокие чувства, рекомендую эту книгу». Он представил ее Леви (несмотря на ссору с ним), и тот издал «Похитителей золота» — они стали бестселлером. Иногда ее приписывают к числу любовниц Дюма — это вряд ли; были друзьями, она предлагала ему соавторство, он отказался, сказав, что она и так хорошо пишет; впрочем, канадский дюмавед Реджинальд Амель считает, что сотрудничество было: Дюма написал по роману Селесты «Эмигранты и ссыльные» пьесу, сыгранную в 1864 году в театре «Бельвиль», а имя поставил — ее.

Он перепечатывал в «Монте-Кристо» вещи, сделанные с Шервилем, весной 1857-го домучивали «Предводителя волков» (Шервиль и так медленно писал, а теперь у него умерли сын и жена — совсем не мог работать), начали повесть о приключениях собаки «Блэк» и роман «Волчицы Машкуля»: мятеж графини Беррийской, интриги, благородство, любовный треугольник с девушками-близнецами. «Блэка» печатал «Монте-Кристо», «Волчицы» предназначались «Журналу для всех», Дюма теребил соавтора — сочини хоть что-нибудь: «Вы ведь знаете о том, что, пройдя через мои руки, сооружение удваивается, утраивается, учетверяется…» А один — не мог… На основе своей старой

новеллы «Карл Смелый» о герцоге XV века написал полуроман, полуисследование — Этцель опубликовал его в Брюсселе, никто не читал… Неужто он и вправду разучился писать?

22 июня прошли выборы по заново нарезанным округам — города получали меньше голосов, чем сёла, «официальные» кандидаты получили 85 процентов голосов (5 миллионов 500 тысяч) — даже больше, чем в прошлый раз, оппозиция еще меньше — 665 тысяч (было 810 тысяч); 3 миллиона 372 тысячи не голосовали, оппозиционеры из-за границы призывали к бойкоту. В палате, избранной на шесть лет, на 226 лояльных депутатов было семь оппозиционеров разных мастей, в том числе Кавеньяк, но он сразу после выборов умер, видимо, не в силах «провести шесть лет в борьбе с пресмыкающимися», три других отказались присягнуть. На довыборах в апреле 1858 года в палату проскочили еще три оппозиционера, их стало пятеро: Фавр, Пикар, Оливье, Даримон, Генон. Имена, прямо скажем, не из первых. Те же политики, что не были избраны, занимались перебранкой друг с другом — а чем еще? Народ давно забыл, как роптать, да и зачем? Все сыты, а кто не сыт, тем не оставили средств роптать. Все стоящие люди сидят, или уехали, или умерли… «Монте-Кристо», 13 августа 1857 года: «Смерть празднует победу… Она наносит удары нашим рядам: вслед за Мюссе, Беранже, теперь автор „Парижских тайн“!

Что за несчастье повисло над Францией? Тех, кого мы потеряли за 10 лет, хватило бы целому народу для славы его литературы: Сулье, Шатобриан, Бальзак, Нерваль, Тьери, мадам де Жирарден, Сю…»

Живым — радоваться; начало осени Дюма провел на охоте у Шарпийона, потом поехал в путешествие за компанию с актрисой Лиллой фон Буловски: год жила в Париже, не пристроилась, в Германии ей обещали ангажемент. Выехали 20 сентября по маршруту Брюссель — Спа — Кёльн — Майнц — Мангейм; он неожиданно влюбился, хотя был знаком с Лиллой уже год, — с ним так бывало. А у нее был любимый муж, на что ей старый, растолстевший Дюма? Он пытался ее гипнотизировать, она проспала ночь у него на плече — так он описал поездку в книге «Любовное приключение», восхвалив «близость без обладания и непринужденные отношения без любви». Господи, как же он одряхлел, как это грустно, все больше спал да ел, ел да спал, хотел любви — не получал, хотел писать — не мог… Шервиль жил в Спа, заехал к нему — поторопить с «Волчицами», — и вдруг счастье: нашел сюжет! Сам придумал! И все благодаря Лилле: будет роман о гипнозе и любви. Но героиня — не она, а Эмма Манури-Лакур.

Роман «Госпожа де Шамбле» — другое название «Да будет так!» — выходил в «Монте-Кристо» с 19 ноября 1857-го по 8 июля 1858 года: рассказчик-гипнотизер полюбил женщину, несчастную в браке, и та, усыпленная, поведала историю своей жизни. Сирота, училась в пансионе, где ее донимал мерзкий священник Морен: «…он исповедовал меня с таким пристрастием, как будто я знала, что такое грех… Возвращаясь к мачехе на каникулы, я неизменно встречала у нее того же аббата. Он читал мне проповедь, грозя Божьей карой, и никогда не упоминал ни о милосердии, ни о доброте Всевышнего… Его уроки сводились лишь к двум-трем заповедям, которые я усвоила без возражений, а именно: слепо верить в догматы католичества; бояться и ненавидеть любого человека, исповедующего другую веру, где бы он ни жил и каким бы образованным ни был; наконец, осуждать всякую ересь более строго, чем безбожие». Морен пытался ее под гипнозом изнасиловать (куда ж без этого), не вышло, но она все равно под его влиянием. Полюбила свободомыслящего человека — «Бога он называл единственным движителем, вселенской душой, великим мастеровым и создателем миров, рассеянных в пространстве, подобно россыпи алмазов» — Морен ей велел не жить с мужем, тот уехал и умер. Морен выдал ее за импотента-алкоголика, но благодаря рассказчику она узнала любовь и освободилась от аббата. Хорошая, тонкая вещь получилась (не разучился писать один!), но грустная. Автор все чаще грустил. В конце 1857 года начал в «Монте-Кристо» серию очерков «Мертвые уходят быстро» — Беранже, Мюссе, Сю, Ашиль Девериа, великая Рашель…

4 января 1858 года четыре итальянца во главе с бывшим депутатом парламента бывшей Римской республики Феличе Орсини бросили под карету императора несколько бомб: убили 10 человек, ранили 150 (то был первый теракт с бомбой), Луи Наполеон не пострадал. Заговорщиков казнили, Франция была разделена на пять военных генерал-губернаторств, палата одобрила (сама она законов не принимала) закон об «общественной безопасности»: правительство может высылать лиц, виновных в «подстрекательстве к покушениям», «участии в незаконных сборищах, тайных обществах, хранении оружия, составлении скопищ» и т. д.; под него задним числом подпадали люди, уже осужденные и отсидевшие, две тысячи республиканцев арестовали, 300 без суда сослали в Алжир. «Монте-Кристо» об этом молчал — как и все. У Дюма был свой суд: 21 и 22 января в Гражданском суде департамента Сена начались слушания по иску Маке. Того спросили, почему он в письме 1845 года отказался от авторских прав.

«— Чтобы оградить Дюма и его наследников от требований, которые могли бы предъявить его наследники, он обещал рассчитаться со мной согласно нашим устным соглашениям.

— Почему после этого вы заключили договор 1848 года?

— Потому что я верил Дюма и продолжал работать согласно договоренности, а долг Дюма все увеличивался; шансы получить причитающиеся мне деньги уменьшались день ото дня; Исторический театр, казалось мне, дает гарантию удовлетворения моих требований. <…>

— Почему вы раньше не требовали, чтобы ваше имя стояло на книгах, которые вы писали в соавторстве? Вы никогда не думали об этом?

— Всегда думал. Никогда, хотя Дюма меня на это провоцировал, я не соглашался отрицать моего соавторства. Дюма сам поощрил меня к этому, публично признав, что я был его соавтором, на премьере пьесы „Мушкетеры“. Я был уверен, что рано или поздно он признает мое соавторство и в книгах. Но с каждым днем становилась все очевиднее оскорбительная несправедливость с его стороны. Я сделал очень много для успеха Дюма, надеясь, что он предоставит возможность обнародовать то, что и так знает весь свет. Шаги в этом направлении уже сделаны. Он говорил, что я с ним работаю, директорам театров и редакторам газет. Мое имя на обложках книг, подписанных Дюма, не опорочило бы его, а, напротив, было бы красивым жестом — после стольких лет его успеха, для которого мы соединили наши труды.

— Почему вы нигде не оговорили право подписи?

— Я никогда не участвовал в процессе подписания работ…

— Дюма когда-либо обещал подписать с вами книги, сделанные совместно?

— Больше чем обещал; он подписал соглашение 1848 года, которое гарантирует возвращение моей доли в случае неуплаты. Что такое собственность соавтора? Это вещь нематериальная, она не принадлежит одному человеку, как, например, издателю, который купил права; это — известность и вытекающая из нее выгода.

— Если бы Дюма оплатил сумму, зафиксированную в договоре 1848 года, вы не могли бы его просить поместить ваше имя рядом со своим?

— Если бы Дюма это сделал, было бы еще 12 лет совместной работы, еще 36 пьес и они бы хорошо продавались. Тогда одно из двух: либо Дюма по доброй воле поставил бы мое имя на книгах и пьесах — я в этом не сомневаюсь, — либо я бы за это время приобрел настолько хорошую репутацию, что мог не требовать

ничего более. Но, повторю, за 12 лет я бы убедил Дюма ставить мое имя рядом со своим. Поэтому теперь я требую двойного удовлетворения».

Маке поддержали свидетели, в частности бывший главред «Века» Матарель де Фьенн, но суд 3 февраля удовлетворил его требования лишь частично. Ему причиталось получить с Дюма 25 процентов дохода от романов, сделанных в соавторстве. Обычно пишут, что он получил 25 процентов авторских прав, это не так, в правах ему отказали, он получал деньги как обычный кредитор. Эжен Вейо: «Огюст Маке странный человек, отрекся от личности и литературного признания, он работал на заказ и продавал свои тексты Дюма, как другие продают бумагу и перья. Его слова об искусстве, о славе никого не обманули: он хотел только денег». Вряд ли это так. Маке в 1858-м был куда устроеннее Дюма: прекрасный дом, семья, стабильный заработок от пьес и романов, и имя у него было, и уважали его, он много лет был президентом Союза драматургов. Возможно, он искал не столько денег и славы, сколько справедливости; возможно, в глубине души он хотел восстановления прежних отношений — как женщина хочет одновременно наказать гуляку-мужа и вернуть его. Но, подобно такой женщине, он лишь обозлил бывшего друга. Он так и не получил с Дюма денег. В 1922 году его наследница (вдова племянника) подала иск о восстановлении авторского права и частично выиграла: суд назначил ей выплату роялти с момента вступления в силу закона об авторском праве во Франции (1866), но само право не восстановили, сочтя, что Маке соглашением 1849 года его продал. Но с 1952 года, когда истек срок действия авторского права и работы Дюма — Маке перешли в общественное достояние, их романы стали издавать под двумя именами.

В марте 1858 года актеры марсельского «Гран-театра» просили у Дюма пьесу, он предложил «Джен Эйр», сделанную Мари Фернан, но подобные пьесы уже игрались, тогда он написал инсценировку «Катрин Блюм» — «Лесники», ее поставили 23 марта, удачно: детективы на сцене были редки. Издательство «Гарнье» затеяло сборник «Звезды мира: историческая галерея женщин всех времен и народов», Дюма дал статьи о Клеопатре, Лукреции, Сафо (с собственными переводами ее стихов) и Жанне д'Арк. Все какие-то мелочи: в Экс-ле-Бен жила знакомая, внучатая племянница Наполеона I, Летиция Мария Бонапарт, мадам Солмс, державшая салон в Париже, но высланная в 1853-м за «безнравственность»; она издавала журнал «Утра в Экс-ле-Бен», Дюма посылал ей очерки. С Левеном написал оперетту «Таис», поставили 4 ноября в «Комической опере». Нашел в мемуарах

принца Луи де Конде (1664) сюжет: Франция XIV века перед началом Религиозных войн, герой — прорицатель. Роман «Предсказание» печатался в Брюсселе у Этцеля, но не был завершен — автор не придумал, о чем писать. Отклонили очередной иск к Леви, новая апелляция. Пал духом? Наоборот: был уверен, что вот-вот получит свои 800 тысяч франков, и собирался в путешествие по Средиземному морю, дабы «написать историю древнего мира». Он уже много видел, остались пустяки: «Венеция, Иллирия, Ионические острова, Греция, Константинополь, берега Малой Азии, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, Триполи». Вел переговоры с гаврским судостроителем Мазленом о судне: «маленький трехмачтовик водоизмещением 65 тонн, со стальным корпусом, 1,5-метровой осадкой, винтом мощностью 10 лошадиных сил, имеющий 25 метров в длину и 13 футов в ширину и, кроме кают капитана, экипажа и моей, заключающий в себе еще 8–10 кают для друзей». И вдруг все перевернулось. Бросил «Госпожу Шамбле» и мечту о Средиземноморье. Он ехал в Россию.

Глава пятнадцатая
ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон…

Илья Кормильцев

Русских знакомых у Дюма было полно: Каратыгины, Муравьев, возлюбленные сына (тот после Лидии Нессельроде в 1852 году сошелся с Надеждой Нарышкиной, женой старого князя, бывшей подругой драматурга Сухово-Кобылина); знал он и Дмитрия Павловича Нарышкина, камергера русского императорского двора, женатого на знакомой Дюма с молодости актрисе Женни Фалькон, служившей в труппе Михайловского театра в Петербурге; даже Бенкендорф, Уваров и Николай I, можно сказать, были его знакомыми. В 1845 году, когда в Париж приехали Каратыгины, он спрашивал, пустят ли его в Россию. А. М. Каратыгина: «Мы отвечали, что за исключением завзятых республиканцев и вообще лиц, находящихся на дурном счету у нашего правительства, въезд иностранцев в Россию не воспрещен; если же наш двор не с прежним радушием принимает приезжающих в Петербург именитых или чем-либо особенно замечательных французских подданных, причиной тому гнусная неблагодарность маркиза Кюстина. К поступку Кюстина Дюма отнесся с негодованием». (Речь, естественно, о книге Кюстина «Россия в 1839 году».)

Вряд ли бы его впустили: после «Учителя фехтования» он был «на дурном счету». С 1847 года «Библиотека для чтения» публиковала переводы «Виконта де Бражелона» и «Бальзамо» (отрывали с руками), но «Бальзамо» в 1848-м был запрещен цензурным комитетом по указанию царя. С. Н. Дурылин в архивах Третьего отделения нашел переписку шпиона Якова Толстого с министром иностранных дел К. В. Нессельроде: шеф жандармов Орлов желал знать, кто автор якобы вышедшего в Париже в 1852 году памфлета «Северный набаб». Никакого «набаба» не нашли, но Толстой докладывал, что встретился с обоими Дюма, бывшими в числе подозреваемых. «Александры Дюма — отец и сын — заявили моему книгопродавцу, что они ничего не знают. Александр Дюма-сын прибавил к тому же, что он „ничего не писал ни за, ни против России“». Орлов напряг власти Брюсселя,

Дюма-отца вновь допросили — с тем же результатом. Но теперь времена изменились: вместо Николая был Александр I.

Жил-был граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко, женатый на Любови Ивановне Кроль — брак исключил его из аристократических кругов и сблизил с литературными. В 1857 году в Риме Кушелевы познакомились с английским спиритом Дэниелом Хьюмом, с ним обручилась сестра Любови, Александра, свадьбу решили играть в Петербурге. В 1858-м Кушелевы и Хьюм в парижском отеле «Три императора» завели салон, Хьюм давал сеансы, Дюма на них ходил, правда, при нем у спирита ничего не получалось (как и у самого Дюма при свидетелях), но Хьюм им заинтересовался, позвал на свадьбу, а Кушелевы пригласили к себе. Время удачное для журналистской поездки: готовилась Крестьянская реформа (в Европе ее называли «отмена рабства»), в ноябре 1857-го был опубликован ее первый проект (освобождение без земли), теперь обсуждали новый — с выкупом земельного надела. Дюма списался с Нарышкиными, и те тоже позвали в гости. Сказал, что хочет видеть деревню, Волгу и Кавказ (как раз заканчивалось его «покорение» русскими), — обещали устроить и это. 17 июня он обещал читателям «Монте-Кристо» встретиться в Астрахани с «индусами и казаками», показать «скалу, к которой был прикован Прометей», и «посетить стан Шамиля, другого Прометея, который в горах борется против русских царей». Жюль Жанен: «Мы поручаем его гостеприимству России и искренно желаем, чтобы он удостоился лучшего приема, чем Бальзак. Бальзак явился в Россию не вовремя — тотчас после Кюстина, и потому, как это часто случается, невинный пострадал за виновного. Что же касается до невинности… невиннее г. Александра Дюма ничего быть не может. Поверьте, милостивые государи, что он станет рассказывать обо всем, что увидит и услышит, мило, безобидно, с тактом, с похвалами…»

Русские не поверили и ощетинились. Художник А. П. Боголюбов, «Записки моряка-художника»: «Григорий Кушелев… был женат на бойкой бабе, г-же Кроль, сестра которой была замужем за известным в то время фокусником Лейстином Юмом. Жили они весьма открыто на площади Пале-Рояль в отеле того же имени. Тут завсегдатаем был известный Александр Дюма. Врал он увлекательно, заказывал ужины лукулловские, и поистине было очень занятно его слушать. Не бывав никогда в России, он говорил о ней, как будто был старожилом Петербурга… Он как будто присутствовал при кончине императора Павла I, говорил о каких-то тропах спасательных, нарочно поврежденных гр. Паленом… Дело окончилось тем, что граф повез его к себе в Россию, и на его счет он объехал нашу

родину и написал пошлую книгу, отуманившую еще больше французов насчет нашего отечества, уснащая ее везде неправдой и пошлыми рассказами».

Понять ненависть русской богемы к Дюма трудно — не завистью же ее объяснять! Не нравилось, как пишет, Некрасов называл его слог «пестрым и вычурным» — видимо, читал в переводах, так как ни пестроты, ни вычурности у Дюма нет, и обвинить его скорее можно в излишней гладкости; Чехов считал, что в романах Дюма масса лишнего, и в 1890-х годах безжалостно сокращал его для издания Суворина (до этого Дюма издавал Смирдин — более-менее полно; традиция сокращать Дюма сохранилась и у советских переводчиков). Ну, игнорируйте, коли плох. Но «Современник» кусал его беспрестанно. Анненков: «В речи Дюма… каждая мысль — нелепая претензия и каждое слово — уморительное самохвальство. Это Хлестаков…» Белинский — критику В. П. Боткину: «Я уж не говорю о твоем protege А. Дюма: это сквернавец и пошлец, Булгарин по благородству инстинктов и убеждений, а по таланту — у него действительно есть талант, против этого я ни слова, но талант, который относится к искусству и литературе так же, как талант канатного плясуна или наездницы из труппы Франкони относится к сценическому искусству». (Боткин этого мнения не разделял.) За что? При чем тут Булгарин? Хорошо, вот журнал Булгарина и Греча «Сын Отечества»: «Носятся слухи о скором приезде сюда давно ожидаемого Юма и совсем неожидаемого великого (sic!) Дюма-отца. Первого приводят сюда семейные обстоятельства, второго желание людей посмотреть и себя показать, я думаю, второе еще более первого. То-то, думаю, напишет он великолепные impressions de voyage, предмет-то какой богатый! La Russie, les Boyards russes, наши восточные нравы и обычаи, ведь это клад для знаменитого сказочника, на целых десять томов остроумной болтовни хватит!.. Увидите, что слова мои сбудутся, напишет, ей-богу, напишет… а мы купим и прочитаем, да и не мы одни, и французы купят, немцы купят, да еще переведут, пожалуй! Впрочем, и с нами может случиться то же самое, и у нас найдется, чего доброго, аферист-переводчик, который передаст уродливым языком в русском переводе французские россказни о России».

До поры до времени мы «французские россказни» терпели. В 1800 году Жан Франсуа Жоржель дал довольно нейтральный отчет о путешествии, в 1809-м Жозеф де Местр в «Санкт-Петербургских вечерах» восхвалил порядок и крепостное право (но в частном письме замечал: «Взбреди — как это ни невероятно — российскому императору на ум сжечь Санкт-Петербург, никто не скажет ему, что деяние это сопряжено с некоторыми

неудобствами… нет, все промолчат; в крайнем случае подданные убьют своего государя (что, как известно, нимало не означает, чтобы они не питали к нему почтения) — но и тут никто не проронит ни слова»). В 1812-м прибыла Анна де Сталь, высланная Наполеоном, выдала в книге «Десять лет изгнания» набор банальностей: «Народ этот создан из противоположностей… обычными мерами его не измерить…», назвала Россию идеалом, но жить в нем не захотела. В 1815-м приехал Дюпре де Сен-Мор, описал карнавалы, обычаи, пересказал страшные истории; в 1826-м драматург Жак Ансело издал «Шесть месяцев в России»: свод банальностей в оценках, но много фактов (Дюма его книгой пользовался). В 1829-м путешественник-масон под псевдонимом Жан Батист Мей в книге «Санкт-Петербург и Россия в 1829 году» описал народ, «деформированный порочным режимом», но эффект смягчила в 1834-м слащавая «Балалайка» женившегося на русской Поля де Жульвекура, а в 1839-м грянул гром — маркиз Астольф де Кюстин (1790–1857): его «Россия в 1839 году», выпущенная в мае 1843-го, уже 1 июня была запрещена Комитетом цензуры иностранной; запретили даже ругательный отзыв о ней Греча — не было такой книги! (Еще до выхода кюстиновской книги появился «Паломник» Виктора д'Арленкура, бывшего в России годом позднее маркиза: «все проникнуто варварством и деспотизмом», «ничто не подвержено гласности и обсуждению. Там не комментируют, а исполняют» — но лести у Арленкура было больше, и на него не так обижались.)

Кюстин никого не хотел оскорбить; однако его слов «никто более меня не был потрясен величием их нации и ее политической значительностью» не заметили. Он писал, что его предшественники льстили русским «как малым детям»; он полагал, что с ними можно говорить как со взрослыми. Ошибся. Кто же стерпит, например, такое: «Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они — своего рода сановные рабы. Но стоит монарху удалиться, как к ним возвращаются непринужденность жестов, уверенность манер, развязность тона, неприятно контрастирующие с полным самоотречением, какое они выказывали мгновение назад; одним словом, в поведении как господ, так и слуг видны привычки челяди. Здесь властвует не просто придворный этикет… нет, здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство, не исключающее гордыни…»; «Моя ли в том вина, если, прибыв в страну с неограниченной государственной властью в поисках новых аргументов против деспотизма у себя дома, против беспорядка, именуемого свободой, я не увидел там ничего, кроме

злоупотреблений, чинимых самодержавием?..» Пушкин — П. А. Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». Сталин, видно, думал так же и де Кюстина запретил.

Французы, посетившие нас между Кюстином и Дюма, были сдержанны. 1840 год: Анри Мериме издал в 1847-м «Год в России», где писал, что крепостные «по-своему счастливы». 1842-й: Ксавье Мармье издал «Письма о России, Финляндии и Польше» с рассуждениями о том, что все русское «есть органическое произведение почвы и характера» — непонятно, и на всякий случай книгу запретили. 1843-й: гостил искусствовед Луи Виардо, опубликовал восторженные «Воспоминания об охоте» и путеводители. 1851-й: Шарль де Сен-Жюльен, преподаватель французской литературы в университете, 15 лет проживший в Петербурге, опубликовал «Живописное путешествие по России», оговорив, что это «простое путешествие, а никак не памфлет». Бальзак приезжал в 1843-м. Он рассорился с Кюстином из-за «России в 1839 году», сам написал «Письма о Киеве» в 1847-м, но при жизни не печатал. «Северная пчела»: «Бальзак провел у нас два месяца и уехал. Многие теперь задаются вопросом, что он напишет о России. С некоторых пор Россия хорошо знает себе цену и мало интересуется мнением иностранцев о себе, зная наперед, что от людей, приезжающих сюда туристами, трудно ждать истинного суждения…» Из России ему предлагали написать на Кюстина «опровержение» — он отказался: «Мне говорят, что я упустил возможность заработать большие деньги… Какая глупость! Ваш монарх слишком умен, чтобы не понимать, что наемное перо никогда не вызовет доверия. Я не пишу ни за, ни против России». И все же написал и «против», и «за». «Проспект [Невский] похож на Бульвары [парижские] не больше, чем стразы на алмаз, он лишен живительных лучей души, свободы поиронизировать над всем… Повсюду одни мундиры, петушиные перья, шинели… Ничего непредвиденного, ни дев радости, ни самой радости. Народ, как всегда, нищ и за все отдувается». Но: «У меня, в отличие от прочих европейцев, посещающих Россию, нет ни малейшего желания осуждать ее так называемый деспотизм. Я предпочитаю власть одного человека власти толпы, ибо чувствую, что с народом никогда не смогу договориться». Он отмечал, что Россия — страна «азиатская» и нельзя смотреть на нее «сквозь конституционные очки», но больше писал о том, как противны ему евреи и поляки, все куда-то рыпающиеся, тогда как русским свойственно «покорствовать, несмотря ни на что, покорствовать с опасностью для жизни, покорствовать даже тогда, когда покорность бессмысленна и противоестественна» — и

благодаря этой покорности они смогут завоевать Европу, если им велят. Что касается крепостного крестьянина: он «при нынешнем порядке вещей живет беззаботно. Его кормят, ему платят, так что рабство для него из зла превращается в источник счастья».

В 1858-м приезжал Теофиль Готье, писал только об архитектуре. Гюго в России не был и терпеть ее не мог: она «пожрала Турцию», российский император — «чудовище». Мишле, кумир Дюма, называл Россию страной без будущего, население которой питает отвращение к принципам собственности, ответственности и труда. Дюма их неприязни не разделял. Но мы ждали оскорблений. Дождались?

В перечнях книг Дюма о России много путаницы. Давайте разберемся. Во-первых, есть «Письма из Санкт-Петербурга», публиковавшиеся в «Веке» с 21 декабря 1858 года по 10 марта 1859-го, затем запрещенные во Франции и вышедшие в Бельгии в 1859-м как «Письма об освобождении рабов в России». Собственно о поездке там не рассказывается, это очерк о крепостном праве. Путешествию посвящена работа «Из Парижа в Астрахань» — 43 очерка в «Монте-Кристо» с 17 июня 1858 года по 28 апреля 1859-го, также печаталась в «Конституционной» в 1861 году, отдельной книгой вышла в Лейпциге как «Впечатления о поездке в Россию» вместе с «Письмами об освобождении рабов в России», затем в Бельгии и Франции (у Леви) в девяти томах, наконец, в 1865–1866 годах Леви выпустил четырехтомник «В России», включающий «Письма об освобождении рабов в России». Записки о второй части путешествия — по Кавказу — печатались в газете «Кавказ» с 16 апреля по 15 мая 1859 года и одновременно в четырех томах в серии «Театральная библиотека», в Лейпциге — как «Кавказ. Новые впечатления» и в Париже как «Кавказ от Прометея до Шамиля», затем как «Кавказ: впечатления о поездке»; были и еще варианты. Плюс несколько текстов о русских писателях, то включавшихся, то не включавшихся в издания. У нас эти книги долго не переводили, только записки о поездке по Кавказу в сокращенном виде под названием «Кавказ. Путешествие Александра Дюма» появились в Тифлисе в 1861 году в переводе П. Н. Робровского. Но были великолепные обзорные работы С. Н. Дурылина, а также М. И. Буянова («Дюма в Дагестане», 1992; «Маркиз против империи», 1993; «Дюма в Закавказье», 1993; «Александр Дюма в России», 1996). В 1993 году книга «Из Парижа в Астрахань» вышла в переводе М. Яковенко под названием «Путевые впечатления. В России», а в 2009-м была издана под своим настоящим названием в переводе В. А. Ишечкина. Наиболее полный перевод «Кавказа» — Тбилиси, 1988; готовится (возможно, уже вышел) перевод в издательстве

«Арт-Бизнес-Центр», выпускающем собрание сочинений Дюма.

Дюма сговорился ехать с художником Жаном Пьером Муане (в отсутствие фотоаппаратов без художника в путешествиях никак); в свите Кушелевых также были итальянский певец Миллеотти и француз Дандре — бухгалтер и секретарь. В Штеттине сели на корабль «Владимир» — до Кронштадта, затем на судне «Кокериль» прибыли в Санкт-Петербург. Здесь начинается путаница с датами. В Европе григорианский календарь, у нас юлианский; в дневнике П. Д. Дурново, родственника Кушелева, отмечено, что гости приехали 10 июня (22 июня по новому стилю), фрейлина А. Ф. Тютчева писала в дневнике от 10 июня: «Приезд Юма-столовращателя». А Дюма утверждал, что оказался в Петербурге 26 июня, то есть по старому стилю 14-го. «Мы простились с княгиней Долгорукой, простились с князем Трубецким, повторившим мне свое приглашение на волчью охоту в Гатчину, и расселись по трем-четырем экипажам графа Кушелева, которые ожидали, чтобы доставить нас на дачу Безбородко, расположенную на правом берегу Невы за чертой Санкт-Петербурга, в километре от Арсенала, против Смольного монастыря». (Это в районе Петровского парка.) Прогулки по городу, места, какие положено видеть иностранцу, белые ночи; научился общаться с извозчиками, выучил слова «naprava», «naleva», «pachol». Но прежде всего — тюрьмы.

В Петропавловскую крепость не пустили, но он писал о ней и дал совет Александру I: «В первую годовщину пребывания на троне я открыл бы все казематы… и позволил бы народу их осмотреть; затем я призвал бы добровольцев, и они принародно их засыпали бы; за ними — каменщиков, которые у всех на глазах заложили бы двери. И сказал бы: „Дети, в прежние правления знать и крестьяне были рабами. И мои предшественники нуждались в тюремных камерах. В мое царствование знать и крестьяне — все свободны. И я в темницах не нуждаюсь“». Удалось через Кушелевых выпросить разрешение посетить тюрьму «меж Гороховой и Успенской улицами». В начале XIX века Третье отделение находилось на углу Гороховой, Охранка появилась позже; возможно, речь об Управлении Адмиралтейской части, при которой было Сыскное отделение. Через переводчика говорил с крестьянином, который поджег барский дом за то, что его жена грудью кормила щенков. «Я пожал ему руку от всего сердца, хотя он и был поджигателем. И не подал бы руки его хозяину, каким бы князем он ни был».

В первые вечера у Кушелева Дюма познакомился с «литератором, который делит с Тургеневым и Толстым

благосклонное внимание молодого русского поколения», — Дмитрием Васильевичем Григоровичем (1822–1899), сыном русского помещика и француженки. Григорович пишет, что они встретились на свадьбе Хьюма. Но свадьба была 20 июля по старому стилю (2 августа), а гости к Кушелевым стали приезжать «на Дюма» сразу; Дурново еще 27 июня писал, что там «слишком много народу» — все хотят видеть знаменитость. Григорович согласился быть гидом, что ему дорого обошлось. А. Ф. Писемский — А. В. Дружинину: «Григорович, желая, вероятно, получить окончательную европейскую известность, сделался каким-то прихвостнем Дюма, всюду ездит с ним и переводит с ним романы». И. А. Гончаров — А. В. Дружинину: «Теперь Петербург опустел: только Григорович возится с Дюма и проводит у Кушелева-Безбородко дни свои. Там живет и Дюма: Григорович возит его по городу и по окрестностям и служит ему единственным источником сведений о России. Что будет из этого — Бог знает». А Тютчев называл Григоровича «корнаком-вожаком», что водит француза «как редкого зверя»…

Первая экскурсия — Петергоф, дача Ивана Ивановича Панаева (Григорович: «Дюма просил дать ему случай познакомиться с кем-нибудь из настоящих русских литераторов. Я назвал ему Панаева и Некрасова»), Ораниенбаум. Дюма к визиту готовился: «Я много слышал о Некрасове, и не только как о большом поэте, а еще как о поэте, гений которого отвечает сегодняшним запросам» — купил сборник Некрасова и за ночь по подстрочнику Григоровича перевел два стихотворения: «вполне достаточно, чтобы получить представление о едком и грустном гении их автора». Григорович: «И. И. Панаев, которого я предупредил, также был очень доволен. Мы условились в дне и вдвоем отправились на пароходе. Я искренно думал угодить обеим сторонам, но ошибся в расчете: поездка эта не обошлась мне даром». Евдокия Панаева в мемуарах писала, что на дачу Дюма явился незваным (интересно, как это было бы возможно?), много ел, французы вечно голодные, она предложила пройтись, а он хотел еще есть, после завтрака начал канючить обед, кое-как удалось его вытурить, он навязался снова и опять ел, напросился ночевать «с развязностью», при этом обхаял дом Кушелевых, секретарь его был «дурак невзрачный», которым Дюма «помыкал как лакеем» (это о Муане), потом Дюма еще сто раз приезжал и все просил еды, а она не давала ему подушек и т. п. Бабий бред разнесся по городу. Н. П. Шаликова — С. Д. Кареевой: «Alex. Dumas, père в Петербурге. Хорош гусь, говорят! На обеде к Панаеву при жене его явился в чем-то похожем на рубашку. Такой, говорят, самохвал и mauvais ton, что ужас. Разумеется, он

наших-то ни во что не ставит, только один Некрасов ему не поклоняется…» Григорович: «Меня впоследствии печатно обвинили, будто я, никому не сказав ни слова, с бухты-барахты, сюрпризно привез Дюма на дачу к Панаеву и с ним еще несколько неизвестных французов… По случаю этой поездки досталось также и Дюма. Рассказывается, как он несколько раз потом, и также сюрпризом, являлся на дачу к Панаеву в сопровождении нескольких незнакомых французов, однажды привез их целых семерых, и без церемонии остался ночевать, поставив, таким образом, в трагическое положение хозяев дома, не знавших, чем накормить и где уложить эту непрошеную ватагу… Подумаешь, что здесь речь идет не о цивилизованном, умном французе, в совершенстве знакомом с условиями приличия, а о каком-то диком башибузуке из Адрианополя. Я был всего только один раз с Дюма на даче у Панаева; в тот же день, вечером, мы уехали обратно на пароходе в Петербург». Дюма, правда, пишет: «… переночевали у Панаева и на следующий день, с утра, уехали в Ораниенбаум». О том, как принял его Некрасов, он толком не сказал, но, видимо, сухо. (Позднее был конфликт, связанный с тем, что в 1856 году в петербургских светских кругах распространился слух о смерти графини А. К. Воронцовой-Дашковой: будто в Париже она вышла за авантюриста, который ее бросил. Некрасов в стихотворении «Княгиня», как считается, описал эту историю. На самом деле в месяц публикации «Княгини» Дашкова была жива и ее муж, барон Пуайи, о ней заботился. Дюма, комментируя свой перевод стихотворения, об этом сказал, а Пуайи потом приехал в Россию и вызвал Некрасова на дуэль.)

Панаев в «Современнике»: «Петербург принял г. Дюма с полным русским радушием и гостеприимством… да и как же могло быть иначе? Г-н Дюма пользуется в России почти такою же популярностью, как во Франции, как и во всем мире между любителями легкого чтения… Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался г. Дюма. О нем ходили толки и анекдоты во всех слоях петербургского общества; ни один разговор не обходился без его имени, его отыскивали на всех гуляньях, на всех публичных сборищах, за него принимали бог знает каких господ. Стоило шутя крикнуть: Вон Дюма! — и толпа начинала волноваться и бросалась в ту сторону, на которую вы указывали». Тютчев: «На днях вечером я встретил Александра Дюма… Я не без труда протиснулся сквозь толпу, собравшуюся вокруг знаменитости и делавшую громко ему в лицо более или менее нелепые замечания, вызванные его личностью, но это, по-видимому, нисколько его не сердило, и не стесняло очень

оживленного разговора, который он вел с одной слишком известной дамой, разведенной женой князя Долгорукова… Дюма был с непокрытой головой, по своему обыкновению, как говорят; и эта уже седая голова… довольно симпатична своим оживлением и умом».

Многих этот ажиотаж выводил из себя. А. Ф. Писемский рассказывал, как на одном из вечеров у Кушелева писатель Л. А. Мей, «выпивши достаточно, объяснил Дюма откровенно все, что думают о нем в России, чем ужасно оскорбил того, так что он хотел вызвать его на дуэль». Н. Ф. Павлов, «Вотяки и г. Дюма» («Русский вестник» Каткова): «Кто незнаком с произведениями г. Дюма? Кажется, надо сгореть от стыда, если вас уличат, что вы не знаете из них ни слова. Между тем в любом европейском салоне, в обществе европейских ученых, литераторов, вы можете смело сказать: я не читал ни одной страницы из г. Дюма, и никто не заподозрит вас в невежестве или равнодушии к искусству. Напротив, вы дадите еще о себе выгодное мнение…» Герцен, «Колокол»: «Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног А. Дюма, как бегает смотреть „великого и курчавого человека“ сквозь решетки сада, просится погулять в парк к Кушелеву-Безбородко». Панаев заступался за гостя, хотя и кисло — «известно, какого рода его талант», но обижать нельзя и «мизинец Дюма значительнее мизинчиков гг. Греча и Булгарина в совокупности». Греч тут неспроста, между ним и «Современником» шла литературная и политическая война; он пригласил Дюма на обед, но Дюма о нем не упомянул. Актриса П. И. Орлова-Савина: «Н. И. Греч и прочие друзья мои… сказали, что подобный господин не стоит хорошей работы». (Речь об одеяле, которое она будто бы собиралась подарить Дюма.) Повеселились карикатуристы: Н. Степанов изобразил, как Кушелев сует Дюма мешки с деньгами, а позднее нарисовал Дюма с кавказцами и подписью: «М-r Дюма! Мы кланяемся вам — снимаем шапки; отчего же вы не отвечаете тем же? Могли бы и вы снять шапку. Дюма: На мне шапки нет; а что я никому не кланяюсь, хожу по улицам в фантастическом костюме и являюсь в порядочные дома с грязными ногами, то это потому, что я оставил вежливость в последнем европейском городе — Петербурге». Это уже какой-то совсем невообразимый бред. Но было и остроумное: Дюма держит за одежду Шамиля, тот просит оставить его — «я спешу отразить нападение русских», Дюма отвечает: «Об этой безделице можно подумать после, а теперь мне нужно серьезно переговорить с вами: я приехал сюда, чтобы написать ваши записки в 25 томах и желаю сейчас же приступить к делу».

Гончаров — Дружинину: «Дюма я видел два раза минут на пять, и он сказал мне, что полагает написать до 200 волюмов путешествий, и между прочим определяет 15 вол[юмов] на Россию, 17 на Грецию, 20 на Малую Азию и т. д. Ей-богу так!» Ему припомнили книжку Мирекура, журнал «Иллюстрация» назвал его литературным поденщиком: «…для Дюма тот или другой король все равно и об истории он не хлопочет». Достоевский, «Ряд статей о русской литературе» («Время», 1861 год): «… француз все знает, даже ничему не учившись… он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам — блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали… потому что он совершенно уверен, что… одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его… выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы или пускать мыльные пузыри… он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай… нападет на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию… Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований… Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним „Трех мушкетеров“»…

Советские критики ругали Дюма за то, что общался не с Достоевским и Толстым, а с какими-то третьесортными дураками. Моруа и Труайя (оба, между прочим, русские) — тоже. Труайя: «Ничего не слышал о начинающем писателе по имени Лев и по фамилии Толстой… и о другом дебютанте, Федоре Достоевском, который в то время был на каторге в Сибири…» На самом деле Дюма писал, что Григорович «делит с Тургеневым и Толстым благосклонное внимание молодого русского поколения». Почему не поехал в Ясную Поляну или к Достоевскому в Тверь? Да никто не приглашал.

Другой упрек — все переврал, писал глупости. Моруа: «Его рассказы по возвращении из России своей невероятностью превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто приехал издалека». Параллельно с публикацией путевых заметок во Франции в России сыпались статьи с

опровержениями: охоту на волков описал неверно, колесо тарантаса — неверно… Охоту он описывал со слов князя Репнина и сообщил об этом — но какая разница! Дурак! Один из первых комментаторов «Из Парижа в Астрахань» Н. И. Берзенов попрекнул Дюма «французским хвастовством», в начале XX века Е. И. Козубский отозвался о «Кавказе»: «Знаменитый романист Александр Дюма-отец, посетив Кавказ, оставил описание своего путешествия в наполненной небылицами и вздорами книге». Приписали ему и «развесистую клюкву», которую придумал в 1910 году театровед Кугель для пьесы-пародии «Любовь русского казака»…

Говорим и теперь пренебрежительно, даже любя. Дмитрий Быков: «Примерно половину его записок составляет описание гастрономических чудес и женских типов, которые были тут к его услугам». На самом деле — 12 страниц из 450. Перевираем безбожно. Из той же статьи Быкова 2008 года (очень доброжелательной): «Что мешало многим принять точку зрения Дюма (в особенности неприятную, конечно, для любых реформаторов, прежде всего большевиков) — так это его тихое, благожелательное изумление европейца перед туземцами: ежели они живут так, то, значит, им нравится!.. В разговоре с Некрасовым (путешественник обязан увидеться с оппозицией, это уж как водится) Дюма обронил показательную реплику: „Отменив крепостное право, Россия вступит на путь всей просвещенной Европы — путь, ведущий ко всем чертям!“». Эту цитату одно время очень любили у нас приводить — Дюма против революций, сказал, что страна после отмены крепостного права «пойдет к чертям», и это плохо. На самом деле фраза употреблена в следующем контексте: когда плыли в Петербург, «с нами на борту среди других знатных пассажиров были князь Трубецкой и княгиня Долгорукая. Во всех случаях, называя громкое скандинавское, русское, московитское, монгольское, славянское или татарское имя, мы не скажем, к чему оно придет. С указом его величества императора Александра об освобождении крестьян, думаю, вся русская аристократия пойдет тем же путем, что наша от 1889 к 1893 — к чертям… Но я расскажу, откуда оно пошло… постараюсь все хорошенько разузнать, чтобы помочь вам отличить потомственных князей от ложных». Не страна к чертям, а аристократия, и черт с ней…

Мы-то знаем, что писал он с нечеловеческой скрупулезностью. (Панаев признавал: «Трудно представить человека деятельнее и трудолюбивее».) Люди, не поленившиеся прочесть его книги, это замечали. Историк Павел Николаевич Ардашев («Петербургские отголоски», 1896): «В бытность в Нарве

прочел я „Впечатления путешествия по России“ Дюма. Принято считать его рассказы о России и русской истории образцом фантастического лганья, а между тем что же оказывается? Все, что он передает, например, о закулисной истории русского двора в начале царствования Екатерины II, оказалось для меня уже знакомым — из книги Бильбасова[23], написанной на основании архивных документов. Разница лишь в том, что сочинение Бильбасова вышло два-три года тому назад, а соч. Дюма — почти 50 лет. Кроме того, у Бильбасова, конечно, все это гораздо обстоятельнее. Любопытно, что Дюма приводит даже (в переводе, конечно) письмо Орлова к Екатерине об убийстве Петра III. „Открытие“ Бильбасова и тут оказалось предвосхищенным на целые полвека».

М. И. Буянов провел титанические расследования, чтобы установить, насколько Дюма был точен, и пришел к выводу: «И не ошибался, и не выдумывал… как наблюдательный человек он обращал внимание на такие мелочи, которые не считали нужным замечать люди другого склада». В. А. Ишечкин, переводчик, говорит, что им двигало «растущее чувство протеста против утверждений литературоведов прошлого и настоящего, что знаменитый гость из Франции не разобрался в русской жизни, в очерках все напутал, и они недостойны внимания читателя… Мое доверие к Дюма полностью оправдалось. Каждая перевернутая страница подтверждала, что путаницы в очерках нет. Очерки написаны с путеводительской точностью. Зная старые названия, легко отыскать след Дюма в городе на Неве, в Москве и волжских городах, на Кавказе. Убедиться в этом помогло мне путешествие по его следам. Например, на Валааме без расспросов, по авторским описаниям, удалось опознать бухту, где Дюма сошел с парохода на берег; там даже деревья у дорожки, ведущей к монастырской лестнице, стоят так же». Историк Н. Я. Эйдельман отметил, что у Дюма почти нет ошибок ни в русской истории, ни в географии, ни в этнографии, что, побывав на Бородинском поле, он точно восстановил ход битвы; ботаник из Дагестана А. Аджиева отметила, что Дюма — первый иностранец, описавший Сарыкум, самый высокий бархан в Евразии… Ничего не придумывал — он этого не умел.

Обстоятельность его поражает воображение. Написал слово «царь» — на двух страницах этимология слова со ссылками на источники. Дал обзор российской журналистики с указанием тиражей, типографий, направлений, авторов. Объяснил, чем дворники отличаются от портье и консьержей, а караульные от полицейских. Увидел в лавке скопца — привел исследование о скопчестве. Виды описывал не приблизительно — «ах, белые

ночи» — а точно: «Прямо перед балконом — набережная, от нее вниз на берег реки ведут две большие гранитные лестницы с 50-футовым флагштоком… За дебаркадером, омывая его своими водами, — медленная Нева; она в 8–10 раз шире Сены в Париже у моста Искусств; река усеяна судами под полощущимися на ветру длинными красными вымпелами, что нагружены еловым строевым и дровяным лесом, идущим из центра России по внутренним каналам работы Петра Великого. Эти суда никогда не возвращаются туда, откуда прибыли; построенные для доставки леса, они продаются вместе с лесом, разбираемые потом и сжигаемые как дрова». Ярмарка на Волге — когда основали, всё с цифрами, какие товары, откуда, на какие суммы. Геология: «Приняв Каму, река Волга становится шире, и появляются острова; левый берег остается низким, тогда как правый, неровный, начиная от Нижнего, поднимается до высоты 400 футов; он сложен из горшечной глины, аспида (кровельных сланцев), известняков и песчаников без единой скалы». О почте: «У каждого начальника почты, сверх того, постоянно находится на столе опечатанная, скрепленная восковой печатью округа, почтовая книга от корешка на шнуре, перерезать который ему недвусмысленно запрещено. Он лишается аттестата, если восковая печать сломана, и starosta не приводит достаточно доводов к ее нарушению». Этнография: «Киргизы вовсе не коренные жители, они — выходцы из Туркестана и, видимо, являются уроженцами Китая… Прежде здесь жили калмыки, которые занимали всю степь между Волгой и Уралом… Теперь о том, почему случилась миграция. Наиболее возможная причина: методическое ограничение власти вождя и свободы людей, практикуемое русским правительством…»

Упрек: все эти сведения взяты из книг и газет. Позвольте, а он, что ли, должен был придумывать их? Разумеется, он работал на основе устных рассказов и письменных источников, сразу по приезде в Петербург побежал в книжный магазин Дюфура, читал Карамзина… «Из Парижа в Астрахань» — краткий курс истории России со всеми убийствами и переворотами, о которых нам запрещалось писать и читать. Тютчев — жене 6 августа 1858 года: «Я грубо прерван приходом курьера, посланного министром Ковалевским с очень спешным письмом, в котором он просит меня убедиться, наш ли цензурный комитет пропустил некий номер журнала, издаваемого Дюма и называемого „Монте-Кристо“. Как раз я вчера узнал случайно в Петергофе от княгини Салтыковой о существовании этого номера, содержащего, по-видимому, довольно нескромные подробности о русском дворе…» Речь там шла об уничтожении завещания Екатерины II, отдавшей

престол внуку; то была государственная тайна. Безумства Павла, усмирение Стрелецкого бунта, фаворитство Бирона — конечно, на диссертацию книга Дюма не тянет, но грубых ошибок он не допускал, а если рассказывал байку, то и говорил, что это байка. Нравились ему, естественно, Петр I: «страшно помыслить, где была бы Россия, если бы наследники Петра разделяли прогрессивные идеи этого гениального человека», более или менее Екатерина II; Александр I — «добрый, тонкий, несчастный человек». Об остальных хорошего сказать нечего.

Что он тыкал нас носом в нашу историю — полбеды; ужасным казалось то, что он писал о нас вообще. Гулянья: «русские — более чем привидения: призраки; с серьезным видом идут они рядом друг с другом или друг за другом и идут ни грустные, ни радостные, не позволяя себе ни слова, ни жеста». «Бедный народ! Не привычка ли к рабству воспитала в тебе бессловесность? Ну говори, ну пой, ну читай, будь жизнерадостным! Ты свободен сегодня. Да, я это понимаю, тебе остается приобрести привычку к свободе… Чтобы верить во что-то, нужно это что-то знать, а русский крестьянин не знает, что такое свобода».

Он составил своеобразный русский словарь. Леса, возведенные для реставрации колокольни Петра и Павла: «Вот уж год, как подняты эти леса, и стоять им еще и год, и два, и, может быть, три года. Это в России называют un frais — *дойная корова. Дойная корова* — это злоупотребление. В русском языке нет слов, чтобы перевести наше распространенное выражение — „arr“; „ter les frais“ — положить конец *ненужным расходам.* В России издержки такого рода не переводятся вообще: появляются новые или продолжают накручиваться прежние». «Эти два су раздули до 1500 рублей. Это и есть то, что называют un frais — *приписки, очковтирательство».* «В России всем заправляет *чин. Чин* — перевод французского слова „ранг“. Только в России ранг не зарабатывается, он приобретается; мужчины там служат в соответствии с чином, а не личными достоинствами. По словам одного русского, чин еще и оранжерея для интриганов и жуликов». «Когда же в России недовольны каким-нибудь полковником, его производят в генералы. А как там орудуют полковники, вы сейчас увидите; это делается довольно легко и *без греха*, как говорят в России, чтобы все фокусы или маневры не выглядели вооруженным грабежом». Откаты: «Официальные цены обсуждаются между полковником и властями. Власти выдают свидетельства, по которым полковникам возмещают затраты. Цены завышают; власти получают треть, полковники — две трети прибытка. И все это скрывают от императора, *дабы не огорчать его величество…* Не огорчать *хозяина*, такова самая большая

озабоченность русского человека — от крепостного до премьер-министра». «Филантропические заведения главным образом ориентированы на то, чтобы дать возможность жить определенному количеству служащих. Те же, для кого приюты созданы, попадают туда только потом, а бывает, совсем не попадают. Ничего! Заведение существует; это все, что нужно». «Что такое русское духовенство, известно — коррупция, развращающая человека, но коррупция с гордо поднятой головой, при почтенной бороде и в роскошных одеждах». «Самая типичная история за время моего путешествия: пожарные тушат дом. За водой надо бегать за полверсты к пруду. На мое предложение организовать цепочку начальник пожарной дружины объясняет, что это не предусмотрено законами…»

«Россия — громадный фасад. Но никто не занимается тем, что находится за фасадом. Тот, кто пытается заглянуть за фасад, напоминает кошку, которая впервые увидела себя в зеркале и заходит за него, в надежде найти вторую кошку с другой стороны. И что забавно, в России — стране злоупотреблений — все, начиная императором и кончая дворником, хотят с ними покончить. Все говорят о злоупотреблениях, все знают о них, анализируют их и сожалеют о них… Но едва касаются какого-нибудь злоупотребления в России, знаете, кто поднимает крик? Те, кого задели? Нет, это было бы слишком неуклюже. Вопят те, кого еще не тронули, но кто боится, что наступит их черед». «Неслыханно то, что звучит в рассказах самих русских о хищениях, которые совершаются в администрациях… Все знают о кражах и ворах, однако и жулики продолжают воровать, и кражи становятся все более громкими. Единственный, кто якобы не знает ни о кражах, ни о ворах, это — император». «Но ведь есть же законы против злоупотреблений? О да. Спросите, что делает местная полиция, *ispravnik.* Исправник „Il touche la dome du vol“ — *берет.* Да, эти злоупотребления запрещены законом. Но вещь, о которой нужно не говорить, а кричать, — это то, что закон в России в руках чиновников, которые получают жалованье не за соблюдение закона, но за торговлю им». «Мы говорили о трудностях изживания злоупотреблений в России: только тронь одного из виновных, остальные начинают с негодованием кричать в защиту. В России злоупотребления святой ковчег: кто заденет его, тому несдобровать». Да неужели?!

На русский язык еще не переводились «Письма об освобождении рабов», а там — самое неприятное, что не только чиновнику, но и оппозиционеру вряд ли понравится. От Дюма ждешь пламенного заявления: да здравствует свобода, как можно допускать рабство! — но это очень сухой труд, где изложена

сравнительная история рабства в Римской империи, Галлии и Древней Руси. Дюма изучил (с помощью переводчиков) Русскую Правду (кодекс правовых норм средневековой Руси), Судебник 1497 и 1550 годов — многие из нас хотя бы открывали их? Он разъяснил, кто такие смерды, рядовичи, закупы, изорники, огнищане, тиуны, ключники, холопы и челядины и откуда они все брались; а мы это знаем? Главная мысль Дюма: если в Европе рабство возникало путем захвата пленных и освободительная борьба была борьбой против чужака (тут он попутно дал краткий очерк французских революций с полным оправданием Великой революции, из-за этого «Письма» и были запрещены), то «русская хроника положительно скажет, что русское рабство началось не завоеванием, но добровольным призывом». Самопродажа в рабство, поступление в услужение (в тиуны, ключники) «без ряду» (без оговорок), банкротство; в итоге «помещик, властитель не является, как во Франции, завоевателем и, следовательно, врагом, от которого народ стремится освобождаться. Это — защитник, как его называют люди, слишком слабые, чтобы защищаться самим, они передают ему право защищать их и права на самих себя… Народ, который, не способен к самоуправлению и то и дело призывает иностранного правителя, которому позволяет взять для себя и своих приближенных столько земли, сколько пожелает; народ, который не ставит границ власти правителя, потому что не любит борьбу и любит пассивность… народ, который сам отдает свою свободу, не соблюдая предосторожностей, чтобы получить оплату за потерю свободы, сохранить себе какие-то права, который, получив еду и кров, не заботится о свободе для своих детей, как не заботился о собственной; такой народ однажды оказывается, неспособный к сопротивлению, в руках узурпаторов и убийц… Он жалуется, но не восстает, все надеясь на справедливость правителя, которого он называет своим отцом, как Бога…».

Положение крепостных в XIX веке описал наиподробнейше — тонкости барщины, оброка, забора в армию, телесные наказания. Изложил опубликованный проект реформы и охарактеризовал партии, которые его обсуждали, — реакционеров, умеренных и радикалов; сам он на стороне третьих, что «хотят эмансипацию любой ценой, как возвращение к нравственному сознанию, в качестве искупления вековой несправедливости». Но мало отменить крепостное право — «необходимо менять систему, где желание правителя стоит выше законов». Какие перемены могут ждать страну, в чьих генах — добровольное холопство? По «Письмам» выходит, что никакие. Но в «Кавказе» Дюма сделал предсказание: «Россия разломится… Будет северная империя со

столицей на Балтике, западная со столицей в Польше, южная на Кавказе и восточная, включающая Сибирь… Император, который будет править в то время, когда совершится это великое потрясение, сохранит за собой Санкт-Петербург и Москву, то есть истинный российский престол; вождь, которого поддержит Франция, будет избран королем Польши; неверный наместник поднимет войска и станет царем в Тифлисе; какой-нибудь ссыльный… установит республику от Курска до Тобольска. Невозможно, чтобы империя, покрывающая седьмую часть земного шара, оставалась в одной руке. Слишком твердая рука будет перебита, слишком слабая разожмется, и в том и в другом случае ей придется выпустить то, что она держит». Насчет Сибири ошибся… но он ведь не сказал, когда все это будет.

Он не только писал о русских, но и переводил их: в Петербурге Григорович сделал для него подстрочники Лермонтова, Пушкина, Бестужева, Вяземского; до других поэтов он добрался в Тифлисе, помощников хватало везде. «И никого, включая настоящего потомственного боярина Нарышкина, вечно недовольного переводами других, кто ни снизошел бы сделать собственный перевод… Женщины были особенно расположены к Лермонтову». Лермонтова переводила ему княгиня Долгорукая (он называет ее Анной, но, похоже, имеется в виду Ольга Дмитриевна Долгорукая, жена князя П. В. Долгорукова по прозвищу Колченогий, — Тютчев писал, что видел Дюма с ней). Дюма еще в 1854–1855 годах в «Мушкетере» публиковал «Героя нашего времени» в переводе Эдуарда Шеффера (то был четвертый перевод на французский, Дюма ошибочно указал, что первый). Теперь списался и встретился (в августе 1858 года в Москве) с Е. П. Ростопчиной, близко знавшей Лермонтова, та написала очерк о нем, который Дюма включил в «Кавказ». Оценивал так: «Это дух масштаба и силы Альфреда де Мюссе, с которым он имеет огромное сходство… только, по-моему, лучше построенный и конструкции более прочной, он предназначен для более долгой жизни…» Перевел и опубликовал «Дары Терека», «Думу», «Спор», «Утес», «Тучи», «Из Гете», «Благодарность», «Мою мольбу» и подкинул литературоведам загадку: стихотворение, которое назвал «Раненый». До сих пор идут споры, имеется ли в виду какая-то известная вещь, которую Дюма перевел так, что не узнать, или (в последнее время склоняются к такой точке зрения) он действительно отыскал в альбомах утерянный текст.

Стихи Пушкина до него уже много переводили: Эжен де Норри, Готье, Мериме, Тургенев, Луи Виардо; Дюма взялся за прозу: «Метель», «Гробовщик», «Выстрел», печатал в «Монте-Кристо», потом в сборниках. (Часто пишут, что он выдавал их за

свои, но это не так: в журнальных публикациях всегда указывался автор.) Еще перевел 12 стихотворений и отрывков из поэм, включая «Во глубине сибирских руд», «Ворон к ворону летит», «Люблю тебя, Петра творенье». Опять ругаемся: плохо перевел. Но он предупреждал: «Всякий оригинал теряет 100 из 100 процентов при переводе на другой язык… Мы желаем дать вам представление о стихах Пушкина, но не забудьте, что перевод походит на оригинал, как лунный свет на свет солнечный… О стихах Пушкина не нужно судить по моим переводам: Пушкин — великий поэт, поэт из семьи Байронов и Гёте. Я передам его содержание лишь так, как фотография передает жизнь… По моему слабому переводу вы могли обратить внимание на его манеру писать оды…»

Переводя, много вольничал, правда, не всегда по своей вине. Перевод «Во глубине сибирских руд» литературовед В. К. Шульц назвал «фантастическим»: там появились две лишние строфы и смысл искажен, однако другой исследователь, М. П. Алексеев, доказал, что источником Дюма был перевод, сделанный Ростопчиной по памяти (поэма в России не публиковалась): как у нее написано, так и у него. Любопытна история с балладой «Ворон к ворону летит». У Пушкина это вольный перевод с перевода французской баллады, сделанного Вальтером Скоттом, потому и рыцарь стал богатырем. Дюма перевел обратно на французский, и богатырь вновь стал рыцарем, героиня — не «хозяйкой молодой», а средневековой дамой, которой рыцарь служит. О самом Пушкине целая глава: «Популярный в России, как Шиллер в Германии, он едва известен у нас. Между тем он — мыслитель и одновременно новатор формы, поэт и патриот. До него России недоставало сил явить миру национальный гений, за исключением баснописца Крылова… Интеллектуальная эра России начинается от басен Крылова и произведений Пушкина… В стихах Пушкина есть все: его гений, такой гибкий и откованный до звона, что ему доступно все на свете; или, вернее, его гений был такой могучий, что он подчинял все любой форме, какую ни пожелал бы избрать».

Из Некрасова — «Забытая деревня», «Княгиня», «Еду ли ночью…»; кроме «трех китов» — Петр Вяземский, Александр Полежаев, Николай Чавчавадзе, Жуковский, декабристы: Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Александр Бестужев-Марлинский. Что касается прозы, Дюма назвал Гоголя «главным прозаиком в России», но переводить, насколько известно, не пытался, брал что попроще, преимущественно повести Бестужева-Марлинского, занимался ими больше двух лет, перелагая вольно: «Бульденеж» — это «Мулла-Нур», «Княгиня Флора» — «Фрегат надежды»,

(«Султанетта») — «Аммалат-бек», «Жанни» — «Лейтенант Белозор». В 1862 году у Леви они вышли под именем Дюма, но в «Монте-Кристо» автор указан. В «Кавказе» две главы — переводы Марлинского: «Письма о великой Кавказской стене» и «Прощание с Каспием». «Думаешь, что эти страницы написаны Байроном, а между тем имя человека, написавшего их, даже неизвестно у нас! Сколько будет зависеть от меня, я постараюсь упразднить это забвение, которое, по моему мнению, есть почти святотатство». Написал, конечно, и о романе Марлинского с Ольгой Нестерцовой (считалось, что он ее убил), посетил ее могилу в Дербенте, сочинил эпитафию «На могилу Ольги Нестерцовой», которую выбили на камне. (Теперь могилы нет, а камень затерялся.) Еще: И. И. Лажечников, «Ледяной дом» (если где-то читаете, что Дюма выдал его за свой текст, это неправда, в «Монте-Кристо» указано: «Один из моих друзей перевел этот роман под моим наблюдением») и «Последний Новик» (не закончил); «Могила двух братьев» Н. М. Пановского под названием «Марианна» и «Старые годы» П. И. Мельникова-Печерского под названием «Яков Безухий».

20 июля (здесь и далее даты по новому стилю) с Дандре, Муане и Миллеотти отправились в плавание по финским землям: Шлиссельбург, Коневец, Валаам, Сердоболь, обратно на почтовых — Сердоболь, Реускала, Лахенпохья, Ихаланоя, Кроненборг, Пукканиеми, Кексгольм, Гепогарью, Нойдерма, Кивиниеми, Мегре, Коркомяки, Лемболова. Тут Дюма изложил историю борьбы между Швецией и Россией за обладание Финляндией, описал финскую мифологию, переводил поэтов Михаила Кореуса, Франца Францена и Иогана Рунеберга. Мраморный карьер посетили — читатель мог узнать все о том, как добывают мрамор. На Валааме, разумеется, монастырь. «К моему большому удивлению, настоятель слышал обо мне. Он упоминал о мушкетерах и Монте-Кристо, хотя и не как читающий, но как слышавший похвалы тех лиц, которые читали». Наши опять сердились: неправда, не мог настоятель о нем слышать, а коли и слыхал, то лучше бы смолчать. «Предлагали даже представить меня императору, по возвращении его из Архангельска. Я отказался. Я не увижу его, чтобы сохранить за собой право повторить все то хорошее, что слышу о нем». Врет, врет, врет! Да разве бывают такие дураки, что с императорами встречаться отказываются?!

Вернулись 31 июля и стали собираться в Москву. Полиция была в курсе, но не мешала. «Самодержец времен Пушкина только пальцем шевельнул бы, и я оказался бы в Сибири; его отец

и дед поступили бы так же. Вам говорят, что все письма от иностранцев вскрываются на почте. Ну и пусть, в то самое время, когда на мой приезд обращены все взгляды и, особенно, взоры полиции, я пишу это письмо, попросту сдаю его на почту… Оно или будет вскрыто, или внушит к себе уважение. В любом случае я продолжу мое путешествие так же спокойно и так же безмятежно, как если бы я находился в Англии. Вот что такое новый император, новая полиция, новая Россия». В архивах 3-й экспедиции Третьего отделения С. Н. Дурылин разыскал заведенное 18 июля за номером 125 «дело» Дюма: «На многих листах обозначено „секретно“, „доложено Его Величеству“». Князь В. А. Долгоруков, шеф Третьего отделения, разослал предписания в Москву, Нижний Новгород и Одессу: «Г. начальнику 2-го округа корпуса жандармов. Известный французский писатель Александр Дюма (отец), прибыв из Парижа в С. Петербург, намерен посетить и внутренние губернии России, для какой цели собирается ехать в Москву. Уведомляя о сем Ваше превосходительство, предлагаю Вам во время пребывания Александра Дюма в Москве приказать учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести мне в свое время». Такое же предписание было послано в Тифлис кавказскому наместнику князю А. И. Барятинскому.

1 августа свадьба Хьюма, 3-го Дюма и Муане выехали в Москву, 4-го их встречал экипаж Нарышкиных. На их даче (в Петровском парке) Дюма прожил до 7 сентября. Начальник 2-го округа Корпуса жандармов — Долгорукову: «…многие почитатели литературного таланта Дюма и литераторы здешние искали его знакомства и были представлены ему 25 июля на публичном гулянье в саду Эльдорадо, литератором князем Когушевым, князем Владимиром Голицыным и Лихаревым, которые постоянно находились при Дюма в тот вечер; 27-го же июля в означенном саду в честь Дюма устроен был праздник, названный ночь графа Монте-Кристо… В тот день, в честь Дюма, князь Голицын давал обед и оттуда прямо Дюма приехал на праздник в Эльдорадо; в этот вечер с ним были двое Нарышкиных, живописец Моне и мадам Вильне, сестра бывшего в Москве французского актера, которая, как говорят, постоянно путешествует вместе с Дюма. (Никакая Вильне с ним не путешествовала. — *М. Ч.)* Праздник в саду Эльдорадо настолько удался, что 30 июля был повторен… В семействе Нарышкиных, где жил Дюма, его очень хвалят, как человека уживчивого, без претензий и приятного собеседника. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела. Многие, признавая в нем литературные достоинства, понимают его за человека пустого и потому

избегали, или сдерживались при разговорах с ним, опасаясь, что он выставит их в записках и будет передавать слышанное от них вопреки истине…»

Кремль при луне, Царицыно, Коломенское, Измайлово, Воробьевы горы: «Каждый камень, каждый исторический крест получил от меня воздаяние должного или молитву». К Бородину Дюма приехал 7 августа, потом гостил в селе Ильинском, имении генерала А. К. Варженевского, был в Спасо-Бородинском монастыре (женском), где, как вспоминал литератор Илья Александрович Салов, общался с некими сестрами Шуваловыми, которые заявили, что Москву сжег Наполеон, и Дюма «чуть не кричал, доказывая, что Наполеон смог бы остановить французов от такой грубой и пошлой ошибки, так как гением своего ума не мог не предвидеть, что под руинами Москвы неминуемо должна была погибнуть и его слава, и его армия…». 10 августа обратно в Москву, 26-го Дюма встретился с Ростопчиной, 30-го обзавелся переводчиком, студентом Московского университета Калино, личность которого точно не установлена, хотя Буянов предпринял титанические усилия. Был Александр Иванович Калино, родился в 1835 году, окончил юридический факультет в 1862-м и сразу умер; свидетельств его общения с Дюма нет. Был Николай Владимирович Калино, родившийся в 1839 году, дальний родственник первого, в 1858-м зачисленный на первый курс физико-математического факультета: неясно, куда он потом делся, но переводчиком Дюма, видимо, был он, так как первый успел послужить в армии и Дюма, вероятно, упомянул бы об этом; кроме того, старший Калино был гуманитарием, а о своем Калино Дюма пишет как о юноше, интересовавшемся лишь цифрами: «Калино опускал голову, узнавал, сколько жителей в городе, на какой реке стоит, в скольких лье от Москвы, сколько домов сгорело в последнем пожаре, и сколько в городе церквей. Калино был рожден для статистических отчетов».

7 сентября с Нарышкиными поехали в Сергиеву лавру, потом в Вифанский монастырь, 9-го в село Елпатьево, имение Нарышкиных во Владимирской губернии. Из донесения: «Во время пребывания Дюма во Владимирской губернии ничего предосудительного за ним не замечено. Полковник Богданов». Предосудительны были только мысли: «Россия может прокормить в 60–80 раз большее число жителей, нежели она имеет. Но Россия останется малонаселенной и незаселенной, пока будет в силе закон, запрещающий иностранцам владеть землей…» В деревне нравилось, охотились, хотел еще задержаться, но, чтобы попасть на Нижегородскую ярмарку, надо было сесть на пароход в Твери 13 сентября. Отплыли — описывал каждую остановку, первое, что

поразило, — село Троицкое-на-Нерли, «вольная деревня»: «Судя по внешнему виду, неоспоримый факт, что Троицкое-на-Нерли куда чище, богаче и более счастливо, чем каждая из рабских деревень, что я повидал». (До 1764 года Троицкое-на-Нерли принадлежало Переславскому Данилову монастырю, а с упразднением монастырских вотчин здесь поселились вольноотпущенные крестьяне помещицы Куманиной, потом село стало торговым центром.) Углич — тут, разумеется, о Годунове, Молога, Романов (Тутаев), Переславль-Залесский (Муане сошел на берег один, но Дюма его допросил и составил отчет об истории города), в Ярославле на пароход села княгиня Долгорукая, занимались Лермонтовым, прибыли в Нижний 23 сентября — ярмарка уже закрывалась. «Есть только одна возможность вообразить кишение, от которого шевелились речные берега, — вспомнить, что творится на улице Риволи в вечер фейерверка». У Дюма было письмо к Н. И. Брылкину, управляющему конторой пароходного общества «Меркурий», тот сказал, что гостя примет губернатор Муравьев.

«— Он из Муравьевых, которые вешают, или из Муравьевых, которые повешены? — спросил я, смеясь.

— Он из тех, которые повешены».

А. Н. Муравьев, осужденный по IV разряду дела о декабристах, был губернатором после возвращения из ссылки (с 1856 по 1861 год); при нем чиновником особых поручений состоял Иван Анненков, Дюма воспринял это как прекрасный сюрприз и не заметил, что Анненковы его терпеть не могут; там же встретил Н. Н. Карамзина, сына историка, пробыли три дня, дальше в сопровождении И. П. Грасса, служащего Брылкина, в Казань — пробыли неделю, жили у тамошнего управляющего «Меркурия», ярмарки, Кремль, университет, пили чай с ректором О. М. Ковалевским («Университет в Казани — как все университеты: библиотека в 27 000 томов, которых никто не читает; сто двадцать четыре студента, которые занимаются как только возможно меньше»), подарки, обеды, охота. В провинции люди были к Дюма куда доброжелательнее, он наивно хвалился, что почти не тратил денег: «В турне протяжением 4 тысячи лье я израсходовал за 10 месяцев, которые оно длилось, немногим более 12 тысяч франков, включая примерно 3 тысячи на покупки». Львов — Долгорукову, 21 октября: Дюма «в течение своего пребывания в Казани… не посещал никакого общества высшего круга… посещал дом полковника Жуковского, управляющего Казанскою комиссариатскою комиссией… и часто по целым дням пребывал в семействе подполковника инженеров путей сообщения Лан (начальник I отдела окружного правления путей

сообщения Ф. И. Лан. — *М. Ч.)*… сделал визит г-же начальнице Родионовского института, которая визитом этим осталась весьма недовольна, как по причине весьма неопрятного одеяния, в котором Дюма к ней приезжал, так и по причине неприличных выражений его, употребленных им в разговорах с нею. Вообще Дюма в Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию, видевшие же его в обществе — нашли его манеры и суждения общественные вовсе не соответствующими его таланту писателя». Пометка Долгорукова: «Доложено Его Величеству». Вот у его величества других забот-то нету…

В Симбирске и Самаре на берег не сходили, в Саратове 20 октября непредвиденная задержка, обнаружили французскую семью Сервье, владеющую магазином, у них Дюма познакомился с некоей Зинаидой и перевел два ее стихотворения — увы, не удалось вычислить эту женщину. Кто-то донес: пока Дюма сидел у Сервье, явился саратовский полицеймейстер Позняк, на следующий день ему представились чиновник Министерства внутренних дел князь Лобанов-Ростовский и председатель Саратовской казенной палаты Ган, обеды, подарки… Львов — Долгорукову: «Разговор г. Дюма… заключался большей частью в расспрашивании о саратовской торговле, рыбном богатстве реки Волги и разной промышленности саратовских купцов и тому подобном». Дальше они его упустили — донесения о следующем этапе поездки нет. Лан советовал сойти на берег в деревне Николаевской, посетить соляное озеро Элтон (там Дюма найдет атамана астраханского казачьего войска генерал-майора Беклемишева) и посуху догнать пароход в Царицыне. В Николаевской взяли подорожную, осмотрели озера, ночевали «лагерем посередине казачьей линии, что окружает эксплуатируемые озера и служит цели гарантировать им защиту от грабежа бравых киргизов, воров в душе, ночью проскальзывающих между предельно сближенными постами, чтобы украсть соли». Беклемишев дал тарантас ехать в Царицын, пересекли на пароме реку Ахтубу и на пароход успели.

25 октября — Астрахань, жили в доме коммерсанта Сапожникова. Львову докладывал полковник Сивериков: Дюма «немедленно сделал визиты астраханскому военному губернатору контр-адмиралу Машину и управляющему Астраханской губернией статскому советнику Струве… на другой день, по распоряжению управляющего губернией, были ему показываемы армяне, татары и персы в домашнем их быту и в национальных костюмах… 16 октября, по приглашению контр-адмирала Машина, присутствовал на торжественном молебствии, бывшем

по случаю начатия работ по углублению фарватера реки Волги… в сопровождении старшего чиновника особых поручений начальника губернии Бенземана, адъютанта военного губернатора Фермора и нескольких охотников отправился на охоту… г. статский советник Струве старался оказываемым вниманием привлечь этого иностранца к себе для удобнейшего за действиями его надзора и во избежание излишнего и может быть неуместного столкновения с другими лицами или жителями: ежели и случалось, что г. Дюма бывал в другом обществе, то никогда иначе как в сопровождении особого от управляющего губернией чиновника или полиции, и все это устраивалось весьма благовидно под видом гостеприимства и оказываемого внимания. Во время нахождения г. Дюма в Астрахани он вел себя тихо и прилично, но заметно разговоры его клонились к хитрому разведыванию расположения умов по вопросу об улучшении крестьянского быта и о том значении, какое могли бы приобрести раскольнические секты в случае внутреннего волнения в России». (Хитрое разведывание — это обсуждение проекта реформы, который был официально опубликован.)

Киргизов видели, теперь хотелось узнать калмыков. На левом берегу Волги в 70 верстах от Астрахани было их поселение, глава — князь Серен-Джаб Тюмень, получивший блестящее европейское образование. Приехали к нему 29 октября, насмотрелись экзотики, включая верблюжьи бега; в фонде Петровского общества исследователей Астраханского края хранится стихотворение Дюма, посвященное дочери Тюменя Агриппине. Вернулись в Астрахань 2 ноября, пора на Кавказ, там ждет Барятинский, тот, что пленил Шамиля, а по поводу Дюма отвечал Долгорукову: «По приезде г. Дюма в Тифлис мною будет назначен для нахождения при нем, в качестве переводчика и путеводителя, благонадежный чиновник, которому вместе с тем поручено будет и наблюдение за ним. Этою мерой, я полагаю, совершенно удовлетворительно заменить полицейский надзор».

Но получилось так, что от надзора надолго ускользнули. Машин хотел отправить гостей в Баку или Дербент на пароходе, но из-за погоды и бюрократии не вышло; решились ехать посуху через «дорогу непроезжую из-за кабардинцев и чеченцев, которые грабили и убивали путников». Опасно, но романтично: проехать по «линии» — цепи фортов, казачьих и татарских станиц, тянувшейся на 700 километров, отделяющих Черное море от Каспийского. На чем ехать? Где в тарантасе, где в лодке, где верхом. Губернатор написал бумагу, чтобы в фортах давали конвой, выделил несколько казаков, тарантас, телегу для багажа, заботливый Тюмень обещал, что калмыки, каких встретят на

пути, будут кормить. Отправились 22 октября: Башмачаговская — Талагай-Терновская — Кумекая — Горькоречная — Тарумовка, 7 ноября — Кизляр: отсюда начинается «Кавказ» Дюма.

«Оглядывая Кавказ, прежде всего видишь гигантскую цепь гор, ущелья которых служат убежищем представителям всех наций. При каждом новом приливе варваров: аланов, готов, аваров, гуннов, хазаров, персов, монголов, турок, живые волны омывают горы Кавказа и потом спускаются в какое-нибудь ущелье, где они остаются и закрепляются… Спросите у большей части жителей Кавказа, от кого они происходят, — они и сами этого не знают; с какого времени они живут в своем ущелье или на своей горе, им это также неизвестно. Но все они знают, что удалились туда для сохранения независимости и готовы жертвовать жизнью, защищая свободу…» «Огромным несчастьем России на Кавказе было отсутствие единой политической линии, направленной к строго определенной цели. В кавказских проблемах России столько же анархии и безалаберщины, что и в кавказской природе. Покорение равнин было совершено за короткое время… но права и условия собственности не были определены. Ненависть, бессильная на равнине, нашла неприступное убежище в горах…»

Он попал совсем в иную страну: «Пешеходы были редки. Все они имели при себе кинжал, пистолет за поясом и ружье на перевязи через плечо. Каждый смотрел на нас тем гордым взглядом, который придает человеку сознание храбрости. Какая разница между этими суровыми татарами и смиренными крестьянами, которых мы встречали от Твери до Астрахани! На какой-то станции Калино поднял плеть на замешкавшегося ямщика.

— Берегись, — сказал тот, схватившись за кинжал, — ведь ты не в России!

Российский же мужик получил бы несколько ударов плетью и не осмелился бы даже голоса подать». (Толстой: «Русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презрительное существо…») Но на Кавказе и русские преображаются: «В Чир-Юрте я не мог не заметить разницы меж русским солдатом в России и тем же солдатом на Кавказе: здешний солдат веселый, живой, и при том мундир полка для него предмет гордости… Опасность облагораживает его, сближает с его командирами». С командирами, правда, хуже: «…уединение способствует праздности, праздность скуке, а скука пьянству».

Дюма перечислил этнические группы (особая его любовь — чеченцы, «французы Кавказа»), объяснил, чем лезгины отличаются от осетин и кто от кого произошел; ученые,

принадлежащие к разным народам, находят у него разные ошибки, так что не будем приводить его классификацию, пока какой-нибудь нейтральный, австралийский, к примеру, изыскатель все не выправит; по этой же причине нет смысла пересказывать его анализ ваххабизма и мюридизма. Начнем с Кизляра: прием у губернатора, попробовали местную водку, наслушались рассказов об убийствах, о торговле людьми: «От Шемахи до Кизляра — на всем огромном пространстве нет сажени, не пропитанной кровью… Нельзя сказать, чтобы горцы не брали в плен… Если семейство пленного не так богато, чтобы удовлетворить требования горцев, тогда пленные отсылаются на трапезундский рынок и продаются, как невольники». Н. И. Берзенов по этому поводу возмущался: «Г-н Дюма то и дело твердит о своей исторической достоверности. Пленно-продавство в Кизляре, на городской площади, явное, составляющее будто бы одну из обычных статей торговли — и когда же? В 1858 г.? Да этой клевете даже в Турции не поверят!» Однако современные историки подтверждают: в рабство продавали целыми аулами, если рабовладелец был лоялен к русским, ему разрешалось не уравнивать, как положено, рабов в правах с другими жителями. Из рапорта генерал-майора Нестерова от 14 марта 1849 года: «Пленные горцы, которые были захвачены жителями кумыкского владения, а равно и Надтеречных деревень, по распоряжению генерал-лейтенанта Фрейтага были отдаваемы в пользу поимщиков». Продолжалась эта практика и в 1860-х годах; людьми торгуют и по сей день…

Берзенов обвинил Дюма во лжи, потому что тот опять влез в запретную тему, а чтобы скомпрометировать, нужно оскорбить: «так и видно, что имеешь дело с автором „Монте-Кристо“, „Трех мушкетеров“ и проч.!»; «мы видим очень мало кавказского в этих приключениях и сильно подозреваем, что они существовали лишь в досужем воображении». Дурылин тоже считал, что все преувеличено; разругал Дюма в начале XX века Е. И. Козубский, автор «Истории Дагестанского конного полка». Но Буянов доказал (потом на деталях проверим): «Кавказ» — «талантливая этнографическая и историческая работа», Дюма «ничего не выдумывал, не сочинял, не прибавлял ни в большом ни в малом… Даты, имена, расстояния — все точно и верно».

Вброд перешли Терек — опасно, все, кто попадался, вооружены, — но то был «единственный день, что мы действительно вступили в вражескую страну». Поехали по станицам, ночевали в Шелковской, Дандре хотел посетить Червленую, где жила красавица Евдокия Догадиха: о ней, как считают, Лермонтов написал «Казачью колыбельную», а его друг

Г. Г. Гагарин рассказывал о ней в Париже. По пути увидали абрека: так в те времена русские звали горцев, что в одиночку или малыми группами вели партизанскую войну. Здесь Дюма рассказывает историю, кажущуюся невероятной. Их эскорт — несколько казаков — был обстрелян небольшим отрядом чеченцев. Казаки атаковали, чеченцы бежали, один остался и вызвал на поединок какого-нибудь казака. Те энтузиазма не выказали. Дюма попросил Калино сказать, что даст 20 рублей тому, кто примет вызов. «Они некоторое время молчали и смотрели друг на друга, как бы выбирая самого смелого. В это время в 200 метрах от нас чеченец продолжал гарцевать на коне и кричать „Абрек! Абрек!“». Наконец один казак вызвался — его лошадь ранил этот абрек, 20 рублей пригодятся. Дюма отдал ему свою лошадь. Другой казак сказал, что, если первого ранят, он займет его место; Дюма обещал ему 30 рублей.

«Мы видели, как двое мужчин вступили в рукопашную. Через минуту один из них упал с коня, то есть упало тело: голова осталась в руках противника. Противник был горцем. Он издал дикий и страшный крик торжества, потряс головой, с которой капала кровь, и повесил ее к седлу. Лошадь без всадника убежала, но, по природному инстинкту, сделав крюк, вернулась к нам. Обезглавленное тело оставалось неподвижным. Я повернулся к казаку, который просил второй бой. Он курил трубку. Он кивнул. „Я пойду“, — сказал он. Затем, в свою очередь, он вскрикнул, в знак того, что принимает бой…» Казак, вместо того чтобы драться на саблях, застрелил абрека. «Весь конвой кричал „Ура!“. Он выиграл 30 рублей, постоял за честь полка и отомстил за товарища… Потом они ушли, оставив обнаженный труп горца хищным животным и птицам, но тело казака бережно положили на лошадь, другой казак взял лошадь под уздцы и повел обратно в крепость… Лошадь казака, которая была ранена, встала и на трех ногах ковыляла к нам. Не было никакой возможности спасти ее, и командир отряда перерезал ей сонную артерию. Кровь хлестала фонтаном. Животное, вероятно, чувствовало, что умирает: оно поднялось на задних ногах, повернулось, разбрызгивая вокруг себя кровь, упало на колени и медленно стало клониться, поднимая голову и вновь глядя на нас с почти человеческим выражением. Я подошел к командиру конвоя и сделал несколько замечаний по поводу жестокости, какой, на мой взгляд, было оставление орлам и шакалам тела абрека, который поддался обману, а не силе, и настаивал, чтобы его похоронили. Но главный ответил, что о нем позаботятся его товарищи… Я не мог решиться уйти, не увидев труп поближе. Он лежал ничком. Пуля ударила ему под левую лопатку и вышла под правым

соском. Из-за этого казалось, что он был убит во время бегства. Мне это было неприятно, я не хотел, чтобы смелого абрека поносили после его смерти…» Этот эпизод вызвал особенно громкое возмущение. Столь дикарское поведение военных невозможно! Да — с точки зрения человека, не видевшего кавказских войн… Поведение Дюма — чудовищно! Да — для мирного горожанина XXI века, но не человека, жившего во времена, когда дуэли и казни были обычной вещью, и попавшего на странную войну, где люди делают такое, что им в нормальных обстоятельствах в голову не придет… Он все это выдумал! Вряд ли: он выдумывать не умел. И зачем выдумывать о себе такое?

В Червленой попали к казни: военно-полевой суд приговорил к расстрелу человека, ушедшего к чеченцам (Берзенов опровергал: нет, никто никогда не уходил к чеченцам); село собралось на площади, все подходили к осужденному и говорили, что прощают ему зло, которое он причинил, как в сцене казни миледи. Но на расстрел Дюма смотреть не стал. «Через десять минут я услышал залп: Григорий Григорьевич прекратил свое существование, и люди расходились. Одна группа шла медленнее и была меньше, чем другие: то была группа людей, которых правосудие сделало вдовой и сиротами…»

Догадиха, увы, уже умерла (общались с ее отцом), но женщины были великолепны: «Они совместили в себе прелесть русских красавиц и врожденное изящество и удивительную элегантность горянок». (Есть масса легенд о пребывании Дюма в Червленой: украл девицу, даже «внуки» находятся.) Дальше — Хасавюрт, где гостей познакомили с казаками из отряда «охотников за головами», учрежденного Барятинским в 1847 году: они «поклялись отрубать каждую ночь по крайней мере по одной чеченской головушке и, подобно горским абрекам, строго исполняют обет», причем не ради награды, а «из удовольствия». Берзенов и это яростно опровергал, но факт доказанный, об этом пишет, например, полковник Генштаба С. Эсадзе в работе «Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны».

Гости пожелали участвовать в ночном «секрете», им сказали правила — сражаться один на один, они согласились. Неправдоподобно, начальство не позволило бы, велело бы беречь гостей? Но там не было высокого начальства. Сами гости бы струсили? Может, и струсили, да отступать было неловко, сами напросились, и там, на Кавказе, со всеми что-то происходило такое, что трудно представить в нормальной обстановке. В «секрет» ушли три солдата: Игнатьев, Михайлюк и Баженюк (Буянов в Государственном военно-историческом архиве нашел этих людей); Дюма достался в напарники Баженюку. «Прошло два

часа… Была холодная, темная ночь, мы лежали на берегу неизвестной реки (Аксай. — *М. Ч.),* на враждебной земле, с винтовкой, с ножом, ожидая не диких зверей, как это бывало со мною множество раз на охоте, а людей, по образу Божьему, как мы! И на эту охоту мы отправлялись со смехом, весело, как будто нам ничего не стоило пролить свою или чужую кровь! Правда, люди, которых мы поджидали, были грабителями и убийцами, оставляющими за собой разорение и слезы. Но эти люди родились за полторы тысячи лье от меня, с моралью, не похожей на нашу… Вправе ли я был просить Бога помочь мне в опасности, когда я сам так напрасно, так неразумно искал ее?» Наконец увидели горца на лошади, Баженюк бросился к нему, Дюма не мог ничего понять, потом разглядел приближавшуюся группу: «Баженюк, держа нож в зубах, тащил на правом плече женщину, находившуюся в бесчувственном состоянии, но не выпускавшую ребенка, которого она стиснула в руках; в левой же руке он нес голову чеченца… Он бросил голову на берег, посадил тут же женщину с ребенком и голосом, в котором не было заметно никакого волнения, произнес: „водочки бы…“ Не подумайте, будто он просил этого для себя, — он просил для женщины… А я все еще спрашиваю, какое право имеют люди охотиться за человеком, подобно тому как охотятся за оленем или кабаном?»

Следующая остановка — татарский аул Эндирей, там все мирно, прием у князя Али-Султана, гостям кричали ура: «Признаюсь, при этом удовольствие мое граничило с гордостью… Тридцать лет служения искусству были по-царски вознаграждены. Сделали бы для какого-нибудь государя более того, что сделали здесь для меня?» (Сочиняет, не могли ему кричать ура? Но вообразите, что в воинскую часть приехала Мадонна…) Дальше Чир-Юрт, Нижегородский драгунский полк, опять татары; Дюма поведал читателям про иго и заодно про снабжение и спекуляции в армии (его источники, похоже, были откровенны). В полку служил А. П. Оленин, в 1903 году в возрасте 70 лет надиктовавший воспоминания для «Исторического вестника»: по его словам, когда он услышал имя «Дюма», то сразу понял, о ком речь: «…портреты автора „Трех мушкетеров“ были в то время распространены везде». Оленин пишет, что Дюма поселили у него на квартире. «Вся „наша“ молодежь тотчас собралась ко мне и устроила Дюма, когда он вышел, свежий и веселый, сочувственную овацию. Я же тотчас дал знать командиру полка, кн. А. М. Дондукову-Корсакову, о прибытии знаменитого писателя. Немедленно последовало от князя приглашение на обед, и прибыл экипаж… За обедом знаменитый писатель обворожил всех своим прелестным, остроумным разговором… Не

могу забыть его полудетский восторг, когда он узнал, что далее, на пути в Темир-Хан-Шуру, он проедет совсем близко от этого ущелья, что „оказия“ пойдет неприятельской землей, под усиленным конвоем, и что, возможно, будет и перестрелка… К вечеру ко мне собрались мои товарищи, и началась лихая кавказская пирушка, в которой „председательствовал“ Дюма… Надо было видеть его восхищение, когда в темной комнате загорелась синим огнем „жженка“ и прибывший оркестр грянул „Марсельезу“…» На следующий день, по словам Оленина, снова была пирушка, ездили верхом; наконец «оказия» под конвоем двинулась вдоль реки Сулак. «Справа и слева в некотором отдалении показались конные чеченцы. Дюма словно преобразился. Во весь опор вынесся он с нами вперед туда, где завязалась лихая кавказская перестрелка. То наскакивая, то удаляясь, горцы перестреливались с нашими… Во все время схватки Дюма сохранил полное самообладание и с восхищением следил за отчаянной джигитовкой казаков… Вскоре горцы увидали, что не могут вследствие своей малочисленности затеять серьезное дело, и, обменявшись последними выстрелами, ускакали восвояси».

Дурылин разоблачает эту историю, ссылаясь на историка В. Д. Карганова, который, в свою очередь, пересказывает слова М. П. Хаккеля, бывшего в 1880-е годы секретарем А. М. Дондукова-Корсакова: «У опушки князю пришла мысль позабавиться симуляцией нападения горцев, для чего было послано несколько солдат-драгун в лес разыграть стычку с воображаемым Шамилем. После перестрелки романисту рассказали разные небылицы о сражении в лесу и, в подтверждение, показали ему какие-то лохмотья, обмоченные в крови барана, заколотого к обеду». А наивный француз поверил, писал Жозефу Мери: «Мы перерезали территорию Шамиля и дважды имели случай обменяться ружейными выстрелами со знаменитым предводителем мюридов…»

А теперь разберемся. Первоисточник, на чьи слова ссылаются Хаккель, Карганов и Дурылин, — Дондуков-Корсаков (кстати, все они, как и Оленин, ошибочно пишут, что Дондуков-Корсаков был комполка: он накануне приезда Дюма вышел в отставку из-за столкновения с генерал-адъютантом Н. И. Евдокимовым, и его сменил граф И. Г. Ностиц; Дюма об этом упоминает). С отцом Дондукова Дюма имел неприятное столкновение в Венеции в 1843 году; сын там тоже был, как следует из его же мемуаров, и не мог не знать о скандале, так что его враждебный тон по отношению к Дюма понятен. Значит, Оленин прав и перестрелка была настоящая? А вот и нет: Дюма, представьте, вообще

никакого сражения не упоминает. Прибыли в Чир-Юрт, у Ностица увидели портрет Хаджи-Мурата (следует рассказ о нем), выслушали историю нижегородского полка, поужинали, обсуждая снабженцев, наутро вышли с конвоем из 25 человек, потом конвой вернулся, а путешественники поехали через Кумторкалу к Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск) «с четырьмя казаками и офицером Виктором Ивановичем» — вот и все. (Письмо к Мери — документ, не предназначенный для печати, причем в нем не указано, о каком эпизоде идет речь.) Получается, Оленин все выдумал. Он сказал, что Дюма гостил в Чир-Юрте три дня и жил на его квартире, а тот утверждал, что меньше суток, и Оленина не упомянул, хотя на каждой стоянке записывал имена, отчества и фамилии людей, включая слуг. Так кто же придумывает? Дюма о нас или мы о нем?

Кумторкала — Параул — аул Гелли, там услышали, что «Магомет-Иман Газальев собрал всю свою татарскую милицию — около двухсот человек — и еще сто человек охотников» и вступает в бой с отрядом горцев «под предводительством известного абрека Гобдана, именуемого Таймас Гумыш-Бурун». В полдень увидели дым вблизи дороги на Карабудахкент, с конвоем (12 человек) двинулись туда и встретили группу татар. «Люди в папахах узнали нас или, лучше сказать, узнали своих друзей. Они кричали „ура!“, а некоторые подняли руки с ношей, нам уже понятной. Раздались крики: „Головы! Головы!“ Не стоило спрашивать, что это были за трофеи… Обе группы соединились, третья же, несколько отставшая, двигалась медленно. Она не торжествовала победу — она несла мертвых и раненых… Сначала невозможно было разобрать слов, произносимых вокруг нас. К тому же разговор шел на татарском языке, и Калино решительно ничего не понимал. Красноречивей всего выглядели четыре или пять отрубленных и окровавленных голов, еще более живописными были уши, вдетые на рукоятки нагаек. Но вот прибыл и арьергард; он вез трех мертвых и пять пленных. Еще трое раненых едва могли держаться на своих конях и ехали шагом. Пятнадцать лезгин были убиты, трупы их находились в полумиле от нас, в овраге Зилли-Кака.

— Попросите сотника, чтобы он дал нам милиционера, который проводил бы нас на поле сражения, и спросите его о подробностях, — обратился я к Калино.

Начальник сам взялся отвезти нас туда. Он был украшен Георгиевским крестом и в рукопашной битве собственноручно убил двух лезгин. В пылу сражения он отрубил им головы и вез их с собой. Кровь текла с них ручьем. Всякий, убивший горца, имел право, кроме головы и ушей, обобрать его дочиста».

Как поверить, как допустить, как позволить рассказывать такое, когда газеты пишут, что на Кавказе «наведен порядок»? Бойцы пошли в Гелли, гостей по их просьбе повели на место сражения. «Направо, в лощине, лежали голые или почти обнаженные трупы. Пять человек были обезглавлены; у всех же других недоставало правого уха. Страшно было смотреть на раны, вызванные ударом кинжалов. Пуля проходит насквозь или остается в теле, образуя рану, в которую можно просунуть только мизинец, — она посинеет вокруг, и только. Но кинжальные раны — это настоящая бойня: у некоторых были раскроены черепа, руки почти отделены от туловища, груди поражены так глубоко, что даже виднелись сердца. Почему ужасное имеет такую странную притягательную силу, что, начав смотреть на него, хочешь видеть все?» «Татарка развязала небольшой мешок и извлекла из него два уха. Концом трости полковник удостоверился, что это были два правых уха. Он взял перо и бумагу и написал расписку на 20 рублей… Князь Мирский в свое время счел достаточным, чтобы доставляли не всю голову, а только правое ухо. Но они [татары] все равно отрубали головы, объясняя сие тем, что не могут отличить правое ухо от левого…»

Козубский писал с возмущением, что это ложь. Однако потом выяснилось, что рассказ Дюма в деталях совпадает с донесением командира Дагестанского конно-иррегулярного полка князя И. Р. Багратиона, опубликованным 16 ноября 1858 года в газете «Кавказ». Правда, об отрезанных ушах и головах там не говорилось. Нетрудно понять почему… «На четвертом рисунке (в альбоме адъютанта князя Дондукова) были изображены лезгинские ворота, украшенные отрубленными руками; руки были прибиты гвоздями, подобно тому как к воротам наших ферм пригвождают лапы волков (чтобы отпугивать других волков). Отрубленные руки долго не подвергаются разложению и остаются, так сказать, живыми на вид благодаря какому-то составу, в котором их предварительно варят. Эти ворота в Дидо были украшены пятнадцатью руками. Другие лезгины, более благочестивые, прибивают их к стенам мечетей. В мечети Дидо было около 200 рук. Впрочем, такой христианский народ, как тушины, смертельные враги лезгин и вообще всех магометан, оказывающие огромные услуги русским в их военных экспедициях, имеют, при всех своих христианских добродетелях, тот же самый обычай: сколько врагов захватывают тушины, столько они и отрубают рук…» Ох, господин Дюма, чем такие вещи писать, лучше бы вы что-нибудь выдумали…

В Карабудахкент прибыли без инцидентов, надеялись застать Багратиона, но он уехал в Уллу-Буйнак, нагнали, он предложил

подняться на гору Каранай, отправились с ним в Темир-Хан-Шуру, ночевали, утром с большим отрядом поехали в Ишкартинскую крепость. А. Магомедов, директор Буйнакского музея («Дагестанская правда» от 29 июля 2010 года): «…уже пройдя Верхний Каранай, французские гости и сопровождающая их свита из фаэтонов и тарантасов пересели на лошадей. Не успели проехать пару-другую сотен метров, как на них из-за бугра напала небольшая группа горцев на лошадях. Тогда Багратион дает команду отразить нападение горцев, в конечном итоге что и удалось сделать… Иван Романович Багратион и его друзья только здесь признались, что то нападение горцев внизу, у подножья вершины, было не больше чем имитация нападения, специально устроенный розыгрыш. На это Дюма ответил, проведя рукой по своей шевелюре: „Браво, здорово, значит, и я внес свою лепту в Кавказскую войну“ и сделал еще один выстрел. Еще накануне ночью приготовили и для писателя наган, заранее его зарядив холостыми патронами….» Ничего подобного в тексте Дюма нет, не говоря уже о том, что наганов тогда не существовало. Он пишет: доехали до Ишкартинской крепости, поднялись на Каранай, красивый вид, ночевали в Ишкартинской, портной за ночь сшил для него подобие офицерского мундира — вот и все.

Дальше ехали в компании Багратиона: опять Темир-Хан-Шура, Дженгутай, Параул, Гелли, Карабудахкент, Дербент. Багратион рассказал о Нестерцовой и Марлинском. В Дербенте остановились у военного губернатора генерал-майора Д. К. Асеева. Козубский: «Едва ли не Багратион подстроил депутацию местных жителей, которая, по словам Дюма, приветствовала его как автора романов, доставлявших им величайшее наслаждение…» Что такое «едва ли не…»? Если не знаешь, подстроил или нет, зачем говорить?

Спустились к морю — через Кубу в Баку, там жили у главы городской управы М. Пигулевского, повидать гостей приезжал Хасайхан Уцмиев, кумыкский князь и генерал-майор русской армии, с женой, поэтессой Хуршидбану (псевдоним «Натаван»), Дюма подарил ей шахматы — они хранятся в Музее литературы имени Низами — получил от Уцмиева еще сведения о Марлинском. У него две «бакинские» темы — Марлинский и нефть: «Везде вокруг города, по всему побережью Каспийского моря, вырыты колодцы глубиной от трех до двадцати метров. Сквозь глинистый мергель, пропитанный нефтью, сотня из этих колодцев выделяет черную нефть, пятнадцать — белую. Из них извлекается почти сто тысяч центнеров нефти в год. Эта нефть отправляется в…» Будьте уверены, Дюма все написал: и куда отправляется, и почем, и какими коврами торгуют в Баку, и кто

такие зороастрийцы, и чем различаются сунниты и шииты, и каковы особенности местных комаров… 23 ноября выехали в Шемаху, встретили офицера, который видел Шамиля. Наконец-то! В газете «Монте-Кристо» Дюма обещал: «…посетим лагерь нового титана, Шамиля», не получилось, выжидал, не писал с газетных источников, надеялся найти очевидца — нашел. Отозвался он о Шамиле довольно нейтрально, но скорее с симпатией, назвал «человеком чести» — как и его противника Ермолова, что «олицетворял собою террор, но то было в эпоху, когда террор мог оказаться спасительным, так как священная война не соединяла еще всех горских племен воедино».

После Баку — Шемаха: там гостя запомнил местный житель И. Евлахов, чей рассказ опубликован в «Новом обозрении» в 1887 году: «Атлетическая дородность Дюма, здоровое смуглое лицо и густые черные курчавые с проседью волосы придавали ему оригинальность, которая бросалась в глаза. Он был в каком-то неопределенном костюме, вроде ополченки, в дорожных сапогах; в них он являлся и на базаре, и в гостиной… Добряк, словоохотливый, неутомимый и приятный собеседник, он высказывался весь с первой же встречи… Вечером нас пригласили к одному из зажиточных шемахинских мусульман, Нахмуд-беку… Здесь мы много говорили о судьбах Востока, коснеющего в невежестве, несмотря на то, что он довольно уже сблизился с Европою, о Ламартине… На последовавшем затем персидском вечере, увлеченный прелестями Нисы, Дюма после второго блюда встал из-за стола, подошел к ней, приподнял покрывало и поцеловал ее в пояс. Публика, в особенности почтенные гости из местных мусульман, сидевшие за столом, с удивлением смотрели на Дюма…» Ниса — танцовщица, Дюма пишет, что спросил хозяина, может ли она исполнить «танец пчелы», но тот отказал. Вряд ли бы он стал без спросу ее целовать.

26 ноября прибыли в Нуху, узнали все о шелкопрядстве, гостили в доме генерал-майора князя Р. Д. Тархан-Моуравова, у того сын Ваня десяти лет, знает французский, играет с кинжалом и как о самой обыкновенной вещи говорит о том, что ему могут отрезать голову. Дюма растрогался, на другой день прощался с мальчиком «обливаясь слезами», потом, в Париже, о нем беспокоился. (Все нормально: ребенок этот впоследствии стал ученым-физиологом.) На следующий день проехали Царские Колодцы, видели замок царицы Тамары. Показался Тифлис: «первый признак цивилизации — виселица и казармы». Дюма не успокоился, пока не узнал, чьи тела на виселице (сказали: грабителей). Французский консул барон Фино познакомил со знатью: Чавчавадзе, Орбелиани. В Париже Дюма читал книгу

«Восемь месяцев в плену Шамиля» Анны Дрансе, бывшей гувернантки в семье Чавчавадзе, попавшей в плен вместе с Анной Чавчавадзе и еще несколькими женщинами; теперь Чавчавадзе сама рассказывала ему подробности. Жизнь в городе цивильная: «Когда я ехал в Тифлис, признаюсь, мне представлялось, что я еду в страну полудикую. Я ошибался. Благодаря французской колонии, состоящей большею частью из парижских швеек и модисток, грузинские дамы могут следовать с опозданием лишь в две недели модам Итальянского театра и Больших бульваров». Все это мило, но не за тем ехали. Он решил проследовать до Владикавказа по Военно-Грузинской дороге. Муане сказал, что ему все надоело, 20 декабря поехали с Калино и проводниками: мост через Куру, Мцхет, Душет, Ананур, Кайшаур, дальше дорогу завалило. «Через три дня я был уже в Тифлисе; меня считали погибшим в снегу и надеялись отыскать только весной». Впечатления от строительства: «…на деньги, потраченные на Военно-Грузинскую дорогу, можно было бы вымостить весь путь серебряными рублями… Вот так все и делается в России: никогда начатое дело не доводится до конца, не простирается за пределы абсолютной необходимости конкретного момента. Когда же нужда миновала, начатое дело бросается на полпути, на произвол судьбы… Нельзя понять — тем более при современном уровне цивилизации и культуры — эту одновременную и равную потребность в захвате чужого и беспечность в сохранении и улучшении собственного…» Что за скучный человек — нет бы похвалить проект…

Он хотел в Ереван, но Муане опять отказался, Новый год встречали в Тифлисе: обеды, ужины, бани. Дюма засел за переводы, намеревался взять Калино в Париж, тот написал ректору университета, но ответа не получил. Пришлось расстаться. Нашел нового переводчика, армянина, которому нужно было по своим делам во Францию. Власти дали в сопровождение унтер-офицера, 23 января по снегу двинулись через Гори, Кутаиси и Марани в порт Поти, кружили, с большими проблемами находили лошадей, 2 февраля явились в Поти — парохода нет и когда будет, неизвестно. Город жалкий, скука, усталость, кормят плохо. При гостинице была лавка, в которой служил молодой грузин Василий, Дюма попросил его приготовить рыбу и обнаружил, что тот хороший повар. Спросил Василия, хочет ли он жить во Франции. «„Да“, — ответил он с энтузиазмом, свойственным всем людям, живущим под российской тиранией и получающим шанс покинуть эту страну». Паспорт Василия был в Гори, не успеть, попытались его вывезти по чужим документам, поднялись на борт корабля, но тут —

полиция. «На бедного Василия донес его же приятель, позавидовавший его удаче… Он был в отчаянии. Он кричал по-русски, по-грузински, по-армянски, по-турецки, надеясь, что я пойму его». Переводчик объяснил, что кричал Василий: «Я не хочу оставаться в Поти в доме вора Якуба, который взял с вас 20 франков за кусок барана, который стоил ему 7. Скажите, куда вы едете, и, где бы вы ни были, я вас найду…»

Найдет, как же, это и не в силах человеческих. Благоразумный Дюма денег не дал, но все же написал записку к полковнику Романову, адъютанту губернатора, с которым познакомился в Кутаиси, а парню дал другую: «Рекомендую грузина Василия, поступившего ко мне в услужение в Поти и вынужденного остаться из-за отсутствия паспорта, всем, к кому он будет обращаться, и особенно господам командирам французских пароходов и секретарям консульств. Что касается издержек в этом случае, то можно переводить вексель на мое имя, а я проживаю в Париже, на Амстердамской улице, дом 77. Поти, 13 февраля». Прощай, бедный Василий, прощай, страна прирожденных рабов, я восхищался всем достойным восхищения, я очень старался, но не сумел полюбить тебя…

Глава шестнадцатая
КРАСНАЯ РУБАШКА

Ему под 60, он толст, с одышкой, болит спина, он много дней спал черт знает в каких условиях; наверное, хочет отдохнуть? Нет: в поездке он похудел, поздоровел и желал немедленно совершить средиземноморский круиз. 16 февраля 1859 года отплыли из Поти на русском корабле, в Трапезунде сели на французский, остановились на острове Сирос — заказать шхуну (двухмачтовую яхту): говорили, что у греков это дешево. Взяли с него 17 тысяч франков (в кредит) и обещали построить шхуну за два месяца. Заехали в Афины, 9 марта сошли на берег в Марселе. Устраивался, разгребал дела, снял небольшую квартиру на улице Вентимий, 11, дал банкет, на время стал звездой и светским львом, как раньше (кто еще видел столько отрезанных голов?), опубликовал «Письма об освобождении рабов», не получив за них ничего, кроме неприятностей. Просил Нарышкиных прислать книги Марлинского, нашел помощника-переводчика, учредил журнал «Кавказ», 16 апреля выпустил первый номер, а после третьего номера попал под суд: Э. Мерлио, автор вышедшей в 1857 году книги о Шамиле, обвинил его в плагиате. Несколькими днями раньше или позже этого на пороге его дома появился неожиданный гость.

«Кухарка влетела в мою спальню. „Месье, — сказала она, — там внизу человек, который говорит только два слова: ‘мусо Дума, мусо Дума’…“ „Это — Василий!“ — ответил я, не колеблясь ни секунды. Он 40 дней больным пролежал в Турции, проехал через Трапезунд, Константинополь, Смирну, Афины, Мессину и Марсель…» Отмыли, одели; Василий стал элегантным, важным, считал себя адъютантом, а не слугой, был исключительно предан; долго не говорил по-французски, объясняясь знаками, вдруг враз заговорил. «На парижских улицах он производил сенсацию… обыватели считали его переодетым русским князем, люди менее восторженного склада — высокопоставленным чиновником. Некоторые, окружая Василия ореолом поэзии, говорили, что он — Шамиль, которого я взял в плен».

1 июля суд реквизировал «Кавказ» и оштрафовал Дюма на 600 франков, после чего кавказские истории стали выходить в «Монте-Кристо», а 28 июля был завершен начатый пять лет назад «Сальватор». «Тридцать первого июля 1830 года[24] герцог Орлеанский, назначенный королевским наместником, вызвал Сальватора, одного из тех, кто вместе с Жубером, Годфруа,

Кавеньяком, Бастидом, Тома, Гинаром и двадцатью другими водрузил после сражения 29 июля трехцветное знамя над Тюильри.

— Если нация выскажется за то, чтобы я занял трон, — спросил герцог, — по вашему мнению, республиканцы ко мне примкнут?

— Ни за что, — ответил Сальватор от имени своих товарищей.

— Что же они сделают?

— То же, чем вы, ваше высочество, занимались вместе с нами: они организуют заговор.

— Это упрямство! — возмутился будущий король.

— Нет, это настойчивость, — с поклоном возразил Сальватор».

Еще Дюма публиковал «Записки полицейского» — перевод с английского Марии Фернан, писал с Шервилем роман «Доктор с Явы» (в первоначальном, брюссельском варианте «Остров огня») — пример того, как они с Шервилем не умели распорядиться материалом. Завязка — пальчики оближешь: вдовец, чтобы воскресить жену, соглашается продать зловещему доктору — нет, не душу, а тело; он может избежать этой ужасной участи, если ни разу не пожалеет о сделке, но стоит ему разлюбить жену — он погиб. Описать эту изощренную психологическую ловушку, муки совести, страх — как сильно могло выйти! Но соавторы сделали несколько великолепных глав, а потом все расплылось: вставные очерки о буддизме и огнепоклонничестве и совершенно бестолковая развязка. Поскольку с Шервилем все время получалось так, похоже, что другой роман, печатавшийся в «Европейском обозрении» с 15 августа по 16 октября 1859 года (одновременно с выходом в Брюсселе «Доктора с Явы»), «История хижины и шале» (она же «Месье Кумб», она же «Сын каторжника»), — Дюма писал один или при очень незначительном участии соавтора: концовка отточена, обычной шервилевской морали в финале нет: перед нами чистый или почти чистый Дюма. Этот текст всегда относят к «проходным», но он — из лучших; он указывает путь, по которому Дюма не раз мог пойти, — путь беспощадного психологизма, путь Флобера.

Марсель, конец 1840-х годов, Кумб — разбогатевший грузчик, его соседи — чета Мана: забитая жена любит мужа, пьяницу и садиста, тот в кабаке услышал историю о повешенной женщине. «У Пьера Мана появилось дикое желание увидеть в действительности такую картину, показавшуюся ему заманчивой. От мысли до осуществления прошла всего одна минута. Он

отыскал молоток, гвоздь и веревку. Найдя это, он ничего больше не искал: все необходимое было у него под рукой — и виселица, и вспомогательные инструменты. Его бедная жена ничего не понимала и, удивленно глядя на своего палача, задавалась вопросом, какое еще новое сумасбродство пришло ему в голову. Пьер Мана, несмотря на свое опьянение, сохранил в памяти все обстоятельства услышанного рассказа и непременно хотел воссоздать все точно. Он начал с того, что натянул свой собственный колпак на голову жены и надвинул его до самого подбородка; решив, что рассказ матроса не был приукрашен и что на самом деле все выглядит весьма комично, он принялся преувеличенно весело хохотать. Вполне ободренная живостью своего мужа, Милетта позволила связать ей руки за спиной. Она не догадывалась о намерениях Пьера Мана до той минуты, пока не почувствовала у себя на шее холод пеньковой веревки. И тогда из груди ее вырвался страшный крик: она звала на помощь, но в доме все спали. К тому же Пьер Мана приучил соседей к отчаянным крикам своей несчастной жены».

Кумб, жлоб и скупердяй, но не зверь, спас ее. Мана осудили. «Когда, возвратившись из суда к себе домой, Милетта осознала все, что произошло, первым движением ее души было отчаяние, ей даже хотелось немедленно отправиться в суд с просьбой, чтобы ее мужа помиловали… когда по истечении срока его наказания Милетта пришла к воротам тюрьмы и стала покорно ждать его, он, не потрудившись даже бросить взгляд в ее сторону, быстро скрылся, ведя под руку распутную женщину…» Кумб за ней ухаживает на свой грубый лад, кормит, не бьет, ей это кажется чем-то необыкновенным. «В сближении двух противоположных полов страсть не всегда играет столь существенную роль, как это представляется. Тысячи самых разных чувств могут привести женщину к тому, чтобы она отдалась мужчине. Милетта уступила г-ну Кумбу, поскольку испытывала к нему непомерную благодарность за оказанную ей помощь; да и потом, честный, аккуратный и удачливый подрядчик грузовых работ, сумевший составить себе состояние с помощью незаурядной твердости взглядов, вызывал у нее самое искреннее восхищение. И ничем не примечательная голова владельца домика в Монредоне была в ее глазах окружена неким ореолом; он представлялся ей полубогом, она выслушивала его с почтением, разделяла его пристрастия и, слепо подчиняясь ему, стала находить в его домишке поистине олимпийские размеры».

Кумб — один из самых любопытных персонажей Дюма: клубок противоречий в существе примитивном. Он ненавидит богатых шумных соседей, шпионит за ними, но, когда видит, что

те вешают девицу, такую же дрянную, как они сами, вновь безрассудно кидается на помощь (оказалось, его разыграли). Он натравил на соседа пасынка Мариуса (которого держал в черном теле, а тот перед ним благоговел), Мариус влюбился в сестру соседа, потом на соседа напал уголовник Мана, а обвинили Мариуса. Кумб рад, что лишнего рта в доме больше нет. Но он видит отчаяние жены: «Она неподвижно сидела прямо на полу, подтянув колени к груди, положив руки на колени и опустив подбородок на руки, и смотрела перед собой застывшим невидящим взглядом. И какой бы толстой коркой эгоизма ни было покрыто сердце бывшего грузчика, ему показалось, что на такое немое горе у Милетты есть основания… Он подошел к бедной, отчаявшейся матери и почти ласковым голосом обратился к ней. Милетта, казалось, даже не слышала его.

— Не надо на меня сердиться, женщина, — сказал г-н Кумб. — Какого черта!»

Милетта попросила Мана спасти сына, но бывший муж ее опять избил, потребовал денег, вломился в дом и начал бить ее при Кумбе, пырнул ножом — и Кумб его застрелил. Все выяснилось, Мариуса отпустили, но мать его умерла. Кумб — вдовец: возвысит ли печаль его, как Шарля Бовари? «Первые годы все, что напоминало г-ну Кумбу ту, которая была столь смиренно предана ему, бросало его в дрожь, но понемногу похвалы его поведению стали достаточно приятно щекотать его самолюбие, и это чувство подавило сразу и его скорби, и угрызения совести; и очень скоро его прежнее тщеславие настолько сильно стало проступать, что в результате он, вместо того чтобы бояться разговоров, имевших отношение к смерти Пьера Мана, сам намеренно вызывал их. Справедливости ради надо сказать, что преувеличения тех, кто восхвалял подвиги г-на Кумба, придавали им чрезвычайные размеры. Бандит постепенно превратился в пять ужасных разбойников, и половину их убил г-н Кумб, тогда как другие обратились в бегство. Господин Кумб не возражал. Читая восхищение в обращенных к нему глазах слушателей, он говорил: „Ах, Боже мой, но это не так уж трудно, как кажется; надо всего лишь немного сноровки и хладнокровия…“ Короче говоря, преобладающая страсть г-на Кумба восторжествовала у него над всем, что еще оставалось на этой земле от бедной Милетты: над ее памятью. Мало-помалу его посещения кладбища в Бонвене, где покоилась Милетта, становились все более редкими; вскоре он и вовсе перестал туда ходить, и земляной свод, покрывавший ее прах, порос травой, такой же густой, как и в саду шале. Он забыл о ней столь прочно, что, когда он скончался… в его завещании не было обнаружено ни слова, подтверждавшего, что он еще помнил

о Мариусе или о его матери».

«Месье Кумб» мог стать шедевром, если бы автор не торопился, а работал, как в юности, по полгода над текстом, был критичнее к себе, но он не считал это нужным. Привык, что нужна мелодрама, штампы: девица с «белоснежной» кожей, «благороднейшие сердца», что можно писать: «Он катался по земле, впиваясь в нее ногтями, рыдал и бросал в ночь свои проклятия». Некогда ему было переучиваться…

Шхуна все строилась, и лето 1859 года Дюма прожил в коттеджном поселке Ля Варенн Сент-Ивер на берегу Марны с новой хозяйкой. Изабель в его отсутствие нашла другого покровителя (она, несмотря на свою болезненность, проживет долгую благополучную жизнь), Эмма Манури-Лакур публиковала стихи, он писал к ним хвалебные предисловия, но, видимо, остыл к ней. Новая подруга — девятнадцатилетняя Эмили Кордье (1840–1906): из бедной семьи, продавщица, мечтала о сцене, перед отъездом Дюма в Россию ее мать через знакомых привела ее к нему, вернувшись, он ей написал. Фактически мать продала девушку, ведь брака быть не могло, а на сцену Эмили ее покровитель так и не устроил. Давно ли он, молодой, надеявшийся, хотя он и «мулат, а не джентльмен», добиться любви великих актрис, отнял другую женщину у старого покровителя — а теперь он сам покровитель, ходячий кошелек… Но поначалу девушка была благодарна и жизнь они вели идиллическую: Шервиль приезжал в гости, удили рыбу, гуляли, одна из любимых собак, Вальден, ожирела — верный Василий каждое утро возил ее на омнибусе в Париж и обратно вел пешком; много стряпали, много ели. В августе император объявил политическую амнистию, вернулись Этьен Араго и Распай, даже Бланки выпустили. Но 400 изгнанников возвращаться не стали, в том числе Гюго, над ним посмеивались — чего боится? Дюма писал в «Монте-Кристо»: «Будьте спокойны, завистники, он не вернется. Не правда ли, есть что-то бесконечно печальное в мещанской ненависти, с которой во Франции относятся к гению?»

О шхуне ни слуху ни духу; в конце лета он поехал в Марсель разбираться. Нужна отделка, ее можно сделать только в Париже, для этого судно должно пройти по Роне и Сене, но оно слишком большое, не пройдет, и все жрет деньги, и каждый встречный говорит, что во Франции шхуна обошлась бы в пять раз дешевле. (Впрочем, он ведь ничего еще не заплатил.) Короче, готова будет только через полгода. Осесть и работать. Он писал полумемуарный текст «Любовное приключение» (публикация в «Монте-Кристо» с 13 октября 1859-го по 13 января 1860 года) — о женщинах в его жизни, в основном о Каролине Унгер, вставной

рассказ о смерти уругвайца Пачеко-и-Обеса. «Увы! В жизни наступает период, когда, оглядываясь вокруг себя, не видишь ничего, кроме черных точек: это пятна траура. Врачи говорят, что это устали глаза, что это глазная сетчатка наливается кровью, что это „темная вода“ поражает сетчатую ткань зрачка. Они называют это „движущиеся мушки“. Когда же вы прекращаете видеть этих мушек, это означает, что пришла сама смерть». Да уж, весельчак…

В октябре он пытался помириться с Маке. Кроме обшей тяжбы между соавторами велась частная, связанная с пьесой «Графиня Монсоро»: ее продали Роберу Остейну в 1853 году, но не написали, Остейн требовал неустойку, Маке теребил Дюма, в 1856-м они обещали пьесу театру «Цирк», опять поссорились, теперь Дюма сделал инсценировку, отдал в «Амбигю», там сказали, что пьеса не окончена, Дюма отвечал, что никогда не хотел ее писать — пусть это делает Маке, — и просил Парфе сделать Маке предложение: вместе инсценировать романы, которые еще не инсценированы, «на прежних условиях». Ответа не получил. Продолжал судиться с Леви и 20 декабря проиграл жестоко, как всегда проигрывает автор в схватке с издателем: никаких 800 тысяч компенсации он не получает, а передает Леви за 120 тысяч все, что написал раньше и напишет до 31 декабря 1870 года. Зато 30 тысяч сразу получил на руки и помчался в Марсель. Новые проблемы: француз не может взять построенное в Греции судно в собственность, только в аренду на 99 лет; он не расплатился со строителями — греки грозят конфисковать шхуну; можно устроить, чтобы она считалась принадлежащей не Греции, а Иерусалиму, но человека, который это организует, надо искать в Италии. 24 декабря они с Эмили Кордье отплыли из Марселя в Ливорно. Раз уж оказались в Италии, устроили свадебное путешествие — Флоренция, Генуя, где Дюма узнал, что в Турин приехал Джузеппе Гарибальди, чье имя было на первых полосах газет.

Большинство итальянских государств были мелкими и находились под властью Австрийской империи, крупных было два: расположенное на острове Сицилия и юге Апеннинского полуострова Королевство обеих Сицилий (Неаполитанское королевство), столица — Неаполь, там правила ветвь Бурбонов: с мая 1859 года — Франциск II, внук Фердинанда IV, который искалечил и погубил отца Дюма; и Сардинское королевство (Пьемонт), занимавшее север полуострова и остров Сардиния, фактическая столица — Турин, правители — Савойская династия. Было еще Папское государство — Рим и окрестности, возглавляемое папой. Всякий раз вслед за Францией в Италии

устраивали революции, обычно под лозунгом объединения итальянцев, иногда они удавались, но на время и на ограниченной территории. Теперь для объединения был благоприятный момент, причем без революций. Луи Наполеон хотел расширить влияние в Италии, вытеснив арстрийцев. Он обещал королю Пьемонта Виктору Эммануилу II и премьер-министру Камилло Кавуру, что если они вместе с Францией выгонят австрийцев, то могут создать конфедерацию во главе с Пьемонтом, а французам подарят часть территории — Савойю и Ниццу. Те согласились, спровоцировали Австрию на них напасть (дело плевое, когда сильно хочешь войны), Франция вступилась за союзника. Одержали ряд побед — и Луи Наполеон понял, что просчитался. Во-первых, к Австрии грозили присоединиться немецкие государства. Во-вторых, почти все боевые действия вели французы, а итальянцы (у которых не было толковой армии) пожинали плоды. В-третьих, Виктор Эммануил и Кавур хотели не конфедерации, а единого государства, а сильное независимое государство у своих границ Франции было не нужно. В-четвертых, все вообще пошло не так, в апреле восстала Тоскана, в мае взбунтовались регионы Папского государства, Парма и Модена, что грозило Наполеону ссорой с Римом.

Правил в Папском государстве Пий IX, сперва считался либералом, стал реакционером. (Он — будущий автор «Силлабуса», «Списка важнейших заблуждений нашего времени», то бишь натурализма, рационализма, либерализма и социализма.) В 1848 году, когда в Риме произошла революция, Наполеон Пия спас, оставил войска его охранять, но потребовал провести хотя бы небольшие реформы (власть папы была абсолютной, никакой конституции, феодальные привилегии и проч.), тот отказал, а в 1852 году не согласился короновать императора. Но тот счел меньшим злом обязанного ему и трусливого папу, чем независимую Италию. Пока уладили так: по перемирию от 11 июля 1859 года Франция получила Ниццу и Савойю, Пьемонт — Ломбардию, Австрия — Венецию, а из остальной Италии предполагалось создать конфедерацию под председательством Пия IX с условием, что он проведет реформы. Но папа вновь отказался от реформ, а итальянцы не желали объединяться под его престолом; Кавур провозгласил объединение под властью Виктора Эммануила. За это выступал и Гарибальди.

Он родился в Ницце в 1807 году, стал моряком, в 25 лет — капитаном, в 1833-м под влиянием революционера Джованни Кунео вступил в тайное общество «Молодая Италия», которое ратовало за объединенную итальянскую республику. В 1834 году

участвовал в заговоре, был приговорен к казни, скрывался, уехал в Америку, в 1842-м командовал флотом Уругвая и сформировал там «Итальянский легион». В 1848 году, когда итальянцы одной из областей восстали против австрийцев, с отрядом в 50 человек помчался на родину, потерпел неудачу, но приобрел популярность. Участвовал во всех заварушках, был депутатом парламента Римской республики, после ее падения опять уехал в США, а в 1854 году поселился на острове Капрера, относящемся к Пьемонту. Кавур решил его использовать. Да, тот хочет не королевства, а республики, но он романтик и человек честный, а таким легко задурить голову: у нас будет конституция, свобода… Гарибальди сформировал корпус добровольцев, воевавший довольно успешно; в сентябре 1859 года он двинулся на Рим, но Виктор Эммануил под давлением Луи Наполеона приказал не трогать папу. Тогда Гарибальди объявил о намерении взять Неаполитанское королевство. Кавур сказал, что это слишком. Гарибальди распустил корпус, но объявил сбор средств на покупку оружия. Кавур и Виктор Эммануил сделали вид, что их это не касается.

Дюма встретился с Гарибальди в Турине 4 января 1860 года, визит описал в «Монте-Кристо», был им очарован (Гарибальди был так обаятелен, что даже у ядовитого Герцена не нашлось для него злого слова), назвал «апостолом всеобщей свободы», сравнил с Христом; побывал на заседании его организации «Национе армата» и предложил написать мемуары — а он отредактирует. Гарибальди уже начинал писать автобиографию в 1849 году, отдал материалы американцу Теодору Уайту, его первому биографу, но с тех пор много воды утекло. Договорились, что материалами Дюма будет снабжать соратник Гарибальди Агостино Бертани. Дюма с Эмили поехал в Милан (там общался с гарибальдийцем, с которым познакомился в 1842 году у Листа, венгром Шандором Телеки), получил нужные бумаги на шхуну, дальше — Брешия, Венеция, Верона, Рим. Воротились в Марсель, опять проблемы, снова в Рим: просить французского посла Грамона о помощи. Тот предложил Дюма продать свой «долгострой» и купить у него за 13 тысяч франков шхуну «Эмма»: водоизмещение 78 тонн, клен, красное дерево, в отличном состоянии. (Убыток от всей операции — 22 тысячи франков.)

Дюма нанял капитана, отплытие назначил на апрель, 17 февраля вернулся в Париж. Подыскал спутников: художник Густав Ле Гре, только что сделавший лучшую фотографию Дюма (в грузинской одежде); другой художник — 22-летний Этьен Лакруа, сын актера, знакомого Дюма; Поль, сын Ноэля Парфе; врач Пьер Альбанель; переводчик Теодор Канапе; Василий; Эмили, из-за

известного суеверия переодетая мужчиной. Заключил договор на путевые очерки с «Конституционной» и «Веком»: обещал читателям «Грецию Гомера, Гесиода, Перикла и Августа, Византию, Иудею, Палестину, крестовые походы» и рассказы о Гарибальди, с которым рассчитывал еще раз встретиться в Генуе, а для начала опубликовал в «Веке» серию статей о конфедеративном будущем Италии.

Корпел над мемуарами Гарибальди, с документами плохо, то и дело молил Бертани прислать каких-нибудь историй. При этом успел основать газету «По четвергам» — «газету литературы и путешествий», от редактуры и управления вскоре отошел, благодаря чему газета успешно существовала почти до его смерти, печатая его старые и новые тексты и другую беллетристику, а также написать массу страниц прозы и несколько пьес. Роман «Мемуары Горация» из времен Древнего Рима, напоминающий «Актею», печатался в «Веке» с 16 февраля по 19 июля и не был завершен; Дюма работал над ним в одиночку, а с Шервилем написал роман «Папаша Горемыка» о том, как Ла-Варенн, где они провели прошлое лето, стал модным местом: понаехали парижане, приезжий соблазнил и бросил девушку, она сошла с ума, все погибли; публикация в «Веке» с 21 марта по 4 мая. Предположительно на основе неизданной рукописи Шервиля (либо одним Шервилем) написан роман «Маркиза д'Эскоман»: опять мужчина погубил женщину, только замужнюю; книжная публикация в Брюсселе. Леви за свои 120 тысяч старался выжать все: издал сборник периодики Дюма «Беседы» и сборник сказок «Папаша Жигонь». Оперетту «Роман Эльвиры» Дюма и Левена на музыку Амбруаза Тома поставила «Комическая опера» 4 февраля, романтическую драму «За кулисами заговора, или Сын Черного Дональда» в соавторстве с Полем Лакруа — «Водевиль» 4 июня, инсценировку «Сальтеадора» — «Порт-Сен-Мартен» 12 июня. Последних двух премьер Дюма не застал: 20 апреля он с командой выехал в Марсель, оттуда на неделю к Шарпийону, который заверил его завещание и распоряжения «на случай несчастья».

«Эмма» вышла из Марселя 9 мая: восемь членов команды, 11 пассажиров, собака Вальден и канарейки подробно описаны в путевом дневнике. Тем временем Гарибальди в ночь на 5 мая захватил в генуэзской гавани два парохода и с 1200 бойцами (их называли «Тысяча») направился завоевывать Сицилию (Кавур и Виктор Эммануил отвечали перепуганным европейским монархам, что они ни при чем). 11 мая «Тысяча» высадилась на острове и, разбивая по пути сицилийские войска и увеличиваясь за счет повстанцев с каждым часом, двинулась к Палермо. Так что

в Генуе, куда «Эмма» пришла 16 мая (после захода в Ниццу), Дюма своего героя не застал. Две недели он собирал документы, допрашивал людей и 31 мая закончил работу: в тот же день «Мемуары Гарибальди» начали выходить в «Веке» и печатались до 5 сентября. Поскольку имя Гарибальди было у всех на устах, успех получился бешеный. Леви выпустил книгу, последовали переиздания, переводы, словом, «Мемуары Гарибальди» читала вся Европа. Выходили и другие книги о Гарибальди, свою опубликовал Е. П. Карнович в «Современнике». Добролюбов — Некрасову, 4 сентября 1860 года: «Что это за чепуху написал он о Гарди!! Надо же было, чтоб ему попались самые дикие и бессмысленные книжонки по этой части. Ведь 9/10 того, что он пишет, вовсе не бывало. Уж лучше бы он взял просто мемуары Дюма да и передул бы их все целиком. Тот хоть и врет, но несколько связнее». Дюма, однако, не «врал», ибо целиком основывался на документах, которые ему давал Бертани, и рассказах гарибальдийцев; его работа считалась канонической до 1888 года, когда была опубликована собственноручная автобиография Гарибальди.

Но еще больший успех мог быть у книги, которая расскажет о приключениях Гарибальди не «вчера», а «сейчас»; биограф решил следовать за героем. Увы, он не был первым — Максим дю Кан уехал с «Тысячей» (и потом написал книгу), но еще не поздно присоединиться. Кроме того, ему хотелось видеть, как падут сицилийские Бурбоны, — месть за отца. Да и вообще, как мог журналист не хотеть участвовать в подобной экспедиции!

Мире, редактор «Конституционной», узнав, что Дюма решил изменить маршрут, отказался продолжать публикацию его заметок. Взялся Жирарден и не прогадал: жанр военной журналистики был в новинку, и «Пресса» увеличила тираж благодаря отчетам Дюма. В 1861 году они в сокращенном виде вышли книгой «Гарибальдийцы». Это сухой текст, в котором нет почти ничего о личных приключениях автора, — классика военной корреспонденции. В 1862 году Дюма написал и опубликовал в «Монте-Кристо» другой текст, «Вива Гарибальди», — там больше о личности Гарибальди; наконец, был третий вариант, с собственными приключениями, «Гарибальдийцы: Одиссея» — он частично печатался в разной периодике, целиком не был издан, в 1929 году англичанин Гарнетт опубликовал его в переводе под названием «На борту „Эммы“», и лишь в 2004 году Шопп издал книгу на французском языке.

27 мая Гарибальди осадил Палермо, 30-го генерал Ланца сдал город и заключил перемирие; Гарибальди объявил Бурбонов

низложенными, себя — наместником от имени Виктора Эммануила. Король обеих Сицилий Франциск II сидел в Неаполе, просил Луи Наполеона заступиться, тот посовещался с Кавуром и предложил Франциску, оставшись королем материковой части, заключить союз с Пьемонтом. Франциск согласился и 6 июня подписал бумагу, что отказывается от Сицилии. К 10 июня, когда экипаж «Эммы» высадился в Палермо, все было кончено, жители Палермо спешно перекрашивались в гарибальдийцев: «Простая красная хлопчатобумажная рубашка теперь стоит целых 15 франков, и в результате все улицы и общественные места кажутся огромными маковыми полями». По улицам волокли голову, отбитую у статуи Фердинанда, — Дюма, всегда жалостливый к памятникам, позлорадствовал. 11 июня встретились с Гарибальди, восторг (во всяком случае, со стороны француза), объятия. Гарибальди жил в королевском дворце, Дюма отвели комнату там же. Не стоит думать, что он восторженно воспевал победу: ему была свойственна восторженность в отношении людей — 20 июня он писал Гарибальди: «Мой дорогой генерал, ускользните от неаполитанских кинжалов, станьте главой республики; умрите столь же бедным, как жили, и вы станете более великим, чем Вашингтон», — но не событий.

Разруха была ужасная: «Вчера, когда мы шли среди городских развалин, две бедные женщины показали нам хлеб, который они купили, жалуясь на дороговизну. Каждое утро, однако, у ворот дворца адъютанты Гарибальди распределяют между бедняками хлеб и деньги… Суеверное население не может понять этого: они едва не умерли от голода при католическом вице-короле, а теперь их кормит отлученный от церкви генерал. Священник брат Джон, однако, прилагает все усилия, чтобы объяснить им ситуацию на свой лад, говоря, что Пий IX — Антихрист, а Гарибальди — Мессия». Шла охота на полицейских агентов — толпа забивала их насмерть: «Время от времени вы слышите крик „Крыса! Крыса!“. (Это прозвище, данное населением агентам тайной полиции.) Услышав его, все сбегаются. Слышен крик боли, человек падает. Возможно, это агент, возможно, нет, но в любом случае вы увидите труп. В течение первых дней после прибытия Гарибальди они имели обыкновение приводить „крыс“ к нему, чтобы он их судил; но, как все великие военачальники, Гарибальди прежде всего милосерден. Мало того что он отпускал этих незадачливых негодяев, он давал им своего рода паспорт. Когда жители Палермо увидели это, они взяли закон в свои руки. Если, однако, сравнить несколько убитых „крыс“ с тысячей или тысячей двумястами жителей Палермо, тоже убитых, сожженных или замученных неаполитанцами, очевидно, что народная месть

осуществляется в весьма скромных масштабах. Я не сужу, я лишь пытаюсь привести доводы „за“ и „против“, всегда лишь относительно связанные с истиной. Всегда есть конфликт интересов, и все преувеличивают злодеяния противника… Я просто описываю то, что вижу своими глазами». Его упрекали в преувеличениях, но убийства «крыс» и прочие жестокости подтверждались свидетельствами других иностранцев, например швейцарского консула Хирцеля.

Гарибальди уезжал из Палермо на несколько дней, вернулся — толпа встречала его цветами, Дюма, вышедшего с ним на балкон дворца, тоже приветствовали. «О, как я счастлив после тридцати лет борьбы и тяжелого труда! Если у Франции ничего нет для ее поэтов, кроме тернового венца и изгнания, в чужих странах их встречают короной и триумфальными колесницами. Дорогой Гюго, дорогой Ламартин, как бы я хотел, чтобы вы, два самых близких моему сердцу человека, были со мной на этом балконе! Разделите триумф со мною, нет — возьмите весь; вы — два гиганта нашей эпохи, а я лишь маленький знаменосец легиона». Современники смеялись над этими словами, но он не преувеличивал восторг толпы, хотя заблуждался насчет ее мотивов: приветствовали его скорее как одного из приближенных Гарибальди. Журналист Анри Дюран-Браге, автор монографии об экспедиции «Тысячи», очевидец, писал: «Дюма, живший во Дворце, не смог ускользнуть и стал героем церемонии. Во второй половине дня толпа заняла места напротив окон и кричала: „Вива Дюма! Вива Италия! Вива Дюма! Вива свобода! Вива Гарибальди! Вива Дюма!“ и т. д. „Кто такой Дюма?“ — спрашивал один из зевак. „Не знаю, — отвечал другой, — может, это брат короля Неаполя, а может, богатый черкесский принц, который приехал подарить сицилийцам денег и свой корабль“. Разумеется, образованные люди знали популярного романиста, но бедняки, не умевшие читать, никогда о нем не слыхали».

Гарибальди задержался на Сицилии на два месяца. Он освободил политзаключенных, начал организацию школ и приютов, раздал часть государственных земель крестьянам. Но его власть распространялась лишь на окраину острова; надо было отправлять отряды вглубь. 21 июня Дюма и его спутники (кроме Эмили) выехали с отрядом венгра Иштвана Турра (400 человек) в Катанью. Горман: «Не было никаких сражений, никаких волнующих приключений, и Дюма быстро заскучал. Угрюмые крестьяне были неинтересны; военные корреспонденты были унылы и недружелюбны; командир не обращал никакого внимания на советы Дюма… он предпочел мягкую постель во дворце походной кушетке. Он решил, что насмотрелся на

Сицилию, и вернулся в Палермо». Такие описания рождаются в умах биографов, которые, в отличие от Дюма, пишут «из головы», не трудясь заглянуть хоть в какой-нибудь документ. Дюма опубликовал отчет о каждой деревне, которую они проехали: как устанавливалась новая власть, сколько человек на стороне гарибальдийцев, сколько против, кто командует; дал характеристику каждому наместнику. Несколько глав «Одиссеи» он посвятил «угрюмым крестьянам, которые были ему неинтересны» и, в частности, бандиту Санто-Мели, который называл себя революционером, а был мародером; 25 июня в деревне Виллафрати его поймали: «Турр считает его виновным и хочет показать всей Сицилии правосудие».

Мать Санто-Мели к Турру не пустили, она пошла к Дюма, тот устроить встречу с Турром не смог, но выхлопотал разрешение повидаться с сыном, сам с ним разговаривал. «Я говорил о нем с большинством чиновников, но они были настолько безразличны, что, казалось, не понимали, кого я имел в виду. Если мне удавалось им втолковать, они говорили: „А, бандит, которого расстреляют завтра?“ Боже мой! Как можно быть судьей или прокурором — человеком, который ежедневно требует отнять жизнь одного из своих собратьев, — и сохранять добрую улыбку и ясный взгляд? Я могу понять пыл охотника, что в запале безжалостно убивает все, от перепелки до кабана, не жалея одну и не боясь другого, но я не могу назвать спортсменом человека, который скручивает шею цыпленку или режет горло свинье». (Слово «спортсмен» употреблялось в значении «играющий честно», «поступающий по-джентльменски».) На суде «обвиняемый утверждал, что его действия были санкционированы прокламациями революционного комитета Палермо… У него было три или четыре сотни человек, так что он вынужден был добывать пропитание всеми возможными средствами. Что касается сожженных домов, то были дома, из которых стреляли в его людей, и он защищался. Он просил взвесить услуги, которые он оказал восстанию, и зло, которое он сделал, и судить беспристрастно». Процесс длился три дня, и дело отправили на доследование. «Это хорошо, это покажет, как отличается правосудие роялистов, этих „людей порядка“, от правосудия „кровавых революционеров“. (1848 год: „Я с ними… теми, кого называю людьми Порядка“. — *М. Ч.)* 5 апреля роялисты приговорили к казни 14-летнего подростка, а революционеры в Виллафрати не смогли сразу осудить человека, который признался в поджогах и грабежах». (Разбирательство длилось до осени, Санто-Мели расстреляли.)

Все это время экспедиция не знала, что делается на материке,

наконец попалась газета: 25 июня Франциск II дал Неаполю конституцию. «Поскольку то была третья конституция, которую давали Неаполю и потом отменяли, не много доверия было и к этой». Гарибальди готовился к бою с неаполитанским флотом. Турр дошел до Катаньи, там Дюма и его спутники сели на «Эмму»: надо определиться, что делать дальше. Дюма хотел следовать за Гарибальди и помочь с покупкой оружия, написал ему, 7 июля получил «добро» от его сына Менотти; 8-го «Эмма» отплыла на Мальту, и там произошла ссора, в результате которой Эмили, Поль Парфе, Канапе и, разумеется, Василий остались с Дюма, остальные покинули «Эмму». Лакруа писал родителям, что Дюма его «бросил без гроша». Дюма утверждал, что его спутники не хотели ездить за Гарибальди, а желали продолжить круиз, и расстались они мирно. Но спутники Дюма уехали не домой и не в круиз, а в Сирию, где провели несколько лет в качестве военных корреспондентов. Парфе в письме Мишелю Леви намекнул, что дело в женщине: Дюма «пытался отодвинуть молодого человека», видимо Лакруа, от Эмили. (Измена, вероятно, была, так как потом, когда они с Эмили разошлись, он писал, что простил ей «нечто», но после «этого» совместная жизнь невозможна.)

14 июля «Эмма» вернулась в Катанью, там Дюма ждало письмо от Гарибальди: надо купить оружия и красной ткани для рубашек. «Гарибальдиец в синей или белой рубашке — не гарибальдиец вовсе». Надо было найти в море Гарибальди и получить распоряжения насчет денег. 17-го отплыли, 18-го пересекли залив Мессина: «Город ждал бомбардировки с минуты на минуту и выглядел как умирающий человек…» Издали видели перестрелку между кораблями Гарибальди и неаполитанцев, 19-го сошлись у мыса Милаццо, Гарибальди дал бумагу к муниципалитету Палермо: открыть кредит на 100 тысяч франков; Дюма сказал, что хочет издавать в Палермо газету, и получил добро. Но в Палермо ему заявили, что бумажка ничего не значит: Гарибальди убьют — кто погасит кредит?

Гарибальди убит не был, а 20 июля разбил неаполитанцев при Милаццо и овладел всем островом. Он телеграфировал Дюма, чтобы тот взял кредит в банке, там его выдали, но только на 60 тысяч. Договорились: Дюма едет в Марсель за мушкетами и карабинами, другой человек — в Льеж за револьверами. 28 июля «Эмма» пришла в Мессину, там еще раз встретились с Гарибальди (он готовился к экспедиции на материк), оттуда Дюма с Эмили (беременной) 29 июля отплыл в Марсель на пассажирском пароходе — так быстрее. (В те дни на Сицилии произошло восстание крестьян против гарибальдийцев в деревне Бронте, 150 человек были казнены без суда. Он, разумеется, знал об этом. Но

писать не стал.) 31-го пароход остановился в Неаполитанском заливе, прибежали люди, спрашивали, где Гарибальди, Дюма счел их провокаторами, отказался отвечать. Вот за какие пассажи в его путевых заметках (и мемуарах) над ним смеялись, вот что раздражало:

«— Ведь вы г-н Александр Дюма? — спросил один из них.

— К вашим услугам, — ответил я, — но с кем имею честь?

— Я офицер полиции…

— Я здесь под защитой французского флага, — сказал я, — и если вы собираетесь остановить меня…

— Остановить вас! Вас, автора „Корриколо“, „Сперонары“! Но, месье, мои дети изучают французский по вашим книгам! Остановить вас! Что за мысль!»

На следующий день — остановка в порту Папского государства Чивитавеккья, Дюма сойти на берег не позволили: он прогневал папу, опубликовав брошюру «Папа против Евангелий», в которой писал, что нехорошо наместнику Господа добиваться земной власти и денег, рассказал историю папства: убийства, прелюбодеяния, стяжательство. Не удалось установить, где она была опубликована впервые — до нас дошло неаполитанское издание 1861 года, где к основному тексту прилагались письма журналисту Артуру де ла Героньеру, автору брошюры «Папа и конгресс», призывавшей папу отказаться от светской власти, его антагонисту Дюпанлу, епископу Орлеанскому, и кардиналу Антонелли, секретарю Пия IX. Следствием этой брошюры, вероятно, стало то, что в 1863 году Пий включил романы Дюма в «Индекс запрещенных книг» и они там числятся до сих пор. Брошюру, совсем забытую, нашли в Италии в 1921 году, хотели переиздать, но Муссолини запретил. Во Франции она вышла в 1860 году и никого не заинтересовала. Элифас Леви: «Пусть Дюма напишет великолепную утопию или найдет удивительное решение религиозной проблеме — его открытия сочтут только забавным капризом романиста, и никто не примет их всерьез…»

4 августа высадились в Марселе, Эмили уехала к родителям, Дюма занялся покупками. Горман: «Он провел шесть приятных дней в роли собрата Гарибальди. Он надувался от важности, заказывая оружие и боеприпасы, и исчез так же стремительно, как прибыл». Как легко, играя словами, написать что-нибудь гадкое! «Надувался от важности» — а что, биограф видел, как он «надувался»? «Приятных дней» — откуда биограф знает, приятны они были или нет? «В роли собрата» — почему в роли, если его послали как армейского снабженца? «Исчез стремительно» — а что, если бы он «исчез постепенно», это говорило бы в его пользу? Сколько нужно было дней, столько и пробыл, сделал покупки и

уехал. Шарль Гюго (сын Виктора): «Революция — его профессия… В Париже, Риме, Варшаве, Афинах, Палермо он по мере сил помогал патриотам, когда они оказывались в отчаянном положении. Он дает советы мимоходом, с видом человека, крайне занятого, и пусть люди поспешат ими воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще 25 томов». Доброжелательно, но с каким высокомерием! Отчего «мимоходом», если он посвятил итальянским делам несколько лет жизни? Да, человек шумный, много говорит о себе. Но вы почитайте, что он пишет о федерации и конфедерации, о тонкостях итальянской политики… Почему же «мимоходом»?

Он купил 500 карабинов, 950 винтовок, патроны — все расписал, что почем. По его словам, незнакомые люди приходили и давали деньги, он добавлял свои — всего потратил 91 тысячу франков. Вернулся на пароходе, для оружия нанял грузовое судно. 14 августа в Мессине пересел на «Эмму», 16-го был в Салернском заливе, оружие подвезли, сдал его помощнику Гарибальди и узнал, что Виктор Эммануил вызвал генерала в Турин и намерен препятствовать походу на материк. Но это был отвлекающий маневр Кавура: 19 августа Гарибальди под прикрытием пьемонтского флота высадился на материке и разбил неаполитанцев при Монталеоне. Неаполь в смятении, на «Эмму» приходили праздновать и узнавать новости те, кто ждал Гарибальди, никто толком не понимал, что делается. В городе говорили об «Эмме»: зачем пришла, зачем стоит, не может быть, что просто так: надо полагать, ее владелец — доверенное лицо Гарибальди, а Гарибальди вот-вот разобьет короля, надо успеть перейти на сторону победителя. Началось паломничество чиновников всех рангов на «Эмму». Дюма, по-видимому, не очень старался опровергать слухи о его особой миссии. Он получил письмо от министра внутренних дел Неаполя Либорио Романо, который пытался выяснить, какова миссия «Эммы». Дюма ему отвечал, что умному человеку стоит перейти на сторону Гарибальди, а тому писал: «Романо в Вашем распоряжении с как минимум двумя министрами… При первой возможности, которая освободит его от присяги, он объявит короля смешенным, а вас — диктатором».

24 августа «Эмма» перебралась в Неаполитанский залив, там всё то же: приходят люди, приносят сплетни, спрашивают новости. Был Романо, приходили представители «Комитета действия», революционной организации, созданной Филиппом Агрести и Джузеппе Либертини, спрашивали, не пора ли учредить Временное правительство. «Я ответил, что не уполномочен обсуждать такой серьезный вопрос, но так как мне оказали честь,

консультируясь со мной, я сказал, что формирование временного правительства не кажется мне такой уж срочной необходимостью и достаточно одного временного диктатора; на мой взгляд, это должен быть Романо. Я добавил, что, поскольку я никогда ничего не скрывал от Генерала, то немедленно напишу ему и расскажу об их визите. Этот ответ вызвал у делегации такую бурю эмоций, что один из ее участников оставил „Эмму“, забыв на борту свою шляпу, да так за ней и не вернулся». Сочиняет, не могли серьезные люди ходить к нему советоваться? Но вспомним, что не было телевидения, радио, телефонов, и представим ситуацию: по слухам, правитель вот-вот сбежит; по слухам, придет новый грозный человек; узнать о планах этого человека никто ничего не может, ибо с ним нет связи; корабль, стоящий в порту, принадлежит, по слухам, доверенному лицу этого человека; как не прийти, не попытаться прощупать обстановку — вдруг ему известны намерения Гарибальди? Наверное, то были самые счастливые дни в жизни Дюма…

1 сентября он писал Гарибальди: рекомендовал сделать Романо наместником и просил для себя должность руководителя археологических раскопок в Помпеях. Они были начаты в 1748-м, в последние годы их вел археолог Джузеппе Фиорелли, но в 1848-м он попал в тюрьму за политику и работы остановились. Дюма об этом, разумеется, знал. Но думал, что справится не хуже ученого. «Вы хотите, чтобы журналисты, художники, живописцы, скульпторы и архитекторы всего мира возликовали? Тогда издайте декрет: „Исследования в Помпеях должны быть возобновлены, как только я войду в Неаполь“. Подпишите: „Дж. Гарибальди, Диктатор“». Он в каждом письме просил Гарибальди (разумеется, безрезультатно) называть себя диктатором — для внушительности. Да, демократия, да, республиканские идеалы, а все же есть частица сердца поэта, что при слове «диктатор» сладко трепещет; что-то романтическое, былинное, мужественное; вы едва ли найдете много литераторов, которые совсем не верили в «доброго диктатора»… Он звал генерала в Салерно: не нужно даже армии, все готовы его признать. 25 августа: «Нет ничего более удивительного, чем то, что сейчас происходит у нас на глазах. Трон не падает или шатается, он просто рассыпается. Этот бедный маленький король не понимает, как его вдруг поглотили волны этой странной революции. Он задается вопросом: что он сделал, как получилось, что никто не поддерживает его, никто не любит? Он ищет, что за невидимая рука гонит его. Это — рука Господа».

2 сентября Франциск II сказал французскому послу, что прибывшие на «Эмме» баламутят людей и должны убраться.

Посол передал: если шхуна не уйдет, по ней откроют огонь. Отошли в залив Кастелламаре, теперь новости и сплетни привозили на лодках. 3 сентября узнали, что Гарибальди высадился в Калабрии. 6-го Франциск решил покинуть Неаполь, и Дюма тут же сменил тон по отношению к нему, отмечая «благородное нежелание проливать кровь». 8-го — «молния»: накануне Гарибальди вошел в Неаполь, Романо назначен главой временного правительства, неаполитанские войска отступили в Капую. В тот же день «Эмма» вошла в Неаполь; как пишет Дюма, Гарибальди, увидав его, вскрикнул от радости, и они, плача, обнялись. Опять не верят, хотя что тут такого? Почему человеку не обрадоваться, встретив своего биографа, не обнять его — ну, может, и без слез… 14 сентября Дюма указом Романо был назначен на должность «хранителя древностей», включавшую руководство Национальным археологическим музеем. Поселили его (наряду со многими чиновниками) в Кьятамоне, бывшем королевском дворце. (Улица, на которой дворец стоял, теперь называется именем Дюма.) Одно плохо: Гарибальди отправил Романо в отставку и назначил наместником своего соратника Агостино Бертани (а Кавур еще прислал вице-наместником своего человека Джорджио Паллавичино). Сам Гарибальди почти сразу уехал — двигать армию на север.

Дюма, оставшийся без обоих покровителей, занялся древностями. О его деятельности по организации раскопок принято писать в юмористическом тоне, но тогда ее так не воспринимали. Мир действительно возликовал, 9 октября «Нью-Йорк таймс» писала: «Все путешественники и любители археологии рады узнать, что Помпеи и Геркуланум попали в руки Александра Дюма и он получил право открыть их красоту миру». Но сразу возникли проблемы. Гарибальди, не доверявший Дюма как специалисту и назначивший его на пост, видимо, чтобы отблагодарить и отделаться, дал крохотный бюджет и просил только сфотографировать руины и разослать снимки в газеты. Дюма же хотел вести раскопки и реконструировать хотя бы одно здание. Он намеревался выписать из Парижа ученых и художников, но на это нужны деньги; он обращался с просьбами к Виктору Эммануилу, но ответа не получал. Все же нанял 500 рабочих и начал подготовку к раскопкам. Но 20 декабря король назначил на его место того, кому оно принадлежало по праву, — Фиорентино. Музей ему пока оставили: занялся каталогизацией. Известна по крайней мере одна серьезная работа, проделанная (хотя не полностью) под его руководством: каталог «Ракколты порнографики», коллекции эротических скульптур и фресок из Помпеи. Она была создана в 1819 году, но в 1849-м, дабы не

оскорблять верующих, ее закрыли и отправили в сырой подвал. Дюма и его сотрудники составляли каталог и приводили в порядок экспонаты до 1863 года, когда Виктор Эммануил и на должность директора музея назначил Фиорелли. (При Муссолини коллекцию спрятали по тем же соображениям, что и в первый раз.)

По должности Дюма имел доступ к архивам Неаполя; он начал писать на итальянском языке исторический труд «Неаполитанские Бурбоны» и на французском — обзор древней архитектуры и культуры «Неаполь и окрестности»: первый публиковался в его итальянской газете «Независимая» в 1862 году, второй — во Франции в газете «Мир» в 1861-м (и в 1863-м в его переводе в «Независимой»). С газетой проблемы возникли еще до выхода первого номера: Гарибальди не захотел взять ее под патронаж, ограничившись письмом «К сицилийцам» от 21 июля: его друг будет издавать газету, и он ее «рекомендует». 24-го местные газеты напечатали письмо Дюма: новое издание будет «не газетой банкиров и аристократов, как „Таймс“ или „Морнинг пост“», а «народной газетой»; у нее будут корреспонденты в европейских столицах, и нужно всего-то шесть тысяч подписчиков. Он рассчитывал на правительственное финансирование, осаждал Гарибальди просьбами, но ничего не добился, а вскоре генерал перестал отвечать на его письма. 7 октября: «Когда я говорю, что Вы обо мне забыли, я говорю: Вы забываете самого себя. Зачем мне стремиться к власти — она нужна мне лишь для того, чтобы помогать Вам!» Романо помог в организационных вопросах, но денег дать не успел. И все же 11 октября «Независимая» вышла на личные средства Дюма; в первом номере он объявил краудфандинг, и пожертвования если не лились рекой, то на издание их пока хватило. Газета печаталась в Палермо, затем в Неаполе на французском и итальянском языках, редакция помещалась во дворце Кьятамоне, основных сотрудников (журналистов и редакторов одновременно) двое: Дюма и двадцатилетний итальянец Эуженио Торелли, участник «Тысячи».

Уже через несколько дней после того, как Дюма обосновался в Неаполе, он начал раздражать местных чиновников: приехал, живет за счет муниципалитета, устраивает оргии, истребляет дичь в королевских угодьях; они жаловались на него Гарибальди. «Неаполитанский народ похож на любой другой; ждать от народа, что он не будет неблагодарным — все равно что требовать от волка, чтобы он питался травой…» — писал Дюма в ноябре в эпилоге к «Одиссее» и объяснял: на помещение во дворце был заключен арендный договор, а питался он не за счет

муниципалитета, а по договору с рестораном Кроселля, и приводил копию оплаченного счета на тысячу франков. Этот счет вызвал еще большее негодование: сколько же можно съесть за такие деньги! «Гарибальди сказали, что я тратил пятьдесят пиастров в день и что у меня постоянно было двадцать гостей за столом, но он просто ответил своим мелодичным голосом: „Если двадцать человек садятся за стол Дюма, я уверен, по крайней мере, что это — двадцать моих друзей“». Трудно сказать, правда ли это: осенью они с Гарибальди не виделись, и письма к нему оставались без ответа.

Гарибальди было не до своего биографа. Он разбил королевские войска при Вольтурно (Франциск отступил в Гаэту) и собирался взять Рим. Но Виктор Эммануил и Кавур не хотели усиления его влияния: 18 сентября они своими силами разбили армию Папского государства. (В армии Пьемонта воевал сын герцогини Орлеанской, младший из двух мальчиков, которых едва не растерзала толпа в 1848 году.) Но брать Рим Кавур не хотел — Луи Наполеон, хотя и враждовавший с папой, но не желавший прослыть врагом христианства, был против. Завоевать юг Италии, и довольно: Гарибальди велели идти в Капую. 21 октября в бывшем Неаполитанском королевстве прошел референдум: 1 миллион 742 тысячи за присоединение к Пьемонту, 10 тысяч 600 — против; 26-го в Теано Гарибальди встретился с Виктором Эммануилом и приветствовал его как короля Италии. 2 ноября взяли Капую, 5-го приступили к осаде Гаэты. Гарибальди просил оставить его наместником Неаполя «до стабилизации обстановки». Король сказал, что в его услугах не нуждается. Дюма был в бешенстве: сколько раз уже он видел, как «сливают протест» и все революционеры наступают на одни и те же грабли, но что он мог, кроме как писать возмущенные статьи в «Независимую»? Гарибальди уехал на Капреру, его соратник Мадзини — в Лондон, чтобы собирать деньги и вербовать добровольцев. Бедняги, они еще на что-то надеялись.

Бертани, наместник Неаполя, относился к Дюма плохо, теперь его сменил Паллавичино, чье отношение было еще хуже. Но, надо отдать должное Кавуру, закрыть «Независимую» не пытались, хотя она отныне была посвящена разоблачению происков Кавура и восхвалению Гарибальди. Историк Бенедетто Кроче назвал газету «более гарибальдийской, чем сам Гарибальди», так радикальна она была; французский консул в Ливорно доносил министру иностранных дел, что Дюма призывает изгнать Виктора Эммануила из Неаполя. Он предлагал создать конфедерацию, где север и юг, Пьемонт и Неаполь, были бы равными партнерами, и Неаполь стал бы республикой. Он

также продолжал публиковать статьи против папы и Дюпанлу, живущих не по евангельским заветам. Все это злило итальянцев: не учи нас жить!

Но сперва «Независимая» пользовалась популярностью: в Неаполе осталось немало сторонников Гарибальди, а она была единственной газетой, где о нем писали. Материалы из «Независимой» перепечатывались в «Монте-Кристо» (где был теперь другой редактор, Кальве), в свою очередь, для «Независимой» Дюма переводил на итальянский язык свои романы. Новой беллетристики не писал — некогда. Многострадальную пьесу «Графиня Монсоро» доделал Маке, премьера состоялась 19 ноября в «Амбигю комик», на афише значились оба автора, Дюма приезжал, вероятно, надеясь на встречу, — Ноэль Парфе всю осень уговаривал его: «Я искренне верю в то, что, советуя Вам вновь сойтись с Маке, даю хороший совет — никто из людей, любящих Вас, не осудит меня за это… Скажите только слово — и дело будет сделано». Дюма отвечал: «Покажите Маке Ваше письмо и скажите, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем Ваше предложение…» — но Маке уклонился. Дюма просил Парфе передать бывшему соавтору, что вновь предлагает совместные инсценировки, и получил отказ. Продолжались разборки из-за инсценировки «Бражелона», которую соавторы начали писать еще в 1851 году; в конце концов пьесу под названием «Узник Бастилии» поставил «Имперский театр-цирк» 22 марта 1861 года. Дюма — сыну, 29 декабря 1860 года: «Маке — тип, с которым я больше не желаю иметь ничего общего. Он получил за меня гонорар и должен был его мне передать, но вместо того, чтобы оставить себе третью часть за „Гамлета“, в создании которого он никогда не участвовал, и две трети за „Мушкетеров“ („Узника Бастилии“. — *М. Ч.),* он присвоил все. В моих глазах он — вор. Мои книги принадлежат мне. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и для того, чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговый сбор. Но, пока я жив, мой друг Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами».

24 ноября 1860 года Луи Наполеон издал декрет: парламенту разрешается обсуждать правительственные законы, газетам — публиковать обсуждения. Почему он это сделал, ведь ни палата, ни «креативный класс», ни «народ» особой активности не проявляли? Но, будучи, как все диктаторы, в какой-то степени полоумным, он не был параноиком: зачем давить, когда можно сделать так, чтобы тебя благодарили? Состав парламента все равно такой, что все одобрит. Образованные парижане любят

читать в газетах прения? Читайте… Он даже разрешил издание нескольких более или менее оппозиционных газет, где критиковали ультрамонтанов: его раздражали их нападки на то, что он слабо поддерживает папу. Церковь несколько своевольничает — нужно показать, кто в доме хозяин. А у Дюма — горе: Эмма Манури-Лакур умерла 26 ноября 1860 года. И радости: 20 ноября Надежда Нарышкина родила ему внучку Мари Александрину Анриетту, а 24 декабря Эмили — дочку Микаэлу.

Эмили, 1 января 1861 года: «Ты знаешь, детка моя дорогая, что я хотел девочку; я тебе объясню почему. Я вижу сына сколько хочу, а дочь Мари вижу не чаще раза в год, и вся любовь, предназначенная Мари, перейдет к нашей дорогой дочурке… Не вставай и не ходи, пока я не приеду… Я собираюсь быть в Париже 12-го, тут масса дел, я должен написать достаточно статей для газеты, и мы основали комитет по выборам (в итальянский парламент. — *М. Ч.),* где я заседаю дважды в неделю… Если в течение первых месяцев ты не хочешь разлучаться с нашей деткой, мы поселимся на Искье[25], где самый лучший воздух и самые красивые места в Неаполе, и я буду проводить с вами по два-три дня в неделю…» Эмили хотела жить не на Искье, а в королевском дворце, Дюма в Париж не выбрался, ссорились, Эмили жаловалась, что ребенок болеет. «Боже мой! я люблю этого ребенка как самого себя… Наше единственное несчастье — муки бедной Микаэлы, но, моя бедная любовь, это несчастье нас не отдаляет, а сближает!» В феврале 1861 года Эмили приехала в Неаполь, через пару недель кормилица привезла дочь. Отец о ней: «Щеки как у рыбки и мизинец все время засунут в рот… Хотел бы говорить о цвете волос, но там пока только немного цыплячьего пуха…» Он хотел, чтобы крестным ребенка стал Гарибальди, крестной — Селеста Могадор, долго списывался с обоими, но из затеи ничего не вышло. Генерал стал к нему совсем равнодушен.

Завоевание Королевства обеих Сицилий завершилось 13 февраля 1861 года, когда пьемонтским войскам сдалась Гаэта. Тоскана, Парма, Модена и Романья были присоединены к Пьемонту, и Виктор Эммануил 17 марта в Турине провозгласил создание королевства Италия. Гарибальди на церемонию не позвали — а кто он такой?

Глава семнадцатая
СПРУТ

«Независимая» не только изливалась в любви к Гарибальди и проклятиях Кавуру, она была добросовестной и оперативной, информацию о многих событиях можно было найти только в ней. 5 марта 1861 года она сообщала, что сотни пленных из армии Франциска II брошены без ухода и умирают от тифа — остальная пресса хранила молчание. Она первой сообщила о загадочном исчезновении в ночь на 5 марта парома «Геркулес», шедшего из Палермо в Неаполь. 800 пассажиров пропали, среди них Ипполито Нуэво, летописец «Тысячи», другие газеты молчали, власти — тоже, Дюма трижды ходил к судовладельцу, тот отвечал, что паром найдется. Дюма снарядил за свой счет поисковое судно, 12 марта оно вышло в море, а 13-го «Независимая» высказала предположение о кораблекрушении. Дальше отмалчиваться было нельзя, власти заявили, что паром затонул, вероятно из-за непогоды. «Независимая» в ответ приводила сводку — погода была отличная и другие суда не пропадали — и намекала на теракт. Поиски продолжались, теперь все газеты Неаполя перепечатывали отчеты «Независимой». Поисковое судно 24 марта обнаружило предполагаемые останки парома, но газеты уже занялись другой новостью — о фальшивых деньгах. «Независимая» еще несколько недель продолжала сражение, недоумевая, почему флот не идет искать «Геркулеса» и почему всем плевать на гибель восьмисот человек, но ничего не добилась. (Катастрофу так и не расследовали.)

18 марта газета «Народ Италии», издаваемая сторонниками Мадзини, обвинила Дюма в присвоении денег, выданных ему на покупку оружия. Он вызвал на дуэль Филиппа де Бони, редактора (тот отказался), приводил расписки, которые дал ему в Мессине тогдашний заместитель Гарибальди Агостино Депретис, умолял того подтвердить их подлинность — Депретис, уволенный со всех постов, молчал. Расписки найдены и хранятся теперь в государственном архиве в Риме, правда, по ним сложно понять, все ли деньги пошли на оплату оружия; сам Дюма то жаловался, что потратил свои 30 тысяч франков, то хвалился сыну, что «получил 10 тысяч прибыли», — дело мутное. Другой конфликт — с каморрой, неаполитанской мафией, возникшей в XVIII веке и всегда дружившей с королями; когда Франциск II бежал, Либорио Романо просил главаря каморры Де Крешенцо поддержать порядок в городе. Каморра совсем распоясалась, коррупция и

рэкет достигли ужасающих размеров, людей похищали среди бела дня, на улицах стреляли, правительственные газеты об этом не писали, возмущалась опять одна «Независимая». В 1862 году Дюма издал подборку своих статей о мафии брошюрой «О происхождении разбоя, причинах его распространения и способах уничтожения».

«Разбой в Южной Италии… обычное занятие, не хуже любого другого. Разбойником становятся так же, как становятся булочником, портным, сапожником. В этом нет ничего предосудительного; отец, мать, брат, сестра отнюдь не считаются запятнанными ремеслом их сына или их брата, ибо и само это занятие не является пятном для тех, кто избрал его. Разбойник работает восемь месяцев в году… он встречается с мэром, приветствует его, мэр отвечает ему тем же; зачастую они друзья, а то и родственники. С весной он достает свое ружье, пистолет, кинжал и уходит в горы. С тех пор как в Неаполе существует правительство (а я просмотрел все архивы с 1503 года до наших дней), оно временами выпускает постановления против разбойников, и, что любопытно, постановления испанских вице-королей ничем не отличаются от постановлений пьемонтских правителей, ведь преступления все те же. Это кражи со взломом, грабежи, вымогательства с угрозой поджечь дом, изувечить, убить; убийства, увечья и поджоги в случаях, когда угрозы не подействовали». Он анализировал причины: сельская страна, неграмотная, раздробленная, без дорог, как Вандея, только хуже. Запреты ничего не дадут, развивать промышленность и просвещать — иного пути нет. Историк Бенедетто Кроче: «Человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов проанализировал условия проведения аграрной реформы в Южной Италии». Каморра стала слать письма с угрозами — муниципалитету пришлось выделить Дюма охрану. Любви к нему это не прибавило. Что он всюду лезет? Подумаешь, мафия, мы всегда так живем…

Дюма издал сборник статей «Гарибальди и Италия»: «Гарибальди в Палермо», «Гарибальди в Риме», «Ранение Гарибальди» и т. д. Его герой не откликнулся. 12 апреля началась Гражданская война в США, Гарибальди предлагал услуги Линкольну, но тот его не пригласил (зато у северян воевали оба сына Елены Орлеанской). Странно, что Дюма не собрался в Америку, — он так любил посылать туда своих героев… Но ему было не до того. Выпустив 18 мая последний номер «Независимой», он уехал в Париж. Все плохо: газета не приносила прибыли, мафия сердилась, неаполитанцы все время его в чем-то подозревали, отношения с Эмили испортились, видимо, она опять

изменила: «Я прощаю Вас, потому что у Вас не было намерения причинить мне боль… несчастный случай произошел в нашей жизни, он не убил мою любовь, я люблю Вас так же, как всегда, но только теперь люблю так, как любят что-то потерянное, что-то мертвое; призрак»; муж Мари оказался душевнобольным и бил ее, она поселилась в монастыре в Отейле и начала судебный процесс — не о разводе, который был по-прежнему запрещен, но об утверждении раздельного проживания.

Дома, во Франции, — тишина… Палата все одобряет, пять оппозиционных депутатов начали требовать свободы печати — кого запугали, кого перекупили… Правительство потихоньку само закладывало под себя бомбу — экономическую: за 10 лет государственные расходы возросли с полутора миллиардов до двух, увеличили налоги — не помогло; начались масштабные госзаймы. Но никто не чувствовал опасности. Зато много обсуждали итальянские дела: финансы расстроены, посреди страны торчит занозой Папское государство, Виктор Эммануил провозгласил Рим столицей, должны последовать какие-то шаги, но Кавур умер… Дюма только об Италии и писал: заканчивал «Неаполь и окрестности», издал сборник «Документы по истории Неаполя», написал на основе старой пьесы «Лоренцино» повесть «Ночь во Флоренции». Главный труд — «Неаполитанские Бурбоны»: Дюма использовал в работе секретную переписку королевской четы (тут происки Нельсона и леди Гамильтон — тема для романа), массу мемуаров, делая к каждому источнику примечания: Винченцо Куоко, республиканец, — «писатель добросовестный, но ярый приверженец своей партии, отчего мы принимаем его свидетельства с некоторой долей сомнения»; Пьетро Колетта — «автор предубежденный и обуреваемый страстями, который писал вдали от Неаполя, располагая лишь собственными воспоминаниями, переполненными то ненавистью, то любовью». Много внимания он уделил ненавистному Фердинанду IV, был, однако, объективен и охарактеризовал его не чудовищем, а слабовольным бездельником, вроде ухудшенной копии Людовика XVI, как его жена Каролина была ухудшенной копией своей сестры Марии Антуанетты.

При этом Фердинанде случился один из самых трагичных эпизодов европейской истории. В 1798 году он вторгся в Римскую республику (союзника республиканской Франции), потерпел поражение, бежал на корабле Нельсона (Англия была врагом Франции). В брошенном Неаполе республиканцы и аристократы согласились учредить республику под французским протекторатом, и 26 января 1799 года провозгласили Партенопейскую республику. «Программа республиканцев была

простой и ясной: правление народом им самим, то есть его выборными. Но странно устроен наш бедный мир: то, что ясно и просто, всегда труднее всего претворить в жизнь».

Отменили феодальные привилегии, законы написали хорошие, вот только поддержать их было некому. «Народ» не хотел республики; впрочем, он ничего не хотел. Зато яростно против были безработные мелкие бандиты, так называемые «лаццарони», «самые невежественные, самые развратные, самые неумелые» (Лев Гумилев: «…субпассионарии — особи, абсорбирующие меньше энергии, чем количество, требующееся для уравновешивания потребностей инстинкта. Им все трудно, а желания их примитивны: поесть, выпить, поразвлечься с такой же женщиной. Таковы неаполитанские лаццарони, подонки капиталистических городов…»). Дюма описал историю появления лаццарони в 1647 году, когда произошло восстание во главе с неаполитанцем Томазо Аниело (думал писать о нем роман, но не собрался): сам Аниело был человек неплохой (Дюма сравнил его со Степаном Разиным), но из его нищего войска, попробовавшего грабежи, потом стали формироваться каморра и ее менее организованные братья, гуаппо и лаццарони; короли и церковь на них опирались, дабы держать в страхе нормальных людей. Дюма, роман «Сан-Феличе»: «Во время революций разбой принимает колоссальный размах, общественное мнение принимает его сторону, благонамеренный патриотизм служит ему оправданием; разбойники всегда на стороне реакционной партии — другими словами, они стоят горой за трон и алтарь. Известные в летописях времена разбоя — это годы политической реакции: 1799, 1809, 1821, 1848, 1862, то есть пора, когда неограниченная власть, потерпев поражение, призывала себе на помощь банды. В таких случаях разбой особенно могуществен, ибо его поддерживают власти, которые в другое время призваны ему препятствовать. Чиновники являются не только пособниками разбойников, но и сами зачастую становятся бандитами. Нравственную поддержку разбою оказывают священники и монахи: они бывают как бы его душою; разбойники, услышав их проповеди, призывающие к бунту, восстав, получают от них освященные образки, которые должны сделать их неуязвимыми».

Он любопытно рассуждал о свободе и независимости: «Коллективное мужество — качество народов свободных… Личное мужество — качество народов, которые всего лишь независимы. Почти все народы, живущие в горах — швейцарцы, корсиканцы, шотландцы, сицилийцы, черногорцы, албанцы, друзы, черкесы, — отлично обходятся без свободы, лишь бы у них не отнимали независимости… Объясним огромную разницу

между словами: свобода и независимость. Свобода — это отказ каждого гражданина от какой-то доли независимости ради образования общественной основы, именуемой законом. Независимость — это право каждого удовлетворять все свои желания. Человек свободный — член общества; он опирается на соседа, который в свою очередь опирается на него; а так как он готов жертвовать собою ради других, то имеет право требовать, чтобы и другие жертвовали собою ради него. Человек независимый — это человек естественный; он полагается только на самого себя… Из людей свободных составляются армии. Из независимых — шайки».

Партенопейская республика, эта власть «белых воротничков», была организована плохо, денег нет, армии нет, держались на французских штыках; меж тем бежавшие в Палермо роялисты направили кардинала Фабрицио Руффо организовать контрреволюцию. Он собрал так называемую «Армию веры» из крестьян и осужденных уголовников: «Крестьяне неаполитанских провинций всегда были независимы. Вот почему по призыву духовенства, выступившего во имя Господа, по призыву короля, выступившего во имя династии, особенно же по призыву ненависти, выступившей во имя стяжательства, грабежа и убийства, поднялась вся страна. Каждый вооружился ружьем, топором, ножом и начал воевать, не ставя перед собою иной цели, кроме разрушения, не рассчитывая ни на что иное, кроме грабежа, следуя за своим начальником и не подчиняясь ему, подражая его примеру, а не слушаясь его приказаний». Неаполитанские лаццарони начали резать республиканцев, французы ушли — у них были свои проблемы, а Руффо при поддержке эскадры адмирала Ушакова двинулся на Неаполь; 13 июня после отчаянной битвы он взял город и в течение недели его отряды грабили и жгли все подряд. Сам Руффо был не лишен благородства: он обещал республиканцам выпустить их из города и, как следует из его переписки с Нельсоном, намеревался сдержать слово, но Нельсон захватил суда республиканцев и передал Фердинанду. Тысячи человек казнили без суда, по доносам, десятки тысяч посадили или выслали; репрессии прекратил лишь Наполеон I в 1806 году, посадив на трон своего человека, но в 1815-м Фердинанд вернулся.

Фердинанд не щадил и женщин. Дюма тронула судьба маркизы Элеоноры Фонсеки, поэта и журналиста: «Жестокость, изощренная в своей непристойности: предназначенная ей виселица оказалась вдвое выше других. Перед казнью, надеясь, что она попросит о помиловании, Спецьяле обращается к ней: „Говори, мне приказано исполнить любую твою просьбу“. „Тогда

распорядись дать мне панталоны“, — отвечает она». Другая история: за замужней аристократкой Луизой Сан-Феличе ухаживали республиканец и роялист, второй сообщил ей о контрреволюционном заговоре, она, тревожась за судьбу первого, ему рассказала, заговорщиков арестовали, ее поступок называли «подвигом»; после падения республики ее приговорили к казни. Все это просилось в роман. Но Дюма для него пока не созрел. Он продолжал печатать в «Монте-Кристо» переводы с русского, серию некрологов «Мертвые уходят быстро», издал сборник воспоминаний «Всякая всячина», переделывал (безуспешно) «Федру» Расина. В сентябре он обнаружил, что материалов к «Неаполитанским Бурбонам» не хватает, поехал в Италию, отправил журналисту Гюставу Клодену 10 писем о политике (вероятно, они были где-то опубликованы, но это не установлено). Марко Мингетти, министр внутренних дел при Кавуре и сменившем его Беттино Рикасоли, предлагал Италии стать не единым государством, а федерацией, и был отправлен в отставку. Дюма его проект одобрял: «единое королевство не сделает итальянцев единой нацией», не нужно объединять прогрессивный Пьемонт с отсталой, не готовой к демократии Сицилией. С 7 сентября он был в Неаполе и угодил в политическую дуэль. Журналист-республиканец Петручелли написал, что «время Гарибальди прошло, мы ненавидим идолопоклонство и фетишизм, и мы говорим: хватит», другой республиканец, Никотера, вызвал его на дуэль, Петручелли выбрал шпаги, Никотера протестовал (рука ранена), просил Дюма быть секундантом, тот не согласился — «я не желал даже прикасаться к оружию, которым республиканцы убивают друг друга», — но на дуэли присутствовал, слава богу, противники остались живы.

В ноябре, сделав нужные выписки из архива, Дюма вернулся в Париж, завершил «Неаполитанских Бурбонов» (во Франции книга вышла лишь в 2011 году под названием «Две революции») и взялся за давно задуманный роман о бегстве Людовика XVI — «Волонтер 92 года» (публикация началась в «Монте-Кристо» 24 апреля). Он написан в виде воспоминаний ветерана наполеоновской армии Рене Брессона — по словам Дюма, такой человек существовал, но подтверждения этому найти не удалось. Юного Брессона наставляет его воспитатель: «Когда-нибудь ты узнаешь, что начиная с Прометея, прикованного к скале за то, что он похитил с небес огонь… всем благодетелям человечества платили за их добрые дела ненавистью королей или неблагодарностью народов. Слепой Гомер питался подаянием; Сократ выпил цикуту; Христа распяли на кресте; Данте изгнали;

Риенцо[26] убили; Жанну д'Арк сожгли на площади в Руане; Савонаролу — перед собором Святого Марка; Христофор Колумб вышел из тюрьмы лишь для того, чтобы умереть от горя…» Он говорил, конечно, о собственной обиде…

В 1790 году Брессон приезжает в Париж, встречает в политических клубах Марата и Робеспьера; первый, «жаба», Дюма уже наскучил, он сосредоточился на втором: «Его узкая, притворно-добродетельная и брезгливая физиономия; его глаза с дикими зрачками — из них между конвульсивно мигающими веками струились желчные лучи, казалось, жалящие вас; его длинный, бледный, строгий рот с тонкими губами; его голос, в то время хриплый на низких нотах, резкий — на высоких, чем-то напоминающий визг гиены и шакала… это был Робеспьер — воплощенная революция с ее непреклонной честностью, наивной жаждой крови и жестокой, чистой совестью». Но так говорит простодушный Брессон, а Дюма вновь доказывает, что Робеспьер был не революционером, а предприимчивым властолюбцем: «Даже в 1791 году он все еще не осмеливался объявить себя республиканцем… он утверждал… что „республика“ и „монархия“ представляют собой лишенные смысла слова, что свободным можно быть при короле, а рабом — при президенте или протекторе; он привел имена Суллы и Кромвеля, однако забыл или не посмел упомянуть Вашингтона». О «добрых королях»: вот Людовик добр, но «читатели согласятся, что для гражданина очень ненадежная гарантия, если каприз отрубить ему голову придет такому доброму королю. В начале своего правления Калигула и Нерон тоже были такими добрыми…». Раньше о предательстве Людовика Дюма писал как о версии, теперь — как о факте. И все же нашел слова в его защиту: с точки зрения монархии семья короля — не его подданные, а его заграничные родственники, к которым он имел право обращаться за помощью.

Весной Дюма занимался делами Мари, свидетельствовал в суде, что она не вела общего хозяйства с мужем и посему может жить самостоятельно, иск был отклонен, подали апелляцию — кажется, вся жизнь семьи Дюма проходила в судах. Мари попробовала писать, отец пришел в восторг, называл гением. С сыном они, напротив, отдалились друг от друга. Александр-младший — Жорж Санд, 8 марта 1862 года: «Я нашел его более шумным, чем прежде. Дай ему Бог еще долго оставаться таким, но сомневаюсь, что это возможно… Пытаться руководить им, в особенности теперь, бесполезно. Это то, что происходит с человеком, которому всегда везло и который упал с пятого этажа; либо он останется невредим, либо убьется на месте. Если бы

можно было поставить этот локомотив в момент его отправления на рельсы и заставить пересечь жизнь по прямой линии, один Бог знает, сколько бы он потянул за собою великих и полезных для человечества идей… Посмотрим, что будет, а пока я очень хотел бы иметь не столь шумного отца, у которого было бы больше времени для меня… и для самого себя». (Григорович: «Несмотря на свои шестьдесят лет, он не может успокоиться; он вечно чего-то ищет, чего-то ждет, остановится на каком-нибудь несбыточном, фантастическом проекте, говорит о нем и радуется ему, как ребенок, и вдруг, совершенно неожиданно, перестает о нем думать и даже сердится, когда ему об этом напоминают…»)

В мае Мари получила право жить отдельно от мужа, покинула монастырь, сняла квартиру; ее отец сразу уехал в Неаполь: дали денег на «Независимую». Помогла Летиция де Солмс, племянница императора: ее любовником был итальянский политик Урбано Ратацци, обожавший книги Дюма и теперь ставший премьер-министром. «Независимая» опять бранила Кавура и призывала вернуть Гарибальди. А тот в июне явился в Палермо и призвал своих сторонников идти на Рим, собрал три тысячи человек, высадился на материк, войска Виктора Эммануила его разбили. Он вернулся на Капреру, потом уехал в Англию; он был ранен, и «Независимая» была единственной газетой, ежедневно сообщавшей новости о его здоровье. Она также снова взялась за каморру: Дюма бывал в городской тюрьме, писал о беспределе, какой там творят мафиози, копии статей на французском языке отсылал в только что основанную в Париже Полидором Мийо «Газетку». Ему вновь угрожали, слуги были ненадежны, он описал это в статье «История ящерицы»; его новый секретарь Адольф Гужон это подтверждал. Опять уезжать? Но в октябре 1862 года полиция, уставшая от каморры, на нее «наехала», Де Крешенцо и еще 300 мафиози посадили. Дюма начал писать по наброскам, сделанным Шервилем, роман «Парижане и провинциалы» — историю дружбы двух непохожих людей, не придумал, куда ее повернуть, вставлял рассказы о том, что ему интересно: заговоры карбонариев, Уругвай; бросил. Сообщал Полю Даллозу, владельцу газеты «Всемирный вестник», что будет писать «огромный роман» о Генрихе IV, но даже не начал, пришлось мчаться в Париж — «Монте-Кристо» совсем зачах без хозяина. Спасти не удалось, 10 октября вышел последний номер. «Волонтер 92 года» оборвался на том, как Брессон после бегства и поимки короля стал свидетелем резни на Марсовом поле, оборвался прямо посреди диалога героя с Сен-Жюстом: пусть читатели помучаются. Возможно, Дюма при всей своей нелюбви писать «в стол» все же завершил бы роман, но как раз в октябре 1862 года он увлекся

другим делом.

Он получил письмо из Лондона от князя Георга Кастриоти Скандерберга, потомка знаменитого полководца XIV века: «Вы можете сделать для Афин и Константинополя то, что сделали для Палермо и Неаполя. Выдвинувшийся вперед часовой возрождающихся народов, Вы удвоите Ваши силы в день, когда начнется последняя битва христианства против Корана. Национальная реформа, во главе которой не стоит гений, подобный Вам, чтобы направлять помыслы толпы, подобна локомотиву, пущенному без машиниста». Речь шла о борьбе албанцев и греков против Османской империи; автор письма предлагал Дюма вступить в «международный комитет по освобождению». Дюма отвечал, что польщен, Скандерберг просил его поговорить с Ратацци: пусть Италия разрешит устроить на своей территории склады боеприпасов. «Передайте, что король Италии может возвести свою доблестную династию на трон Греции, как Дюма и Гарибальди возвели его на трон Бурбонов». Также в письме содержалась робкая просьба о деньгах. Дюма ответил, что никакого влияния на Ратацци и короля не имеет и денег у него нет, но переписку не прекратил. Зимой он обложился книгами об Албании и написал на итальянском повесть «Али-паша»: он уже не раз мимоходом писал об Али-паше Янинском («отце» Гайдэ из романа «Монте-Кристо»); этот человек, друг Байрона, раньше Дюма нравился. Но против документов не пойдешь: оказался «сатрапом». Ранний Дюма мог в беллетристике отступить от исторической истины, поздний — ни за что. Количество отрубленных голов в «Али-паше» переходит все пределы разумного — но что делать, если это правда?

Скандерберг просил о встрече, Дюма послал в Лондон сотрудника «Независимой», тот доложил, что восстание намечено на лето 1863 года, нужно 10 тысяч франков, если Дюма их достанет, то будет назначен «суперинтендантом военных складов христианской армии Востока». Он ответил, что хочет быть не суперинтендантом, а военным корреспондентом, поручил сыну узнать цены на оружие, спрашивал Скандерберга, сойдет ли «Эмма» в качестве военного судна. Он расспрашивал людей в Неаполе, можно ли устроить склад оружия, начальнику полиции Спавенте донесли, тот навел справки и сообщил Дюма, что Скандерберг — итальянский мошенник (есть разные версии о том, кто был этот тип; в 1872 году к Дюма-сыну приходил некто, назвавший себя Скандербергом, рассказывал о «дружбе» с его отцом и просил денег). То был уже третий уголовник, на чью удочку попался Дюма… «Али-паша» остался недописанным, а «Эмме» нашлось благое применение: Дюма сдал ее капитану

Маньяну для экспедиции по реке Нигер.

Под Новый год Ратацци сменил Карло Фарини — кавурист, ненавидевший Гарибальди, Дюма готовился к потере субсидии, ездил в Париж, пытался уговорить знакомых вложиться в ресторан в Неаполе или учредить газету во Франции, но уже в марте 1863 года премьером стал Марко Мингетти, которого он очень ценил и надеялся на взаимность. «Независимая» сохранила финансирование и всю весну занималась вопросом о смертной казни: шел громкий процесс об убийстве, писатель Антони Раньери ратовал за казнь, Дюма с ним спорил: «…необходимая спутница цивилизации — отмена смертной казни, к которой человечество обязано прийти». (Обвиняемых осудили, но не казнили.) Дома — выборы, 31 мая и 14 июня, все не так гладко, как прежде: Луи Наполеон решил завоевать Мексику, никто не понимал, зачем это нужно, и воевал он плохо — армию разъела коррупция, генералы использовали солдат для строительства дач. «Вбросы» были неслыханные, бесстыдные, округа в очередной раз перекроили так, что число депутатов от Парижа было не больше, чем от какой-нибудь деревни, но среди 283 депутатов все же оказалось 17 оппозиционеров-республиканцев и 15 сторонников Орлеанских. Париж, который в 1857 году выбрал пять правительственных кандидатов (из десяти), теперь не выбрал ни одного. Избран был и непотопляемый Тьер: он начал вновь говорить о свободе печати, о полицейском произволе… Жди беды!

На Дюма все происходящее на родине, видимо, наводило такую тоску, что он даже не стал продолжать «Волонтера 92 года», хотя Леви был согласен его издать; вместо этого отдал Леви написанный графиней Даш по третьему тому «Савойского дома» роман «Царица сладострастия», сам принялся за леди Гамильтон. Начал с пустячка: в 1815 году были изданы мемуары Гамильтон, он по ним (возможно, с участием Даш) написал на итальянском языке роман «Эмма Лайон, или Признания фаворитки»: печатался в «Независимой» с 28 сентября 1863-го по 14 июля 1864 года, а на французском языке — в газете «Будущее нации» в 1865 году. Начинается роман от лица девицы: «Я была красива, вот и все. И могла полагаться только на свою красоту в тех случаях, когда другие уповают на образование и воспитание, на состояние или благородное происхождение. Одарив меня лишь одним, Господь в благости своей был столь щедр, полагала я, чтобы возместить мне отсутствие всего прочего» — но чем дальше, тем больше автор вкладывал в голову глупенькой Эммы свои мысли: «Воззвание короля было не чем иным, как призывом к разбою, а склонность к такому занятию — это ведь, так сказать,

национальная черта обитателей Абруцци и Терра ди Лаворо». В романе довольно откровенно описывалась лесбийская связь Эммы с королевой Каролиной, так что раскупали «Независимую» охотно. Вскоре Дюма начал писать о том же самом «настоящий», фундаментальный роман «Сан-Феличе» (печатался в «Прессе» с 15 декабря 1863-го по 3 марта 1865 года). Возможно, думал, что это его последняя крупная работа: отнесся к ней ответственно, как в молодости, сказал сыну, что перечитывал и правил текст, чего давно не делал. «Эту книгу я считаю серьезной, — писал он критику Арсену Уссе, — в ней показана целая эпоха, показаны все — от короля до разбойника, от кардинала до простого монаха. И над всем этим простирает крыла республиканская Франция, прекрасная, честная…»

Ужасный конец Партенопейской республики, успех Руффо и лаццарони — почему так вышло? В «Неаполитанских Бурбонах» он объяснял почему: республика держалась лишь с помощью Франции, но теперь вернулся к «провиденческой» версии: «Странная, нелегкая для историков и философов задача понять, почему Провидение заботится порою об успехе предприятий, явно враждебных воле Божьей. Ведь Господь, одарив человека умом и предоставив ему свободу воли, несомненно поручил ему великую и святую миссию непрерывного совершенствования и просвещения, дабы он стремился к единственной цели, достижение которой позволяет народам считать себя великими, — к свободе и знанию. Но эту свободу и эти знания народы должны покупать ценою возврата эпох рабства и периодов мракобесия… Как бы то ни было, вмешательство высшей силы в описываемые здесь события было совершенно очевидно. На протяжении трех месяцев кардинал Руффо был избранником Божьим, три месяца десница Господня поддерживала его». И все же он не удержался от иронии в адрес Провидения: «Кади-бей спрашивал, нет ли возможности высадить несколько тысяч солдат в Апулии, чтобы вместе с русским отрядом бросить их против неаполитанских патриотов. Стараясь ради кардинала Руффо, Провидение переусердствовало. Правда, получив римско-католическое воспитание, Руффо был лишен предрассудков, но все же он не без некоторых колебаний решился отправить в общий поход крест Иисуса Христа и полумесяц Магомета, не считая английских еретиков и русских схизматиков!»

События сами по себе драматичны (их описал Алданов в романе «Чертов мост»), но для Дюма драматизма недостаточно, должна быть прекрасная дама, любовь и всякое такое. Он сделал героиней Луизу Сан-Феличе, облагородив ее мужа (якобы он боролся за ее спасение, чего не было) и ее друзей. Придумал ей

другую биографию — ее дочь, Мария Эммануэла, обвинила его во лжи и назвала роман «оскорбительными измышлениями», приводя пример таковых: «приданое синьоры Молины вовсе не составляло 50 000 дукатов; родители выделили ей 8000 дукатов».

Дюма обещал создать «истинно художественное произведение». Местами удалось. «Луна очень занимала маленькую Луизу; девочка называла ее небесной лампадой; в полнолуние она всегда говорила, что видит на Луне лицо, а когда Луна убывала, она спрашивала; неужели на небе водятся крысы, и неужели там, наверху, они грызут Луну, как здесь, внизу, грызут сыр?» Удалось и там, где он выступил как документалист, размещая и комментируя письма. Трубридж, контр-адмирал британского флота, — Нельсону; «Судья прибыл. Должен сказать, что он произвел на меня впечатление самого злобного существа, какое я когда-либо видел. У него такой вид, словно он совершенно потерял рассудок. Он заявил, что ему указали (кто?) на шестьдесят провинившихся семей и что теперь ему совершенно необходим епископ, чтобы лишать сана священников, поскольку иначе он не может дать приказ их казнить. Я сказал ему: „А вы их вешайте, и, если найдете, что веревка недостаточно лишила их сана, тогда посмотрим“». Комментарий Дюма: «А знаете ли вы, в чем состояла процедура лишения сана? У этих троих содрали клещами кожу с тонзуры и срезали бритвой мясо с трех пальцев, которыми священники дают благословение; затем их, как обычно, отправили на английском корабле на один из островов, где они были повешены, и притом английским палачом, назначение которого было поручено Трубриджу. Итак, все шло наилучшим образом…» Но от любимых штампованных фраз Дюма отказаться не смог:

«— Отец! Отец! — воскликнула девушка.

— Какая красавица! — прошептал умирающий. — О, ты превосходно выполнил свое обещание, мой бесценный друг!

Одной рукою прижимая к сердцу свою дочь, он протянул другую руку кавалеру. Луиза и Сан-Феличе разрыдались».

Роман хвалили во Франции. В Италии не публиковали: оскорбительно. Неаполитанцы «своими забавными причудами или звериной жестокостью превосходят не только все, что мы видим своими глазами, но и все, что можно себе представить». «Чем покорнее и безмолвнее народы во времена процветания их угнетателей, тем они беспощаднее после их падения. Неаполитанцы, ни разу не возроптавшие, пока вице-король находился в силе, стали преследовать опального». Пришел Руффо — «те же самые люди, которые накануне кричали, не понимая смысла своих слов: „Да здравствует Республика!“, „Смерть

тиранам!“, стали теперь вопить: „Да здравствует вера!“, „Да здравствует король!“, „Смерть якобинцам!“» Издали «Сан-Феличе» в Италии в 1941 году (видимо, по недосмотру) и ничего о нем не писали; переиздали в 1990-х годах — посыпались восторженные рецензии: «создал эпос», «раскрыл национальный характер». Итальянцы повзрослели…

Осенью 1863 года Дюма съездил в Париж, сделал с Б. Лопесом инсценировку романа «Капитан Ришар» — «Тревожный вечер в Германии» (поставил театр «Бельвиль» 21 ноября). В декабре умер Делакруа — оплакал его в серии некрологов, спустя год на выставке читал о нем лекцию. Горман, никогда ее не слышавший, назвал «болтливой и анекдотической». Мы тоже не слышали, зато можем привести отзыв Бодлера, который слышал: «Возможно ли поверить, что автор „Монте-Кристо“ — настоящий ученый? Что он настолько осведомлен в изобразительном искусстве? Нет; он являет собой пример того, что творческое воображение, пусть даже не подкрепленное достаточным знанием терминов, не обязательно диктует глупости… он так тонко воздал должное Делакруа и так точно разъяснил глупость его противников, показав, в чем погрешности самых крупных из еще недавно считавшихся великими художников; он так наглядно показал, что Труайон — не гений, и разъяснил, каких тонкостей ему не хватает, чтобы быть гением, и продемонстрировал, что эти тонкости присущи Делакруа…»

В 1864 году Мингетти прекратил финансирование «Независимой», еще два месяца она держалась, писала о том, о чем нельзя было писать во Франции, — о проходившем с 26 февраля по 30 марта процессе над четырьмя итальянцами, покушавшимися на Луи Наполеона. Один из них утверждал, что в заговоре участвовал Мадзини, соратник Гарибальди. Дюма не выносил Мадзини (взаимно), но писал, что это бред, а французам советовал быть к итальянцам снисходительнее, ибо в соответствии с их полудикарским воспитанием они не убийцы: «В Италии есть человекоубийство и тираноубийство. Первое — убийство человеком человека. Второе — убийство гражданином тирана». Он повторил эту мысль в «Сан-Феличе», добавив: «Одна Франция достаточно цивилизованна, чтобы поместить в один ряд Лувеля[27] и Лассенера[28], и если она делает исключение для Шарлотты Корде, то лишь по причине физического и нравственного ужаса, который вызывал жабообразный Марат».

Газета погибала (ее потом воскресили уже без Дюма), ее редактор готовился к отъезду. Дома нашлась работа — в «Газетке», издании новаторском (ее не распространяли по подписке, а продавали на каждом углу очень дешево) и

необычайно успешном. Мийо предлагал взять Дюма в штат, но он отвечал, что будет просто писать передовицы. Была новая подруга, тридцатилетняя, третьесортная (увы, опять!) певица Фанни Гордоза. Он забрал ее, Эужено Торелли (тот в Париже совершенствовался как журналист и в 1876 году создал успешную «Коррьере делла сера») и Адольфа Гужона и 6 марта отплыл во Францию. Снял квартиру на улице Ришелье, 112, любимый четвертый этаж, нанял для Фанни учителей пения, хотел узаконить отцовство Микаэлы, Эмили отказала, суд он проиграл, но получил разрешение видеться с дочерью. Микаэле, 1 января 1864 года: «Моя дорогая маленькая Бебэ! Надеюсь, что через три-четыре дня смогу тебя обнять. Я очень рад, что увижу тебя, но не надо никому говорить о моем приезде, чтобы у меня было время вволю приласкать тебя. Мари и я принесем тебе двух красивых кукол и игрушки…» Платья для кукол шила Мари — ей хотелось иметь ребенка, она мечтала, что отец удочерит Микаэлу. А он, уже дедушка, наконец созрел для роли отца. Из мемуаров дамы, наблюдавшей, как они гуляли в Булонском лесу: «Ребенок 5–6 лет, крайне хилый, сразу видно, что плод отцовства старого борова… Уродина, разумеется, со впалыми восковыми щеками и огромным тонкогубым ртом. Но все эти уродства искупались умными глазами. Была невыразимая привлекательность в этом детском взгляде, нежность и меланхолическая глубина… Было видно, как они привязаны друг к другу».

Сыну он казался чересчур беспокойным, но жизнь его, хоть и шумная, была, как обычно, размеренна. Писал «Сан-Феличе», давал статьи в «Газетку» — об Италии, о Гражданской войне в США. Линкольн прислал ему письмо: выражал признательность и просил книгу с автографом, чтобы продать на ярмарке в пользу раненых солдат: «Мы знаем, что не напрасно обращаемся к Вам, чье сердце и перо всегда служили человечности и милосердию». Линкольн также предлагал сделать пожертвование. Дюма прислал 100 книг вместо одной и мизерное пожертвование — 50 франков. Но подписку объявил, хотя и там собрали не много. По части организованной благотворительности он был скуп. Вот если бы Линкольн пришел к нему — тогда бы, наверное, отдал предпоследнюю (не последнюю) рубашку: современники свидетельствуют, что он давал деньги всякому человеку и всякой сволочи, какая не ленилась прийти и разжалобить его.

В марте Биго Префонтен, внук одного из тех, кто опознал беглого Людовика XVI, подал иск о клевете на деда. Суд первой инстанции 2 марта признал Дюма виновным: было две версии об участии Префонтена в том деле, а он привел одну. (Дюма обжаловал решение, и апелляционный суд в 1865 году вынес

знаменательное решение: «Историк имеет право выбрать версию».) В апреле он ездил в Гавр на судостроительную выставку и писал о новом изобретении — непотопляемой спасательной шлюпке, вернувшись, дал объявление о найме секретаря — Гужон у него в Париже не работал, Вейо хотел уйти из-за проблем с оплатой. Пришел молодой безработный Бенжамен Пифто и сразу был принят. Пифто, «Дюма без пиджака» (1884): «Он незамедлительно усадил меня около себя и принялся диктовать для „Газетки“ статью о Шекспире, где, насколько помню, назвал его „наивысшим существом после Бога“… Вечером, отпуская меня до следующего дня, он вручил мне аванс из моей зарплаты, которая составляла 100–200 франков в месяц… Впрочем, мы никогда не заключали договора и не считали, кто кому сколько должен. Когда я говорил, что мне нужны деньги, он отвечал: „Возьмите сколько вам нужно“, и я брал сколько мне было необходимо». Обязанности Пифто: покупать утром что-нибудь к завтраку, принимать гостей, отвечать на письма и переписывать тексты, устраняя повторы и расставляя знаки препинания. По его словам, Дюма питал к нему «отцовскую привязанность» и он был «скорее другом, чем секретарем». «Он поддерживал меня во всем, и, когда он шел к кому-нибудь на ужин, я всегда шел с ним». Пифто перечислил тогдашний круг общения Дюма — он невелик: Шервиль, Ноэль и Поль Парфе, художник Гектор Монреаль; дочь приходила часто, сын — редко; дважды в неделю няня приводила внучку.

«Колосс телом и умом… широкое лицо, полные губы, курчавые волосы, очень развитые челюстные кости и светлая кожа; но эта экзотическая голова была освещена необычайно живыми голубыми глазами, которые казались кратерами вулкана разума, и все было смягчено излучением несказанной доброты… Наконец, во всем его лице, жестах, словах и действиях было что-то, от чего даже самый ненаблюдательный человек говорил себе: „Это — сила!“… Гордость была его излюбленным грехом. Во всем, что выходило из-под его пера, замечалось злоупотребление словом „я“. В разговоре этого было меньше. Он мало говорил о себе, но любил, когда другие говорили о нем с восхищением… Что касается философских взглядов, то, насколько мне известно, в то время он был атеист и материалист. Как-то раз кто-то за столом говорил о переселении души и иной жизни. „Душа! — сказал он. — Я в это не верю, так как иная жизнь бессмысленна“. „Почему?“ — возразил верующий. „Потому, — ответил Дюма, — что мы не помнили бы первую. Зачем мне возрождаться два раза, сто раз, если я не помню моих предыдущих существований и если нет связи одного с другим, если я не нахожу тех, кого знал и

любил?“» (При этом был суеверен, носил амулеты, верил в приметы, хотя и утверждал обратное.) «Другим его грехом было женолюбие. Он старался демонстрировать любвеобильность, сравнивая себя с Шекспиром, Мольером, Байроном и т. д. Несмотря на свои 60 лет, кроме сожительницы, у него обычно бывало еще 3–4 женщины, выбранных наугад из тех многих, что писали ему».

Из добродетелей Дюма Пифто отметил участливость, щедрость, такт и незлобивость: «Он не умел ненавидеть. Когда он встречал критика, только что грубо его разнесшего, он говорил: „Какую отличную статью я дал вам повод написать!“»; «Он был прелестным собеседником, хотя у него был легкий дефект произношения, с „э-э“ и „м-м“ в начале фраз, и в публичных выступлениях это мешало»; «Легкость письма необычайная: ни одного вычеркивания, ни одного исправления. И, что еще удивительнее, вернувшись после званого ужина, он садился писать как ни в чем не бывало. Вино на него совсем не действовало. Впрочем, пил он очень мало». Зато все сильнее увлекался готовкой: в любое время дня его можно было застать в фартуке и со сковородкой в руках.

В мае Дюма с Пифто и Фанни снял виллу «Катина» в деревне Сен-Гратьен близ курорта Энгьен-ле-Бен — престижное место, в соседях Жирардены и принцесса Матильда, дом просторный, с садом; то была почти реинкарнация «Замка Монте-Кристо». Гости валили валом, до вечера они развлекались сами — бильярд, теннис (по словам Пифто, все портила Фанни: ссоры со слугами, громкие скандалы); к шести спускался хозяин, весь день сидевший в кабинете наверху, играл несколько партий в бильярд, ужинал и уходил работать. Писал он «Сан-Феличе», с Шервилем пытался доделать «Парижан и провинциалов» — не шло, отредактировал написанный графиней Даш по «Савойскому дому» роман «Две королевы», с Полем Мерисом начал переписывать александрийским стихом «Ромео и Джульетту» — он писал, что не брался за эту работу раньше, потому что «в Париже нет актрисы, которая может сыграть Джульетту», но теперь нашел такую — Адель Аннете. Хотел инсценировать «Олимпию Клевскую» — не смог. Не шли у него в одиночку инсценировки собственных вещей, но по «Парижским могиканам» получилась (предположительно, в работе мог участвовать соавтор романа Поль Бокаж), взял ее театр «Готэ», но цензура запретила: неприглядно показан шеф полиции Жаккаль и есть «либеральные намеки». Дюма обратился за помощью к Жозефу Бонапарту, а императору написал открытое письмо: «Ваше Величество, в 1830 году французскую литературу возглавляли три человека, которые

и сегодня стоят во главе ее. Эти трое — Гюго, Ламартин и я. Гюго изгнан, Ламартин разорен. Меня нельзя отправить в ссылку, как Гюго: ни в моих сочинениях, ни в моих словах, ни в моей жизни нет ничего такого, что дало бы повод для изгнания, — но меня можно разорить, как Ламартина…» Письмо, одновременно заносчивое, жалобное и язвительное, понравиться императору не могло, но, видимо, похлопотал Жозеф. Автор сделал ряд купюр, и 20 августа состоялась премьера. Отлично приняли: вернулось время, когда публика жадно ловит «либеральные намеки». Тьер еще год назад понял это…

Зарабатывать Дюма помогала «болтовня» (в наше время это называют «колонками»), которую он мог производить на любые темы. В 1864 году вышел сборник его «колонок» в «Иллюстрированной газете»: «По поводу Клеопатры и римских ночей», «По поводу моей головы и руки», «О поэтах, зайцах, микрофитах и микрозоариях» и т. п. В «Газетке» 1 ноября он предложил читателям новинку — конкурс буриме на рифмы: «Femme — Catilina — âme — fouina, jongle — citoyen — ongle — paien, mirabelle — Mirabeau — belle — flambeau, — Orestie — Gabrio — repartie — agio, figues — faisan — ligue — parmesan, noisette — pâté — grisette — bâté». Затея вызвала восторг, пришло около тысячи вариантов, издали книжкой. Попробуйте и вы свои силы…

Где жить, когда лето кончится? В Италии? Итальянское правительство добивалось от Луи Наполеона вывода войск из Рима, тот подписал соглашение на постепенную (в течение двух лет) эвакуацию с условием, что Италия не будет претендовать на Рим. Это вызвало злобу, в Турине поднялось восстание, жестоко подавленное, Мингетти отправили в отставку, его сменил Альфонсо Ламармора, ненавидевший республиканцев. Нет, с Италией кончено. Осень Дюма провел в Париже, дописывая «Сан-Феличе». 10 декабря читал лекцию о Делакруа, а 15-го узнал, что «Эмма» потерпела крушение. Нет худа без добра: по договору с Маньяном он получал часть страховки. С Фанни жить невозможно, он дал ей денег и отослал в Италию, сам переехал на новую квартиру, правда, неясно на какую: Пифто утверждает, что на улицу Сен-Лазар, 70, а журналист Габриель Ферри в книге «Последние годы Александра Дюма» пишет, что это была улица Сент-Оноре, 185.

Париж оживлялся, в салоны и кафе возвращалась политика, зажигательные речи произносили доктор Биксио, Гарнье-Паже и молодой адвокат Леон Гамбетта. Дюма предпочитал салон принцессы Матильды; Гонкуры записывали 1 февраля 1865 года: «Сегодня вечером за столом у принцессы сидели одни писатели, и

среди них — Дюма-отец. Это почти великан — негритянские волосы с проседью, маленькие, как у бегемота, глазки, ясные, хитрые, которые не дремлют, даже когда они затуманены… Есть в нем что-то от чудодея и странствующего купца из „Тысячи и одной ночи“. Он говорит много, но без особого блеска, без остроумных колкостей, без красочных слов. Только факты — любопытные факты, парадоксальные факты, ошеломляющие факты извлекает он хрипловатым голосом из недр своей необъятной памяти. И без конца, без конца, без конца он говорит о себе с тщеславием большого ребенка, в котором нет ничего раздражающего. Например, он рассказывает, что одна его статья о горе Кармель принесла монахам 700 тысяч франков… Он не пьет вина, не употребляет кофе, не курит; это трезвый атлет от литературы». Еще ходил к другой, молодой Матильде — Шоу, дочери знакомого востоковеда Шарля Шойбеля, и к своей ровеснице Шарлотте Дрейфус, интеллектуалке, композитору (в 1869 году он опубликовал книгу «Беседы об Италии с мадам Дрейфус»). Его окружало все меньше мужчин и больше женщин; патронессы училища для девочек пригласили его выступить. Девчонок готовили в белошвейки; он призвал их становиться писателями, музыкантами. Больше дамы-патронессы его не приглашали.

Глава восемнадцатая
ДВА НАПОЛЕОНА

31 декабря 1864 года состоялась свадьба его сына с Нарышкиной, а 25 февраля 1865-го он закончил «Сан-Феличе». Добил «Парижан и провинциалов» — роман публиковался в «Прессе» с 26 июня по 12 октября 1866 года[29]. В апреле расстался с Пифто (по словам того, из-за Фанни, но ее уже давно не было), взял в секретари друга детства Шарпантье и занялся новым проектом. Полидор Мийо открыл на окраине, близ вокзала, «Большой Парижский театр». Сборы были плохие, Дюма это не остановило, он взял театр в аренду, собрал труппу из второсортных актеров — ставить «Лесников». Сам он всю весну ездил на выходные в Лион и Сент-Этьен: там закрывались мануфактуры, в пользу безработных устраивали благотворительные вечера, он выступал; в мае (предположительно) съездил на такой же вечер (в пользу семьи умершего юмориста Готлиба) в Вену. 29 мая премьера «Лесников» — плохо, народу мало, управляющий (версии расходятся: то ли Шарпантье, то ли некий Дарсонвиль) растратил деньги и сбежал. Чтобы возместить актерам ущерб, Дюма организовал гастроли в Руане, Суассоне, Вилле-Котре, ездил с труппой, периодически возвращаясь в Париж. «Бедный Котре, — писал он сыну 31 августа. — Все мои сверстники умерли. Город похож на рот, потерявший три четверти зубов…»

Жюль Нориак, основавший газету «Новости», попросил у Дюма роман, тот взял героя повести «Голубка» и написал приквел к ней (и к «Двадцати годам спустя») и сиквел к «Трем мушкетерам» — «Красный сфинкс» (публикация с 17 октября 1865-го по 23 марта 1866 года), герой — кардинал Ришелье (Мишле его назвал «красным сфинксом»). Обычно пишут, что Дюма изменил точку зрения и Ришелье у него здесь «хороший». Не хороший, а полезный (в политике так бывает): «Никакого сердца. Никаких чувств, к счастью для Франции; в той пустоте, которой стала монархия между Генрихом IV и Людовиком XIV, для того чтобы управлять этим неудачным, слабым, бессильным королем, этим беспокойным и распутным двором… нужен был мозг, и ничего более. Господь своими руками создал этот страшный автомат, а Провидение поместило его между Людовиком XI и Робеспьером, чтобы он разделался с крупными вельможами так, как Людовик XI покончил с крупными вассалами и как Робеспьеру предстояло покончить с аристократами. Время

от времени народы видят, как на горизонте, подобно красным кометам, появляется кто-то из этих кровавых косарей; вначале они кажутся чем-то призрачным, затем приближаются незаметно и бесшумно, пока не окажутся на поле, которое им предстоит выкосить; там они принимаются за работу и прекращают ее, лишь когда задача выполнена, когда все скошено».

Он написал обо всем, что осталось за строками «Трех мушкетеров», найдя массу мемуаров, которых они с Маке не знали в 1844 году, получилось умно, но скучновато, читатели жаловались, и Нориак прекратил публикацию. (Роман был утерян, в 1946 году в Париже издательство «Всемирные издания» опубликовало три части рукописи, утверждая, что она попала к ним от потомков Нарышкиных: Дюма то ли переслал текст Женни Фалькон-Нарышкиной в Москву, то ли встретился с ней в Париже; в 1948 году, удлинившийся на четверть, вышел под названием «Граф де Море»; в 2008-м текст восстановили полностью.) В «Новостях» также печаталось продолжение «Моих животных», читателям нравилось, но в общем финансовые дела пришли в упадок, и Дюма впервые не выплатил пенсию овдовевшей сестре. Летом Леви предложил еще более грабительский договор — 10 процентов от публикаций, зато 40 тысяч франков сразу. Согласился, а что делать? (Первой книгой, изданной Леви на новых условиях, стала «Неведомая страна», созданная на основе записок Генри Мидлтона об экспедиции в Бразилию.) Успех лекции о Делакруа и выступлений в Лионе натолкнул на мысль: этим можно зарабатывать, и осенью Дюма планировал ехать с лекциями за границу. Возможно, той же осенью он познакомился с семьей Меттерних.

У князя Меттерниха, главы правительства Австрии, был сын Ричард (1829–1895), дипломат, женатый на своей племяннице Полине (1836–1921), в 1859 году они поселились в Париже. В мемуарах Полина Меттерних писала, что познакомилась с Дюма через его дочь: «Мадам Мари Дюма была очень религиозной женщиной, посвятившей жизнь благотворительности. Однажды она написала нам, прося помочь в одном благотворительном деле, так началось наше знакомство, после этого мы часто виделись». По словам Полины, Мари, когда заговорили о ее отце, пожаловалась, что он «хотя и был в прекрасном здравии, вел слишком изолированную жизнь, которая, по ее мнению, была вредна для него». Меттернихи его пригласили. Полина упоминает, что он вскоре после знакомства рассказывал фрагменты романа «Сотворение и искупление», на этом основании знакомство относят к 1868 году, когда Дюма писал этот роман, но есть неувязка: уже в январе 1866-го Дюма общался

с мужем Полины, и зачем бы два года спустя ей потребовалось знакомиться с ним через Мари? Так что предположительно осенью 1865 года Дюма начал приезжать на приемы в посольство. Полина Меттерних: «Он был чрезвычайно крепок и выглядел как мулат, хотя его кожа была не темной, но волосы вились как у негра. Он производил впечатление добродушного человека без претензий. Он держался непринужденно, но без намека на вульгарность. За обедом он много говорил, и я никогда не слышала никого, кто мог бы так говорить экспромтом. Он мог коснуться любого предмета. Казалось, не было ничего, о чем он не знал. Создавалось впечатление, что он с фараонами пересекал Красное море, он вторгся в Галлию с Цезарем, Карл Пятый был его закадычным другом, он был постоянный посетитель суда Медичи, тайна яда Борджиа для него не была тайной, он всю жизнь прожил в Версале с Людовиком XIV, играл в карты с Марией Антуанеттой; Шарлотта Корде обсуждала с ним план убийства Марата, и он присутствовал при каждом сражении Наполеона… Он много ел, пил, говорил, жестикулировал и смеялся, в то время как остальные, заслушавшись, забывали про еду…» Полина знала и младшего Дюма: «Отец был доверчив, открыт, сын всегда настороже… Он, конечно, затмевал отца в остроумии, но как рассказчик был несравнимо ниже отца, воодушевление которого было чем-то уникальным. Старший Дюма смотрел на мир через розовые очки, он видел только лучшую сторону людей и вещей. Женщины были богинями в его глазах, мужчины рыцарями. Его сын, напротив, полагал, что мир еще более уродлив, чем кажется… Друг о друге они, однако, отзывались в превосходной степени».

Меттернихи пригласили его перед тем, как он отправится в лекционный тур по Пруссии, Австрии, Венгрии и Чехии, пожить в их замке Кинжварт в Богемии (Чехия). Он выехал 12 ноября с Мари и племянником Альфредом Летелье; в Кинжварте хранятся слепки их рук и стол, за которым Дюма работал. Он бился над «Ромео и Джульеттой», планировал роман о Тридцатилетней войне[30] и полководце Альбрехте фон Валленштейне, но не написал. Его неоконченные рукописи по наследству перешли к Мари, а та, влюбленная, по мнению Шоппа, в Ричарда Меттерниха, завещала их ему. В 1949 году чешская исследовательница Мария Ульрихова нашла в архивах Кинжварта заметки к роману о Валленштейне, «Ромео и Джульетту» и еще 345 набросков. Выходит, не так уж гладко он писал: были, как у всех, черновики, варианты, начатое и брошенное. Но как же свидетели, утверждавшие, что он «шпарил», не исправляя ни слова? Вероятно, они просто не видели подготовительных этапов

работы, а благодаря чудовищной памяти он мог не заглядывать в заметки, когда писал текст набело.

В декабре он выехал из Чехии в Австрию, потом Пруссия, лекции в основном о России, прием прохладный, под Новый год — Венгрия: там встречали восторженно, Академия наук его чествовала, граф Одон Сечени, покровитель пожарных, произвел его в почетные пожарные. Домой вернулся 9 января 1866 года. Гонкуры, 14 февраля: «В разгар беседы вошел Дюма-отец, при белом галстуке, огромный, запыхавшийся, счастливый, как преуспевающий негр… Рассказывает о Пеште, где его драмы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему для лекции зал во дворце, говорит о своих романах, о своих пьесах, которые не хотят ставить во Французском театре, о запрещении его „Шевалье де Мезон-Руж“, и потом еще о „ресторации“, которую хочет открыть на Елисейских Полях на время Выставки[31]… Я, огромное я, переливающееся через край, но блещущее остроумием и забавно приправленное детским тщеславием…» «Путешествие по Венгрии» Дюма публиковал в «Новостях», дела у газеты шли плохо, Нориак хотел ее продать, Дюма взял управление на себя. Жить они с Мари стали на бульваре Мальзерб (о нем он в юности писал оду), 107, этаж, разумеется, четвертый. Не очень престижно, зато рядом парк. Устраивался, как старик, навсегда, сказал, что это его последний дом, обещал, что роскоши в нем не будет. Но она была: кровать с гербом, дорогая посуда, масса картин; библиотека небольшая, чуть больше тысячи томов, все по истории и естествознанию, из беллетристики только книги друзей с автографами. Слуги: Василий, горничная Арманда, камердинер Томазо, повар Юмбер. Мари увлеклась теософией, писала картины, выставлялась, издала романы «Ложе смерти» и «Мадам Бенуа», отец огорчался, что ее книги не замечают, пересказывал каждому встречному самую малюсенькую рецензию. Сам он инсценировал «Габриеля Ламбера» в соавторстве с Амеде Жаллю, поставили в «Амбигю» 15 марта — неудачно (в 1868 году пьесу с успехом возобновили в Театре Бомарше).

Он мечтал возродить Исторический театр, разместил в газетах письмо «К знакомым и незнакомым друзьям»: на рекламу надо 20 тысяч франков, у него их нет, но он надеется, что люди соберут полмиллиона; сетовал, что драматическое искусство рушится — «все бегут от красоты и простоты», — но он заставит зрителей вернуться. «Пусть люди… придут ко мне и скажут: „Мы хотим два билета в новый Исторический театр, чтобы наши сыновья могли аплодировать тому же, чему аплодировали их отцы!“» А когда-то он смеялся над классиками, желавшими, чтобы

«сыновья рукоплескали тому же, чему и отцы», — старость… Обещал, что взносы будут храниться у лучшего банкира и что он берет финансовую ответственность на себя. Но ему почти ничего не дали; крупный взнос сделал лишь Политехнический институт. Тогда он опубликовал другое письмо — «К читателям Парижа, 89 департаментов Франции и всего мира», взывал и к императору — ответа не было, грустил, стал писать биографию Нерваля, фрагменты публиковал с 19 марта по 4 мая в газете Мийо «Солнце» под названием «Последние любовные увлечения. Новые воспоминания»: о смерти Нерваля, матери, Фердинанда Орлеанского, о женщинах — Эмили, Фанни, Эмме Манури-Лакур (под вымышленными именами). Прервавшись на описании похорон Фердинанда, 16 мая Дюма с дочерью уехал в Неаполь. Виктор Эммануил хотел отобрать у Австрии Венецию, а прусский канцлер Бисмарк — ряд германских земель (Германия тоже была раздроблена); они заключили союз. Весной 1866 года отношения Пруссии и Австрии обострились из-за территории Шлезвиг-Гольштейн. Италия готовилась воевать. Хотелось с ней попрощаться — мало ли что.

В Неаполе пробыли до того, как 8 июня начались боевые действия, потом уехали во Флоренцию. 17 июня была объявлена война. Не помнящий зла Гарибальди предложил Виктору Эммануилу свои услуги; его назначили командовать двадцатью батальонами волонтеров и послали в Южный Тироль. Дюма свозил дочь в Венецию и Болонью, потом она уехала домой, а он 25 июня прибыл в Феррару, где был штаб итальянского командования. Накануне состоялась битва при Кустоцце, итальянцы были разбиты, но 29 июня при Лангензальце пруссаки уничтожили армию союзника Австрии королевства Ганновер, а 3 июля разбили австрийцев при Садове и те отозвали силы с итальянского фронта. 14 июля в Ферраре состоялся военный совет, Виктор Эммануил, испугавшийся своего страшного союзника, заговорил о мире. 16 июля пруссаки взяли вольный город Франкфурт, Гарибальди в 20-х числах был близок к тому, чтобы выбить австрийцев с территории Италии. Но 24 июля Виктор Эммануил подписал перемирие; Гарибальди вновь «кинули». Унижен был и Луи Наполеон: он содействовал союзу Италии с Пруссией, хотел получить территориальное вознаграждение, но Бисмарк отверг его притязания и того гляди нападет. А воевать Луи Наполеон не мог: армия развалилась; отозвал войска из Мексики и Рима, но этого мало. Сам он, 58-летний, всегда энергичный, спортсмен, прихварывал, казался стариком. И этого человека одни из нас столько лет обожали, другие боялись до обморока? В Париже, как всегда в периоды

смут, возникла «третья партия» — очень умеренные реформаторы, пытающиеся не допустить революции и спасти власть. Дюма о таких писал не раз: беда королей в том, что они никогда советам таких людей не следуют. «Третья партия», возглавляемая депутатом Эмилем Оливье, говорила, что надо соединить «порядок» со «свободой», — Луи Наполеон ее привечал; осмелев, она предложила дать палате право интерпелляции — депутатских запросов, на которые министры обязаны отвечать, но император это безобразие пресек, издав 14 июля указ, вообще запрещающий нижней палате обсуждать государственное устройство. Началась Фронда: злословили, пересказывали запрещенные памфлеты Гюго, Гамбетта стал кумиром молодежи. Когда интерес к политике становится хорошим тоном, это еще ничего; когда его отсутствие становится дурным тоном — что-то будет…

Во многих биографиях Дюма говорится, что он в июле 1866 года посещал Франкфурт и поля сражений, Садову и Лангензальце; эта информация взята из «Последних лет Дюма» Ферри, но ничем больше не подтверждена; известно, что он совершил такую поездку девятью месяцами позднее, так что Ферри, видимо, перепутал, и 9 августа Дюма вернулся в Париж из Италии. 23 августа заключен мир: Италия получила Венецию, Пруссия — Гольштейн, Франция — ужасного соседа. «Тот, кто не бывал в Пруссии, никогда не представит себе той ненависти, которую питают к нам ее жители. Она сродни навязчивой идее и мутит здесь даже самые ясные умы. В Берлине полюбят лишь того министра, который даст понять, что в один прекрасный день будет объявлена война Франции… Эта глубокая, застарелая, неистребимая ненависть к Франции неотъемлема от самой здешней почвы, она витает в воздухе. Откуда она происходит? Возможно, с тех времен, когда галльский легион в авангарде римских войск вошел в Германию… или попробуем обратиться ко временам Росбахского сражения[32], но такого рода исторические отступления доказывают, что у пруссаков очень плохой характер, ибо именно тогда они нас разбили. Их ненависть, видимо, легче объяснить, справившись о более близких событиях: военной слабости учеников Фридриха Великого, которую они проявили в сравнении с нами после пресловутого манифеста, когда герцог Брауншвейгский пригрозил Франции не оставить камня на камне от Парижа. И в самом деле, в 1792 году хватило лишь одной битвы при Вальми, чтобы выставить пруссаков из Франции».

Дюма в книгах о революции «проскакивал» тогдашнюю войну с пруссаками, теперь решил писать о ней, собрался за материалами в Вилле-Котре, но отложил отъезд из-за гастролей Айры Олдриджа, знаменитого американского актера-негра,

несколько раз с ним обедал и писал о нем в «Газетке». В начале сентября уехал в Вилле-Котре, потом в Суассон, и там изменил планы. Он виделся с родственниками Марии Лафарг (она была помилована в 1852 году, вскоре умерла, посмертно вышли ее книги «Воспоминания» и «Часы заточения»), они отдали ему ее письма. Дюма предложил роман о ней «Газетке», та отказалась, он решил печатать у себя в «Новостях», сделал рекламу: приехал журналист, взял интервью у «нашего прославленного» и написал, что читатели «умоляли» о романе. Дюма собрал все, что писал о Лафарг в мемуарах и периодике, обильно цитировал ее книги — получилась не биография, а нечто такое, что одобрили бы Гонкуры, не будь они предвзяты: натуралистически-психологический роман в духе их собственной «Жермини Ласерте». Дюма, возможно, сам не заметил, что пишет новым языком — языком анализа, лишь изредка окрашенным сантиментами. «Несчастье Марии Каппель состояло в том, что ее никогда не понимали и не одобряли близкие, жившие рядом с ней. Гордыня ее была слишком велика, вполне возможно, куда больше всех ее заслуг и достоинств». Ее отдали в школу: «… повели в бельевую, где раздели, как раздевают осужденных в тюрьме или послушниц перед постригом… Увидев себя в зеркале в новом одеянии, девочка разразилась рыданиями и стала звать мать.

— Мама! — кричала она. — Мама! Мама!

Мужество ее ослабело, гордость поколебалась.

Мадам Каппель открыла дверь, маленькая Мария готова была броситься в ее объятия, но баронесса приложила все усилия, чтобы сохранить суровость и помешать бурному изъявлению чувств. Она поцеловала дочь, украдкой уронила слезинку, которую девочка все же должна была увидеть, попрощалась и ушла. Мария бросилась с рыданием на кровать, которую ей отвели, кусала простыню, чтобы заглушить крики, и считала себя самым одиноким и несчастным ребенком на свете. В эту минуту в отношениях матери и дочери возникла глубокая трещина. Ох уж эти трещины, они так легко становятся рвами, а потом и бездонными пропастями». Дальше — смерть отца: «Если бы отец остался в живых, кто знает, что вышло бы из этой сложной двойственной натуры? Может быть, поэт? …Найдись для Марии Каппель учитель, из нее выработался бы недюжинный писатель, экспрессивный, выразительный».

Марией занимался дед, она читала мужские книги, в 1830 году, в 14 лет, рассуждала о революции как взрослая. Умерли дед и мать — стала приживалкой в богатом семействе и была обвинена в краже. Дюма объяснял это клептоманией, болезнью, а

не «пороком», болезнь — депрессией, депрессию — невозможностью реализоваться: «Ей нужен был простор и возможность свободно дышать. А ей предлагали тесное пространство дома, из нее хотели сделать хозяйку, которая вяжет чулки детишкам и шьет рубашки мужу… Она открыто бунтует против социальных условностей, но если мужчина может порой преодолеть их богатством или гениальностью, то женщина неизбежно потерпит в этой борьбе поражение». Она не была сильной. Дюма советовал идти в актрисы — отказалась, намекала, что не прочь выйти за него или за кого-нибудь, кто даст ей жизнь, которой она хотела. «Спустя неделю я узнал, что она вышла замуж за хозяина железоплавильного завода… женщина, привыкшая к утонченному обхождению, к искусству изысканной беседы, осталась наедине с мужчиной, который приобрел ее в собственность»: шлепки при людях, изнасилование. «Только развод, вновь вернув свободу двум столь не похожим друг на друга людям, как Мария Каппель и Шарль Лафарг, мог сделать их счастливыми. Но развод во Франции отменен».

Она убила мужа, в этом Дюма не сомневается: «Я достаточно изучил ее характер, ее нервную организацию… Я проверял и перепроверял свой вывод, но убежденность моя оставалась неколебимой». Но поскольку одни люди страдают сильнее других, то и наказание могло бы быть соразмерным. «Медики изобрели хлороформ — это обеспечивает равенство перед болью… Законодатели 1789, 1810, 1820, 1830, 1848 и 1860 годов неужели не могли позаботиться о духовном хлороформе, уничтожающем неравенство в отношении душевной боли?» Из тюрьмы она ему писала, просила защитить. Он отвечал: «Я не только не убежден в Вашей невиновности, но, напротив, убежден, что Вы виновны, так как я могу защитить Вас. Бог будет не на моей стороне. Но поймите меня правильно, Мария. Не считая Вас невиновной, я считаю, что Вы достойны прощения, и с завтрашнего дня буду делать все, чтобы добиться для Вас помилования… Если Вы виновны, заточение будет для Вас искуплением. Если невиновны, Ваше мученичество станет образцом… Ваша книга, если Вы напишете книгу о Вашем заточении… откроет какую-то истину…» Лафарг последовала совету и, по ее словам, бывала счастлива и в тюрьме — когда писала.

Роман «Мадам Лафарг» печатался в «Новостях» с 26 сентября по 1 ноября 1866 года. Не оценили. И Леви его издавать не захотел. Годом раньше Гонкуры издали «Жермини Ласерте» — та же история. Пишешь по старинке — ругают, по-новому — ругают… Что же делать-то?

«Новости» умирали, нужна новая газета, ежедневная (он так и не понял, что нужен новый управляющий газетой). Жирардену: «Вы мне позволили сообщить в Вашей газете о возрождении „Мушкетера“. В субботу, в два часа, он выйдет из печати. Одной из главных изюминок первого номера будет статья против Вас, в ответ на Ваши атаки против того, что Вы называете мелкой прессой, — она угрожает стать большой, если уже не стала». Первый номер «Мушкетера» вышел 10 ноября — в нем допечатывалась «Мадам Лафарг»; с 18 ноября выходил «Красный сфинкс» под названием «Граф де Море» и «Граф де Маццара», перевод книги Петручелли де ла Гаттина. Вроде бы дело пошло. Можно садиться писать о войне с пруссаками и — Дюма наконец созрел для этого — о Наполеоне. Он называл источники: Тьер, Мишле, мемуары Нодье, генерала Матье Дюма, депутата Этьена де ла Рю и, разумеется, самого Наполеона, архивную переписку. «Одно из главных преимуществ контрреволюций состоит в том, что они снабжают историков документами, которые иначе не были бы получены. В самом деле, когда Бурбоны вернулись во Францию в 1814 году, все наперебой хотели доказать, что участвовали в заговоре или против Республики, или против Империи, то есть предавали родину. Предстояло получить вознаграждение за предательство, и вот мы увидели, как постепенно становятся явными и подтверждаются все заговоры, которые низвергли Людовика XVI с трона и о которых при Республике и Империи мы имели лишь смутное представление, ибо никогда не хватало доказательств. Зато в 1814 году доказательств было уже достаточно. Правой рукой каждый предъявлял свидетельство о своей измене, а левую протягивал за наградой…»

Некоторые материалы, касающиеся войны, ему в государственной библиотеке не дали. Он опять писал императору, хотя тот никогда не отвечал ему, льстил безбожно: «Прославленный собрат… (Луи Наполеон в 1865 году издал книгу о Юлии Цезаре, проводя параллели между ним, Наполеоном I и собой. — *М. Ч.)* когда Вы задумали описать жизнь победителя Галлов, библиотеки поспешили предоставить в Ваше распоряжение все, чем располагали. Итогом стала книга, превзошедшая остальные по объему содержащихся в ней исторических документов. Я приступил к написанию истории другого Цезаря, которого звали Наполеон Бонапарт, и мне необходимы документы, касающиеся его появления на мировой арене». Никаких документов он не дождался. Жаль, но обойдемся…

Роман назывался «Белые и синие», белые —

контрреволюционеры, синие — революционеры, действие начинается 11 декабря 1793 года, короля, королеву и жирондистов уже казнили, террор, но жизнь идет, четырнадцатилетнего провинциала Шарля родители отправили в Страсбург учиться греческому. Первое, что он видит, — гильотина. «Ты спрашиваешь, пускают ли это в ход? — весело откликнулся конюх. — А то как же, причем каждый день. Сегодня настал черед мамаши Резен. Она попала сюда несмотря на свои восемьдесят лет. Напрасно она кричала палачу: „Послушай, сынок, не стоит меня убивать: подожди немного, и я сама околею“; она рухнула так живо, как будто ей было только двадцать».

Заведует казнями тот, к кому Шарль приехал учиться, — Евлогий Шнейдер, историческое лицо, чудовище еще большее, чем Каррье из «Бланш»: он был священником. «Этот общественный обвинитель, когда ему не хватало работы в Страсбурге, рыскал по окрестностям в сопровождении грозной свиты — гильотины и палача. По любому доносу он являлся в города и деревни, жители которых надеялись, что никогда не увидят это орудие смерти, производил расследование на месте, обвинял, выносил приговор и приводил его в исполнение, а посреди этой кровавой оргии восстанавливал нарицательный курс ассигнатов, потерявших восемьдесят пять процентов стоимости, и один снабжал армию, испытывавшую нужду во всем, большим количеством зерна, чем все комиссары округа, вместе взятые». Но и Шнейдера некоторые активисты террора считают умеренным и жалуются на него в Париж. Шнейдер шантажом принуждает стать его женой девицу Клотильду де Брен. Ну зачем Дюма этих девиц всюду пихает… Но он лишь следовал источникам: Шнейдер действительно силком женил на себе девушку. У Дюма его арестовывают в день свадьбы, как на самом деле — источники расходятся: то ли до, то ли после. Он имел право выбрать самый эффектный вариант.

Шнейдера казнили, а Шарль попал к генералу Шарлю Пишегрю, командующему Рейнской армией: он воевал успешно, но в 1795 году перешел к белым, был сослан в колонии, в 1804-м вновь участвовал в контрреволюционном заговоре, был арестован и покончил с собой. Дюма реабилитирует его: «Мы читали в трудах историков, что Пишегрю предал Францию ради губернаторства в Эльзасе, красной орденской ленты, замка Шамбор с парком и угодьями, двенадцати пушек, миллиона наличными деньгами и ренты в двести тысяч франков, половина которой перечислялась на имя его жены и по пять тысяч — каждому из его детей; наконец, ради поместья в Арбуа, носящего

имя Пишегрю и освобожденного от налогов на десять лет. Первое конкретное опровержение данного обвинения состоит в том, что Пишегрю никогда не был женат, и, следовательно, у него не было ни жены, ни детей…» Почему предал? Он видел идеал в США, хотел жить «при Вашингтоне, а не при Кромвеле», и ему казалось, что если он поможет вернуть трон «белым», они исправятся, а «синих» исправит лишь могила.

Поздней осенью 1866 года Дюма писал об осадах и победоносных битвах, был упоен, счастлив и — влюблен. Некоторые биографы считают, что у него была тогда связь с 34-летней Олимпией Одуар, писательницей, феминисткой, что не мешало ей, по мнению Гюго, «охотиться за пожилыми знаменитостями»: в письмах Дюма она звала его «дедушкой», он ее — «деточкой»; крутилась возле Дюма и ее подруга, 28-летняя Франсуаза Шартье Адель, пишущая под псевдонимом «Камилл Делавиль», позднее утверждавшая, что была секретарем Дюма, хотя никто этого не подтвердил. Но достоверно известно лишь о том, что он был увлечен Адой Менкен, женщиной типа Маты Хари или Марии Будберг, чья жизнь — загадка.

Родилась она в Луизиане примерно в 1835 году, ребенком танцевала в балете, якобы в 12 лет перевела Илиаду, в 17 лет то ли вышла, то ли не вышла замуж. На Кубе танцевала, в Техасе редактировала газету; Уолт Уитмен, Марк Твен и Брет Гарт были ее друзьями. В 1856 году она вышла замуж за музыканта Александра Менкена и стала писать о «еврейском вопросе», Ротшильд ею восхищался как публицистом. Порвала с мужем (развод в США был разрешен), поступила в театр в Новом Орлеане, потом в Нью-Йорке, там в 1859 году вышла за боксера Джона Хинена, с ним тоже не ужилась. Актрисой была не ахти какой, коллега посоветовал ей не играть в обычном театре, а придумать что-нибудь экстравагантное. Она придумала полуцирковую постановку по мотивам «Мазепы» Байрона: сюжет предельно упрощен и масса трюков на лошадях. Первое представление в Олбани, успех, гастроли по стране. В 1862 году она вышла замуж за своего импресарио Роберта Ньюэла, родила двоих детей, оба умерли во младенчестве. Разошлась с мужем, в 1866-м, будучи беременной от неустановленного мужчины, вступила в фиктивный брак с актером Джеймсом Беркли и уехала на гастроли в Лондон (рожденный ею ребенок тоже умер). В Англии имела шумный успех, рассказывала, как была ковбоем и охотилась на буйволов, оказалась в плену у индейцев и, загипнотизировав их, бежала, и тому подобное. Беседовала с мужчинами о политике, философии и теологии, Диккенс и Суинберн переписывались с нею как с равной. Из Лондона

приехала в Париж, поселилась в отеле на бульваре Страсбур, весь город стремился к ней. Дебютировала 31 декабря 1866 года в театре «Готэ». Дюма пришел к ней за кулисы в первых числах января 1867 года.

Дюма — Аде Менкен: «Если правда, что у меня есть талант, как правда то, что у меня есть сердце, — и то и другое принадлежит тебе…» Сыну: «Несмотря на мои годы, я нашел свою Маргариту, для которой играю роль Армана…» (герои «Дамы с камелиями»). Второй раз (после Беатрис Пирсон) женщина незаурядная согласилась стать ему близким человеком, не говорим «любовницей», так как в этом есть сомнения, но на людях она с ним бывала постоянно. Сын, дочь и знакомые были шокированы. Но она ему подходила, она была тем, в чем он нуждался, и он расцвел. «Белые и синие» печатались в «Мушкетере» с 13 января 1867 года, номера газеты шли нарасхват, тираж удвоился. Как давно не было такого успеха! Чем его объяснить? И тема благодатная — гордость нации, ее победы, и вдохновение было, и старался, и написано хорошо. Часто, когда его работы принимали плохо, он винил читателей и редакторов. Теперь, когда принимали как нельзя лучше, — был недоволен собой. «Есть некоторые предметы, которые я бессилен изобразить: одна из самых больших печалей для писателя — знать, что он пишет слабее, чем чувствует». Кажется, после «Сан-Феличе» и «Марии Лафарг» он начал становиться другим писателем, которым мог стать изначально, не сверни на легкую дорогу. Но тогда бы мы не знали «Трех мушкетеров»… Стоило ли оно того?

Роман завершился 22 февраля победой над пруссаками, с 23-го Дюма начал публикацию «Волонтера 92 года» под названием «Рене Бессон, свидетель революции», но читатели бесновались, требуя продолжения «Белых и синих», — он уже и забыл, что такое бывает. Опять оборвал бедного «Волонтера» и взялся за «Белых и синих». Мы столько ждали, когда он напишет о самом странном и любопытном моменте — падении Робеспьера и конце террора, но он опять пропустил его, перепрыгнув в осень 1795 года: террора уже нет, страшный Конвент, куда вернулись жирондисты, принял очень милую конституцию, провел амнистию, переименовал площадь Революции в площадь Согласия и… самораспустился. Зачем? А затем, что хотел все делать по-человечески, ведь Конвент был и законодательной, и исполнительной, и судебной властью. Теперь появились парламент и избираемый им исполнительный орган — Директория: пять человек, принимающих решения большинством. Это, конечно, была ошибка: многоголовая исполнительная власть нежизнеспособна. Но все эти милые интеллигенты (а в новый

парламент опять избрались такие) боялись диктатуры… (Они так боялись повторения старого, что, дабы не допустить новой «Горы» и вообще фракций, депутатам воспрещалось больше месяца сидеть на одних и тех же местах.)

Члены Директории ссорились между собой и не умели ни денег найти, ни от врагов отбиться. И началось: роялисты, шуаны, заговоры, парижские Советы бузят, 13 вандемьера (5 октября) 1795 года — роялистский мятеж, пошли на поклон к Бонапарту, тот подавил восстание, потом провел блистательную итальянскую кампанию. А кругом раскол, инфляция, хаос, едва во Францию разрешили вернуться роялистам, как они стали готовить переворот (в 1797 году 259 роялистов избрались в парламент). Дюма привел документы: заговор был и Директория защищалась. 18 фрюктидора (4 сентября) 1797-го Бонапарт вновь играючи подавил мятеж и подумал: да сколько же я буду стараться для кого-то? «Я спросил, можно ли мне присоединиться к ним [Директории], но они мне отказали. Если бы я остался здесь, мне пришлось бы их свергнуть и стать королем. Аристократы никогда на это не согласятся; я прощупал почву: время еще не пришло». «Итак, Бонапарт хотел покинуть Европу не для того, чтобы вести переговоры с Типпу Сахибом через всю Азию или сокрушить Англию в Индии. Ему надо было покорить этих людей! Вот истинная причина его похода в Египет».

Он отправился воевать; тут знаменитая легенда, будто он в госпитале в Яффе возлагал руки на больных чумой. Противоположная версия: он приказал их убить. Дюма разобрал эпизод по косточкам. Сперва цитировал Тьера, сторонника первой версии: «В городе находился госпиталь, где лежали наши больные чумой. Увезти их с собой было невозможно; оставить их означало обречь этих людей на неминуемую смерть либо от болезни, либо от голода, либо от жестокости неприятеля. Поэтому Бонапарт сказал врачу Деженетту, что было бы гораздо более человечным дать им опиума, чем оставлять их в живых; в ответ врач произнес следующие, весьма похвальные слова: „Мое дело — их лечить, а не убивать“. Больным не дали опиума, но из-за этого случая стала распространяться бесчестная, ныне опровергнутая клевета». «Я покорно прошу прощения у г-на Тьера, но этот ответ Деженетта недостоверен… Вот рапорт Даву, написанный в присутствии главнокомандующего и по его приказу; он фигурирует в сводке его официальных донесений. „Армия прибыла в Яффу пятого прериаля (24 мая). Она оставалась там шестого, седьмого и восьмого (25, 26 и 27 мая). За это время мы воздали непокорным селениям по заслугам. Мы взорвали укрепления Яффы, бросили в море всю крепостную артиллерию. Раненых эвакуировали по

морю и по суше. Кораблей было очень мало, и, чтобы успеть закончить эвакуацию по суше, пришлось отложить выступление армии до девятого (28 мая). Дивизия Клебера образует арьергард и покидает Яффу лишь десятого (29 мая)“. Как видит читатель, здесь нет ни слова о больных чумой, о посещении госпиталя и тем более о каких-либо прикосновениях к больным чумой. Ни в одном из официальных рапортов об этом нет и речи».

Значит, не было госпиталя? Но Дюма привел воспоминания Бурьена, секретаря Наполеона, утверждавшего, что посещение было: «Я шел рядом с генералом. Утверждаю: я не видел, чтобы он прикасался к кому-либо из больных чумой. С какой стати ему было их трогать? Они находились в последней стадии болезни; никто из них не говорил ни слова. Бонапарт прекрасно знал, что не застрахован от заражения… Некоторые настойчиво молили о смерти. Мы решили, что было бы гуманно ускорить их кончину на несколько часов». «Вы еще сомневаетесь? Наполеон сейчас выскажется от первого лица: „Кто из людей не предпочел бы быструю смерть жуткой перспективе остаться в живых и подвергнуться пыткам этих варваров!“ …Мы восстанавливаем истину не ради того, чтобы предъявить обвинение Бонапарту, который не мог поступить иначе, чем он поступил, а чтобы показать приверженцам чистой истории, что она не всегда является подлинной историей». Не потому в официальных отчетах ничего нет о госпитале, что Наполеон там не был, а потому, что он приказал добить раненых. Так — анализируя, сопоставляя — работал Мишле; Дюма научился делать это не хуже.

Малый Наполеон меж тем хворал, слабел. Лависс и Рамбо: «Лидер третьей партии, романтические иллюзии которого временами разделялись императором, утверждал, что спасет монархию, если Наполеон III пожелает ему довериться». 19 января император дал парламенту право интерпелляции и обещал внести законопроекты о печати и собраниях. Но они так и не были внесены, а интерпелляция обставлена такими оговорками, что ее почти невозможно применить. Все вразнос: цены растут, «народ» не бунтует, но ворчит, «креативный класс» не бунтует, но издевается, военные неудачи, иностранцы перестают уважать. Как восстановить престиж? Потратить кучу денег и устроить грандиозное зрелище: 1 апреля в Париже с невиданной помпой открылась Всемирная выставка.

Вторую часть «Белых и синих» Дюма публиковал с 28 мая по 25 октября 1867 года не в «Мушкетере», а в газете «Малая пресса» — там подписчиков больше; Леви немедленно издал книгу. Но до самого «вкусного» — наполеоновского переворота 18 брюмера (9

ноября) 1799 года — Дюма опять не добрался. Нет, он, конечно, вкратце описал его раньше, в «Соратниках Иегу» — «„Солдаты! — заговорил Бонапарт таким мощным голосом, что было слышно всем и каждому. — Ваши товарищи по оружию, защитники наших границ, лишены самого необходимого! Народ бедствует! И во всем этом повинны заговорщики, против которых я собрал вас сегодня! Я надеюсь в скором времени повести вас к победам, но сначала мы должны обезвредить всех, кому ненавистны общественный порядок и всеобщее благо!“ То ли все устали от правления Директории, то ли сказалось властное обаяние этого человека, призывающего к победам, от которых уже отвыкли, — только поднялась волна восторженных криков и, как пороховая дорожка, прокатилась от Тюильри к площади Карусель…» — но сейчас сделал бы лучше. Вместо этого он начал роман «Прусский террор»: король захваченного пруссаками Ганновера Георг V основал в Париже газету «Ситуация» и щедро платил всем, кто писал на антипрусскую тему.

Дюма побывал в местах действия с 6 по 12 марта: Франкфурт, Гота, Ганновер, Берлин, Садова, Лангензальц. По возвращении — скандал: 28 марта фотограф Льебер, снимавший его с полуодетой Адой на коленях, не получив платы за фотографии, выставил их в витринах магазинов. Дюма это, возможно, льстило, Аде реклама была кстати, но дочь умоляла владельцев магазинов снимки убрать, сын советовал подать на Льебера в суд. Дюма-отцу было не до того, он боролся за «Мушкетера» и не удержал его: 25 апреля вышел последний номер. Сам виноват — зачем отдал «Белых и синих» в чужую газету? Он подал в суд на Льебера 26 апреля; 3 мая, в день, когда родилась его вторая внучка, Жанин, его иск отклонили. Апелляция и компромиссное решение: он купит снимки, их запретят продавать. Но к тому времени над фотографией потешались все газеты; молодой Верлен в стихах называл Дюма «дядей Томом». 24 мая снимки убрали, и он смог спокойно приняться за роман. В 1848 году он предупреждал французов, что Пруссия — «спящий удав»: проснется — мало не покажется. Ему не поверили; теперь он вновь пытался предупредить.

Роман печатался в «Ситуации» с 20 августа по 20 ноября 1867 года, действие начиналось в Берлине летом 1866-го: француз Тюрпен на патриотическом митинге кричит «Да здравствует Франция!», пруссаки в бешенстве, граф фон Бюлов дерется с ним на дуэли, после чего они, как водится, становятся друзьями. Началась война, оба ушли в свои армии, оба оставили любимых в вольном Франкфурте. Пруссаки взяли Франкфурт, их командующий генерал Штурм потребовал у фон Бюлова (своего

начштаба) назвать имена богатых горожан, чтобы вытребовать у них контрибуцию (исторический факт). Фон Бюлов отказался, получил хлыстом по лицу, пытался вызвать генерала на дуэль, считая себя обесчещенным, застрелился, завешав Бенедикту отомстить за него, и год спустя тот убил Штурма. Эта интрига занимает не так много места, куда больше — история германских государств, обзор музеев, университетов, прессы и даже фауны и флоры. Штурм — собирательный образ самого отрицательного в пруссаках, по мнению Дюма. Вообще Пруссия — воплощение мерзости: едва пруссаки захватывают какое-нибудь германское государство, там вместо культуры и науки насаждаются муштра и деспотизм. (Другие германские народы — хорошие: «Живительное начало на земле могло бы быть олицетворено тремя народами: торговля — Англией; распространение нравственных истин — Германией; духовное воздействие — Францией… Немецкий гений стремится к миру и свободе — причем без революции, — но более всего желает независимости интеллекта».)

Редактор «Ситуации» Оландер спросил Дюма, поддерживает ли он австрийцев, — тот отвечал, что нет: «Пруссия представляет грубую силу, Австрия — наследственный деспотизм». Противостоять этим двум чудовищам может лишь его прекрасная родина: «Францию не ослабишь, ее только разгневаешь. Если Франция спокойна — она движется к прогрессу, если разгневана — совершает революции». Но пока разгневалась другая страна: США потребовали вывести французские войска из Мексики, тамошние республиканцы взяли власть и расстреляли посаженного Луи Наполеоном императора Максимилиана. Позор на весь мир. Какое уж там сопротивление Пруссии — генералы, от которых требовался не талант, а лояльность, разворовали всё…

Ада летом была на гастролях, Дюма поехал с дочерью в Трувиль, снял дом на август и сентябрь, писал «Прусский террор», ходил на литературные вечера, ездил в Гавр, где жила вышедшая замуж Эмили Кордье, — повидать Микаэлу. Трувильские газеты рассказывали, как он пишет: с 6 до 11 утра, потом прогулки, пляж, после обеда — снова работа. Театр «Клуни» поставил «Антони» — ажиотаж, публика вновь захотела романтики, в сентябре, когда он пришел на спектакль, 500 студентов Политехнического института вынесли его из театра на руках. Вот бы здесь и закончить, когда он счастлив, когда незаурядная женщина с ним рядом… Нет, нельзя, пока нет его желанной республики: если он ее не увидит, зачем вообще было все?

Глава девятнадцатая
КОРОЛИ ЗАЖИГАЮТ КОСТРЫ РЕВОЛЮЦИЙ УРОК ПОСЛЕДНИЙ

Сколько раз, покатившись, моя голова
С переполненной плахи летела сюда, где Родина…

Юрий Шевчук

Леви сократил ежегодные выплаты с 10 тысяч франков до четырех тысяч, долги платить нечем. Республика? Какие уж там республики… Гарибальди после очередной попытки пойти на Рим был разбит (при помощи французского экспедиционного корпуса) и сослан на Капреру. Во Франции церковь чувствовала себя победительницей, епископы требовали запретить женские школы, преподавание естественных наук и философии в университетах, книги Вольтера, Руссо, Мишле и даже Жорж Санд. Сент-Бёв выступил в сенате в защиту литературы и науки — его освистали, высшие учебные заведения закрывались. «Партия священников завладела настоящим и прошлым и уже потянулась расставить свои вехи в будущем… все то, что стремилось заставить человечество сделать еще один шаг к цивилизации, было запрещено, осквернено и опозорено!» Неужели опять без революции не управиться?

Предположительно в конце 1867 года Дюма вернулся к «революционному» циклу, использовав давно начатое «Сотворение и искупление» и заключив договор с «Веком». Писать он той зимой не мог из-за дрожи в руке, диктовал юному журналисту Шарлю Шиншолю, впоследствии издавшему книгу «Дюма сегодня» (1869) с фотографиями Пьера Пети. Полина Меттерних о романе: «Дюма начал рассказывать так, словно читал вслух: „Это было холодным декабрьским днем“, и т. д., и т. д. Он продолжал, не колеблясь в выборе слова, никогда не делая ошибок; каждая интонация соответствовала характеру персонажа… Как он мог помнить все события, как умудрялся держать в поле зрения всех персонажей, ставя их в затруднительные положения и выпутывая из них, — это выше моего понимания…» Она спросила, когда он издаст роман, он ответил, что понятия не имеет (аргумент в пользу того, что он

читал роман Полине не в 1868-м, когда уже был договор с «Веком», а двумя годами раньше) и что он все это только что придумал. Хитрил: текст был начат им и Эскиро одиннадцатью годами раньше, он просто помнил начало наизусть…

В 1785 году врач Мере поселился в глухой провинции, где «знали, что Францией правит король; никто из здешних жителей никогда его не видел, но все ему верили и повиновались, ибо так приказал бальи, они ведь и в Бога верили и повиновались ему, ибо так приказал кюре». Мере вольнодумец — «верил в разлитый во Вселенной всеобщий флюид — средоточие жизни и ума», целитель, и, объявив его дьяволом, все потихоньку бегают к нему лечиться. Для него нет барьера между людьми и животными: когда он наблюдал за детьми, «ему приходило на ум, что животное пытается заговорить на языке ребенка, а ребенок — на языке животного. Впрочем, на каком бы языке они ни изъяснялись, они понимали друг друга, и, быть может, те несложные мысли, которыми они обменивались, таили в себе больше откровений о Боге, нежели все, что изрекли о нем Платон и Боссюэ. Наблюдая за животными, этими смиренными Божьими тварями, любуясь умным видом одних, добрым и мечтательным обликом других, доктор понял, что их связывают с великим мировым целым тайные, глубоко скрытые узы». Он подобрал девочку-маугли, выросшую с собаками в хижине дровосека: физически она здорова, но кажется слабоумной. «Один из главных признаков слабоумия — оцепенелость. Природа даровала человеку три способности, образующие треугольник, в который она заключила жизнь. Это способности чувствовать, желать и двигаться. Человек испытывает чувства, ощущает желания и совершает поступки. Три эти процесса взаимосвязаны и не могут существовать один без другого. Стоит человеку перестать чувствовать, как он перестает желать, а если он ничего не желает, он бездействует. Слабоумный ничего не испытывает, и в этом — первая причина его неподвижности. В хижине браконьера несчастная девочка никогда не вставала с постели и часы напролет лежала, свернувшись клубком, как животные, или сидела, раскачиваясь, как китайские болванчики, которые только и умеют наклонять голову то вправо, то влево, то к одному плечу, то к другому».

Собака — единственное существо, которому удается растормошить ребенка. Мере это использует и убеждается, что у нее есть зачатки мышления. Опыты с зеркалом и другие методы пробуждения самосознания описаны толково, профессионально и безумно интересно, правда, нет уверенности, что это заслуга Дюма, а не Эскиро. Но дальше уже чистый Дюма: девочка

становится человеком, Мере нарекает ее Евой, влюбляется, узнает, что она подкидыш, дочь аристократов…

Публикация в 1868 году, однако, не началась: то ли Чинчолль, утверждавший, что писал под диктовку зимой 1867/68 года, ошибся годом, то ли работа не пошла (возобновить сотрудничество с Эскиро не удалось), то ли «Век» раздумал. Зато 4 февраля родилась новая газета — «Д'Артаньян»: выходит трижды в неделю, подписка — 15 франков в год, редакторы — Жорж д'Оржеваль и Альфред Мерсье, почти все материалы дает сам Дюма (он писал Мерсье, что у него 72 неизданных текста объемом в 7200 страниц). Вот первый номер: передовица Дюма, стихотворение Дюма, очерк «Париж и провинция» Дюма, очерк «Аделина Патти» Дюма, стихи Мари Петель-Дюма, театральные новости — подписано «Арамис», надо полагать, тоже Дюма, гастрономические рецепты — не подписано; чужих авторов нет — им же платить надо. Со второго номера (и до 30 июня) шла повторная публикация «Мадам де Шамбле», окончание «Моих животных», «Болтовня», повести Мари, стали появляться стихи и рассказы других авторов; повесть Дюма «Шкаф красного дерева», его очерк «Славное первое июня» о морском сражении 1794 года, в очередной раз — «Волонтер 92 года», анонсировалось «Сотворение и искупление». Как прежние газеты Дюма, «Д'Артаньян» был благом, где день за днем фиксировались подробности дел автора. Некая мадам Менье прислала ему комедию «Валентин-Валентина» — мальчик играл роль девушки, чтобы разбогатеть, — и просила его подписать текст, он сказал Вильмесану, что за три часа выправил пьесу, но подписывать отказался. Дама поставила его имя без спросу и продала пьесу марсельскому театру, он был возмущен — история заняла в «Д'Артаньяне» несколько номеров.

В мае император наконец даровал законы о печати и собраниях. Закрыть газеты отныне можно только судом, правда, не присяжных, а специальными «трибуналами». Собрания дозволяются, правда, полиция может их запрещать без объяснений. И все же газеты стали выходить, а собрания — собираться; их закрывали, разгоняли, открывались и собирались другие. Самой дерзкой была газета «Фонарь» Анри Рошфора, в которой император в открытую назывался придурком. Ее запретили, Рошфора хотели посадить, он бежал в Бельгию и стал издавать газету там. «Д'Артаньяна» все это не касалось, он словно существовал в каком-то другом Париже: Дюма, не желавший иметь проблем с цензурой, давно перенес политику в романы.

Той весной произошел инцидент с Маке, до конца не проясненный. По решению суда Маке получал две трети

гонораров за совместные работы, Дюма — одну треть. Кто-то из адвокатов Дюма написал Маке, причем в грубой форме, что долг уплачен полностью. Маке возмутился: у его адвокатов расчеты были другие. Дюма 25 марта написал ему, что не имеет отношения к оскорбительному письму, но считает долг выплаченным, и предлагал делить гонорары за пьесы поровну. Маке отказался и настаивал на выплате долга. Дело разбирал Союз драматургов и подтвердил правоту Маке. Больше соавторы не общались. (Симон пишет, что Дюма подавал на Маке в суд 7 мая 1869 года и проиграл; другие источники этого не подтверждают, но, наверное, было.) Маке стал кавалером ордена Почетного легиона, жил в семьей в Сен-Меме, писал, занимал высокие посты во всяких союзах. Он умер 8 января 1888 года, был похоронен на кладбище Пер-Лашез. Когда умер Дюма, Маке написал его сыну: «От новости, которую Вы мне сообщили, я обезумел от горя». Александр в ответном письме сообщил, что отец, умирая, говорил что-то о «тайных счетах» между соавторами. Маке ответил: «Между Вашим отцом и мною никогда не было денежных недоразумений, но нам никогда не удалось бы рассчитаться, ибо, не останься за ним полмиллиона, я был бы его должником». Он пытался написать книгу о сотрудничестве с Дюма, но бросил — не стал выносить сор из избы. Хороший человек, жаль, что все так вышло. Или не жаль? Продолжай они вдвоем строчить как из пулемета — и Дюма бы не останавливался, не задумывался, не поехал бы в Италию, не написал бы «Марию Лафарг» и «Сотворение и искупление»; возможно, он совсем разучился бы писать один.

4 июля «Д'Артаньян» после 66 выпусков закрылся. «Сотворение и искупление» печатать негде, а раз так, то и дописывать не стоит. Из «Волонтера 92 года» Дюма успел опубликовать всего 21 главу, но все же наспех закончил роман: он, как мы помним, оборвался бойней на Марсовом поле, дальнейшая история — пунктиром, подробно лишь о Шарлотте Корде: она была не «контрреволюционеркой», а убежденной республиканкой и Марата убила не как «революционера», а как диктатора. Дюма превознес ее подвиг, конечно? Ничуть: «Что хорошего сделала Корде? Она усилила в людях стремление к крайним мерам; она сделала мученика из самого грязного вожака. Двадцать два казненных жирондиста знали, что ее поступок погубил их». Большой Террор он прописал скороговоркой, останавливаясь лишь на малоизученных эпизодах, как, например, казни в Лионе: город вырезан, гильотина сломалась, стали расстреливать: «Однажды утром надо было казнить 64 человека… Это продолжалось два часа. 930 палачей

должны были отправить в вечность одновременно всех жертв, стоящих у рва и связанных веревкой, натянутой от дерева до дерева… Когда дым от залпа рассеялся, только половина была мертва, остальные ранены или невредимы. В глазах невредимых был ужас; раненые кричали, умоляя добить. Солдаты не смогли стрелять снова. Несколько заключенных освободились и бросились бежать. Драгунам приказали догнать и добить их. Их убивали группами, тут и там. Один человек, мэр маленького города, раненый, добрался до реки, но окровавленная рука выдала его, и его сбросили в воду. Резня продлилась до сумерек. Все же, когда наутро прибыли могильщики, некоторые сердца еще бились. Могильщики прекратили их страдания ударами киркой по головам. „Мы очищаем землю“, — написал Колло д’Эрбуа Конвенту». И здесь Дюма в который уже раз — издевается он над нами, что ли? — перескочил через то, как кончился террор: Робеспьер пал просто потому, что «пришло его время». Дюма продал роман американскому издательству «Братья Петерсон», которое в 1869 году издало его в полном объеме — 63 главы. (Во Франции отдельным изданием «Волонтер» вышел лишь в 1989 году.)

После «кончины» «Д’Артаньяна» Дюма наконец понял, что не умеет издавать прибыльные газеты? Как бы не так: 5 июля он основал еженедельную «Театральную газету», управляющим был актер Понсен, затем журналист Эльфег-Бурсен, вышло 36 номеров: обзоры новинок, 22 очерка о театре, которые Леви издал в виде сборника «Театральные воспоминания»: «О театральных дотациях», «Корнель и „Сид“», «„Эдип“ Вольтера и „Эдип“ Софокла», «Мораль Скриба» и другие. Хороший в общем был журнал: ни о ком никаких гадостей, как принято в других изданиях, тон — благородный: если две актрисы «поссорились» обеим предоставляли слово и пытались помирить (потом они доругивались в «Фигаро»), даже рубрики «Сплетни» не было, вместо нее — объявления о найме на работу по театральным специальностям. Но публика предпочитала «жареное»; с первых номеров стало ясно (не Дюма, другим), что издание долго не протянет. А жить на что?

Из пьес шла и кормила «Мадемуазель де Бель-Иль», периодически в разных театрах возобновлялся «Антони», больше ничего. Дюма сделал инсценировку «Мадам де Шамбле», не мог пристроить: с Французским театром испортились отношения, «Жимназ» ставил пьесы его сына и не хотел соперничества, с «Водевилем» поссорились, когда запрещали «Парижских могикан», наконец «Порт-Сен-Мартен» поставил пьесу 4 июня, после одиннадцати представлений снял: отчасти виновата жара,

из-за которой публика плохо ходила в театры. По словам Габриеля Ферри, Дюма возлагал на эту пьесу большие надежды и теперь «совсем пал духом». Но всегда что-то подворачивалось: в Гавре на лето и осень открывается Международная морская выставка, «Всемирный вестник» предложил работу корреспондента. В Гавре Микаэла — удачно сложилось. 23 июня приехали с д'Оржевалем, жили в отеле «Фраскати», у моря Дюма почувствовал себя лучше, смог писать, а не диктовать, выступил на открытии выставки, написал серию толковых репортажей, вышедшую сборником «Статьи о выставке в Гавре» и попутно — серию «болтовни» (инсектициды, вулканы, горчица и прочее): все это после публикации во «Всемирном вестнике» вышло сборником «Морские беседы». Гулял с Микаэлой, выступал на бенефисах, ходил на выставку изобразительных искусств (художник Годе посвятил ему альбом), на корриду (в некоторых регионах Франции была коррида — на португальский манер, без убийства), написал брошюру «Коррида в Гавре и Испании», делая сравнение, разумеется, в пользу первой, и еще находил время на роман. «Он работает до четырех часов пополудни, поэтому не приходится сердиться, если в это время двери его кабинета закрыты», — писал д'Оржеваль. Неясно, о каком романе идет речь, о «Сотворении и искуплении» или, что более вероятно, о продолжении «Белых и синих» — «Шевалье де Сент-Эрмин»: спустя два года после обращения к императору Дюма по ходатайству министра образования разрешили доступ к материалам о военных кампаниях Наполеона. Он прислал Даллозу, редактору «Всемирного вестника», синопсис романа: Сент-Эрмин, второстепенный персонаж «Белых и синих», сражавшийся против Бонапарта, перейдет к нему на службу; будет искать смерти, как Ролан из «Иегу», в тюрьме займется самообразованием, как Монте-Кристо; будет фигурировать и лекарство, от которого человек становится похож на труп, — весь старый набор, только изнасилованной под гипнозом девицы недостает.

В начале июля Ада Менкен по пути из Англии на несколько дней задержалась в Гавре, потом уехала в Париж — там ставилась ее феерия «Пираты Саванны». 19 июля она заболела, а 10 августа умерла от перитонита. В «Театральном журнале» 16 августа появился написанный Дюма некролог: «Она была не обычным существом… Ее жизнь доказала превосходство гордого, сильного, свободного американского воспитания над нашей системой, которая учит женщину одному — ничего не делать… Та, что выжила в джунглях среди диких зверей, умерла прозаично, мучительно…» Ни к ее одру, ни на похороны он не ездил, вместо

этого отправился в Трувиль и оттуда жизнерадостно писал о морских купаниях: мы с самого начала подозревали, что Ада в действительности его любовницей не была… В сентябре он приезжал в Париж: в «Одеоне» ставили его старую пьесу «Совесть», с Даллозом подписали договор на «Сент-Эрмина». 5 октября в «Порт-Сен-Мартене» возобновили «Антони», 31 октября — «Мадам Шамбле»; окрыленный, он вновь обратился к императору с просьбой возродить Исторический театр: «Мой сценический опыт, патриотизм и добрая воля, подкрепленные 30 000 франков, сотворят чудо». Ответа не получил. 22 октября умерла Катрин Лабе. За несколько лет до этого Александр-младший пытался поженить своих родителей, отец (по словам сына) был согласен, мать отказалась: «Он опоздал на сорок лет…» Дюма не был и на ее похоронах. Сам расхворался: ларингит, тяжесть в животе, руки опять тряслись. Сын предполагал цирроз печени и сифилис — тогда при любых неясных симптомах подозревали сифилис. Современные врачи считают, что у Дюма были гипертоническая болезнь, которую тогда не лечили, и нарушение функций щитовидной железы — гормональное заболевание, которое не умели даже диагностировать. Сейчас он с такими болячками прожил бы лет 80, но по тем временам и 70 — много, большинство его ровесников уже спали вечным сном…

Разбитый, в ноябре он вернулся в Париж — там все бурлит, все обсуждают недавние события: 2 ноября на могиле депутата Бодена, убитого на баррикаде 3 декабря 1851 года, произносились речи о «тиране, пришедшем к власти путем переворота», пытались устроить демонстрацию, ряд газет объявили сбор денег на памятник убитому, их редакторов отдали под суд. Защищавший их Гамбетта сказал, что будет вести дело не как уголовный, а как политический адвокат, и обвинял «преступную власть». Редакторов приговорили к штрафу, публика вынесла их из зала суда на руках, а Гамбетта, ранее популярный лишь в молодежной среде, стал всеобщей надеждой. Дюма немного оправился, ходил на концерты, но был слаб — совсем старик… В. В. Верещагин, «Листки из записной книжки»: «Дюма-отца я видел только раз в жизни в Париже… Некая m-me A. (Олимпия Одуар. — *М. Ч.),* путешествовавшая по США, рассказывала на вечере впечатления своей поездки… В указанный час зала наполнилась народом, но лектриса не показывалась, и ждать ее пришлось так долго, что публика вышла из себя, хлопая, стуча и крича разный нелестный для барышни вздор. Наконец она появилась на эстраде под руку со стариком Дюма. Оказалось, что этот великий невменяемый младенец, обещавший представить m-me A. собранию, куда-то пропал, и его пришлось разыскивать.

Сюрприз был велик, и вся зала, забыв недавнее неудовольствие, разразилась сначала довольным „А-а-а!“, а потом громом аплодисментов. Фигура старого писателя представляла из себя нечто необычайное: колоссальных размеров, до крайности тучный, с красным, отекшим лицом, обрамленным густою шапкою седых волос, он, тяжело дыша, опустился на кресло около лектрисы и сначала стал обводить глазами собрание, а потом, постепенно все более и более смыкая их, начал клюкать носом и даже похрапывать…»

Да, он мог заснуть на людях, да, выглядел комично, болел (совсем нет денег, из слуг остались только Василий и кухарка, продавали мебель), но работать не прекращал: работа — жизнь. Лежа диктовал д’Оржевалю или Виктору Леклерку «Сент-Эрмина». Великолепное начало: «Вот мы и в Тюильри, — сказал первый консул Бонапарт своему секретарю Бурьену, входя во дворец, где Людовик XVI совершил предпоследнюю остановку по пути из Версаля на эшафот, — постараемся же здесь и остаться». Но дальше начинается переписывание старого. Пересказ «Иегу», опять леди Гамильтон, Нельсон, Партенопейская республика… И Наполеон не получился: искренне ли, боясь ли Луи Наполеона, желая ли ему угодить, но Дюма написал слащаво и скучно. «Этот диктатор обещал быть столь же мудрым в будущем, сколь великим он был в прошлом, и обладал такими противоречивыми качествами, какие Бог никогда не соединял в одном человеке, а именно силу гения великих полководцев с терпением, определяющим судьбу и величие основателей империй. Именно поэтому возникла надежда, что, поставив Францию во главе наций и добившись усиления ее влияния и славы, этот человек наконец сделает ее свободной». И тот хотел — «Если бы мне пришлось выбирать, чью судьбу повторить, я предпочел бы судьбу Вашингтона» — да не смог: война, заговоры… и как-то так, вопреки его воле, вышла диктатура…

Что касается Сент-Эрмина, он философствует, и, надо полагать, это философия Дюма: он был «пантеистом и верил в вечность материи… однако в бессмертие души он не верил, потому что душа ему никогда не являлась». «Вместо того чтобы стать Богом всех миров, создавать вселенскую гармонию и порядок среди небесных светил, мы сами породили в своем воображении Бога личного, который призван вершить не природные потрясения, а всего лишь наши ничтожные частные неурядицы и беды. Мы воспринимаем Бога — такого, которого не в состоянии понять наш человеческий разум и к которому неприменимы наши человеческие мерила, которого мы не видим ни полностью, ни отчасти и который, если существует, то он

одновременно всюду, — мы воспринимаем его так, как в древности — бога домашнего очага, как небольшую статуэтку с локоть высотой…» Если же все-таки «Бог заблуждался, если, вопреки всем вероятностям и возможностям, Бог оказывался неразборчивым или несправедливым, если жизнь человеческих существ состояла лишь из набора материальных событий, предоставленных воле случая, и на этого Бога никто не имел права жаловаться», — Сент-Эрмин «будет бороться против такого Бога, он будет жить достойно и честно без такого Бога».

Прежде чем писать, Дюма, «клюкающий носом старичок», перелопатил громадный объем документов: переписку Наполеона, мемуары Бурьена, герцогини д'Абрантес, начальника службы внешней разведки Демаре, массу чиновничьей переписки о разных мелочах. Благодаря этой скрупулезности Шопп в начале XXI века и смог отыскать «Сент-Эрмина», утерянного, не упоминавшегося в библиографиях: он сперва наткнулся на ответ Дюма в «Вестнике» журналисту д'Эскампу, который говорил, что Дюма оклеветал семью императора в некоем тексте, стал разматывать клубок и нашел сам текст.

«Сент-Эрмин» начал выходить 1 января 1869 года (и выходил до 30 октября с редкими пропусками). Его сразу отругал этот самый д'Эскамп. Дюма шумиха была на руку — реклама, — но отвечал он серьезно: «Вы утверждаете, сударь, что невозможно, чтобы Бурьен позволил себе утром войти в спальню Бонапарта, когда Жозефина была в постели. Сейчас Вы убедитесь, что ему было позволено, и даже приказано, гораздо больше: Бурьен, камердинер: „Среди указаний, которые мне давал Бонапарт, было одно, особенное. 'Ночью, — говорил он, — старайтесь не входить ко мне в спальню. Никогда не будите меня ради хороших новостей. Хорошая новость подождет. Но если придут дурные вести, будите меня немедленно, ибо в таком случае нельзя терять ни минуты'". Видите, сударь, Бурьену было позволено входить ночью в спальню Бонапарта. Это означает, что у него был свой ключ и при необходимости он мог войти туда в любое время. Или, что вероятнее всего, ключ всегда оставался в двери, поскольку лестница вела в кабинет Бонапарта». (Д'Эскамп отвечал: «У писателя и историка должно быть нечто, чего не могут заменить ни воображение, ни талант, ни ум, — это нравственность».)

Леклерк, улаживавший театральные дела Дюма, договорился с театром «Шатле» о пьесе по «Белым и синим». Дюма написал ее за четыре дня, там была сцена, где кричали «Да здравствует республика» и пели «Марсельезу», цензура пьесу запретила, но после долгих переговоров сняла запрет. Март прошел как на

качелях — то хорошее, то грустное: 4 марта Дюма ездил на похороны Ламартина (некролог: «Ты им отдал твою душу: они ее недооценили. Ты им отдал твое сердце: они его бичевали…»), 7-го присутствовал на вечере в честь сотого представления «Графини де Монсоро», 10-го — премьера «Белых и синих», овации (автору и «Марсельезе»), а 14-го прекратил свое существование «Театральный журнал»… Мари писала подругам, что отец опять расхворался, Олимпия Одуар предложила ему пожить в ее загородном доме возле парка Мезон-Лаффит, он пробыл там (с Леклерком) до конца апреля, продолжая слать Даллозу «Сент-Эрмина». Дюма там стало получше, и май он провел в Париже. Сыну: «Рука у меня дрожит, но не волнуйся, это пройдет. Она стала дрожать как раз из-за отдыха. Она так привыкла трудиться, что, когда я принялся диктовать, она не вынесла подобной несправедливости и, чтобы чем-нибудь занять себя, принялась дрожать… Я чувствую себя лучше…» Видимо, вполне сносно себя чувствовал, так как смог съездить в мае в Сен-Мало, где происходило действие некоторых сцен «Сент-Эрмина» и жил Пьер Маргри, помощник хранителя архива Морского министерства, предложивший консультации по роману. «Надо ли Вам говорить, что я принимаю Ваше предложение. Надеюсь, что Вы молоды и полны сил. Сам я страдаю болезнью сердца, которая не позволяет мне выходить из дома, в противном случае я бы не решился сообщить Вам, что жду Вас у себя в любое удобное для Вас время… Я был бы Вам премного обязан, если бы Вы могли поделиться со мной сведениями о побережье Индии…» Не забыл и про «Сотворение и искупление» — съездил в Верден за материалами об осаде города пруссаками в 1792 году; когда руки дойдут писать, неизвестно, но вдруг потом не будет сил на поездку?

24 мая и 7 июня — выборы: всю избирательную кампанию официозные газеты убеждали читателей, что все оппозиционеры — «красные» и намерены «развалить страну». Официальные кандидаты получили большинство, но далеко не такое прочное, как раньше, — 4 миллиона 438 тысяч голосов против 3 миллионов 355 тысяч. Правда, в парламенте сторонников Империи оказалось 218 против 71 оппозиционера (30 республиканцев, 41 легитимист). Странно? Все просто: кандидаты от партии власти называли себя независимыми, и таких было избрано 90 человек. Громадная разница меж городом и деревней; в деревнях власть получала 80 процентов, в Париже и Марселе оппозиция набрала почти 70 процентов (от Парижа прошел, в частности, Гамбетта). По Парижу прокатились несанкционированные митинги, никто не погиб, только

арестовали массу народа, но в некоторых городах дошло до стрельбы. Палата собралась 28 июня, 116 депутатов потребовали предоставить парламенту самому определять отношения с правительством, император нашел выход — отложить заседания палаты. Лависс и Рамбо: «С этого момента для многих здравомыслящих людей стало очевидным, что Империя погибнет, если только, вернув себе популярность какой-нибудь счастливой войной, она не прибегнет к новому государственному перевороту». Неизвестно, увы, за кого голосовал Дюма, — он в ту пору колебался между республиканцами и «третьей партией» Оливье. Кажется, никогда он не был так далек от политики, как летом 1869 года: ее вытеснила кулинария.

Дюма всегда становилось лучше у моря; по совету врача Пиорри он 25 июня со своим бывшим секретарем Гужоном и кухаркой Мари приехал в Бретань, в местечко Росков. «Измученный каторжной работой… утративший вдохновение, страдавший от постоянных головных болей, полностью разоренный, но все же не влезший в долги, я решил немного отдохнуть, принявшись за книгу, которая представлялась мне легкой забавой». Эта книга — «Большой кулинарный словарь», на который он подписал договор с молодым издателем Альфонсом Лемером. В Роскове жил его знакомый по Гавру, который снял для него дом с садом на берегу моря. Купить мяса — проблема, все едят рыбу, кухарка капризничала, он готовил сам, писал о готовке, но не только о ней: «Большой кулинарный словарь» — это 800 статей на тысячу страниц о зоологии, ботанике, истории кухни, просто истории…

«БАБА. Это пирожное, которое пришло к нам из Польши. Баба всегда должна быть достаточно объемистой, чтобы ее можно было подавать как крупное блюдо и перед десертом и чтобы можно было в течение нескольких дней держать ее в буфете. Возьмите 1,5 килограмма самой лучшей муки, которую только сможете найти, 45 граммов пекарских дрожжей, 30 граммов мелкой соли, 120 граммов сахара, 180 граммов светлого изюма (коринки), 180 граммов изюма из мускатного винограда малаги, 30 граммов цукатов из лимона, 30 граммов цукатов из ревеня, 3,5 грамма шафрана, стакан сливок, стакан вина малаги, 22 яйца и килограмм самого лучшего сливочного масла. Сначала просейте муку, потом возьмите четвертую часть ее для опары, сделайте из этой муки горку… Скорее всего, Францию познакомил с этими пирожными король Станислав Лещинский, зять Людовика XV. У августейших потомков этого доброго короля (это говорю не я, а господин Карем) бабы всегда подаются на стол вместе с соусником, в который налито сладкое вино „Малага“,

разбавленное водой в соотношении 5:1».

«БАБИРУССА. Это вид кабана, с которым в Европе только что познакомились и которого любопытствующие найдут в зоологическом саду. Вот что Плиний говорил о бабируссе…»

«БАРАНИНА. Бараны и овцы с мыса Доброй Надежды, а также астраханские с побережья Каспийского моря имеют такой большой хвост, что он весит до двадцати фунтов. Некоторые из них таскают за собой маленькую тачку, на которой лежит их хвост. Это делается для того, чтобы шерсть не сваливалась… В XV веке Эдуард IV, король Англии, получил от испанского короля три тысячи этих животных. Изменение климата сделало их шерсть гораздо более длинной и менее тонкой. Огромная забота о своих стадах, которую проявляли англичане, полностью уничтожив волков, позволила им постоянно держать баранов на открытом воздухе. С той поры английская шерсть пользуется большим спросом во всем мире. Именно для того, чтобы без конца напоминать нации, как важна для нее торговля этим товаром, председатель палаты лордов сидел раньше на мешке с шерстью».

Но мы ошиблись, он не забыл политику: параллельно с «забавой» (ничего себе «забава»: сочинить тысячу страниц текста и помнить, кто, откуда и каких коров ввез, что и по какому поводу говорили Плиний и Цицерон) он возобновил «Сотворение и искупление». К Мишле, 17 июля: «Тут у меня вчера была дискуссия насчет 27-го… Одолжите мне Ваши тома, где говорится, что делали Марат и Робеспьер 27-го…» (Имелось в виду 27 сентября 1792 года, когда Дантон на улицах убеждал парижанок, что они должны отдать детей в армию.) Итак, «маугли» Ева стала человеком, нашелся ее настоящий отец, богач, и забрал ее, а тем временем случилась революция, которую теперь принято ругать — но: «Народ не может существовать, не будучи свободным. Порой мы забываем эту священную истину, но рано или поздно вспоминаем о ней… мы, люди действия, начинающие и прекращающие революции, подобны вождям варварских племен, чьи останки солдаты клали в гроб из золота, затем золотой гроб ставили в свинцовый, а тот — в деревянный. Первый историк, который захочет извлечь наши кости на свет Божий, увидит дубовый гроб, второй обнаружит под дубом свинец, и лишь третий, самый дотошный, найдет гроб из золота». Дюма 30 лет сомневался, входил ли Людовик XVI в предательские сношения с иностранными королями; убедившись, что входил, сомневался, можно ли считать это преступлением; теперь же решил вопрос окончательно: да, он был преступником, и не убить его было нельзя: «Находясь в заключении, он постоянно плел бы

интриги, чтобы выйти на свободу. Будучи изгнан, постоянно плел бы интриги, чтобы возвратиться во Францию».

Доктор Мере избран в Конвент; дальнейшее мы уже проходили — пруссаки, штурм королевского дворца, резня в тюрьмах, провозглашение республики, Дантон, Марат и Робеспьер набрали силу, короля с королевой взяли под стражу, Франция в кольце врагов, Лафайет, обвиненный в предательстве, бежал, Вандея: «На востоке шла война явная, война с чужестранцами. На западе — война тайная, война между соотечественниками. День за днем обе эти войны набирали силу, словно соперничая, а Париж, находившийся между двух огней, страдал. Ведь ему грозили еще два страшных врага: священник и женщина. Священник, неприступный в той мрачной дубовой крепости, что зовется исповедальней. Женщина, подученная священником и владеющая таким могучим средством, как ночные слезы и вздохи.

— Что с тобой? — спрашивает муж.

— Нашего бедного короля заперли в Тампле! Нашего бедного кюре заставляют приносить присягу! Пресвятая Дева не может этого видеть; младенец Иисус плачет горючими слезами.

Так на супружеском ложе и в исповедальне куется одно и то же оружие».

Дантон хочет распространить революцию на Европу: «В какую бы страну ни вошли французы, они обязаны провозглашать там революционную власть, провозглашать громко и открыто. Если они на это не отважатся, если они ограничатся словами и не перейдут к действиям, народы, предоставленные самим себе, не найдут довольно сил, чтобы разорвать свои оковы.

— Иными словами, — спросил Дюмурье, выслушавший речь Дантона с величайшим вниманием, — вы хотите, чтобы бельгийцы стали так же бедны и несчастны, как мы?

— Совершенно верно, — согласился Дантон, — нужно, чтобы они стали бедны, как мы, несчастны, как мы; тогда они бросятся к нам за поддержкой и мы их поддержим».

Неясно, разделял ли Дюма эту идею, но Дантона любил все больше и полагал, что тот мог стать «добрым диктатором» и спасти Францию от злых (редкий случай, когда он не смог обосновать свое мнение доводами), хотя и не идеализировал героя. Мере — Дантону:

«— Но жена твоя сказала мне, что ты поклялся ей не только никогда не злоумышлять против короля, но и защищать его.

— Друг мой, безумен тот, кто дает клятвы в дни революции, но еще безумнее тот, кто им верит…»

Как всякий историк, Дюма делал исторические открытия,

пусть крошечные. (Ах, никогда публике не понять этого счастья — обнаружить, что какая-нибудь ерунда произошла не 3-го числа, как все думают, а 4-го!) Войска герцога Брауншвейгского на пути к Парижу осенью 1792 года осадили Верден и взяли его; Дюма весной в Вердене нашел неизвестный документ — листовку герцога, предлагавшую горожанам сдаться. «Я тщетно искал в книгах Тьера и Мишле текст этого обращения… на мой взгляд, ни один историк не понял, какую роль сыграло взятие Вердена в истории Революции… Сам я заметил этот удивительный пробел при следующих обстоятельствах. Еще в эпоху Реставрации меня возмущали поэтические восхваления так называемых верденских дев, которые с цветами в одной руке и сладостями в другой открыли врагу ворота города, являвшегося ключом от всей Франции. Эту измену родине можно извинить лишь невежеством женщин, которые, скорее всего, поддались на уговоры родных и не понимали, какое преступление совершают. Свою роль тут наверняка сыграли и священники». (Восхваления предательниц — это друг Гюго, роман «Бюг-Жаргаль», поэма «Верденские девы».) Город капитулировал против воли коменданта Борепера, и он застрелился. Тьер ни словом его не упомянул, «что же до Дюмурье, он в своих „Мемуарах“ говорит о Вердене всего несколько слов, а Борепера называет Борегаром! За одну эту ошибку Дюмурье заслуживает имени предателя». «В отличие от г-на Тьера, Мишле, великолепный историк, который дорожит всеми героями, составляющими славу Франции, ибо сам принадлежит к их числу, не проходит мимо гроба Борепера холодно и равнодушно. Он преклоняет возле этого гроба колена и возносит молитву. Однако о „верденских девах“ Мишле не говорит ни слова. Без сомнения, ему не хотелось рисовать рядом с каплей чистой крови грязную лужу». А нужны и лужи, все нужно, если это правда…

Правда нужна и о Дюмурье с Лафайетом: первый «принес Франции больше пользы, чем Лафайет, а вреда меньше, но тем не менее был с позором изгнан из Франции и умер в Англии, не оплаканный никем из соотечественников, тогда как Лафайет с триумфом возвратился на родину, стал патриархом революции 1830 года и умер, окруженный славой и почестями». «Мы не из тех, кто убежден, будто заблуждение, слабость или даже дурной поступок перечеркивают все прошлые заслуги человека. Нет, историк должен оценивать каждое деяние своего героя отдельно, хваля достойные и хуля недостойные» — и революционеров, даже самых страшных, так надо рассматривать. «В людях 1792 года восхищает то, что они искупили свои заблуждения и преступления собственной кровью… Все зло, которое они

сотворили, эти люди унесли с собой в залитые кровью могилы. Добро, которое они совершили, живет до сих пор». А как же Марат и Робеспьер — неужели и за ними признано какое-нибудь добро? Нет: первый призывал к резне, и только, второй — отсиживался, когда другие рисковали, и выжидал: «…дело не в том, что противники Робеспьера, уничтожая друг друга, открывали ему дорогу для вмешательства в историю; напротив, сама история получала возможность вмешаться в жизнь Робеспьера».

И террор уже не чья-то злая прихоть, он — зло, да, но он объясним: «Проявив великодушие в ущерб себе самой, Революция одним из первых декретов упразднила десятину. Упразднить десятину значило превратить священника, которого крестьяне считали своим врагом, в их друга. Превратить священника в друга значило взрастить на горбе Революции самого грозного ее врага — женщину. Кто поднял кровавый мятеж в Вандее? Крестьянка — дворянка — священник». Заговоры-то и вправду были! «Вот это-то и бесило революционных мужей, принявших кровавое крещение, вот это-то и заставляло их бить вслепую, убивать всякого, кто подвернется под руку… Сто тысяч исповедален заражали домашние очаги контрреволюцией, внушая жалость к неприсягнувшим священникам, внушая ненависть к нации, как будто нация не состоит из мужчин, женщин и детей… Король и его семейство, причитали священники, умирают с голоду! Королю в Тампле прислуживали трое лакеев и тринадцать поваров. К королевскому столу подавали четыре закуски, два жарких, из трех перемен каждое, четыре сладких блюда, три компота, три тарелки фруктов, графинчик бордоского, графинчик мальвазии и графинчик мадеры». В ответ на все это, «не имея больше ни денег, ни регулярной армии, ни резервов в тылу, ни единства внутри своих рядов, Конвент создал тот кровавый призрак, который вот уже почти сто лет приводит в ужас Европу и который так долго мешал потомкам постичь сущность Революции, — он создал террор!».

Но как же этот террор кончился?! Может, душка Дантон ему конец положил? Дюма, милый, расскажите: не можем же мы помнить скучные школьные уроки! Нет, не написал: видно, опять каких-то документов не хватало, а «из головы» только непорядочные люди могут сочинять. Вернувшись 15 сентября в Париж, Дюма взялся за «Сент-Эрмина». Пьер Маргри регулярно приходил его консультировать: «Однажды вечером я зашел к нему после работы. Он уже был прикован к постели. У него я застал священника, возглавлявшего благотворительное заведение, в поддержку которого Дюма немало написал (аббат Франсуа Море,

каноник Сен-Дени, основавший „Приют Богоматери Семи скорбей“ для неизлечимо больных девочек. — *М. Ч.).* Священник с одобрением высказался о „Шевалье де Сент-Эрмине“ и заметил, что с большим удовольствием следил за развитием сюжета. (Дюма получал десять су за строчку.) „Вы, аббат, единственный, от кого я это услышал. Никто больше мне такого не говорил“…»

Сент-Эрмин воюет в армии Наполеона, но император не хочет простить его прежнего участия в заговорах легитимистов; 30 октября глава «Погоня за разбойниками» оборвалась на полуслове. Дюма закончил действие октябрем 1806 года — а обещал писать до 1815-го… Так ослаб, что не мог работать? Жорж Санд вспоминала, что он той осенью едва ходил — подкашивались ноги; осип, потерял голос, перестал бывать в театрах, сидел дома, посещали его Ноэль Парфе, Нестор Рокплан и Габриэль Ферри, карикатурист Шам, художник Дебароль, Матильда Шоу. Ферри, сентябрь — октябрь 1869 года: «Он засыпал в середине дня, старость выражалась у него оцепенением, которое охватывало его, как медленное удушье. Мог уснуть посреди разговора… Его воодушевление, его плодовитость в работе, его блестящее воображение угасли. Наступил момент, когда у него не стало иллюзий. Когда он осознавал свое реальное положение, его охватывала тоска. Он плакал…» Он потерял аппетит, худел, слабел; один из его врачей, Декла, писал Матильде Шоу: «Я уверен, что конец Вашего друга не далек». Все кончено? Но Леклерк договорился с «Веком» о публикации «Сотворения и искупления», а это значит, что умирать нельзя; значит, будем работать.

В 1796 году Мере вернулся из США и обнаружил, что Ева — любовница Барраса, одного из членов Директории. Опять перескочил?! Нет: Дюма все думал, как лучше написать о конце террора, и выбрал тот же прием, что и М. А. Алданов в «Девятом термидора», — рассказ от лица «простодушного очевидца»: у нашего историка это Штааль, у Дюма — Ева. Она была в эмиграции, приехала в Париж 26 мая 1793 года, узнала об аресте жирондистов, потом Корде убила Марата, наступил кошмар: «никто не управляет, все только убивают». Присутствовала на процессе жирондистов, видела казнь, слышала, как они поют «Марсельезу», изменив в тексте одно слово: «„О дети родины, вперед! Настал день нашей славы; на нас тиранов рать идет, поднявши нож кровавый!“ Остальные заключенные настороженно прислушивались. Услышав вместо слова „стяг“ слово „нож“, они все поняли». Красивая выдумка? Алданов: «В мертвой тишине площади вторая, грозная фраза „Марсельезы“ прозвучала рыданием смерти. Никто в толпе не заметил демонстрации:

вместо „l'etendart“ жирондисты пели „le couteau“». Алданов списал у Дюма?! Нет: оба взяли эту деталь из «Истории французской революции» Минье.

И пошли казни: «Гильотина привыкла принимать пищу с двух до шести часов пополудни; люди приходят посмотреть на нее, как на хищника в Ботаническом саду. В час пополудни повозки отправляются в путь, чтобы доставить ей корм. Вместо пятнадцати — двадцати глотков, которые она делала раньше, она теперь делает пятьдесят — шестьдесят, вот и все: аппетит приходит во время еды. Она уже приобрела сноровку; механизм отлажен. Фукье-Тенвиль с упоением крутит колесо. Два дня назад он предложил поместить гильотину в театр». Обезумевший Робеспьер расправляется с соратниками: в марте 1794 года казнены 20 эбертистов (революционеры вроде наших левых эсеров), апрель — казнь Дантона, Демулена (революция пожирает своих детей? Нет, террор — своих родителей). Всё, приехали — единоличная диктатура. Революционная? Наоборот: Европа видела в Робеспьере усмирителя революции, Пруссия хотела вступить в переговоры с ним. Когда-то он высказывался против священников, теперь — против атеистов; недалеко до закона о святотатстве, и не важно, что он зовет бога непривычным для христиан именем. Еве этот бог не нужен. «Почему род человеческий полагает, что Бог существует ради него? Потому что он самый непокорный, самый мстительный, самый свирепый, самый спесивый из всех? Поэтому взгляни на Бога, которого он себе создал, Бога воинствующего, Бога мести, Бога искушений; ведь люди вставили это богохульство в самую святую из молитв: na nos inducas in tenta-tionem[33]. Бог, видите ли, скучает в своем вечном величии, в своем неслыханном могуществе. И как же он развлекается? Он вводит нас в искушение. И нам приказывают молиться Богу днем и ночью, чтобы он простил нам наши обиды. Попросим его прежде всего простить нам наши молитвы, когда они обидны». «Так что каждый народ придумал своего Бога, который добр к нему одному и который не может благоволить к другим. Нам повезло, у нас был Богочеловек со святой моралью; он подарил нам религию, сотканную из любви и самопожертвования. Но подите найдите ее — она затерялась в церковных догматах… Нет, Господи, нет, мировая душа, нет, творец бесконечного, нет, господин вечности, я никогда не поверю, что высшая радость для тебя — поклонение стада овец, которое воспринимает тебя из рук своих пастырей и заключает в тесные рамки неразумной веры, меж тем как целый мир слишком мал, чтобы вместить тебя!»

Новый громкий процесс: 23 мая 1784 года Сесиль Рено

покушалась на Робеспьера, к ее делу «прицепили» 52 человек, всех казнили в красных рубашках (по средневековому обычаю их надевали на отцеубийц, а Робеспьер — «отец» страны). Во время казни Ева крикнула «долой Робеспьера», ее арестовали. «Нож гильотины падает вам на шею, и газ разжижается. Но зачем служит и чем становится газ, из которого состоит человек, когда он возвращается к своим истокам и снова растворяется в бесконечной природе?

Тем, чем он был до рождения? Нет, ведь до рождения его просто не было.

Смерть необходима, так же необходима, как жизнь. Без смерти, то есть без преемственности, не было бы прогресса, не было бы цивилизации. Поколения, возвышаясь друг над другом, расширяют свои горизонты. Без смерти мир стоял бы на месте. Но чем становится человек после смерти? Удобрением для идей, удобрением для наук…»

В романе террор не кончается и не ясно, с чего бы ему кончиться, в жизни тоже просвета не видать: император, дабы после смерти передать трон сыну, затеял политическую реформу. До сих пор его власть в глазах иностранных монархов была не совсем легитимной — правил он декретами, как узурпатор, теперь решил создать обычную конституционную монархию, точнее, ее видимость, и тем успокоить заграницу и гарантировать наследственную передачу власти. 8 сентября 1869 года он огласил фактически новую конституцию: парламент получит право законодательной инициативы, министры будут ему подотчетны, но императору подотчетны тоже, так что никто ничего не понял. При этом новому парламенту так и не было разрешено начать работать. В начале октября — забастовки шахтеров в Сент-Этьене, несколько бастующих убиты полицией, в Париже стали говорить, что пора бы «выйти на улицы», даже дата назначена — 26 октября. Рошфор написал в «Фонаре», что император в очередной раз издевается над конституцией, а страна сползает в бедность, и надо что-то делать, другие газеты написали, что газета Гюго (он покровительствовал «Фонарю») призывает к восстанию, тот объявил: «Никто не должен выходить на улицы 26-го… Когда я посоветую восстание, я сам буду там. Сейчас я не советую». И не вышли.

Дюма в любом случае не мог никуда выйти, он почти все время был дома, во рту нарыв, ноги болят, опять продавали мебель. Ферри: «Когда нужда становилась слишком остра, Дюма посылал отнести в скупку какой-нибудь остаток прежнего благосостояния или посылал Леклерка к своему сыну просить немного денег. Дюма-сын всегда давал запрошенную сумму. Но

Дюма робел перед сыном и старался скрыть, как плохо он живет. Со своей стороны, Дюма-сын устал давать отцу советы по изменению образа жизни. Видя, что его усилия бесполезны, он закрыл глаза; он почти не появлялся в отцовском доме…» Не хватало чистого белья, дочь не от мира сего, кухарка ни в чем, кроме кухни, не сильна; бывали дни, когда больной не мог подняться с постели, Леклерк и Василий с трудом переворачивали тяжелое тело. Ферри писал, что той осенью особенно часто видел Дюма плачущим. (Как грустно раз за разом описывать болезни, отчаянное сражение со смертью! Нет, надо брать героя, что умер здоровым, молодым…) И все же он работал (и все они, эти люди, заслужившие, чтобы их биографии читали, до последних дней работали), да как: большой серьезный роман и гигантский «Кулинарный словарь» одновременно…

Под Новый год Мари решилась на серьезный разговор с братом — тот стал приходить и помогать, в доме навели чистоту, появились сиделка, фрукты и лекарства. С 29 декабря началась публикация «Сотворения и искупления», больному ежедневно присылали свежие газеты — а почитать там кроме собственного романа было о чем: принц Пьер Наполеон, родственник императора, убил молодого либерального журналиста Виктора Нуара.

Пьер Наполеон ругался с газетами «Реванш» и недавно созданной «Марсельезой» Рошфора (на дополнительных выборах в ноябре прошедшего в парламент от Парижа — то была пощечина императору), написал Рошфору оскорбительное письмо. 10 января 1870 года Рошфор и редактор «Реванша» отправили к принцу секундантов, а через несколько минут один из них, Нуар, выбежал на улицу и упал замертво. По словам второго секунданта, принц отказался от дуэли с «простолюдинами», произошел обмен оскорблениями, после чего принц ударил Нуара и выстрелил в него. Пьер Наполеон говорил, что ударили его и он имел право защищаться. Принца арестовали, но объявили, что дело будут разбирать не присяжные, а турский Верховный суд, назначаемый императором. Рошфор писал возмущенные статьи, 12 января 100 тысяч парижан провожали гроб Нуара по улицам, оцепленным полицией и войсками. В итоге принца за убийство оправдали, а Рошфору за статьи дали полгода тюрьмы. 7 февраля бланкист Гюстав Флуранс попытался поднять восстание, но бестолково и потому неудачно, а 8-го арестовали всю редакцию «Марсельезы». Дюма в те месяцы, как считает Шопп, вновь взялся за «Сент-Эрмина» — просил у Маргри документы о военных кампаниях. Но продолжения публикации не последовало. (Шопп восстановил

роман, сам его завершил, и он был издан в 2005 году.)

5 марта у Дюма появились нарывы во рту, он не мог говорить, доктор Декла велел ехать на юг. «Сотворение и искупление» принесло деньги, еще дал сын, отправились с Адольфом Гужоном; перед отъездом Дюма передал Лемерру «Кулинарный словарь» (тот не справился с редактурой и с бизнесом, и «Словарь» вышел уже после смерти автора — в 1873 году под редакцией Леконта де Лиля и Анатоля Франса). Три недели жили в Байонне, столице баскского региона Лапурди, баски горячо принимали Дюма (есть версия, что гасконец д'Артаньян — их этнический родич), написали на своем языке оду в его честь. Потом перебрались в Сен-Жан-де-Лю, курорт на атлантическом побережье Франции. Многие серьезные биографы, в том числе Циммерман и Шопп, считают, что там Дюма диктовал эротический «Роман Виолетты», опубликованный анонимно в Лиссабоне в 1870 году: мужчина рассказывает, как совратил пятнадцатилетнюю девочку, она стала лесбиянкой, он наблюдал и т. д. По мнению Шоппа, речь в романе идет об актрисе Анриет Лоранс, с которой у Дюма была связь в 1837 году и которая даже родила ему двоих детей (то и другое не доказано). Литературоведы, однако, считают доказанным, что автор романа — Анриэтта де Маннури д'Экто, написавшая ряд подобных книг. Текст можно назвать порнографическим — даже читатель XXI века способен узнать для себя нечто новое, и представляется неправдоподобным, что его писал Дюма. «Невинность — цветок особенный, его следует как можно дольше выдерживать на стебельке, обрывая лепесток за лепестком…» Женщина, по мнению автора, должна удовлетворять свои страсти — в этом ее предназначение. А Дюма — моралист, вечно советовавший женщинам пойти в литературу, но не в разврат; эротика у него кое-где присутствует, но вполне невинная… Конечно, можно представить, что он решил на досуге развлечься, но… Человек умирает и знает это, у него не завершены два главных дела жизни — цикл о революции и цикл о Наполеоне, издатели ждут, а он тратит время на эротический треп? Гораздо вероятнее, что диктовал он в поездке «Сотворение и искупление», так как роман продолжал выходить в «Веке».

В тюрьме Ева сидит с Жозефиной Богарне, будущей женой Наполеона, и другой знаменитой красавицей, Терезой Кабаррю: когда ее арестовали, она попала в руки Жана-Ламбера Тальена, бывшего писца, комиссара Конвента в Бордо, одного из самых рьяных чиновников террора (впрочем, многих спасшего от казни — за взятку). «Когда Тальен вошел, Тереза сидела на столе, стоявшем посреди камеры, поджав ноги, и, когда он спросил ее, что она делает в этой странной позе, ответила:

— Я спасаюсь от крыс, которые всю ночь кусали меня за ноги».

Он ее полюбил, попал под ее влияние, перестал казнить людей, предпочитая взятки. Жили они роскошно, на них донесли, Тальена оправдали, но Тереза опять попала в тюрьму. Ева: «Угадай, мой любимый, как развлекались эти женщины, чтобы скоротать долгие бессонные ночи? Они играли в Революционный трибунал. Обвиняемую всегда приговаривали к смерти, ей связывали руки, заставляли просунуть голову между перекладинами стула, давали щелчок по шее — и все было кончено». Близилась казнь; Тереза послала Тальену записку примерно следующего содержания (в разных источниках по-разному): «Если через 24 часа Робеспьер не умрет, значит, Тальен — подлый трус» или «Если тиран не умрет сегодня, я умру завтра». Тем временем Робеспьер готовит расправу над оставшимися соратниками, и никто не знает, кто в его списке; 26 июля он в Конвенте обвинил сам Конвент в заговоре, после чего отправился за поддержкой в Якобинский клуб, где заседали его приверженцы, почему-то уверенные, что их он не тронет. Как и Штааль у Алданова, Ева попадает на заседание клуба и слышит, как Робеспьер обещает в случае неудачи «выпить цикуту», а художник Барер клянется сделать то же (не сделает). Как и Алданов, Дюма рассказывает о ночных совещаниях членов Конвента, во главе которых стояли военный Поль Баррас, бывший священник Жозеф Фуше, бывший актер Поль д'Эрбуа и, разумеется, Тальен — циники, присоединившиеся к революции из выгоды, жестокие, как сам Робеспьер, только, в отличие от него, вменяемые.

Настало утро 27 июля (9 термидора) — дальнейшее все историки описывают примерно одинаково, потому что были протоколы: заседание Конвента, народу мало, одни струсили, других давно казнили. «Тальен как безумный вбежал в залу и остановился в нескольких шагах от трибуны, сжимая на груди кинжал и в упор, горящими глазами, глядя на Робеспьера и Сен-Жюста. В мертвой тишине Конвента точно треснула искра. По зале заседаний тихо пронесся какой-то подавленный стон». Дюма? Нет, Алданов: у Дюма, как ни странно, суше и ближе к источникам: «Сен-Жюст… прошел прямо на трибуну; волна депутатов во главе с Тальеном ворвалась в зал вслед за ним. Не то по небрежности, не то из презрения Сен-Жюст, забыв даже попросить слово, прошел прямо на трибуну и начал свою речь. Но как только он произнес первые фразы, Тальен, держа руку на груди и, вероятно, сжимая в ней кинжал Терезы, сделал шаг вперед и сказал:

— Председатель, я прошу слова, которое забыл попросить Сен-Жюст.

Среди присутствующих пробежала дрожь. Все почувствовали, что эти слова означают объявление войны». Обратим внимание на слово «вероятно» применительно к кинжалу — это показывает, как трепетно Дюма относился к деталям. В «Иегу» он писал, что Тальен «влюбился в Терезу; сидя в тюрьме, она послала ему кинжал», — это из мемуаров Бертрана Барера, члена Конвента. Многие историки ставили под сомнение и то, что Тереза могла из тюрьмы кинжал передать, и то, что Тальен притащил кинжал в Конвент, отсюда осторожное «вероятно». Тальен произносит речь, называет Робеспьера «новым Кромвелем», то есть тираном, — вновь почти дословное совпадение Алданова и Дюма, потому что источники одни — мемуары Барера и Габриеля Уврара. «В зале послышался какой-то рев: копившиеся два года ненависть и ужас вырвались наружу через открытый Тальеном клапан». Теперь для заговорщиков главное — не дать Робеспьеру говорить; на него кричат, он задыхается, кашляет, кто-то восклицает: «Тебя душит кровь Дантона!» По одним источникам, это крикнул депутат Гарнье, по другим — Лежандр. Тут оба романиста проявили одинаковую мудрость — ведь простодушный очевидец не обязан знать всех депутатов по имени — и написали, что крикнул «какой-то человек» (хотя в «Иегу» Дюма, еще не все источники изучивший, писал, что фраза принадлежит Гарнье). Чепуха, не важно, кто кричал? Для читателя романа не важно, а для читателя биографии автора важно — видеть, как умирающий писатель, которого никто не называл историком, копается в мелочах, сравнивает версии и, не найдя достаточных аргументов в пользу той или иной, говорит секретарю: «Нет, мы не можем вводить читателя в заблуждение, а раз так, пишите: „какой-то человек“»…

Робеспьер сходит с трибуны, пытается занять какое-нибудь место в зале, но его не пускают. Алданов:

«Робеспьер сделал несколько нервных шагов и в изнеможении опустился на скамью.

— Не садись сюда! Прочь! — раздался истерический крик. — Это место Верньо, которого ты зарезал…

— А-а-а! — прокатился стон. Штаалю в нем послышалось: „Ату“.

Робеспьер вскочил, сделал еще три шага и повалился на другое место.

— Прочь! Прочь! Здесь сидел Кондорсе…»

У Дюма сцена та же, но Робеспьер не «в изнеможении», он сошел с трибуны потому, что «увидел, что ему не удастся

завладеть трибуной, что заговорщики не пустят его; он стал искать место, откуда его голос услышит все собрание». Почему один романист написал так, а другой по тем же источникам иначе? Потому что Алданов при всей его ненависти к революциям жалеет Робеспьера в эту минуту (он дважды повторяет «Ату», чтобы у читателя возникло ощущение травли), а Дюма не находит для Робеспьера жалости, потому что любит Революцию и считает его ее убийцей. Но дальше оба чувствуют и пишут одинаково: Алданов: «В душной зале Конвента Штааль почувствовал холод. Ему показалось, что раскрываются могилы и тени погибших людей занимают в зале места». Дюма: «Робеспьер выскочил из рядов, где раньше сидели жирондисты, словно его и в самом деле преследовали тени тех, кто был казнен по его приказу».

Робеспьера арестовали, привезли в тюрьму. Коммуна Парижа ночью его освободила, он пришел в мэрию, но парижские секции отказались подняться на его защиту — он и их, левых, почем зря казнил. Жандармы Конвента арестовали его вновь, и то ли один из них, Меда, выстрелом раздробил ему челюсть, то ли он сам пытался застрелиться — этот эпизод так и не прояснен, хотя кто только из историков и беллетристов им не занимался: Тьер — за первую версию, Мишле — за вторую, газетные отчеты противоречивы. Алданов: «В психологическом отношении мне, роману, было бы бесконечно важно это выяснить…» Дюма это тоже было важно: хотя в его время преобладала версия, что Робеспьер стрелял в себя сам, он в «Иегу» склонился к версии Мишле, но теперь поступил так же, как в случае с «каким-то человеком»: «Жандарм узнал Робеспьера, он подскочил к нему, выхватил саблю, приставил к его груди и закричал:

— Сдавайся, предатель!

Робеспьер, не ожидавший такого нападения, вздрогнул, посмотрел жандарму прямо в лицо и спокойно сказал:

— Это ты предатель, и я прикажу расстрелять тебя!

Не успел он произнести эти слова, как раздался пистолетный выстрел, и группа, на которую были устремлены все взгляды, исчезла в дыму, а Робеспьер упал на пол». Вот и гадайте, кто же стрелял. Ева думает, что это жандарм, но она так слышала с чьих-то слов, а Дюма на себя такую ответственность не берет. Так же поступает и Алданов. Оба делают акценты на одних и тех же эпизодах: был один ужасный — вечером 9 термидора, уже после падения Робеспьера, просто по недосмотру в Париже казнили 45 человек. Ева: «Мы приехали в тюрьму около одиннадцати утра. Заключенные, ничего не зная в точности, что-то почувствовали и взбунтовались. Сегодня они уже не пошли бы на эшафот так покорно, как это было еще вчера. Каждый смастерил себе оружие

из того, что нашлось под рукой; почти все они разломали кровати и сделали себе из ножек дубинки. Со всех сторон раздавались крики и плач, обстановка больше напоминала сумасшедший дом, чем политическую тюрьму». Алданов: «Тюрьма обезумела в этот страшный день. Люди потеряли самообладание». И у Алданова, и у Дюма некоторым узникам повезло, они не попали в первую партию казнимых, а потом их выпустили. Среди них — Ева; и вот она уже может рассуждать: «Как могло случиться, что два человека (Робеспьер и Сен-Жюст. — *М. Ч.),* чей взгляд еще три дня назад приводил в трепет весь Париж, валялись в сточной канаве и люди вокруг них кричали: „Надо бросить эту падаль в Сену!“?»

Париж и Алданова, и Дюма охвачен злобной радостью, желанием мести. Ева: «Я очертя голову ринулась в этот ужасный политический лабиринт, куда доселе не ступала. И тогда мною тоже овладела жажда крови; я сказала: хочу, чтобы эти мужчины умерли, хочу, чтобы эти женщины не умирали, и я помогу умертвить одних, чтобы оставить в живых других. С тех пор я забыла, что я юная девушка, робкая женщина: бесстрашно ходила ночью по улицам Парижа, носила с собой кинжал, который говорил: „Хочу убивать!“ — и голос оратора отвечал ему: „Убивай без слов!“» Но настает казнь тирана — и злоба (не толпы, а героев) спадает. Ева: «Впрочем, человек, в чьем убийстве я отчасти повинна, — гнусный, омерзительный человек, и его смерть сохранит жизнь многим тысячам людей, которые, останься он жив, быть может, погибли бы. Но теперь он умрет, и вот он идет ко мне… Вот он идет, раздавленный, склонив чело: боль и проклятия гнетут его. Ах, тебя все же мучает совесть!.. Ах, по счастью, что-то другое привлекло его внимание и он отводит глаза. Он смотрит на дом Дюпле; в этом доме он жил…» И Штааль стоит в той же толпе, рядом с Евой, и думает о том же: «Какой дорогой поедет фургон? Мимо его дома, — вдруг почти вскрикнул Штааль, опустив веки и дергаясь нижней частью лица. — Он живет (то есть жил) на rue Honore… Увидит свой дом…» «Не забудем, не простим» — это для толпы, а писатель не может злорадствовать над казнимым: и Штааль покидает Париж, исполненный отвращения, и Ева ненавидит толпу, частью которой она была: «Женщины — если их можно назвать женщинами — встали в круг и стали плясать, крича: „На гильотину Робеспьера! На гильотину Кутона! На гильотину Сен-Жюста!“ Я никогда не забуду, с каким спокойным и гордым видом прекрасный молодой человек, единственный, кто не пытался ни спастись, ни покончить с собой, взирал на этот хоровод фурий и слушал их проклятия. Глядя на него, можно было усомниться в

виновности вчерашних палачей…» Робеспьера похоронили в безымянной могиле, террор кончился, но при Директории некоторых деятелей эпохи террора казнили, в частности Фукье-Тенвиля, прокурора-садиста, не помогли ему заявления, что он «целиком и полностью одобряет» 9 термидора: 7 мая 1795 года он был гильотинирован на Гревской площади, последним из шестнадцати осужденных по его делу — чтобы смотрел. Ни Дюма, ни Алданов этого не описали, чутьем романиста понимая, что злорадствовать нельзя, а пожалеть не получится.

Леви издал «Сотворение и искупление» только в 1872 году, хотя издавал всякую чепуху, — уж очень яростная книга получилась. Человек, чей взгляд еще сегодня приводит в трепет весь Париж, через несколько дней (или лет) будет валяться в сточной канаве, и люди будут кричать: «Надо бросить эту падаль в Сену!»… Это уж как-то слишком… 23 апреля 1870 года человек, чей взгляд все еще приводил Париж если не в трепет, то в уныние, объявил референдум по новой конституции: парламент получает массу прав, но есть хитрая статья, сводящая права на нет: «Император несет ответственность перед французским народом и имеет право всегда к нему апеллировать». Луи Наполеон был уверен, что «народ» всегда проголосует как надо, и все же принял меры: обратился к чиновникам всех рангов (они сидели в комитетах по референдуму) с требованием (под угрозой увольнения) разъяснить народу, что «голосовать „за“ — значит голосовать за свободу», и арестовал накануне голосования все более или менее оппозиционные газеты. Он выиграл: 7 миллионов 358 тысяч «да» против 1 миллиона 538 тысяч «нет»: даже сам не ожидал такой победы. Республиканцы пришли в отчаяние; Гамбетта, который 5 апреля говорил: «Настала пора империи уступить место республике», теперь писал: «Империя сильнее, чем когда-либо». Не они, а мы будем валяться в сточных канавах — во веки веков…

Дюма не голосовал: в Сен-Жан-де-Лю ему стало лучше, и в конце апреля они с Гужоном отправились в Мадрид (к ним присоединилась в качестве секретаря молодая женщина Валентина). Зачем? Шопп нашел в переписке Мари Петель указания на то, что ее отец собирался писать книгу о революции в Испании в 1868 году: против королевы Изабеллы восстали генералы, потом — горожане; революционное министерство ввело всеобщее избирательное право, свободу вероисповедания, печати, союзов и собраний и тут же… село выбирать нового короля. (Рукопись утеряна, Шоппу удалось найти лишь фрагменты.) В Мадриде пресса обласкала Дюма, литературные общества приглашали выступить, фотограф Жан Лоран сделал его

последний снимок — с Валентиной. В июле он вновь расхворался, перебрались в Биарриц, где он в последний раз виделся с Полиной Меттерних и написал стихотворение, посвященное ее дочке Клементине. 19 июля они прочли в газетах, что началась война.

Испанцы в очередной раз выбирали короля, из-за этого поссорились Пруссия и Франция, желавшие провести на трон своих ставленников, но это был предлог; Бисмарк хотел покорить Европу, Луи Наполеон — провернуть маленькую войну, чтобы восстановить свой престиж; первый спровоцировал второго на оскорбительные заявления, ответил такими же, и, по сути дела, лишь за «перепалку» большинство во французском парламенте проголосовало за войну с Пруссией. Безумие: армия слаба, никто не поддержит, Франция испортила отношения почти со всеми странами (с Россией — из-за Крымской войны и Польши, с Англией — из-за Вьетнама, с Испанией — из-за Мексики, с Австрией и Италией — из-за итальянского объединения). Сплошные поражения: 4 августа, 16 августа. Дюма был в отчаянии, задыхался, вновь не мог говорить и ходить, его перевезли на другой курорт, Баньер-де-Люшон; в конце августа, решив, что он умирает, доставили в Париж. Что с ним там происходило, никто толком не знает — Мари скрывала его состояние от окружающих, но предположительно было несколько кровоизлияний в мозг. Последнее письмо он написал из Парижа девятилетней внучке Колетт: «Прощай, моя детка, любя меня, я тебя люблю». В первых числах сентября Мари сообщала брату об «ударе» — инсульте. «Страшны не только смерть, старость или безумие, — сказал Вильфор, — существует, например, апоплексия — это громовой удар, он поражает вас, но не уничтожает, и, однако, после него все кончено. Это все еще вы и уже не вы; вы, который, словно Ариель, был почти ангелом, становитесь недвижной массой, которая, подобно Калибану, уже почти животное… немой и застывший труп, который живет без страданий, только чтобы дать время материи дойти понемногу до окончательного разложения». Но так думает Вильфор — а старый Нуартье, как мы помним, не труп, он ясно мыслил и чувствовал — при инсульте это возможно. Если же бедный Дюма осознавал происходящее — радовало ли оно его?

После поражения при Гравелоте французская армия была осаждена у города Мец. Луи Наполеон с маршалом Мак-Магоном сформировал новую армию и выступил с ней туда, готовы они были плохо, прусский главнокомандующий фон Мольтке их окружил, 1 сентября — битва, французы отступили в Седан, пруссаки подвергли город бомбардировке, требуя капитулировать

и отдать Лотарингию и Эльзас. Император был вынужден согласиться, его взяли в плен с 82 тысячами солдат. Париж взвыл от негодования; в ночь на 4 сентября на экстренном заседании нижней палаты левый депутат Жюль Фавр предложил низложить императора, толпы на улицах требовали того же, утром толпа, по заведенному обычаю, вломилась в палату, Гамбетта объявил: «Луи Наполеон и его династия перестали править во Франции». Далее толпа пошла — куда? — правильно, в мэрию, там провозгласили республику и наспех сформировали Временное правительство. Императрица бежала. «Как могло случиться, что два человека, чей взгляд еще три дня назад приводил в трепет весь Париж, валялись в сточной канаве и люди вокруг них кричали: „Надо бросить эту падаль в Сену!“?»

По словам Ферри, у Дюма, когда ему сказали, что провозглашена республика, «по щекам потекли слезы», а от горя или радости, Ферри не разъяснил. Что тут неясного, конечно от радости? Да, наверняка был растроган, но… Он столько раз все это видел: побежали, закричали, провозгласили, постреляли, попели «Марсельезу» — и посадили себе на шею нового короля, умудрясь выбрать самого недостойного; тех, кто делал революцию, задвинули, в выигрыше один непотопляемый Тьер… А теперь вообще все ужасно, пруссаки взяли город в кольцо, Гамбетта на воздушном шаре облетал провинции, пытался собрать армию — нет армии… В суматохе всем было не до Дюма, Гюго, примчавшийся в Париж 5 сентября, даже не знал, что старый друг здесь. 12 сентября Мари повезла отца к брату в Пюи, близ Дьеппа. Вильмесан: «Болезнь погасила его мозг, как парализовала тело… Несчастный больной человек, которого привезла дочь, с помощью служащих железной дороги был помещен в вагон первого класса. Его бессмысленный взгляд говорил, что он не сознает, куда его ведут и что он делает. Все духовное в нем угасло…» Дюма-сын утверждал впоследствии, что отец, выйдя на перрон в Дьеппе, сказал: «Я приехал к тебе умирать». Кому верить? Александр Дюма-младший боялся всякого неприличия; «выживший из ума» отец — неприлично, отец, произносящий трогательные фразы, — совсем другое дело. Как писал Ферри со слов того же Дюма-сына, больному отвели комнату с видом на море, немного двигаться он мог, в первый месяц его в кресле возили на пляж, потом стало слишком холодно. Дела на фронте были плохи, пруссаки вот-вот войдут в Дьепп, нотариус Шарпийон помог спрятать кое-какое имущество, а также рукописи и завещание Дюма (после войны он отдал документы руанскому нотариусу д’Эте). 28 ноября 1870 года Дюма не смог подняться, сын вызвал сестру, та приехала. В ночь

на 5 декабря у Дюма случился второй (как минимум) инсульт, и вечером он умер. Хоронили его 8 декабря на кладбище при церкви в Невиль-ле-Дьепп, директор «Жимназ» Адольф Монтиньи произнес надгробное слово. Гюго узнал о смерти друга из немецких газет.

И это — все о его последних месяцах?! Нет-нет, мы не прощаемся, только прежде мы должны узнать, как в романе, чем все кончилось, кто победил, что стало с ними — королями, политиками, мушкетерами, ведь для него это было так важно… На выборах в Национальное собрание 8 февраля 1871 года победили монархисты — 416 депутатов; «третья партия» (там Тьер) — 72, умеренные республиканцы (Жюль Фавр, Жюль Греви) — 112, радикальные республиканцы (Гамбетта, Гюго, Гарибальди, Луи Блан) — 38 депутатов. Как, почему?! Во-первых, в большинстве департаментов (оккупированных) была запрещена агитация, во-вторых, водораздел пролег по единственному вопросу: мир или продолжение войны (28 января было заключено перемирие); кто за мир, тех и выбирали, а Гамбетта был за войну. Тьер был за мир, против крайностей, лавировал — и 17 февраля был избран президентом. Луи Наполеон умер в Англии в 1873 году. Герцог Шартрский, сын Елены Орлеанской, после падения империи вступил в армию, стал кавалером ордена Почетного легиона, но в 1886 году как член Орлеанского семейства был вычеркнут из списка военных. Мишле, узнав о капитуляции Парижа, перенес инсульт, продолжал писать, умер в 1874 году, его похороны вылились в республиканскую демонстрацию. Барро, который придумал митинги-банкеты, в 1872 году стал вице-спикером парламента, на следующий год умер. Гамбетта так и не стал президентом, но до конца жизни (1882) был в парламенте и отстаивал республику. Гюго был всеми почитаем, обласкан, богат, в 1876 году избран в сенат и умер в 1882 году при президенте Жюле Греви. Гарибальди в парламенте подвергался оскорблениям, подал в отставку, последние годы провел на Капрере, умер почти одновременно с Гюго. Папа Пий IX, который не любил Дюма, в 1871 году был лишен светской власти, не признал Италию и заперся в Ватикане; его преемники вели себя так же, пока не поладили с Муссолини. Из двоих мушкетеров, переживших Дюма, первый, Бастид, с 1851 года жил частной жизнью и умер в 1879 году. Этьен Араго ненадолго стал мэром Парижа, потом был куратором Люксембургского музея и умер в 1892 году — в 90 лет. Мари Дюма-Петель умерла бездетной в 1878 году. Ее брат в 1874 году был избран в академию, овдовел в 1895 году, снова женился и через несколько месяцев умер. У его дочери Жанин детей не было, а у Колетт было два сына, один из

них, Александр Липманн, — трехкратный чемпион Олимпийских игр по фехтованию. Микаэла, дочь Эмили Кордье, не оставила потомков. Как-то скучно, за исключением того, что правнук Дюма стал фехтовальщиком… Никто из потомков не занимался тем, что интересовало предка?

Когда 10 мая 1871 года заключили мир ценой Эльзаса и Лотарингии и пятимиллиардной контрибуции, Париж восстал. Одним из участников Парижской коммуны был Анри Бауэр, сын Дюма, которого тот не признал, не воспитывал и, быть может, даже не видел. Он учился на юридическом факультете, был политактивистом, незадолго до краха империи сидел в тюрьме, после подавления коммуны был опять арестован и сослан в Новую Каледонию. Президент Греви его помиловал, с 1878 года он жил во Франции, стал журналистом, критиком. «Весь Париж» его знал, его описывали как «красивого гиганта с гривой кудрей», вспыльчивого, добродушного, обожавшего молодежь; либерал до мозга костей, он бился за права обиженных — женщин, гомосексуалов, евреев, негров; пацифист по убеждениям, всегда был готов схватиться за оружие. Он умер в 1915 году при самом прогрессивном президенте до Второй мировой войны — Анри Пуанкаре. У него было два сына, один — Жерар Бауэр (1888–1967) — стал писателем, членом Гонкуровской академии, лауреатом всевозможных премий. Гены не пропадают зря…

Судьба главной героини Дюма — Республики — складывалась непросто. Монархисты в парламенте давили, в 1873 году Тьер подал в отставку, рассчитывая, что ее не примут, но просчитался. Сменивший его маршал Мак-Магон готовил почву для монархии, отовсюду изгонял республиканцев, поощрял духовенство, но монархисты не смогли столковаться о кандидатуре нового короля, и в 1875 году парламент большинством (всего в один голос) принял конституцию, утверждавшую республику. В 1876 году на первых выборах после империи неожиданно для власти победили умеренные республиканцы (Тьер был избран, ждали его нового возвышения, но он умер); Мак-Магон дважды разгонял нижнюю палату, пытался совершить переворот, возмущенные горожане не позволили. В 1879 году президентом стал республиканец Греви, при котором приняли законы об обязательном светском обучении, отмене цензуры, избрании мэров небольших городов. Оказалось, что так жить совсем не страшно, и о монархии стали забывать. Потом было много всякого — плохие и очень плохие президенты, скандалы, покушения, коррупция, позор Виши — но тиранической власти одного человека, который правит, пока его не свергнут, больше никогда не было…

В 1872 году прах Дюма перезахоронили в Вилле-Котре; Гюго в те дни писал его сыну: «Александр Дюма из тех людей, которых можно назвать сеятелями культуры; он оздоровляет и укрепляет дух необъяснимым, веселым и сильным светом; он оплодотворяет души и умы; он рождает потребность в чтении, он взрыхляет человеческую почву и засевает ее…» В 1883 году ему поставили памятник на площади Мальзерб (ныне Катру) по проекту Гюстава Доре: Дюма сидит на горе книг, у подножия — д'Артаньян и трое молодых людей с книгами. В 1906 году там же поставили памятник Дюма-сыну, а в 1913-м — Дюма-деду. Последний фашисты снесли, но в 2009 году его восстановили, а копию установили, как хотел Дюма-отец, на Гаити. В 2002 году Жак Ширак издал указ о переносе праха Дюма в Пантеон, в одну крипту с Гюго и Золя. Мишель Леви посмертно опубликовал «Сотворение и искупление», издательство Калман-Леви выпустило академическое собрание сочинений, но работы Дюма продолжают находить — процесс, вероятно, бесконечный. Кредиторы продолжали его преследовать и мертвого, предъявляя иски аж до 1934 года… Но что же он сам, что было с ним осенью 1870 года?

Об этом не известно почти ничего. Моруа: «Вскоре больной почти перестал говорить. Он не страдал, он чувствовал, что его любят, и больше ничего не желал». Господи, откуда нам знать, чего он желал?! Дюма-сын рассказал о последних днях отца (в основном в письмах к Ферри и Жорж Санд), но доверять ему следует осторожно. По его словам, отец много спал, иногда играл с внучками, если разговаривал, то о прошлом, навещал его Монини, директор местной гимназии; был слаб, но умиротворен. Из письма художнику Шарлю Маршалю: «…он совершенно не страдал… Разум, даже остроумие не изменили ему до конца. Он высказал много интересных мыслей… Однажды, поиграв с детьми в домино, он сказал: „Надо бы что-нибудь давать детям, когда они приходят играть со мной, — ведь это им очень скучно". Живущая у нас русская горничная преисполнилась нежности к этому тяжелому больному, неизменно улыбчивому и доброму, который был беспомощен, как ребенок… Отец отдыхал на лоне природы и в лоне семьи, видя перед собой безбрежное море и безбрежное небо, а вокруг себя — детей… Наконец-то он чувствовал себя счастливым в этой покойной и уютной обстановке, которая столь редко встречалась ему в его рассеянной и расточительной кочевой жизни, что он наслаждался ею всем своим существом… Всякий день он находил веселые или трогательные слова…» О дне смерти: «…мой отец скончался, вернее — уснул, так как он совершенно не страдал. В прошлый

понедельник, днем, ему захотелось лечь; с этого дня он больше не хотел, а с четверга уже не мог вставать. Он почти беспрерывно спал. Однако когда мы обращались к нему, он отвечал ясно, приветливо улыбаясь. Но с субботы отец стал молчалив и безразличен. С этого времени он всего один-единственный раз проснулся, все с тою же знакомой Вам улыбкой, которая ни на секунду не покидала его. Только смерть могла стереть с его губ эту улыбку». И, разумеется, больной перед смертью изъявил желание исповедаться — правда, когда священник пришел, он был без сознания.

Этими трогательными рассказами младший Дюма хотел опровергнуть слухи о сифилисе (для которых сам дал повод) и о том, что у отца было «размягчение мозга». Но Мелани Вальдор он писал иначе: «Мой отец и больше и меньше болен, чем говорят, его тело выздоравливает, но разум в потемках; лишь на мгновения из этого сплошного облака появляется сияющая звезда, какой он был прежде. Жизнь для него лишь механическая функция; он не страдает, не понимает своего состояния, он счастлив и весел. Все его развлекает, ничто его не интересует. Он узнает людей, но сразу же их забывает. Ничто не задерживается больше в этом мозгу. Где был гранит, теперь только песок…»

Это больше похоже на правду и укладывается в картину ишемического инсульта с поражением правого полушария, при котором возможна эйфория и частично сохранены сознание и речь; такой больной живет, не вполне отдавая себе отчет, где и когда, лучше помнит давние события, чем недавние. Так в чем мы подозреваем Дюма-сына? Что он на самом деле морил отца голодом и держал в подвале? Боже упаси! Но все же есть сомнения в том, что больной был так уж безмятежно счастлив и ничем не интересовался. Больных (хоть чем) в те времена запрещалось «волновать», поэтому сын не только не передавал отцу писем, но и не упоминал о них. Микаэле: «Мадемуазель! Я получил те три письма, которые Вы написали моему отцу и которых я не мог ему передать, поскольку Вы говорите там о его болезни, а мы (елико возможно) скрываем от него, что он болен. То ласковое имя, каким Вы его называете, доказывает, что Вы любите его со всей силой, на какую способен человек в Вашем возрасте, и что он был привязан к Вам. Впрочем, мне кажется, что я несколько раз видел Вас у него, когда Вы были совсем маленькой… Я взял на себя труд сообщить Вам о его состоянии, так как сам он не в силах этого сделать. Он был крайне тяжело болен. Теперь ему немного лучше… Если он поправится настолько, что сможет читать присылаемые ему письма, я Вас извещу об этом…» Из этих же соображений ему не говорили о

том, что кругом происходит.

Возможно, он ничем и не интересовался. Но если его сознание было частично сохранено, возможно и другое: порой плакал от бессилия, от того, что не увидит ее — Республику; возможно, спрашивал сына: как там, что делает Гамбетта, куда девался Луи Наполеон? Умирающий Уэллс засыпал посреди разговора, не узнавал знакомых, но писал запрос Нюрнбергскому трибуналу: был ли Троцкий немецким шпионом, как утверждали в СССР? Умирающий, полубезумный Хемингуэй планировал встретиться с Кеннеди — подсказать, как обустроить Америку; интерес к тому, что волновало этих людей всю жизнь, не мог исчезнуть, пока сознание в них теплилось. Возможно, младший Дюма, монархист до мозга костей (Верещагин: «К идеям изменения социального строя Дюма [сын] относился крайне нетерпимо и прямо говорил, что заряженный револьвер в кармане — единственный ответ на все подобные затеи…»), предпочел умолчать о разговорах (спорах?) на политические темы, если они и были. Нам этого не узнать. О внутреннем мире умирающих стариков почти никогда ничего не известно, и мы пишем о их последних днях и даже годах скороговоркой — «В ночь с 27 на 28 июня 1878 года у Гюго происходит кровоизлияние в мозг, от которого он оправился, хотя уже после этого практически не писал ничего нового», — а этот мир мог быть так же сложен и неистов, как и в молодости, просто выразить свои чувства сил уже не было.

Если время — лишь четвертое измерение, значит, мы можем, пусть только в мыслях, дотянуться до любой точки на бесконечной линии, дотянуться до человека в дни его угасания; дотронуться до них, обессилевших, печальных, сказать, как мы их любим, как нам не хватает их… Мы видим: беспомощный великан лежит в постели; но, быть может, он не «немой и застывший труп, который живет без страданий, только чтобы дать время материи дойти понемногу до окончательного разложения» — это негодяй Вильфор так думает, а на самом деле, быть может, он, как Нуартье, страдает, мыслит, слышит; нам только надо сделать усилие, дотянуться, сказать ему, чтобы не беспокоился, не горевал, что в конце концов у них все получилось, у него — получилось…

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Генерал Тома Александр Дюма, отец писателя. Фрагмент картины Риша

Мария Луиза Дюма, мать писателя

Дом в Вилле-Котре, где родился писатель

26-летний Дюма в Париже. Литография А. Девериа

Герцог Орлеанский Фердинанд

Его супруга Елена Мекленбург-Шверинская

Луи Филипп. Портрет работы ф. Винтерхальтера

Белль Крельсамер

Александр Дюма. Портрет работы Э. Жиро.1844 г.

«Замок Монте-Кристо»

Александр Дюма-сын

Мари Дюплесси

Дом в Париже, в котором 27 июля 1824 года родился Александр Дюма-сын

Надежда Нарышкина

Карикатура Шама на легендарную скорость, с какой Дюма писал свои пьесы: «Новая кормилица „Комеди Франсез“ растит детишек за пять дней…» Надписи на пеленках: «Детство Людовика XIV», «Детство Людовика XV»

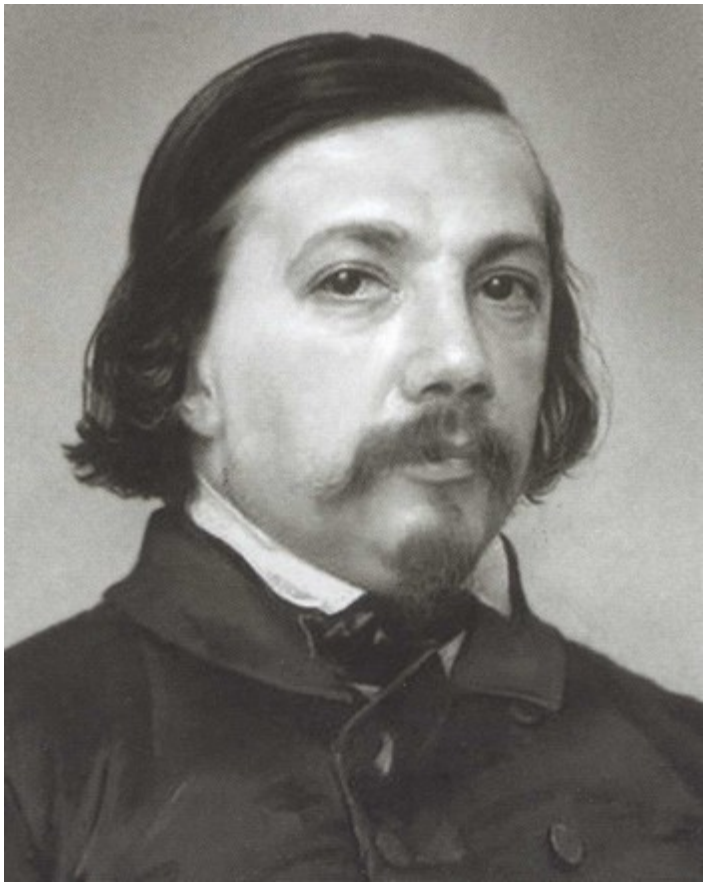
«Комеди Франсез» в 1820-х годах

«Она сопротивлялась мне, и я ее заколол». Карикатура на мадемуазель Дюверже в роли Адели в спектакле «Антони»

Молодой Виктор Гюго

Альфред де Виньи

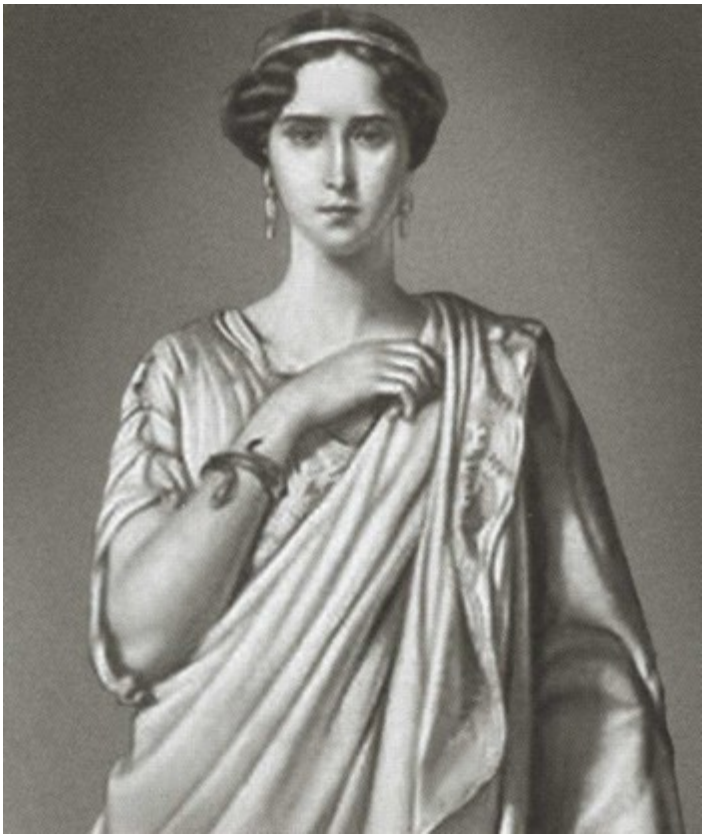
Оноре де Бальзак



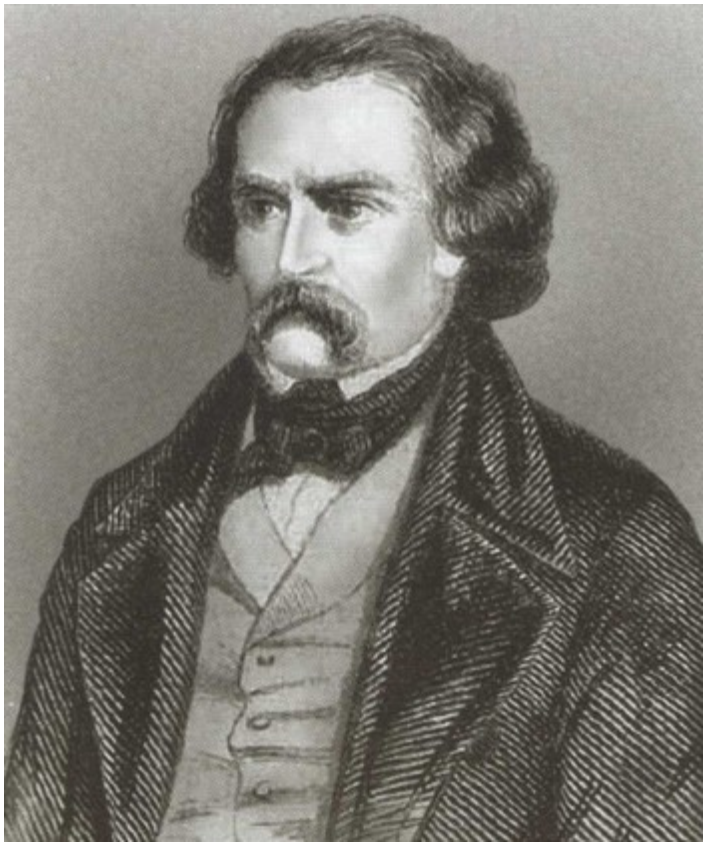
Пьер Жюль Теофиль Готье

Тальма в роли Нерона. Картина Э. Делакруа

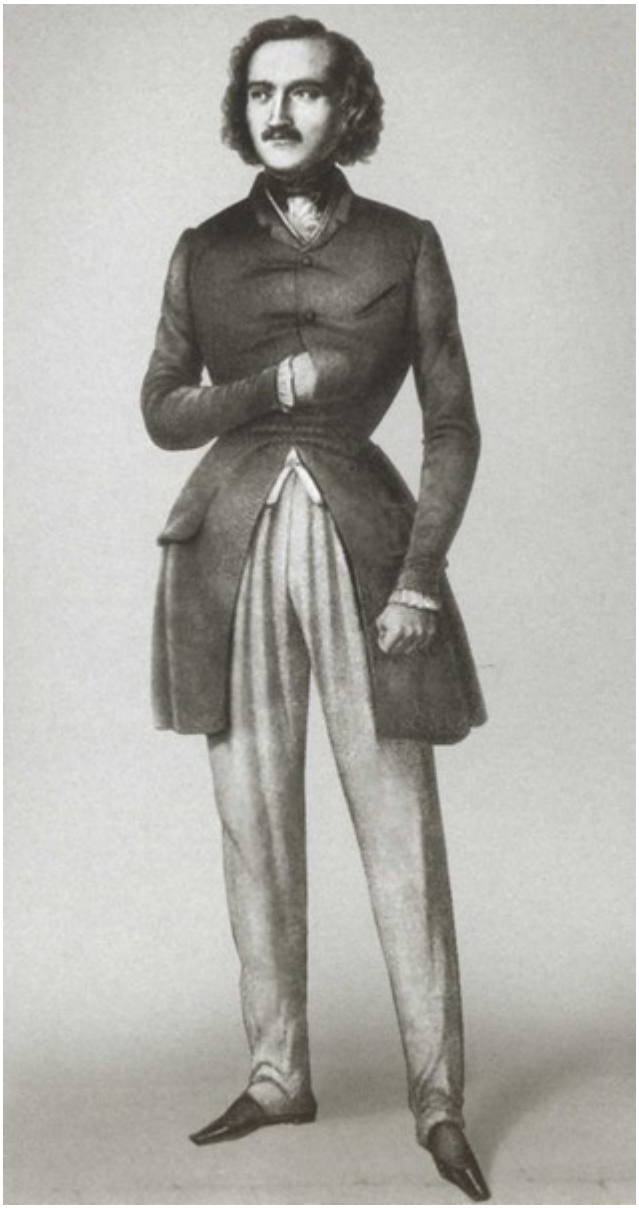
Театр «Порт-Сен-Мартен»



Рашель в роли Камиллы («Гораций» П. Корнеля)



Фредерик Сулье



Пьер Бокаж в роли Антони

Мадемуазель Марс. Портрет работы Ф. Кинсона

Александр Дюма-отец. Дагеротип 1845 г.

Мелани Вальдор

Мари Дорваль. Портрет работы И. Лазержеса

Мари Дорваль. 1832 г.

Ида Ферье

Жерар де Нерваль

Шарль Нодье

Три мушкетера. Иллюстрация М. Лелуара

Бекингем и Анна Австрийская. Иллюстрация М. Лелуара к роману «Три мушкетера»

Лола Монтес. Портрет работы Й. Штилера

Огюст Маке. Литография С. Фабера. 1847 г.

Александр Дюма-отец. Фото 1855 г.

Граф Г. А. Кушелев-Безбородко

Путешествие Дюма и Маке по Испании. Картина Э. Жиро

Дюма в костюме мушкетера. Карикатура Жиля

Дюма дарит Санкт-Петербургу «карманное издание избранных своих сочинений». Карикатура из журнала «Живописная русская библиотека». 1858 г.

Дюма варит исторический суп. Карикатура

Дюма в России записывает сведения по российской истории «со слов русских, знающих очень хорошо Россию из иностранных

источников». Карикатура Н. Степанова. 1858 г.

Дюма на Кавказе. Фото

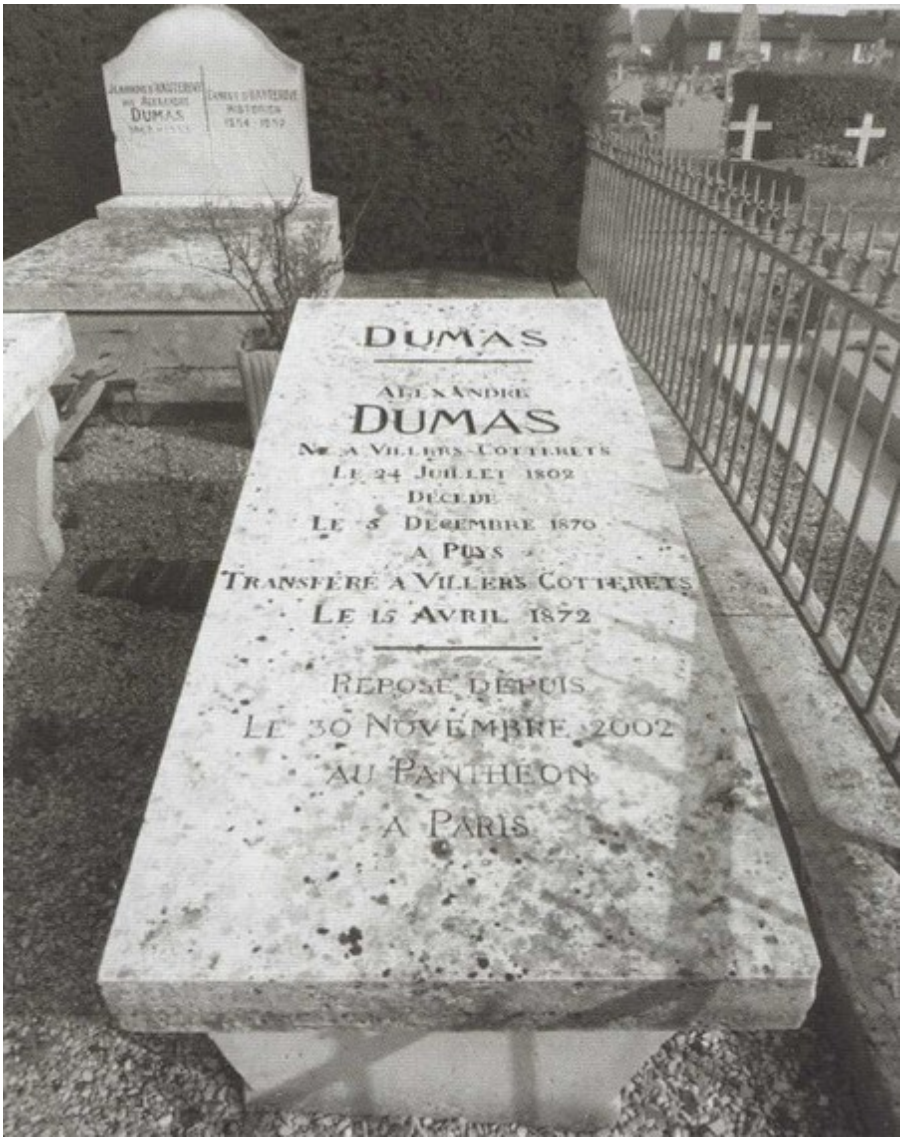
Александр Дюма с Адой Менкен. Фото 1867 г.

Александр Дюма. Карикатура А. Мейера

Александр Дюма-отец. Фото Ш. Рейтлингера

Дюма с дочерью. Фото Надара

Памятник Дюма в Вилле-Котре был снят с пьедестала нацистами для переплавки. 1942 г.



Фамильное захоронение Дюма в Вилле-Котре

Памятник Александру Дюма в Париже

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА ДЮМА

***1802**, 24 июля* — в городе Вилле-Котре у генерала Тома Александра Дюма Дави де ла Пайетри и Мари Луизы Элизабет Дюма (Лабуре) родился сын Александр.

***1806**, 28 февраля* — смерть генерала Дюма.

***1811**, сентябрь* — Александр начал ходить в школу.

***1816**, август* — поступил курьером в нотариальную контору в Вилле-Котре.

***1820**, зима* — с Адольфом Левеном основал самодеятельный театр и написал первую пьесу — «Майор из Страсбурга».

***1822**, июль* — Александр начал работать писцом у нотариуса в городе Крепи-ан-Валуа.

***1823**, январь* — первая публикация: два стихотворения в парижском «Альманахе для девиц».

10 апреля — Александр переехал в Париж, принят на должность писца в секретариат герцога Орлеанского.

Август — знакомство с Катрин Лабе.

***1824**, 27 июля* — Катрин родила сына Александра.

***1825**, 5 января* — первая дуэль.

22 сентября — первая театральная постановка: водевиль «Охота и любовь» в театре «Амбигю комик».

Зима — первая прозаическая работа: «Бланш де Болье, или Вандейка».

1826, апрель — Дюма и Левен основали литературный журнал «Психея»; опубликован сборник «Современные рассказы».

***1827**, сентябрь* — знакомство с Матье Вильнавом и его дочерью Мелани Вальдор.

1828 — написаны первые серьезные пьесы: «Христина», «Генрих III и его двор».

***1829**, 9 февраля* — инсульт у матери.

11 февраля — успешная премьера пьесы «Генрих III и его двор» во Французском театре.

20 июня — Александр назначен помощником библиотекаря в библиотеке герцога Орлеанского. Знакомство с Шарлем Нодье и Фердинандом Орлеанским, заменившими Александру отца и брата; Мелани Вальдор сменила другая подруга — Белль Крельсамер.

***1830**, 27 июля — 2 августа* — Дюма на улицах наблюдал за ходом революции, был командирован в Суассон за боеприпасами. Новым королем стал герцог Орлеанский.

Август — поездка в Вандею.

Октябрь — Дюма зачислен в артиллерийский корпус Национальной гвардии.

***1831**, 15 февраля* — отставка с поста библиотекаря.

5 марта — Белль Крельсамер родила дочь Мари Александрину. Дюма официально признал дочь и сына.

3 мая — триумфальная премьера драмы «Антони» в театре «Порт-Сен-Мартен».

***1832**, февраль* — знакомство с Идой Ферье.

21 июля — 20 октября — поездка в Швейцарию и Италию.

1833 — опубликованы сборник «Воспоминания Антони», исторический труд «Галлия и Франция», путевые заметки «Швейцария».

Декабрь — связь с Мари Дорваль.

28 декабря — пьеса «Анжела» поставлена в театре «Порт-Сен-Мартен».

***1834**, 7 ноября — 30 декабря* — поездка на юг Франции.

***1835**, 12 мая — 25 декабря* — поездка в Италию.

Публикация романа «Изабелла Баварская», исторических хроник.

***1836**, июль* — Дюма стал сотрудником газеты «Пресса».

31 августа — премьера драмы «Кин, или Гений и беспутство».

1837 — знакомство и начало сотрудничества с Жераром де Нервалем.

Декабрь — скандальный провал пьесы «Калигула».

***1838**, 1 августа* — смерть матери.

Август — сентябрь — поездка с Нервалем в Германию.

Декабрь — знакомство с Огюстом Маке. Дюма участвует в создании Союза писателей. Опубликованы сборник «Фехтовальный зал», повесть «Паскаль Бруно», роман «Капитан Поль».

***1839**, 2 апреля* — во Французском театре премьера самой успешной пьесы Дюма «Мадемуазель де Бель-Иль». Опубликованы романы «Графиня Солсбери», «Актея», «Капитан Памфил» и рассказы.

***1840**, 5 февраля* — женитьба на Иде Ферье.

28 мая — супруги Дюма переехали во Флоренцию. Публикации: роман «Записки учителя фехтования», путевые заметки «Юг Франции».

1841 — Дюма живет во Флоренции, периодически приезжая в Париж. Публикации: исторические хроники, сборники путевых заметок.

***1842**, 13 июля* — смерть Фердинанда Орлеанского.

Сентябрь — расставшись с женой, Дюма вернулся в Париж.

Публикации: роман «Шевалье д'Арманталь» по рукописи Маке.

***1843**, 2–23 мая* — поездка во Флоренцию. Публикации: роман «Сильвандир» по рукописи Маке, романы «Жорж», «Асканио», сборники новелл.

Конец года — Дюма и Маке начинают писать «Трех мушкетеров».

***1844**, 27 января* — смерть Нодье.

14 марта — 11 июля — публикация «Трех мушкетеров» в газете «Век», ошеломительный успех.

Май — Дюма переезжает в Сен-Жермен-ан-Ле и начинает строить там дом — «Замок Монте-Кристо».

25 декабря — 5 апреля 1845 — публикация «Королевы Марго».

***1845**, февраль — май* — судебный процесс с Эженом де Мирекуром, обвинившим Дюма в эксплуатации труда Маке и других соавторов. Дюма выиграл.

4 июля — заключен эксклюзивный договор с издательством Мишеля Леви. Публикации: «Двадцать лет спустя», «Дочь регента», «Женская война», «Шевалье де Мезон-Руж» (первая книга из цикла о Великой французской революции), соавтор — Маке.

28 августа — 5 апреля — публикация «Графа Монте-Кристо» (соавтор — Маке).

15 октября — оформлено раздельное проживание с женой.

24–31 октября — поездка в Бельгию и Голландию с сыном и новой подругой, Селестой Скриванек. Знакомство с Луи Наполеоном, будущим императором.

1846 — учреждение и строительство Исторического театра. Публикации: «Графиня де Монсоро», «Бальзамо».

Октябрь — январь 1847 — путешествие по Испании, Марокко, Алжиру и Тунису.

***1847**, 20 февраля* — Исторический театр открылся премьерой пьесы «Королева Марго». Новая подруга — Беатрис Пирсон.

25 июля — новоселье в «Замке Монте-Кристо». Публикации: «Сорок пять», путевые заметки «Из Парижа в Кадис».

***1848**, 10 февраля* — подписано официальное соглашение с Маке о разделе гонораров.

22–24 февраля — очередная революция во Франции, провозглашена республика, объявлены выборы.

1 марта — Дюма основал газету «Месяц». В марте, июне, сентябре, ноябре — выставлял свою кандидатуру в Учредительное собрание и потерпел поражение. На президентских выборах агитировал за Луи Наполеона, который и стал президентом. Первые солидные исторические труды: «Регентство», «Людовик XV и его двор». Исторический театр

вступает в период разорения.

***1849**, весна — лето* — неудачная попытка быть избранным депутатом от Гваделупы.

Май — поездка в Германию. Публикации: «Виконт де Бражелон», «Ожерелье королевы», исторические хроники, серия мистических повестей.

***1850**, 1 февраля* — газета «Месяц» прекратила свое существование. Публикации: «Черный тюльпан», дилогия «Бог располагает» (о революции 1830 года), исторические хроники. Новые подруги: Изабель Констан и Анна Бауэр.

20 декабря — банкротство Исторического театра.

***1851**, 17 марта* — Анна Бауэр родила сына Анри, которого Дюма не признал. Публикации: романы «Анж Питу», «Голубка».

4 декабря — Луи Наполеон совершил государственный переворот и объявил себя императором.

10 декабря — Дюма эмигрировал в Бельгию.

16 декабря — начало публикации мемуаров в газете «Пресса».

***1852**, 20 января* — личное банкротство. В эмиграции прекратил соавторство с Маке и работает один. Его секретарем стал Ноэль Парфе. Публикации: романы «Исаак Лакедем», «Графиня де Шарни», «Олимпия Клевская», исторические хроники.

17 августа — 3 октября — поездка в Рим.

***1853**, осень* — долги урегулированы, Дюма решил вернуться в Париж.

20 ноября — вышел первый номер ежедневной газеты «Мушкетер». Публикации: роман «Ашборнский пастор», исторические хроники.

1854 — публикации: романы «Парижские могикане», «Инженю», «Капитан Ришар», «Катрин Блюм».

1855 — публикации: сборники рассказов. Связь с Эммой Манури-Лакур.

1856 — публикации: первый роман о Наполеоне «Соратники Иегу», исторические хроники о Великой французской революции. Начало соавторства с графиней Даш и Гаспаром де Шервилем.

***1857**, 7 февраля* — закрылась газета «Мушкетер».

27 марта — 7 апреля — поездка в Англию и на Джерси к Гюго.

23 апреля — Дюма основал еженедельник «Монте-Кристо».

21 сентября — октябрь — поездка в Пруссию.

***1858**, 20 января* — процесс, инициированный Маке против Дюма. Суд назначил денежные выплаты в пользу Маке, но отказал ему в авторских правах на совместные работы. Публикации: роман «Предводитель волков».

14 июня — 10 марта 1859 — путешествие по России.

1859 — публикации: переводы с русского, романы «Волчицы Машкуля», «Мадам де Шамбле», «Остров огня». Новая подруга — Эмили Кордье. Дюма заказал шхуну для плавания по Средиземному морю.

24 декабря — 17 февраля 1860 — поездка в Италию. Покупка шхуны «Эмма».

1860*, 4 января* — встреча с Гарибальди. Дюма написал и опубликовал его биографию. Публикации: «Сальтеадор», «Дорога в Варенн», «Сын каторжника», «Мемуары Горация».

9 мая — отплытие на «Эмме». Дюма отказался от средиземноморского круиза, чтобы следовать за Гарибальди, ведущим борьбу за объединение Италии вокруг королевства Пьемонт.

8 сентября — Дюма поселился в Неаполе. Гарибальди назначил его на должность хранителя древностей.

11 октября — выходит первый номер газеты «Независимая» на итальянском языке.

24 декабря — Эмили Кордье родила дочь Микаэлу, которую Дюма признал.

1861 — Дюма живет в Неаполе, периодически приезжая в Париж. Публикации: «Неаполитанские Бурбоны», «Неаполь и окрестности», роман «Волонтер 92 года».

1862*, 10 октября* — закрылась газета «Монте-Кристо». Публикации: роман «Любовное приключение», хроники.

1863 — опубликован роман «Сан-Феличе».

1864*, март* — Дюма вернулся во Францию с новой подругой, Фанни Гордоза. Опубликован роман «Красный сфинкс».

1865*, май* — публичные лекции в Лионе.

12 ноября — 9 января 1866 — путешествие по Пруссии, Австрии и Венгрии с дочерью Мари Александриной. Заключен новый договор с Мишелем Леви. Сотрудничество в газете Жюля Нориака «Новости».

1866 — опубликован роман «Мадам де Лафарг».

Лето — Италия вступила в войну с Австрией, Дюма с дочерью совершил поездку в Италию.

10 ноября — вышел первый номер газеты Дюма «Мушкетер II».

Декабрь — начало связи с Адой Менкен.

1867*, 6–12 марта* — поездка в Пруссию.

25 апреля — закрылся «Мушкетер II». Опубликован роман «Прусский террор».

1868*, 4 февраля — 30 июня* — выходит газета Дюма «Д'Артаньян».

5 июля — 11 марта 1869 — выходила газета Дюма «Театральная».

Июнь — июль — поездка в Нормандию.

10 августа — смерть Ады Менкен.

***1869**, 25 июня — сентябрь* — поездка в Бретань, работа над «Большим кулинарным словарем», романом о Наполеоне «Шевалье де Сент-Эрмин», последней книгой о Великой французской революции «Сотворение и искупление».

***1870**, 5 марта — конец августа* — поездка на юг Франции и в Испанию. Публикации: «Шевалье де Сент-Эрмин», «Сотворение и искупление».

Август — начало франко-прусской войны.

Сентябрь — Дюма после инсульта перевезли к сыну в Пюи.

5 декабря — смерть Александра Дюма-отца.

***2002**, 30 ноября* — прах Дюма перезахоронен в Пантеоне.

ЛИТЕРАТУРА

Дюма А. Собрание сочинений: В 70 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994–2008.

Дюма А. Путевые впечатления в России: В 3 т. М.: Ладомир, 1993.

Дюма А. Кавказ. Тбилиси, 1988.

Дюма А. Из Парижа в Астрахань. М.: Спутники-, 2009.

Буянов М. И. Дюма, гипноз, спиритизм. М., 1991.

Буянов М. И. Дюма в Дагестане. М., 1992.

Буянов М. И. Дюма в Закавказье. М., 1993.

Буянов М. И. Маркиз против империи, или Путешествия Кюстина, Бальзака и Дюма в Россию. М., 1993.

Гонкуры Э. и Ж. Дневник. М., 1964.

Драйтова Э. Повседневная жизнь Дюма и его героев. М., 2005.

Дурылин С. Н. Александр Дюма-отец и Россия //Литературное наследство. М., 1937.

Куртиль С. Г. de. Мемуары мессира д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты мушкетеров короля, содержащие множество вещей личных и секретных, произошедших при правлении Людовика Великого. М., 1995.

Лависс Э., Рамбо А. История XIX века. М., 1938.

Моруа А. Три Дюма. М., 1993.

Нечаев С. Ю. Три д'Артаньяна. М., 2009.

Труайя А. Александр Дюма. М., 2007.

Циммерман Д. Александр Дюма Великий. М., 1996.

Dumas A. Oeuvres completes. Paris: Calmann Lévy, 1897.

Dumas A. Mes Mémoires. Préface de Claude Schopp. Correspondance. Paris, 1989.

Dumas A. En Russie. Montréal, 2007.

Dumas A. Lettres de Saint — Petersburg. Brusseles, 1859.

Dumas A., Schopp C. Le chevalier de Sainte-Hermine. Paris, 2005.

Audebrand Ph. A. Dumas a la Maison d'Or. Paris. 1888.

Bertiure S. Dumas et les Mousquetaires: Histoire d'un chef-d'oeuvre. Paris, 2009.

Blaze de Bury H. Mes etudes et mes souvenirs, A. Dumas, Sa vie. Paris, 1885.

Dantzig Ch. Le Grand Livre de Dumas. Paris, 1997.

Davidson A. Alexandre Dumas, his Life and Works. Philadelphia, 1902.

Ferry G. Les Derniferes Annies d'Alexandre Dumas. Paris, 1883.

Fillaire Bernard: Alexandre Dumas, Auguste Maquet et associés. Bartillat, 2010.

Fitzgerald P. The Life and Adventures of Alexandre Dumas. London, 1873.

Glinel Ch. Alexandre Dumas et son oeuvre: Notes biographiques et bibliographiques. Reims, 1884.

Gorman H. The Incredible Marquis. London, 1929.

Grivel Ch. Alexandre Dumas, l'homme 100 têtes. Paris, 2008.

Grivel Ch. Les vies parallèles d'Alexandre Dumas. Lille, 2008.

Hamel R., Pierrette M. Dictionnaire Dumas, Index analytique et critique des personnages et des situations dans l'œuvre du romancier. Montréal, 1990–2004.

Lacouture J. Alexandre Dumas à la conquête de Paris. Montréal, 2005.

Lecomte L. Alexander Dumas, 1802–1870: sa vie intime, ses oeuvres. Paris, 1902.

Lieutaud A. La paternité dans les oeuvres d'Alexandre Dumas. Toulon, 2008.

Lucas-Dubreton J. The Fourth Musketeer. New York, 1989.

Michelet J. Histoire de la Révolution française. Paris, 1989.

Mombert S. La boote aux lettres du Mousquetaire, journal d'Alexandre Dumas. Lyon, 2009.

Parigot H. Alexandre Dumas père. Paris, 1902.

Pifteau B. Alexandre Dumas en manches de chemise. Paris, 1884.

Raynal C. Promenade medico-pharmaceutique a travers l'œuvre d'Alexandre Dumas //Revue d'histoire de la pharmacie. N. Y., 2002.

Schopp Cl. Alexandre Dumas, le génie de la vie. Paris, 1997.

Schopp CL Dictionnaire Dumas, Paris, 2010.

Simon G. Histoire d'une collaboration, Dumas et A. Maquet. Paris, 1919.

Spurr Harry A. The Life and Writings of Alexandre Dumas. London, 1972.

Troyat H. Alexandre Dumas, le cinquième mousquetaire. Grasset, 2005.

notes

Примечания

1

Перес-Реверте А. Клуб Дюма, или Тень Ришелье. М.: Эксмо-Пресс, 2011.

2

Дюма. Мои мемуары *(Dumas.* Mes Memoires. Paris, 1989). Здесь и далее, если не указан иной источник, цитаты даются по этому произведению. — *Здесь и далее примечания автора.*

3

Фамилию Дюма во Франции носили многие известные люди, например химик Жан Батист Дюма, генерал Матье Дюма.

4

Денежная единица Франции с 1785 года, заменившая дореволюционный ливр. В книгах Дюма часто упоминаются луидор (20 ливров) и экю (5 ливров). Сотая часть франка — сантим. Пять сантимов — су.

5

Здесь и далее за исключением специально оговоренных случаев цит. по: *Дюма А.* Собрание сочинений: В 70 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994–2008.

6

Примерно три тысячи франков.

Интересующимся этой темой рекомендуем: *Буянов М. И.* Дюма, гипноз, спиритизм. М., 1991.

8

Ашиль Конт (1802–1866) — врач, преподаватель естественных наук в лицее Карла Великого.

9

Туке — издатель Вольтера.

10

Триколор впервые появился в революцию: синий и красный — цвета Парижа. Знамя монархии — белое.

11

Дюма приводит старое название. В описываемое время — мост Людовика XVI, ныне — мост Согласия.

12

Сын Наполеона Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт.

13

Страшного чудовища *(лат.)*.

14

Индейский правитель.

15

Левен в театре тоже преуспел: написал 170 пьес, с 1862 по 1874 год был одним из директоров «Комической оперы».

16

Входите же, дорогой Каратыгин!

И я очень желал бы сделать то же, если только дозволит ваш батюшка.

18

Трактат Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) был публично сожжен в Париже и Женеве.

19

Кочевые азиатские племена, около 1700 года до н. э. захватившие Египет.

20

Психиатрическая лечебница.

21

Исторический театр затем был открыт хлопотами драматурга Адольфа д'Эннери под названием Лирический театр, тоже прогорел, под именем Театр Сен-Жермен работал в 1864–1902 годах, здание снесли в 1921-м, а в 1989-м в Сен-Жермене открылся «Театр Александра Дюма».

22

Пьеса Маке «Дело Лесурка» основана на громком уголовном деле 1796 года: человек гильотинирован в результате судебной ошибки. Странно, что Дюма за нее не взялся!

Бильбасов В. А. История Екатерины II. СПб., 1890–1896.

24

В большинстве русских переводов ошибочно указан 1840 год.

25

Остров в Неаполитанском заливе.

26

Кола ди Риенцо (1313–1354) — итальянский политический деятель.

27

Убил герцога Беррийского в 1820 году.

28

Грабитель, убил богатую старуху, называл себя «идейным убийцей»; Ф. М. Достоевский о нем знал.

29

Во многих библиографиях ошибочно указан 1864 год.

30

1618–1648 годы: война началась как столкновение протестантов и католиков Германии, переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе.

31

Всемирная выставка в Париже (1867).

32

Битва между франко-австрийской и прусской армиями в 1757 году.

33

Не введи нас в искушение *(лат.)*.